

РУССКИЕ  
МЕМОАРЫ





# РУССКИЕ МЕМОАРЫ

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ,  
XVIII ВЕК

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
1988

84 Р 1

Р 89

Составление, вступительная статья и примечания  
И. И. Подольской

Биографические очерки  
В. В. Кунина и И. И. Подольской

Р  $\frac{4702010100-1623}{080(02)-88}$  1623—88

© Издательство «Правда», 1988. Составление. Вступительная  
статья. Биографические очерки. Примечания.

## «МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЮ...»

*«Надобно знать, что любишь;  
а чтобы знать о настоящем, должно  
иметь сведение о прошедшем».*

*Н. М. Карамзин.*

Русская мемуаристика XVIII столетия насчитывает не слишком много известных имен. Даже записки Г. Р. Державина, имя которого знакомо каждому школьнику, знает лишь узкий круг знатоков и любителей русской словесности. То же можно сказать о записках А. Т. Болотова, И. И. Дмитриева, С. Н. Глинки. И уж совсем туманные представления имеет читатель не только о воспоминаниях Е. Н. Львовой, С. В. Скалон, Л. Н. Энгельгардта, но даже об именах этих мемуаристов.

Образ эпохи, ее атмосфера, ее исторический, нравственный облик, лица людей, оставивших в ней свой след,— все это выплывает к нам из небытия, когда мы берем в руки русские мемуары XVIII века. Именно они, а не сухие (хотя часто, разумеется, и более достоверные) реляции исторических документов, дают нам ощутить неповторимое своеобразие того времени. Мемуаристы знакомят нас не с историей XVIII века в целом, не с ее катаклизмами, обусловленными сложнейшими причинно-следственными связями и сцеплениями; они рассказывают о «частной», порой почти «домашней» истории,— той, которая совершалась у них на глазах, была по-своему понята и оценена ими. При этом некоторые из мемуаристов были не только наблюдателями, но в какой-то мере направляли движение истории, участвуя в решающих для России сражениях, как Л. Н. Энгельгардт; предreshая исход государственных дел, как Г. Р. Державин и И. И. Дмитриев; пробужая национальное самосознание и любовь к Отечеству, как С. Н. Глинка. История, написанная мемуаристами, пропущена через внутренний мир человека, через его душу. Эта история так тесно переплетена с судьбами авторов записок, что в ней явственнее всего проступают, по точному слову А. И. Герцена, «следы жизни».

История в записках всегда субъективна; мемуаристы с разной степенью достоверности передают увиденное; далеко не все способны честно рассказать о себе. Ни один из авторов записок не свободен от пристрастий соответственно своим личным вкусам, взглядам, социальному происхождению, уровню культуры, политическим убеждениям. Кроме того, многие исповедуют мысль, что обнаженная истина не привлекательна. Отчасти поэтому прошлое, как и истину, порой приукрашивают, сглаживая острые углы, обходя молчанием отдельные факты, порой намеренно искажая смысл того или иного события. Но даже тогда, когда мемуаристы стремятся писать «правду и только правду», они не могут передавать свои впечатления и воспоминания о прожитой жизни так, как пушкинский Пимен,—

Добру и злу внимая равнодушно,  
Не ведая ни жалости, ни гнева,

Слишком сильна у них связь с эпохой, слишком велика степень личного участия в событиях и делах своего времени, слишком отчетливы (даже спустя долгое время) пристрастия и, наконец, слишком болезненна память о неудачах, разочарованиях, обидах.

Далеко не всегда соблюдая достоверность, мемуарист, как правило, стремится к правдоподобию. Вымысел обрастает такими «убедительными» подробностями, что походит на правду больше, чем иной реальный факт. Преображая, как и прозаик, действительность фантазией, мемуарист преследует иные цели. Он не создает художественный мир, но порой пытается затмить «тьму низких истин» «нас возвышающим обманом». Поэтому в мемуарах бывает так трудно отделить легенду от исторического факта, вымысел от обмана памяти.

В изображении разных мемуаристов одни и те же лица и события предстают по-разному. Сравним, например, вымысл идеализированный образ графа Ангальта в воспоминаниях С. Н. Глинки с иным его обликом, несколько иронически, хотя и мимоходом набросанным Л. Н. Энгельгардтом. Несомненно, что оба автора были вполне искренни в своем отношении к графу Ангальту, но совершенно различным было их восприятие этого человека, в значительной мере связанное с той ситуацией, в которой их свела с ним судьба. При этом вполне можно допустить, что справедливы обе характеристики и что человек идеалистически-возвышенного образа мыслей мог в определенных условиях проявить себя нудным педантом. Сравним также представление о Суворове, возникающее из преданий о нем, помещенных в книге Рудакова, с портретом полководца, написанным Л. Н. Энгельгардтом. Прав или нет Энгельгардт, но у него есть свое понимание личности Суворова, и в пределах этого взгляда свет и тень совмещаются так же естественно, как и на полотнах Рембрандта.

Так, помимо воли авторов записок, между ними возникает полемика, а вместе с тем один мемуарист всегда в чем-то дополняет другого. Чем больше разных, порой даже противоречивых рассказов, тем явственнее обозначается облик людей, тем выразительнее выступают черты эпохи.

Как правило, мемуаристы создают свои записки в старости, или, во всяком случае, по прошествии многих лет после описываемых ими событий. Некоторые из них ведут записи на протяжении своей жизни, и тогда мемуары отличаются большей достоверностью. Обычно же авторы записок полагаются на свою память, которая не только порой изменяет им, но иногда, как известно, услужливо подбирает факты. Так возникают неточности и ошибки, наименее опасные из которых — хронологические. Бывает, что мемуаристы передают услышанное, не проверив факты. Это ведет к созданию легенд и анекдотов, в конечном счете — к искажению исторического факта или образа. Наглядный (хотя и вполне безобидный) пример тому — рассказ С. Н. Глинки о том, как юноша Потемкин напугал своего отца и дядю, нарядившись в медвежью шкуру (см. с. 320 и прим. к ней).

Что побуждает людей на закате жизни взяться за перо и обратиться к прошлому? Причины этого разнообразны, но они далеко не всегда совпадают с объяснениями самих мемуаристов по этому поводу. Одни, как И. И. Дмитриев, объясняют это естественным стремлением найти себе занятие в старости и «доживать воспоминанием»;

другие, как А. Т. Болотов,— чтобы оставить память «о времени и о себе» своим потомкам; третьи, как С. Н. Глинка, чтобы уверить грядущие поколения в своей любви «к родному краю», которая «всегда беспредельна была с любовью к человечеству». Наконец, немногие, как Л. Н. Энгельгардт, обращаются к запискам, сознавая историко-культурную роль этой миссии: «Записки каждого частного лица о том, что случилось видеть, слышать или чего быть свидетелем в жизни, как бы оно ни было малозначаше в свете, всегда могут быть интересны для будущих времен касательно нравов того века, людей, образа жизни, обычаев, политических и военных происшествий и описания знаменитых лиц» («Вступление»).

Что бы ни руководило мемуаристами, ясно одно — каждый из них хочет вернуться к своему прошлому и пересмотреть его, каждый хочет оставить память о себе и своем времени. Поэтому при всем различии целей и задач ими движет одно общее стремление — не дать бесследно исчезнуть прожитой жизни, передать опыт своего времени другим поколениям. В самой идее мемуаров содержится то, что противостоит забвению, восстает против него. Это — неистребимая память о прошлом.

Первое и, может быть, главное, что всегда появляется перед нами на страницах воспоминаний,— это личность самого мемуариста. «Содержание моей книги,— сказал Мишель Монтень об «Опытах»,— это я сам». Значительностью личности рассказчика, ее самобытностью и оригинальностью в известной мере определяется ценность мемуаров. В воспоминаниях Л. Н. Энгельгардта чрезвычайно интересен сам автор, его мысли, чувства, впечатления. В записках Е. Н. Львовой читателя привлекают прежде всего переданные ею истории, «в которых отразился век». Чем интереснее рассказчик, чем больше способен он к концептуальному осмыслению своей жизни и пережитых им событий, тем серьезнее его воспоминания, тем больше их историко-культурное значение. Чтобы понять ценность мемуаров, достаточно сравнить, например, воспоминания С. В. Скалон, с их узкосемейным, бытовым характером, и записки А. Т. Болотова, Г. Р. Державина, Л. Н. Энгельгардта, обладающие широтой исторического охвата событий. Конечно, для нас интересны и узкосемейные воспоминания, когда они талантливо написаны и правдиво воссоздают быт, нравы, привычки, образ жизни и обычай людей минувших времен. Особенно интересны они тогда, когда рассказывают, как записки С. В. Скалон, об известных писателях, деятелях отечественной культуры. Иногда такие воспоминания становятся едва ли не единственным источником, из которого наука черпает биографические сведения о тех, чьи судьбы затерялись в дали веков. С другой стороны, они подчас восстанавливают какие-то пропущенные звенья в биографиях знаменитых людей, сообщают об их жизни малоизвестные, а то и вовсе неизвестные факты. Таков рассказанный С. В. Скалон эпизод о посещении Державиным в 1813 году Обуховки по пути в Киев или сообщенные ею же сведения о прототипах «Старосветских помещиков» Гоголя.

Как и письма, мемуары в различной степени отражают личность рассказчика. Известный советский литературовед Г. П. Макогоненко писал об особенностях эпистолярного стиля И. И. Дмитриева, по своему сказавшихся и в его воспоминаниях: «Письма Дмитриева отличает стилистическая и тематическая строгость. Поэт сдержан в выражении своих мнений и эмоций. Ему чужда исповедальность. Он не стремится вообще к подробным описаниям и рассказам о своей жизни, ограничивается намеками на некоторые события и факты. Его



рассказ о себе чаще всего касается служебных дел и литературных интересов <...> Читая дружеские письма И. Дмитриева, все время чувствуешь, что их пишет лицо, облаченное в застегнутый на все пуговицы мундир»<sup>1</sup>. «Взгляд на мою жизнь» И. И. Дмитриева так же, как и его письма, передает лишь внешние, притом очень обдуманно отобранные факты его биографии. Сдержанный в рассказах о себе, мемуарист значительно свободнее там, где речь идет о его друзьях, в особенности о литераторах, близких к его кругу: о Державине, Карамзине, Богдановиче, Фонвизине. Исключение составляет, пожалуй, лишь описание казни Пугачева (несомненно, одно из самых сильных и ярких впечатлений жизни Дмитриева), в котором с несвойственной ему откровенностью мемуарист пишет о своих противоречивых чувствах, о любопытстве, не согласующемся с обстоятельствами и неприличном «чувствительному» духу того времени.

Однако даже в тех случаях, когда мемуарист мало говорит о себе или пытается скрыться за описаниями событий, происшествий, характеристиками других лиц, его собственные черты неизбежно проступают в рассказе: в его оценках людей и их поступков, в его особой точке зрения на происходящее, в его взглядах на жизнь.

Если мемуарист пишет о себе, то, пожалуй, самое субъективное в его записках — это отражение его собственной личности, его представление о себе, далеко не всегда совпадающее с нашим представлением о нем, почерпнутым из им же предоставленного нам материала, иногда в совокупности с другими источниками. Так, Державин в своих записках, несмотря на неподдельное прямотушие их, гораздо осмотрительнее и сдержаннее того неистового капрала, губернатора, министра, образ которого, помимо воли автора, возникает в «Записках», несмотря на сознательные умолчания, небольшие смещения акцентов, едва заметные искажения событий. Ибо даже на склоне лет, работая над воспоминаниями, Державин не обрел ни умения прощать врагам своим, ни способности спокойно взирать на свое прошлое.

В целом мемуары XVIII века так же внеличные, как оды. Рассказывая о своей жизни, авторы записок никогда не говорят о своем внутреннем Я: индивидуальное растворяется в общем и событийном. Отсюда и условность портретных характеристик. Описание внешности, каких-то особенных черт, дающих представление о внутреннем мире человека, — все это пришло в литературу в следующем столетии. В XVIII веке портрет более чем условен. Вспомним расхожее энгельгардтовское: «Он был красивый мужчина» (о разных людях). Несколько больше внимания мемуаристы уделяли изображению привычек, выразительных жестов и т. д. Чревоугодие Потемкина, широту его безудержной натуры почти все авторы записок противопоставляют принципиальному аскетизму Суворова. Но интереса к внутреннему миру человека у авторов записок нет, как нет его и к собственному Я. Вместо личности со всей ее неоднородностью и неоднозначностью мемуаристы предлагают нам сильно ретушированный портрет, воплощающий какую-нибудь общую идею, неизменно положительное начало. Так портрет графа Ангальта у Глинки несет в себе представление о мудрости и добродетели, готовых выдержать любые испытания. Екатерина II у всех мемуаристов олицетворяет собою ум, справедливость и доброту. Потемкин — государственный ум; Суво-

<sup>1</sup> Макогоненко Г. П. «Письма русских писателей XVIII века и литературный процесс». — В кн.: Письма русских писателей XVIII века. — Л., 1980, с. 13.

ров — воинскую доблесть, пронзительность и хитрость, необходимую великому стратегу. В XVIII веке умели ценить гражданские и воинские заслуги, чувствовать силу авторитета. Писать о недостатках авторитетных лиц означало выносить сор из избы и ублажать «чернь». Авторы записок стремились сделать крупное еще более крупным и всячески подчеркивали те черты, которые, по их мнению, давали право на историческое бессмертие. Они писали парадные портреты и так же, как их современники-живописцы, подчиняли все художественные средства общей задаче — передать торжествующее и непогрешимое величие исторического лица.

Заметим, что мемуаристы создавали, как правило, только свою внешнюю биографию (тоже своего рода парадный портрет). Эта биография была прежде всего историей жизни общественного лица и государственного мужа. Для Державина в его записках имело смысл прежде всего жизнеописание государственного деятеля. Совсем другое дело «непроявленная» в записках его душевная жизнь, касающаяся только его самого и только для него самого важная. Это умалчивание о своем внутреннем мире — принципиальная позиция мемуаристов того времени, обусловленная самим духом его. Интерес к индивидуальному, частному, внутреннему, сокровенному придет в литературу несколько позже, вместе с первыми шагами сентиментализма.

Мемуарист рассказывал о событиях своей жизни тогда, когда они становились для него прошлым, а прошлое, как известно, всегда переоценивается. Автор воспоминаний смотрел на себя и на события своей жизни из другой эпохи и глазами человека другой эпохи. У него неизбежно возникало ощущение исторической ретроспекции, ибо и сам он, и взгляды его менялись под воздействием непрерывного движения истории, от приобретения нового опыта, от веяний времени иной эпохи. Человек, переживший восстание декабристов, не мог писать о прошлом так, как тот, кто не дождал до этого события. История порой, помимо воли мемуариста, накладывает свой отпечаток на его воспоминания.

Записки М. А. Дмитриева принадлежат свидетелю отмены крепостного права, и в этом их коренное отличие от воспоминаний его дяди, по рассказам которого написано очень многое в «Мелочах из запаса мой памяти». Это один из наиболее наглядных примеров того, как одни и те же факты, записанные в разное время, разными людьми, приобретают смысловую неоднородность.

Прошлое в мемуарах неизбежно встречается с будущим, поэтому они отражают двойное время и «двойное бытие» (Ф. И. Тютчев) мемуариста. Время, когда пишутся мемуары, столь же явственно присутствует в них, как и второй облик их автора, уже умудренного годами и опытом прожитой жизни. Пришедшая к Державину с возрастом и отставкой неудовлетворенность служебной карьерой отразилась не только на последних страницах его записок, но и в той части их, где поэт жил еще только предвкушением будущего. И это так же естественно, как и то, что в зрелом возрасте явственно и резко проявляются черты, едва начавшие формироваться в детстве.

Хочет или не хочет того автор записок, в них неудержимо врывается время, и если бы даже кому-то и пришла в голову мысль рассказать только о себе и своем внутреннем мире, о своих чувствах, переживаниях, ощущениях, о сугубо личных событиях своей жизни, дух эпохи с ее конфликтами неизбежно отзовется в этом рассказе. И не только дух эпохи. Память вызовет тени тех, с кем судьба и обстоятельства жизни связывали человека. И, казалось бы, самое

личное дело и побуждение окажется обусловленным тем же ходом истории, который определяет и направляет события крупного масштаба. А. И. Герцен писал о «Былом и думах» — и это касается всех мемуаров, — что эта книга — «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге»<sup>1</sup>.

Почти все мемуаристы пытаются сохранить дистанцию между тем временем, когда они писали свои воспоминания, и тем, о котором в них рассказано. Отделяя себя «сегодняшнего» от молодого героя своих записок, автор хочет объективировать свой прежний образ, дать ему самостоятельное историческое бытие. Однако эти ипостаси так же неотделимы друг от друга, как человек и его тень.

Время не только управляет мемуаристами, но отчасти и подчиняется им. Автор записок, как правило, обладает способностью «остановить мгновение», сделать событие прошлого сиюминутным и живым. Так, одна из самых ярких страниц у С. В. Скалон — это приезд четы Державиных в Обуховку, простодушный и вместе с тем выразительный рассказ о том, как испугалась Александра Алексеевна Капнист, не узнавшая сестру, изображение настороженных и чинных отношений между двумя двумя сановниками в отставке — Г. Р. Державиным и Д. П. Трошинским. Вместе с тем авторы записок по-разному управляют условным, мемуарным временем, пользуясь им, в частности, для организации материала. Хронология С. Н. Глинки, например, существенно отличается от хронологии Л. Н. Энгельгардта. Время в записках Глинки соединяет отдельные звенья в цепи наиболее ярких впечатлений человека. Детство, обычаи и предания семьи, поступление в кадетский корпус и начало становления личности под воздействием активного нравственного влияния таких наставников, как И. И. Бецкий и граф Ангальт, — все это создает ту атмосферу рассказа, при которой как бы необязательны точные датировки. Все это дано через субъективное восприятие вступающего в жизнь человека. Все это окрушено юношеским чувством любви к миру и к ближнему, а вместе с тем восхищением душевными качествами, особенно ценными позже, в пору зрелости Глинки, в первой четверти XIX столетия — благородством и мужеством, патриотизмом, философским складом ума и т. д. Глинка александровских времен в значительной мере наделяет своими ощущениями Глинку времен екатерининских. Первостепенное значение в его записках обретает внутренний нравственный опыт человека, постигаемый им в определенную эпоху его жизни.

Напротив, для Энгельгардта очень важна точность в датировке событий, принадлежность события к тому или иному времени. Энгельгардт больше летописец, нежели исследователь впечатлений, предлагаемых жизнью. Он всякий раз педантично обозначает год, а затем уже рассказывает о том, что именно произошло в этом году. Это формирует композиционную структуру его записок. Глинка пишет преимущественно о становлении человека, Энгельгардт — о развитии исторических событий. В записках Глинки история — фон, в воспоминаниях Энгельгардта — активное начало.

Время в мемуарах — это не только последовательный ход событий, но и ключ к их историческому прочтению. Факты, эпизоды, не закрепленные за определенным временем, навсегда остаются загадками.

---

<sup>1</sup> Герцен А. И. Сочинения. В 9-ти т. Т. 5. — М., 1956, с. 265.

Отражающий эпоху исторический факт почти всегда опровергает субъективные оценки мемуаристов. По условиям времени и социальной среды, к которой принадлежали авторы записок XVIII века, никто из них не «обличал» Павла I, да и вообще, как уже говорилось, никого не обличал. Но рассказы о необузданном гнев императора и не знающих границ милостях его создают неопровержимо убедительную и исторически достоверную картину его зловещего царствования. Картина эта возникает из совокупности рассказанного о нем.

Вообще мемуаристы XVIII века не критиковали «устоев», но нередко выражали неудовольствие по тому или иному конкретному поводу. Чем просвещеннее, умнее и наблюдательнее мемуарист, тем шире его критика, тем больше выходит она за пределы узколичных интересов. Общий тон державинских записок, конечно, отражает его недовольство тем, что его постоянно «обходили» чинами и наградами. Но описание его конфликтов с олонецким и тамбовским генерал-губернаторами — это уже не просто выражение личного неприязненного отношения к ним, хотя, разумеется, и не «обличение» общественного строя, при котором возможны, по словам самого Державина, такие «мишурные цари».

Мемуаристы никогда не дают фотографически точного портрета человека. Они иначе, чем писатели, но тоже строят характер, основываясь прежде всего на своем понимании той или иной личности. Концепция эта иногда возникает при жизни человека, чаще — после его смерти. Вспомним знаменитый стих А. А. Ахматовой «Когда человек умирает, изменяются его портреты...». Издали, по прошествии времени, черты человека как бы отстаиваются и систематизируются в сознании мемуариста. Мелкие недостатки и слабости, если они не имеют конструктивного значения для характера, отходят на задний план. Образ укрупняется. Странности легендарного Суворова исполнены сокровенного смысла и непостижимого величия. Странности Суворова-человека, увиденного с близкого расстояния, кажутся вполне обычными человеческими слабостями. В мемуарах действует как бы обратная перспектива: чем ближе — тем мельче, чем дальше — тем значительнее. Потемкин, грызущий ногти, вблизи неприятен; Потемкин, делающий то же самое в отдалении и погруженный в мысли, — интересен и загадочен.

XVIII век был богат крупными характерами и большими историческими событиями, которые дали этим характерам возможность себя проявить, реализовать. Призванием человека, принадлежащего к «благородному» сословию, считалось в ту пору война. Вступая на военное поприще, люди делали карьеру, получали награды и отличия гораздо скорее, чем в статской службе. Военная верхушка того времени не всегда имела хорошее образование, однако среди окончивших сухопутный шляхетский кадетский корпус в Петербурге был и С. Н. Глинка, и А. П. Сумароков. Основная часть воспоминаний, помещенных в настоящем издании, написана военными людьми или, во всяком случае, участниками войн XVIII столетия. Все они усиленно занимались самообразованием, что, кстати, и отражено в записках Болотова, Глинки, Энгельгардта. Глинка несколько преувеличивает уровень знаний, которыми наделял дворянских детей кадетский корпус. Как в корпусе, так и в частных пансионах, воспитанников готовили не к тому, что нужно было знать при вступлении в государственную службу, а к тому, чего повседневно требовала от них светская жизнь. Поэтому почти все они хорошо знали французский язык и умели изрядно танцевать.

Память смягчает неприятные, иногда даже страшные впечатления прошлого. В изображении Л. Н. Энгельгардта пансион Эллерта в Смоленске выглядит не так зловеще, как это было, вероятно, в действительности. Хотя, в отличие от Глинки, Энгельгардт безусловно относится к тем мемуаристам, у которых «правда» преобладает над «поэзией».

XVIII век дал нам разные типы мемуаров: это светские анекдоты (записки Е. Н. Львовой, отчасти «Мелочи из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева и собранные Рудаковым рассказы о Суворове), семейная хроника (воспоминания С. В. Скалон), жизнеописание (А. Т. Болотов, Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, С. Н. Глинка). Л. Н. Энгельгардт — это записки о виденном и слышанном. «Мелочи из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева стоят особняком. Их автор написал свои эссе под впечатлением чужих рассказов, переосмысленных им соответственно опыту собственной жизни. М. А. Дмитриев — человек XIX века, и это, хотел он того или нет, не могло не сказаться на его книге.

Чистые типы мемуаров, по-видимому, не существуют. Семейная хроника почти всегда включает в себя забавные эпизоды; жизнеописание неотделимо от элементов семейной хроники и т. д. И все это (кроме анекдотов о Суворове, конечно) пронизано в большей или меньшей мере автобиографическим началом, которое осуществляется в мемуарах по-разному — от прямого рассказа о себе до оценок, всегда свидетельствующих о личном жизненном опыте автора записок. Главным образом в оценках проявляется оно у М. А. Дмитриева, где личный и чужой опыт, скрещиваясь, дают своеобразный плод — философское эссе, сохраняющее аромат XVIII века, но несущее в себе опыт и обобщающую мысль человека середины XIX столетия. При этом Дмитриев-моралист, человек старого времени по вкусам, склонностям и привычкам, вершит суд не над ушедшей эпохой, а над молодым поколением, не оценившим, как ему кажется, по справедливости культурно-исторического значения прошлого своего Отечества, Дмитриев привержен светским привычкам, стилевой и языковой культуре XVIII века; новые веяния, проникающие в речевую стихию XIX столетия; оскорбляют его строгий пуризм. М. А. Дмитриева так же, как и Е. Н. Львову, властно притягивает к себе патриархальный быт и нравы прошлого века, и чем дальше от него, тем ниже и почительнее склоняют они головы перед идеалами своих предков.

Мемуаристы наделены разной силой воображения. Сильно развитая фантазия заставляет некоторых из них переживать прошлое едва ли не ярче, чем подлинные события. В основном, конечно, это относится к особо значительным переживаниям их жизни. Державин, например, горячится и в записках, рассказывая о своем знакомстве с Е. Я. Бастидон и скоропалительном сватовстве. Бывает и по-другому: то, что лишь промелькнуло в настоящем, быстро скрывшись в неудержимом потоке времени, внезапно выплывает из памяти и обрастает подробностями, или несущественными, или незамеченными прежде. Иногда такими, которых не было вовсе.

Минутных жизни впечатлений  
Не сохранит душа моя,—

сказал Пушкин. Душа, быть может, и не сохранит, но сбережет память. Ибо только по прошествии времени человек узнает настоящую цену минутному впечатлению.

Бытовая «мелочь» редко попадала в поле зрения мемуаристов XVIII века. Однако все они знали цену иной мелочи, характеризующей их эпоху и их современников, и культивировали такую мелочь в своих воспоминаниях. Из таких мелочей сотканы записки Е. Н. Львовой и М. А. Дмитриева. Заглавие записок М. А. Дмитриева весьма точно определяет их особенности: «Мелочи из запаса моей памяти». Из таких мелочей, часто уникальных по выразительности (см., например, записи М. А. Дмитриева о Ермиле Кострове или Е. Н. Львовой о Хемницере), складывается крупный план, столь любимый авторами записок XVIII века. Деталь, подробность быта, плотность его фактуры, нередко поражающие и восхищающие нас в более поздних записках,— это уже достояние XIX столетия, пришедшее к русским мемуаристам с завоеваниями реалистического метода. В этом отношении воспоминания XVIII века, несмотря на удивительную четкость своих контуров (хронологических и фактографических), в целом менее рельефны в деталях. Авторы записок, как правило, передают общее, нерасчлененное впечатление, но почти никогда, за немногими исключениями, не воспроизводят его в подробностях. Вот как Болотов, например, рассказывает о Петербурге, увиденном им впервые: «Я никогда еще его до тогдашнего времени не видывал, а только слышался довольно, и потому нетерпеливо хотел видеть. Желание мое и удовольствовано было с избытком. Я при самом въезде растерял уже глаза на прекрасные дома и раскрашенные повсюду заборы и решетки, и только что сидючи с покойною матерью в коляске восклицал: ну! Петербург! прямо Петербург! Когда ж увидел дворец и прочие огромные здания, то не знал, как и изобразить свое удивление»<sup>1</sup>. Как бледно это впечатление в сравнении с тем литературным образом Петербурга, сложным и многоплановым, который сложился в XIX веке! Даже эмоциональность автора в этом описании почти лишена индивидуальной окраски.

Интересно, что в записках Державина внешний мир с его материальными приметами, конкретными определенными вещественной фактуры эпохи, не более выразителен, чем у Болотова. Зато в своих стихах Державин воссоздавал тот же мир с такой чувственной полнотой, с такой яркостью, плотностью и упругостью всех внешних примет бытия, что поэтическое слово его кажется едва ли не убедительнее изображаемого им реального предмета.

Шексниска стерлядь золотая,  
Каймак и борщ уже стоят;  
В графинах вина, пунш, блистая  
То льдом, то искрами манят;  
С курильниц благовонья льются,  
Плоды среди корзин смеются...

(«Приглашение к обеду»)

Открытия поэзии намного опередили прозу того же времени. Средоточие воспоминаний XVIII века — это конкретная летопись событий и общая духовная атмосфера эпохи. Описание почти всегда преобладает в них над изображением. Поэтому быт больших «помещичьих гнезд» в этих записках лишен материальной плотности и обычно кажется невесомым. Дух словно воспаряет над бытом, но в своем

<sup>1</sup> Цитирую по изд.: Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков.— М., 1986, с. 31.

парении уносится так высоко, что быт становится почти неразличимым. Ни царский липец, который пьет семейство Глинки во здравие матушки Екатерины, ни великолепный праздник, устроенный Потемкиным для императрицы в Таврическом дворце по случаю взятия Очакова, не имеют своих индивидуальных, запоминающихся свойств. Они не отделены от ряда подобных им явлений окружающего мира.

О чем пишут и что опускают в своих записках их авторы? Что кажется им значительным и что они считают возможным передать забвению? Самыми главными историческими событиями своего времени мемуаристы XVIII века считали войны, а также все то, что было связано с царствованием Екатерины II, с ее личностью и ее политическими замыслами. Вспомним, какое значение имело посещение Екатериной семейства С. Н. Глинки и какую оно оставило в этом семействе долгую и благоговейную память. Никто из мемуаристов, представленных в настоящем издании, не написал о лицедействе Екатерины II, как писал об этом Пушкин. Многие мемуаристы искренне не замечали этого качества, ослепленные блеском ее величия, расточаемых ею милостей, обаяния и той хорошо отработанной театрализованной манерой обращения с людьми, которая создавала иллюзию ее интереса к ним и их близости к ней. Известный историк В. О. Ключевский писал о «матушке-императрице»: «Она сама признавалась, что «любила быть на людях». Обстановка и впечатление дела были для нее важнее самого дела и его последствий; поэтому образ действий ее был выше побуждений, их вызвавших. Она больше имела в виду современников, чем потомство; оттого первые ставили ее выше, чем ставит последнее»<sup>1</sup>. То, как высоко ставили ее современники, Державин выразил в оде «Фелица». Ему понадобилось много лет, чтобы увидеть в Екатерине «подлинник человеческий с великими слабостями».

Долгое и неоднозначное по характеру царствование Екатерины II запечатлелось в записках XVIII века преимущественно своей парадной стороной. Именно с этой стороны предстают на страницах мемуаров многочисленные войны, которые вела Екатерина. Победоносные действия русских войск против шведов и турок, феерические победы П. А. Румянцева-Задунайского, Суворова, Потемкина; взятие Измаила, Кагула, Очакова, Варшавы, поражение шведской эскадры в Балтийском море; неслыханные по роскоши праздники и невиданные по изобретательности пиротехников фейерверки по случаю побед. И только где-то за завесой порохового дыма, за гулом разрывающихся ядер можно смутно угадать стоны раненых, искалеченных; мольбы о помощи и проклятия побежденных. Эта сторона войны не попадала в кадр. Пожалуй, только Л. Н. Энгельгардту удалось (пусть в минимальной степени) показать будничную сторону войны, ее прозу. Но и он сказал об этом словно мимоходом, как человек, желающий забыть страшное, скорее пройти мимо него. «Что бы вообразить картину ужаса штурма по окончании оного, надобно быть очевидным свидетелем,— писал он о штурме предместья Варшавы Праги.— До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвленные, а на берегу оной навалены были груды тел, убитых и умирающих <...>. При виде всего того сердце человека замирает, а взоры мерзятся таковым позорищем. Во время сражения человек не только не приходит в сожаление, но остервеняется, а после убийство делается отвратительно» (с. 295).

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. V.— М., 1921, с. 17.

Кажется, будто из этого описания выросли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и «Четыре дня» Всеволода Гаршина.

Повествуя о прошлом, мемуары устремлены в будущее. В них, эстетически далеко не равноценных, иногда простодушно-наивных,— историческая и нравственная память человечества: память о победах и поражениях, о великих деяниях и трагических ошибках. В 1843 году в статье «Публичные чтения г. Грановского» Герцен писал: «тем сильнее развивается жадное пытанье прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчесствует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед»<sup>1</sup>.

Мемуарные тексты, вошедшие в настоящее издание, охватывают период царствований Екатерины II и Павла I. Во всяком случае, составитель, иногда позволяя себе сделать шаг назад, в предшествующую эпоху, стремился не заходить дальше 1801 года.

В основу издания положены следующие принципы:

В книгу включены мемуары, написанные только по-русски. Поэтому здесь отсутствует, например, такое значительное явление документальной литературы, как «Записки» Е. Р. Дашковой, переведенные с французского языка.

В книгу вошли записки о XVIII веке, независимо от того, в каком столетии (XVIII или XIX) они были созданы или опубликованы. Поэтому читатель найдет здесь и рассказы людей екатерининской эпохи, и значительно более поздние записки, сделанные со слов этих людей.

Весь материал расположен в хронологической последовательности (соответственно дате рождения каждого автора).

Принимая во внимание широкую читательскую аудиторию, к которой обращена эта книга, тексты приближены к современным орфографическим и синтаксическим нормам.

Аудитория книги определила и специфику примечаний: в них отражено лишь самое необходимое, то есть дано объяснение иноязычных и устаревших слов, определены хронологические рамки исторических событий и т. п. Тексты русских мемуаров (в том числе и напечатанных в этой книге) еще ждут своего научно-критического анализа.

Все даты в книге приведены по старому стилю.

Открывают книгу рассказы об А. В. Суворове. Этот текст, составленный В. Е. Рудаковым, включает материалы, взятые из самых разных источников, и представляет собою в некотором роде собрание отголосков народной молвы и народных преданий о Суворове. Среди источников, которыми пользовался В. Е. Рудаков, нужно прежде всего назвать книгу Е. Б. Фукса «Анекдоты князя Итальянского, графа Суворова-Рымникского» (СПб., 1827). Давая выдержки из книги Рудакова, составитель не обозначал купюр, поскольку книга не представляет собою последовательного рассказа, а состоит в основном из отдельных записей. Сокращения примечаний, сделанных самими мемуаристами, специально не оговариваются.

Ограниченный объем книги заставил составителя сделать значительные сокращения в текстах. При этом составитель стремился дать читателю представление о характере тех или иных записок, а также о своеобразии литературного облика каждого мемуариста.

Так, например, из огромных по объему записок А. Т. Болотова в книге приведено лишь несколько глав, которые в известной мере отражают манеру мемуариста.

<sup>1</sup> Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 2.— М., 1954, с. 112—113.



В извлечениях даны «Записки» Г. Р. Державина: в них сохранена биографическая канва и опущены утомительные для широкого читателя подробности государственной деятельности поэта.

Записки С. Н. Глинки напечатаны здесь с сокращениями и доведены до конца XVIII столетия. В действительности его книга охватывает значительно больший период времени. Отчасти по этому же принципу сокращены мемуары И. И. и М. А. Дмитриевых, записки Е. Н. Львовой и С. В. Скалон.

Записки Л. Н. Энгельгардта приведены в настоящем издании почти в полном объеме. Это объясняется особой значительностью этого памятника русской мемуаристики, а также и тем, что книга Л. Н. Энгельгардта не перепечатывалась с 1868 года.

Всем мемуарам, помещенным в этой книге, предпосланы биографические очерки об их авторах. Очерки об А. В. Суворове, А. Т. Болотове, И. И. и М. А. Дмитриевых, а также о С. Н. Глинке и С. В. Скалоне написаны В. В. Куниным; очерки о Г. Р. Державине, Л. Н. Энгельгардте и Е. Н. Львовой — И. И. Подольской.

Представляя книгу на строгий суд читателя, хочется в заключение привести слова историка и знатока XVIII века П. П. Пекарского: «Наша литература XVIII века, сравнительно с другими, бедна записками современников, и этот недостаток налагает на нас обязанность дорожить как этими памятниками, так и всем тем, что может дополнить и объяснить их»<sup>1</sup>.

*И. Подольская*

---

<sup>1</sup> Пекарский П. П. Русские мемуары XVIII века.— «Современник», 1855, № 4, с. 55.



# РУССКИЕ МЕМОАРЫ



## АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ

(13.XI.1730—6.V.1800)



Между историческими событиями и между выдающимися людьми, которыми гордятся разные поколения, как правило, обнаруживается живая и конкретная преемственная связь. Прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал близко знал юного Александра Суворова и предрекал ему славное будущее. Пятнадцатилетний юноша Александр Пушкин в знаменитых «Воспоминаниях в Царском Селе» благодарно назвал имя Суворова, символизирующее только-только ушедшее в историю столетие. Помните?

О, громкий век военных споров,  
Свидетель славы россиян!  
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,  
Потомки грозные славян,  
Перуном Зевсовым победу похищали;  
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир;  
Державин и Петров героям песнь бряцали  
Струнами громозвучных лир...

Одного из любимейших товарищей — Владимира Вольховского, самоотверженно готовившего себя к службе отечеству, — лицеисты пушкинского курса даже прозвали «Суворочкой». Не исключено, что среди неосуществленных замыслов Пушкина была и биография Суворова. В начале 1833 г. поэт-историограф обратился к военному министру с просьбой предоставить ему среди прочих документов донесения Суворова о ходе кампаний 1794 и 1799 гг. Личность великого полководца куда точнее представляла в глазах потомков русскую историю, нежели имена правивших при нем императоров. Впрочем, Суворов не только великий полководец. Подобно Ломоносову и Пушкину, он олицетворяет особенности русского национального характера и прежде всего одну из важнейших его черт — национальное благородство. Если искать ключ к характеру Суворова, то среди великого множества высказанных им мудрых афоризмов стоило бы выбрать такой: «Истинной славы не

следует домогаться, она — следствие той жертвы, которую приносишь для общественного блага». Возможен, однако, и иной выбор девиза, например: «Доброе имя есть принадлежность каждого человека, но я заключал доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию». А, может быть, вот это: «Мои мысли: вывеска дураков — гордость, людей посредственного ума — подлость, а человека истинных достоинств — возвышенность чувств, прикрытая скромностью»...

\* \* \*

Александр Васильевич Суворов родился в Москве, на Арбате. Так что патриоты этой улицы, хранящей лучшие традиции древней столицы, по праву числят в славном списке земляков и это имя. Дом на Арбате был продан в 1740 г., и Суворовы перебрались в Покровскую слободу, но как бы то ни было, первые десять лет жизни Александра были арбатскими. Отец его Василий Иванович (1705—1775) был денщиком, ординарцем и переводчиком с французского у Петра I (здесь снова нетрудно увидеть прямую преемственность, связывающую величайших людей России). При Бироне терпел он опалу и отставку. Но Елизавета Петровна вновь призвала на службу отца денщика. Петр III отринул снова и чуть было не уснул в Тобольск. Екатерина, напротив, приглубила. Впоследствии Суворов-старший дослужился до чинов немалых: он был генерал-сенатором, прокурором, генерал-губернатором, главным интендантом. По меньшей мере два десятилетия службу одновременно проходили оба Суворова, хоть встречались крайне редко. О матери известно совсем немного: звали ее Авдотья Федосеевна Манукова; происхождение — из небогатой дворянской семьи. Биографы считают, что от матери (умерла она, когда старшему сыну не было и шестнадцати) унаследовал Александр Васильевич любовь к языку простонародья, знание пословиц и поговорок, которыми постоянно пересыпал устную речь свою, письма и чуть ли не военные донесения. Он вообще любил все русское, говоря «горжусь, что я россиянин». А то, бывало, и в стихах скажет:

Пудра не порох,  
Букли не пушки,  
Коса не тесак,  
Я не немец, а природный русак.

В год рождения Пушкина сражаясь в Италии, Суворов говорил, что в итальянских народных песнях находит он сходство с русскими, особенно когда поют не в помещении,

а в чистом поле. Тогда переселяешься в Россию. «Надо только зажмуриться, иначе оливковые и лимонные деревья разрушат такое очарование», — добавлял он. Глубоко прав был один из его биографов (А. Ф. Петрушевский), сказавший: «Суворов был русский человек вполне; погрузившись в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести на себе ее сильного влияния. Он сроднился с нею навсегда; все, на что находила она отголосок в его натуре, выросло в нем и окрепло или уже усвоилось, укоренилось».

Образование Суворов получил домашнее — отменнейшее: свободно изъяснялся и писал не только по-русски, но и по-немецки, и по-французски (в зрелые годы добавил итальянский и испанский); латынь, древнеримскую и греческую историю и культуру знал превосходно и умело пользовался воинскими примерами античности. Всегда свойственно ему было «быстронаравие» — молниеносная реакция во всем: в речи, в поступках, в чтении, в изучении различных наук. Физически от природы был слаб, но многолетними неотступными упражнениями достиг и силы, и здоровья, и бодрости до седых волос...

Уже в октябре 1742 г. на имя императрицы было послано нижеследующее прошение:

«Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица Елисавет Петровна Самодержица Всероссийская Государыня Всемилоостивейшая.

Бьет челом недоросль Александр Васильев сын Суворов, а о чем тому следуют пункты:

## 1

Понеже я в службу Вашего императорского Величества еще нигде не определен.

## 2

А имею я желание служить Вашему Императорскому Величеству в лейб-гвардии Семеновском полку, и дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было меня именованного определить в означенный Семеновский полк солдатом.

Всемилоостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорского Величества о сем моем челобитье решение учинить.

К сему прошению Александр Суворов руку приложил».

Просьбу, как водится, уважили и, тоже по обычаю, предоставили рядовому лейб-гвардии Семеновского полка Александру Суворову «отпуск» для обучения в родительском доме «указным наукам». Чуть ли не полвека спустя генерал-аншеф Суворов писал: «Когда я себя вспомяну десятилетним, в нижних чинах со всеми к тому присвоениями: мог ли себя вообразить, исключая суетных желаний, столь высоко быть вознесенным». Путь, который ему довелось пройти, в юности и вправду казался несбыточным.

В 1747 г., вскоре после смерти матушки своей, Суворов, еще не служивший, был произведен в капралы, а 1 января 1748 г. явился к месту службы — в 3-ю роту Семеновского полка.

И потекли, а вернее — понеслись бесконечной вереницей долгие годы его бескорыстного и беззаветного служения отечеству, которые пришлось на не замолкавшие военные бури XVIII столетия — до самого его конца. В реальности пробыл Суворов в армии небывало долго — более полувека. Верно сказал уже в наши времена автор поэмы «Суворов» К. М. Симонов:

Он под военною трубой  
Был вскормлен, вспоен и воспитан.  
И добрый барабанный бой  
Не раз в бою был им испытан.  
На неприступный Измаил  
Ведя полки под вражьи клики,  
Он барабанный бой ценил  
Превыше всяческой музыки.

Один из первых начальников Суворова (в Петербурге) написал его отцу Василию Ивановичу письмо, в котором легко заметить не только восхищение, но и удивление редкой жизненной стойкостью и самоотречением будущего полководца. Из этого письма стоит привести пространную выдержку, ибо оно — о зарождении тех свойств характера, которые объясняют вошедшую в обиход в конце XVIII столетия поговорку: «Суворова не пересуворишь!» Итак, ротный командир пишет: «Сын ваш по усердию к службе, по знанию ее и по поведению был первым солдатом во всей гвардии, первым капралом, первым сержантом. Всегда ставили мы его в пример и молодым дворянам, и сдаточным, потому что сын ваш не только не хочет отличиться от простых солдат, но напрашивается на самые трудные обязанности службы. Большую часть времени проводит он с солдатами в казармах, и для того только имеет свою вольную квартиру в казармах, чтобы свободно и беспрепятственно заниматься в ней науками. Деньги, которые вы присылаете, издерживает он только на помощь солдатам, на книги и на учите-

лей и с усердием посещает классы шляхетского кадетского корпуса в часы преподавания военных наук. Никогда, подобно другим дворянам, не нанимал он за себя других солдат или унтер-офицеров на службу, а напротив охотно ходит в караул за других. Для него забава стоять на часах в ненастье или жестокую стужу. Простую солдатскую пищу предпочитает он всем лакомствам. Никогда не позволяет он солдатам, которые преданы ему душою, чистить свое ружье и амуницию, называя ружье своей женою. Когда солдаты, которым он благодетельствует, просят позволить им сделать что-нибудь для него угодное — он принимает от них только одну жертву, а именно чтобы они для его забавы поучились фронту под его командой! Несколько раз заставлял я его на таком ученье, когда он, будучи еще рядовым, командовал несколькими сотнями. Хотя это учение было — только игры, но он занимался им с такой важностью, будто был полковым командиром — и требовал от солдат даже более, нежели мы требуем на настоящем учении. У него одна страсть — служба, и одно наслаждение — начальствовать над солдатами! Не было исправнее солдата, зато не бывало исправнее унтер-офицера как ваш сын! Вне службы он с солдатами как брат, а по службе неумолим. У него всегда одно на языке: дружба дружбой, а служба службой. Не только товарищи, но и мы, начальники, почитали его «чужаком».

О чудачествах Суворова, об эксцентричности его натуры, непредсказуемости поступков ходили (и ходят) бесчисленные легенды. Собственно, к их числу принадлежат и те несколько рассказов («анекдотов»), которые печатаются в настоящем сборнике. Это по жанру как бы смешение реальных мемуарных сведений со стоустой народной, прежде всего солдатской, молвой. В них могут быть вымышленными подробности, но несомненно правдива общая атмосфера безмерной любви и уважения к этому великому «чужаку», начавшему путь солдатом и кончившему генералиссимусом...

Литература о Суворове огромна и разнообразна. В кратком очерке и надежды нет охарактеризовать боевой путь его или даже перечислить основные сражения, в которых он, как правило победно, участвовал. Но о некоторых чертах его личности хотелось бы здесь рассказать читателю чуть подробнее. Впрочем, сначала предложим кратчайшую выписку из хронологического перечня его воинских деяний\*.

---

\* Новейшим и самым обстоятельным трудом о жизни А. В. Суворова служит теперь книга: А. В. Суворов. Письма. Издание подготовил В. С. Лопатин. — М., «Наука», 1986. («Литературные памятники»). Мы широко пользуемся этим образцовым трудом.



1759, 14 июля. Впервые принимал участие в сражении с пруссаками в чине подполковника.

1760, 28 сентября. Вошел с русскими войсками в Берлин.

1762, 26 августа. Полковник Суворов назначен командиром Астраханского пехотного полка.

1763, 6 апреля. Переведен на должность командира Суздальского полка.

1768, 22 сентября. Получил чин бригадира.

1769—1772. Сражался в Польше против войск Барской Конфедерации.

1770, 1 января. Произведен в генерал-майоры.

1772, 17 сентября. Переведен в войска, стоявшие на шведской границе.

1773. Удовлетворена его просьба о переводе в армию П. А. Румянцева на театр Турецкой войны, где одержал ряд побед.

1774, 17 марта. Произведен в генерал-поручики.

1774, осень. Назначен был сражаться против Пугачева, но восстание подавлено до его приезда. Он лишь конвоировал плененного Пугачева из Яицкого городка в Симбирск.

1774—1775. Служил в Поволжье.

1776, 1-я половина года. Назначен командиром Санкт-Петербургской дивизии (а вскоре — Московской).

1776, ноябрь. Послан воевать в Крым.

1777—1779. Командовал Кубанским и Крымским корпусами.

1780, 11 января. Отправлен в Астрахань для подготовки похода в Персидские ханства.

1782, август. Вновь Кубанский корпус.

1784—1785. Жил в своих имениях во Владимиро-Суздальских землях.

1785. Призван для службы в 1-й Санкт-Петербургской дивизии.

1786, 22 сентября. Стал генерал-аншефом.

1786, конец года. Вновь на войне против турок при главнокомандующем Г. А. Потемкине.

1787—1791. Геройски сражается в русско-турецкой войне. Навсегда вошли в историю его победы при Очакове, Фокшанах, Рымнике (отсюда — граф Суворов-Рымникский), Измаиле.

1791, март. Триумфальная встреча в Петербурге; назначен подполковником Преображенского полка (полковник — сама Екатерина II).

1791—1792. Строит укрепления на севере — в Финляндии.

1792—1794. Строит укрепления на юге—в Тамани и Крыму.

1794—1795. Участвует в Польской кампании.

1794, 19 ноября. Становится генерал-фельдмаршалом.

1795, 3 декабря. Торжественная встреча в Петербурге; затем снова отправляется в Финляндию.

1796. Командует армией на юге России (штаб-квартира в Тульчине).

1797, 6 февраля. Павел I отстраняет Суворова от службы и ссылает в Кобрин, а затем в Кончанское.

1799, 6 февраля. По просьбе австрийского и русского императоров соглашается принять командование союзными войсками в Северной Италии.

1799. Сражается с войсками Наполеона Бонапарта в Италии и Швейцарии. Штурм Сен-Готарда и Чертова моста. Становится князем Италийским и генералиссимусом всех русских войск.

1800, конец марта. Новая опала.

1800, 6 мая. Смерть в Санкт-Петербурге.

1800, 12 мая. Похороны в Николо-Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

За этим беглым перечнем стоит не только вся жизнь талантливого военачальника, но и вся русская история второй половины XVIII века, неотделимая от самого имени Александра Васильевича Суворова.

\* \* \*

Суворов создал военную «Науку побеждать», которая жива и поныне и сослужила огромную службу русской армии, в том числе и в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Начало ей он положил еще в 1763—1769 гг., командуя Суздальским полком в Новой Ладогe. Там на свое иждивение выстроил он училище для солдатских детей, сам учил их арифметике и сочинял учебные книги. Наблюдения над солдатами, раздумья об «экономном» (минимум потерь при максимальном военном эффекте) ведении боя привели к появлению своего рода устава «Полковое учреждение». В Новой Ладогe впервые тренировал он трудные марши, внезапные ночные броски, глазомер, быстроту и натиск своих будущих чудо-богатырей. Здесь понял простые, казалось бы, истины, которые с тех пор иначе как суворовскими и не зовут. Примерно к 1795 г. «Наука побеждать» (подзаголовок ее особенно важен: «Разговор с солдатами их языком») сформировалась как целостное не только военное, но и этическое учение, проникнутое стремлением к победе и неустанной заботой

о тех, кто ее добывает. При жизни Суворова текст «Науки...» не публиковался. Появился он только в 1806 г. Приведем без комментариев несколько положений военной доктрины Суворова, как входящих в «Науку побеждать», так и высказанных в других документах и письмах.

«Тяжело в ученье — легко в походе, легко в ученье — тяжело в походе».

«Солдат и в мирное время на войне».

«В обучении экзерциции и прочего наблюдать, чтоб поступаемо было без жестокости и торопливости, с подробным растолкованием всех частей особо и с показанием одного за другим».

«Меч обнажается со славою только на защиту отечества, в руке убийцы или дуэлиста он позорное орудие трусости».

«Береги пулю на три дни, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять! Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко, пуля обмишуются, а штык не обмишуются. Пуля дура, штык молодец. Коли один раз, бросаю бусурмана со штыка <...> Сабля на шею, отскокни шаг. Ударь опять. Коли другого, коли третьего. Богатырь заколет полдюжины, а я видал и больше. Береги пулю в дуле. Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун <...> В атаке не задерживай».

«Штыки, быстрота, внезапность — вот наши вожди. Неприятель думает, что за сто, за двести верст; а ты, удвоив, утроив шаг богатырский, нагрянь на него быстро, внезапно. Неприятель поет-гуляет, ждет тебя с чистого поля, а ты из-за гор крупных, из-за лесов дремучих налети на него, как снег на голову; рази, тесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться: кто испуган, тот побежден наполовину; у страха глаза большие, один за десятерых покажется. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную...»

«Что есть глазомер? — вопрошал Суворов, — быстрый обзор всех предстоящих предметов для определения числа и величины их». И приводил пример: «На войне влезай на дерево, как я при Рымнике. Я увидел неприятельский лагерь, местоположение и поздравил себя на дереве с победой».

«Наука побеждать» кончается короткими поучениями, в сумме составляющими своего рода солдатский катехизис:

Субординация — послушание.

Экзерциция — обучение.

Дисциплина.

Ордер воинский — порядок воинский.

Чистота.

Здоровье.

Опрятность.

Бодрость.  
Смелость.  
Храбрость.  
Победа.  
Слава, слава, слава.

Полководцы учат сражаться, т. е. убивать, — такова ужасная логика войны во все исторические времена. Между тем Суворов отеческой любовью любил солдата иставлял его, как, храбро сражаясь, уцелеть в бою и в походе. Величайшей радостью было для него нанести внезапный удар и, не допустив больших потерь, предотвратить кровопролитие. Фельдмаршал требовал, чтобы каждого солдата, отличившегося храбростью или каким-либо подвигом, представляли ему лично. Он обнимал, целовал воина и потчевал его из своих рук. За то и солдаты в нем души не чаяли, распевая, например, такую песню:

С предводителем таким  
Воевать всегда хотим.  
За его храбры дела  
Закричим ему «ура!»

Ни на кого в целом свете не променяли бы они своего фельдмаршала. Рассказывают, что некий генерал, завидовавший славе Суворова, попытался как-то «спародировать» старика. Подражая голосу и манере Суворова, он закричал солдатам: «Здравствуйте ребята, чудо-богатыри, друзья мои!» В ответ славное воинство только расхохоталось. Раздались голоса: «Чего он к нам привязался?» Суворов был истинно неподражаем. Он мог, к примеру, узнать в строю солдата, с которым вместе воевал много лет назад, и обнять его как брата. Никакого покровительства, никакой протекции он не признавал. Получив однажды рекомендательное письмо с просьбой вне очереди повысить кого-то в чине, отвечив так: «Осчастливив одного неблагодарного, я оскорблю несколько сотен достойнейших и старших. Дорожу уважением к себе в армии».

Наряду с воинскими правилами, часть которых выше приведена, создал он и иной устав — устав солдатского здоровья. Недаром называют Суворова одним из первых русских гигиенистов. «Болезнь легче предупредить, чем вылечить», любил он повторять. Вот пункты суворовского «профилактического» устава: «1. Разуваться, раздеваться (на ночлег и отдых); 2. Одежду, обувь просушивать; оные довольно были б просторны и вычинены; 3. Потному не садиться за кашу; 4. Отдыхать на сухом месте; 5. Рубах и портянок довольно; 6. Во всем крайняя чистота; 7. Кто не поспел за кашу, тому хлеб; 8. Как скоро варево поспело, ту же минуту в пищу; 9. Ленивого лежачку палкой...»;

10. Слабого лежачку — хлыстом; 11. На лихорадку, понос и горячку — голод, на цингу — табак; 12. Солдатское слабительное — ревеня и корень коневого щавеля то же; 13. Непрестанное движение на досуге, марш, скорый заряд, повороты, атака; 14. Кто не блюдет своего здоровья — тому палки, морским — линёк, с начальников — строже; 15. На голову от росы колпак, на холодную ночь плащ; 16. Для чистоты ж баня, купанье, умыванье, ногти стричь, волосы чесать; 17. Крайняя чистота ружья, мундира, амуниции, стрелять в мишень; 18. Для здоровья основательные наблюдения три: питье, пища, воздух; 19. Предосторожность по климату: капуста, хрен, табак, летние травы, ягоды же в свое время, спелые, в умеренности, кому здоровы; 20. Медицинские чины от высшего до нижнего имеют право каждый мне доносить на неберегущих солдатское здоровье разного звания начальников, кои его наставлениям послушны не будут, и в таком случае тот за нерадение подвергнется моему взысканию».

Вполне современно звучит его «профилактическое кредо»: «Причины болезней изыскивать не в лазаретах между больными, но между здоровыми и в полках, батальонах, ротах и разных отдельных командах, исследовав их пищу, питье, строение казарм и землянок, время их построения, пространство и тесноту, чистоту, поваренную посуду, все содержание, разные изнурения, о чем доносить полковому или иному командиру». Госпиталь считал для солдата крайней мерой: «Бойся богадельни (так называл он госпиталь. — В. К.), немецкие лекарственницы, издавна тухлые, сплошь бессильны и вредны, русский солдат к ним не привык; у вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог, береги здоровье... В богадельне первый день — мягкая постель; второй день — французская похлебка; третий день ее братец — домовище (т. е. гроб) к себе и тащит. Один умирает, а десять его товарищей хлебают смертельный дух». «Я в горести о умерших», неизменно говорил он, поверая состояние войск.

Удивительно ли после этого, что смертность в частях и соединениях, руководимых Суворовым, сократилась во много раз по сравнению с той, что была до него. Вдобавок и сам он ни на шаг не отступал от собственного устава: по утрам окатывался холодной водою, выпарившись в бане, бросался в снег. Никогда не носил роскошной собольей шубы, подаренной ему Екатериной II — всегда мундир, простая куртка, да на холоде — старая, чуть ли не из родительского дома шинель. Однажды после жестокого ранения угваривал его кто-то из генералитета съездить полечиться на воды. «Помилуй бог! Что тебе вздумалось? Туда посылай здоровых, богачей, прихрамывающих игроков, интриганов и всякую сволочь. Там пусть они купаются в грязи, а я

истинно болен. Мне нужна молитва, в деревне изба, баня, каша и квас». Любил, чтобы в избе, которую он занимал на привалах и на учениях, всегда была жарко натоплена печь. «Что делать? — шутил он. — Ремесло наше такое, чтобы быть всегда близ огня, а потому я и здесь от него не отвыкаю». Поразительным образом ответил он как-то на вопрос военного врача, какой книгой лучше пользоваться при лечении воинов: «Читайте Дон Кишота», — сказал Суворов.

Под статью его учению о здоровье было и обращение Суворова с окружающими. В избе или простой горнице, вспоминал адъютант Суворова, сидел обыкновенный старик (лоб Суворова рано избородили глубокие морщины, он выглядел старше своего возраста) в солдатской куртке, либо в рубашке. Вы входите к нему без доклада, он подбегает к вам, обнимает, рассказывает странности, небылицы, прыгает, вертится, задает вам вопросы совершенно неожиданные. То он вдруг о древних греках заговорит, сравнивая их с римлянами, то о Римнике, то вдруг перейдет к народным обычаям или пляскам. Беседа с ним, все пуще огня боялись попасть в «немогузнайки». Он в самом деле не выносил ответа «не могу знать», так как был уверен: по любому вопросу офицер или солдат, подумавши, способен вынести собственное суждение. Ответы «не могу знать», «не умею доложить», слова полагаю, может быть, мне кажется сердили его чрезвычайно. На таких людей он, не взирая на чины, обрушивался яростно: «проклятая немогузнайка (или по-немецки: nichtbestimmt-sagen), намёка, догадка, лживка, лукавка, красноголовка, двуличка, вежливка, бестолковка, недомолвка, ускромейка». Никому не позволял он «дремать в немогузнайстве». Трусов ненавидел люто и в своем духе создал афоризм, над которым стоит подумать: «Труссы всегда жестокосерды».

В письме воспитаннику и крестнику А. Карачаю Суворов, может быть, наиболее полно сформулировал свои военно-этические взгляды:

«Достоинства военные суть: отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала, но оные должны быть руководимы порядком и дисциплиной, управляемы неусыпностью и прозорливостью.

Будь чистосердечен с друзьями, умерен в своих нуждах и бескорыстен в поведении. Являй истинную ревность к службе своему государю, люби истинную славу, отличай любочестие от надменности и гордости, приучай сызмальства прощать погрешности других и никогда не прощай их самому себе.

Обучай тщательно своих подчиненных и во всем подавай им пример. Упражняй непрестанно глаза свой — только

так станешь великим полководцем. Умей пользоваться положением места. Будь терпелив в трудах военных, не унывай от неудач. Умей предупреждать случайные обстоятельства быстротой. Различай предметы истинные, сомнительные и ложные. Остерегайся безвременной запальчивости. Храни в памяти имена великих мужей и подражай им с благоразумием в своих военных действиях. Неприятеля не презирай, каков бы он ни был. Старайся знать его оружие и способ, как оным действует и сражается; знай, в чем он силен и в чем слаб. Приучай себя к деятельности неутомимой, повелевай счастьем, один миг доставляет победу. Счастье покоряй себе быстротою Цезаря, кой и среди бела дня умел своих неприятелей уловлять и окружать и нападал на них, когда и где хотел. Не упускай пресекать неприятелям жизненные припасы, а своему войску учись всегда доставлять пропитания вдоволь». Нужно быть слепым, чтобы не увидеть в этом развернутую автохарактеристику полководца.

Особенно интересно было наблюдать за Суворовым, когда диктовал он диспозицию предстоящего сражения, взвешивал в уме силы неприятельские и свои, назначал позиции войскам, предписывал им, как действовать в той или иной обстановке. Сам любил чертить планы расположения войск или уж, по крайней мере, поправлял ошибки своих генералов. Вполне был прав один из соратников Суворова, прошедший с ним 35-летний воинский путь, когда сказал о нем: «Он решился быть единственным, ни на кого не походить; для сего пробежал он прежде обширное поле Истории всех веков; вы видите, с каким вниманием читает, слушает, твердит он биографии всех великих мужей, хвалит примеры их величия; но для своей славы прокладывает новую, дотоле не известную тропу».

При всем том Суворов был менее всего похож на профессионального вояку, способного только к маневрам и аллюрам. Военный дипломат он был тончайший и хитрец первостатейный, хотя и говорил: «кабинетной политики — не знаю». Во время Итальянского похода он творил простотами чудеса дипломатической изворотливости. «Я видел нередко, — вспоминает адъютант, — как приходили к нему союзные генералы с жалобами или объяснениями по недоразумениям, столь часто между союзниками возникающим и угрожавшим иногда неприятными последствиями, даже разрывом. Но одно его неожиданно острое слово, шуточный какой-нибудь рассказ о постороннем предмете, проказливые скачки — потушали вдруг пламя раздора в самом его начале. Они забывали иногда, зачем приходили».

Совершенно необычным для тех времен было рыцарское отношение Суворова к пленным. Всегда предпочитая сильного противника («мало славы разбить шарлатана»),

он требовал «с покорившимися наблюдать полное человеколюбие». Пленных вражеских генералов принимал у себя, как равных, нередко погом отпуская их с миром. С ранеными офицерами и солдатами, попавшими в плен, подолгу сочувственно беседовал. Осенью 1799 г. в труднейшем своем походе, прорываясь через перевал Паникс (высота 2404 м) по считавшейся непроходимой снежной тропе, он вел с собой, кормил и не давал в обиду тысячу французских пленных. Сама мысль избавиться от них «показалась бы русскому полководцу кощунственной», — справедливо замечает современный исследователь В. С. Лопатин. Болью отзывались в душе Суворова страдания русских солдат, когда они попадали в плен. В ноябре 1799 г. он пытался обменять несколько тысяч пленных французов на 300 попавших в плен суворовцев и в конце концов добился этого. Уважение Суворова к противнику благотворно сказывалось и на русских солдатах. Рассказывают такую историю. В сражении при р. Треббии (июнь 1799) солдат Митрофанов с товарищем взял в плен трех французов. Они отдали свои кошельки, часы и все, что с собой имели. Митрофанов возвратил им деньги. Кто-то из подбежавших наших солдат хотел было в ярости изрубить пленных, но Митрофанов не допустил: «Нет, ребята, я дам им пардон. Пусть и француз знает, что русское слово твердо». Тотчас же Митрофанов был представлен Суворову, и на вопрос: «Кто научил тебя добру?» ответил: «Русская азбука **С, Т**\* и словесное вашего сиятельства нам поучение: солдат — христианин, а не разбойник». Суворов обнял солдата и тут же произвел его в унтеры. «Солдату надлежит быть здорову, храбру, твердо, решиму, правдиву, благочестиву», — не уставал повторять полководец.

Ненавидел мародерство и сурово наказывал тех, кто пытался грабить мирных жителей. Как-то при выходе из альпийских ущелий, когда русская армия фактически голодала, солдаты схватили и зажарили двух быков. Владелец их, крестьянин, обратился с жалобой. Суворов тотчас расплатился с ним из собственного кармана.

Уважение к другим народам, независимо от того, союзники они или противники в сражении, всегда было в высшей степени свойственно Суворову, и это нисколько не противоречило ни его самозабвенной любви к отечеству, ни гордым словам Петра I, которые он любил повторять: «Природа произвела Россию только одну, она соперницы не имеет». Ничего не было для него святее России. «Как раб умираю за отечество и как космополит за свет», — сказал он однажды. «Мы не французы, мы русские, я наемник», — заявил он как-то с запальчивостью.

---

\* В азбуке буква **С** называлась «слово», **Т** — «твердо».



Расскажем в нескольких словах читателю о нелегко сложившейся личной жизни Суворова. До 44 лет он не был женат. Суворова-старшего это беспокоило и он подыскал Александру Васильевичу невесту — дочь отставного генерала Варвару Ивановну Прозоровскую (1750—1806). Двадцатью годами моложе жениха, статная и красивая, она шла без любви за неказистого, невысокого, сутуловатого, чуть прихрамывающего генерал-поручика. Но отец Суворова был хорошо обеспечен, виды на продвижение по службе у жениха — явные, а состояние Прозоровских — прожито. Вероятнее всего, не пылал любовью и жених. Во всяком случае, он говорил: «Меня родил отец, и я должен родить, чтобы отблагодарить отца за рождение»: 18 декабря 1773 г. состоялась помолвка, 16 января 1774 г. — свадьба в Москве. Скоро родилась дочь Наталья (1775—1844). Варваре Ивановне пришлось нелегко — интересовалась она более всего светским обществом, а довелось жить то в имении в Полтавской губернии, то следовать за суворовской армией с малолетней дочерью. «Судьба сулила этой женщине, — писал один из биографов, — быть женой гениального полководца, и она не может пройти незамеченной. Она, как Екатерина при Петре, светила не собственным светом, но заимствованным от великого человека, которого она была спутницей. Своего жребия она не поняла и не умела им воспользоваться, в значительной степени по своей вине, а таких людей нельзя оправдывать, их можно только прощать». Долго ли, коротко ли, уже в 1777 г. из-за измены жены Суворовы разъехались. Варвара Ивановна увезла Наташу-Суворочку в Москву. Суворов не прощал предательства — ни в бою, ни в мирной жизни. Был, правда, короткий период примирения супругов в 1780-х годах, кончившийся новой изменой. Младшего сына Аркадия (1784—1811) фельдмаршал долго своим не признавал, и только в конце жизни поверил в свою с ним родственную связь. Суворов совершил «разделку по приданому» и забрал у Варвары Ивановны дочь. 31 декабря 1779 г. посланный Екатериной II офицер взял маленькую Наташу от матери и отвез в Петербургский Смольный институт. Впоследствии ей даже не было разрешено переписываться с матерью. Словом, только в собственной семье не удалось Суворову провести в жизнь любимый афоризм — «счастлив тот, кто повелевает счастьем».

Дочь он нежно любил и даже сказал однажды: «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи». Он посылал ей ласковые письма, страдая душой от того, что матери она фактически лишилась, отец от нее далече, и живет На-

таша среди чужих людей. 3 ноября 1789 г. он писал ей с театра русско-турецкой войны: «Что хорошего, душа моя сестрица? (так отец часто называл Суворочку. — В. К.). Мне очень тошно, а уж от тебя не помню, когда писем не видал. Мне теперь досуг, я бы их читать стал. Знаешь, что ты мне мила; полетел бы в Смольный на тебя посмотреть, да крыльев нет. Куда, право, какая. Еще тебя ждать 16 месяцев, а там пойдешь домой. А как же долго! Нет, уже не долго. Привози сама гостинцу, я для тебя сделаю бал». В другом письме, из-под стен Измаила, он наставлял ее: «Сберегай в себе природную невинность, покамест не закончится твое учение». А о себе сообщал: «Смелым шагом приближаюсь к могиле, совесть моя не запятнана. Мне шестьдесят лет, тело мое изувечено ранами, но господь дарует мне жизнь для блага государства... Вот сколько разглагольствований, несравненная моя Суворочка». Дочь надеялась, что он сможет быть на выпускном акте Смольного института: «Прошу вас, дражайший батюшка, поскорее ко мне приехать для того, что наш выпуск будет 15 февраля 1791 года». Он опоздал на несколько дней, не успев повидать дочь в белом праздничном наряде. Наталья Александровна Суворова закончила успешно курс Смольного института. Но к отцу, как мечтал он, ей поехать не довелось. Екатерина II, думая, что делает для Суворова великое благодеяние, призвала его дочь фрейлиной во дворец, положив ей жалованье 600 рублей в год. Однако старый воин отнесся к этому как к великому несчастью: он-то хорошо представлял себе всю мерзость нравов екатерининского двора. Сравнивая судьбу дочери с заключением в Бастилию, он страшился за нее. «Наташа правит моей судьбою, — говорил он. — Скорее замуж, дотеле левая моя сторона вскрыта».

Суворов был убежден, что пока Наташа фрейлина, враги его и завистники могут подстроить любую каверзу. Ему все же удалось забрать дочь из дворца и поселить под присмотром ее тетки, своей родной сестры. После довольно длительного перебора женихов (многие хотели породниться с Суворовым) Наташа вышла замуж за брата екатерининского фаворита, Н. А. Зубова. Это тот самый Зубов, который нанес удар табакеркой Павлу I в 1801 г. Обручение Суворочки происходило в Таврическом дворце, свадебный обряд состоялся 29 апреля 1795 г. У нее было шестеро детей, и первому внуку успел еще порадоваться Суворов. Воспитание сына Аркадия фельдмаршал тоже доверил старшей дочери. Когда в 1797 г. Суворова постигла опала, Наташа тотчас написала ему в Кончанское: «Все, что скажет сердце мое, молить о продолжении дней Ваших при спокойствии душевном. Мы здоровы с братом и сыном, просим благословения вашего... Желание мое

непременное — скорее вас видеть...» Очень скоро она приехала и разделяла заточение отца несколько месяцев... По завещанию отца ей достались все деревни, приобретенные им за годы службы—около 1500 душ крепостных. После смерти мужа Н. А. Суворова жила в Москве. Существует предание, что во время Отечественной войны 1812 года, выезжая из столицы, она повстречала французский патруль. Узнав, что перед ними дочь великого Суворова, ее беспрепятственно пропустили.

\* \* \*

Суворов как-то сказал: «Если б я не был полководцем, я стал бы писателем». Истинно так. Уже «Наука побеждать» и письма его говорят о безошибочном чувстве русского языка, прежде всего народной речи, о способности изъясняться лаконично, четко, о меткой образности сравнений. По воспоминаниям современников, в том числе П. И. Багратиона, настоящими шедеврами ораторского искусства были многие речи Суворова. Но Александр Васильевич «грешил» и стихами (чаще всего в письмах). Исследователи его жизни и трудов отыскивали 29 стихотворений—русских, немецких, французских. Иной раз они выглядят краткими, словно донесения. Например, главнокомандующему П. А. Румянцеву он сообщает:

Слава Богу, слава вам!  
Туртукай взят, я там.

Не чужд был сатиры. Находясь в размолвке с всесильным Г. А. Потемкиным, «выстрелил» в него эпиграммой:

Одной рукой он в шахматы играет,  
Другой рукою он народы покоряет,  
Одной ногой разит он друга и врага,  
Другую топчет он вселенны берега.

Трогательны, полны любви и юмора его стихотворные обращения к дочери. Иногда это нечто вроде повседневной хроники:

Нам дали небеса  
Двадцать четыре часа.  
Потачки не даю моей судьбине,  
А жертвую оным моей монархии  
И чтобы окончить вдруг,  
Сплю и ем, когда досуг.

В других—отеческие советы. Отдавая предпочтение одному из ее женихов, он увещевает, но, боже упаси, не настаивает:

Для дочери отец на свете всех святей,  
Для сердца же ее любезней и милей.  
Дать руку для отца, жить с мужем поневоле, —  
И графска дочь — ничто, ее крестьянка боле!  
Что может в старости отцу утехой быть? —  
Печальный вздох детей? Иль им в веселье жить?  
Все в свете пустяки — богатства, честь и слава:  
Где нет согласия, там смертная отрава,  
Где ж царствует любовь, там тысячи отрад,  
И нищий мнит в любви, что он, как Крез, богат.

Надо сказать, что стихи для конца XVIII столетия совершенно профессиональны. И к тому же несут на себе отпечаток неповторимой личности автора — удивительно умного и доброго человека, несмотря на его суровую профессию. За кажущейся его суровостью и за действительной непреклонностью, за всеми его обросшими слухами чудачествами скрывалось нежное сердце. Недаром, как считают литературоведы, Л. Н. Толстой придал некоторые черты личности Суворова любимому своему герою — старому князю Николаю Андреевичу Болконскому.

\* \* \*

Пока жива была Екатерина II, Суворов в общем был ценим, а порою, по докладам Потемкина, и обласкан, несмотря на случавшиеся иногда обиды и неудовольствия. Так, в 1789 г. после Рымника получил он «Георгия» 1-й степени, став шестым кавалером этого ордена в России. По этому случаю монархиня ему писала: «Особливое усердие, которым долговременная служба Ваша была сопровождена, радение и точность в исполнении предположений главного начальства, неутомимость в трудах, предпримчивость, превосходное искусство и отличное мужество во всяком случае, наипаче же при атаке многочисленных турецких сил, верховным визирем предводимых, в 11-й день сентября на реке Рымнике оказанное, где вы с войсками нашими... совершенную над неприятелем одержали победу, приобретают Вам особое Наше монаршее благоволение. В изъяснение оного Мы, на основании установления о военном ордене Нашем Святого Великомученика и Победоносца Георгия, пожаловали Вас кавалером того ордена Большого креста Первого класса, которого знаки при сем доставляя, повелеваем Вам возложить на себя». В 1795 г. Екатерина II пожаловала Суворову большое богатое имение Кобрин. Тогда же она распорядилась устроить полководцу торжественную встречу в Петербурге. За ним был выслан в Стрельну «придворный экипаж». «В Таврическом дворце, — рассказывает современный ком-

ментатор писем Суворова В. С. Лопатин, — для него были отведены покои, убранные согласно его вкусам: завешены зеркала (он их терпеть не мог. — В. К.), в гранитной вазе — ледяная вода, вместо постели — охапка сена...» 3 декабря 1795 г. Суворов прибыл в столицу и в тот же вечер был принят императрицей.

Однако с 6 ноября 1796 г., когда Екатерину II сменил на престоле Павел I, всё перевернулось и в судьбе Суворова. Не говоря уж о том, что всё матушкино новый царь старался переменить, всех ее любимцев устранить, Суворов не подходил ему и по самой сути своих воззрений. Менее всего Александра Васильевича занимала показная, внешняя форма и муштра в армии, более всего — самая суть взаимоотношений с офицерами и с солдатами. А тут для солдат вводились длинные неудобные мундиры с фалдами, узкие панталоны, низкие треугольные шляпы, башмаки с чулками, штиблеты (гетры. — В. К.) черного сукна. Солдат должен был думать не о воинском умении, а о том, как напудрить голову, заплести косу и сделать букли. Павловские «прускообразные» установления казались Суворову вздором. Старый полководец заведомо не мог ужиться с молодым царем. В целом правдиво (хоть, разумеется, и поверхностно) отражена ситуация в поэме Константина Симонова «Суворов»:

...Да где ж Россия?  
Где настоящие полки,  
Подчас раздетые, босые,  
Полмира бравшие в штыки?  
Фанаторийцы, гренадеры,  
Суворовцы? Да вот они —  
Им дали прусские манеры  
И непотребные штаны;  
Им гатчинцы даны в капралы,  
Их отучили воевать,  
Им старого их генерала  
Приказано не узнавать.  
Но сквозь их косы, букли, пудру  
Он сам их узнаёт. И — врешь! —  
Еще придет такое утро,  
Когда он станет вновь хорош.  
И, наплевав на все доносы,  
В походе в первый день войны  
Рассыплет пудру, срежет косы  
И перешить велит штаны.

6 февраля 1797 г. Суворов (формально — по собственному прошению) был отставлен от службы. В апреле он уехал в Кобрин еще вольным человеком с несколькими преданными ему офицерами, а 5 мая по доносу арестован

и под конвоем доставлен в село Кончанское Новгородской губернии. К нему был приставлен особый чиновник для надзора. Письма перехватывались, гости не допускались. Только Наташа с братом и сыном, как уже говорилось, получила разрешение некоторое время прожить в Кончанском. Нет худа без добра: назначенный следить за Суворовым коллежский советник Трефолев свою службу исполнял ревностно и оставил потомкам немало любопытных сведений. 22 сентября 1797 г. он, например, доносил: «Графа нашел в возможном по летам его здоровье. Ежедневные упражнения его суть следующие: встает до света часа за два; напившись чаю, обмывается холодной водою, по рассвете ходит в церковь к заутрене, и, не выходя, слушает обедню, сам поет и читает; опять обмывается, обедает в 7 часов, ложится спать, обмывается, служит вечерню, умывается три раза и ложится спать. Скоромного не ест, но весь день бывает один и по большей части без рубашки, разговаривая с людьми. Одежда его в будни — кашинский камзолчик, одна нога в сапоге, другая в туфле. В высокаторжественные дни — фельдмаршальский без шитья мундир и ордена; в воскресные и праздничные дни — военная егерская куртка и каска...»

Какой, должно быть, странной и чуждой казалась эта жизнь Суворову, пятьдесят лет проведенному в боях и походах, промывавшему раны свои морской водою и русской водкой, перевязывавшему их под пулями, ездившему перед войском сотни верст верхом. В поэтическом переосмыслении Н. Симонова суворовский быт в Кончанском выглядит так:

Господский дом в селе Кончанском  
С обеда погружен во тьму.  
Везде лампадки, как в мещанском  
Добропорядочном дому.  
Хозяин экономит свечи,  
Он скуповат по мелочам,  
Когда не спится, возле печи  
Он греться любит по ночам,  
Бывает, примостив лучину,  
В одном шлафроке, босиком,  
Сев по-турецки на овчину,  
Играет в шашки с денщиком:  
«Опять ты, Прощка, пересилишь,  
Опять мне в дамках не бывать...»  
«Тут нужен ум, Лексан Василич,  
Ведь это вам не воевать.  
Ну проигрались, что за горе?  
Вам нынче в шашки не с руки,  
По нынешним годам в фаворе  
Те, кто умеют в подавки...»

Андрей Тимофеевич Болотов (его мемуары и очерк о нем читатель найдет после «Анекдотов о Суворове») так описывает дальнейшую судьбу фельдмаршала: «В этом-то незначительном усадьбище Кончанском, среди болот и лесов, два государя двух огромных империй отыскивали в 1799 г. того великого Мастера в забытом маленьком старичке, который тотчас убавил пары гордой французской Директории, перекоротил ярых ее республиканцев и в ужас привел великого Наполеона». Так точно и было: 9 февраля 1799 г. по просьбе императора австрийского Франца II и российского Павла I Суворов приехал в Петербург и после долгих уговоров убыл в Вену. Здесь получил он чин фельдмаршала австрийской армии и стал главнокомандующим всеми союзными войсками. Надо сказать, что еще в Кончанском, предвидя возможный ход событий, он составил план кампании против Франции. В апреле — мае план был осуществлен. Суворов нанес сокрушающие, неожиданные удары наполеоновским войскам, освободив итальянские земли. Совершив небывалый в истории переход через Альпы в Швейцарию (о штурме Сен-Готарда и Чертова моста знают теперь и школьники), он вывел русские войска, предательски брошенные союзниками, из окружения и в который уже раз прославил свое имя и русское оружие. Фридрих Энгельс назвал этот подвиг суворовских чудо-богатырей «самым выдающимся из всех совершенных до того времени альпийских переходов» \*.

Дальнейшие планы Суворова были определены четко: «Мой учитель Юлий Цезарь, — писал он, — говорит, что тот не сделал ничего, кто не кончил дела полностью. Италия — это прелюдия. Идти до Геркулесовых столпов. Уже из Турина я намеревался идти через Гренобль в Лион, а оттуда до Парижа...» Но Павел I решил иначе: русские войска были отозваны на родину. Придравшись к какой-то совершеннейшей мелочи, император в начале 1800 г. вновь подверг немилости генералиссимуса всех российских войск.

6 мая 1800 г. во 2-м часу пополудни в Петербурге умер Александр Васильевич Суворов. На могиле в Александро-Невской лавре, по завещанию его, выбита надпись из трех слов: «Здесь лежит Суворов».

Суворов ушел из жизни уже при Пушкине. Пусть не покажется случайным это сопоставление: как Пушкин олицетворял собою для нашего Отечества начало века XIX, так Суворов с его независимостью, огромным военным и человеческим талантом был живым воплощением второй половины русского XVIII века. Поэтому с рассказа о нем и начинается мемуарный сборник.

---

\* Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. Изд. 2. Т. 13, с. 243.

## **ЛИТЕРАТУРА**

Суворов А. В. Документы. Под ред. Г. П. Мещерякова. Т. 1—4.— М., 1949—1953.

Алексеев С. П. Рассказы о Суворове и русских солдатах.— М., 1968.

Александр Васильевич Суворов. К 250-летию со дня рождения.— М., 1980.

Наука побеждать. Сборник материалов о Суворове.— М., 1984.

А. В. Суворов. Письма. Издание подготовил В. С. Лопатин.— М., 1986. («Литературные памятники»).



## ГЕНЕРАЛИССИМУС КНЯЗЬ А. В. СУВОРОВ В АНЕКДОТАХ И РАССКАЗАХ СОВРЕМЕННОКОВ

Однажды к <В. И.> Суворову приехал знаменитый Ганнибал, питомец Петра Великого. Василий Иванович, беседуя с ним, пожаловался между прочим на своего одиннадцатилетнего сына, рассказав о его занятиях и причудах (так он называл страсть его к военному делу). Ганнибал захотел лично поговорить с мальчиком, отправился в его комнату и застал будущего героя за книгами и чертежами военных планов. Убедившись из разговора с ним в больших знаниях мальчика и еще в большей любви его к занятиям военными науками, он обнял его и сказал:

— Если бы жив был батюшка наш, царь Петр Алексеевич, он поцеловал бы тебя в голову и порадовался бы на тебя!

Придя же к отцу Суворова, сказал ему, улыбаясь:

— Оставь, брат, Василий Иванович, сына своего с его гостями, — он пойдет подальше нас с тобою.

---

Будучи в Петергофе на карауле, Суворов стоял на часах у Монплезира. Императрица Елизавета Петровна проходила мимо. Суворов отдал ей честь. Государыня почему-то обратила на него внимание и спросила, как его зовут. Узнав, что он сын генерал-поручика Василия Ивановича Суворова, который был ей лично известен, она вынула серебряный рубль и хотела дать его молодому Суворову. Но тот отказался принять, сказав:

— Всемиловнейшая государыня! закон запрещает солдату принимать деньги на часах!

— Ай, молодец! — сказала государыня, — ты знаешь службу, — потрепала его по щеке и пожаловала поцеловать свою руку. — Я положу рубль здесь, на земле, — прибавила она, — как сменишься, так возьми.

Рубль или крестовик этот Суворов хранил всю свою жизнь.

---

Когда русские войска осадили Вальберг<sup>1</sup>, на помощь городу был послан Платен, имевший приказ от короля тревожить осадный русский корпус. Чтобы затруднить ему поход, Суворов поскакал ему навстречу с сотнею казаков. В одну ночь он проскакал 40 верст и был вблизи неприятеля. Подъехали к реке.

— Вперед! — крикнул Суворов и сам первый бросился в воду, казаки за ним и вплавь переправились через реку. Проскакав немного, они увидели г. Ландсберг.

- Город наш! Ура! Нападем! — сказал он.
  - В городе прусские гусары, — возразили ему.
  - Помилуй бог, как это хорошо! их-то мы и ищем.
  - Не прикажете ли узнать, сколько их?
  - Зачем? Мы пришли их бить, а не считать.
- 

В 1787 г. Екатерина II предприняла путешествие на юг России. <...>

В Кременчуге императрица осталась весьма довольною и осмотром города и маневрами, произведенными Суворовым. Милости ее щедро лились на всех. Наградив уже довольно многих, она обратилась к Суворову:

— Александр Васильевич! не имеешь ли и ты до меня какой-либо просьбы?

Суворов вдруг повалился ей в ноги и говорит:

— Матушка-царица! Хозяин покою не дает: задолжал я ему.

— Много ли? — спросила Екатерина.

— Три с полтиной, матушка-царица!

Екатерина с улыбкою сделала распоряжение об уплате, а Суворов, поднимаясь с полу, с облегчением вздохнул и произнес:

— Спасибо матушке! выручила меня, а то совсем промотался.

---

«За день или за два до штурма<sup>2</sup> <Измаила>, — рассказывает А. П. Ермолов, — Суворов во время обеда велел казачку выпустить из-под полы орла; тот взлетел, но, ударившись о невысокий верх палатки, упал на стол.

— Это, господа, значит, — говорил Суворов присутствующим, — что Измаил падет».

---

Вспоминая однажды о штурме Праги<sup>3</sup>. Суворов просил рассказать о нем одного старого, отличившегося в этом деле подполковника.

— Не умею, — начал тот, — пересказать всего, что я там видел, да и сочтут за басню. Помню только и не забуду, что когда получено было известие, что неприятель выбит из всех ретраншементов<sup>4</sup>, что все батареи заняты нашими войсками и что самая Прага взята и очищена от неприятеля, — то вы, ваше сиятельство, приказали разбить малый шатер на окопах и легли на постланной соломе отдыхать. Я тут был на карауле и видел, как все войско

не шевельнулось. Один другому лишь на ухо шептал: «Помоги бог отдохнуть нашему отцу-спасителю; он не спит, когда мы спим; не ест, когда нас потчует, и еще в жизнь свою ни одного дела не проспал». — Это не любовь, а страсть. — Грешен я, ваше сиятельство, позавидовал Суворову.

Суворов бросился его целовать и сказал:

— А я стыжусь и не прощаю себе, что позабыл имя достойного служивого.

---

При получении фельдмаршальского жезла, Суворов велел отнести его в церковь для освящения, а сам, в одной куртке расставил девять стульев<sup>5</sup> и стал перепрыгивать через них, приговаривая: «А таки перескочил». — «А таки перескочил!». — «Салтыков позади». — «Долгорукий позади!» — и так всех девять старейших его генералов (двух Салтыковых, Долгорукого, Эльмпта, Прозоровского, Мусина-Пушкина, Каменского и Каховского), а когда перепрыгнул чрез последний стул, перекрестился и произнес:

— Помилуй бог матушку-царицу! Милостива ко мне старику!

Затем облекся в фельдмаршальскую форму и пошел в церковь.

---

Пробыв в Варшаве до ноября 1795 г., Суворов отправился в Петербург, и его проезд был настоящим торжеством. <...>

На втором или третьем ночлеге по выезде из Варшавы, в какой-то деревеньке, ехавший впереди Суворова его адъютант Тищенко приготовил для него теплую хату, но не догадался осмотреть в ней запечье, где спала глухая старуха. Когда приехал Суворов, то, по своему обыкновению, разделся донага, окатился холодной водой и, чтобы расправить одеревеневшие от долгого сидения члены, стал прыгать по хате, напевая по-арабски разные изречения из корана. В это время проснулась старуха, выглянула из запечья, приняла Суворова за черта и закричала во весь голос:

— Ратуйте, с нами небесная сила!

Перепугался и Суворов от этого внезапного вопля и также стал кричать. Сбежался народ, и старуху вывели полумертвую от ужаса.

---

В Гродне готовил Суворову торжественную встречу князь Н. В. Репнин, ожидая его пред заставой с почетным

рапортом. Узнав об этом, Суворов уселся в кибитку, велел закрыть себя рогожей и с поваром на козлах проскакал мимо кн. Репнина. Между тем дормез<sup>6</sup>, в котором он ехал до того, еще не появлялся, и когда он поравнялся с ожидавшими фельдмаршала кн. Горчаковым и кн. Репным, то последние, конечно, нашли его пустым и были еще более удивлены, когда узнали, что фельдмаршал только что проскакал мимо них в кибитке, покрытой рогожей.

---

В Стрельне ожидала Суворова присланная государыней парадная придворная карета. Облекшись в фельдмаршальский мундир, со всеми орденами, Суворов совершил весь переезд до Петербурга 4 января 1796 г., при 20° морозе, в одном мундире и с открытою головою. Сопутники его, генералы Исленьев, Арсеньев и другие, по повеле следовали его примеру и, конечно, подъехали к Зимнему дворцу полузамерзшими.

Императрица очаровала Суворова своим ласковым приемом, подарила ему богатую табакерку с изображением Александра Македонского, сказав, что «никому не приличен более вас портрет вашего тезки — вы велики, как и он», — и отвела ему для житья Таврический дворец. При этом императрицею велено было заранее разузнать все привычки фельдмаршала и сообразно с ними устроить его домашний обиход.

Приехав в Таврический дворец, Суворов быстро пробежал по комнатам, вплоть до спальни, где уже готова была пышная постель из душистого сена и ярко горел камин; в соседней комнате стояла гранитная ваза, наполненная невскою водою, с серебряным тазом и ковшом для омовения.

На другой же день начались к нему визиты почти всех высокопоставленных лиц, его друзей и завистников, и с последними-то он выкидывал разные штуки.

Раз за столом, — рассказывает А. Столыпин, — раскладывал я горячее, фельдмаршал спросил: «Чей это экипаж?» — Я взглянул в окно и доложил — графа Остермана! Фельдмаршал выскочил из-за стола, быстро побежал на крыльцо, и едва только лакей Остермана успел открыть дверцу кареты, как он вскочил в нее, поблагодарил Остермана за сделанную честь и, поговорив несколько минут, распростился.

В другой раз, при появлении в столовую графа Безбородко, Суворов, не вставая из-за стола, велел ему подать стул возле себя и сказал:

— Вам, граф Александр Андреевич, еще рано кушать, прошу посидеть!

Безбородко, поговорив с четверть часа, откланялся, а фельдмаршал по-прежнему оставался сидеть в столовой за каким-то постным блюдом.

Приехал к нему с визитом и Платон Зубов; Суворов принял его в дверях своей спальни в одном нижнем белье и объяснил присутствующему при этом Г. Р. Державину причину своего поступка словами: *vice versa*\*. Когда после приема у императрицы Суворов явился к Зубову, то тот встретил его не в полной парадной форме, а в обыкновенном повседневном костюме, что причудливым фельдмаршалом было принято за пренебрежение.

---

Бывая на собраниях в Зимнем дворце, Суворов не скупился на насмешки и разные выходки.

— Однажды в Петербурге на бале, — рассказывал он сам впоследствии, — в 8 часов вечера императрица изволила меня спросить:

— Чем потчевать такого гостя дорогого?

— Благослови, царица, водочкой! — отвечал я.

— *Fi donc!*\*\* Что скажут красавицы фрейлины, которые с вами будут говорить?

— Они, матушка, почувствуют, что с ними говорит солдат.

---

Когда Суворову замечали, что его причуды неуместны и что тем нарушается военная дисциплина, он отвечал:

— Мне поздно переменяться. Доложите императору, что матушка его Екатерина тридцать лет терпела мои причуды, и я шалил под Рымником<sup>7</sup> и под Варшавою, а для новой дисциплины я слишком стар!

---

6-го февраля был дан высочайший приказ, отставлявший Суворова от службы<sup>8</sup> <...>

Вскоре после отставки, фельдъегерь привез пакет от императора. Суворов был в бане; фельдъегерь потребовал, чтобы его немедленно допустили к нему. Доложили об этом Суворову, и он приказал его ввести. Когда фельдъегерь вошел в жарко натопленную баню, Суворов, парившийся на полке, спросил его, на чье имя и от кого привезен пакет. Фельдъегерь ответил: «От государя к фельдмаршалу Суворову».

— Фельдмаршал находится обыкновенно при армии, а я в деревне, — ответил Суворов, — и пакет не ко мне.

---

\*Наоборот (лат.).

\*\* Фу! (фр.)

Фельдъегерь с неприятным пакетом так и вернулся назад.

---

— Трех смелых человек знал я на свете, — сказал раз Суворов Ростопчину, и на вопрос последнего — «кого именно?» — прибавил:

— Курций, Яков Долгорукий<sup>9</sup> да староста Антон. Один бесстрашно бросился в пропасть, другой не боялся говорить царю правду, а третий ходил на медведя.

---

В Линдау Суворов получил приказ императора вернуться в Россию<sup>10</sup>. К удивлению всех, он казался веселым, несмотря на незаконченную кампанию, и немедленно же выступил в поход, делая значительные остановки в городах Аугсбурге, Регенсбурге, Нейтитчине, где умер и похоронен Лаудон, и Праге. Осматривая в Нейтитчине на гробнице Лаудона длинную латинскую надпись, Суворов сказал!

— К чему такая длинная надпись? Завещаю на моей гробнице написать только три слова: «Здесь лежит Суворов»<sup>11</sup>.

В Праге Суворов прожил почти все святки, много веселился, устраивая и принимая участие во всех святочных играх, приглашая к себе многочисленных гостей и сам охотно посещая других. Сюда, между прочим, высоко чтивший Суворова курфюрст саксонский прислал к нему своего живописца, знаменитого Шмидта, для снятия портрета, который должен был украшать Дрезденский музей. Узнав об этом, Суворов сказал своему секретарю:

— Зачем изволит беспокоиться его светлость; откажи ему и скажи, что я мальчишка.

Пораженный этими словами, последний воскликнул:

— Судить, кто вы, не ваше дело; предоставьте это Европе. Ужели вы заставите художника сказать вам, что сказано было Монтескье, отказавшемуся также от портрета: разве в отказе этом менее гордости?

Суворов запрыгал, поставил посредине комнаты стул и велел ввести живописца. Едва только показался в дверях убеленный сединами маститый старец, как Суворов тотчас обнял его и поцеловал, затем, отскочив от него, сказал по-немецки следующую речь:

— Его светлость, курфюрст, желает иметь мой портрет. Ваша кисть изобразит черты лица моего: они видны, но внутреннее человечество мое сокрыто. Итак, скажу вам, любезный господин Шмидт, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего, во всю мою жизнь

никого не сделал несчастным; ни одного приговора на смертную казнь не подписал; ни одно насекомое не погибло от моей руки. Был мал, был велик (и при этом вскочил на стул); при приливе и отливе счастья уповал на бога и был непоколебим (тут он сел на стул), как и теперь.

Шмидт тотчас же любуясь на неподвижно сидевшего Суворова, взялся за кисть.

Окончив работу, художник показал портрет Суворову; но он, едва взглянув на него, сказал:

— Полезны ли были вам мои психологические рассуждения о самом себе?

— Очень, — отвечал тот, — для начертания характеров пригодно все, даже мелочи... Я не Рубенс! Но он бы в первый раз позавидовал моему счастью!

---

За несколько дней до смерти Суворова Павел I прислал узнать о состоянии здоровья фельдмаршала графа Кутайсова. Вот как рассказывает об этом свидании Греч.

Когда Суворову доложили о прибытии графа Кутайсова, он сказал: «Просите». Кутайсов подошел к постели больного в красном мальтийском мундире, с голубою лентою через плечо.

— Кто вы, сударь? — спросил у него Суворов.

— Граф Кутайсов.

— Граф Кутайсов? Кутайсов? Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что вы такое по службе?

— Оберштабмейстер.

— Прежде чем были?

— Оберегермейстером.

— А прежде?

Кутайсов запнулся.

— Да говорите же!

— Камердинером.

— То есть вы чесали и брили своего господина.

— То... точно так-с.

— Прощка! — закричал Суворов, — поди сюда, вот посмотри на этого господина в красном мундире с голубою лентою. Он был такой же холоп, как и ты, да он турка, так он и не пьяница. Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим баринном.

Кутайсов доложил государю, что Суворов в беспамятстве и без умолку бредит.

Однажды в итальянскую кампанию <sup>12</sup> Суворов спросил австрийского генерал-лейтенанта Крейца:

— Как вы думаете, господин генерал, о моих штыках?

— Превосходство их доказано на деле. Вы теперь у нас в военном искусстве законодатель; но боюсь, чтобы враги наши, вашими штыками битые, не научились обращать их против учителя, — ответил тот.

— Жалок, — сказал на это Суворов, — тот полководец, у которого в голове нет запаса. Я раскрою им новую историю войны.

— Теперь вижу, — произнес Крейц, — что если Апеллес превзошел всех своих соперников в искусстве живописи <sup>13</sup>, то почему и в нашем военном деле не быть Апеллессу? Но удивляюсь не менее, как вы умеете электризовать каждое войско?

— Безделица, — говорит Суворов, — помни, что ты человек, что подчиненные твои также люди и твоя братия. Люби солдата, и он будет любить тебя. Вот вся тайна. Так с горстью воинов побеждал я многочисленные армии, в которых не было воинов. — И затем через несколько мгновений воскликнул:

— Ах! Я позабыл вам еще сказать: будь своему слову не господин, а раб. Никогда я не лгал. Под Измаилом послал я сказать паше, что возьму его крепость; я уверил Екатерину Великую, что Варшава будет наша; я обещал быть на Треббии Аннибалом <sup>14</sup>.

---

В 1789 г. Суворов на пути из Молдавии в Петербург приехал в Киев в простой, покрытой рогожею кибитке, под именем передового своего адъютанта. Остановясь на почтовом дворе, он пошел оттуда пешком к бывшему в то время киевским губернатором С. Е. Ширкову, старинному своему приятелю. Тот чрезвычайно обрадовался приезду знаменитого полководца и тотчас же известил генерал-губернатора Кречетникова. Между тем Суворов незаметно вышел из комнаты, пробрался к станционному дому и улегся спать в избе ямщика, подложив под голову хомут и покрывшись плащом.

Начались розыски Суворова, и только через час адъютанту Ширкова Чевкину удалось набрести на убежище Суворова. Подойдя к станционному дому, он узнал от смотрителя, что к нему приехал адъютант Суворова с одним старым сержантом, и что адъютант пошел ужинать в трактир, а старый сержант спит в избе ямщика. Чевкин вошел в избу и, как много раз видевший Суворова, сразу же узнал его в мнимом сержанте, но, не смея будить, сел возле него и стал ждать пробуждения. Вскоре Суворов поворотил-



ся с боку на бок и открыл глаза. Тогда Чевкин, вытянувшись перед ним, сказал:

— Ваше сиятельство...

Но Суворов ничего не ответил и зажмурил глаза, как спящий. Снова стал ожидать Чевкин, и только через полчаса Суворов проснулся и спросил:

— Что нужно?

— Михаил Никитич, здешний генерал-гебурнатор, прислал экипаж и просит ваше сиятельство пожаловать к нему отужинать.

— Помилуй бог, как я хорошо уснул! Для чего вы помешали мне выспаться.

Чевкин извинился и не без труда уговорил Суворова посетить генерал-губернатора.

— Ну, делать нечего, пойдём к нему, — сказал, наконец, Суворов.

— Зачем же идти, ваше сиятельство: прислан экипаж.

— А для чего экипаж? У меня ноги есть. Пойдем!

А между тем на улицах грязь была невозможная, и по ней шел Суворов до самых триумфальных ворот, где, наконец, Чевкин уприсил его сесть в экипаж.



Во время того же переезда Суворов остановился в Козельске, чтобы переменить лошадей. В двенадцати верстах от города стоял рязанский карабинерный полк в с. Андрюшах, чрез которое надобно было проезжать и в котором квартировал полковник Львов. Случилось так, что приезд Суворова совпал с днем рождения полковника, по случаю которого он давал обед всем штаб- и обер-офицерам. Для встречи Суворова был послан эскадрон, а для подачи знака, когда он будет въезжать, поставили унтер-офицера. Но Львову захотелось встретить Суворова, не доезжая села, и он выехал к нему навстречу верхом со всеми своими офицерами. Дорога была грязная. Отъехав немного, один из штаб-офицеров, Тимофеев, служивший много лет при Суворове, увидел, что тот идет к селу пешком в синем плаще, и сообщил об этом Львову.

— Быть не может! Какая неволя идти ему пешком по грязи! — сказал он.

Но скоро увидели сзади Суворова пустую повозку с почтовыми лошадьми, и тогда Тимофеев уверил всех, что это был действительно Суворов.

— Когда так, — сказал Львов, — то нам надобно бы сойти с лошадей, но мы все перепачкаемся в грязи. Лучше мы проскачем мимо него, будто бы не узнали, и подъедем к повозке, а там, спросив об нем, воротимся; в это время он подойдет ближе к селению и к моей квартире.

Все согласились на это, проскакали мимо Суворова к повозке, в которой сидел его адъютант Курис, и спросили его:

— Где граф?

Курис, показав на идущего, ответил:

— Вон он идет пешком.

Полковник удивляется и говорит:

— Мы совсем не узнали его!

Курис усмехнулся и сказал:

— Как скоро граф увидел поставленного на дороге унтер-офицера, то тотчас же догадался, что ему готовится встреча, а как он не любит этого, то вышел из повозки и, закутавшись в плащ, пошел вперед и пешком.

Львов со всею свитою поворотил назад. Суворов был уже близко от его квартиры, когда они, сойдя с лошадей, подошли к нему.

— Извините, ваше сиятельство, что мы не узнали вас: вы изволите идти по такой грязи пешком! — сказал Львов.

— Помилуй бог, как это хорошо и здорово, — ответил Суворов.

Львов подает ему рапорт о благосостоянии своего полка, но Суворов не принимает его, говоря, что он не командир. Продолжая идти вместе с ними, он вспоминал старину с Тимофеевым. Когда поравнялись с квартирою Львова, то последний стал просить его сделать ему честь — откушать у него, чем-де весьма осчастливит его, тем более, что сегодня день его рождения.

— Я рад, очень рад, и буду непременно! — отвечает граф. — Только мне нужно зайти вот в этот хуторок (тут он указал на хутор, отстоявший от них на целую версту), купить огуречных семян: в прошлую кампанию, едучи из Турции, купил я там у мужика, хохла, довольное их количество, и моя жена, Варюша, сказала мне за них спасибо.

Львов стал предлагать послать туда нарочного, мужика.

— Нет, нет! — отвечал граф, — кстати ли бедного мужика трудить, лучше мы пойдем сами к нему и выберем любые.

Нечего было делать: пошли все за графом. Он шел прямо, не обходя ни луж, ни грязи, во всю ногу, маршем, не обращая внимания на то, что грязью страшно обрызгивал и себя и провожатых. А как майор Тимофеев был человек не молодой и тучный, то Суворов взял его под руку и шел с ним вместе. Приходят на хутор. Мужик, увидав полковника с большой свитой, страшно перепугался и спрятался во дворе. Когда его, дрожащего, привели к Суворову, то он сказал:

— Здорово, старый мой знакомый! Помнится, что я у тебя купил огуречные семена? И помилуй бог, как

они были хороши! Спасибо тебе! Нет ли теперь таких у тебя?

Мужик изумился и не знал, что отвечать, наконец, опомнившись, сказал:

— Э, пане, да не хороши!

Граф обернулся к офицерам и сказал:

— Вот, господа! Хохол не хочет меня обмануть. Видно, что добрый человек! А я, не зная в семенах толку, купил бы у него худые; тогда как бы я показался к жене? Она согнала бы меня со двора. Спасибо, мужичок! Право, спасибо! Ты меня от беды избавил!

Во время этого разговора пошел дождь, и офицеры порядочно измокли, иззябли и с нетерпением ожидали окончания своей прогулки, досадуя в душе на графа. Но последний продолжал свой разговор с мужиком и, узнав от него, что хорошие семена можно купить в следующем хуторе, отстоящем за версту от него, сказал:

— Спасибо, мужичок! Право спасибо! По твоему слову пойду туда и куплю, — и затем, обращаясь к офицерам, сказал:

— Пойдемте, господа!

Придя к хутору, он купил три фунта семян и повернул назад.

Тогда Львов повторил свое приглашение, и граф охотно соглашаясь на него, говорит:

— Небось, я от вас не уйду, даром, что дождь идет; вместе с вами покупали огуречные семена, вместе и обедать будем.

Придя, наконец, после трехчасового путешествия за семенами, к дому полковника, Суворов увидел стог сена, выдернул из него клоч и стал вытирать им сапоги. Львов выслал было слугу с тряпкой, но он не допустил его до себя и сказал офицерам:

— Господа! Обтирайте и вы свои сапоги, а то мы у полковника измараем весь пол, и он 'будет нас бранить и скажет: вот пришли какие неряхи!

Все офицеры последовали примеру Суворова, который обтирал свои сапоги с четверть часа. После того он вошел в дом полковника и сел за стол вместе со всеми офицерами в промокших от дождя мундирах и сапогах. Обед, рассказывал потом участник его Тимофеев, прошел, несмотря на это, необыкновенно весело, благодаря милостивому обращению графа со всеми и его остроумному разговору.

---

Задавая иногда очень странные вопросы, Суворов не обращал внимания, если получал подобные же ответы. Для

него важно было прежде всего не слышать «не могу знать».

Однажды за столом у него было довольно много гостей, в числе которых находился и полковник П. А. Борщев. Пред самым концом обеда, который до того проходил в серьезных и оживленных разговорах, фельдмаршал обращается к своему адъютанту Столыпину и говорит:

— Мальчишка! Берегись: ведь П. А. <...> все знает, что делается; — и затем говорит самому Борщеву: — П. А.! Что делает теперь китайский император?

Тот, нисколько не смущаясь, ответил:

— Он уже отобедал: встал из-за стола и пошел почивать.

— Пора и нам спать, — сказал на это Суворов и тотчас же встал из-за стола.

---

Суворов редко бывал в добром согласии с князем Н. В. Репниным. Однажды последний прислал к нему, тогда фельдмаршалу и главнокомандующему армиями, для переговоров майора Х. Суворов принял его ласково, но старался спутать вопросами, желая узнать, нет ли в нем немогузнайства. Наконец, предложил ему прогуляться с ним верхом и осмотреть лагерь. Проездили они несколько часов, и Суворов предлагал майору вопрос за вопросом, стараясь его спутать; но майор отвечал на все скоро и удовлетворительно. — Вдруг Суворов подъехал к реке и спрашивает:

— А сколько, батюшка, рыбы в этой реке?

Майор, зная, что Суворов не терпел слова «не знаю», отвечал определенным числом, какое ему первое пришло в голову. Суворов покачал головою, поехал далее и начал говорить о своих ночных походах и внезапных нападениях на неприятеля. Посреди разговора он вдруг спрашивает майора:

— А скажи мне, сделай милость, сколько звезд на небе?

Майор, немного подумав, отвечал смело и решительно:

— Семьсот миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьдесят три звезды, ваше сиятельство.

Суворов обернулся к майору с довольным видом, поблагодарил его за сообщенное сведение и дружески потрепал по плечу.

Возвратясь в палатку, где собрались многие генералы, Суворов рекомендует им майора; тот, готовясь к отъезду, спрашивает графа, что он прикажет отвечать князю Репнину.

— А какое, батюшка, различие между князем Николаем Васильевичем и мною?—спросил вместо ответа Суворов.

Такой неожиданный вопрос привел бы всякого в смущение, тем более, что нужно было заботиться, чтобы не оскорбить Репнина и угодить Суворову; но находчивый майор, не задумываясь, ответил:

— Такое различие, ваше сиятельство, что князь Николай Васильевич и хотел бы сделать меня подполковником, да не может, а вашему сиятельству стоит, только захотеть!

— Помилуй бог, хорошо! — вскричал Суворов, — помилуй бог! Умный человек! Могузнайка! Подполковник, право, подполковник!

Догадливый майор тотчас же был поздравлен всеми с чином подполковника.

---

Будучи в 1791 г. в Финляндии и занимаясь там укреплением финляндской границы, Суворов заметил одного офицера, который выдавался перед другими своею распорядительностью и энергией. Он раньше всех приводил своих людей на работу; в урочное время работа в его команде кипела; все было в порядке; отпустив по окончании работ солдат, офицер сам оставался на месте, просматривал сделанное и получал приказания от инженерного офицера на следующий день.

Однажды он в лунный вечер до того увлекся рассмотрением новостроющегося укрепления и счерчиванием окружающих мест на бумагу, что проработал до глубокой ночи.

Наблюдавший за ним Суворов быстро подошел к нему и спросил:

— Господин офицер! А далеко ли до месяца?

Несмотря на такую неожиданность, офицер не смешался и быстро отвечал:

— Я не считал, но думаю, что не больше трех солдатских переходов; но с условием, ваше сиятельство, только под вашею командою.

Суворов повернулся от него, припрыгнул и сказал:

— Господин поручик! Правда ли это?

— Ваше сиятельство, во-первых, я не поручик, а только подпоручик; во-вторых, вот что: ведь 11-го декабря 1790 г. луна была в ваших руках<sup>15</sup>, и вы передали ее нашей матушке царице.

— Господин поручик! — кланяясь ему в пояс, говорил Суворов, — милости прошу ко мне сегодня поужинать, а завтра и пообедать.

Вскоре же узнав, что этот офицер окончил курс в первом кадетском корпусе, Суворов испросил ему у императрицы чин поручика и доставил место в инженерном корпусе.

---

Будучи сам отважен до безрассудства, Суворов ценил это качество и в других. Генералы Дерфельден, Багратион, Милорадович и Кутузов были для него лучшими друзьями; всякий подвиг храбрости находил в Суворове первого и наиболее справедливого ценителя. При этом он не знал никакого различия в национальностях.

С особенным уважением и любовью он относился к генералу Милорадовичу, которому даже подарил свой миниатюрный портрет, сделанный искусным итальянским живописцем; известно, что даже коронованные особы с трудом выпрашивали его портреты. Милорадович, в свою очередь благоговевший перед Суворовым, вставил портрет в перстень и кругом написал четыре слова: «быстрота, штыки, победа, ура».

Увидав эту надпись, Суворов сказал:

— Хорошо! но не все: между штыками и победой вставь слово «натиск». Вот вся тактика Суворова.

---

Понятно, что происхождение храброго воина в глазах Суворова не могло иметь никакого значения. Раз он расхваливал австрийского генерала Кейма, взявшего Турин, и пил за его здоровье. Земляк последнего заметил Суворову, что Кейм из самого низкого звания и из солдат дослужился до генеральского чина.

— Да, — сказал на это фельдмаршал, — его не осеняет огромное родословное древо; но я почел бы себе особенною честью иметь его после сего подвига своим, по крайней мере, хотя кузеном.

---

Однажды рассказывали при Суворове разные любопытные анекдоты про известного генерала Текелия, отличившегося за Кубанью и в турецких войнах под знаменем Екатерины.

— Помню, помню, — воскликнул Суворов, — сего любезного моего сослуживца, усача-гусара, рубаку-наездника, гордившегося сходством лица и роста с Петром Великим, с портретом которого и умер. Его вздумал как-то отклонить от нападения, по политическим видам, один миролюбивый командир; но он сказал ему: «Политика — политика,

а рубаться—треба», бросился на неприятеля, разбил его и, возвращаясь, сказал миролюбивому советнику:

— А що твоя папира?

— Я бы с Текелием, — добавил Суворов, — воевал без бумаги. Он с саблею, а я со штыком. Да покоится прах его! — При этом встал и перекрестился.

В одну из турецких кампаний при Суворове должность «дежур-майора армии» (вроде нынешнего начальника штаба) исправлял капитан Б. Он был расторопный и храбрый офицер и за это пользовался любовью Суворова.

Раз Суворов поздно вечером объезжал караулы и аванпосты лагеря вместе с Б., который вообще любил иногда выпить и даже лишнюю и на этот раз был порядочно навеселе. Отчасти благодаря этому, а еще больше вследствие темноты, наши путники заблудились и ехали прямо в неприятельский лагерь. Первым заметил это Суворов и повернул назад, а Б. продолжал скакать, не слыша голоса главнокомандующего, кричавшего ему: «Вавило! Вавило (как обыкновенно звал Суворов своего дежур-майора), назад! назад!»

Он уже успел подъехать к первому огню, не замечая, что тут не свои, но видя, что все спят, начал их лупить нагайкою... Услышав крики: «Аллах! Аллах!», — он остановился. Его тотчас же схватили и при посредстве толмача стали расспрашивать, кто он такой. Б. смело ответил:

— Дежур-майор Суворова.

Начальник передового турецкого поста, узнав, какого важного пленника им удалось захватить, немедленно отправил его в главный лагерь, к верховному визирю.

Перед визирем Б. решил разыграть роль пьяного, а тот, желая воспользоваться откровенностью пьяного человека, стал расспрашивать его о положении русских войск, и Б. выкладывал ему все как по книге. Визирь, питая полную надежду разбить русских, благодаря полученным сведениям от Б., отправил его, как задаток победы, в Константинополь, где его и посадили в Семибашенный замок.

Суворов же, возвратившись в лагерь и не дождавшись Б., догадался, что он попал в плен к туркам, и опасаясь, чтобы они не выведали чего-нибудь от Б., предупредил турок и внезапным нападением разбил их наголову.

После размена пленных Б. возвратился в армию и явился к Суворову. Тот, увидав его, по-прежнему называя одним именем, стал расспрашивать.

— Да ты, Вавило, жив? Да ты, Вавило, здесь? Да тебя турки не убили?

Б. подал Суворову пропускной через границу билет, в котором он был назван майором.

Взглянув на него, Суворов воскликнул:

— Да ты, Вавило, майор? Помилуй бог, как это хорошо! И султан знал, что ты майор?

— Знал, ваше сиятельство.

— Ну, что же нам с тобой делать?

Вслед за этим Суворов, наговорив массу своих поговорок и присловий, сказал, обращаясь к окружающим:

— Помилуй бог, и сам султан знал, что он майор; так нечего делать, запишите его майором.

---

Во время постройки укреплений в Финляндии Суворов поручил некоторые работы своим полковникам. Одного из них он долго не мог навестить и когда прибыл к нему, то нашел большие неисправности. Стал ему выговаривать, но полковник сваливал всю вину на своего подчиненного.

— Оба вы не виноваты, — сказал на это рассерженный Суворов, схватил прут и начал хлестать себя по сапогам, приговаривая: «Не ленитесь, не ленитесь; если бы вы сами ходили по работам, все было бы хорошо и исправно».

---

Полковник N был большой остряк и шутками своими часто колол других, даже весьма почтенных особ. Будучи в то же время исправным и хорошим офицером, он никак не мог понять, почему его считали сравнительно на худом счету. Однажды Суворов, подозревая его к себе, просил быть осторожнее, говоря, что он имеет опасного врага. Полковник поблагодарил графа за предостережение и просил объявить имя этого врага.

— Не граф ли X, — говорил он.

— Нет, — отвечал Суворов.

— Не генерал ли У?

— Нет.

— Не князь ли Ш?

— Нет.

Итак, сколько ни перебирал полковник, Суворов все отвечал: «Нет». Тогда тот, уже в крайнем нетерпении, убедительно стал просить графа назвать имя его врага; и граф спросил:

— Плотно ли притворены двери? — подошел к ним, запер на замок, и, наклонясь к полковнику, который от нетерпения и любопытства был как на иголках, шепнул на ухо: «Твой язык!»

---



Когда прибыл Суворов в Аугсбург, к нему явилась проживавшая там в крайней нищете статс-дама королевы Марии Антуанетты, престарелая маркиза де Фаврос, муж которой был первым гильотинирован за свою преданность королю. Суворов принял ее в высшей степени почтительно, много беседовал с ней, восхищаясь ее образованностью и придворным тактом, и пригласил к своему обеду, во время которого беспрестанно разговаривал с ней о положении дел во Франции. Приглашения эти повторялись три дня подряд, но так как дни эти приходились на пост, то, конечно, постный обед у Суворова был плохим подкреплением для бедной маркизы.

Суворов хорошо это понимал и придумывал способ, как бы деликатнее оказать ей помощь.

— Как бы ей помочь?—сказал он однажды своему секретарю.—Но боюсь, что узнают; тогда дело будет не христианское. Поклянись, что никому не скажешь!

Тот поклялся, и Суворов спросил его:

— Сколько бы ей снести, по-твоему, денег?

— Пятьдесят червонных.

— Как?—воскликнул Суворов.—Вот этого я от тебя не ожидал. Возьми, по крайней мере, двести, и больше мне не говори никогда.

— Я исполнил и молчал,—добавляет рассказчик, Е. Фукс,—но теперь нарушаю клятву, и скажу еще, что Александр Васильевич несколько лет сряду присылал ежегодно в С.-Петербургскую тюрьму от неизвестного по двести тысяч рублей на искупление содержащихся за долги.

---

Кто-то уверял Суворова, что он ничуть не меняется и все цветет.

— Нет, любезный,—отвечал он,—Одни цветы производит весна, а другие—осень. Хорошо, что я отцветаю на солнце. В тени растения ядовиты.

---

Суворов любил повторять, что лучшею смертью на войне может быть «смерть в деле со славою». Некто лишился от неприятельского ядра ноги во время своей прогулки в экипаже. Посетив больного, у которого уже была отпилена нога, Суворов велел принести эту ногу, со слезами стал целовать ее и сказал:

— О драгоценная нога! За какой бесценок ты пропала!

---

Когда Суворову доложили о падении одного министра, он сказал:

— Я этого ждал: фортуна воздвигает колосс, подножие которого из глины; она отвела ему у себя уголок только для постоя, а не в вечное потомственное владение. Я знал, что неисправная сия хозяйка сперва его приголубит, а после прогонит. Беда без фортуны, но горе без таланта!..

---

Один остряк, желая польстить Суворову, сказал:

— Ваше сиятельство! Во всех военных подвигах своих вы подражаете Юлию Цезарю и все решаете тремя словами: *veni, vidi, vici!* \*

— Я не знаю вашей латыни, — отвечал Суворов, — а действую несколько иначе: приказывают мне — я иду, побеждаю... а видеть и рассматривать то, что я делаю, — не мое дело.

---

В присутствии Суворова читали книгу, где рассказывалось о том, что один персидский шах, вообще человек кроткого нрава, велел повесить двух журналистов, поместивших в своих листках две лжи.

— Как! — воскликнул на это Суворов, — только две лжи? Что, если бы такой шах явился у нас: исчезли бы все господа европейские журналисты! Не сносить бы головы ни одному из них!

---

Проскакав несколько раз по горнице, Суворов остановился перед австрийским генерал-лейтенантом Крейцем, находившимся в армии в Итальянскую кампанию не для участия в бою, а для того, чтобы взглянуть на великого фельдмаршала. Он, крайне смущенный, не зная, что говорить, вдруг вспомнил про свою переписку с князем Потемкиным, называя его великим человеком.

— Как вы его называли? — подхватил граф, — великим человеком или человеком великим: *un grand homme, ou un homme grand?* Он был и тот и другой; велик умом, велик и ростом, и не походил на того высокого французского посла в Лондоне, о котором канцлер Бэкон сказал, что чердак обыкновенно худо меблируют.

---

Один министр прислал к Суворову секретную бумагу, собственноручно переписанную, но до такой степени нераз-

\* Пришел, увидел, победил (*лат.*).

борчиво и нечетко, что Суворов мог прочесть в ней только несколько строк. Передавая ее секретарю, он с гневом сказал:

— Напиши ему: непроникнутая тайна возвращается. Суворов любит и в дипломатии и в политике чистописанное и математическую точность. Мистический дельфийский язык ему чужд; от него много страдала Греция.

---

Говорили как-то при Суворове об одном хитром и пронырливом министре.

— Ну, так что же? — сказал он. — Я его не боюсь. О хамелеоне знают, что хамелеон принимает на себя все цвета, кроме белого.

---

Увидев однажды лекаря, который не пользовался доверием в армии, Суворов крикнул ему:

— Перестань обогащать Харона!<sup>161</sup>

В ответ на это лекарь сказал, что он первый раз слышит такую фамилию.

Тогда, рассерженный его невежеством, он убежал в другую комнату и, растворив дверь, произнес: «Не мечите бисера пред свиньями».

---

Какой-то иностранный генерал, чересчур гордившийся древностью своего рода, страшно наскучил Суворову рассказами о славных своих предках.

— Слышали ли вы, господин генерал, — перебил его Суворов, — о римском Колизее? Величина сего здания превосходила все семь чудес древнего мира. Он вмещал в себе сто десять тысяч человек. Представьте же себе: величественная огромность сия оставила нам только одни обломки и развалины, которыми вымощена вся площадь св. Марка, попираемая нашими ногами.

---

Какой-то говорун, распространившись об отечественной истории, почти всех наших полководцев называл великими.

Суворов, дав ему полную свободу высказаться, заметил:

— Не слишком ли, брат, расточаешь титла великого? Не смешивай знаменитых с великими: первых у нас довольно; последними природа везде не так-то таровата.

Только через несколько веков выпускает по одному. Взгляни на воздвигнутый Великому Великою монумент Петра! Поклонись и остановись!

---

Некто К., отличавшийся большою словоохотливостью, вздумал занять Суворова своими разговорами о графе П. А. Румянцеве-Задунайском и во время рассказа беспрестанно повторял, что он ему родственник. Суворову это страшно надоело, и он, желая прервать рассказчика, сказал:

— Ваша речь впереди. Спасибо вам, что вы хвалите Петра Александровича! Он, подлинно, в продолжение сорокалетнего начальствования, не наговорил всего того, что вы теперь в полчаса.

Потом, попрыгав по комнате, продолжал:

— Радуюсь, что я не племянник какому-нибудь великому человеку: тогда называли бы меня племянником, а не Суворовым.

---

В бытность в Финляндии Суворов посетил военный корабль и упросил г<оспод> офицеров проэкзаменовать его в «навигации». Экзамен был выдержан, и генерал-аншеф Суворов был удостоен аттестата на чин мичмана. На вопрос адъютанта, зачем ему понадобился этот аттестат, граф отвечал:

— Если Рибас из сухопутных генералов сделался адмиралом, то и мне захотелось послужить у Нептуна!

---

Но Суворов не всегда балагурил и острил над своими собеседниками, он умел также и очаровывать их своею беседою, особенно иностранцев, являясь перед ними не только во всеоружии знания военного дела и военной истории, но и истории политической вообще, литературы, искусства, мифологии и проч.

Известно, что Екатерина Вторая со вниманием прислушивалась к его военным планам и высоко ценила их. Когда ему раз сказали, отчего он не говорит так же серьезно с другими, он ответил:

— Для монархини у меня один язык, а для простых смертных — иной.

Выходя от Суворова после одного довольно продолжительного обеда, известный знаток военного дела лорд Клинтон сказал:

— Сейчас выхожу я из учнейшей военной академии, где происходили рассуждения о военном искусстве, о Ган-

нибале, Цезаре, давались замечания на ошибки Тюренна, принца Евгения; говорили о нашем Мальбруке, о штыке и проч., и проч. — Вы, верно, хотите знать, где эта академия и кто профессоры? Угадайте... Я обедал у Суворова.

---

Даже генерал-квартирмейстер Цах, которого Суворов звал Катонем, сравнивал его с Фемистоклом, Аристидом, Сципионом, Цезарем, Конде, Валленштейном, Мальбруком... И на замечание Суворова, что и он льстит, прибавил:

— Нет! Зачем вы ретируетесь от истины, доказанной современною историею? Скажу более и льстить не буду: всякий народ под жезлом вашим был бы победоносен, потому что вы герой всех времен и всех народов.

---

В бытность Суворова в Италии захотел ему представиться известный ученый, аббат Анджело Майо. Введенный секретарем в кабинет Суворова, он пробыл там более часу и при выходе сказал:

— Мне остается только жалеть, зачем я не русский, чтобы погордиться землячеством великого человека. Удел наш бедных итальянцев тот, чтобы величаться лишь развалинами древней славы предков — героев наших, а современной — не видеть.

Вслед за ним выскочил и Суворов и воскликнул, обращаясь к секретарю:

— Где ты, водолаз, сыскал сию драгоценнейшую из всей Италии жемчужину?

— Она при появлении вашем, — отвечал тот, — сама к вам выплыла.

— Кудряво! Кудряво! — сказал Суворов.

---

После беседы с Суворовым о прошлом и настоящем Италии, престарелый генерал-губернатор Турина С. Андре произнес:

— После всего, что я слышу, — я ваш пленник, я ваш раб. Приказывайте мне, великий человек!

---

Суворов не любил ни пышных празднеств, ни торжественных встреч, нередко устраиваемых ему, а потому часто прибегал к инкогнито, всегда почти имевшему много смешного и оригинального.

В Нейшлоте, куда Суворов ехал из Фридрихсгама, ему готовилась торжественная встреча. Небольшой дере-

вянный дом, в котором помещались присутственные места, назначенный для Суворова, был убран цветами, коврами и флагами. На пристани, перед крепостью, стоял большой красивый десятивесельный катер, покрытый алым сукном. В зале городского дома собрались главнейшие чиновники города с бургомистром во главе и почетные граждане. Улица была покрыта народом; все нетерпеливо посматривали на дорогу, куда отправлен был крестьянин верхом, с приказанием дать знать, как только покажется экипаж главнокомандующего.

Через три часа ожидания к городской пристани подъехала небольшая двухвесельная лодка. В ней сидели два финна в простых крестьянских кафтанах и широкополых шляпах, опущенных на самые глаза. Один финн усердно работал веслами, а другой правил рулем; но лодку эту не пропустили к пристани, и она должна была пристать несколько дальше. Старик, сидевший у руля, вышел на берег и начал пробираться к городскому дому.

В это же время на другом конце улицы показался верховой, который был поставлен сторожевым; он скакал во весь опор и махал рукою. Все засуетились; бургомистр, комендант и депутаты вышли из залы и расположились у крыльца с хлебом-солью.

Тем временем старик финн, с трудом пробиравшийся сквозь густую толпу народа, был остановлен у дверей городского дома полицейским солдатом.

— Куда ты? — закричал тот по-фински.

— К господину бургомистру, — отвечал старик.

— Нельзя.

— Да я по делу.

— Какие теперь дела!.. Ступай прочь!

— По закону, всякий может видеть бургомистра, — продолжал старик с упрямой настойчивостью.

— Сегодня нельзя.

— Отчего же?

— Ждут царского, большого генерала... Убирайся!

Старик повиновался и выбрался из толпы.

В это время вдали показалась коляска. Городские власти и депутаты вышли вперед, а народ начал снимать шапки. Когда коляска подъехала, то бургомистр и комендант с удивлением увидели, что Суворова в ней не было. Поздравив прибывших, комендант осведомился о нем.

— А разве граф Суворов еще не приехал? — спросил один из сидевших в коляске генералов.

— Нет, — отвечал озадаченный комендант.

— Он выехал водою прежде нас и, верно, сейчас будет.

Городские власти отправились к пристани, посадили в лодку гребцов и послали на озеро, в ту сторону, откуда

ожидали Суворова. Толпы народа бросились на возвышение, с которого открывается вид на озеро Сайма.

Вдруг за проливом, из-за стен крепости пронесся стройный гул сотен голосов, приветствовавших кого-то.

— Не проехал ли граф прямо в крепость?— с беспокойством спросил бургомистр.

— У нас везде часовые, — отвечал комендант, — сейчас же дали бы знать.

Однако же комендант послал офицера узнать, не проехал ли Суворов в крепость. В ожидании возвращения посланного, все с нетерпением поглядывали то на озеро, то на крепостные стены. Вдруг раздался из крепости пушечный выстрел, и густое облако дыма закружилось над крепостною башней. Через минуту грянул другой выстрел, потом третий... Народ поспешил к крепостному проливу, догадываясь, что Суворов уже в крепости.

Действительно, посланный офицер, возвратясь, объявил, что Суворов осмотрел уже крепость и просит к себе всех, желающих ему представиться.

Комендант, бургомистр, прибывшие генералы и городские чиновники поспешно сели в лодки и переправились в крепость. Гарнизон был уже выстроен под ружье на крепостном валу, канониры стояли при орудиях, а Суворов с священником и двумя старшими офицерами находился на главной башне. Унтер-офицер объявил, что граф Суворов просит всех наверх.

Тут только узнали, что Суворов уже с час в крепости, что он приехал в крестьянской лодке, с одним гребцом в чухонском кафтане, строго приказал не разглашать о своем приезде, прошел прямо в церковь, приложился к кресту, осмотрел гарнизон, арсенал, лазарет и приказал сделать три сигнальных выстрела из пушек.

Поспешно поднимались нейшлотские чиновники по узким каменным лестницам на высокую башню. На самой верхней площадке они увидели бодрого, худощавого старика, в широкополой шляпе и сером чухонском кафтане, под которым виднелся мундир Преображенского полка с георгиевской лентой через плечо. Это был Суворов. Он обозревал окрестности замка и, не замечая присутствия коменданта, говорил вслух:

— Сильная крепость! Помилуй бог, хорошо! Рвы глубоки, валы высоки, через стены и лягушке не перепрыгнуть!.. Сильна, очень сильна!.. С одним взводом не возьмешь!.. Был бы хлеб и вода, — сиди да отсиживайся! Пули не долетят, ядра отскочат! Гуляй, играй, пой песни, бей в барабан!.. Неприятель постоит да зубы поточит!.. Помилуй бог, хорошая крепость.

Вдруг он повернулся к коменданту и бургомистру; пер-

вый тотчас же подал ему рапорт. Не развертывая его, он быстро спросил коменданта:

— Сколько гарнизона?

— Семьсот двадцать человек.

— Больные есть?

— Шестеро.

— А здоровые — здоровы?

— Все здоровы.

— Муки много? Крысы не голодны?

— Разжирели все, — смело отвечал комендант.

— Хорошо! Помилуй бог, хорошо! А я успел у вас помолиться, и крепость посмотрел, и солдат поучил. Все хорошо. Теперь пора и обедать!..

Перед уходом Суворов, видимо оставшийся довольным, велел выдать солдатам по чарке водки. До городского дома он в своем сером кафтане шел пешком, отказавшись сесть в приготовленную для него коляску, и на приветствия народа приподнимал обеими руками свою широкополю шляпу.

При входе в дом велел привести к нему полицейского солдата, который не хотел впустить его к бургомистру. Явился солдат. Суворов весело мигнул ему и сказал по-фински:

— Можно видеть г. бургомистра?.. Я по делу!

Солдат молчал, предполагая, что Суворов разгневался и прикажет строго взыскать с него.

— Ух, какой строгий! — сказал Суворов, обращаясь к своей свите. — Помилуй бог!.. Очень строгий! Не пустил чухонца, да и только!.. А что, можно теперь видеть г. бургомистра?

Солдат молчал по-прежнему. Суворов вынул из кармана рубль, отдал солдату и поблагодарил его за точное исполнение служебных обязанностей.

Войдя в комнату, он снял кафтан, подошел к переднему углу, где поставлен был образ, и начал вслух читать молитву. За столом он был очень весел, расспрашивал бургомистра о его семействе и всех обрадовал своею ласкою и вниманием.

На другой день принялся за дело и в короткое время привел нейшлотскую крепость в оборонительное положение.

---

Заехав однажды на постоялый двор, Суворов пообедал и лег спать.

В это время сели обедать извозчики, и Суворов любовался, как они уписывали свинину, облитую хреном. Первая чашка, с лохань величиною, исчезла в две-три минуты,



за нею последовала другая и третья. Суворов, наконец, потерял терпение и, обращаясь к мужичку, который ел проворнее всех, сказал:

— Ну, мужичок, ты ешь с аппетитом!

— Нет, боярин! — отвечал тот простодушно, — где нам разбирать аппетиты да лихие болести, ем себе во славу Божию с хреном, и спасибо хозяину.

---

Находясь на Кубанской линии, Суворов решил объехать ее для осмотра и, по обычаю никого не предупреждая, сел на простые пошевни и отправился на почтовую станцию, где стоял с командою капитан, старый служака и весельчак, но никогда не выдавший Суворова.

Услышав почтовый колокольчик приехавшего Суворова, он вышел навстречу и, подумав, что перед ним простой офицер, обратился к Суворову с следующими словами:

— Э, брат служивый, ты иззяб, войдем в избу; выпей чарку водки да поужинаем чем бог послал!

Суворов, благодаря его, вошел в избу и тотчас же сел за стол, на котором была поставлена каша и штоф с водкою. Он с большим аппетитом ел кашу, а капитан стал его спрашивать, кто он и куда едет. На первое Суворов отвечал ему, что на мысль пришло, а на второе, будто бы он послан от Суворова заготавливать для него лошадей по линии.

— Странно! Не нашли помоложе тебя, — отвечал офицер. — Да сколько надобно лошадей?

— Хоть генерал, — отвечал Суворов, — едет и налегке, но все восемнадцать надо.

— Вот тебе раз! А здесь только восемь... Ну да станция казачья близко, за лошадьми дело не станет; изволит подождать. Но скажи мне, камрад: каков этот Суворов? Говорят, строг? Полно, я не боюсь: хоть в полночь приезжай, все у меня исправно. Я люблю служить у строгого командира.

— Неужели ты не слыхал об нем? — отвечал Суворов, — все говорят, что он пьяница и чудака.

— Э... э, ты, брат, шутишь! Видна птица и по полету: он так загонял поляков и турок, что перед ним другие генералы дрянь!

После этого офицер много наговорил в похвалу Суворову, на что тот частью соглашался, а частью делал опровержения. Под конец разговора Суворов и капитан подружились, выпили еще по рюмке водки, переценили всех знаменитых генералов, обнялись и, поцеловавшись, расстались.

Со следующей станции Суворов прислал капитану записку такого содержания:

— Суворов проехал; благодарит капитана за ужин и просит о продолжении дружбы.

---

Раз Суворов куда-то быстро шел в одной куртке и услышал, что его кто-то зовет. А звал его сержант, присланный от генерала Дерфельдена к нему с письмами.

— Эй, старик! — кричал сержант, — постой! Скажи, где стоит Суворов?

— Черт его знает, — был ответ Суворова.

— У меня от генерала к нему бумаги есть, — продолжал сержант.

— Не отдавай, не отдавай! Он теперь или мертвецки пьян, или горланит петухом.

При этих словах Суворова сержант, замахнувшись на него кулаком, проговорил:

— Моли ты бога, старикашка, за свою старость... Не хочу только рук марать... Как смеешь ты ругать отца и благодетеля?

Суворов после этого немедленно же исчез.

Час спустя впустили сержанта к Суворову, и он, к ужасу своему, узнал в нем давешнего «старикашку» и уже готов был броситься ему в ноги, как Суворов обнял его и сказал:

— Спасибо, брат! Ты на деле доказал твою ко мне любовь, и хотел поколотить меня за меня.

И тут же из своих рук угостил его рюмкой водки.

---

Проездом из Турции в Петербург Суворов остановился, не доезжая г. Погар, в одном селении, чтобы переменить лошадей. Дело было в Михайлов день, в храмовый сельский праздник; мужики все почти были пьяны и на требование Суворова, объявившего себя переодетым адъютантом фельдмаршала, отвечали одними дерзостями. Тогда он послал своего адъютанта, подполковника Куриса, искать старосту, а сам остался у сборной избы при повозке.

В это время подошел к нему отставной гусарский корнет и говорит:

— Бог помочь, старинушка!

— Спасибо, добрый человек, — отвечает граф.

— Кто это едет? — спрашивает корнет.

— Передовой графа Суворова, адъютант.

— А где ж он?

— Пошел искать старосту, добывать лошадей.

— Да здесь, старинушка, все мужики пьяны, у них толку не скоро добьешься; да к тому ж у нас здесь сегодня праздник. так и пуще пьют... Ты, видно, старинушка, находишься при адъютанте, из служивых?

— Из служивых, добрый человек.

— А которого полку и чем служишь?

— Фанагорийского, гренадерского полку сержант.

— Какой же ты старенький! И в какую дальнюю дорогу едешь! Каково тебе, бедному, сидя на передку, трястися! Ай, служба, служба!

Хотя Суворов и говорил корнету, что командир его добрый человек и часто сажает его с собой в кибитку, но тот не успокаивался и продолжал:

— Старичок любезный, служивый! Лошадей вам скоро еще не дадут, а мне, право, жаль смотреть на тебя, старинушка, как ты стоишь на открытом воздухе при теперешней худой погоде; видишь, какая мгла и ненастье. Пожалуй лучше ко мне обогреться, а я живу здесь близко.

Суворов благодарит его и говорит, что без командира не смеет отлучиться от повозки.

— Правда твоя, старинушка, — отвечает на это корнет, — по них хоть умри, они никогда о нашем брате не вспомнят: сыт ли ты или нет... Я сам служил более сорока лет, да едва выпустили в отставку с чином корнета. Я думаю, и ты, старинушка, служишь довольно?

— На сороковой уже десяток перевалило, — ответил Суворов.

— Смотри, пожалуй, — говорит корнет, — а небось командир-ат твой моложе твоих внучек?

— Нет, — ответил Суворов, — я благодарю бога, командир мой, хотя и молод, но меня, старика, бережет и порцию дает. К тому ж, несколько он мне и сродни.

— А из каких отдан ты, любезный служивый?

— Из однодворцев Курской губернии, Обоянского уезда, откуда и командир мой.

— Знаю, знаю; я там с полком стоял назад тому лет тридцать.

В это время подошел Курис, и Суворов, показывая на него, говорит корнету: «Вот мой командир». — Затем снял фуражку и спрашивает Куриса:

— Что, ваше благородие, изволили отыскать старосту?

— Нет, — отвечает Курис, — во всем селе нет ни одной трезвой души.

Тогда старый корнет, сняв шапку, говорит Курису:

— Пожалуйста, ваше благородие, ко мне в дом, я вот здесь недалеко живу; вы у меня обогреетесь, а старичок бедный (указывая на Суворова), сами изволите видеть,

весь переязб; в это же время, как побудете у меня, вам и лошадей изготовят.

— По мне, как он хочет, — говорит Курис, — с моей стороны, — пожалуй, зайдем!

— Почему же не так, — отозвался Суворов, — когда добрый человек приглашает, лучше у него погреться, чем понапрасну, стоя на дожде дронуть: плеть обуха не перешибет, — когда мужики все пьяны, как изволите сами говорить...

В это время Курис перебивает его словами, что, может быть, лошади и скоро будут, так как он нашел пьяного десятника, которого пострадал и послал искать лошадей.

Но корнет, почему-то ужасно любивший старого сержанта, не унимался и снова обратился к Курису:

— Ваше благородие! Мы, идучи ко мне, накажем в сборной избе сторожу, чтобы как лошади будут готовы, привел бы их к моему дому, а старому извозчику, который вас сюда привез, велим караулить, и лошадей его до приводе других не отпускать; то и будет он сам для себя стараться — скорее лошадей собрать: мужики друг для друга охотнее соглашаются.

На это Курис ничего не возражал, и все трое пошли к дому корнета. Куриса последний попросил сесть, а Суворова раздел и посадил на печь, говоря:

— Сядь, сядь, бедный служивый! Обогрейся! Его благородие не прогневается на тебя, старинушка!..

— Для меня пожалуй, — говорит на это Курис, — как ему угодно.

— Видишь, какой у тебя добрый командир, — замечает корнет и садится рядом с Суворовым на печь, а жена отдает такой приказ:

— Старуха! Дай-ка нам, старичкам, чего-нибудь выпить...

Та подала им бутылку наливки и домашней закуски. Корнет, налив рюмку, подал Суворову и говорит:

— Выпей-ка, любезный старичок, и закуси; да ляг погреться.

За первой рюмкой последовали вторая и третья. Затем корнет дает новый приказ своей жене:

— Хозяйка! Изготовь-ка ты, чем бог послал, для дорогих гостей поужинать...

Жена корнета была также женщина добрая и сердечная, живо достала двух кур, одну сварила в борще со свиным салом, а другую — изжарила; да кроме того сделала яичницу, молочную кашу, яиц всмятку, и все это поставила на стол.

Тогда корнет просит Куриса садиться за стол и пригласяет:

— Да позвольте, ваше благородие, сесть тут же и сержанту.

— Пожалуй, когда тебе угодно, — отвечал тот.

Корнет немедленно сводит Суворова с печи, садит за столом подле себя и потчует его более, чем Куриса. Суворов ни от чего не отказывался, и старики опрокидывали в себя чарку за чаркой разных наливок и, наконец, оказались навеселе. За столом присутствовали два сына хозяина, из них одному было 14, а другому — 12 лет.

— Что это за мальчишки? — спрашивает корнета Суворов.

— Детки мои, дорогой служивый.

— Да чего ж вы их не записываете в службу?

— И, батюшка служивый, — заговорили вместе корнет и его жена, — тебе об военной службе нечего сказывать. Записать их в полевые полки? Так они еще молоды и без протекции быть не могут; у меня нет никого таких благодетелей, да и знакомых в полках, кому бы поручить их, никого нет; а без того они пропадут; да и прослужат до офицерского чина лет двадцать, как и я сам прослужил более сорока лет, и насилу добился в отставку с корнетским чином. А записать их в гвардию? То хотя их и примут: ибо я дворянин природный, но состояние мое не позволит мне не только содержать их там, но и довести до Петербурга нечем. А пускай они подрастут и тогда бог определит им: его святая воля над ними! А у нас со старухой все и богатство в них...

Выслушав корнета, Суворов говорит Курису:

— Ваше благородие! Потрудитесь записать доброго сего человека с его детьми, кто они таковы; авось я при удобном случае доложу об них графу Суворову. Не сделает ли он им для меня какой милости.

Курис вынимает памятную книжку и делает нужную запись, а корнет, ничего и после этого приказания не подзревавший, говорит:

— И, батюшка служивый! Где тому стать, чтоб граф Суворов сделал что-нибудь для нас, бедных людей.

— Неправда! — ответил мнимый сержант, — его сиятельство — человек добрый и меня любит, я часто с ним прищучиваю, и он кое в чем меня слушает, потому что я служу при нем лет с тридцать и нахожусь при его конюшне. Он давно хотел произвести меня в офицеры, но я сам того не хочу; для того, что от фронтовой службы отстал, а на старости лет не скоро привыкнешь: к тому же и к какому попадешься командиру; у другого не рад будешь и чину. Я ж уверен, что граф при отставке моей делает меня непременно офицером, я и тем буду доволен. Да и то признаться, не без тягости мне будет: грамоте не умею; родственники мои померли, и находишься без при-

станица. А потому и положил я, покуда даст бог здоровья графу, оставаться при нем, и когда прежде его умру, то он, по милости своей, не оставит меня похоронить.

Корнет с глубоким вниманием выслушал эти слова и сказал:

— Правда, и мы слышали о графе, что он добрый человек.

Вскоре после этого привели лошадей, и Суворов, поблагодарив за угощение корнета и его жену, отправился с своим адъютантом в дальнейший путь.

По приезде в Петербург, Суворов, уловив удобный момент, сообщил императрице об оказанном ему старым корнетом гостеприимстве и тут же попросил за его сыновей. Через неделю или две после этого последовал именной высочайший указ — определить сыновей корнета сержантами в лейб-гвардии Преображенский полк и отправить в действующую армию, в главную квартиру Суворова, а на дорожку им выдать две тысячи рублей.

Не только старый корнет с своею женой, но и весь Погарский уезд во главе с исправником, лично объявившим им о царских милостях, был несказанно удивлен, особенно когда они убедились, что «старый служивый», «сержант-конюх» был сам граф Суворов-Рымникский.

---

Суворов терпеть не мог зеркал, и в угоду ему их везде выносили из комнат, на вечерах, на балах и даже иногда, по желанию императрицы, во дворце.

— Не хочу видеть другого Суворова, — обыкновенно отговаривался он.

Но раз в Херсоне, по усиленной просьбе дам, было оставлено одно маленькое зеркало в задней комнате.

— Это для дам-кокеток, — говорил Суворов; и дамы после такого отзыва, конечно, в ту комнату больше не входили.

---

Когда Суворов за обедом съедал много каши, то его слуга Прошка, протягивая руку за тарелкой, обыкновенно говорил:

— Александр Васильевич, позвольте!

— Я есть хочу, Прошка!

— Не приказано, — был ответ последнего.

— Кто же приказал, Прошка?

— Фельдмаршал.

— О! Фельдмаршала надобно слушаться! Помилуй бог, надобно! — и вслед за этими словами переставал есть.

---

Князь Г. А. Потемкин не раз напрашивался к Суворову на обед; тот всячески отговаривался, но, наконец, вынужден был пригласить его с многочисленной свитойю.

Пригласив его же, славившегося своим искусством метрдотеля Матью, он поручил ему приготовить великолепнейший обед, не щадя денег, для себя же, лично своему повару Мишке велел сделать обычных два постных блюда.

Обед оказался великолепнейшим и удивил даже самого Потемкина; «река виноградных слез», как поэтически выразился сам Суворов в одном из писем, «несла на себе пряности обеих Индий». Сам же хозяин, под предлогом нездоровья и поста, ни до чего не дотронулся, кроме своих постных блюд.

На другой день метрдотель принес ему счет, простиравшийся за тысячу рублей, но Суворов, надписав на нем: «Я ничего не ел», отправил к Потемкину.

— Дорого мне стоит Суворов, — сказал светлейший и заплатил.

Однажды в большой праздник пришел к Потемкину Кулибин. У него же сидел Суворов и, завидя Кулибина, он быстро подошел к нему, остановился в нескольких шагах, отвесил низкий поклон и сказал:

— Вашей милости.

Потом, подойдя к нему на один шаг, поклонился еще ниже и промолвил:

— Вашей чести.

Наконец, подойдя совсем близко, отвесил поясной поклон и прибавил:

— Вашей премудрости мое почтение.

И только после этого, взяв Кулибина за руку, он поздоровался, спросил о здоровье и, обращаясь к остальным гостям Потемкина, сказал:

— Помилуй бог, много ума! Он изобретет нам коверсамолет!

---

Проснувшись однажды во втором часу ночи, Суворов в одной рубашке стал бегать по комнате. В это время в комнату вошел Прошка.

— Ах ты, проклятый, напустил ветру из двери, мне холодно, лови, лови ветер, я помогу.

И Суворов с Прошкой стали бегать по комнате, как будто лова что-то: наконец, последний отворил дверь и, показывая, что выбрасывает что-то, сказал:

— Поймал и выпустил.

— Спасибо, спасибо, — говорил радостно Суворов, — теперь теплей, а то, проклятый, заморозил было. <...>

Однажды Суворов прохаживался с императрицею Екатериною II по царскосельской колоннаде. Беседуя с ним о великих людях, императрица закончила свою речь словами:

— Здесь беседую я иногда безмолвно с изваянными сими лицами их, — и села отдохнуть. Суворов же стал бегать от одной статуи к другой, от статуи какого-нибудь иностранца быстро отскакивал, а перед изображением русского героя кланялся в пояс. Государыня, подозревая Безбородко, шепнула ему что-то; тот подошел к Суворову и между прочими разговорами спросил, как ему нравится колоннада. На это Суворов сказал:

— Я в отечестве своем ищу земляков; правда, в нашем климате лавры скоро отцветают; мороз — их враг; затем повернул Безбородко лицом к памятникам Румянцева и Орлова и воскликнул:

— Смотрите, смотрите туда! Кагул! Чесма! Ура!

Когда потом заговорила с ним императрица, то первые ее словами были следующие:

— Не долго будем мы наслаждаться столь прелестною погодою. Жесток, признаюсь, климат наш. От него нет пощады и лаврам; но для них есть у меня парник (при этом указала на свое сердце). Будьте уверены, граф, что я не похожу на тех людей, которые, выжав из лимона сок, бросают корку.

Через несколько дней колоннаду украсил и бюст Суворова.

Рассказывая впоследствии в Италии этот анекдот, Суворов прибавлял:

— Не надобно солдату говорить с дипломатом. Я молвил два слова и попал впросак...

---

Завистники Суворова распустили слух, что на него недовольна императрица и как дряхлого и старого хочет уволить в отставку. Слух этот дошел и до Суворова. Катаясь однажды с императрицей на лодке, он, как только причалили к берегу, быстро выпрыгнул на берег.

— Ах! Александр Васильевич, какой вы молодец! — сказала, смеясь, Екатерина.

— Какой молодец, матушка! Все говорят, что я инвалид.

— Едва ли тот инвалид, кто делает такое сальто-мортале, — возразила государыня.

---

Около того же времени до Суворова дошел другой слух, будто императрица за что-то на него досадует. Суво-



ров при первой же встрече с Екатериной бросился к ней в ноги и лег.

— Что вы, Александр Васильевич?— спрашивала Екатерина, подымая его.

Суворов быстро вскочил и, смеясь, сказал:

— Вот врут, будто я упал,—видите, сама матушка-царица подняла меня.

---

Во время итальянской кампании однажды к Суворову, остановившемуся в деревенской избе, явился с рапортом австрийский, необыкновенно высокого роста, ротмистр. Увидев его, Суворов поставил стул, вскочил на него, поцеловал ротмистра и вензель Франца II<sup>17</sup>, изображенный на его каске; затем снял каску и надел на себя.

— Теперь,—сказал он,—в сем шлеме поведу я войска моего государя и Франца, как некогда водил войска Иосифа.

— Наш император вверил вам армию и нас всех; я и каска моя—ваши,—с восторгом воскликнул ротмистр.

Суворов в этой каске провел всю кампанию, а ротмистр, с одушевлением рассказывавший об этом, воспламенял сердца многих к нашему фельдмаршалу.

## АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ БОЛОТОВ

(7.X.1738—4.X.1833)



Если задаться таким «статистическим» вопросом: кто из русских литераторов жил дольше всех и написал (количественно, конечно) больше всех, ответ будет однозначным — Андрей Тимофеевич Болотов\*. По некоторым подсчетам, его сочинения, будь они изданы вместе, составили бы 350 томов обычного формата. Да и прожил он дольше всех — 95 лет и повидал семь царствований: от Анны Иоанновны до Николая I. Между тем в широком читательском кругу знают его все-таки мало. Правда, в последнее время вышли его записки и книги о нем (см. в конце очерка), но все же имеет смысл напомнить о Болотове и читателям мемуарного сборника, тем более что в подробности и полноте бытовых деталей никто из русских мемуаристов XVIII в. с ним не сравнится. Кстати сказать, в 1988 г. исполняется 250 лет со дня рождения и 155 лет со дня смерти Андрея Тимофеевича. Так что и «юбилейный повод» здесь существует. Жизнь Болотова внешними событиями совсем не богата, но по содержанию сделанного им заслуживает пристального внимания.

В том фрагменте записок Болотова, который помещен ниже, говорится о детских его годах и воспитателях. Так что здесь скажем об этом коротко. Происходил он из обедневшего дворянского рода, но старого — восходящего к XVI столетию. Родился в сельце Дворянинове Алексинского уезда Тульской губернии в семье офицера (полкового командира). Отец его был человек передовой — ему обязан Болотов знанием языков да и всей последующей своей деятельностью. Мать — полуграмотная, хоть и из дворян. С 1744 г. отдан был в учение старику украинцу, знавшему грамоте по церковным книгам. С 1746 г. семья Болотовых жила в Эстляндии, в расположении отцовского пол-

---

\* Фамилия происходит от мест болотистых, так что общепринятое ударение, по-видимому, неверно. Правильнее: Болóтов.

ка. Здесь в учителя был приглашен немец Миллер — немецкий язык, как вскоре и французский, Андрей Тимофеевич изучил в совершенстве. В 1749 г. он был отдан в пансион Ферре в Петербурге, но уже в 1750 г. отец скончался, и мать забрала сына в Дворяниново. Как водится, с малолетства он был записан в полк — тот самый, Архангелогородский, которым командовал отец, так что 12-летнему отроку пришлось выправить отпуск «для окончания наук на своем коште». В 1752 г. случилась новая беда — умерла мать. Около года осиротевший Андрей Тимофеевич прожил на Псковщине у сестры, где к своим знаниям и навыкам добавил столярное ремесло (зять-помещик держал мастеров) и умение мастерить изделия из бересты. К этому надо добавить и любовь к рисованию, его никогда не оставлявшую. По его рисункам впоследствии были, между прочим, выполнены монеты, отчеканенные русским правительством для занятых в Семилетней войне прусских областей, в 1759 г. преподнесенные императрице Елизавете Петровне и поныне хранящиеся в наших музеях.

Пытались родные выхлопотать ему продление отпуска, но это не получилось, и в марте 1755 г. Болотов прибыл в полк, стоявший тогда близ Риги. Военная карьера его не влекла: получилась она недолгой и не слишком эффектной. Произведенный в офицеры Болотов «угодил» в Семилетнюю войну, был отправлен с полком в Восточную Пруссию и принял участие в единственном в своей жизни сражении при Егерсдорфе. Вскоре полку была поручена караульная служба в Кенигсберге. Болотов состоял переводчиком и адъютантом при генерал-губернаторе (сначала эту должность занимал генерал Н. А. Корф, потом — Василий Иванович Суворов, отец полководца). Там, в Кенигсберге, как узнает читатель из печатающихся страниц его мемуаров, собралась у Болотова порядочная библиотека, состоявшая, в частности, из книг о природе и философских сочинений\*. Когда пришло время перебираться в Петербург, библиотека Болотова была столь велика, что затруднительно оказалось ее перевезти — офицеры возвращались налегке. Выручил Болотова какой-то местный житель, которому понадобились переводческие услуги. Загрузив книгами целый воз, он переправил его в русскую столицу.

В 1761 г. генерал Корф получил почетное назначение — он стал генерал-полицмейстером Петербурга. Наби-

\* В бытность Болотова в Кенигсберге там жил великий философ Иммануил Кант, обращавшийся через генерал-губернатора к русскому двору с прошением об утверждении его в профессорском звании. Как предполагает современный исследователь А. В. Гулыга, Болотов мог быть знаком с Кантом.

рая штат флигель-адъютантов, он вспомнил о Болотове. Так началась совсем недолгая столичная карьера нашего мемуариста, скоро сделавшаяся ему нестерпимой. Он писал, что с первых же дней окунулся в омут светских развлечений и сплетен. Сначала он думал, что околodворцовая вакханалия скоро кончится, но «как увидел, что и все последующие дни были ничем не лучше, а точно таковы ж, и не было дня, в который бы мы с генералом по несколько десятков верст и всегда почти вскачь не объездили, не побывали во множестве домов и разов двух не посетили дворца, и в оном либо обедали, либо ужинали, либо обедать к кому-либо из первейших вельмож вместе с государем не ездили, и я всякий раз таким же образом впрах измучившись и изломавшись, не прежде как уже перед светом домой возвращался; то скоро почувствовал всю тягость такой беспокойной и прямо почти собачьей жизни, и не только разъезды свои с генералом и непрерывные рассылания меня то в тот, то в другой край Петербурга до крайности возненавидел и проклинал; но и самый дворец со всеми пышностями и веселостями его, которые в первый раз так были занимательны для меня и забавны, наконец так мне опостылел и надоел, что мне об нем и вспоминать не хотелось, и я за величайшее наказание считал, когда доводилось мне с генералом нашим в него ехать». Так что для светской жизни, как, впрочем, и для военной карьеры, Андрей Тимофеевич совершенно не подходил.

В 1762 г. ему повезло — вышли почти одновременно два указа: один о том, что штаты прикомандированных офицеров ко всем некоман্ডующим (т. е. не строевым) генералам должны быть ликвидированы; второй — «о вольности дворянства», т. е. о праве ни на какой службе не числиться и искать занятия по своему усмотрению. Болотов тотчас этим воспользовался и вышел в отставку с чином капитана. Впоследствии он рассказал о своих размышлениях при прощании с Петербургом, проявив, как не раз с ним бывало, примечательную прозорливость: «Прощай, Петербург! Ах что-то произойдет в тебе, милый и любезный город? Не обагришься ли ты вскоре кровью граждан твоих и не текли бы целые потоки оной по твоим сточным и мостовым. Обстоятельства очень дурны, в каких я покинул тебя!»

С тех пор только однажды за свою долгую жизнь он приезжал в Петербург — в 1803 г., пробыв в столице одиннадцать месяцев. В Москву, правда, ездил частенько, очень любил бывать в Коломенском, Измайлове, Кускове, Нескучном, Лефортовском парке, обозревая достопримечательности древнего города.

До 1774 г. Болотов безвыездно пребывал в Дворянинове; в 1774 г. Екатерина II приобрела для себя Киясов-

скую волость в Московской губернии, и Болотов, к тому времени уже прославившийся своими хозяйственными успехами, был назначен туда управляющим; затем переведен в том же качестве в Богородицк (теперь в Тульской области), сперва тоже купленный императрицей, а потом перешедший к графам Бобринским. Там и по сей день чтут имя Болотова, положившего основание городу и разбившему один из первых в России регулярных парков. По проекту Ивана Старова в Богородицке был построен роскошный дворец, долгое время бывший резиденцией графов Бобринских. Во время Великой Отечественной войны фашисты дворец разрушили, но теперь трудящиеся города собственными силами его восстановили. Городской парк носит имя Андрея Болотова.

В Богородицке Болотов трудился двадцать лет (1776—1796). Затем он почти сорок лет прожил в Дворянинове, занимаясь хозяйством, сочиняя мемурии и литературные произведения в других жанрах. Вот и вся хронологическая канва. Следует только сказать еще, что Андрей Тимофеевич был женат (с 1764 г.), имел четырех дочерей и одного горячо любимого сына Павла. Весьма любопытны рассуждения А. Т. Болотова о женитьбе и жизни семейственной, некоторой своей наивностью и простодушием характеризующие общий стиль его мемуаров: «Я женитьбу почитал всегда наиважнейшим в жизни человеческой делом и всегда был того мнения, что совершается она не иначе, как по особливому божескому провидению и произволу». Дальнейшая его «брачная установка», правда, несколько противоречит этому общему постулату: «Я хотя не искал себе слишком богатой невесты, каковую получить за себя и не надеялся, но и слишком на бедной жениться мне тоже не хотелось, а особливо потому, что и собственный мой достаток был не слишком велик, а весьма-весьма незнаменит. Почему и твердил я всегда, что хорошо бы, когда мой был обед, а женин ужин. Вследствие чего, я не спешил прилепляться слишком скоро к небогатым невестам, но ожидал от времени—не случится ли богаче и лучше»...

Однако чем же прославился этот человек, почему сам он заслуживает доброй памяти, а написанное им—все новых и новых публикаций? Первая причина состоит в том, что он, как говорилось, оставил несравненное мемуарное наследие—29 переплетенных рукописных томов, общим объемом по приблизительным подсчетам 230 печатных листов. Рукопись иллюстрирована самим автором—портретами, различными рисунками, планами земель и строений. Это не только исторически достоверные бытовые зарисовки, но и произведение литературное. Совершенно справедливо замечает подготовивший последнее по времени изда-

ние записок Болотова А. В. Гулыга: «Не надо быть пророком, чтобы предсказать им новое рождение — в качестве художественного произведения». Вторая причина — Болотов был одним из первых знаменитых русских агрономов, даже шире — ученых-землеустроителей, специалистов по парковому искусству, он был и основателем отечественной помологии (науки о разведении яблок). Если мемуары при жизни его вовсе не печатались, то труды по сельскохозяйственным проблемам публиковались постоянно, поскольку он сам издавал первый в России агрономический журнал «Сельский житель» и фактически был главным сотрудником «Экономического магазина», основанного Николаем Новиковым.

\* \* \*

Записки свои, названные «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», он создавал с 1789 по 1816 год. По форме, как увидит читатель, мемуары Болотова представляют собой как бы письма к другу (разумеется, вымышленному) с рассказом о делах повседневных. Таких «писем» более 300. Кроме того, имеется еще и «Памятник прошедших времен», тоже мемуарный, фиксирующий события 1796 г. — вплоть до кончины Екатерины II. Назовем еще в этом жанре: «Дневник с 1 января 1797 г. по 31 декабря 1798 г.»; «Повседневные записи 1799 г.»; «65-й год моей жизни, подробное описание происходившего со мною 7 числа октября 1802 года»; «Утренники 70-летнего старца, состоящие в советах и наставлениях внучатам» и, наконец, «Некоторые замечания и дополнения к моей жизни, писанные в течение моего 90-го года от рождения». Наиболее полное издание записок Болотова было осуществлено в приложении к журналу «Русская старина» в начале 1870-х годов. Однако и оно включает далеко не все им написанное. В наше время выпущен трехтомник издательством «Academia» и ряд других, еще менее полных изданий. Девять десятых текста современному читателю неизвестны.

Однако литературная деятельность Болотова этим не ограничивается — им создана «Детская философия», написанная в форме поучительных разговоров матери с сыном, нравственный трактат «Путеводитель к счастью», который он рекомендовал потомкам как важнейшее из своих сочинений и ряд других трудов того же порядка. Затем следуют переводы, довольно многочисленные, частично печатавшиеся; пьесы — «Честохвал», «Награжденная добродетель» и другие. Нельзя не упомянуть и о Болотове — литературном критике. Он вспоминал: «... при всех моих хлопотах, разъездах и переездах, не оставляя я и своих литературных упражнений и все праздные и остающиеся от дел

часы посвящал оным. На меня приди... охота писать критику на все книги, которые мне прочитывать случалось, и критику особого рода, а не такую, какая и ныне пишется, а полезнейшую... Книги, написанные мною по сему предмету, стоят... никем не читаемые (увы, только ли по сему предмету! — В. К.) в моей библиотеке, занимая только собой место; пользы же никому не производят, и едва ли когда-нибудь произведут, поелику я не с тем их писал, чтоб могли они быть когда-нибудь печатаемы и обнародованы». Кое-какие отрывки из этих «критик», прежде сочиненных утерянными, кстати сказать, напечатаны теперь в «Литературном наследстве» (вып. 9—10), но большая часть так и осталась «на полках». В своих воззрениях на литературу Болотов склонялся к реалистическому направлению: «Хорошо, если б написал нам кто такой русский роман, в котором соблюдена была б наистрожайшим образом натуральность и правдоподобие и в котором бы всё соотносилось с российскими нравами, обстоятельствами и обычкновениями». Много лет он записывал свои «Мысли и беспристрастные суждения о романах, как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков»...

\* \* \*

Как удалось все это Андрею Тимофеевичу? Где нашел он время и силы для столь объемных трудов? Ну, во-первых, он прожил очень долгую жизнь в относительном уединении, располагая некоторым досугом, а во-вторых — сумел сделать свои занятия строго систематическими. Сначала послушайте, что он сам говорит об этом. Многое дала ему любовь, даже, скажем, всепоглощающая страсть к чтению: «Не знаю, что б со мною было, если б не помогла мне в сем случае охота моя к книгам и к литературе? Тут-то оказали книги и науки мои первую и наиважнейшую мне услугу, превратив скоро и самое скучнейшее осеннее время в наиприятнейшее, и усладив так мою уединенную жизнь, что я не только не чувствовал ни малейшей скуки и тягости, с уединением сопряженной, но, напротив того, был еще так весел, что не видел, как протекали дни и длинные вечера».

Здесь, пожалуй, и ключ к разнообразию занятий: «...не успел я приняться опять за свои книги, как тотчас и завели они меня в разные ученые упражнения, и сделала то, что мне в сие скучное осеннее время сделалась всякая минута так дорога, что мне не хотелось терять оную понапрасну. Почему и находил я в беспрерывных упражнениях и занимался то чтением книг, то размышлениями о читанном, то самим писанием, либо сочинением чего-нибудь, либо переводом или переписыванием набело. И употреблял к тому не только все дневное время, но про-

сживал и вечера и занимался иногда тем до полуночи самой, сидючи один со свечкою в больших и пустых почти хоромах; и не чувствовал нисколько скуки, с таким одиночеством и уединением сопряженной». Склонность к книгам он сохранял неизменно: читал их всюду, даже верхом на лошади.

Воцарившись в своих дворяниновских владениях, Андрей Тимофеевич сначала поселился в старом помещичьем доме, где в сущности была одна огромная комната и всей обстановки—простые дубовые столы, скамьи, несколько старинных стульев, шкафчик и кровать. Но впоследствии он построил дом новый, где, «несмотря на его новизну, были все нужные в дворянских деревенских домах комнаты: лакейская, зала, гостиная, спальня, столовая, и детская и особый покоец для моей тещи, сверх того выгадал я местечко для буфета, гардеробца и довольно просторной кладовой, а также двух сеней». Хоть и редко, но случались наезды гостей с семьями, сразу дня на два, на три, псовые охоты, танцы. Андрей Тимофеевич рассказывает: «Между тем как мы сим образом упражнялись в танцах, боярыни занимались карточной игрой... что ж касается до господ, то они упражнялись, держа в руках то и дело приносимые рюмки, а как подгуляли, то захотели и они танцами повеселиться... К музыке присовокуплены были и девки со своими песнями; а на смену им наконец созданные умеющие петь песни лакеи, и так попеременно то те, то другие утешали подгулявших господ до самого ужина... Гости все ночевали, а на другой день обедали и не прежде разъехались, как уже перед вечером...»

Однако так бывало крайне редко, а повседневная жизнь автора записок складывалась по-иному. Сохранились воспоминания внука Андрея Тимофеевича, помогающие воссоздать реальный его быт. Вставал он всегда рано—летом в четвертом часу утра, зимой в шестом. Прочитывал внимательно выдержки из книг, где расписаны были разного рода поучения на соответствующий день года. Потом и сам принимался за перо. Сначала заносил в книжку метеорологических наблюдений сведения о погоде вчерашнего дня и наступившего утра, отмечал показания термометра и барометра, не забывая записать, какой был вечер накануне и какой рассвет. Эти записи, кстати сказать, чуть ли не единственные столь систематичные в России того времени—52 года наблюдений—сын Болотова Павел Андреевич после кончины отца отправил в Академию наук, где они были приняты с благодарностью. Потом переходил Болотов к журналу вседневных наблюдений, в который помещал уже совсем иные сведения: обо всем, что делал он и что происходило с ним накануне; какие мысли к нему приходили, с кем встречался и беседовал. Все это он успе-



вал завершить до того, как дом поднимался ото сна. Просыпалась супруга и приносила ему в кабинет чашку чая, который, особенным образом заваренный, он предпочитал всем другим напиткам. За чаем — непременно чтение газет. Тут же, когда понадобится, делал выписки о диковинных происшествиях еще в одну тетрадь: «Магазин достопримечательностей и достопамятностей». До обеда он успевал еще основательно поработать над собственными сочинениями.

В первом часу, без опозданий, подавался обед — обычно четыре-пять блюд (холодное, горячее, соус, жареное и пирожное). За обедом пили квас. Соснувши часок после трапезы, любил полакомиться фруктами. В пять часов, как вспоминает внук, неизменно приходил в диванную пить чай, прося при этом кого-нибудь из домашних почитать ему вслух. В девять часов Андрей Тимофеевич ужинал и тотчас отправлялся почивать. На следующий день все повторялось сызнова. Надо сказать, что все это относится только к осеннему и зимнему времени: летом и весной агрономические и другие хозяйственные занятия настолько поглощали его время, что писательству приходилось уделять только ненастные дни.

Здоровье он сохранял при этом отменное. Внук рассказывает, как на свадьбе одной из внучек «Андрей Тимофеевич сам танцевал с нами до 11 часов ночи и не только не отставал от молодежи, но под конец замучил многих, предводительствуя гротеском (популярный танец) с разными выдуманной им фигурами». А было ему тогда 83 года! До конца дней он отличался завидной подвижностью, прекрасной памятью и неутолимой любознательностью. Только совсем незадолго до смерти он ослеп, сочинения свои вынужден был диктовать и с удовольствием слушал всякое чтение. До самого последнего дня родные выводили его в сад. 4 октября 1833 г. он тихо скончался в своем кабинете, а 7-го, в тот день, когда ему исполнилось бы 95 лет, Андрея Тимофеевича схоронили.

Приоткрыта ли этим описанием тайна его литературной плодовитости и неутомимости в трудах? Может быть, лишь до некоторой степени. Но сама эта жизнь принадлежит XVIII веку и по его законам должна быть судима.

\* \* \*

В своих литературных трудах не чурался Андрей Тимофеевич и стихотворной формы, хотя по авторитетному свидетельству Александра Блока, написавшего в 1904 г. диссертацию «Болотов и Новиков», стихи его внимания не заслуживают. Все же приведем один пример, ибо дело здесь не столько в форме, сколько в воззрениях автора:

Мысль, что все мы в свет приходим  
В одинакой нищете,  
И как те родятся наги,  
Точно так рожден и я,  
Дух во мне весь возмущает,  
Вспоминая мне и то,  
Что весьма легко я мог  
Быть таким же, как они.

Главная идея здесь просматривается прогрессивная: люди от рождения равны. Как подметил еще А. Блок, Болотова крепостником никак считать нельзя. Хотя был он, конечно, помещиком средней руки и сыном своего времени: оброк собирал исправно, да и барщина в деревнях его существовала. Но всегда он стремился, «чтоб получаемые с деревни прибавки или доходы, старания о приумножении оных не обращались никогда во вред оным деревням». Стойкая антипатия, даже ненависть, была у него ко всяческому расправам над крестьянами. С возмущением говорит он «не только о бесчеловечии, но и о сущем варварстве одной нашей дворянской фамилии, жившей в здешнем уезде и делающей пятно всему дворянскому корпусу... Мы содрогались и гнушались таким зверством и семейством сих извергов, так что не желали с сим домом иметь и знакомства никогда».

Поведав будущим читателям своих мемуаров ужасную историю об измывательствах помещичьей семьи над крестьянской девушкой, Болотов заключает: «Вот какой зверский и постыдный пример жестокосердия человеческого! И на то ль даны нам люди и подданные, чтоб поступать с ними так бесчеловечно. И как дело сие было скрыто и концы с концами очень удачно сведены, то и остались господа без наказания». Напомним, что время-то было жестокое: в российских деревнях розгами выколачивались оброки, провинившихся ссылали в дальние сибирские края, пытали жаждой, секли батогами, крепостные задыхались от бесконечных долгов помещикам. Мало было помещикам барщины, так еще и продукты с собственного двора — свиней, баранов, поросят, — все обязаны были крестьяне отдать хозяину, вплоть до собранных ими грибов и ягод. В этих условиях Болотов, конечно, принадлежал к числу наимягчайших, но все же владельцев крестьянских душ. И поэтому мягкость его была, правду сказать, относительна. Сам он к наказаниям провинившихся крестьян относился с большой осторожностью: «Будучи от природы совсем не жестокосердным, а напротив того, такого душевного расположения, что не хотел бы никого оскорблять и словом, а не только делом, и не находя в наказаниях никогда ни малейшей для себя утехи, и видею сущую необходимость

оказывать жестокости и с сими бездельниками для занятия их от злодейств драться, терзался я тогда досадою и неудовольствиями. Но нечего было делать». То у него в голодные годы крестьяне хлеба требовали, то дворовые оказывались сущими злодеями и грабителями. Особенно досаждали пьяницы — тех он, было дело, и поколачивал. «Зло сие, — писал он о пьянстве, — сделалось так велико, что превосходит всякие описания, и если б можно было исчислить, сколько каждый год во всем государстве опилось людей до смерти, сколько от вина подверглось низким болезням, сколько расстроилось добрых хозяев и семейств, сколько добрых и семейных людей превратилось в совершенных негодяев и какой великий существенный вред произошел через то государству, то мы бы не иначе как с ужасом и содроганием такую роспись читать стали». И далее следует дельная мысль, которая только недавно оценена по достоинству: «Происходящий от винных откупов казенный доход, каков бы ни велик был, но как в сем случае деньги из одного только кармана в другой перекаладываются, а вновь со стороны ничего не прибавлялось и, паче еще, по вышеупомянутому, убавлялось, то и выходило, что казна вместо личного всякого прибывка получала еще великий ущерб». «Из ума выпились», — говорил он о пропойцах.

Будучи человеком религиозным, Болотов вместе с тем подмечал стихийный атеизм крестьян. Он записывает, например: «"Вот, — сказал, вздохнувши, один, — живи, трудись, трудись, трудись, а, наконец, умри и пропади как собака".» Подлинно так, — отвечал ему другой, — покамест человек дышит, до тех пор он и есть, а как дух вон, так ему и конец». Слова, свидетельствующие о неверии в бессмертие души, немало удивили Болотова, но он не отверг их с возмущением, а проявил склонность поразмыслить над ними. Словом, Андрей Тимофеевич в разных вопросах был человеком здравомыслящим и даже не лишеным провидческого дара. Но подлинную, отчасти даже прижизненную славу принесла ему агрономия.

\* \* \*

Отправляясь на долгое жительство вдаль от столиц, Андрей Тимофеевич замыслил заняться хозяйством основательно: «Не хотя вести домоводства своего так слепо и с таким небрежением, как ведут его многие, а желая основать оное колико можно порядочнее и лучше, завел я всему порядочные записки, переписал замышляемые дела, все нужные исправления старых вещей и все затеваемые вновь заведения и предприятия».

Сразу же, перебравшись в деревню, насадил он изумительный сад — настоящий ботанический, — приводивший

в восхищение всех посетителей. Многие помогали ему. «Все знакомцы, друзья и соседи мои, — писал Болотов, — как наперерыв старались доставить мне всё, что имел из семян и произрастений таких, каких у меня еще не находилось. А иные, выписывая оные и покупая дорогою ценою, не хотели даже сами у себя их садить и сеять, а присылали ко мне, будучи уверены, что у меня они лучше не пропадут, нежели у самих их».

В 1766 г. впервые в «Трудах экономического общества» появились ответы Болотова на 65 различных вопросов, обращенных к рачительным русским хозяевам. По существу, с этого начались его научные публикации на сельскохозяйственные темы. Как ни мешала чересполосица («пашенная земля разделена была подесятинно, и владение оной перемешано чрезвычайным образом», — писал он), но за полвека Болотов сделал необычайно много для улучшения земледелия и садоводства. Уже в 1770 г. Экономическим обществом ему была присуждена золотая медаль за сочинение «Наказ управителю или приказчику, каким образом ему править деревнями в небытность своего господина». В 1778—1779 гг. он выпускал журнал «Сельский житель», в котором печатал важные труды по структуре урожая и улучшению лугов. С 1780 г. по предложению славного нашего просветителя и революционного мыслителя Н. И. Новикова Болотов готовил «Экономический магазин». За 10 лет вышло 40 томов. Причем, никто ему не помогал, разве что малолетний сын Павел, переписывавший статьи. Этот сборник, в свое время известный и за границей, и по сей день сохраняет значение как источник сведений о развитии отечественной сельскохозяйственной науки. В 1794 г. А. Т. Болотов был избран почетным членом Королевско-саксонского Лейпцигского экономического общества. В области земледелия воззрения Болотова, в самом общем виде, сводились к следующим пунктам: «Ежели хотеть, чтобы хлеба было больше, то надобно: 1) чтобы земли было больше; 2) чтобы она была, колико можно, лучших свойств и качеств; 3) чтобы она была надлежащим образом и, как можно лучше, обработана; 4) семена хлебные были б, колико можно, самые лучшие и совершеннейшие; 5) посеяны они были б надлежащим образом и в надлежащую пору; 6) хлеб во время ростения своего не имел бы никаких удобоотвратимых помешательств и повреждений; 7) наконец, по созрении своем не был бы по пустому растерян, но собран бы с возможной бережливостью».

Не трудно оценить справедливость этих положений, хотя мы привели лишь те, которые выражены в самой общей форме. Наблюдая за развитием хлебов, Андрей Тимофеевич пришел к таким важным выводам: «Не все то всхо-

дит, что посеется; 2) не все вырастает, что всходит; 3) не все поспевает, что вырастает; 4) не все в закром приходит, что вырастает». Мысли эти обобщены в труде его «Замечания о хлебопашестве». Одним из первых у нас он напечатал работы о разведении картофеля и помидоров. Что касается садоводства, то Андрей Тимофеевич оставил семь томов, озаглавленных: «Изображение и описание разных пород яблук и груш, родящихся в дворяниновских, а отчасти и в других садах».

«В последние годы моего пребывания в Богородицке, — рассказывал он, — пришла мне мысль описать некоторые из известных сортов яблоков, наиболее употреблявшихся тогда в еду. Мне давно уже хотелось проштудировать когда-нибудь на досуге над этими прекрасными и полезными произведениями благодатной природы, и не только описать наилучшие и известнейшие у нас в России сорта яблоков и груш, но, буде возможно, их свойства и формы, сочинить самую характеристику оных и постараться открыть средства к удобнейшему распознаванию разных сортов их... Описаний же всех этих сортов яблоков и груш, ни печатных, ни письменных, у нас никак еще не находится. И сей-то недостаток давно уже хотелось мне пополнить». «Кто садит яблоню, тот будет жить долго», — любил повторять Болотов. Он подтвердил это собственной судьбой.

В 1838 г., к столетию со дня рождения Болотова, Вольное экономическое общество в Петербурге провело собрание, посвященное его памяти. Очевидец рассказывает: «В обширной зале поставлен был в приличном месте богатый шкаф, в котором находились все сочинения (**изданные**, т. е. малая часть. — В. К.) и переводы Болотова, а портрет его, долженствующий всегда украшать эту залу, помещался на стене... Чрезвычайное заседание открылось речью, в которой исчислены были труды покойного Болотова по части сельского хозяйства; упомянуто о пламенной любви его к своему отечеству, которому он принес в дар все, что мог, сказано и о редкой доброте его сердца». Так были отмечены заслуги человека, говорившего: «Силы свои, разум и руки отдам я сией земле, сделаю ее еще краше, чем в детстве видывал».

\* \* \*

Неверно было бы сказать, что Болотова совсем потом забыли. Но даже в пушкинское время о нем вспоминали не часто. Да и не мудрено: записки-то не были изданы. А ведь хорошо известно, как высоко ценил Пушкин драгоценные свидетельства прошедшего времени, как часто доводилось ему побуждать людей, помнивших ушедший

век, засесть за перо да бумагу (П. В. Нащокина, М. С. Щепкина, А. П. Ермолова, И. И. Дмитриева и других). С Андреем Тимофеевичем Болотовым ему встретиться, видимо, не довелось, и любопытнейшие свидетельства человека мыслящего и много повидавшего остались поэту недоступны. А, между тем, Болотов ведь описывает двор Петра III, казнь Пугачева, смерть Екатерины...

В 1850-е годы суждения о нем, хоть и появлялись порой в печати, но отличались несколько снисходительным тоном. Бывали, однако, и исключения. Известный критик А. В. Дружинин писал: «Нельзя не отдать справедливость почтенному старичку за его умение рассказывать, за его ясную и спокойную речь, чуждую всяких претензий, чуждую сухих афоризмов, — речь, в которой будто отвечивало все тихое, кроткое, безмятежное существование этого умного человека».

Издатель «Русской старины» М. И. Семевский, необычайно много сделавший для собирания и публикации памятников и документов русской истории, так отозвался о мемуарах Болотова: «Лучшие стороны этого рассказа составляют необыкновенная искренность автора, любовь к правде и дорогому отечеству. Болотов есть полный представитель лучших русских людей прошлого столетия. Большие природные дарования он развил упорным изучением наук и литературы, как отечественной, так и иностранной, особенно немецкой. Независимо от того, он был человек прекраснейших душевных качеств: в записках его, как в зеркале, отражается его чистое прекрасное сердце. Отсюда эта теплота рассказа, эта правдивость, этот добродушный юмор».

Стоит вспомнить доброжелательную оценку записок Болотова, данную Д. И. Писаревым в «Библиотеке для чтения». Критик находил у Болотова «громадный повествовательный талант». В мемуарах его, утверждал Писарев «с поразительной ясностью представлен быт тогдашнего общества, в них выражается личность Болотова, и потому они в наших глазах должны иметь свою цену; сверх того, они рассказаны с такой увлекательной простотой, автор так хорошо умеет расположить читателя в пользу своей добродушной личности, что невольно интересуешься мельчайшими подробностями его жизни, невольно принимаешь искреннее участие в его надеждах, в его радостях и печалях... В них местами так много неподдельного комизма, что почти трудно поверить, что они написаны в прошлом столетии, когда на нашей письменности еще лежала тяжелая печать риторики». Последнее замечание особенно важно, потому что, как, думается, убедится читатель, записки Болотова не утратили своей простоты и доступности даже теперь — на подходе к XXI веку.

Получается некое противоречие: с одной стороны, критики и историки всегда знали и высоко ценили труды Болотова, с другой — так называемый широкий читатель их никогда не читал, да и по сей день мало знаком с ними. Если попросить любого достаточно образованного человека перечислить выдающихся отечественных писателей XVIII века, он едва ли назовет Болотова. Между тем, в 1900 г. историк литературы П. Полевой писал: «В этих записках с изумительной полнотой и подробностью, в цельной и связной картине перед нами проходит вся русская жизнь прошлого века, во всех ее многообразных проявлениях и притом в рассказе человека умного, живого, образованного, много видевшего и много знающего». Все сходятся на том, что самое ценное у Болотова — мельчайшие детали помещичьего и крестьянского быта. Вместе с тем, быть может, рассказанное им не имело бы столь большого значения, если бы своеобразно не сочеталось с ощущением эпохи и исторического момента в целом. П. Полевой объясняет это так: «Как человек замечательно живой и любознательный, он не переставал из своего «прекрасного далека» следить за общим ходом русской государственной жизни и в то же время заносил в свои записи все то, что совершалось вокруг него в жизни провинциальной и городской среде». Таким образом, записки Болотова, хоть и не полно, но в высшей степени своеобразно рассказывают нам об отечественной истории XVIII в. в целом. Ни один современный историк или литератор, пишущий о тех временах, без них, конечно, не обходится.

Разумеется, из малого отрывка, помещенного в этом сборнике, читателю не будет ясна общая картина, запечатленная Андреем Тимофеевичем Болотовым в его бесконечных трудах, но для того и печатается этот отрывок, чтобы вызвать у тех из наших современников, кто с Болотовым еще не знаком, интерес к его личности и ко всему им сочиненному. Этот интерес, несомненно, будет через Болотова обращен и к эпохе, им описанной.

### ЛИТЕРАТУРА

Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. 1—3.— М.— Л., 1931.

Бердышев А. П. А. Т. Болотов — первый русский ученый агроном.— М., 1949.

Лазарев В. Сокровенная жизнь.— М., 1978.

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Сост., вступ. статья и прим. А. В. Гулыги.— М., 1986.

Ганичев В. Тульский энциклопедист.— Тула, 1986.

## ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛОТОВА, ОПИСАННЫЕ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ

### ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Не тщеславие и не иные какие намерения побудили меня написать сию историю моей жизни; в ней нет никаких чрезвычайных и таких достопамятных и важных происшествий, которые бы достойны были преданы быть свету, а следующее обстоятельство было тому причиною.

Мне во всю жизнь мою досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о себе известий и чрез то лишили нас, потомков своих, того приятного удовольствия, чтоб иметь об них и о том, как они жили, и что с ними в жизни их случалось и происходило, хотя некоторое небольшое сведение и понятие. Я тысячу раз сожалел о том и дорого б заплатил за каждый лоскуток бумажки с таковыми известиями, если б только мог отыскать что-нибудь тому подобное. Я винил предков моих за таковое небрежение, а не хотя и сам сделать подобную их и непростительную погрешность и таковые же жалобы со временем и на себя от моих потомков, — рассудил употребить некоторые праздные и от прочих дел остающиеся часы на описание всего того, что случилось со мной во все время продолжения моей жизни, равно как и того, что мне о предках моих по преданию от престарелых родственников моих, которых я застал при жизни, и по некоторым немногим запискам отца моего и дяди, дошедшим до моих рук, было известно, дабы сохранить, по крайней мере, и сие немногое от забвения всегдашнего, а о себе оставить потомкам моим незабвенную память.

При описании сем старался я не пропускать ни единого происшествия, до которого достигала только моя память, и не смотрел, хотя бы иные были из них и самые мало-важные, случившиеся еще в нежнейшие лета моего младенчества. Сие последнее делал я наиболее для того, что напоминание и прочитывание происшествий, бывших во время младенчества и в нежные лета нашего возраста, причиняют и самим нам некоторое приятное удовольствие. А как я писал сие не в том намерении, чтоб издать в свет посредством печати, а единственно для удовольствования любопытства моих детей и тех из моих родственников и будущих потомков, которые похотят обо мне иметь сведения, то и не заботился я о том, что сочинение сие будет несколько пространно и велико, а старался только, чтоб чего не было пропущено; почему в случае, если кому из посторонних случится читать сие прямо набело писанное



сочинение, то и прошу меня в том и в ошибках благо-склонно извинить. Наконец, что принадлежит до расположения описания сего образом писем, то сие учинено для того, чтоб мне тем удобнее и вольнее было рассказывать иногда что-нибудь и смешное.

## ИСТОРИЯ МОЕГО МЛАДЕНЧЕСТВА

Любезный приятель! Вот теперь дошел я и до собственной своей истории. Я начну оную с самого дня моего рождения, дня достопамятного в моей истории и ознаменованного одним редким и примечания достойным происшествием, однако надобно примолвить, что не на небе и не во всем свете, а в господской только нашей вотчине, маленькой деревнишке Д в о р я н и н о в е или, лучше сказать, в одной спальне моей матери, — происшествием не столько удивительным, сколько странным и столь смешным, что оно заставило мать мою, в самые опасные минуты своих родов и несмотря на всю свою болезнь, смеяться, и которое власно<sup>1</sup> как служило некоторым предвозвестием тому, что я в течение жизни моей не столько печальных, горестных и скучных, сколько спокойных и радостных минут иметь буду!.. И буде это так, то я очень обязан за то моей бабушке-повитушке, которая ко всему тому подала повод и мать мою рассмешила.

— Как это так! — скажете вы: — конечно, была она какая-нибудь проказа?

Нет! Право нет, любезный приятель! Она была старуха добрая, старуха богомольная, — старуха честная, старуха большая, старуха толстая, одним словом, старуха всем хороша, и я ее, будучи маленький, очень любил и часто об ней плакивал, потому что она была моя мамка, а что она проказу сделала, тому не она, а пол виноват. Ибо виновата ли она, что пол разохся, и ее крест увяз в трещине?

— Как это? — спросите вы.

— А вот каким образом:

Как случилось мне родиться ночью после полуночи, то не было никого в той комнате, кроме одной сей бабушки-старушки, да моей матери. Мать моя сидела на постели, а старушка молилась богу и клала земные поклоны. Вы ведаете, как старухи обыкновенно молятся. Где-то руку заведет, где-то на плечо положит, где-то на другое, где-то нагнется, где-то наклонится и где-то начнет подниматься с полу и где-то встанет; одним словом, в одном поклоне более минуты пройдет. Но представьте себе, какой странный случай тогда сделался! —

В самую ту минуту, как назначено было мне свет увидеть, бабушка отправляла свой поклон и была нагнувшись, и в самый тот момент попади крест ее в щель на полу между рассохшихся досок и так перевернись там ребром, что его ей вытащить никак было не можно. Мать моя начала кричать и звать ее к себе, а она:

— Поймай, матушка, — говорит, — погоди немножко! Крест зацепил, не вытащу.

И между тем барахталась на полу головою и руками. Вытянуть его было не можно, перервать также; гайтан<sup>2</sup> не рвется — крепок. Вздумала его скидывать с головы, — но что ж? — еще того хуже сделала! Голова не прошла, а только увязла и привязалась к полу! Что оставалось тогда делать, не смешное ли приключение? Мать моя рассказывала потом часто, что она не могла от смеху удержаться, видя сию проказу и слыша усиленные ее просьбы, чтоб немного погодила, ибо в ее ли власти было погодить?

Ежели спросите, каким же образом она освободилась, то скажу, что на крик их проснулась и прибежала еще баба и гайтан принуждена была разрезать. И по счастью, поспела бабка к исполнению своей должности.

Вот вам, любезный приятель, первое смешное приключение, случившееся еще при самых моих родах. Но теперь возвращусь я к порядку моей истории. Я родился в 1738 г., октября в 7 день, что случилось тогда в субботу. Место моего рождения есть самое то, где я ныне живу. Отца моего в то время не было дома, как я родился. Он находился в Нежине, одном украинском городке, где тогда полки по возвращении из турецкого похода<sup>3</sup> стояли. Он был очень рад, получив известие сие через полтора месяца. Крестины мои отправлялись обыкновенным у нас в деревнях образом. У меня было два отца и две матери крестных, — все родственники и приятели моих родителей. Один из них был господин Раевский, по имени Иван Артемьевич, а другой — господин Ладыженский, по имени Иван Леонтьевич. Кумы же, две старушки — наши родственницы и мне бабки: Арина Саввишна и Авдотья Борисовна, жена соседа нашего Матвея Кирилловича Болотова.

О самом первом периоде моей жизни или о времени первого моего младенчества много говорить мне о себе нечего, ибо со мною не происходило ничего особенного, и сказать разве только то, что воспитывали меня с особенным старанием и берегли, как порох в глазе, но тому и удивиться не можно. — Мать моя была уже не гораздо молода и детей более родить уже не надеялась, а сына ни одного еще живого не имела; все бывшие до меня умирали в самом еще младенчестве, следовательно имела она

причину опасаться, чтоб и со мною того же не сделалось, а особливо потому, что я с самого младенчества подвержен был многим болезненным припадкам, почему легко можно заключить, что жизнь моя была обоим родителям гораздо чужна и драгоценна. Но могли ли они всеми трудами и всеми стараниями своими оную охранить, если б небо не похотело? Но сие назначило меня к тому, чтоб жить, и потому сохранило от всех опасностей, которым мы в младенчестве своем ежеминутно бываем подвержены.

Года два после рождения моего жила мать моя со мною и с обеими сестрами дома, ибо родитель мой был в сие время во многих отлучках. В следующий 1739 г. ходили они в последний турецкий поход, где марта 5-го пожалован он был гвардии старшим капитаном, а августа 17-го дня был он на случившемся в Молдавии, на речке Шуланце, сражении, и при взятии города Хотина, где благополучно сохранился.

Как сей поход был последний в тогдашнюю турецкую войну, то возвратилась армия в Россию, и отец мой прибыл зимою с гвардейским батальоном в Петербург, заехав наперед в деревню и побыв в ней самое короткое время.

Не успел он в помянутый столичный город возвратиться, как объявлен был заключенный мир с турецким государством<sup>4</sup> и отец мой отправлен был с объявлением о том в некоторые отдаленные провинции нашего государства, лежащие в сторону к Сибири. Сия посылка была ему не убыточна, ибо известно то обыкновение, что присылаемые с таким радостным известием получают от жителей тех мест многие подарки и приносы, и я имею и поныне еще некоторые, а особливо фарфоровые вещи, привезенные им из Соликамска, где ему тогда быть случилось.

Вскоре после возвращения отца моего оттуда, а именно октября 17 дня 1740 г., воспоследовала кончина императрицы Анны Иоанновны. Я не буду упоминать о тех замешательствах, которые тогда, при избрании наследников, у нас в государстве происходили, ибо мне о том знать было не можно, к тому же их весь свет довольно знает. При восшествии на престол императрицы Елизаветы Петровны находился отец уже в полевых полках, ибо его выпустили между тем из гвардии, пожаловали полковником и дали ему Архангелогородский пехотный полк.

Сия перемена привела обстоятельства наши в иное состояние; отец мой находился с того времени почти беспрестанно при полку, а мы жили также по большей части при нем.

Таким образом, начал мой отец мало-помалу приходить в честь; он и действительно через хорошие свои поступки и умное поведение сделался известным. Одним словом, его почитали человеком, должность свою довольно знающим,

и заведенные им в полку порядки доказывали его способности. Еще находясь в гвардии, нажил он себе многих хороших приятелей, а особливо жил он в великой дружбе с одним придворным генералом, господином Шепелевым. Одним словом, все знатные были ему благосклонны, а между оными любил и почитал его сам командующий тогда армиею фельдмаршал Лессий.

Мы принуждены были следовать повсюду за отцом моим, и я, размышляя о том часто, сам тому дивился, что с рождения моего никогда долгое время на одном месте не жила. Не успел отец мой полк принять, как взял он нас к себе в полк, стоящий тогда неподалеку от Нарвы, в селении, называемом Наровск. Вскоре после того пошел он с полком в другое место, и мы принуждены были следовать за ним, — а сим образом с места на место переходя, нигде он долгое время на одном месте не стоял, что причиною было, что и мы с ним всюду и всюду таскались.

Между тем бывали мы с матерью моею несколько раз и в доме нашем, а особливо, как вскоре потом началась у нас война с шведами, и отец мой, идучи в поход с полком своим на галерах, принужден был отпустить нас в деревню из Эстляндии. Мне шел тогда уже пятый год, а большой моей сестре — восемнадцатый, а другой — тринадцатый, ибо первая родилась в 1725, а другая — в 1730 г. Я был самый меньшой и, действительно, последний.

Что касается до начала воспитания моего по отнятию от кормилицы, то было оно обыкновенное. Превеликая нега следует всегда за любовью, которую матери имеют к своим детям. Мать моя крайне меня любила и не оставляла всяким образом нежить, через что допустила вкорениться во мне многим худым привычкам. Упрямство было первое, которое тогда корень свой и пустило, умалчивая о прочих. Блаженны дети, о коих родители их в самом младенчестве о них пекутся и о исправлении их нравов старание прилагают.

Что касается до того пункта времени, с которого начал я сам себя познавать и сколько-нибудь помнить, то не могу оной в точности означить, а только то знаю, что до 1744 г. память моя была еще мала и беспорядочна. Я хотя и помню много кой-чего бывшего до сего времени, но без всякой связи и все клочками, и только то, чему случилось тверже впечатлеться в мою память, как, например, памятую я, как сквозь сон, как мы с полком стояли в Наровске и как я ездил тут в салазках на козле для принимания будто от комиссара жалованья, и получал по несколько копеек; так же как мы с меньшою сестрою однажды в отсутствие родителя забрались в его комнату и возжелали посмотреть, как идут карманные часы его, но

были столь неосторожны, что оные уронив, разбили на них стекло, и как сестра моя за то принуждена была терпеть наказание, да и меня едва было не высекли. Также памятно мне, как мы стояли в эстляндском местечке Гапсале в одном каменном доме, которого образ и фигуру как теперь вижу, и как случалось мне тут быть в одной пустой немецкой кирке и видеть несогнившее тело одного человека, погребенного лет за сто, и о котором говорили тогда, якобы он был проклятый. Далее, как я тут зимою с родителями ездил по городу кой-куда в санях в гости и смотривал на бывшую тогда на небе звезду с хвостом или комету и пр., но когда что было и что за чем последовало, того никак в памяти моей сообразить не могу.

Наконец, вскоре по возвращении полку нашего из шведского похода и по заключении с короною шведскою мира, воспоследовала в государстве нашем вторичная всему народу перепись, или вторая ревизия. При сем случае отца моего определили ревизовать Псковскую провинцию. Итак, принужден он был оставить полк и во Псков отправиться, куда к нему мы из деревни приехали.

Но как с самого сего времени началась моя память, и я уже помню все происходившее порядочно, а не так, как прежде, клочками, то, окончив опять мое письмо, сделаю чрез то некоторое отделение и, пожелав вам всех благ, остаюсь и прочая <sup>5</sup>.

## ЖИЗНЬ В ПАНСИОНЕ

Любезный приятель! Итак, по отъезде матери моей в деревню, а родителя с полком — в Финляндию, остался я один в Петербурге, среди людей, совсем мне незнакомых и власно как в лесу. Не могу никак забыть того дня, в который привезли меня в дом к учителю и оставили одного: мне казалось, что я находился совсем в ином свете и дышал другим воздухом: все было для меня тут дико, все ново и все необыкновенно. Я принужден был начать вести совсем нового рода жизнь, и совсем для меня необыкновенную: не мог я уже ласкаться, чтоб мог пользоваться тою негою, какую наслаждался в родительском доме. Маленькая постелька и сундучок с платьем составлял весь мой багаж, а дядька мой Артамон был один только мой знакомый, прочие же все были незнакомы, и я долженствовал со всеми ознакамливаться и спознаваться, а особливо с теми, которые тут также по примеру моему жили.

Учеников было тогда у учителя моего человек с двенадцать или с пятнадцать; некоторые были на его содержа-

нии, а другие прихаживали только всякий день учиться, а обедать и ночевать хаживали домой. Из числа первых и znameniteйших из всех был некто господин Нелюбохтин, сын одного полковника гарнизонного, да двое господ Голубцовых, которые были дети одного сенатского секретаря. Сии жили вместе со мною, и каждому из нас отведена была особливая конторочка в том же покое, где мы учились, досками отгороженная. Мне, как новичку и притом полковничьему сыну, отведена была наилучшая вместе с господином Нелюбохтиным, который был мальчик нарочито уже взрослый и притом тихого и хорошего характера, и потому я скоро с ним спознакомился и сдружился. Голубцовы были также меня старее, ибо мне было только 10 лет от роду, однако уже не таковы, как Нелюбохтин. Одного из них звали Александром, а другого — позабыл. Я познакомился скоро и с ними, ибо были они не из числа дурных детей. Что ж касается до приходящих к нам учиться, то были они разные, и между прочим одна нарочитого уже возраста девушка, дочь какой-то майорши; по прошествии долгого времени позабыл я, как ее звали, только то помню, что она при мне не долго училась, а и прочие из приходящих часто переменялись и то прибывали, то убывали. Как мне никто из них не был слишком короток, то и не помню я из них почти ни одного, что и не удивительно по моему возрасту.

Учитель мой был человек старый, тихий и весьма добрый; он и жена его, такая же старушка, любили меня отменно от прочих. Он сам нас мало учивал, потому что по обязанности своей должен был всякий день ходить в классы в кадетский корпус и учить кадетов, и так доставалось ему самому нас учить двенадцатый час да в вечер еще один час. Прочее же время учил нас старший из его сыновей, которых было у него двое. Одного звали Александром и он был нарочито уже велик и мог уже по нужде обучать и был малый изрядный, а другой еще маленький, по имени Фридрих, и малый огненный, резвый и дурной; за резвость и бешенство его мы все не любили.

Что касается до содержания и стола для нас, то был он обыкновенно пансионный, то есть очень, очень умеренный; наилучший и приятнейший кусок составляли булки, приносимые к нам по утрам и которыми нас каждого оделяли. Они были, по счастью, отменно хороши, и хлебник, пекущий оные, умел их так хорошо печь, что мне хороший вкус их и поныне еще памятен. Обеды же были очень, очень тощи и в самые скоромные дни, а в постные и того хуже. Но привычка чего не может сделать! Сколько сначала ни были мне такие тощие обеды маловкусны, однако, я, наконец, привык и довольно бывал сыт, а особливо, когда поутру либо лишнюю булочку, либо скоромный пре-

красный кренделек купишь и съешь, которые так нам казались вкусными, что подберешь и крошечки; нередко же случалось, что иногда и ложка, другая, третья хороших щей с говядиною. варимых для меня слугою моим, помогали обеду, и которые нередко казались мне вкуснее и сытнее всякого обеда.

Как я учению французского языка начало сделал еще в Курляндии и тут стоило только продолжать оный, то успех учения моего был весьма хорош. Я столь был понятен и прилежен, что менее нежели в полгода обогнал всех моих сотоварищей и сделался первенствующим в школе, и каков был ни мал, но мог всем указывать и за всеми поправлять. Учение наше состояло наиболее в переводах с русского на французский язык Езоповых басней и газет русских; и метода сия не дурна: мы через самое то спознакомливались отчасу больше с французским языком, а, переводя газеты, и с политическим и историческим штилем и с званиями государств и городов в свете.

Как обещано было, чтоб выучить меня и географии, то чрез несколько времени принял учитель наш или пригласил какого-то немца, чтоб приходил к нам и учил нас часа два после обеда сей науке. Для меня была она в особенности приятна и любопытна, я пожирал, так сказать, все говоренные учителем слова, и мне не было нужды два раза пересказывать. Европейская карта, которую он одну нам только и трактовал, впечатлелась так твердо в уме моем, что я мог всю ее пересказать по пальцам. Но жаль, что учение сие недолго продолжалось: не знаю и не помню, что тому причиною было, что он ходил к нам не очень долго, почему и учение было весьма слабое и короткое. Со всем тем получил я чрез сей случай нарочитое о географии понятие, но что более моей удобопонятности, охоте и любопытству приписывать должно; а судя по учению, то оное не принесло б мне дальней пользы, так как прочим пользовало оно очень мало.

Что принадлежит до истории, то сей науки в пансионе нашем не было обыкновения учить. Но сие едва было и не лучше, нежели учить таким образом, как учат ныне (1789 г.) в пансионатах, где теряется только на то время, а пользы никакой не производится, ибо заставляют детей учить обе сии науки наизусть на французском языке, и они ничего не понимают.

Но недостаток сей наградила я некоторым образом собственным своим любопытством и чрезвычайною охотою к чтанию книг, полученною около сего времени. За охоту к тому обязан я книге «Похождения Телемака»<sup>6</sup>. Не могу довольно изобразить, сколь великую произвела она мне пользу! Учитель наш заставлял меня иногда читать ее у себя в спальне для науки, но я ее мало разумел по-

французски, а по крайней мере узнал, что она такое и, достав не помню от кого-то русскую, не мог довольно ей начитаться. Сладкий пиитический слог пленил мое сердце и мысли, влил в меня вкус к сочинениям сего рода и вперил любопытство к чтению дальнейшего. Я получил чрез нее понятие о мифологии, о древних войнах и обыкновениях, о Троянской войне, и мне она так полюбилась, что у меня старинные брони, латы, шлемы, щиты и прочее мечтались беспрерывно в голове, чему много помогали и картинки, в книге находившиеся. Словом, книга сия служила первым камнем, положенным в фундаменте всей моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России было тогда еще так мало русских книг, что в домах нигде не было ни только библиотек, но ни малейших собраний<sup>7</sup>, а у французских учителей того меньше. Литература у нас тогда только что начиналась, следовательно не можно было мне, будучи ребенком, нигде получить книг для чтения.

Но не одним сим я, живучи в сем пансионе, воспользовался: я уже упоминал прежде, что я с самого малолетства получил великую склонность к рисованию и марианию красками. Еще в то время, как я учился писать по-русски, то писаришка, учитель мой, вперил в меня первую охоту рисованием своим кораблей, церквей, колоколен и прочего; дядька мой также умел гваздать колокольни и чернецов, и я насмотрелся у него. Охота сия возросла еще того более в Курляндии, когда учитель мой Чаах научил меня держать кисть в руках и безделицы ими мазать красками. Словом, склонность моя к сему искусству была так велика, что в то время, когда ехали мы из Курляндии в Петербург, почитал я наивеличайшим благополучием в свете, когда б мог я иметь котел с кранами вокруг такой, чтоб из каждого крана текла мне из него разная краска, и какой бы я ни отвернул, такая бы и потекла. Но тут жил я окружен будучи вокруг рисовальными мастерами и имел наивожделеннейший случай насмотреться, как они рисуют и как составляют разные краски, и получить ближайшее понятие о сем искусстве; меня оно столь прельщало, что я досадовал, для чего меня не учат, и писал к родителю моему, чтоб он сделал милость и велел меня учить. Он и сделал мне сие удовольствие: живущий с нами об стену рисовальный мастер Дангауер нанят и приговорен был меня учить; итак, начал я к нему ходить и по несколько часов учиться. Но какая досада была для меня, что учить меня начали не так, как мне хотелось, красками, а карандашом, и рисовать фигуры. В этом прошло все время, и мне не удалось поучиться рисовать красками и любимые свои ландшафты, которые мне всего были милее, но, по крайней мере, имел я тут случай насмотреться и узнать



многое. Сам учитель рисовал очень хорошо, и наиболее яйца гусиные красками; я же научился у него изрядно рисовать карандашами.

Между тем, как я, сим образом живучи тут, учился французскому языку, географии и рисованию, не оставляя я в праздное время, а особливо в праздники, ходить к дяде моему, господину Арсеньеву. Благоприятством и ласками его и тетки, жены его, я был очень доволен; они принимали меня всегда как близкого родственника и любили меня очень за тихое и скромное мое поведение. Они имели у себя другого племянника, жившего в кадетском корпусе и записанного в оном; он был и мне внучатный брат, звали его Тимофеем Ивановичем Тутолминим, и он самый тот, который ныне заместником в городе Архангельском. Судьбе угодно было превознестъ его далеко предо мною, но тогда имел я преимущество пред ним, и дядя любил меня более, нежели его, ибо он был резв и вертоголовой. Мы всегда почти бывали с ним вместе у дяди и всегда ночевали, ибо ходить должно было чрез весь Петербург, и были друзья между собою.

В сих происшествиях кончился 1749 и начался 1750 год. Бываемые около сего времени и в другие торжественные дни увеселения, а особливо иллюминация из разных фонарей, прельщали меня до бесконечности; для меня были новым зрелищем, и я не мог их довольно насмотреться. Ко всему любопытному был я с малолетства склонен. Таким образом утешали меня чрезвычайно кадетские строи и их учения, бывшие летом: всегда, когда они ни бывали, хаживали мы смотреть, ибо парадное место было подле самых нас.

Пред приближением масленицы восхотелось родителю моему меня видеть; он прислал за мною повозку и лошадей и просил учителя, чтоб он недели на две меня к нему отпустил. Учитель не только на то охотно согласился, но поступил еще далее и отпустил со мною и старшего своего сына. — Итак, ездили мы к моему родителю в полк и гостили у него недели две. Он стоял тогда с полком между Быборгом и Петербургом, на винтер-квартирах<sup>8</sup>, и имел квартиру свою в селе, называемом Красным; хоромцы были самые маленькие, но в этакой стране, какова Финляндия, и требовать было лучше не можно. Родитель мой был нам очень рад и о успехе учения моего изъявлял свое удовольствие. Все время нашего пребывания у него проводили мы весело и приятно: он бирал нас с собою, когда случалось ездить ему куда в гости. Все полковые офицеры ласкались ко мне наперерыв и все хвалили за мою прилежность и охоту к учению; в сие-то время выпросил я у родителя моего прежде упомянутое дозволение

рисовать учиться; он охотно на то согласился и велел купить для меня рисовальную книгу и все нужное.

Здоровье родителя моего начало около сего времени гораздо слабеть; он уже давно жаловался ногами, но в сие время чувствовал и во всем себе слабость. Как теперь помню, однажды идучи вместе с ним к церкви, которая была неподалеку от хором, обратившись он к идущим позадь его офицерам, сказал:

— Нет, государи мои, недолго уже мне жить, чувствую одышку и отменную слабость во всем моем теле, которая меня очень устрашает.

Все утешали его, говоря, что лета его еще не так велики, чтоб скорой смерти опасаться было можно; однако он оставался при своем мнении.

Другое, что мне из сего периода времени памятно, было то, что родитель мой издевками своими вогнал меня однажды в превеликие слезы. — Идучи однажды в баню, угодно ему было взять меня с собою. Не успели мы раздеться, как вздумалось ему надо мною пошутить:

— Ну, брат Андрюша, — сказал он мне, — ты у меня теперь уже жених, и пора уже тебя женить.

Меня сие так поразило, что слезы у меня как град покатались, ибо природная застенчивость моя против женского пола была так велика, что я не мог рассудить, что это была одна шутка; и можно ли быть правде, когда я тогда не более как по одиннадцатому году был: женят ли кого в такие лета?

Погостивши у родителя моего недели две-три и на первой неделе великого поста исповедовавшись и причастившись, возвратился я опять в Петербург и стал продолжать свои науки и жить по-прежнему у моего учителя. С сего времени, сколько я помню, упражнялся я в переводе какой-то французской книжки, — мне и поныне жаль, что у меня пропал сей перевод; без всякого сомнения, он был весьма несовершенен и недостаточен: некто господин Барыков нашего полку выпросил у меня его прочесть и увез.

Сим образом продолжал я тут жить и учиться во весь остаток зимы, во всю весну и лето; а между тем родитель мой перешел с полком своим в самый город Выборг, ибо полку его велено стоять тут во все лето лагерем. Желал бы он охотно, чтоб я прожил у учителя моего еще год, но усиливающаяся его слабость и болезненное состояние принудили его прервать, против хотения своего, мое учение и взять меня к себе из Петербурга. Он прислал за мною нарочных лошадей, и я принужден был, оставив Петербург и все свои науки, и к нему в Выборг ехать.

Сим окончу я сие письмо, предоставляя в последующем рассказать дальнейшее, что со мною случилось; а между тем, при уверении о моей непомерной дружбе, остаюсь и прочее.

## ПОЛКОВОЕ НАЧАЛЬСТВО И ШТАБ

Любезный приятель! В предсудующих моих письмах описал я вам мое малолетство и рассказал все, что со мною во время оного происходило. А теперь приступлю к описанию действительной моей военной службы, ибо хотя я был уже и давно в оной, но до сего времени лишь только счислялся в оной, службы же никакой еще не нес, а настоящую службу начал только нести с того пункта времени, как мы с зятем моим, господином Неклюдовым, к полку из отпусков наших приехали. Расскажу вам, любезный приятель, все, что со мною во время службы сей случилось, и хотя была она не слишком долговременна и во все продолжение оной не было со мною никаких важных и чрезвычайных происшествий, однако ласкаюсь надеждою, что вам описание оной не скучно будет и что вы с таким же любопытством читать оное станете, как и историю моего малолетства.

Я остановился на том, что мы приехали в Лифляндию и в мызу Сесвеген, где тогда стоял штаб нашего полка на винтер-квартирах. Сей пункт времени составлял важную эпоху в моей жизни, с оного начиналась для меня жизнь совсем нового рода. До сего я жил на совершенной воле и был властелином над всеми своими делами и поступками, а тут вдруг все сие кончилось, и я принужден был готовиться жить в повиновении у многих. Я приехал тогда в полк, равно как в лес дремучий, ибо хотя в нем почти родился и вырос, однако, как минувшие три или четыре года в оном не был, то в сие время все в нем переменялось и было для меня дико. Сверх того, и между самими прежними и тогдашними обстоятельствами была превеликая и бесконечная разница: тогда был я в нем под хорошею опекою, и меня не почитали сержантом, а сыном полковничьим, и потому все офицеры, да и самые штабы меня любили и ко мне ласкались; отец мой был моею защитою и покровителем, а в сей раз был ничто иное, как простой и молоденький сержантик, следовательно, представлял фигуру весьма малую и неважную и ничем не лучше был сержантов прочих, которые почти все около сего времени были такие же дворяне, как и я, ничем меня не хуже. Все штабы и большая часть офицеров были уже не те, которые при мне были; полковник был у нас новый, природою швейцар и не умеющий по-русски ни единого

слова. Он прозывался Планта де Вильденберг и был человек не молодых лет, но, по счастью, человек тихий и самый добрый. Подполковника тогда при полку у нас не было, а премьер-майором был некто князь Тугучев, человек тоже смиренный и добродетельный, а секунд-майором — некто из природных немцев, все мне совсем незнакомые люди.

Я трепетал тогда от страха, и сердце во мне замирало, как надлежало нам с зятем идти к полковнику явиться. Природная моя застенчивость и соединявшаяся с нею деревенская дикость была тому причиною, а паче всего страшился и мучился я совестью, что позабыл немецкий и французский язык, которыми, как не сомневался я, что станет полковник со мною говорить. И потому казался он мне тогда пуще, нежели медведем, и я с трепетом приближался к его квартире, которая была в нарочито изрядном деревянном доме, построенном подле развалин одного старинного каменного замка.

Зять мой должен был быть моим предводителем, и я на него, как на каменную стену, надеялся. Он и в самом деле был тогда единым моим защитником и покровителем и, по особливому счастью моему, был не только знаком уже полковнику, но считал себя у него и в милости. Он не позабыл привезть с собою кое-что из деревенских вещей в гостинцы как для полковника, так и для живущего при нем подпоручика г. Зеллера.

Сия особа была тогда знаменитая в полку нашем и до офицера сего была тогда всякому нужна, ибо надобно знать, что сей человек был тогда всего правления полком наисильнейшею пружиною: он служил при полковнике вместо переводчика, а в самом деле соединен был с ним некоторым теснейшим союзом. Он был муж или, паче сказать, носил только имя мужа полковничьей метрессы или любовницы, на которой женил он его на ней, произведя из сержантов в офицеры. Госпожа сия известна и славна была у нас тогда в полку под именем Мартыновны и могла с мужем своим делать в полку, что хотела, а потому был и он великой важности, и тем паче, что был он весьма бойкая и разумная особа, и полковник любил его за его достоинства и во всем на него полагался и ему верил.

Зятю моему еще в прежнюю свою при полку бытность посчастливилось приобрести дружбу от сего офицера и благоволение к себе от его супруги, а через них и от полковника. Достаток его помог ему в том весьма много, и ежели признаться, то как полковник, так и любимец его с женою, любили зятя моего наиболее за его богатство и за то, что он не упускал при всяком случае им кое-чем служить и всячески подольщаться. Он и в последнем своем отпуске был и всю зиму дома прожил не иначе, как

по милости Мартыновны, ибо она убедила полковника, без ведома главной команды и самому собою, отпустить его на несколько месяцев в деревню.

Все сие было причиною, что полковник моего зятя, а по нем и меня принял весьма ласково и приятно. Он, услышав, что я сын его предместника, и видя меня еще очень молода, по природному своему добросердечию получил ко мне некоторый род сожаления, и я могу сказать, что он во всякое время был ко мне благосклонен. Как сказали ему, что я отпущен был для обучения наук и языков, то не преминул он тотчас со мной говорить по-немецки. Я ни жив тогда, ни мертв был, однако отвечал на его вопросы сколько тогда было в силах. Что я много позабыл, того нельзя было ему не заметить, однако он не оказал нимало неудовольствия, но паче изъявлял сожаление свое, опасаясь, чтоб не велено было меня от главной команды экзаменовывать порядочным образом. При вопросе, чему я еще выучился, представил я ему свои геометрические и фортификационные книги. Он хотя не разумел ничего по-русски, однако рассматривал оные с прилежанием, и, сколько можно было заметить, был очень доволен чистотою черченных фигур и моих рисунков и хвалил меня за мою прилежность. Тогда отлегло у меня несколько на сердце, и я перестал то бледнеть, то краснеть, как прежде.

Полковник оставил нас у себя обедать, и зять мой просил его о содержании меня в своей милости. Он не только сие обещал, но учинил того же часа первый опыт своей ко мне благосклонности, дозволив мне жить при моем зяте, а не являться для несения должности в роту, что учинить потому было и пособно, что зять мой был тогда полковым квартирмейстером.

Таким образом, велено было меня счислять при квартирмейстерских делах, и я отправился с зятем моим на отведенную ему квартиру. Обстоятельством сим и милостью, оказанною мне в сем случае полковником, был я крайне доволен, ибо чрез то избежал я опять несения сержантской своей и многотрудной должности, не был принужден ехать в роту стоять в каком-нибудь латышском рею<sup>9</sup>, жить с солдатами вместе и угождать во всем своенравию своего капитана; но, живучи при зяте моем в совершенной праздности, имел время исподволь привыкать к полковой жизни и со всеми ознакомливаться.

Квартира отведена была зятю моему на одном так называемом лифляндском подмызке, или небольшом дворянском праздном домике, отлежащем от штаба верст за пятнадцать. Лифляндские дворяне, для освобождения домов своих от постоя, имеют обыкновение строить в отсутственных своих деревнях такие маленькие домики для постоя

офицерам и снабжать их всем нужным. Нам достался тогда призрачный домик, имеющий покойца четыре, и довольно хорошо прибранных, так что мы могли без всякой нужды поместиться, и квартирую своею были весьма довольны. Как сей подмызок назывался, того за долгопрошедшим временем не могу я никак вспомнить, а то только памятно мне, что лежал он на горе и на весьма прекрасном положении места.

Прибыв туда и расположившись, зять мой за первый долг себе почел побывать и у всех прочих наших штаб-офицеров. Сие учинил он, не упуская времени, и брал меня всюду с собою. Поелику был он, по причине хорошего своего характера, ими всеми любим, то приняты мы были и от них весьма приятно и благосклонно.

Таким образом, начал я жить в полку, не имея причины ни на что жаловаться. Два только обстоятельства тревожили покой мой и приводили меня в смущение: первое было то, что в полку считали меня уже давно и почти с целый год в просрочке, а, во-вторых, опасались мы, чтоб не велено было от командующего генералитета, к которому тотчас о прибытии моем рапортовано, меня в науках моих экзаменовать и чтоб не потребовали меня для сего в Ригу, где тогда командующий нами генералитет находился.

Что касается до первого обстоятельства, то, почитая себя совсем невинным, не имел я причины опасаться никаких худых следствий. Произошло сие от следующего, совсем мною непредвиденного обстоятельства. В истории моего малолетства упоминал уже я, что отпущен я от Военной Коллегии был не на срочное время, а глухо до шестнадцатилетнего возраста, почему и жил я в доме своем, не опасаясь ничего, покуда мне шестнадцать лет и действительно исполнилось. Но того нимало я не знал, что в полку считали меня целым годом старее, ибо по малолетству своему я того и не ведал, что покойный родитель мой, записывая меня в военную службу, для малого моего тогдашнего возраста, принужден был прибавить год один к настоящим моим летам, а я, не ведая того, при просьбе своей в Военную Коллегию показал действительные свои лета, и потому так и отпущен был. А как сия, давая в полк о сем знать, упомянула только глухо, что я отпущен до шестнадцатилетнего возраста, то от самого сего и произошло, что в полку считали меня тогда уже семнадцатилетним, следовательно, целый год в просрочке, а как узнать сего было не можно, то, к несчастью, о неявлении моем в полку тогда же к команде было и рапортовано.

Все сие не так бы нас еще тревожило и смущало, если б не присоединилось к тому другого и весьма досадного обстоятельства, а именно: за несколько времени перед

приездом моим в полк велено было прислать в главную команду в Петербург обыкновенные к производству о всех чинах списки. Поелику при дворе помышляли тогда о приумножении армий из опасения, чтоб не дошло скоро дело до войны, и главным нашим командиром, графом Шуваловым, сочиняемы были новые диспозиции и распоряжения в армии, то хотел он сделать в полках дивизии своей генеральное и большое производство и для самого того требовал помянутые списки. — Я был тогда по старшинству первый сержант по полку нашему, и не молод и по всей дивизии, и потому никто не сомневался, чтоб при первом и тогда уже с часа на час ожидаемом производстве не досталось мне в офицеры, если б не соединилось к тому того сомнительного обстоятельства, что я в помянутых списках по необходимости показан в отсутствии и в просрочке, из чего некоторые опасались худых для меня следствий. Обстоятельство сие меня весьма тревожило, и я опасался, чтоб не нажить мне от того какой-нибудь беды, но как сему пособить было уже не можно, то полагался я на власть божескую и ожидал счастья и несчастья своего от времени.

Что касается до второго обстоятельства, то есть до столь страшного для меня экзамена, то оное почти с ума меня сводило. Я трепетал от единого напоминания о том, и все разговоры о сем предмете пронзали сердце мое, как стрелою. Недели две или более я с каждым часом того и смотрел, что пришлют за мною и велят ехать в Ригу: и тогда как и с чем мне показаться? Мы не один раз говорили уже о том с зятем, и он, видя мое смущение, по любви своей ко мне хотел уже сам, выпросившись, ехать со мной и там стараться уже через подарки сделать то, чтоб экзамен был не слишком строгий. Но, по счастью, и к неопisanному моему обрадованию, избавились мы от всех сих хлопот и опасений: командирующему генералитету, видно, не до таких мелочей было тогда дело, почему в полученном от них ответе не упоминалось ни единым словом об экзамене, и я имел удовольствие видеть сию бурю благополучно прошедшею.

Со всем тем не преминал я между тем о твержении немецкого и французского языка по возможности моей прилагать старание и не упускал ни одного случая говорить с немцами. По особливому счастью и имел я к тому ежедневно случай, и можно ли думать, что всему нынешнему моему и довольно совершенному знанию немецкого языка первейшим основателем был мальчишка лет шести или семи? Однако сие действительно так было. Случись, как нарочно для моего научения, в подмызке том, где мы стояли, юнкер. Сим званием называются в Лифляндии обыкновенно у дворян их приказчики, управляющие их

домами и отсутственными деревнями; в должность сию выбирают они обыкновенно немцев, и людей довольно разумных и знающих, а притом хорошего поведения и порядочно живущих. Таков точно был юнкер и на нашем подмызке; он жил в особливых маленьких хоромцах, на том же дворе построенных, где мы жили, и имел у себя жену и маленького вышеупомянутого сына. Мальчишка сей в праздное время бегивал и игрывал всякий день по двору, и как у всех у нашей братьи, не умеющих довольно или позабывших языки, весьма дорог первый приступ к говоренью, и мы по большей части оттого долго и не выучиваемся говорить, что не имеем отваги говорить со взрослыми и посторонними и стыдимся, то самый сей случай был и со мною. Для меня превеликая беда была тогда начать говорить с каким-нибудь большим немцем, и мне казалось, что я говорю все не так, и потому стыдился. Но тут пришло мне как-то в голову поговорить по-немецки с сим мальчиком; мысль, что он меня не осудит, побудила меня к тому. Итак, познакомился я с сим мальчиком, который очень рад был, узнав, что я говорю по-немецки, и охотно говаривал со мной всякий день. Я замечал и перенимал от него все присловия немецкого языка и нечувствительно стал смелее; а как я к нему всячески ласкался и, для вящего заохочивания приходил почаще ко мне кармливал его своими закусками и лакомствами, которыми снабдила меня с избытком сестра при отъезде, и он все то рассказывал своей матери, то сие побудило ее велеть ему пригласить меня к себе на чашку кофея. Я охотно на то согласился, а самый сей случай и познакомил меня как с юнкером, так и с его женой. Они, узнав, что я говорю по-немецки, просили меня, чтоб я ходил к ним чаще, а я тому и рад был, и с ними-то имел я случай говорить ежедневно по-немецки и мало-помалу привыкать к сему языку.

Кроме сего, обязан я много первым возобновлением сего забытого языка и полка нашего секунд-майору, коего немецкую фамилию, к великой досаде моей, не могу вспомнить, а помню только то, что начиналась она с литеры Л. Майору сему случилось иметь квартиру свою неподалеку от нас и ближе всех прочих офицеров, а сие обстоятельство и было причиною, что он ездил очень часто в гости к моему зятю и просиживал у него по целому иногда дню. Обыкновенно приезжал вместе с ним и еще один офицер по фамилии Гринев. Оба они говорили по-немецки и по-французски: тот — потому, что был природный немец и притом ученый человек, а сей — по причине, что воспитан в кадетском корпусе. При таковых частых свиданиях, в которые время свое наиболее препровождали они в игре с зятем моим в ломбер, сделался и я обоим им зна-



ком, и они оба меня полюбили, в особенности же сделался ко мне господин майор весьма благосклонным. Всем господам иностранным можно то в похвалу сказать, что они отменную склонность имеют к тем из нашего народа, которые их языку учатся или иные какие науки знают. По самой сей причине любил меня и господин Л. и, видя мою охоту к обучению языков, не только при всяком случае меня к тому более поощрять старался, разговаривая со мною то на французском, то на немецком языке, но ссужал меня и французскими и немецкими книгами, до которых сам он был охотник, для чтения. Но сожаления было достойно, что все они по большей части важные и не слишком сообразовались с тогдашними моими понятиями и языков сих знанием. Но как бы то ни было, но я, пользуясь обоими сими случаями, начал мало-помалу опять познавать и твердить ученые, но совсем почти забытые языки, и как слов довольно мне было известно и недоставало одного упражнения в разговорах, то имел в том такой успех, что через короткое время удивился сам полковник наш, услышав меня говорящего по-немецки гораздо лучше прежнего, и был тем весьма доволен.

Сим образом препроводили мы достальную часть зимы. По наступлении дня святой Пасхи ездили мы с зятем в штаб для празднования сего праздника, ибо там находилась наша полковая церковь. Для помещения оной не нашлось другого места, как в одном большом сарае; но где б она ни была, но праздник сей везде был хорош и радостен. Мы обедали в сей день опять у полковника и возвратились домой уже с крайнею нуждою, ибо в самое то время разрывался зимний путь и начиналось половодье.

Вскоре после сего прислано было повеление, чтоб полку нашему, по вскрытии весны, тотчас идти в Эстляндию и в наступающее лето лагерем стоять при Ревеле. Богу известно, на что предпринимаемы были тогда полкам такие марши и контр-марши, ибо в самое то время тем полкам, которые были при Ревеле, велено идти к Риге. Может быть, нужно сие было для содержания полков в непрерывном движении и к приучиванию их к походу; но как бы то ни было, но как скоро весна вскрылась, то весь наш полк собрался в штаб и на лугу подле самой мызы Сесвеген расположился лагерь.

При сем случае увидел я впервые весь наш полк в собрании, и как мы тут более недели, приуготовляясь в поход, простояли, то имел я случай познакомиться со всеми господами офицерами, равно как и с своими сверстниками-сержантами. Удовольствие мое было превеликое, когда увидел я столь давно не виданный уже лагерь, а того величайшее, как увидел всех господ офицеров ко мне благо-

приятствующих. Многие из них были еще старые и служившие при отце моем; сии, памятуя милости родителя моего и будучи им очень довольны, за долг себе почитали оказать сыну его всякого рода ласки и благосклонности. Из сих в особенности доволен я был господами капитанами Афанасьем Ивановичем Зиловым и Иваном Никитичем Гневушевым: оба они были наилучшие, степеннейшие и разумнейшие из всего полка капитаны и оба друзья покойного моего родителя. Не менее доволен я был и прежде упоминаемым мною подпоручиком господином Колобовым, возвратившимся между тем из Москвы; он оказывал мне возможнейшее благоприятство и хвалил меня, что я послушался его совета и к полку поехал прямо. Прежний мой учитель Миллер был тогда уже также офицером и оказывал ко мне всякое благоприятство. Из прочих же, которые после меня определялись в полк и были мне незнакомы, некоторые по дружбе и знакомству с зятем моим, а другие сами собою также меня полюбили и обходились со мною не так, как с унтер-офицером, но как с равным себе сотоварищем. Из сих особливую склонность и любовь ко мне получил поручик князь Мышецкой, человек, любимый всем полком за его веселый нрав.

Сим окончу я к вам сие письмо, а в последующем расскажу о походе нашем, сказав между тем, что я есмь и прочая.

## ЗАБАВЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Любезный приятель! <...> Мне пошел тогда двадцать первый год от рождения, и с самого сего времени началось прямо мое чтение книг, которое после обратилось мне в толикую пользу. До сего времени, хотя я и читывал книги, но все мое чтение было ущипками и урывками только по временам, а с сего времени присел я, так сказать, вплотную и принялся читать книги почти уже непрерывно и не сходя с места. Тогдашнее осеннее и скучное время, начавшиеся длинные вечера, сидение всякий день в канцелярии часу до десятого вечера, множество остающегося от дел и переводов праздного времени, обстоятельство, что я, хотя немногие, но платил за книги деньги, нехотение терять их по пустому, но, напротив того, желание воспользоваться сколько можно более сим вожделенным случаем и успеть множайшие прочесть книги, а, наконец, и самые любопытные и приятные материи тех книг, которые читал я сначала, — были тому причиною, что я не терял почти ни минуты праздного времени, но все оное употреблял на чтение.

Теперь расскажу вам, какого рода книги читал я тогда наиболее. Через посредство упомянутой купленной мне товарищем моим книжки, хотя и узнал я о всех наилучших книгах и сочинениях во всех частях немецкой литературы, и хотя, прочитывая свой каталог, к особливому удовольствию своему находил, что многие из них были и у того кенигсбергского жителя, у которого я на другой же день начал брать книги для чтения, — однако, при том одном я не остался, но просил того же немца, моего товарища, который мне сей случай доставил и который взял на себя труд проводить туда одного из наших канцелярских солдат, которого я положил посылать всегда за книгами, чтоб и он мне, с своей стороны, присоветовал, какие мне сначала читать лучше, и те бы означил в каталоге. Он охотно сие и учинил, и означив все, которые ему были знакомы и лучше прочих, и пересказав мнение свое о доброте оных, советовал мне начало учинить чтанием наилучших немецких романов. Он говорил, что через то не только я научусь читать книги их проворнее и узнаю язык их совершеннее, но и всего способнее заохочусь и к дальнейшему чтению. А сверх того и веселее могу проводить тогдашнее скучное время, а особливо по вечерам, ибо как они любопытны, то могут удобнее занимать все мое внимание и не давать чувствовать скуки, нежели другого рода книги.

На предложение сие я тем охотнее согласился, что оно сообразно было и с самыми склонностями моими. «Клевланд»<sup>10</sup> мой и некоторые другие, читанные мною до того романы, вперили уже давно в меня вкус к оным, и я всегда с особливым удовольствием читывал книги, содержащие в себе что-нибудь историческое.

И как романов было у того пруссака превеликое множество, и в том числе были и все наилучшие и славнейшие, то пустился я в чтение оных и упражнялся в том с такою прилежностью и усердием, что не знал даже усталости. Солдат мой принужден был то и дело ходить за книгами, и скоро дошло до того, что не только немцы, мои товарищи, но и сам хозяин книг не мог довольно надивиться скорому прочитыванию мною оных, и так наконец в меня вверился, что не опасался присылать ко мне и по целому уже десятку вдруг, и гораздо более, нежели чего весь мой заклад стоил. Но надобно сказать, что и сам я старался всегда сохранить кредит и не только возвращал ему книги его всегда в целости и исправно, но и берег их власно как свои собственные, чтоб не могли они как затеряться, а сие и было ему в особливости приятно... Я же получил из того ту выгоду, что из множества присылаемых мог делать выбор и читать те, которые были лучше прочих и мне более нравились, и оставлять прочие,

которые казались мне не таковы хороши и чтения моего недостойными.

В таковом непрерывном чтении одних романов проводил я не только всю тогдашнюю осень, но и всю зиму и даже большую часть последующего лета, и материя их не только мне не наскучивала, но делаясь с каждым днем еще приятнейшею, в самом деле заохочивала меня от часу более к чтению. Я прочел их тогда превеликое множество, и из всех лучших и славнейших тогда романов не осталось почти ни одного, который бы не побывал у меня в руках и мною с начала до конца прочитан не был.

По обыкновенному обвинению романов, что чтение их не столько пользы, сколько вреда производит, и что они нередко ядом и отравою молодым людям почестья могут, подумать бы можно было, что и надо мною произвели они подобное тому действие; однако я торжественно о себе скажу, что мне не сделали они ничего худого. Сколько я их ни читал, но от всего чтения оных не приметил я ни тогда, ни после никаких худых и предосудительных для себя следствий, не развратились ими мысли мои и не испортилось сердце, не соблазнен я ими был ни к каким худым делам и не вовлечен в пороки и распутную жизнь; но чтение оных, напротив того, произвело для меня бесчисленные выгоды и пользы. Ум мой преисполнился множеством новых и таких знаний, каких он до того не имел, а сердце — нежными и благородными чувствованиями, способными не преклонять, а отвращать меня от пороков и худых дел, которым легко бы я мог сделаться подверженным. Словом, я никак не могу пожаловаться на оные и обвинять их с своей стороны вредными следствиями, но паче за многое хорошее им весьма обязан.

Может быть, произошло сие от того, что по особливому счастью с самого начала попались мне в руки романы наилучшего рода, писанные хорошими и славными сочинителями, со вкусом, и такие, в которых изящность добродетели и хорошего поведения, а гнусность пороков и дурной жизни изображена была живейшими и пленяющими красками; ибо как сначала начитавшись оных, научился я хорошему вкусу в романах, то в состоянии уже был делать между дурными и хорошими выбор и тем меньше мог после развращен быть дурными, попадающимися мне кой-когда в руки, но оные удобнее мог презирать и не удаивать своего чтения. И много, может быть, поспешствовало к тому и предварительное расположение и состояние моего сердца, имеющего от малолетства более склонности к хорошему, нежели к дурному, и уже хорошее основание к люблению добродетели.

Но как бы то ни было, но помянутое чтение романов произвело мне много различных пользы. Наиглавнейшею

из них можно почестъ ту, что я через многое чтение сделался в немецком языке несравненно знающее и совершеннее. Не только целые тысячи слов и речений, которых до того никак не знал, сделались мне тут известными и вразумительными, мимоходом и без всякаго затверживания их наизусть, но я научился вкусу отчасти и в самом слогѣ сочинений немецких и узнал приятность и красоту оного и через все то приготовил себя нечувствительно к удобнейшему разумению и охотнейшему чтению других и полезнейших сочинений. Вторую, и не менее важную пользою, полученною мною от сего чтения, можно почестъ ту, что я, читая описываемые происшествія во всех государствах и во всех краях света, нечувствительно спознакомился гораздо ближе со всеми оными, а особливо с значнейшими в свете городами. Я узнал и получил довольное понятие о разных нравах и обыкновениях народов и обо всем том, что во всех государствах есть хорошаго и худого, и как люди в том и другом государстве живут, и что у них там водится. Сие заменило мне весьма много особливое чтение географических книг и сделало меня с сей стороны гораздо более знающим. Не меньшее ж понятие получил я и о роде жизни разнаго состоянія людей, начиная от владык земных, даже до людей самаго низкаго состоянія. Самая житейская, светская жизнь во всех ее разных видах и состояніях и вообще весь свет сделался мне гораздо знакомее перед прежним, и я о многом таком получил яснейшее понятие, о чем до того имел только слабое и несовершенное. Что касается до моего сердца, то от многого чтения преисполнилось оно столь нежными и особыми чувствованіями, что я приметно ощущал в себе великую перемену и совсем себя власно как переродившимся. Я начинал смотреть на все происшествія в свете не иными, а благонравнейшими глазами, а все сие и вперяло в меня некоторое отвращение от грубого и гнуснаго обхожденія и сообщества с порочными людьми и отвлекало от часу больше от сообщества с ними. Наконец, проистекала от того та польза, что как все праздное время по большей части занято у меня было одним чтением, то чрез сие не только не был я никогда в праздности, но и не занимался, кроме дел по должности, никакими другими прочими делами, которые легко могли б меня отвлечь от моих полезных упражненій и завести в какіе-нибудь заблужденія. Что ж касается до увеселенія, производимаго мне сим чтением романов, то я не знаю уже, с чем бы оно сравнить и как бы изобразить вам оно. А довольно, когда скажу, что оно было непрерывное и так велико, что я и поныне еще не могу позабыть тогдашняго времени и того, сколь оно было для меня приятно и увеселительно. Мне и поныне еще памятно, как увеселялся я не только во времени

чтения, просиживая без всякой скуки длинные вечера, но голова моя так наполнена была читанными повестями и приключениями, что и во время самого скучного хождения по ночам из канцелярии на квартиру, они не выходили у меня из памяти, и я ими и в сии скучные путешествия не менее занимался мыслями и веселился, как и в то время чтения, и чрез то не чувствовал трудов и досады, с шествием по грязной и скользкой мостовой сопряженной. <...>

## КЕНИГСБЕРГ

Любезный приятель! Как святки, так и начало 1760 г. праздновали мы обыкновенным образом—многими увеселениями, и генерал наш, будучи до них охотник, а сверх того для любовных своих интриг с графинею Кейзерлингшею, имея в том и нужду, в сей раз не удовольствовался даванием у себя несколько раз больших обедов, а по вечерам балов и маскарадов, но восхотел еще в новый год увеселить всех своих знакомых и друзей, а вместе с ними и всю кенигсбергскую публику иллюминациею, как таким всенародным зрелищем, которое в немецких городах бывает очень редко. И потому, хотя вся сия иллюминация ничего почти не значила и была самая маленькая и иллюминирована была тогда только решетка и ворота двора, перед замком находившегося, но для пруссаков было уже и сие в великую диковинку, и народ, собираясь в великом множестве, не мог ей довольно насмотреться и ею довольно налюбоваться.

Впрочем, как всю ее делали не наши, а тамошние мастера и жители, то имел я случай видеть, как делаются иллюминации в землях иностранных и какая превеликая разница находится между их иллюминациями и нашими. У них совсем не употребляются ни разными красками раскрашенные фонари, из каких у нас составлялись в тогдашние времена наипрекраснейшие иллюминации, ни такие глиняные и салом налитые плошки, из каких делаются у нас простые иллюминации; но вместо сих наделано было из простой жести несколько тысяч маленьких ночников или плоских лампадцев и все они наливаны были маслом конопным, и горело не сало, а масло. Сими установлены были все каменные столбы решетки, также и сама она по прибитым еловым брусочкам и по укрытии наперед всех столбов и решетки еловою хвоею или ветвями, а на верхушках столбов утверждены были хрустальные шары, наполненные разноцветными подкрашенными водами. И как позади шаров сих поставлены были также помянутые жестяные плошечки, то и казались они какими-то драгоцен-

ными круглыми камнями, и хотя делали вид, но очень малый и почти неприметный. Самые же ворота заставлены были прозрачною и по холстине намалеванною картиною, но сработанные столь с намерением сим несогласно и дурно, что вся она не заслуживала ни малейшего внимания; и как из сей картины и помянутых плошек и десятков двух помянутых стеклянных шаров состояла и вся иллюминация, то и вся она не составляла дальней важности.

Вскоре за сим имел я удовольствие видеть одного гишпанского знатного боярина, проезжавшего через Кенигсберг в образе полномочного посла к нашему двору. Начитавшись в книгах о гишпанских знатных господах, не сомневался я, что найду его в натуре таковым, каковым изображало мне его мое умовоображение; но как удивился я, пришед к нему от генерала нашего с поздравлением и с поклоном и нашед маленького, сухощавого, ничего не значащего человеченца и притом еще обритого всего со лба до затылка чисто-начисто и умывающего в самое то время не только лицо, но и всю свою обритую голову с превеликим шматом грецкой губки! Зрелище сие было для меня так ново и так поразительно и смешно, что я чуть было не рассмеялся; но, по счастью, господину маркизу того было неприметно, ибо при входе моем сидел он на стуле, держал пред собою великий таз с намыленною водою, а камердинер его, ухватя в обе руки помянутый шмат грецкой губки, тер ему изо всей силы и лицо и всю голову, и тот только что поморщивался. Ну! нечего сказать, подумал я сам себе тогда, что город, то норов, и пословица сия справедлива.

Посол сей ехал к нам в Петербург от нового гишпанского короля с извещением о вступлении его на престол, и мы приняли и проводили его с приличною сану его честью...

...Между тем как армия и правительство помянутым образом приготовлялись к новым военным действиям, мы продолжали жить по-прежнему в Кенигсберге, и все праздное время, остающееся от дел, употреблять на увеселения разного рода. Что касается собственно до меня, то мне с 7 октября минувшего года пошел уже двадцать второй год моей жизни, и я начинал уже мыслить постепеннее прежнего. Характер и склонности мои час от часу развешивались и означались более. Охота моя к литературе и ко всем ученым упражнениям не только не уменьшилась, но со всяким днем увеличивалась более, и можно было уже ясно видеть, что я рожден был не для войны, а для наук и что натура одарила меня в особенности склонностью к оным. И самая отменная склонность сия причиною тому была, что я далеко не употреблял всего своего праздного времени на одни только увеселения и забавы, но

употреблял большую часть оного себе гораздо в лучшую пользу. Я препровождал оное отчасти по-прежнему в чтении немецких книг, отчасти в переводах и переписывании оных набело, а отчасти занимался красками и рисованием. Однако, в сем последнем упражнялся я только временно, кой-когда и на досуге и понемногу, также и перевел только небольшой немецкий роман под названием «Приключения милорда Кингстона»<sup>11</sup> и переписал перевод сей набело, хотя и сей был еще весьма плоховат и того нимало не стоил. А величайшее мое занятие было чтение: в оном углублялся я от часу более, и всегда находили меня окладенного множеством книг, не только дома, но и в самой канцелярии. Но читал я и в сей год, как выше упомянуто, не одни уже романы и сказочки по-прежнему, но мало-помалу стал уже привыкать и к нравоучительным и степенным книгам. И как, по особливому счастью, сии мне с самого начала не только не наскучили, но отменно полюбились, то с сей стороны можно сей год почесть уже весьма достопамятным в моей жизни, ибо с начала оного начал я сам себя образовывать, обделявать свой разум, исправлять сердце и делаться человеком.

Ко всему тому, очень много помогло мне то, что попались мне в руки хорошие нравоучительные сочинения, и между прочим нравоучительное рассуждение господина Гольберга. Сему славному датскому барону и сочинителю я очень много в жизнь свою обязан. Он почти первый сочинениями своими вперил в меня охоту к нравоучению и прилепил меня так сильно к оному, что мне захотелось уже и самому, по примеру его, сделаться нравоучителем. За сие и поныне имею я к сему, давно уже умершему мужу, особое почтение и с особливыми чувствами смотрю на его портрет, в одной книге у себя найденный.

Немало же обязан я в жизни своей и славному лейпцигскому профессору Готшеду. Сей начальными своими основаниями философии не только спознакомил меня вскозь и со всеми философскими науками, но и вперил первый охоту к сим высоким знаниям и проложил памянутыми книгами своими мне путь к дальнейшим упражнениям в сей ученой части. Многие и разные еженедельные сочинения, издаваемые в Германии в разные времена и в городах разных, попавшись мне также в руки, помогли не только усилиться во мне склонности к нравоучению, но спознакомили меня и с эстетикою, положили основание хорошему вкусу и образовали во многих пунктах и ум мой, и сердце. Я не только все сии журналы с особливым усердием и удовольствием читал, но многие пьесы из них, которые мне наиболее нравились, даже испытывал переводить на наш язык и в труде сем с особливым удовольствием упражнялся. И сочинения сего рода мне столь много



полюбились, что некогда и самого меня предпринять нечто подобное тому и произвести дело, которое едва ли кому-нибудь в свете произвести с толиким успехом довелось, как мне, как о том упомянется в своем месте.

Но никому из всех немецких сочинителей не обязан я так много в жизнь мою, как господину Зульцеру. Он так, как я уже и прежде упоминал, обоими маленькими и свету довольно известными книжками о красоте природы<sup>12</sup> спознакомил меня первый с устроенным миром, влил в меня охоту к физическим знаниям и научил узнавать, примечать и любоваться красотами и прелестями природы и чрез самое то доставил мне в последующие потом дни, годы и времена бесчисленное множество веселых и драгоценных минут в жизни, каковыми и поныне (1789 г.) и даже в самой своей старости пользуюсь.

Со всеми сими и многими другими полезными книгами и лучшими немецкими сочинениями спознакомила меня отчасти помянутая библиотека, доставлявшая мне книги для чтения, отчасти товарищи мои, немецкие канцеляристы, а отчасти и книжные аукционеры. На сии продолжал я с такою ревностью ходить, что не пропускал из них ни единого и не возвращался никогда на квартиру, не принося с собою по несколько книг, купленных на оных. От сего самого начала уже около сего времени формироваться у меня порядочная библиотека, и было у меня книг уже под сотенку и более, но все они стоили мне очень недорого. Однако нельзя сказать, чтоб не покупал я кой-когда и новых. Всякий раз, когда ни случалось мне узнать какую-нибудь новую и полезную для себя книжку, как бежал я в книжную лавку и, купив, отсылал к моему переплетчику, и работник его нередко принашивал ко мне целые кипы книг, вновь переплетенных.

Впрочем, побуждало меня много к множайшему занятию себя книгами и науками и знакомство, сведенное с присланными к нам из Москвы студентами. Все они были не вертопрахи и не шалуны, а прилежные и к наукам склонные молодые люди; и как они штудировали и учились у разных профессоров и к нам нередко хаживали в канцелярию, то и был мне случай всегда с ними о ученых делах говорить и как им сообщать свои занятия, так и от них пользоваться взаимными, и я могу сказать, что я в образовании своем много и им обязан.

Между сими учеными упражнениями, занимавшими, можно сказать, величайшую часть моего времени, не оставлял я иногда жертвовать некоторою частью оного и другим увеселениям и забавам, однако не таким, какими занимались множайшие из сверстников моих, другие офицеры, но благородным и позволительным. В зимнее и осеннее время захаживал я на какие-нибудь четверть или

полчаса в трактир, но не для мотовства и бесчиния какого, а единственно для того, чтоб велеть напоить себя кофеем или чаем, а между тем философическим оком посмотреть на людей разного состояния, в них находящихся и в разных играх и упражнении время свое проводящих. Иногда читал я там новейшие и разные иностранные газеты, а иногда с товарищами своими, немцами, садился за особый столик, составлял свой собственный и неубыточный ломберок и, играя не для прибытка, а для увеселения единого. Временем же брал и кий и сыгрывал партию, другую с кем-нибудь из знакомых своих в биллиард, а также не для выигрыша какого, а для единого увеселения. Однако все сие случалось не всякий день, но очень редко.

Напротив того, в летнее время уже гораздо чаще хаживал я по публичным садам, а особливо в праздничные и воскресные дни после обеда, и в них в сообществе не наших, а смирных и кротких кенигсбергских жителей препровождал всегда с особливым удовольствием время. Чашка чаю или кофея и трубка табаку составляли все мое мотовство в оных; что очень редко брал соучастие и в самой неубыточной игре в негли. Иногда же, хотя сие и редко случалось, выезжали мы, сговариваясь с кем-нибудь, вместе и за город, или хаживали пешком по несколько верст за ворота городские.

Наилучшие таковые прогулки бывали у нас в сторону к Пилаве и вниз по реке Прегелю, по берегу оной. Дорога была тут широкая, гладкая, возвышенная, осажденная с обеих сторон ветлами и имеющая по одну сторону реку Прегель, текущую почти совсем прямо и покрытую всегда множеством судов, а по другую сторону — низкие и ровные луга, пересеченные также кое-где длинными рядами насажденных лоз. Плывущие по реке малые и большие суда, белые, распростертые их паруса, разноцветные флаги или шум от весел, плывущих на гребле, а с другой стороны бесчисленное множество всякого скота, стрегомого на лугах в отдалении; самый город, сидящий отчасти на горе, отчасти на косогоре; многочисленные его красные черепичные, а инде зеленые и от солнца иногда, как жар горящие, кровли домов высоких; королевский замок, возвышающийся выше всех зданий на горе, и четверугольною и высокою башнею своею особливый и некакой важный вид представляющий; высокие и остроконечные колокольни церквей, видимых в разных местах между бесчисленными домами; зеленые валы крепости Фридригсбергской, по левую сторону реки и при выходе из города находящейся; целый лес из мачт судов многих, украшенных флюгерами и вымпелами разноцветными; многие огромные и превысокие ветряные мельницы, подле вала в городе и на горе воздвигнутые, — все сие представляло глазам в сем месте

приятное зрелище, а особливо по отшествии по сей дороге версты две или три. Вся она в праздничные и воскресные дни испещрена бывала множеством гуляющих людей обоего пола; во многих местах поделаны были скамейки для отдохновения оных, а в некоторых местах находились небольшие домики, составляющие некоторый род трактиров, ибо гуляющим можно было в них заезжать, заходить и в них доставать себе купить молоко, яйца, масло, колбасы, сыры и прочее тому подобное, а для питья — пиво, вино, а в иных самый чай и кофей. И все такие домики всегда нахаживал я наполненные многими людьми, но нигде и никогда не видал я какого-нибудь бесчиния и шума, а все было тихо, кротко и хорошо, так что мило было смотреть и можно было всегда с приятностью проводить свое время.

Упоминание о сей прогулке приводит мне на память и езду мою в сие лето гулять в сии места на шлюпке. Подговорили меня к сему наши канцелярские секретари и сотоварищи, а их взялся сим образом по реке катать один из наших морских офицеров. Я тем охотнее на уговаривание их вместе с ними ехать согласился, что давно уже не ездил по воде, а на шлюпках и никогда еще не случалось мне кататься. Но, о как досадовал я сам на себя после, что дал себя уговорить ехать с ними вместе. Никогда не позабуду я сей прогулки и того, как много настрадался я во время оной. Уже одно и то заставило меня раскаиваться, когда я, приехав с ними в один и самый отдаленнейший из помянутых домиков, увидел, что главное намерение их было то, чтоб тут, на свободе, по наречию их говоря, погулять, а попросту сказать — попьанствовать и побуянствовать прямо по русскому манеру.

Покуда мы плыли вниз по реке и не столько гребли, сколько несомы были вниз стремлением реки, до тех пор все еще я веселился и скоростью плавания, и встречающимися с глазами моими разными и невиданными еще до того предметами, ибо я так далеко никогда за город не ездил. Но не успели мы доехать до помянутого домика и войти в оный, как потащили в него из нашего суденышка целые дюжины бутылок разных вин и напитков.

— Э! э! э! — возопил я тогда сам в себе, сие увидев, — так затем-то мы сюда ехали! Но волен бог и они, а я им не товарищ и пить с ними никак не стану.

Я и сдержал действительно сие слово, ибо сколько они меня ни уговаривали, сколько ни убеждали и как ни старались даже приневоливать, но я никак не согласился на их просьбы и желания и не хотел никак также из ума почти выпиться, как они. Но сколь же много мне все сие стоило! Все они даже рассердились на меня за то, но я всего менее уважал их гнев и сердце, а желал только,

чтобы скорее приблизился вечер и погнал их обратно в город. Наконец, сей и начал приближаться, но они так распались, что сколько я им ни предлагал, что пора домой ехать, но они не помышляли о том, ибо бутылки не все еще были опорожнены. Наконец, насилу-насилу осушили они все оные и решились ехать обратно; но тут как поразился я страхом и ужасом, когда увидел реку, вместо прежней гладкости и тишины, всю покрытую страшными волнами, ибо между тем, покуда они помянутым образом пили, погода переменилась и поднялся превеликий ветер снизу и произвел в реке превеликое волнение. Я, имея издавна отвращение от воды и боясь всегда по оной ездить, обмер тогда, испугался и не знал, как мы по таким страшным волнам поедем. Ежели б были мы не так далеко от города и было не так поздно, то решился б я тотчас, оставив их, идти пешком до города; но как мы удалены были от оного более десяти верст и притом наступил уже вечер и никакого народа по дороге уже не было, то о том и помыслить было не можно, но я принужден был вместе с ними опять, но с замирающим уже сердцем, садиться в шлюпку. Что касается до них, то как им, пьяным, казалось самое море по колена, то вместо страха и боязни они только смеялись мне и называли меня трусом. Я им дал уже волю говорить, что хотят, а помышлял только об опасности и молил бога о том, чтоб нам доехать благополучно.

Но сколь опасность ни казалась мне велика, но я и в половину ее такую себе не воображал, каковою после я ее увидел; ибо не успели мы отвалить от берега и выбраться на середину реки, как опьянившийся наш первый секретарь, как главная всей прогулки особа, сам себя почти не помня, морскому офицеру закричал:

— Брат и друг! Велика поднять парус и пустимся на нем. Видишь, брат, какой прекрасный ветер, мы тотчас приедем!

— Хорошо! — сказал офицер сквозь зубы и замолчал после, но матрос, правивший рулем, подхватил:

— Не опасно ли, сударь, будет, и чтоб не опрокинуть-ся нам: ветер слишком велик?

— Вот какой вздор! — закричал наш Чонжин, — поднимай-ка парус-от скорее!

Я обмер, испугался, сие услышав от матроса, и ужас мой еще больше увеличился, когда и сам офицер нехотя стал приказывать поднимать парус.

Но как изобразить мне тот ужас, которым поразился я, когда по поднятии паруса все пересели на одну сторону и шлюпку повалили совсем на бок и кричали, чтоб пересаживался и я скорее так же, как они. Мне сего обыкновения вовсе было неизвестно, и как я на шлюпках никогда

на парусах не ежживал, да и не видывал, как ездят, то и не ведал я, что так и надобно, а потому обмер, испугался, увидев один борт или край шлюпки почти до самой воды прикоснувшимся и загребаящим почти воду. Я, забыв все, кричал, вопил, почитал себя уже погибшим, карабкался и хватался за сопотивный борт и, почитая всякую минуту уже последнею в моей жизни, призывал всех святых на помощь; просил и умолял товарищей моих, чтоб они сделали милость и выпустили меня на берег; и я хотел уже, несмотря ни на что, идти хоть всю ночь один пешком, — но все сие было тщетно. Они все только смеялись и хохотали надо мною, называли меня трусом и малодушным и говоря, что мне это за то, что я упрямяствую и не хотел никак их просьб и уговариваниев слушать и в питье их делать компанию.

Тысячу раз проклинал я тогда и шлюпку, и офицера, и всю свою охоту и желание покататься на шлюпке, и тысячу раз раскаивался в том, что не остался на берегу и не пошел пешком в город; но все сие было уже поздно. Но я более получаса препроводил в неизобразимом ужасе. И не знаю, что со мною было б, если б сама судьба не похотела меня от того избавить, ибо приди так называемый шквал или род вихря и погнуло так сильно нашу шлюпку, что она действительно чуть было в волнах не зарылась и не опрокинулась со всеми нами, и если б искусство и расторопность кормчего не помогла, — то купаться бы нам всем и погибать в реке Прегеле. Сами господа наши, пьяные рыцари, как ни храбровали до того времени, но как бортом захватило уже и воды несколько в нашу шлюпку и она нас всех перемочила, то соскочил и хмель с них долой, и они закричали все в один голос, чтоб опускали скорей парус и принимались бы по-прежнему за весла, и не отрекались вместе с прочими выливать воду из шлюпки шляпами и чем ни попало. А сие и положило всему страху и опасению моему предел, ибо погода как была ни велика, но мы на веслах доехали до города благополучно. Со всем тем, выходя из шлюпки, заклинал я сам себя, чтобы впредь никогда и ни под каким видом на ней подобным образом не ездить.

Сим кончилось тогда сие происшествие, а сим кончу и я письмо мое, предоставив дальнейшее повествование письму последующему; а между тем остаюсь и прочее.

## ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН

(3.VII.1743—8.VII.1816)



За несколько дней до смерти Суворов позвал к себе Державина. Державин и прежде чуть ли не каждый день навещал его во время болезни, но теперь, чувствуя приближение конца, Суворов желал видеть его непременно. Державин был одним из немногих людей, с которыми мог он держаться просто и наравне, оставляя свои чудачества.

— Какую же ты напишешь мне эпитафию? — серьезно спросил Суворов. И услышал такой же серьезный ответ:

— Много слов не надо. Довольно сказать: «Здесь лежит Суворов».

— Помилуй бог, как хорошо! — слабым голосом, но с живостью воскликнул умирающий полководец.

Утром 6-го мая 1800 года Державин опять был у Суворова. В этот день все было кончено. Суворов умер при нем. Державин вернулся домой понурый, с мыслями о прошлом, крепко соединившем их. Когда он вошел в кабинет, снегирь в клетке, в честь возвращения хозяина, как всегда, пропел колено военного марша — единственное, чему был обучен. Этот военный марш, такой знакомый, вдруг прозвучал по-новому, соединившись с мыслями о Суворове. Державин взял бумагу и начал писать «оду в память столь славного мужа»:

Что ты заводишь песню военну  
Флейте подобно, милый Снегирь?  
С кем мы пойдем войной на гиену?  
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?  
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?  
Северны громы в гробе лежат.

Дописав стихотворение, Державин поставил точку, перечел его и остался недоволен собою; его не оставляло чувство, что он сказал не то и не так, как желал, а главное — не все. Тогда он написал эпитафию «На смерть графа Александра Васильевича Суворова-Рымнического, князя Италийского в С.-Петербурге <1800> года»:

О вечность! Прекрати твоих шум вечных споров:  
Кто превосходней всех героев в свете был?  
В святилище твое от нас в сей день вступил  
Суворов.

Эпитафия была многословнее и пышнее той, которую сказал он Суворову перед его смертью и которую потом высекли на его надгробной плите в Петербургском некрополе. Что-то не задавалось со стихами, и потому снова потянуло его к бумаге. Теперь он хотел свести счеты с тираном и лютым врагом Суворова, его убийцей — императором Павлом I. Стихотворение он не дописал и при жизни своей не напечатал:

Всторжествовал — и усмехнулся  
Внутри души своей тиран,  
Что гром его не промахнулся,  
Что им удар последний дан  
Непобедимому герою.  
Который в тысячи боях  
Боролся твердой с ним душою  
И презирал угрозы страх.

У самого Державина был уже к Павлу счет немалый: за четыре года его царствования претерпел Державин и гнев императора, и публичные унижения, для него невыносимые. Однажды закричал на него Павел во весь голос, раздув, по обыкновению, ноздри, при Архарове и Трошинском: «Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу!» От оскорбления у Державина в глазах потемнело, и он, не помня себя, довольно громко сказал тогда, неизвестно к кому обращаясь: «Ждите, будет от этого... толк». Еще хуже было то, что под нажимом домашних, не на шутку перепуганных, написал он оду на восшествие Павла на престол, — дабы вернуть его расположение.

П. А. Вяземский, человек остроумный и наблюдательный, притом редкий ценитель Державина, заметил как-то: «Кажется, Державин внимал только наличным вдохновениям. В стихах его Петру Великому нет ни одного стиха, достойного ни героя, ни поэта. Павел был счастливее, но зато Державин несчастливее. Похвала недостойному отражается пятном на хвалителе» \*.

От этой собственной слабости счет Державина к Павлу увеличился. Ода была принята милостиво, отношение к нему государя как будто улучшилось, но все же поэта к себе на глаза он не пускал, сказав однажды: «Он горяч, да и я, то мы опять поссоримся». Смутное Павлово время, как могильная плита, придавило Державина: жил он под

\* Вяземский П. А. Записные книжки. — М., 1963, с. 34.

вечным страхом быть отправленным в ссылку или подвергнуться какому-нибудь другому унижительному наказанию. После царевубийства, вздохнув, наконец, свободнее, Державин написал:

Умолк рев Норда сиповатый,  
Закрылся грозный, страшный взгляд.

Александр I, пообещав, что при нем все будет, как при бабке его Екатерине, заронил в души надежды. Прельстился надеждами и Державин, хотя очень скоро почувствовал нерасположение к себе молодого императора. Потом это постепенно сгладилось — настолько даже, что в сентябре 1802 года предложено было Державину занять пост министра юстиции и генерал-прокурора. Всегдашнее стремление его к деятельности возобладало над опасениями, связанными с новым назначением. Он согласился и тотчас, по обыкновению своему, повел борьбу с беззакониями, нарушениями порядка, превышениями власти. Этому Александру было не нужно, и он «час от часу холоднее становился к Державину».

Так прошел год. Ненастным октябрьским утром 1803 года, часу в десятом, Александр позвал к себе Державина и раздраженно сказал ему: «Ты очень ревностно служишь». — «А как так, государь, — отвечал Державин, — то я иначе служить не могу. Простите». Через несколько дней был подписан высочайший указ об отставке Державина. Жизнь словно с разбегу остановилась. Державия оказался не у дел.

Хотя в начале нового 1804 года Державин и писал своим друзьям Капнистам, будто «очень доволен, что сложил с себя иго должности», которое его угнетало, он чувствовал обиду, бесплодность и пустоту в душе.

Успокоение приходило к нему только на Званке, где проводил он каждое лето. Имение это, купленное им в 1797 году, находилось в ста семидесяти верстах от Петербурга, на высоком берегу Волхова, в окружении лугов и лесов. Здесь учил Державин грамоте и молитвам дворовых ребятишек, наблюдал за полевыми работами, выслушивал вполуха старосту, нехотя проверял счета, без устали восхищался удивительным званским эхом, разнесшимся по окрестностям, и каждый день восседал во главе веселого и пышного обеденного стола, за которым собирались многочисленные родственники второй жены его, Дарьи Алексеевны, и гости, охотно посещавшие хлебосольный дом.

Уверяя себя и других в том, что он доволен своим уделом, Державин через несколько лет после выхода в отставку писал:



Блажен, кто менее зависит от людей,  
Свободен от долгов и от хлопот приказных,  
Не ищет при дворе ни злата, ни честей  
И чужд сует разнообразных!

Евгению. Жизнь Званская.

Но не покой был нужен ему: его мучила потребность в деле, смолоду усвоенная привычка к нему. И дело неожиданно нашлось, хотя оно было совсем не из тех, к каким он привык.

В 1805 году случай свел Державина с новгородским викарием Евгением. До пострижения в монахи звали его Евфимием Алексеевичем Болховитиновым. Евгений был человеком широких и разносторонних интересов. Он окончил духовную академию, слушал лекции при Московском университете, а в ту пору трудился над составлением словаря русских писателей, светских и духовных. Не имея сведений о Державине, Евгений обратился к приятелю его Д. И. Хвостову и попросил его похлопотать, чтобы поэт сообщил о себе сведения, необходимые для словаря.

Державин выразил согласие быстро и охотно. Однако небольшой биографический материал, написанный им для Евгения, увлек его и стал разрастаться, превращаясь постепенно в пространные автобиографические записки. Для поэта с записками началась пора подведения итогов; работа над ними стала последним делом Державина; захватив его, она заняла его ум и душу. Воскрешая в памяти далекое и близкое прошлое, он словно жил заново; при этом мысль то сознательно, то неосознанно обрабатывала воспоминания, а потому под пером Державина порой возникал «беловой вариант» его жизни — тот вариант, который казался ему, умудренному опытом, достойнее и светлее. Впрочем, вымысла в этом не было; было несколько иное отношение к пережитому, несколько иная оценка его.

«Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гаврила Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа», — так начал Державин свои записки. Его феерическая судьба казалась удивительной и достойной восхищения ему самому. Тем более он желал сохранить все перипетии своей жизни для памяти потомков и отчасти в назидание им.

«Благородные родители» Державина были очень бедны. Роман Николаевич, хоть и исчислял свое дворянство тремя сотнями лет, хотя и вел свой род от татарина Мурзы Багрима, крещенного в православную веру великим московским князем Василием Темным, при всем том имел

лишь несколько душ крестьян да клочки земли, разбросанные по разным местам и дохода не приносившие. Немногим более было у вдовы Феклы Андреевны Горинной, на которой женился он в 1742 году.

Убогих средств их не достало на то, чтобы нанять учителей сыновьям Гавриилу и Андрею. От «церковников», то есть дьячков или пономарей, научился Державин читать и писать. Из последующего учения вынес он изрядное знание немецкого языка и умение рисовать. То и другое позднее многое определило в характере его творчества: немецкий язык был в ту пору ключом к европейской образованности, а способности к рисованию сказались в необычайной пластичности его поэтических образов.

Роман Николаевич в 1754 году вышел в отставку полковником и тогда же начал хлопотать об устройстве старшего сына в кадетский корпус, но так как он не имел ни связей, ни денег, то хлопоты пришлось отложить. Потом на семью обрушилась беда: Роман Николаевич умер, оставив жену с детьми почти нищими да еще с пятнадцатю рублями долга, которые вдове нечем было заплатить. Тут-то и начались земельные тяжбы с соседями, которые, как коршуны, набросились на разрозненные клочки державинской земли. Фекла Андреевна от отчаяния и по наивности искала защиты у правосудия, но ее с малыми детьми отовсюду гнали. Она уходила в слезах, так ничего и не добившись. «Таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным» в сердце Державина, и «он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот». Эти исступленные поиски правды, неистовое желание помочь обиженному и обличить обидчика, горячность, с которой он добивался этого, сделали Державина в глазах света чудачком, неудобным человеком. Правдолюбие предопределило судьбу Державина: от него стремились избавиться — сначала в армии, потом при дворе. Не раз оскорбленный, оклеветанный и униженный, словно не понимая обреченности своих усилий, он до конца жизни говорил истину царям и упорно, но тщетно взывал к «властителям и судиям»:

Ваш долг есть: сохранять законы,  
На лица сильных не взирать,  
Без помощи, без обороны  
Сирот и вдов не оставлять.

Но все это было потом. А тогда, в детстве, он только копил ненависть к неправосудию, вкладывая в это весь нерастраченный еще пыл души.

Несмотря на крайнюю бедность, Фекла Андреевна прилагала все силы, чтобы дать своим детям образование.

Поэтому, когда в 1758 году в Казани открылась гимназия, она записала туда обоих сыновей своих. Там проучился старший Державин около трех лет. В начале 1762 года пришел срок отправиться ему в Петербург, в Преображенский полк, куда был записан он солдатом. В марте началась его солдатская служба. Жил он в одной казарме с солдатами: трое из них были с женами и детьми, двое — холосты. В темные зимние вечера Державин читал книги, сочинял письма к родным для своих однополчан «и марал стихи при слабом свете полушечной сальной свечки». Стихи он начал сочинять еще в Казани, теперь продолжал тайно. Дело, однако, не клеилось, а посоветоваться было не с кем. Зато на славу удавались письма в деревню и скабрзные стишки на случай, которые знала наизусть вся казарма.

Так прошла весна и наступило лето с белыми петербургскими ночами. В июне начался дворцовый переворот, и события казалось бы чуждые и безразличные Державину, вовлекли его в свой водоворот. На российский престол вступила Екатерина II. В своих записках Державин пишет о дворцовом перевороте со всей непосредственностью современника и очевидца. В течение многих лет он ставил императрицу на недостижимую высоту; с ней он связывал самые разнообразные надежды — личные и государственные. Она казалась ему, убежденному стороннику просвещенного абсолютизма, образцом мудрости и обаяния, доброты и справедливости. Он готов был писать о ней, служить ей и защищать ее.

Однако воцарение Екатерины ничего не изменило в солдатской жизни Державина. Он все так же исполнял возложенные на него «низкие» обязанности: ходил в караул, стоял, замерзая, на часах, разносил офицерам приказы, отданные с вечера. На это порой уходила вся ночь — расстояния были большие, а преодолевать их приходилось пешком. Однажды принес он пакет известному тогда стихотворцу князю Козловскому, у которого собралось в тот вечер большое общество. Козловский читал гостям трагедию, недавно им сочиненную. С приходом Державина чтение оборвалось. Державин, отдав пакет, застыл в дверях: ему страстно хотелось послушать чтение. «Козловский, приметя, что он не идет вон, сказал ему: «Поди, братец служивый, с богом; что тебе попросту зевать? — ведь ты ничего не смыслишь», — и он принужден был выдти». Как превратна судьба! Кто знает теперь самое имя Козловского?

1-го января 1767 года Державин был произведен в сержанты. По этому радостному и долгожданному случаю он отпросился в отпуск и уехал в Казань к матери. Возможно, и дальше шла бы его жизнь размеренно и ровно,

если бы, возвращаясь в полк, не получил он от матери поручения купить небольшую деревушку в 30 душ (к этому времени дела Феклы Андреевны несколько поправились), а главное, деньги для ее покупки. Остановившись ради этого поручения в Москве, Державин был вовлечен в карточную игру. Играл он азартно и очертя голову, соответственно своему нраву. От материнских денег скоро не осталось и следа, и он, раскаиваясь и надеясь отыграться, попал в положение отчаянное и почти безвыходное. Хуже всего было то, что, увлеченный игрой, он не мог уже остановиться. Потому и провел в Москве, слоняясь по притонам, три года. Так что играл он не «по нужде», как написал потом в записках, желая придать этой истории вид более благопристойный, а по пагубной страсти. «Если же и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, запершись дома, ел хлеб с водою и марал стихи...» Ставни при этом он запирали, словно страхась дневного света, который проникал в комнату только через щели. Так, при закрытых ставнях, писал он всегда и потом, когда бывал несчастлив. Вырваться из этого призрачного существования было трудно. Наконец, почувствовав отвращение к этой жизни, к себе, к товарищам, разжигавшим в нем картежный азарт, он собрал остатки душевных сил, «бросился опрометью в сани и поскакал без оглядки в Петербург». Из вещей был у него один сундук, где хранилось все им написанное: переводы, стихи, проза.

На карантинной заставе близ Петербурга Державина остановили: он ехал из Москвы, где в ту пору начиналась эпидемия чумы. На заставе предстояло провести две недели. Державин был молод, горяч и нетерпелив. Порваз с прошлым, он не желал ни возвращаться к нему, ни мешкать в ожидании новой жизни. Узнав у начальника карантина, что единственное препятствие для въезда в Петербург—его сундук с бумагами, он, не медля ни минуты, сжег его на виду всей карантинной заставы и помчался в столицу. Приятель его П. В. Неклюдов как-то уладил его дела, и он, избежав неприятностей, возвратился в полк.

В 1773 году в столице поползли слухи о самозванце. Крестьянская война под предводительством Пугачева была в разгаре. Не на шутку испуганная Екатерина отправила А. И. Бибикова усмирять самозванца. Упросив Бибикова взять его с собою, Державин со свойственной ему пылкостью бросился отстаивать интересы своей государыни. Конечно, при этом лелеял он и свои собственные честолюбивые замыслы, полагая, что военная карьера теперь в его собственных руках. Получив назначение в следственную комиссию, служил он рьяно и ревностно, переезжая с места на место, организуя тайные вылазки против Пугачева,

подкупая лазутчиков, сообщавших ему о состоянии дел и ближайших планах самозванца. Но Державину не суждено было сделать военную карьеру: за борьбой мелких и крупных честолюбий о нем забыли. Только долгие университетские хлопоты принесли ему в 1777 году 300 душ в Белоруссии и чин коллежского советника. С военной службы он был уволен «за неспособностью» к ней.

В августе началась его статская служба в должности эзекутора в Сенате. А в апреле следующего года Державин женился на Екатерине Яковлевне Бастидон, дочери кормилицы великого князя Павла Петровича. Посватался он торопливо и стремительно, но, к счастью, в выборе не ошибся. Екатерина Яковлевна была не только хороша собою, но добра, умна, ласкова и приветлива. Была она притом великой рукодельницей и минуты не сидела без дела. Мужу казалась она такой обаятельной и пленительной, что в стихах своих не называл он ее иначе как Пленирою. В их доме часто собирались гости, и мало-помалу вокруг Державина составилась литературный кружок — небольшой, но крепко спаянный дружбой, сердечной привязанностью и общими интересами. Душой его были Николай Александрович Львов, архитектор, переводчик, поэт и музыкант, Василий Васильевич Капнист, поэт и драматург, и Иван Иванович Хемницер, молодой баснописец. Близки к ним были композиторы Д. С. Бортнянский и Е. И. Фомин, художники В. Л. Боровиковский и Д. Г. Левицкий. В кружке складывались их литературно-эстетические взгляды и вкусы, здесь обсуждали и давали первую оценку творениям участников кружка, здесь кипели горячие споры, с благодарностью принимались или яростно отвергались прощенные и непрошенные советы. Особенно дружен был Державин с Львовым и Капнистом, женатыми на сестрах Дьяковых — Марии и Александре. Львов был человеком очень образованным и тонким ценителем искусств. Может быть, в этом тонком чутье к искусству и заключался главный талант и обаяние его личности.

К тому времени Державин был автором лишь одной небольшой книжки стихов «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». И книжку эту, и другие стихи его, напечатанные в «Санкт-Петербургском вестнике», знал лишь небольшой круг друзей его. Львов и Капнист сумели оценить силу поэтического дарования Державина, и с благородством истинных друзей признали безоговорочно его превосходство над собою. Впрочем, это не мешало им поправлять ошибки в его стихах. Державин, хоть и изучал теорию стихосложения В. К. Третьяковского и М. В. Ломоносова, но так и остался мало искушенным в ней. Как-то так получалось, что самобытное дарование его словно шло вразрез с теорией, не подчиняясь ни пра-

вилам, ни ему самому. В себе он уверен не был и к советам Львова и Капниста прислушивался. Однако иногда начинал упрямиться и делал по-своему. Тогда получалось не по правилам: коряво, самобытно и сильно. Это сочетание поэтической мощи с косноязычием раздражало потом Пушкина, который говорил, что «Державин должен бесить всякое разборчивое ухо», но вместе с тем, словно скрепя сердце, признавал, что «некоторые оды Державина, несмотря на неровность слога и неправильность языка, исполнены порывами истинного гения» \*.

Стихи Державин писал давно и временами предавался этому занятию страстно. В ранних стихах подражал он Ломоносову, которого позднее называл «русским Пиндаром» и «славой россов». Привлекала его и гражданственность поэзии Сумарокова, хотя самого Сумарокова не раз высмеивал он в эпиграммах. Однако, преодолев зависимость от них и подражательность, чуждую его натуре, Державин шел к поэтическим открытиям неслыханного масштаба. Первым из русских поэтов он стал писать о человеке. Не о человеке вообще, а о личности, индивидууме, в том числе и о себе самом. У героя его стихов были свои привычки и страсти, чувства и мысли и даже неповторимые жесты. И жил он в осязаемо-конкретном мире, где каждая вещь имела свой цвет, вкус, запах, объем. Называя вещи, предметы, Державин словно заново открывал их. Так же заново открывал он и природу. Львов и Капнист, поправляя шероховатости стихов Державина, учились у него, с восхищением погружаясь в мир его удивительной поэзии.

На статском поприще Державину повезло больше. Впрочем, этим был он обязан своим стихам. Кто знает, сколько лет пришлось бы просидеть ему под началом князя А. А. Вяземского в Сенате, если бы не ода его «Фелица». Все произошло неожиданно. «Фелица» была опубликована в 1783 году, и Екатерина обратила благосклонное внимание на ее автора. Так вдохновенно и простодушно, как в этой оде, к ней не обращался никто. Обычно ей просто грубо лестили. Однажды, когда Державин обедал у князя Вяземского, пришел нарочный и вручил ему пакет с надписью: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину». В пакете была золотая табакерка, осыпанная бриллиантами, и 500 червонцев. Судьба, наконец, улыбнулась Державину. Его карьера стремительно пошла в гору. Недавний солдат стал правителем Олонецкой (1784—1785), а затем Тамбовской (1785—1788) губерний. Од-

---

\* Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. X.—М.—Л., 1949, с. 148; т. VII, с. 18—19.

нако, верно сказал князь Вяземский, узнав о первом его назначении, что скорее по носу его, Вяземского, поползут черви, нежели Державин долго просидит губернатором. Он хорошо знал Державина. Усердная, честная, ревностная его служба раздражала не одного Вяземского. Второе губернаторство чуть было не кончилось позором: Державин был отдан под суд за превышение власти. В Москве, куда приехал он из Тамбова, с него, как с преступника, взяли подписку о невыезде. Он запер ставни и стал писать стихи о превратности счастья, где заодно свел тайно счеты с врагами своими—наместниками Олонецким и Тамбовским, сбозвав их «мишурными царями». Оду «На Счастье» он завершил афоризмом: «Спокойствие мое во мне!» На самом деле никакого спокойствия не было: он очень страшился суда и приуныл. Однако все обошлось. За него хлопотали у Потемкина, и светлейший помог: Державина оправдали, и в конце мая 1789 года он возвратился в Петербург.

Вскоре дела Державина приняли неожиданный оборот. Через давнего приятеля своего А. В. Храповицкого, статс-секретаря Екатерины, Державин вдруг получил повеление быть в Царском Селе у государыни. 1-го августа ровно в 9 часов утра, взволнованный и возбужденный надеждами, Державин прибыл во дворец. Екатерина «пожаловала ему ручку» и спросила:

— Не имеете ли вы чего в нраве вашем, что ни с кем не уживаетесь?

Со свойственным ему прямодушием и чувством собственного достоинства Державин отвечал:

— Я не знаю, государыня, имею ли какую строптивость в нраве моем, но только могу сказать, что, зная, я умею повиноваться законам, когда, будучи бедный дворянин и без всякого покровительства, дослужился до такого чина, что мне вверялися в управление губернии, в которых на меня ни от кого жалоб не было.

В тот же день Храповицкий записал в своем дневнике со слов Екатерины: «Я ему <Державину> сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, надобно искать причину в себе самом. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Il ne doit pas être trop content de ma conversation» \*.

Надежды Державина не оправдались; более двух лет провел он почти без дела, хотя получал жалование и его повышали в чинах—так, как если бы он был на государственной службе. Потом—неожиданно для него, для Сената и отчасти для себя самой—Екатерина назначила Держави-

---

\* Он не слишком доволен моим разговором (*q. p.*).— Дневник А. В. Храповицкого. 1782—1793.— СПб., 1874, с. 301.

на своим статс-секретарем и велела докладывать ей, «когда усмотрит какое незаконное Сената решение». Этот странный каприз императрицы Державин принял как знак великого к себе доверия и рьяно принялся за дело. Как раз это и не было нужно Екатерине. На новую должность Державин был назначен указом от 12 декабря 1791 года, а уже через три дня Храповицкий записал в дневнике: «Державин явился. Об нем докладывали. Недосуг. После был впущен, приласкали, но не очень» \*. Раздражение Екатерины нарастало с каждым днем. 13 февраля 1792 года Храповицкий записал: «Сказали мне после доклада Державина, что он ходит с такими просьбами, какими бабы разжалобили тещу и жену его. Я промолчал» \*\*.

Державин, увидев Фелицу так близко, был разочарован. «Подлинник человеческий с великими слабостями» нимало не соответствовал тому идеалу, который некогда сложился в его пылком воображении, и не внушал ему более радостных надежд: «...издалека те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему, при приближении ко двору, весьма человеческими и даже низкими и недостойными великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим чистым сердцем в похвалу ее». Тем не менее он каждый день приходил в ее покои с кипами бумаг и читал ей длинные, запутанные и вовсе неинтересные для нее дела, пытаясь заставить ее внять гласу справедливости и правосудия. Она скучала, не скрывая этого; иногда зевала. Он приходил во всякую погоду. «Удивляюсь, — сказала она однажды, — как такая стужа вам гортань не захватит». Он сделал вид, что не понимает, и продолжал читать.

Как-то, рассказывает С. П. Жихарев, Державин докладывал императрице «по какому-то очень важному делу и, по случаю сделанного ею возражения, до того забылся в горячности своего объяснения, что осмелился схватить ее за конец мантильи, как бы в споре с какой-нибудь обыкновенной знакомой дамой. Государыня тотчас позвонила.

— Кто еще там есть? — спросила она очень хладнокровно вошедшего на звук колокольчика камердинера своего Зотова.

— Статс-секретарь Попов, — ствечал Зотов.

— Позови его сюда.

Попов вошел.

— Побудь здесь, Василий Степанович, — сказала ему императрица с улыбкой, — а то вот этот господин много дает воли рукам своим» \*\*\*.

\* Дневник А. В. Храповицкого, с. 301.

\*\* Дневник А. В. Храповицкого, с. 301.

\*\*\* Жихарев С. П. Записки современника. Т. 2.— М.— Л., 1934, с. 159.



Долго так продолжаться не могло. Екатерина держала его при себе два года и, наконец, прогнала, назначив сенатором. Немудрено, что в Сенате Державин был встречен враждебно — ведь именно он в течение двух лет докладывал Екатерине о превышениях власти и незаконных действиях сенаторов. Теперь он занимал одну из самых высоких должностей в государстве и при этом чувствовал свое бессилие. Косный механизм государственного управления надрывно скрипел, но не поворачивался. Мнением Державина одни открыто пренебрегали, другие к нему не прислушивались. Разгневанный, он написал оду «Вельможа» — небывало острое по тем временам сатирическое стихотворение:

Калигула! твой конь в Сенате  
Не мог сиять, сияя в злате:  
Сияют добрые дела.

Осел останется ослом,  
Хотя осыпь его звездами;  
Где должно действовать умом,  
Он только хлопает ушами.

Отдельные строки сатиры были прямым наставлением сенаторам:

Вельможу должны составлять  
Ум здравый, сердце просвещенно;  
Собой пример он должен дать,  
Что звание его священно,  
Что он орудье власти есть,  
Подпора царственного зданья;  
Вся мысль его, слова, деянья  
Должны быть — польза, слава, честь.

Но все оставалось по-прежнему: сенаторы были в злобе, Державин — в унынии.

1794 год выдался особенно тяжелым. В июле похоронил он Плинуру. «Ну, мой друг Иван Иванович, — писал он вскоре И. И. Дмитриеву, — радость твоя о выздоровлении Катерины Яковлевны была напрасна. Я лишился ее 15-го числа сего месяца. Погружен в совершенную горечь и отчаяние. Не знаю, что с собою делать. Не стало любезной моей Плинуры! Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, добродетельную Плинуру, которая для меня только жила на свете, которая все мне в нем составляла. Теперь для меня сей свет совершенная пустыня...» \*.

Однако через полгода он женился, «чтоб от скуки не уклониться в какой разврат», — простодушно объяснил он в записках свою поспешность. Выбор его пал на Дарью Алексевну Дьякову. Она была хороша собою, умна, до-

\* Державин Г. Р. Сочинения. В 9 т. Под ред. Я. К. Грота. Т. 6. — СПб., 1871.

бродетельна, холодна и расчетлива. Этот брак сделал его свояком Львова и Капниста. Тесные дружеские отношения стали родственными. К жене относился он хорошо, ровно и спокойно, без любви. В стихах называл ее ласково Миленой, но о Пленере забыть не мог. Сидя за столом, задумчиво чертил вилкой по тарелке вензель покойной Екатерины Яковлевны, и слезы наворачивались на глаза его. Дарья Алексеевна ревновала его к памяти покойной, следя за ним недреманным оком. Он, чем ближе к старости, тем больше жены побаивался.

Деловитая Дарья Алексеевна давно, еще с юности, была равнодушна к Державину, и эта влюбленность, кажется, была единственной слабостью ее твердой, рассудительной натуры. Своими попечениями поправила она расстроенное состояние Державина и за 17 лет увеличила его почти вдвое. Она была общительна, любила давать обеды — пышные и невкусные. Об одном из таких обедов со слов Н. М. Карамзина рассказывал П. А. Вяземский: «Карамзин ничего есть не мог. Наконец, к какому-то кушанью подают горчицу; он обрадовался, думая, что на ней отыгаться можно и что она отобьет дурной вкус: вышло, что и горчица была невозможна. — Державин был более гастрономом в поэзии, нежели на домашнем очаге. У него встречаются лакомые стихи, от которых слюнки по губам так и текут» \*.

Державину действительно доставляло неизъяснимое наслаждение заново открывать в стихах мир, в том числе и «гастрономический»:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,  
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,  
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером  
Там щука пестрая — прекрасны!  
Евгению. Жизнь Званская.

Он ничего не придумывал, называя все простыми, обиходными словами, но как-то так отбирал и располагал предметы, что создавал иллюзию цвета, вкуса и аромата. Все проявления бытия были для него равновелики в смысле их неповторимости. Но о мимолетном, малозначительном, незаметном он сожалел и тосковал еще больше, чем о вечном и нетленном. В его стихах — пронзительная ностальгия по мелочам жизни, милым подробностям домашнего уюта, по всему тому, что составляет непременную, надежную и устойчивую основу человеческого существования, что индивидуально-неповторимо и что «жерло вечности» поглощает значительно скорее, чем дела поэтов, героев и царей. Он понимал тщету всего земного и, не таясь, горевал об этом. Но в поэтическое бессмертие он верил, потому и произнес

\* Вяземский П. А. Старая записная книжка. — Л., 1929, с. 211.

убежденно и веско: «А я Пиит—и не умру». Однако этого бессмертия было мало ему. Ему надо было, чтобы бессмертным стало все, чем он жил, что его окружало, с чем он соприкасался, все, кто был ему дорог, все, с кем сталкивала его судьба.

Недаром воспоминания Державина носят характерное название: «Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина». Жизнь, в которой для поэта не было ничего бесконечно малого, недостойного внимания, наблюдения, пристального разглядывания. В записках, как и в стихах, поэт хотел сохранить для потомков мгновение, случай, забытое или полузабытое имя и даже награды, должности и чины, которыми был он пожалован. «Ничто не должно кануть в Лету»—эти слова могли бы стать девизом к его стихотворениям и запискам. Однако в записках он хотел не только поведать о себе потомкам, но разобраться в своем прошлом. О литературных делах своих говорил он в них мало, разве что вспоминалось особенно важное: «Фелица», «Бог», «Буря». Главным в записках была служба, поприще, взлеты и падения, обманутые надежды и долго, порою тщетно взыскиваемые награды. Его записки вдохновляла мысль о честно выполненном гражданском долге.

Переживая в записках свою жизнь заново, он особенно отчетливо понял, что его государственная деятельность оборвалась со смертью Екатерины и даже раньше, в последние годы ее царствования, которые так горько обманули его надежды. Он служил еще семь лет—при Павле и Александре,—но служил уже не из рвения, а больше по привычке. Хотя гражданский темперамент временами давал о себе знать—даже в отставке. Так, не утерпел он в 1812 году и подал записку Александру I о мерах обороны против французов. Ответа он не получил и с тех пор более ни во что не вмешивался, вкладывая все еще не угасший пыл своей души в сочинение стихов, прозы, трагедий.

Быстро набрасывая записки, Державин менее всего заботился о литературности слога. Ему нужно было успеть рассказать о себе и своей эпохе. Эта торопливость сказалась в шероховатости стиля, незавершенности фраз, иногда—в отсутствии согласования. Он писал о себе в записках и в первом и в третьем лице, то ли путаясь и сбиваясь, то ли желая показать какую-то высшую беспристрастность. Проза Державина необработанна и тяжеловесна. Но в самой необработанности ее, первозданности и стихийности состоит обаяние ее неподдельной искренности. Записки Державина—не «сочинение» в обычном смысле этого слова, а скорее порыв души, запечатленный на бумаге.

Оставив службу, Державин перенес на отечественную словесность страстную силу своих попечений. В декабре 1805 года он написал Д. И. Хвостову письмо, которое можно считать его символом веры, а отчасти и литературным завещанием: «Обязан истинною благодарностию за уважение советов моих. Они проистекают не от чего другого, как из ревностного желанья не только вам, но и общего блага; ибо частная честь и слава относятся к общей, а общая к частной. Я желаю, чтоб литература наша прославлялась. <...> Признаки же истинного достоинства поэтов суть: 1) когда стихи их затверживаются наизусть и передаются преданием в потомство; 2) когда апофегмы из них в заглавия других сочинений вносятся и 3) когда они переводятся на другие просвещенные языки» \*.

Державин умер 8 июля 1816 года в своем имени, на Званке. На аспидной доске в его кабинете остался набросок начала стихотворения—всего восемь строк о тщете земного существования:

Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Через звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы.

Эта мысль страшила его, и в стихах он всегда противопоставлял ей другую, словно пытаясь опровергнуть неутешительный опыт истории:

Необычайным я пареньем  
От тленна мира отделюсь,  
С душой бессмертною и пеньем,  
Как лебедь, в воздух поднимусь.

\* \* \*

Прошло 19 лет после смерти Державина. Отгремели выстрелы на Сенатской площади. Зловещее царствование Николая I открыло свой страшный мартиролог (Герцен), в котором уже значились имена казненных декабристов. Всего через два года в нем появится имя Пушкина. Лицейский друг Пушкина В. К. Кюхельбекер находился в это время в тюрьме города Свеаборга. Больной, лишенный всего, он мог только читать и писать. Это стало его единственным утешением, и за это в 46 лет он поплатился полной слепотой. 6 января 1835 года Кюхельбекер записал

---

\* Державин Г. Р. Сочинения, т. 6, с. 175.

в своем дневнике: «Спасибо старику Державину! Он подействовал на меня вдохновительно: тремя лирическими стихотворениями я ему обязан <...> У Державина инде встречаются мысли столь глубокие, что приходишь в искушение спросить: понял ли сам он вполне то, что сказал?»

Немного позже, в тот же день, Кюхельбекер приписал: «Простился я сегодня с Державиным: отдал его. Но непременно через полгода или год (разумеется, если буду жив и еще здесь) опять его выпрошу. Третья часть, т. е. оды, названные стариком анакреонтическими, венец его славы. Они истинно бессмертны; тут почти нет ни одной, в которой не было бы хоть чего-нибудь прекрасного, даже в самых слабых найдешь или удачную черту, или счастливый оборот, или хоть живописное слово. Лучшие же такие перлы Русской поэзии, которые мы смело можем противопоставить самым лучшим созданиям в сем роде иностранцев и даже древних» \*.

#### ЛИТЕРАТУРА

Грот Я. К. Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам. Т. 1—2.— СПб., 1880—1883.

Аксаков С. Т. Знакомство с Державиным.— Собр. соч. В 4-х т. Т. 2.— М., 1955.

Благой Д. Д. Державин.— М., 1944.

Гуковский Г. А. Литературное наследство Державина.— В кн.: «Литературное наследство», т. 9—10.— М., 1933.

Западов А. В. Державин.— М., 1958.

---

\* Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи.— Л., 1979, с. 347, 351.

**ЗАПИСКИ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВСЕМ ПРОИСШЕСТВИЕВ  
И ПОДЛИННЫХ ДЕЛ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЕ ЖИЗНЬ  
ГАВРИЛЫ РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА**

**ОТДЕЛЕНИЕ I**

*С рождения его и воспитания  
по вступление в службу.*

Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани <sup>1</sup> от благородных родителей, в 1743 г. июля 3 числа. Отец его служил в армии и, получив от конского удара чахотку, переведен в оренбургские полки премьер-майором; потом оставлен в 1754 г. полковником. Мать его была из рода Козловых. Отец его имел за собою, по разделу с пятерыми братьями, крестьян только 10 душ, а мать 50. При всем сем недостатке были благодетельные и добродетельные люди. Помянутый сын их был первым от их брака; в младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что, по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному, должно было его запекать в хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности. <...> Примечания достойно, что когда <17>44 г. явилась большая, весьма известная ученому свету комета, то при первом на нее воззрении младенец, указывая на нее перстом, первое слово выговорил: «Бог!» Родители со взаимною нежностью старались его воспитывать; однако же, когда в последующем году родился у него брат, то мать любила более меньшего, а отец старшего, который на четвертом году уже умел читать. За неимением в тогдашнее время в том краю учителей, научен от церковников читать и писать. Мать, однако, имея более времени быть дома, когда отец отлучался по должностям своим на службу, старалась пристрастить к чтению книг духовных, поощряя к тому награждением игрушек и конфетов. Старший был острее и расторопнее, а меньшей — глубокомысленнее и медлительнее. В младенческие годы прожили они под непрестанным присмотром родителей несколько в сказанном городе Яранске, потом в Ставрополе, что близ Волги, а наконец в Оренбурге, где старший, при вступлении в отроческие лета, то есть по седьмому году, по тогдашним законам <sup>2</sup>, явлен был на первый смотр губернатору Ивану Ивановичу Неплюеву и отдан для научения немецкого языка, за неимением там других учителей, со-

сланному за какую-то вину в каторжную работу, некоторому Иосифу Розе, у которого дети лучших благородных людей, в Оренбурге при должностях находящихся, мужеска и женска полу, учились. Сей наставник, кроме того, что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагоприятными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей тверждением наизусть вокабул<sup>3</sup> и разговоров и списыванием оных, его, Розы, рукою прекрасно, однако, писанных. Чрез несколько лет посредством такового учения разумел уже здесь упомянутый питомец по-немецки читать, писать и говорить, и как имел чрезвычайную к наукам склонность, занимаясь между уроков денно и ночью рисованием, но как не имел не токмо учителей, но и хороших рисунков, то довольствовался изображением богатырей, каковые деревянной печати в Москве на Спасском мосту продаются, раскрашивая их чернилами, простою и жженою охрою, так что все стены его комнаты были оными убиты и уклеены. В течение сего времени отец имел комиссии быть при межевании некоторых владельческих земель, то от геодезиста, при нем находящегося, сын получил охоту к инженерству. Наконец, когда отец его в <1>754 г. получил отставку, для которой ездил в Москву, в бытность в оной государыни императрицы Елисаветы Петровны, то и сей любимый сын его был с ним, с намерением, чтоб записать его в кадетский корпус или в артиллерию; но как для того надобно было ехать в Петербург, а дела отца его, которые он должен был кончить в Москве, паче же недостаток, что издержался деньгами, ехать ему в сию новую столицу не дозволили, то возвратился он в деревню с намерением в будущем году непременно записать сына в помянутые места. Хотя ему и вызывались некоторые особы в Москве принять его в гвардию, но он по недостатку своему на то не мог согласиться; однако же, по приезде в деревню, в том же году в ноябре месяце скончался, и тем самым пресеклись желания отца и сына, чтоб быть последнему в таких командах, где бы чему-нибудь ему научиться можно было. И таким образом мать осталась с двумя сыновьями и с дочерью одного году в крайнем сиротстве и бедности; ибо, по бытности в службе, самоналейшие деревни, и те в разных губерниях по клочкам разбросанные, будучи неустроенными, никакого дохода не приносили, что даже 15 руб. долгу, после отца оставшегося, заплатить нечем было; притом соседи иные прикосновенные к ним земли отняли, а другие, построив мельницы, остальные луга потопили. Должно было с ними входить в тяжбу; но как не было у сирот ни достатку, ни защитника, то обыкновенно в приказах всегда

сильная рука перемогала; а для того мать, чтоб какое где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передних у дверей по несколько часов, дожидаясь их выхода; но когда выходили, то не хотел никто выслушать ее поря-дочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, в крайней горести и печали <...> Такое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце, и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот. При таких, однако, напастях мать никогда не забывала о воспитании детей своих, но прилагала всевозможное попечение, какое только возможно было им доставить <...>

Поелику же в 1758 г. открылась в Казани гимназия, состоящая под главным ведомством Московского университета, то и <...> записаны дети в сие училище, в котором преподавалось учение языкам: латинскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцеванию, музыке, рисованию и фехтованию, под дирекцією бывшего тогда ассессором Михайла Ивановича Веревкина <...> Более же всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике, и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов <...> Старший из Державиных оказал более способности к наукам до воображения касающимся, а меньшей — к математическим; однако же, во всех классах старший своей расторопностью блистал поверхностью и брал пред меньшим преимущество, который казался туп и застенчив. Вследствие чего старший отличался в рисовании, а потому, когда директор в <1>759 г. собирался главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову дать отчет в успехах вверенного ему училища, то и приказал отличившимся ученикам начертить геометрию и скопировать карты Казанской губернии, украсив оные разными фигурами и ландшафтами, дабы тем дать блеск своему старанию о научении вверенного ему благородного юношества. В числе сих отличных был и старший Державин. Когда ж директор в 1769 г. из Петербурга возвратился, то в вознаграждение учеников, трудившихся над геометриею, объявил каждого по желанию записанными в службу в полки лейб-гвардии солдатами, а Державина в инженерный корпус кондуктором <...>

В 1761 г. получил г. Веревкин от главного куратора Ивана Ивановича Шувалова повеление, чтоб описать развалины древнего татарского, или Золотой Орды города, из-



зываемого Болгары, лежащего между рек Камы и Волги<sup>4</sup> <...> и сыскать там каких только можно древностей, то есть монет, посуды и прочих вещей. Не имея способнейших к тому людей, выбрал он из учеников гимназии паки Державина и, присовокупя к нему несколько из его товарищей, отправился с ними в июне или июле месяце в путь. Пробыв там несколько дней, наскучил, оставил Державина и, подчинив ему прочих, приказал доставить к себе в Казань план с описанием города и буде что найдется из древностей. Державин пробыл там до глубокой осени и что мог, не имея самонужнейших способов, исполнил. Описание, план и виды развалин некоторых строений, то есть ханского дворца, бани и каланчи, с подземельными ходами, укрепленной железными обручами по повелению Петра Великого, когда он шествовал в Персию<sup>5</sup>, и списки с надписей гробниц, также монету медную, несколько серебряной и золотой, кольца ушные и наручные, вымытые из земли дождем, урны глиняные или кувшины, вырытые из земли с углями, собрал и по возвращении в Казань отдал г. Веревкину. Он монеты и вещи принял, а описание, план, виды и надписи приказал переписать и перерисовать начисто и принести к нему тогда, как он в начале наступающего года по обыкновению будет собираться в Петербург для отдания отчетов главному куратору об успехах в науках в гимназии; но как в начале 1762 г. получено горестное известие о кончине государыни императрицы Елисаветы Петровны, то он наскоро отправился в столицу, приказав Державину сделанное им доставить к нему после.

Скоро потом Державин получил из канцелярии лейб-гвардии Преображенского полка паспорт 1760 г. за подписанием лейб-гвардии майора князя Меншикова, в котором значилось, что он отпущен для окончания наук до 1762 г. А как сей срок прошел, ибо тогда был того года уже февраль месяц, то и должен он был немедленно отправиться к полку, тем паче, что не имел уже никакой себе подпоры в Веревкине, на которого место в директоры Казанской гимназии прислан был некто профессор Савич.

## ОТДЕЛЕНИЕ II

*Воинская Державина служба  
до открывшегося в империи возмущения.*

В помянутом 1762 г. в марте месяце прибыл он в Петербург. Представил свой паспорт майору Текутьеву, бывшему тогда при полку дежурным. <...> Он лишь взглянул на паспорт и увидел, что просрочен, захохотал и закричал: «О брат! просрочил», — и приказал отвести вестовому на полковой двор. Привели в полковую канцелярию и сделали

формальный допрос. <...> По справке в канцелярии известно стало, что по списку с прочими присланному при сообщении от Ивана Ивановича Шувалова записан он в Преображенский полк за прилежность и способность к наукам и отпущен для окончания оных на два года. Но паспорт лежал в канцелярии до вступления на престол императора Петра Третьего, по повелению которого велено всем отпускным явиться к их полкам. И как посему он, Державин, в просрочке оказался невинным, то и приказано его причислить в третью роту в рядовые, куда причислен; и как не было у него во всем городе ни одного человека знакомых, то поставлен в казарму с даточными солдатами<sup>6</sup> вместе с тремя женатыми и двумя холостыми <...>

В рассуждении чего и должен был, хотя и не хотел, выкинуть из головы науки. Однако, как сильную имел к ним склонность, то не могли упражняться по тесноте комнаты ни в рисовании, ни в музыке, чтоб другим своим компаньонам не наскучить, по ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и марал стихи без всяких правил, которые никому не показывал, что однако, сколько ни скрывал, но не мог утаить от компаньонов, а паче от их жен; почему и начали они его просить о написании писем к их родственникам в деревни. Державин, писав просто на крестьянский вкус, чрезвычайно им тем угодил, и как имел притом небольшие деньги, получив от матери в подарок при отъезде своем сто рублей, то и ссужал при их нуждах по рублю и по два; а чрез то пришел во всей роте в такую любовь, что когда Петр Третий объявил гвардии поход в Данию, то и выбрали они его себе артельщиком, препоручив ему все свои артельные деньги и заказку нужных вещей и припасов для похода. Таким образом проводил он свою жизнь между грубых своих сотоварищей <...>

...поутру, часу пополудни в 8-м<sup>7</sup>, увидели скачущего из конной гвардии рейтара<sup>8</sup>, который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный дворец <...> Рота тотчас выбежала на плац. В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе все суматошилось. Едва успели офицеры запыхаючись прибежать к роте, из которых однако были некоторые равнодушные, будто знали о причине тревоги. Однако все молчали; то рота вся, без всякого от них приказания, с великим устремлением, заряжая ружья, помчалась к полковому двору. На дороге, в переулке, идущем близ полкового двора, встретился штабс-капитан Нилов, останавливал, но его не послушались и вошли на полковой двор. <...> Таким образом третья рота, как и прочие Преображенского полка, по другим местам бежали, одна за одной, к Зимнему дворцу. Там нашли Семеновский и Измайловский уже пришедшими, которые ок-

ружили дворец и выходы все заставили своими караулами. Преображенский полк, по подозрению ли, что его любил более других государь, часто обучал сам военной экзерции<sup>9</sup>, а особливо гренадерские роты, которых было две, жалуя их нередко по чарке вина, или по старшинству его учреждения, пред прочею гвардией, поставлен был внутри дворца. Все сие Державина, как молодого человека, весьма удивляло, и он потихоньку шел по следам полка, а пришед во дворец, сыскал свою роту и стал по ранжиру<sup>10</sup> в назначенное ему место. Тут тотчас увидел митрополита новгородского и первенствующего члена св. Синода <Гавриила> с святым крестом в руках, который он всякому рядовому подносил для целования, и сие была присяга в верности службы императрице, которая уже во дворец приехала, будучи препровождена Измайловским полком; ибо из Петергофа привезена в оный была на одноколке графом Алексеем Григорьевичем Орловым, как опосле ему о том сказывали. День был самый ясный, и, побыв в сем дворце часу до третьего или четвертого пополудни, приведены были пред вышесказанный деревянный дворец и поставлены от моста вдоль по Мойке. В сие время приходили пред сей дворец многие и армейские полки, примыкали по приведении полковников к присяге, по порядку, к полкам гвардии, занимая места по улицам Морским и прочим, даже до Коломны. А простояв тут часу до восьмого, девятого или десятого, тронулись в поход, обыкновенным церемониальным маршем, повзводно, при барабанном бое, по петергофской дороге в Петергоф. Императрица сама предводительствовала в гвардейском Преображенском мундире на белом коне, держа в правой руке обнаженную шпагу. Княгиня Дашкова также была в гвардейском мундире. Таким образом маршировали всю ночь. На некотором урочище, не доходя до Стрельной, в полночь имели отдых. Потом двинулись паки в поход. Поутру очень рано стали подходить к Петергофу, где чрез весь зверинец, по косогору, увидели по разным местам расставленные заряженные пушки с зажженными фитилями, которые, как сказывали после, прикрыты были некоторыми армейскими полками и голштинскими батальонами; то все отдались государыне в плен, не сделав нигде ни единого выстрела. В Петергофе расположены были полки по саду, даны быки и хлеб, где, сварив кашу, и обедали. После обеда часу в 5-м увидели большую четырехместную карету, запряженную больше, нежели в шесть лошадей, с завешенными гардинами, у которой на запятках, на козлах и по подножкам были гренадеры же во всем вооружении; а за ними несколько конного конвоя, которые, как после всем известно стало, отвезли отрешенного императора от правления в Ропшу, местечко, лежащее от Петербурга в 30 верстах к Выборгской стороне. Часу по полудни

в седьмом полку из Петергофа тронулись в обратный путь в Петербург; шли всю ночь и часу по полуночи в 12-м прибыли благополучно вслед императрице в Летний деревянный дворец, который был на самом том месте, где ныне Михайловский. Простояв тут часа с два, приведены в полк и распущены по квартирам.

День был самый красный, жаркий; то с непривычки молодой мушкетер еле жив дотащил ноги. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступил к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова <...>

Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до их полка. Поутру издан был манифест, в котором хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но, с другой, напоминалася воинская дисциплина и чтоб не верили они рассеваемым злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие; в противном случае, впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с того самого дня приумножены пикеты, которые в многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем мостам, площадям и перекресткам расставлены были. В таком военном положении находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с 8, то есть по самую кончину императора.

По водворении таким образом совершенной тишины объявлен поход гвардии в Москву для коронации ее величества, и в августе месяце Державин по паспорту отпущен был с тем, чтоб явиться к полку в первых числах сентября, когда императрица к Москве приближаться будет. Снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь, потащился потихоньку. <...>

Из села Петровского <...> ездил государыня несколько раз инкогнито в Кремль. Потом всенародно имела свой торжественный въезд сквозь построенные парадом полки гвардейские и армейские, под пушечными с Кремля выстрелами и восклицаниями народа. 22 числа сентября в Успенском соборе, по обрядам благочестивых предков своих, царей и императоров российских, короновалась. Тогда

отправлен был обыкновенный народный пир. Выставлены были на Ивановской Красной площади жаренные с начинкою и живностью быки и пущены из рейнского вина фонтаны. Вечеру город был иллюминирован. Государыня тогда часто присутствовала в Сенате, который был помещен в Кремлевском дворце; проходя в оный, всегда жаловала чиновных к руке, которого счастья, будучи рядовым, и Державин иногда удостоивался, нимало не помышляя, что будет со временем ее статс-секретарь и сенатор. <...>

Наступила весна и лето, и хотя многие <...> младшие произведены были не токмо в капралы, но и в унтер-офицеры по протекциям, а Державин без протектора всегда оставался рядовым; но как стало приближаться восшествие императрицы на престол, 1763 году июня 28 дня, а в такие торжественные праздники обыкновенно производство по полку нижних чинов бывало, то и решился он прибегнуть под покровительство майора своего, графа Алексея Григорьевича Орлова. Вследствие чего, сочинив к нему письмо с прописанием наук и службы своей, наименовав при том и обошедших его сверстников, пошел к нему и подал ему письмо, которое прочетши, он сказал: «Хорошо, я рассмотрю». В самом деле и пожалован он в наступивший праздник в капралы.

Тогда отпросился в годовой отпуск к матери в Казань, дабы показаться ей в новом чине. На дороге случилось приключение, ничего, впрочем, не значащее, но, однако, могущее в крайнее ввергнуть его злополучие. Прекрасная, молодая благородная девица, имевшая любовную связь с бывшим его гимназии директором, господином Веревкиным, который тогда возвращен был паки на прежнее свое место, быв за чем-то в Москве, отправлялась в Казань к своему семейству, сговорилась с ним и еще с одним гвардии же Преображенского полка капралом Аристовым вместе для компании ехать. В дороге, будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ сколь ни завидовал и из ревности сколь ни делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени. Натурально, в таких случаях более оказывается в любовниках храбрости и рвения угодить своей любезной. В селе Бунькове, что на Клязьме <...>, перевозчики подали паром; извозчики взвезли повозки и выпрягли лошадей; но первые не захотели перевозить без ряды<sup>11</sup>; а как они запросили неумеренную цену, которая почти и не под силу капральскому кошельку была, то и не хотел он требуемого количества денег дать, а они разбежались и скрылись в кусты. Прошло добрых полчаса, и никто из перевозчиков не являлся. Натурально, красавице скучилось; она стала роптать и плакать. Кого же

слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился в кусты искать перевозчиков и, нашед их, то угрозами, то обещанием заплатить все, что они потребуют, вызвал их кое-как на паром. Но как пришли на оный, то и потребовали наперед денег в превосходном числе, чем прежде просили. Тут молодой герой, будучи пылкого нрава, не вытерпел обиду, вышел из себя и, схватя палку, ударил несколько раз кормщика. Он схватил свой багор и закричал прочим своим товарищам: «Ребята, не выдавай», — с словом сим все перевозчики, сколько их ни было, кто с веслами, кто с шестами, напали на рыцарствующего капрала, который, как ни отмахивался тесаком, но принужден был, бросившись в повозку, схватить свое заряженное ружье, приложился и хотел выстрелить; но к счастью, что ружье было новое, пред выездом из Москвы купленное и неодоержанное, курок крепок, то и не мог скоро спуститься. Мужики, увидя его ярость и убоявшись смерти, вмиг разбежались. Тогда он, отвязав маленький при берегу стоявший челнок, сел в него и переправился чрез Клязьму в помянутое село Буньково. Там, ходя по улице и по дворам, никого не находил; наконец вышел из приказной избы мужик довольно взрачный, осанистый, с большою бородою и, подпираясь посохом, с видом удивления спросил: «Что ты, барин, так воюешь, разве к басурманам ты заехал? Чего тебе надобно?» Проезжий пересказал ему случившееся, жалуясь на притеснения перевозчиков. «Ну что же за беда? разве не можно было другим манером сыскать на них управы? стыдно-ста, молодой господин, озорничать, бегать с голым палашом по улице и пужать мир крещеный. Меня не испужаешь, велю схватить да связать и отвезу в город, так и будешь утирать кулаком слезы, но не поворишь. Барин наш нас не выдаст» <...>. Таким справедливым укором устыдил храбреца мужик. Это был бурмистр того селения. Насилу, кое-как будучи убежден, приказал перевозить за сходную цену все повозки.

Приехав в Казань, желал с красавицей своей чаще видеться; но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой <...>...сии кратковременные любовные шашни тем и кончились: ибо более никогда уже не видал сего своего предмета.

Приехав из Шацка в оренбургскую деревню, куда приехала и мать его, прожил с нею там оставшееся летнее время; а в исходе сентября отправила она его в Оренбург по некоторым случившимся деревенским делам. <...>

По наступлении срока отправился в Петербург к полку. Таким же образом вел свою жизнь как прежде, упражняясь тихонько от товарищей в чтении книг и кропании стихов, стараясь научиться стихотворству из книги о по-

эзии, сочиненной г. Третьяковским <sup>12</sup> и из прочих авторов, как: гг. Ломоносова и Сумарокова. <...>

В сем же промежутке времени едва не случилась с ним незапная страшная смерть. Ходил он по обыкновению в своем звании во все караулы, то в одном из оных в Зимнем каменном дворце, когда он еще внутри не весь был выстроен, и в той половине, где после был придворный театр, а ныне апартаменты вдовствующей императрицы Марии Феодоровны, наверху, в одном из самых вышних ярусов были две двери: одна в покой, в котором был пол, а другая — в другой, в котором был пролом до самых нижних погребов, наполненных каменными обломками; и как по лености не токмо офицеров, но и унтер-офицеров, приказано было ему ночью обойти все притины <sup>13</sup> дозором, то он пошел, взяв фонарщика, или солдата, который нес фонарь, казанского дворянина знакомого себе, по фамилии Потапова. Бегая по многим лестницам, не дожидаясь освещения проходов, пришел, наконец, к вышеописанному месту и хотел стремление свое продолжать далее, но вдруг услышал голос Потапова, далеко на низу лестницы от него отставшего, который кричал: «Постойте, куда вы так бежите?» Он остановился и лишь только осветил фонарь, то и увидел себя на пороге, или на краю самой той пропасти, о которой выше сказано. Один миг — и едва одни кости его остались бы на сем месте. Он перекрестился, воздал благодарение богу за спасение жизни и пошел, куда было должно.

В сих годах, то есть в 1765 и в 1766 гг. были два славные в Петербурге позорища <sup>14</sup>, учрежденные императрицею, сколько для увеселения, столько и для славы народа. Первое, великолепный карусель, разделенный на четыре кадрили: на ассирийскую, турецкую, славянскую и римскую, где дамы на колесницах, а кавалеры на прекрасных конях, в блистательных уборах, показывали свое проворство метанием дрогиков и стрельбою в цель из пистолетов. Подвигоположником был украшенный сединами фельдмаршал Миних, возвращенный тогда из ссылки. Другое, пружорочный под Красным Селом лагерь, в котором, как сказывали, около 50 тысяч конных и пеших собрано было войск для маневров пред государынею. Тогда в придворный театр впускаемы были без всякой платы одни классные обоего пола чины и гвардии унтер-офицеры; а низкие люди имели свой народный театр на Комиссариатской площади, а потом из карусельного здания, на месте, где ныне Большой театр, на котором играли всякие фарсы и переведенные из Мольера комедии. <...>

Зимою объявлен поход ее величества в Москву. Державин <...> пожалован в фурыеры <sup>15</sup> и командирован, под начальством подпоручика Алексея Ивановича Лутовинова,

на ямскую подставу для надзирания за исправностию наряженных с ямов лошадей, изготовленных для шествия императрицы и всего ее двора. <...> Тут первые написал правильные ямбические экзаметры на проезд государыни чрез реку того селения Мохост. <...>

В сие время досталось Державину при производстве в полку чрез чин подпрапорщика в каптенармусы<sup>16</sup>, а января первого числа 1767 г. — в сержанты <...> Гвардия возвратилась в Петербург, а Державин на некоторое время отпросился для свидания с матерью и меньшим его братом, учившимся в гимназии. <...>

Но, приехав в Москву и имея от матери поручение купить у господ Таптыковых на Вятке небольшую деревнишку душ на 30, остановился <...> И как стоял он тогда у двоюродного своего брата господина Блудова, который и его двоюродный брат господин подпоручик Максимов, живши в одном с ним доме, завели его сперва в маленькую, а потом и в большую карточную игру, так что он проиграл данные ему от матери на покупку деревни деньги. Тогда он забыл о сроке, хотел проигранные деньги возвратить; но как не мог, то, заняв у него, Блудова, купил деревню на свое имя и ему оную, с присовокуплением материнского имения, хотя не имел на то права, заложил. Попав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игроками или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам. Но, благодарение богу, что совесть, или, лучше сказать, молитвы матери никогда его до того не допускали, чтоб предался он в наглое воровство или в коварное предательство кого-либо из своих приятелей, как другие делывали. <...> Если же и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, запершись дома, ел хлеб с водою и марал стихи при слабом иногда свете полусвечной сальной свечки или при сиянии солнечном сквозь щелчки затворенных ставней. <...>

Наконец, кратко сказать, он, проживая в Москве в знакомстве с такового разбора людьми, чрезвычайно наскучил или, лучше сказать, возгнушавшись сам собою, взял у приятеля матери своей 50 руб., который прошен был от нее ссудить в крайней его нужде, бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург. Сие было в марте месяце 1770 г., когда уже начало открываться в Москве моровое поветрие<sup>17</sup>. В Твери удержал было его некто из прежних его приятелей <...>, но кое-как от него отделался, издержав все свои деньжонки. <...> Подъезжая к Петербургу в 1770 г., как уже тогда моровое поветрие распространилось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную,



на которой должно было прожить две недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем; то старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было; но как был у него один сундук с бумагами, то и находили его препятствием; он, чтобы избавиться от оногo, сжег при караульных со всем тем, что в нем ни было, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плутону<sup>18</sup> все, что он во всю молодость свою через 20 почти лет намарал, как то: переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и в стихах. <...>

### ОТДЕЛЕНИЕ III

*С помянутого возмущения  
по вступление Державина в статскую службу.*

<...> Начну тем, что во время брачного торжества великого князя Павла Петровича с великою княжною Натальею Алексеевною, в 1773 г., в сентябре, стали разноситься по народу слухи о появившемся в Оренбургской губернии разбойнике, для поимки коего того краю посланы гарнизонные и прочие команды; а как несколько молва замолкла, то и думали, что беспокойство утушено. Но вдруг во дворце, на бале, в Андреев день, то есть 30 ноября, государыня, подошед к генерал-аншефу Измайловского полку, майору Александру Ильичу Бибикову <...>, объявила о возмущении, приказав ему ехать для восстановления спокойствия в помянутой губернии. Бибиков был смел, остр и забавен, пропел ей русскую песню: «Наш сарафан везде пригожается». Это значило то, что он туда и сюда был беспрестанно в важные дела употребляем без отличных каких-либо выгод; а напротив того, от Румянцева и графа Чернышова, управляющего Военною коллегией, иногда был притесняем. Вследствие чего на другой день были к нему наряжены и ассистенты или помощники многие гвардии офицеры по его выбору, ему знакомые <...>

Державин узнал сие, и как имел всегда желание употреблен быть в войне или в каком-либо отличном поручении, даже повергался иногда в меланхолию, что не имел к тому средства и удобства... <...> итак, вздумал открывшимся случаем воспользоваться. Вследствие чего, хотя ему генерал Бибиков нимало не был знаком, но он решился ехать к нему и без рекомендации, слыша, что он человек разумный и могущий скоро проникать людей. Приехав, открыл ему свое желание, сказав, что слышал по народному слуху о поездке его в какую-то Секретную Комиссию в Казань; а как он в сем городе родился и ту сто-

рону довольно знает, то не может ли он быть с пользою в сем деле употребленным? Бибиков отвечал, что он уже взял гвардии офицеров, ему людей известных, и для того сожалеет он, что не может исполнить его просьбы. Но как Державин остался у него еще несколько <времени> и не поехал скоро, то он, вступя с ним в разговор, был им доволен, однако же никакого не сделал обещания. Простясь, с огорчением от него поехал; но в приказе полковом ввечеру с удивлением увидел, что по высочайшему повелению велено ему явиться к генералу Бибикову. Он сие исполнил и получил приказание чрез три дня быть к отъезду готовым. <...>

Хотя Державин весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубля, отправился в Москву, но генерал Бибиков перегнал его: пробыв несколько дней в Москве, приехал в Казань декабря 25 числа, то есть в самый день рождества Христова. Прочие офицеры, наперед уже приехавшие и открывшие по повелению генерала заседания Секретной Комиссии, по случаю тогда праздника, как люди достаточные, имевшие знакомых множество, а иные и сродников, занялись разными увеселениями; но Державин, пробыв с матерью уединенно в доме, старался от крестьян, приезжих из деревнишек своих, которые лежали по тракту к Оренбургу, узнать... о колебании народном: ибо известно было, что до приезда Бибикова многие дворяне и граждане разъехались было из города, но с прибытием его паки возвратились. Собрав таковые, сколь можно пообстоятельнее, известия, 28 числа на вечер приехал к генералу, когда у него никого не было. Он по обыкновению спрашивал о новостях. <...>

По отслужении молебна об успехе оружия, приглашены были в квартиру главнокомандующего преосвященный Вениамин и все благородное собрание. Тут Бибиков, подойдя к Державину, тихо сказал: «Вы отправляетесь в Самару; возьмите сейчас в канцелярии бумаги и ступайте». Выговоря сие, смотрел пристально в глаза: может быть, хотел проникнуть, таков ли он рьян на деле, как на словах. Державин, сие приметя <...>, нашелся и отвечал: «Готов». Взял ту ж минуту из канцелярии запечатанные пакеты, которые надписаны **по секрету**, и велено было их открыть по удалении Казани 30 верст. Простился с матерью, не сказав, куда едет; поскакал.

<...> Здесь влагается подлинный журнал <sup>19</sup> с дополнением подробных примечаний на некоторые сокращенные обстоятельства. <...>

«Всемиловитейшая государыня! Ежели и самая жертва жизни ничто иное есть, как только долг государю и Оте-

честву, то никогда и не помышлял я, чтоб малейшие мои труды в прошедшее мятежное беспокойство заслуживали какое-либо себе уважение. Но когда, всемилостивейшая государыня, великой прозорливости вашего императорского величества праведно показалось воззреть на трудившихся в то время, и по особой матерней щедроте и получили товарищи мои, бывшие со мною в одной комиссии <...>, по желанию их награждения. Остался я один не награжденным. Чувствуя всю тягость несчастья быть лишенным милости славящейся государыни щедротами в свете и сравнив себя, может быть, по легкомыслию, с ними, нахожу, что я странствовал год целый <...>, был в опасностях <...>, и во все сие время не имел у себя ниже в письме помощника, а исполнял то же, что они; сверх того, когда еще войска не пошли к Оренбургу, я был от покойного генерала Бибикова послан с секретным наставлением о наблюдении за самыми войсками, идущими для очищения Самарской линии; был в сражениях и, возвратясь, заслужил похвалу. Потом, находясь при нем с месяц, имел важную поверенность сочинять журнал всем к нему присланным повелениям, рапортам и от него данным диспозициям. А когда войска пошли к Оренбургу, то я же опять должен был, запечатав начатый мною журнал, ехать в новую посылку на реку Иргиз. <...> Имев кредитивы от покойного генерала Бибикова, не употребил их во зло и не более издержал денег в продолжении всей моей комиссии 600 рублей; доставил нужных людей Секретной Комиссии, и уповаю, во всей тамошней области никаких не сыщется на меня жалоб. Между тем во все то время, отдавая спасенные мною имения их владельцам, как и немалое количество казенных, дворцовых и экономических денег и скота, принадлежащего колониям, на что имею квитанции, лишился я всего собственного моего имущества в Оренбургском уезде и в Казани. <...> Поправить же себя щедротою вашего императорского величества, чтоб взять из учрежденных в губерниях банков денег, не мог, ибо мнение мое заложено в С.-Петербургском банке.

Все сии происшествия сравнив с деяньями товарищей моих, вижу, всемилостивейшая государыня, что я несчастлив. Прошлого года в Москве принимал я смелость просить его светлость князя Григория Александровича Потемкина, яко главного моего начальника, заступить меня ходатайством своим пред вашим императорским величеством и получил отзыв, что вы, всемилостивейшая государыня, не оставите воззреть на мое посильное усердие, изъявив монаршее благоволение наградить меня, почему и приказал мне его светлость ожидать оногo. Теперь наступает тому другой год; надежда моя исчезла, и я забыт. Представляется мне, что не нахожусь ли за что под гневом челове-

колюбивой и справедливой монархини. Мысль сия меня умерщвляет, государыня! Ежели я преступник, да не допустит вины моей или заслуги более долготерпение твое без воздаяния».

Письмо сие подано в июле месяце в Петергофе, в присутствии там императрицы, ее статс-секретарю и полковнику, что был после графом и князем, Александру Андреевичу Безбородке, с приложением всех документов, на которые в нем была ссылка. По возвращении двора в Петербург, господин Безбородко объявил просителю, что впоследствии на оное ее величества благоволение, и сказал бы он, какого награждения желает. Сей отвечал, что не может назначить и определить меры щедрот все милостивейшей государыни; но когда удостоена ее благоволения его служба, то после того уже ничего не желает и будет всем доволен, что ни будет ему пожаловано; ибо по жребию, чрез игру вышесказанной фортуны, не имел уже он такой нужды как прежде <...>, и жизнь вел приятную, не уступая самым богачам. <...> ...в один день, в декабре уже месяце, когда наряжен был он, Державин, во дворец на караул и с ротою стоял во фронте по Миллионной улице, то чрез ординарца позван был к князю <Потемкину>. Допущен будучи в кабинет, нашел его сидящего в креслах и кусающего по привычке ногти. Коль скоро князь его увидел, то по некотором молчании спросил: «Чего вы хотите?» Державин, не могши скоро догадаться, доложил, что он не понимает, о чем его светлость спрашивает. «Государыня приказала спросить, — сказал он, — чего вы по прошению вашему за службу свою желаете?» — «Я уже имел счастье чрез господина Безбородку отозваться, что я ничего не желаю, коль служба моя богоугодною ее величеству показалась». — «Вы должны непременно сказать», — возразил вельможа. «Когда так, — с глубоким благоговением отозвался проситель, — за производство дел по Секретной Комиссии желаю быть награжденным деревнями равно со свертниками моими, гвардии офицерами; а за спасение колоний по собственному моему подвигу, как за военное действие, чином полковника». — «Хорошо, — князь отозвался, — вы получите». С сим словом только вышел из дверей, встретил его неблагоприятствующий ему майор Толстой и с удивлением спросил: «Что вы здесь делаете? — «Был позван князем». — «Зачем?» — «Объявить мое желание по повелению государыни», и словом, пересказал ему все без утайки. Он, выслушав, тотчас пошел к князю. Вышедши чрез четверть часа от него, сказал: «Вдруг быть полковником всем покажется много. Подождите до нового года: вам по старшинству достанется в капитаны-поручики; тогда и можете уже быть выпущены полковником». Нечего было другого делать, как ждать. Вот наступил и новый

1777 г., и подтвержден поднесенный от полку доклад, в котором пожалован я в бомбардирские поручики, что то же как и капитан-поручик. Потом и январь прошел, а об обещанной награде и слуху не было. Принужден был еще толкаться у князя в передней. Наконец, в феврале, проходя толпу просителей в его приемной зале, едуци прогуливаться и увидев Державина, сказал правителю его канцелярии, бывшему тогда подполковнику Ковалинскому, сквозь зубов: «Напиши о нем докладную записку». Ковалинский, не зная содержания дела, не знал, что писать, просил самого просителя, чтоб он написал. Сей изготавил по самой справедливости, ознаменовав при том желание произвесть полковником в армию. Чрез несколько дней увидев, сказал, что князь не апробовал записки потому только, что «майор Толстой внушил ему, что вы к военной службе не способны, то и велел заготовить записку другую о выпуске вас в статскую службу». Державин представлял ему, что он за военные подвиги представляется к награждению и не хочет быть статским чиновником, просил еще доложить князю и объяснить желание его в военную службу; но как некому было подкрепить сего его искания, ибо никого не имел себе близких к сему полномочному военному начальнику приятелей, то князь и по второму докладу, как Ковалинский сказывал, на выпуск его в армию не согласился; а для того и принужден он был, хотя с огорчением, вступить на совсем для него новое поприще.

#### ОТДЕЛЕНИЕ IV

*С окончания военной  
прохождение статской службы  
в средних чинах по отставку.*

15 числа сего февраля <1777> даны правительствующему Сенату два указа, из коих одним пожалован он в коллежские советники и велено дать ему место по его способности, другим пожаловано ему 300 душ в Белорусской губернии. <...> А как очистилось тогда Сената в первом департаменте эзекуторское место <...>, Державин, приехав в один день поутру рано на дачу генерал-прокурора <Вяземского> <...>, просил его о помещении на порозжую вакансию. <...> Должность сия, по отступлении от инструкции Петра Великого, хотя была тогда уже не весьма важная, однако довольно видная. Отправляя ее, скоро приобрел он знакомство всех господ сенаторов и значущих людей в сем карьере, а особливо бывая всякий день в доме генерал-прокурора. <...>

В сем году, около масленицы, случилось с ним несколько сначала забавное приключение, но после важное, которое переменяло его жизнь. Меньший из братьев Окуневых поссорился, быв на конском бегу, с <...> Александром Васильевичем Храповицким, бывшим тогда при генерал-прокуроре сенатским обер-прокурором в великой силе. Они ударили друг друга хлыстиками и, наговорив множество грубых слов, решились ссору свою удовлетворить поединком. Окунев, прискакав к Державину, просил его быть с его стороны секундантом. <...> Что делать? <...> Дал слово Окуневу с тем, что ежели обер-прокурор первого департамента Резанов, у которого он в непосредственной состоял команде, который также был любимец генерал-прокурора и с ним, как Державин, по некоторым связям в короткой приязни, не попротиворечит сему посредничеству; а ежели сей того не одобрит, то он уговорит друга своего. <...> С таковым предприятием поехал он тотчас к господину Резанову, его не нашел дома: сказали, что он обедает у господина Тредиаковского, бывшего тогда старшего члена при герольдии, который по сей части был весьма значащий человек. Хотя сей жил на Васильевском острове, но он и туда поехал. Уже был вечер. При самом входе в покой встречается с ним бывшая кормилица великого князя Павла Петровича <...> г-жа Бастидонова с дочерью своею, девицею лет 17-ти, поразительной для него красоты; а как он ее видел в первый раз в доме господина Козодавлева <...> и тогда она уже ему понравилась, но только примечал некоторую бледность в лице, а потом в другой раз в театре неожиданно она его изумила; то тут в третий раз, когда она остановилась в передней с матерью, ожидая, когда подадут карету, не вытерпел уже он и сказал разговаривавшему с ним Резанову о том, зачем приехал, что он на сей девушке, когда она пойдет за него, женится. Сей засмеялся, сочтя таковую скорую решительность за шутку. Разговор кончился; мать с дочерью уехали, но последняя осталась неисходно в сердце. <...> За чем дело стало? Державин уже имел некоторое состояние <...>, то и взял он намерение порядочным жить домом, а потому и решился твердо в мыслях своих жениться. Вследствие чего и рассказал, будто шуткою, своим приятелям, что он влюблен, называя избранную им невесту ее именем. В первый день после маскарада, то есть в понедельник на первой неделе великого поста, обедая у генерал-прокурора, зашла речь за столом о волокитствах, бываемых во время карнавала, а особливо в маскарадах. <...>

Петр Иванович Кириллов, действительный статский советник, правящий тогда ассигнационным банком, обедая вместе, слышал сей шутливый разговор, и когда встали из-за стола, то отведши на сторону любовника: «Слушай,

братец, не хорошо шутить на счет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком; покойный отец девушки, о которой идет речь, мне был друг; он был любимый камердинер императора Петра III, и она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого и называется молочною сестрою, да и мать ее тоже мне приятельница; то шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю». — «Да я не шучу, — отвечивал Державин, — я истинно смертельно влюблен». — «Когда так, — сказал Кириллов, — что ты хочешь делать?» — «Искать знакомства и свататься». — «Я тебе могу сим служить». А потому и положили на другой же день ввечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидоновой, что и исполнено. Кириллов, приехав, рекомендовал приятеля, сказав, что проезжая мимо, захотелось ему выпить чаю; то он и упросил, показывая на приехавшего, войти к ним с собою. По обыкновенных учтивостях сели и, дожидаясь чаю, вступили в общий общежительный разговор, в который иногда с великою скромностью вмешивалась и красавица, вязав чулок. Любовник жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие, и осматривал комнату, приборы, одежду и весь быт хозяев, между тем как девка, встретившая их в сенях с сальною свечою в медном подсвечнике, с босыми ногами, тут уже подносила им чай; делал примечания свои на образ мыслей матери и дочери, на опрятность и чистоту в платье, особливо последней, и заключил, что хотя они люди простые и небогатые, но честные, благочестивые и хороших нравов и поведения; а притом дочь не без ума и не без ловкости, приятная в обращении, а потому она и не по одному прелестному виду, но и по здравому рассуждению ему понравилась, а более еще тем, что сидела за работою и не была ни минуты праздною, как другие ее сестры непрестанно говорят, хохочут, кого-либо пересуживают, желая показать остроумие свое и умение жить в большом свете. Словом, он думал, что ежели на ней женится, то будет счастливым. Посидев таким образом часа два, поехали домой, прося позволения и впредь к ним быть въезжу новому знакомому. Дорогою спросил Кириллов Державина о расположении его сердца. Он подтвердил страсть свою и просил убедительно сделать настоятельное предложение матери и дочери. Он на другой же день исполнил. <...> Скоро, по прошествии великого поста, то есть 18 апреля 1778 г., совершен брак.

Того же года в августе выпросился в отпуск на 4 месяца, дабы показать новобрачную матери своей, жившей тогда в Казани. <...>

По возвращении из отпуска вступил он в прежнюю свою экзекуторскую должность и был в оной по декабрь 1780 г. В течение сих годов случилось два замечательные происшествия:

I) В 1779 г. перестроен был под смотрением его Сенат, а особливо зала общего собрания, украшенная червленым бархатным занавесом с золотыми франжами и кистями и лепными барельефами <...> ... между прочими фигурами была изображена скульптором Рашеттом Истина нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствующих за столом; то когда изготовлена была та зала и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнаженную Истину, сказал экзекутору: «Вели ее, брат, несколько прикрыть». И подлинно, с тех почти пор стали отчасу более прикрывать правду в правительстве. <...>

II) В 1780 г., будучи в Петербурге, австрийский император Иосиф <sup>20</sup> под чужим именем посещал Сенат и, вступая в залу общего собрания, расспрося о производимых в ней государственных делах, сказал сопровождающему его экзекутору: «Подлинно, в пространной столы империи может совет сей служить великим пособием императрице». <...>

...1782 г. 28-го числа июня, то есть в день восшествия императрицы на престол, получил Державин чрез 6 лет чин статского советника. <...>

Надобно знать, что около сего времени, то есть в 1782 и 1783 гг., не был уже к нему так благорасположен генерал-прокурор, как прежде <...>, по огласившейся уже тогда его оде «Фелице», которую двор отличным образом принял. <...> В один день, когда автор обедал у сего своего начальника, принесен ему почтальоном бумажный свиток с надписью: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину». Он удивился и, распечатав, нашел в нем прескрасную, золотую, осыпанную бриллиантами табакерку и в ней 500 червонных. Не мог и не должен он был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрение во взятках; а для того, подошед к нему, показал. Он, взглянув сперва гневно, проворчал: «Что за подарки от киргизцев?» Потом, усмотрев модную французскую работу, с язвительною усмешкою сказал: «Хорошо, братец, вижу и поздравляю»; но с того времени закралась в его сердце ненависть и злоба, так что равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог. <...>

Державин, увидев худую награду за его труды, решился оставить службу. <...> Сенат, согласно законам, поднес доклад императрице, в коем присудил, по выслуге его в чине статского советника года, наградить его чином действительного статского советника. А как императрица знала его сколько по сочинениям, столько и по ревностной службе его в минувшем мятеже и в экспедиции <...>, то высочайше и конфирмовала доклад Сената 15-го февраля 1784 г., отозвавшись по выслушании онного графу Безбо-



родке: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет; а как надобно будет, то я его позову».

Отправив весь свой домашний быт зимним путем до Твери, а оттуда на судах по Волге в Казань к матери, прожил он в Петербурге еще несколько. <...> В течение февраля и марта вздумал он съездить в белорусские деревни, дабы, не видав их никогда, осмотреть, сделать как бы распоряжения или, прямо сказать, как они были оброчные, хозяйства никакого в них не было, то, уединясь от городского рассеяния, докончить в них в уединении начатую им еще в 1780 г., в бытность во дворце у всенощной в день Светлого воскресенья, оду «Бог». А потому, согласив жену несколько с ним расстаться, отправился в путь. Но, доехав до Нарвы, приметя, что дорога начинала портиться и что в деревне в крестьянских избах неловко будет ему заняться сочинением, то, оставя повозку и с людьми на ямском постоялом дворе, нанял в городе у одной престарелой немки небольшой покойчик, с тем, чтоб она ему и кушанье приготавлиала, докончил ту оду и еще также прежде начатую под названием «Видение Мурзы». Прожив в сем городке с небольшим неделю, возвратился в Петербург. <...> ...вдруг получил из Царского Села чрез графа Безбородку известие, что государыня назначает его губернатором в Олонецк, которую губернию в том году должно было вновь открыть, то и потребовалось его согласие. Будучи у императрицы в хорошем мнении, неблагоразумно бы было не согласиться на ее волю. Но как он отправил уже весь свой экипаж в Казань, и престарелая мать давно ожидала его к ней прибытия, то и просил он на некоторое время отпуска. Дан оный ему до декабря, то есть до того времени, когда назначено открыть губернию. А потому и последовал об определении его в губернаторы в Олонецк указ 20-го мая 1784 г. Генерал-прокурор, получив его, сказал любимцам своим, около его стоящим, завидующим счастью их сотоварища, что разве по его носу полезут черви, нежели Державин просидит долго губернатором.

## ОТДЕЛЕНИЕ V

*С определения его в губернаторы  
до удаления его от одного звания  
и возведения в высшие государственные чины  
и должности.*

Определенный в Олонецк губернатором, поехал он в Казань, но матери уже не застал в живых. За три дня до приезда его она скончалась. Оплакав ее смерть, поехал он в оренбургскую свою деревню, дабы показать ее жене своей, как по дороге лежащие рязанскую и казанскую он

ей показывал; пожив в ней не более трех дней, предпринял возвращение в Петербург. <...>

Но как настало время непременно ехать в Олонецк, и новый губернатор, быв представлен на аудиенцию императрице, откланялся уже ей в кабинете, то, заняв деньги у банкиров по 14-ти процентов, закупил, что ему было нужно для заведения своего, и поехал. По прибытии в Петрозаводск, губернский город Олонецкой губернии, нашел уже там генерал-губернатора, господина генерал-поручика и кавалера Тимофея Ивановича Тутолмина. <...> С первых дней наместник и губернатор дружны были, всякий день друг друга посещали, а особливо последний первого; хотя он во всех случаях оказывал почти несносную гордость и превозношение, но как это было не в должности, то и подлаживал его правитель губернии, сколько возмог и сколько личное уважение требовало. Но когда он прислал в губернское правление при своем предложении целую книгу законов, им написанных и императорскою властью не утвержденных <...>, усомнился Державин принять те законы к исполнению, а для того пошел к нему в дом, взяв с собою печатный указ, состоявшийся в 1780 г., в котором воспрещалось наместникам ни на одну черту не прибавлять своих законов и исполнять в точности императорскою только властью изданные; ежели ж в новых каковых установлениях необходимая нужда окажется, то представлять Сенату, а он уже исходатайствует ее священную волю. <...> Таким образом и пошло кое-как течение дел. Наместник казался довольно дружен: всякий вечер и с женами бывали на вечеринках друг у друга. <...>

Само по себе открылось великое неустройство и несогласица с существовавшими законами и регламентами, по коим места должны были отправлять их должности, ибо они поступали не по законам, а по новым постановлениям наместника. Словом, обнаружилось не токмо наглое своеволие и отступление наместника от законов, но сумасбродство и нелепица, чего исполнить было невозможно, или по крайности бесполезно. <...> Таковые сумасбродства, записанные в журналах каждого правительства и суда, Державин приказал в засвидетельствованных копиях внести тогда же в губернское правление, а подлинные, впредь для справок, оставить у себя, что всеми присутственными местами и исполнено. Тогда Державин, прописав выговор, сделанный ему за неисправность наместником, и, сославшись на сии канцелярские акты, послал донесение к императрице. <...> Формального ответа не было; но известно после стало, что наместник был лично призван пред императрицею, где ему прочтено было донесение губернаторское, и он должен был на коле-

нях просить милости. С марта месяца <1785>, когда наместник отправился в столицу, лето целое прошло в безывестии, чем решится или решилось происшествие между губернатором и наместником.

Между тем зачали оказываться неудовольствия наместника и разные притеснения и подыски на губернатора. <...> Между прочими, коих всех описывать было б пространно и не нужно, подан был протест от прокурора в медленном якобы течении дел. Сие было одно пресмешное о медведе. Надобно его описать основательнее, дабы представить живее всю глупость и мерзость пристрастия. По отъезде наместника скоро и брат его двоюродный, полковник Николай Тутолмин, бывший председателем в верхнем земском суде, отпущен был в отпуск на 4 месяца. На Фоминой неделе того суда заседатель Молчин шел в свое место мимо губернаторского дома поутру; к нему пристал, или он из шутки заманил с собою жившего в доме губернатора ассессора Аверина медвежонка, который был весьма ручен и за всяким ходил, кто только его приласкивал. Приведши его в суд, отворил двери и сказал прочим своим сочленам шутя: «Вот вам, братцы, новый заседатель, Михайла Иванович Медведев». Посмеялись и тотчас же выгнали вон без всякого последствия. Молчин, вышедши из присутствия в обыкновенный час, зашел к губернатору обедать, пересказал ему за смешную новость сие глупое происшествие. Губернатор, посмеявшись, сказал, что дурно так шутить в присутственных местах и что ежели <дойдет> до него как формою, то ему сильный сделает напругай<sup>21</sup>. Прошел месяц или более, ничего слышно не было. Напоследок дошли до него слухи из Петербурга, что некто Шишков, заседатель того же суда, в угождение наместнику, довел ему историю сию с разными нелепыми прикрасами; а именно, будто медвежонок, по приказанию губернатора, в насмешку председателя Тутолмина, худо грамоте знающего, приведен был нарочно Молчиным в суд, где и посажен на председательские кресла, а секретарь подносил ему для скрепы лист белой бумаги, к которому, намарав чернилами, лапу медвежонка прикладывали, и будто как прочие члены стали на сие негодовать, приказывая сторожу медвежонка выгнать, то Молчин кричал: «Не трогайте, медвежонок губернаторский». Хотя очевидна была таковая или тому подобная нелепица всякому, но как генерал-прокурору и генерал-губернатору она была богоугодна, то рассказывали ее по домам за удивительную новость и толковали весьма для Державина невыгодно, и видно, сделан был план в Петербурге, каким образом клевету сию произвести самым делом. В июле месяце, когда председатель Тутолмин возвратился из Петербурга к своему ме-

сту, то, не явившись к губернатору, в первое свое присутствие в суде сделал журнал о сем происшествии по объявлении ему якобы от присутствующих. Услышав о сем, губернатор посылал к нему, чтоб он прежде с ним объяснился, нежели начинал дело на бумаге, более сме-ха, нежели уважения достойное. <...> Наместник <...> предложил губернскому правлению отдать Молчина под уголовный суд. Державин <...> сказал, что он по силе учреждения переменить определения губернского правления не может, а предоставляет наместнику по его должности рапортовать на него Сенату. Губернский прокурор и наместник — один с протестом, а другой — с формальной жалобой отнесли <к> сему правительству. Генерал-прокурор рад был таковым бумагам; подходя к сенаторам, говорил всякому его тоном: «Вот, милостивцы, смотрите, что наш умница стихотворец делает: медведей — председателями». Как известно, что Сенат был тогда в крайнем порабощении генерал-прокурора и что много тогда также и наместники уважались, то и натурально, что строгий последовал указ к Державину, которым требовалось от него ответа, как бы по какому государственному делу. <...> Как бы то ни было, только Сенат, потолковав ответ, положил его, как называется, в долгий ящик под красное сукно. — Множество было подобных придинок, но все пред невинностью и правотою, под щитом Екатерины, невзирая на недоброхотство Вяземского и Тутолмина, исчезли. Державин был переведен в лучшую, Тамбовскую губернию.

В исходе, однако, летних месяцев, чтоб как-нибудь очернить Державина и доказать неуважение его к начальству и непослушность, Тутолмин делает ему такие поручения, которые, с одной стороны, были не нужны, а с другой, в исполнении почти невозможны. В исходе августа прислал он повеление осмотреть губернию и открыть город Кемь, лежащий при заливе Белого моря, недалеко от Соловецкого монастыря. Это почти было невозможное дело, потому что в Олонецкой губернии, по чрезвычайно обширным болотам и тундрам, летним временем проезду нет, а ездят зимою, и то только гуссм. <...> Но Державин, невзирая на сии препятствия, дабы показать всегдашнюю его готовность к службе, предпринял исполнить повеление наместника, и действительно исполнил, хотя с невероятною почти трудностью, объезжая более 1500 верст то верхом, то на крестьянских лошадях по горам и топям, то в челночках по озерам и рекам, где не токмо суда, но и порядочные лодки проезжать не могут. <...> Державин, приехав в Кемь, увидел, что нельзя открывать города, когда никого нет. Однако, чтоб исполнить повеление начальника, он велел сыскать священника, которого

через два дня насилу нашли на островах на сенокосе, велел ему отслужить обедню и потом молебен с освящением воды, обойти с крестами селение и, окропя святою водою, назвать по высочайшей воле городом Кемью, о чем оставил священнику письменное объявление, приказав о том по его команде отрапортовать Синоду, а сам таковой же рапорт послал в Сенат.

Возвращаясь, хотел было заехать в Соловецкий монастырь, который лежит от Кеми верстах в 60; но, с одной стороны, как монастырь Соловецкий Архангельской губернии, то не хотел он без позволения выехать из своей, а с другой, как поднялся противный ветер, и был он в шестивесельной рыбацкой <лодке>, в которой против погоды плыть по морю никоим образом было невозможно, то и приказал направлять свою лодку по погоде, и как уже день склонялся на вечер, надобно было доехать засветло до синеющих впереди каменных пустых островов или морских курганов. Но восстала страшная буря, молния и гром, так что нельзя было без освещения молнии и различать совсем предметов; то и проехали было совсем назначенные к отдохновению своему острова; но лоцман по домекам узнал, что те острова вправо и что почти их проезжаем. Ежели к островам, то ветер будет боковой или, как мореходы называют, бедевен, а ежели прямо по ветру, то может легко замчать в середину Белого моря или в самый океан. Державин приказал держать к островам вправо. Лишь руль повернули, паруса упали, лодка искосилась набок, то и захлебнулась было волнами и неминуемо бы потонули; но бог чудным <образом> спас погибающих. Державин хотя никогда не бывал на море, но не оробел и не потерял духу, когда бывшие с ним экзекутор <...> Емин и секретарь Грибовской, который после был статс-секретарем при императрице, замертво почти без чувств лежали, да и самые гребцы, как были лапландцы, неискусные мореходцы, оцепенели, так сказать, и были недвижимы, то одна секунда и вал надобны были к погребению всех в морской бездне. В самое сие мгновение Державин вскочил, закричал на гребцов, чтоб не робели, подняли веслы, на которые лодка несколько оперлась и вдруг очутилась за камнем, который волнами воспрепятствовал ее залить. Таковым, можно сказать, чудом спаслись от потопления, и Державин тогда в уме своем подумал, что, знать, он еще промыслом оставлен для чего-нибудь на сем свете. В память сего после написал он оду под названием «Буря». <...>

Возвратился из сего путешествия в исходе сентября и скоро после того получил указ о перемещении в Тамбовскую губернию <...> и отправился в Петербург, ос-

тавя благополучно навсегда Олонецкую губернию, не сделав никого несчастливым и не заведя никакого дела.

Пробыв в оном до марта, поехал в нововверенную ему Тамбовскую губернию, прекратя некоторые дурные на него внушения императрице от известных его недоброжелателей и их приятелей...

По приезде в Тамбов, в исходе марта или в начале апреля <1786>, нашел сию губернию по бывшем губернаторе Макарове, всем известном человеке слабым, в крайнем расстройстве. Сначала с генерал-губернатором графом Гудовичем весьма было согласно, и он губернатором весьма был доволен, как по отправлению его настоящей должности, так и по приласканию общества и его самого: когда он летом посетил Тамбов, в честь его был устроен праздник. <...> Таковые были в продолжение лета, осени и зимы и даже в наступающем году; но они не токмо служили к одному увеселению, но и к образованию общества, а особливо дворянства, которое, можно сказать, так было грубо и необходимо, что ни одеться, ни войти, ни обращаться, как должно благородному человеку, не умели, или редкие из них, которые жили только в столицах. Для того у губернатора в доме были всякое воскресенье собрания, небольшие балы, а по четвергам концерты, в торжественные же, а особливо в государственные праздники—театральные представления, из охотников, благородных молодых людей обоего пола составленные. Но не токмо одни увеселения, но и самые классы для молодого юношества были учреждены поденно в доме губернатора таким образом, чтоб преподавание учителя дешевле стоило и способнее и заманчивее было для молодых людей. <...> Тут рисовали и шили, которые повзрослее девицы, для себя театральное и нарядное платье по разным модам и костюмам, также учились представлять разные роли. Сие все было дело губернаторши, которая была как в обращении, так и во всем в том великая искусница и сама их обучала. Сие делало всякий день людство в доме губернатора и так привязало к губернаторше все общество, а особливо детей, что они почитали за чрезвычайное себе наказание, ежели когда кого из них не возьмут родители к губернатору. <...>

Но губернатор в сии увеселения почти не мешался, и они ему нимало не препятствовали в отправлении его должности, о которой он беспрестанно пекся. <...> Сие его неусыпное занятие должностно обнаруживалось скорым и правосудным течением дел и полицейскою бдительностью по всем частям управы благочиния, что также всем не токмо тогда было известно, но и донныне многим памятно. <...>

Но в течение сего же года открылось уже явное наместника неудовольствие против губернатора. <...> Надобно знать, что наместник сей, или генерал-губернатор, был <...> господин Гудович, человек весьма слабый, или, попросту сказать, дурак, набитый барскою пышностию. <...>

Он послал к графу Безбородке убедительное партикулярное письмо, написав в нем личные оскорбления и всякие нестерпимые нелепости на губернатора, прося, чтобы он удален был из губернии. <...> Граф Безбородко по тому письму докладывал, и тогда-то уже вышла конфирмация императрицы на вышеупомянутый сенатский доклад, в которой сказано, чтоб, удаля Державина из Тамбовской губернии, взять с него ответы, которые рассмотреть в Москве в 6-м Сената департаменте. <...>

Таким образом должен он был, против желания всех благомыслящих, в исходе 1788 г. оставить Тамбовскую губернию, в которой он много полезного сделал. <...>

Но несмотря на все сии попечения и заботы о благосостоянии вверенной губернии, Державин, по злобе сильных его недоброжелателей, отлучен из Тамбова и явился в Москву к суду 6-го Сената департамента, по вышесказанному доносу наместника, отправя жену свою к матери ее в Петербург.

## ОТДЕЛЕНИЕ VI

*По отлучении от губернаторства  
до определения в статс-секретари,  
а потом в сенаторы  
и в разные министерские должности.*

Приехав в Москву, помнится, в рождественский пост <1788>, явился в Сенат; нашел дело еще не докладованным. <...> Протекло уже 6 месяцев, Державин шатался по Москве праздно и видел, что такая проволочка единственно происходит из угрождения князю Вяземскому, потому что, не находя его ни в чем виновным, отдаляли оправдание, дабы не попасть самим под гнев императрицы. <...>

Приехав в Петербург <...>, послал он чрез почту к императрице письмо, в котором объяснил, что по жалобам на него генерал-губернатора, чрез Сенат присланным, он принес свои оправдания и надеется, что не найдется виноватым. <...> Письмо дошло до императрицы. Скоро после того узнал он, что граф Безбородко объявил Сенату словесное ее величества повеление, чтоб считать дело решенным; а найден ли он виновным, или нет, того не сказано, и приказано ему тогда же явиться ко двору. Статс-

секретарь Александр Васильевич Храповицкий объявил ему высочайшее благоволение, что она автора «Фелицы» обвинить не может, а гоф-маршалу, чтоб представлен он был ее величеству. Удостоясь соблаговолением лобызать руку монархини и отобедав с нею за одним столом в Царском Селе, возвращаясь в Петербург, размышлял он сам в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе или не в службе? А потому и решился еще писать к императрице и действительно то исполнил, изобразя в письме своем объявление Храповицким о невинности его и благодарение за правосудие, прося (не из корыстолюбия, но чтоб в правительстве известно было его оправдание), по указу 1726 г., оставленного у него заслуженного жалованья и чтоб впредь до определения к должности производить; а также просил у ее величества аудиенции для личного с нею объяснения по делам губернии.

Дня через два или три получил чрез г. Храповицкого повеление в наступающую среду быть в 9 часов в Царское Село для представления ее величеству. И действительно, в назначенный день и час явился. <...> Коль скоро я в кабинет вошел, то, пожаловав поцеловать руку, спросила, какую я имею до нее нужду. Державин отвечал: благодарить за правосудие и объясниться по делам губернии. <...> «Хорошо, — изволила возразить императрица, — но не имеете ли вы чего в нраве вашем, что ни с кем не уживаетесь?» — «Я не знаю, государыня, — сказал смело Державин, — имею ли какую строптивость в нраве моем, но только то могу сказать, что, зная, я умею повиноваться законам, когда, будучи бедный дворянин и без всякого покровительства, дослужился до такого чина, что мне вверялися в управление губернии, в которых на меня ни от кого жалоб не было». <...> Между тем, пожаловав руку, дополнила, что она прикажет удовлетворить его жалованьем и даст место. На другой день в самом деле вышел указ, которым велено Державину выдать заслуженное жалованье и впредь производить до определения к месту. <...> Сие продолжалось несколько месяцев и, хотя по воскресеньям приезжал он ко двору, но как не было у него никакого предстателя, который бы напомнил императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным. <...> Не осталось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Вследствие чего написал он оду «Изображение Фелицы» и к 22-му числу сентября, то есть ко дню коронации императрицы, передал чрез Эмина, который в Олонецкой губернии был при нем экзекутором. <...> Государыня, прочетши оную, приказала <...> на другой день пригласить автора к нему <Зубову> ужинать и всегда принимать его в свою беседу. Это было в 1788 г. С тех пор он



сему царедворцу стал знаком, но, кроме ласкового обращения, никакой от него себе помощи не видал. <...>

Княгиня Дашкова по старому знакомству чрез первую оду «Фелице», напечатанную в «Собеседнике», так же автора, как и прежде, благосклонно принимала и говорила императрице много о нем хорошего, твердя беспрестанно с похвалою о вновь сочиненной им оде «Изображение Фелицы», чем вперила ей мысли взять его к себе в статс-секретари или, лучше, для описания ее славного царствования. Сия княгиня Державину и многим своим знакомым, по склонности ее к велеречию и тщеславию, что она много может у императрицы, сама рассказывала. Такое хвастовство не могло не дойти до двора и было, может, причиною, что Державин более двух годов еще после того не был принят в службу, а особливо на рекомендованный пост княгинею Дашковою. <...>

В ноябре или декабре месяце сего года взят Измаил. С известием сим фельдмаршал князь Потемкин прислал ко двору <...> Валериана Александровича Зубова. <...> В самое то время случился в комнатах фаворита и Державин. Он, в первом восторге о сей победе, дал слово радостному вестнику написать оду, которую и написал под названием «На взятие Измаила». <...> Ода сия не токмо императрице, ее любимцу, но и всем понравилась; следствием сего было то, что он получил в подарок от государыни богатую осыпанную бриллиантами табакерку и был принимаем при дворе еще милостивее. Государыня, увидев его при дворе в первый раз по напечатании сего сочинения, подошла к нему и с усмешкою сказала: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна». <...>

Должно справедливость отдать князю Потемкину, что он имел весьма сердце доброе и был человек отлично великодушный. Шутки в оде «Фелице» на счет вельмож, а более на его вмещенные, которые императрица, заметя карандашом, разослала в печатных экземплярах по приличию к каждому, его нимало не тронули или, по крайней мере, не обнаружили его гневных душевных расположений, не так, как прочих господ, которые за то сочинителя возненавидели и злобно гнали; но, напротив того, он оказал ему доброхотство и желал, как кажется, всем сердцем благодетельствовать <...> Вопреки тому, по отъезде князя в армию, любимец императрицы граф Зубов, хотя беспрестанно ласкал автора и со дня на день манил и питал в нем надежду получить какое-либо место, но чрез все лето ничего не вышло, хотя нередко открывал он ему тесные свои обстоятельства, что почти жить было нечем <...> Как бы то ни было, но только нося благово-

ление любимца императрицы, Державин шатался по площади, проживая в Петербурге без всякого дела. <...>

...наперсник государыни<sup>22</sup>, призвав Державина к себе, объявил ему, что императрица определяет его к себе для принятия прошений и, делая своим статс-секретарем, поручает ему наблюдение за сенатскими мемориями, чтоб он по них докладывал ей, когда усмотрит какое незаконное Сената решение. На другой день, то есть 12-го декабря 1791 г., и действительно состоялся указ. <...>

Но и сие продолжалось несколько только месяцев; стали сенаторы и обер-прокуроры роптать, что они под мундштуком Державина<sup>23</sup>. Государыня сама почувствовала, что она связала руки у высшего своего правительства, ибо резолюции Сената, в мемории вносимые, не есть еще действительные его решения или приговоры, ибо их несколько раз законы переменять дозволяли; а потому и сие императрица отменила, а приказала только про себя Державину замечать ошибки Сената, на случай, ежели к ней поднесется от него какой решительный доклад с важными погрешностями, как она особо прикажет подать ей замечания: тогда ей по ним докладывать. Таким образом сила Державина по сенатским делам, которой, может быть, ни один из статс-секретарей по сей установленной форме от императрицы ни прежде ни после не имел (ибо в ней соединялась власть генерал-прокурора и докладчика), тотчас умалилась <...>

Сначала императрица часто допускала Державина к себе с докладом и разговаривала о политических происшествиях, каковым хотел было он вести повседневную записку; но поелику дела у него были все роду неприятного, то есть прошения на неправоудие, награды за заслуги и милости по бедности; а блистательные политические, то есть о военных приобретениях, о постройке новых городов, о выгодах торговли и прочем, что ее увеселяли более делá у других статс-секретарей, то и стала его редко призывать, так что иногда он недели пред ней не был и потому журнал свой писать оставил; словом, приметно было, что душа ее более занята была военною славою и замыслами политическими, так что никогда не понимала она, что читано было ей в записках дел гражданских; но как имела необыкновенную остроту разума и великий навык, то тотчас спохватывалась и давала резолюции (по крайней мере иногда) не столь основательные, однако же сносные, как то: с кем-либо снестись, переписаться и тому подобные. Вырывались также иногда у нее внезапно речи, глубину души ее обнаруживавшие. Например: «Ежели б я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена б была Российскому скипетру». Или: «Я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы,

не усмирю гордость Китая и с Индией не осую торговлю». Или: «Кто дал, как не я, почувствовать французам право человека? Я теперь вяжу узелки, пусть их развяжут». Случалось, что заводила речь и о стихах докладчика, и неоднократно, так сказать, прашивала его, чтоб он писал вроде оды «Фелице». Он ей обещал и несколько раз принимался, запираясь по неделе дома; но ничего написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патриотическим славным подвигом <...>

...она царствовала политически, наблюдая свои выгоды или поблажая своим вельможам, дабы по маловажным проступкам или пристрастиям не раздражить их и против себя не поставить. Напротив того, кажется, была она милосердна и снисходительна к слабостям людским, избавляя их от пороков и угнетения сильных не всегда строгостью законов, но особым материнским о них попечанием, а особливо умела выигрывать сердца и ими управлять, как хотела. Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить, но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит: зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в исступлении сказал: «Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить; но вы против воли моей делаете из меня, что хотите». Она засмеялась и сказала: «Неужто это правда?» Умела также притворяться и обладать собою в совершенстве, а равно и снисходить слабостям людским и защищать бессильных от сильных людей. <...>

Подобными делами хотя угождал Державин императрице, но правдою своею часто наскучивал, и как она говорила пословицу: живи и жить давай другим, и так поступала, что он на рождение царицы Гремиславы Л. А. Нарышкину в оде сказал:

Но только не на счет другого;  
Всегда доволен будь своим,  
Не трогай ничего чужого.

<...> В 1794 г. января 1-го дня к сенаторскому достоинству дано ему место президентское коммерц-коллегии, пост для многих завидный и, кто хотел, нажиточный; но он по ревности своей или, в другом смысле сказать, по глупому честолюбию, думая, что императрица возвела его для его верности и некорыстолюбия, хотел отправлять

свое служение по видам польз государственных и законов...

<...> Июля 15-го числа 1794 г. скончалась у него первая жена. Не могли быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он января 31-го дня 1795 г. на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой. Он избрал ее так же, как и первую, не по богатству и не по каким-либо светским расчетам, но по уважению ее разума и добродетелей, которые узнал гораздо прежде, чем на ней женился, от обращения с сестрою ее Марьею Алексеевною и всем семейством отца ее, бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова, и зятьев ее, Николая Александровича Львова, графа Якова Федоровича Стейнбока и Василья Васильевича Капниста <...>, приятелей его. Причиною наиболее было сего союза следующее домашнее приключение. В одно время, сидя в приятельской беседе, первая супруга Державина и вторая, тогда бывшая девица Дьякова, разговорились между собою о счастливом супружестве. Державина сказала: ежели б она, г-жа Дьякова, вышла замуж за г. Дмитриева, который всякий день почти в доме Державина и коротко был знаком, то бы она не была несчастна. «Нет, — отвечала девица, — найдите мне такого жениха, каков ваш Гаврил Романович, то я пойду за него, и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись и начали другой разговор. Державин, ходя близ их, слышал отзыв о нем девицы, который так в уме его напечатлелся что, когда он овдовел и примыслил искать себе другую супругу, она всегда воображению его встречалась. Когда же прошло почти 6 месяцев после покойной и девица Дьякова с сестрою своею графинею Стейнбоковою из Ревеля приехала в Петербург, то он, по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение. Они его весьма ласково приняли; он их звал, когда им вздумается, к себе обедать. Но поселившаяся в сердце искра любви стала разгораться, и он не мог далее отлагать, чтоб не начать самым делом предпринятого им намерения, хотя многие богатые и знатные невесты — вдовы и девицы — оказывали желание с ним сблизиться; но он позабыл всех, и вследствие того на другой день, как у них был, послал записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Сим он думал дать разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, к которой записка была надписана. Она с улыбкою ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состоит воле. Итак, они у него обедали; но о любви или, про-

стее сказать, о сватовстве никакой речи не было. — На другой или на третий день поутру, зайдя посетить их и нашед случай с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении, и как не было между ними никакой пылкой страсти, ибо жениху было более 50-ти, а невесте около 30-ти лет, то и соединение их долженствовало основываться более на дружестве и благопристойной жизни, нежели на нежном страстном сопряжении. Вследствие чего отвечала она, что она принимает за честь себе его намерение, но подумает, можно ли решиться в рассуждении прожитка; а он объявил ей свое состояние, обещав прислать приходные и расходные свои книги, из коих бы усмотрела, может ли она содержать дом сообразно с чином и летами. Книги у ней пробыли недели две, и она ничего не говорила. Наконец, сказала, что она согласна вступить с ним в супружество. Таким образом совокупил свою судьбу с сей добродетельной и умной девицею, хотя не пламенную романическую любовью, но благоразумием, уважением друг друга и крепким союзом дружбы. <...>

По желанию императрицы, как выше сказано, чтоб Державин продолжал писать в честь ее более в роде «Фелицы», хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оно сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспрестанно раздражали: не мог он воспламенить так своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз он ни принимался, сидя по неделе для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен: все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства. <...>

## ОТДЕЛЕНИЕ VII

### ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА

Ноября 6-го дня 1796 г., поутру часу в 11-м, получил Державин сведение от служившего при Кабинете надворного советника, бывшего прежде при нем секретарем Маклакова, что государыня занемогла <...>, и как это иногда случалось, то и уважения большого сия неприятная видимость не имела; но после обеда, часу в 6-м, уведомился от товарища своего, сенатора Семена Александровича Неплюева, что она отыде сего света; то поехали они во дворец и нашли ее уже среди спальни лежащую, покрытую белою простынею. Державин, имев вход в внутренние чертоги, вошел туда и, облобызав по обычаю тело, простился с нею с пролитием источников слез. Вскоре

приехал сын ее, наследник, или новый император, Павел. Тотчас во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом. Но описывать в подробности всех происшествий, тогда случившихся, было бы здесь излишне, ибо они принадлежат до государственной истории, а не до частной жизни Державина. <...>

В начале царствования императора Павла генерал-прокурор князь Куракин выпросил себе и многим своим приятелям великое количество на выбор лучших казенных земель, которые у казенных поселян, лишние сверх 8-ми десятин, отбирали даже под огородами, не токмо под пашнями, а те, кому они были отданы, продавали тем же самым поселянам рублей по 300 и по 500 десятину и таким образом удовлетворяли ненасытную свою алчность. В то самое время, когда Державин чрез Лопухина просил на обмен себе земли 200 только четвертей на Званке из ямской противулежащей за Волховом дачи, у которых были излишние сверх 15-ти десятин, то и в том отказано. Когда князь Куракин и другие хищнически набили свои карманы, то будто из жалости и из состраданья, что у казенных крестьян мало земли, исходатайствовали указ, чтоб всех казенных крестьян наделить по 15-ти десятин на душу. И тогда пошло притеснение владельцев при решении дел, что начали отнимать не только примерные земли, но и писцовые, чтоб набрать недостаток в 15 десятин; а где смежности нет, тем додавать и в дальнем расстоянии. Видя все сие, Державин, присутствуя в межевом департаменте, нередко шумливал против генерал-прокуроров, князя Куракина и потом князя Лопухина, также и государственного казначея Васильева, что они так из пристрастия и корыстолюбия во зло употребляли щедроту государя; а как они сие ни во что не ставили, то сочинил он известную в 3-ей части его сочинений песню:

Что мне, что мне суетиться,  
Вьючить бремя должностей,  
Если свет за то бранится,  
Что иду прямой стезей?  
Пусть другие работают,  
Много умных есть господ:  
И себя не забывают,  
И царям сулят доход.

Распустил по городу, желая, чтоб она дошла до государя и чтоб его спросили, на чей счет она писана: тогда бы и сказал он всю правду; но как они боялись до сего довести государя, чем бы открыться могли все их пакости, то и терпели, тайно злобясь, делая между тем на его

счет неприятные императору внушения. Вследствие чего в одно воскресенье, проходя он в церковь, между собравшимися в проходной зале увидев Державина, с яростным взором, по обыкновению его, раздув ноздри, так фыркнул, что многие то заметили и думали, что, верно, отошлет Державина в ссылку или, по крайней мере, вышлет из города в деревню; но Державин, надеясь на свою невинность, пошел, будто ничего не приметя, в церковь, помолился богу и дал себе обещание в хвалу божию выпросить к своему гербу надпись: «Силою вышнюю держусь», что на другой день и исполнил, подав в герольдию прошение, в котором просил себе написания грамоты с прибавлением вышесказанного девиза, потому что в гербе его изображена рука, держащая звезду, а как звезды держатся вышнюю силою, то и смысл такого девиза был ему очень приличен, что он никакой другой подпоры не имел, кроме одного бога; императору же могло быть сие не противно, потому что силу вышнего, по самолюбию своему, почитал он в себе. Герольдия поднесла доклад и с сим девизом герб Державина подтвержден. <...>

## ОТДЕЛЕНИЕ VIII

### ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

...на 12-е марта 1801 г. император Александр вступил на престол Всероссийской империи. Первый манифест его был о вступлении на престол, в котором торжественно обещано, что царствовать будет по закону и по сердцу Екатерины. <...>

В дни царствования своего император Александр восстановил Дворянскую грамоту<sup>24</sup>, нарушенную отцом его; совершенно уничтожил тайную канцелярию, даже велел не упоминать ее названия, а производить секретные дела в обыкновенных публичных присутственных местах и присылать на обревизование в первый Сената департамент.

<...> В начале октября месяца 1803 г., в одно воскресенье, против обыкновения, государь его не принял с докладами, приказав сказать, что ему недосуг, хотя и был у развода. В понедельник прислал к нему письмо или рескрипт, в котором, хотя оказывает удовольствие ему за отправление его должности, но тут же говорит, чтоб отнять неудовольствие, доходящее к нему на несправность его канцелярии, просит очистить пост министра юстиции, а остаться только в Сенате и Совете присутствующим. Державин не знал, что подумать и чем по должности мог он прослужиться, отправляя оную со всем своим усердием, честностию, всевозможным прилежанием

и бескорыстием; но рассудя, что у монархов таковыми качествами или добродетелями найти совершенного благоволения не можно, написал ему письмо, в котором напомянул с лишком 40-летнюю ревностную службу и то, что он при бабке его и при родителе всегда был недоброхотами за правду и истинную к ним приверженность притесняем и даже подвергаем под суд, но, по непорочности, оправдыван и получал большее возвышение и доверенность, так что удостоен был и приближением к их престолу; что и ему служа, шел по той же стезе правды и законов, несмотря ни на какие сильные лица и противные против его партии; <...> заключил, что ежели такой юстиц-министр, который следует законам и справедливости, не угоден, то чтоб отпустил его с честью; <...> ибо он не признает себя виновным или прослужившимся. <...> Он отвечал ему также запиской, что он может к нему приехать на другой день, то есть в четверг, в обыкновенное докладное время, то есть в 10-м часу поутру, что и было исполнено. Тут было пространное и довольно горячее объяснение со стороны Державина, в котором он спрашивал его, в чем он пред ним прослужился. Он ничего не мог сказать к обвинению его, как только: «Ты очень ревностно служишь». — «А как так, государь, — отвечал Державин, — то я иначе служить не могу. Простите». — «Оставайся в Совете и Сенате». — «Мне нечего там делать». — «Но подайте же просьбу, — подтвердил государь, — о увольнении вас от должности юстиц-министра». — «Исполню повеление». Тут выпросил он многим подкомандующим своим чины и другие милости, расстался, а между тем, поколь он не подавал просьбы, то доводили до него чрез его ближних внушения, что ежели он пришлет уничижительное прошение о увольнении его от должности юстиц-министра, по ее трудности, и останется в Сенате и Совете, то оставлено будет ему все министерское жалованье, 16 000 рублей, и в вознаграждение за труды дастся Андреевская лента<sup>25</sup>. Но как он ценил истинные достоинства не по деньгам, не по лентам, а по доверенности государской и совестному разбирательству своих поступков, то когда лишился он первой, по самонаравию счастья или, лучше сказать, государя, которому служил он всей душою и сердцем, не щадя ни здоровья своего, ни трудов, и не может также упрекать себя в нарушении второй, то и не хотел принять предлагаемых выгод и награждений, а написал просто по форме просьбу, в которой весьма кратко сказал, чтоб государь его от службы своей уволил. Вследствие чего, на другой или третий день состоялся 8 октября 1803 г. в Сенат указ, коим он от службы вовсе уволен с пожалованьем ему 10 000 рублей ежегодного пансиона, который он и теперь получает. <...>



## ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ

(10.IX.1760—3.X.1837)



Биография И. И. Дмитриева (до 1823 г., когда мемуары обрываются) достаточно подробно рассказана им самим в предлагаемых читателю записках и дополнена многими любопытными штрихами в воспоминаниях его племянника Михаила Александровича, также включенных в сборник П. А. Вяземский как-то сказал: «Записки Дмитриева содержат много любопытного и на неурожае нашем питательны, но жаль, что он пишет их в мундире. По-настоящему должно приложить к ним словесные прибавления, заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном кругу». М. А. Дмитриев, как увидите, отчасти выполнил именно эту работу, добавив к воспоминаниям своего дядюшки колоритные записи бесед с ним. Так что нет необходимости повторяться. Остановимся только на последнем периоде жизни поэта, который провел он в Москве; на его взаимоотношениях с Пушкиным, важных не только сами по себе, но и как воплощение своего рода эстафеты литературных поколений; и, наконец, на оценке личности И. И. Дмитриева несколькими современниками.

...1 января 1796 г. получен был последний положенный в гвардии чин, и, хоть и не слишком признанный, но преданный музе поэт Иван Дмитриев запросился в отставку. Однако, пока он был в отпуске, в ноябре 1796 г. неожиданно скончалась императрица. Павел I, обуреваемый всевозможными подозрениями, прислушивался к доносам. Жертвой одного из них стал Иван Дмитриев (подробности об этом — в мемуарах М. А. Дмитриева). Нелепость обвинения выяснилась чуть ли не через сутки, Дмитриева освободили, привели к императору, и тот сразу же превратил гвардейского офицера в товарища (т. е. заместителя) министра уделов и обер-прокурора Сената. «Отсюда, — вспоминал Иван Иванович, — начинается ученичество мое в науке законоведения и знакомство с происками, эгоизмом, надменностью и раболепством двум

господствующим в наше время страстям: любостыжанию и честолюбию». Первая гражданская служба, к его счастью, продолжалась недолго: в самом конце века Дмитриев был уже в отставке. Почтенный отставной тайный советник, член Российской академии, он жил в Москве на покое (семьи он никогда не имел), сотрудничал в журнале «Вестник Европы» (1802—1803) и готовил к изданию собственные сочинения: басни, сказки, сатиры (наиболее известная — «Чужой толк», 1794), песни. Сочинений набралось на целых три тома. В числе их были и весьма популярные. Например, сказка «Модная жена» с таким вот главным героем:

Пролаз в течение полвека  
Все полз, да полз, да бил челом,  
И, наконец, таким невинным ремеслом  
Дополз до степени известна человека,  
То есть стал с именем, — я говорю ведь так,  
Как говорится в свете:  
То есть стал ездить он шестеркою в карете.

В 1791 г. Н. М. Карамзин писал ему: «Скажу тебе приятную весть (приятную, говорю, думая, что ты вместе со всеми Евниными чадами имеешь самолюбие и любишь, когда тебя хвалят): «Модная жена» очень понравилась нашей московской публике».

Патриотические стихи Дмитриева, в лучших образцах, есть все основания причислить к той поэзии XVIII в., которая подготовила расцвет русской литературы в начале века XIX и предопределила появление Жуковского. В 1794 г. говорил он о том, что при опасности, угрожающей России,

...двинется полсвета —  
различный образ и язык:  
Тавридец, чтитель Магомета,  
Поклонник идолов калмык\*,  
Башкирец с меткими стрелами,  
С булатной саблею черкес  
Ударят с шумом вслед за нами  
И прах поднимут до небес

Басни Дмитриева, которые впоследствии скептически оценивал Пушкин, не ставя их ни в какое сравнение с крыловскими, пользовались, между тем, в свое время некоторой известностью. Скажем, «Муха» (1805)

Бык с плугом на покой тащился по трудах,  
А Муха у него сидела на рогах,  
И Муху же они дорогой повстречали.

---

\* Давно замечено сходство со строкой пушкинского «Памятника»: «... и друг степей калмык». Здесь ведь и рифма та же.

«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.  
А та, поднявши нос,  
В ответ ей говорит: «Откуда? — Мы пахали!»

Сам автор басен считал себя лишь скромным подражателем великому Лафонтену, говоря:

Сердися Лафонтен иль нет,  
А я с ним не могу расстаться,  
Что делать? Виноват, свое на ум нейдет,  
Так за чужое приниматься.

Можно полагать, что в подражательстве Лафонтену Дмитриев преуспел. Во всяком случае, Вяземский считает, что у нас «до него не умели ни хвалить тонко, ни насмеяться остроумно» и называет его «российским Лафонтеном».

Несколько знаменитых в былые дни песен Дмитриева нет-нет да и прозвучат даже и в наши времена. Особенно эта, названная по первой строке:

Стонет сизый голубочек,  
Стонет он и день и ночь;  
Миленький его дружок  
Отлетел надолго прочь.

Он уж боле не воркует  
И пшенички не клюет:  
Всё тоскует, всё тоскует  
И тихонько слезы льет.

С нежной ветки на другую  
Перепархивает он  
И подружку дорогую  
Ждет к себе со всех сторон и т. д.

Считается, что Дмитриев был поэтом школы Карамзина. Столь же правомерно, по-видимому, считать его учеником Державина. Как бы то ни было, свою скромную, но доселе не забытую роль в литературе Иван Иванович Дмитриев сыграл. Даже такой явный представитель «новой» литературы, как А. А. Бестужев, признавал в обзоре «Взгляд на новую и старую словесность»: рядом с Державиным «в роде легкой поэзии возник Дмитриев и обратил на себя внимание всех. Игривым словом, острою ума и чистотою отделки он снискал себе имя образцового поэта». Вяземский же, автор объемистого «Известия о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» (1823), подчеркивал, что произведения его «исполнены огня любви к отечеству» и далее писал: «Желательно, чтобы данный им пример почерпать вдохновение поэтическое в источнике истории народной имел более продолжателей».

Однако следует сразу же сказать, что подавляющая часть его произведений написана в 1790-х годах и в самом начале XIX века. Примерно с 1805—1806 г. Дмитриев-поэт замолчал; правда, суждено было еще родиться Дмитриеву-мемуаристу, но поэт как бы остался в XVIII веке. Это одно из интересных и довольно редких явлений в нашей литературе. Как бы то ни было, Иван Иванович Дмитриев, переживший Пушкина, взирал на пушкинский период отечественной словесности словно из прошлого. В послании к Державину он поэтически истолковал свое молчание так:

Я не в отчизне, в Москве обитаю,  
В жилище сует.  
Тщетно поэту искать вдохновений  
Тамо, где враны глушат соловьев.

...Итак, Иван Иванович обосновался не в родном имении, а в Москве, в деревянном домике с садом, вблизи Красных ворот, в том же самом приходе Харитония в Огородниках, где было одно из пристанищ кочевавшего по городу Сергея Львовича Пушкина с семейством. В то время Дмитриев не только горячо интересовался литературой, но и сам еще не всегда «бежал пера». Однако сочинительством занимался не столь рьяно, как прежде. «Почти все мои стихотворения, — вспоминал Иван Иванович, — писаны в продолжение моей гвардейской службы, между строев и караулов, или в коротком промежутке между первой отставкою из гражданской службы и вступлением опять в оную».

«Отличные способности и нелицеприятное служение» Дмитриева, как тогда говорилось, не были забыты и с 1806 г. его снова призвали к делам государственным. Сначала он оставался в Москве, выполняя сенаторские обязанности и личные поручения Александра I. По-видимому, делал это с успехом, потому что вскоре был призван ко двору, заняв высокую должность министра юстиции.

В министерстве занимал Дмитриев позицию скорее прогрессивную — патриотические взгляды, высказанные им в стихах, не разошлись с практическими делами. П. А. Вяземский восхищался некоторыми его акциями на министерском посту: «Между прочими законодательными постановлениями, последовавшими во время управления его министерством юстиции, замечателен по государственной важности указ, в силу коего запрещалось личным дворянам приобретать крестьян и дворовых людей. Благонамеренные люди с признательностью и радостью увидели в сем благонамеренном распоряжении правительства отсечение одной из областей бедственного злоупотребления

и надежду на совершенное искоренение зла». По правде сказать, к «благонамеренным» людям Вяземский причисляет здесь потомственных дворян, чье положение дмитриевским указом укреплялось. Но, как бы то ни было, усилия Дмитриева на министерском посту воспринимались многими — и справедливо — как оппозиция аракчеевщине. Однако, как известно, Александр I противников временщика даже выслушивать не хотел. Потерпев неудачу в попытке учредить училище законоведения для детей мещанского и купеческого звания, Дмитриев вскоре вновь затосковал о потерянной им свободе «московского жителя на покое» и ушел в отставку — на сей раз окончательно. Это произошло в 1814 г. Сам он рассказывал: «С 1812 года министры юстиции и внутренних дел лишились прежнего преимущества иметь два раза в неделю личный доклад государю. Все дела их поступали в Комитет министров, а оттуда в Государственную канцелярию, которой управлял гр. Аракчеев. С того времени он вошел в большую силу; за исключением дипломатической и военной части, влияние его простиралось на все дела, не только светские, но и духовные, словом, он сделался почти первым министром, не имея на себе ответственности оного». «Мне легче было, — признается Иван Иванович, — расстаться со своим местом, чем занимать оное с потерянными правами своими и возможности быть вполне полезным». Так он и поступил, снова поспешив в Москву, чтобы осесть в ней навсегда.

\* \* \*

Все-таки сперва на покой его не отпустили, поручив в 1816 г. важную должность Председателя Комиссии для пособия жителям Москвы, потерпевшим от неприятеля и пожара 1812 г. (между прочим, сгорел и его деревянный домик у Харитония). Комиссия рассмотрела 20 тысяч прошений и помогла 15 тысячам просителей.

Для собственного строительства Дмитриев купил «погорелое место» на Спиридоньевской улице, где по проекту архитектора А. Л. Витберга построил дом и насадил сад. Здесь, в последнем своем пристанище, он прожил 23 года, став прямо-таки достопримечательностью Москвы. Вяземский посвятил этому гостеприимному дому (и хозяину, конечно) длинные стихи. Приведем выдержку:

Я помню этот дом, я помню этот сад:

Хозяин их всегда гостям был рад,

И ждали каждого с радушьем теплой встречи

Улыбка светлая и прелесть умной речи.

Он в свете был министр, а у себя поэт,

Отрекшийся от всех соблазнов и сует

. . . . .

Как много вечеров, без светских развлечений,  
Но полных прелести и мудрых поучений,  
Здесь с старцем я провел; его живой рассказ  
Ушам был музыка и живопись для глаз.

Высокого роста, с важной осанкой и походкой, говорил он протяжно, изъясняясь старомодно и красноречиво, и запоминался каждому, кому доводилось его повстречать\*.

Так и жил он в окружении старых друзей, не столь уж многих, библиотеки (огромной) и своего любимого сада. В записках его читаем мудрые слова: «для меня дороги и места, напоминающие мне о прежней моей жизни, о прежних моих знакомых. Теперь нам нельзя забывать их вновь. Со старыми знакомыми я молод, как прежде был, и смеюсь, когда хочу, и совру, когда хочется соврать,—с новыми я соблюдаю какую-то смешную важность, чинюсь». «Любил он немногих,—вспоминал Ф. Ф. Вигель,—зато любил их горячо; прочим всегда желал он добра—чего еще требовать от человеческого сердца». Часто бывавший у него историк и писатель М. П. Погодин рассказывал: «В доме у него собирались все литераторы. Приезжие из Петербурга считали обязанностью засвидетельствовать ему свое почтение. Он был очень гостеприимен. Молодые люди, показавшие расположение к словесности, имели к нему доступ и находили покровительство».

Несколько слов стоит особо сказать о его библиотеке. Книги любил, можно сказать, с малолетства. «Прадедушка мой, дедушка, батюшка—все были охотники до чтения и от всех остались собрания книг»,—писал он. Собирал библиотеку Иван Иванович еще в Симбирске и Сызрани, а уж в Петербурге всё, что оставалось от жалованья, тратил на книги. Гонорары за свои сочинения просил книгопродавцев уплачивать ему книгами. Так что, ко второму московскому житию собралась у него библиотека отменная—русская и французская. Лучше всего была в ней представлена история словесности, а также мемуары разных времен. После смерти двоюродного брата, образованнейшего книжника Платона Петровича Бекетова Дмитриеву досталась коллекция книг, напечатанных в зна-

---

\* Есть предположение, что строки Пушкина в VIII гл. «Евгения Онегина» относятся к Дмитриеву:

Тут был в душистых седилах  
Старик по-старому шутивший:  
Отменно тонко и умно,  
Что нынче несколько смешно.

менитой бекетовской типографии в единственных экземплярах на особой бумаге, в красных марокеновых переплетах, с золотыми обрезами. Гордился Иван Иванович книгами с автографами, подаренными ему Н. М. Карамзиным, Н. И. Гнедичем, В. Л. и А. С. Пушкиными, К. Н. Батюшковым, В. А. Жуковским, Е. А. Баратынским и многими другими писателями. Кроме книг собрал Иван Иванович еще и коллекцию эстампов — одну из лучших в России.

В 1812 г., во время нашествия французов, Иван Иванович обращался из Петербурга к Карамзину с единственной просьбой: не имущество его московское сохранить, а только библиотеку. Вывести книги Карамзин не успел — он лишь распорядился перенести их из дома в каменный сарай, крытый железом. Мера оказалась своевременная: часть книг уцелела. Обговаривая с Витбергом проект дома на Спиридоньевской, Иван Иванович предусмотрел особые комнаты для библиотеки (11×8 аршин) и для художественной коллекции (7×8 аршин). Допускал хозяин в библиотеку охотно, однако книг на дом не давал, опасаясь за их судьбу. За сохранностью библиотеки бдительно следил верный слуга Дмитриева Николай. Один из посетителей библиотеки и «эстампной», восхитившись аристократически тонким убранством, воскликнул: «Я в Греции, в Афинах! Я — в доме Перикла и Платона!»

После кончины Дмитриева библиотека его была поделена между наследниками. Племяннику Михаилу Александровичу досталась самая лучшая и ценная часть, в том числе экземпляры с автографами. Это оказалось удачей для нашей культуры: после М. А. Дмитриева эта часть книжного собрания поэта поступила в Московский университет, где и поныне бережно хранится в виде самостоятельной коллекции.

\* \* \*

Та страница в истории отечественных литературных отношений, на которой соседствуют имена Дмитриева и Пушкина, весьма интересна. Пушкин, конечно, помнил Ивана Ивановича с детства — тот бывал в доме его отца и дядюшки-поэта; случалось Дмитриеву присутствовать и на лицейских торжественных актах. Да и разбор нескольких басен Дмитриева входил в лицейскую программу. Самые первые стихи молодого Пушкина высоко были оценены Дмитриевым, хотя при этом он предположил, что новое дарование, как бы оно ни расцвело, «не затмит Вяземского». Вспоминая о своих первых опытах, Пушкин в черновой строке «Онегина» заметил: «И Дмитриев не был наш хулитель»; в другом случае он с благо-

дарностью отозвался о похвалах Дмитриева своему «слабому дару».

В 1820 г., однако, произошел инцидент, уязвивший Пушкина, — Дмитриев скептически отнесся к «Руслану и Людмиле». Более тесные отношения между Дмитриевым и Пушкиным возникли в 1829 г., когда Пушкин, зная о дмитриевской коллекции автографов и желая сделать приятное старику, послал ему только что вышедшую «Полтаву». Польщенный Дмитриев отвечал церемонным письмом: «Всем сердцем благодарю вас, милостивый государь Александр Сергеевич, за бесценный для меня ваш подарок. Сей же час начинаю читать, уверенный, что при личном свидании буду благодарить вас еще больше. Обнимает вас преданный вам Дмитриев».

С весны 1830 г., бывая в Москве, Пушкин неизменно посещал дом на Спиридоньевской. История стала тогда едва ли не главной областью его интересов, а тут была живая память ушедших времен. В 1831 г. одному из первых был подарен Дмитриеву «Борис Годунов» с дружеской надписью. Переписка с тех пор вовсе лишается чопорности и церемонности. Восхитившись отрывками из «Моцарта и Сальери», напечатанными в «Северных цветах», Дмитриев в апреле 1832 г. написал Вяземскому: «Я не вытерпел прочитать еще раз «Моцарта и Сальери». По этому, говоря модным языком, созданию признаю я и мыслящий ум и поэтический талант Пушкина в мужественном полном созрении». Оценка весьма примечательная, если учесть, что Пушкин-драматург, равно как и Пушкин-прозаик, далеко не у всех находил понимание в 1830-х годах.

Весной 1833 г., сообщив Дмитриеву о своей работе над «Историей Пугачева», Пушкин обратился к нему с просьбой: «В «Исторических записках» (т. е. в мемуарах, которые Дмитриев завещал напечатать лишь после своей смерти, но о которых уже знал Пушкин. — В. К.) вы говорите о Пугачеве — и, как очевидец, описали его смерть. Могу ли я надеяться, что вы, милостивый государь, не откажетесь занять место между знаменитыми людьми, коих имена и свидетельства дадут цену моему труду, и позволите поместить собственные ваши строки в одном из любопытнейших эпизодов царствования Великой Екатерины». Соответствующие страницы воспоминаний были тотчас пересланы Пушкину и полностью помещены им в примечаниях к «Истории Пугачева» с пометой «Из неизданных записок И. И. Дмитриева».

Дмитриев долго не мог дожидаться экземпляра «Истории Пугачева» с авторской надписью и просил общих знакомых дружески попенять Пушкину. В ответ он получил следующее письмо от 14 февраля 1835 г. Сейчас



мы приведем его текст, отметив только прежде, что именно в этом письме проявилось истинное отношение Пушкина к Дмитриеву, как к «полномочному представителю» XVIII века русской литературы в веке XIX. «Спешу оправдаться, — писал Пушкин, — я до сих пор не доставил вам своей дани, потому что поминутно поджидал портрет Емельяна Ивановича, который гравировается в Париже \*. Я хотел поднести вам книгу свою во всей исправности. Не исполнить того было бы с моей стороны не только скупостью, но и неблагодарностью: хроника моя обязана вам яркой и живой страницей, за которую много будет мне прощено самыми строгими читателями». И далее самое главное — о прошлом и нынешнем литературы: «Вы смеетесь над нашим поколением и, конечно, имеете на то полное право. Не стану заступаться за историков и стихотворцев моего времени; те и другие имели в старину, первые менее шарлатанства и более учености и трудолюбия, вторые более искренности и душевной теплоты». Конечно, здесь не обошлось без лести старому поэту, но очень тонкой и ни на каких расчетах не основанной.

Получив книгу, Дмитриев отвечал Пушкину: «Наконец и моя русская библиотека красуется новым плодом любимого нашего автора! Сердечно благодарю вас за приятный гостинец и за ваше церемонное, но не меньше обязательное подписание \*\*. Сочинение ваше подвергалось и здесь разным толкам, довольно смешным, но никогда дельным: одни дивились, как вы смели напоминать о том, что некогда велено было предать забвению, — нужды нет, что осталась бы прореха в русской истории; другие, и, к сожалению, большая часть лживых романтиков, желали бы, чтоб «История» ваша и в расположении и в слоге изуродована была всеми припасами смирдинской школы и чтоб была гораздо погрузнее...»

Исторические взгляды Дмитриева, не признававшего прорех и умолчаний в истории пришлось как нельзя более по душе Пушкину, со всех сторон слышавшему нападки на «Пугачева», либо ощущавшему вежливое отсутствие интереса к этому сочинению. Он отвечал: «Милостивый государь Иван Иванович, приношу искреннюю мою благодарность за ласковое слово и за утешительное ободрение моему историческому отрывку. Его побранивают, и поделом: я писал его для себя, не думая, чтоб мог на-

---

\* Конечно, Пушкин был знаком с коллекцией эстампов, собранной Дмитриевым. Этим и объясняется нежелание отправлять книгу без гравюры.

\*\* Текст пушкинской надписи: «Его превосходительству милостивому государю Ивану Ивановичу Дмитриеву от Автора в знак глубочайшего почтения, преданности и благодарности».

печатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания...»

Они еще обменялись письмами в связи с кончиной матери Пушкина, а также с выходом «Современника» (который Дмитриев оценил очень высоко), а затем случилось то, чего никак не мог ожидать старый поэт. Когда выбирали, кто из москвичей может решиться сообщить ужасную весть отцу Пушкина, называлось и имя Дмитриева...

\* \* \*

Иван Иванович не прожил и года после гибели Пушкина. Многих сверстников и младших себя проводил он в последний путь, часто повторяя: «Пришлось доживать сиротою». В последний день жизни он вышел в сад, сказав: «Если я не посажу всех тополей сегодня, то, может быть, уже не удастся это сделать». Схоронили его несколько литераторов и слуга на кладбище Донского монастыря. Московский старожил А. Я. Булгаков написал Вяземскому после кончины Дмитриева: «В Москве как будто не станет Ивана Великого, Кузнецкого моста или Арбатских ворот — так велика привычка видеть Дмитриева в древней столице». В некрологе, написанном Петром Александровичем Плетневым, отмечалось: «Он был еще между нами, живой памятник прекрасного века, с которого мы начинаем новую нашу литературу. В его присутствии была потребность сердечная, подобная той, которую чувствуют дети в долголетьи родителей. Не охладев душою до конца жизни своей к умственным занятиям, которые озарили славою лучшие годы его, он был советником, другом и судиею нашим в литературе».

\* \* \*

В качестве эпилога к беглым заметкам об одной из ярких фигур русской литературы и истории XVIII столетия хотелось бы пересказать один эпизод. В середине 1950-х годов в городе Грозном энтузиасты-краеведы обнаружили неведомо как попавший туда альбом\*. Вскоре выяснилось, что принадлежал он Ивану Ивановичу Дмитриеву. Вроде бы немудреные записки там отыскились, но в них — неповторимый аромат давно, казалось бы, ушедших, а на самом деле никогда не покидающих нас времен. Приведем два документа. Скажем, трогательная се-

\* Публикацию об этом см. журнал «Дон», 1957, № 6.

мейная реликвия—последнее письмо матери Дмитриева: «Милый мой друг Иван Иванович! Благодарю вас за письмо. О себе скажу—я, слава богу, брожу. Прости, мой друг. Заочно тебя целую, буди над тобой божья милость и мое благословение. Мать ваша Катерина Дмитриева». Рядом помета сына: «Написано перед кончиною, последовавшею 28 мая 1813 года». А вот совсем иное письмо, вклеенное в альбом—рука знаменитой французской писательницы мадам де Сталь (1812): «Сударь! Вы найдете естественным, что я пожелала узнать в министре юстиции переводчика Лафонтена и самого просвещенного друга французской литературы—я надеюсь, что это письмо послужит мне рекомендацией к вашему превосходительству, и я имею честь засвидетельствовать вам мое горячее почтение. Неккер, баронесса де Сталь Гольдштейн»... Записи Дениса Давыдова, Вяземского, Александра Ивановича Тургенева, собственноручно вписанные стихи Жуковского...

Неразрывная цепь времен ощущается в этом альбоме, как и в мемуарах, письмах, иных документах—достоверных свидетелях былого.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений. Вступ. статья, подготовка текста и прим. Г. П. Макогоненко.— Л., 1967. (Библиотека поэта. Большая серия).

Макогоненко Г. П. Пушкин и Дмитриев.— Русская литература, 1964, № 4.

Нечаева Н. С. Иван Иванович Дмитриев.— В кн.: Русские писатели в Москве.— М., 1973.

Дмитриев И. И. Басни, сказки и сатирические стихи. Сост., вступ. статья и прим. В. Афанасьева.— М., 1981.

Дмитриев И. И. Сочинения. Сост. комм. А. М. Пескова и И. З. Сурат. Вступ. статья А. М. Пескова.— М., 1986.

## ВЗГЛЯД НА МОЮ ЖИЗНЬ

### ВВЕДЕНИЕ

Слишком шестидесяти лет я решился описать некоторые события, имевшие более или менее влияния на мою нравственность, на самое положение мое в обществе.

Может быть, со временем записки мои будут известны; может быть, некоторые из читателей моих обвинят меня в том, что я, скудный в делах и мыслях, по самолюбию моему мечтал равняться с значительными людьми, и подобно им, продлить о себе память.

Предупреждаю их, что совсем другие причины управляли пером моим: я и в молодых годах не бывал слишком рассеян. Вместо всedневных посещений театров, балов и многолюдных собраний любил более прогулки пешком и без товарища по загородным полям, по городским улицам, на площадях, где толпится народ; любил везде быть свободным невидимкою, или сидеть за книгою, иногда же проводить время в кругу двух-трех приятелей по мыслям и по сердцу.

Теперь уже и по самой необходимости стал еще более домоседом: ноги отказываются служить мне; глаза мои тоже; старые связи перевелись; новые заводить трудно и не прочно. Пришлось искать занятия в самом себе и доживать воспоминанием.

Итак, приступая к моим запискам, я хочу разделить их на три части: в первой брошу взгляд на мое детство и воспитание; сказав несколько слов об моем юношестве, пройду лучшую часть авторской моей жизни; упомяну об литераторах и поэтах, отличавшихся в то время на поприще нашей словесности. Исполню долг, приятнейший для благородного сердца, посвятив несколько строк и воспоминанию о тех, которые любили только меня со всеми моими недостатками, и поучительным примером нравственной жизни своей были мне благотворители. Во второй и третьей — опишу достопамятные для меня случаи в продолжении гражданского моего служения.

Москва

1823.

Июля 20 дня.

### КНИГА ПЕРВАЯ

Отчизна моя Симбирская губерния. Я родился в 1760 г., сентября десятого дня, в родовом нашем поместье селе Богородском, в двадцати пяти верстах от окружного города Сызрана. На осьмом году возраста от-

везен был родительницею моею в губернский город Казань к отцу ее, отставному полковнику Афанасью Алексеевичу Бекетову, и отдан в тот же пансион, в котором уже с год находился старший брат мой Александр, обучаться французскому языку, арифметике и рисованию.

В следующем году скончалась моя бабушка, которой мать была природная шведка. Дед мой решился несколько месяцев прожить в Симбирске, бывшем тогда еще провинциальным городом Казанской губернии, чтобы в горести своей иметь отраду быть вместе с моею матерью и одним из сыновей своих. Уговорили и учителя нашего перевести свой пансион туда же; но его существование там продолжалось не далее 1772 г.

Учитель мой г. Манжен, французский мещанин, застал в Симбирске другой пансион, заведенный Лорансею, бывшим французским офицером. Между обоими началось соперничество: ученики переходили от одного к другому. Кроткий Манжен, устав бороться с совместником, исполненным еще военного духа, закрыл свой пансион... <...>

Прибавлю к слову, что некогда у того же Манжена обучался в детских летах и Михайло Никитич Муравьев, когда отец его жил в Казани. Учитель наш истощался пред нами в похвалах образцовому своему ученику, с жаром рассказывал нам о его добронравии, прилежности к учению, об его редкой памяти, и я, бывши еще отроком, начал уважать будущего писателя.

Около года пробыл я без учителя. Потом отдан был в новый пансион к г. Кибриту <...> В этом пансионе обучался я с старшим братом языкам французскому и немецкому; русскому правописанию и слогу, истории, географии и математике. Признаюсь, что я до того времени считался в последнем классе самым тупым учеником. <...>

Кибрит был очень мил в обращении с нами: во время уроков часто давал нам отдыхать, позволяя предлагать ему вопросы; всегда охотно отвечал на них и сообщал между тем какие-либо полезные сведения; в детстве мы обыкновенно прельщаемся воинским нарядом: он объяснял нам обязанности чинов, рассказывал иногда военные анекдоты и знакомил нас с отличными того времени полководцами. Я любил и слушать его, и ему повиноваться. Никакой урок его не был мне в тягость. Особенно же я охотно занимался историческим, и сочинением писем по его темам. Хотя и стыдно мне было иногда слышать смех учителя и старших учеников, когда я прочитывал вслух сочиненную мною нелепость, но мысль, что я учусь сочинять, и надежда научиться писать лучше, успокаивали оскорбленное мое самолюбие.

Ученье мое и здесь недолго продолжалось. — Дошли до отца моего слухи, что умный и добрый Кибрит, которому тогда было 26 лет, платил дань слабостям своего возраста. Он испугался последствия худых примеров и взял нас из пансиона. Итак, на одиннадцатом году моей жизни прекратился решительно курс моего учения, когда я во французском языке не дошел еще до синтаксиса, а в немецком остановился на глаголах.

По выходе из пансиона я проживал при отце моем по несколько месяцев в деревне, в ста верстах от Симбирска, и пользовался свободой гораздо меньше, чем в пансионе. Отец мой заставлял меня с братом под строгим своим надзором повторять старые наши уроки. <...>

С переездом отца моего из деревни в Симбирск, он имел уже меньше досуга смотреть за нашим повторением старых уроков, а я более свободы читать все, что ни попадалось. У отца моего в гостиной всегда лежали на одном из ломберных столов переменные книги разных годов и различного содержания, начиная от Велизария, соч. Мармонтеля, до указов Екатерины Второй и Петра Великого. Даже и «Маргарит»<sup>1</sup> (поучительные слова) Иоанна Златоустого, Всемирная история Барония<sup>2</sup> и Острожская Библия стали мне известны еще в моем отрочестве, по крайней мере, по их названиям. Мне позволено было заглядывать в каждую книгу и читать, сколько хочу.

Последние два года моего отрочества протекли более в городе. Я уже находил удовольствие бывать чаще с моими родителями, особенно, когда у нас случались гости, и вслушиваться в их разговоры. С гордостью могу сказать, что я вырос и состарился под шумом отечественной славы. Находясь в Казани, еще семилетним мальчиком, я выбегал на нашу Сарскую улицу смотреть на проходящие отряды пленных польских конфедератов<sup>3</sup>. Уже тогда затвержены были мною имена Пулавских, Потоцких и проч. С переселением нашим в Симбирск началась война с Оттоманскою Портою<sup>4</sup>. Отец мой, получая при газетах реляции, всегда читывал их вслух посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, когда слушали мы реляцию о сожжении при Чесме турецкого флота<sup>5</sup>. У отца моего от восторга перерывался голос, а у меня наворачивались на глазах слезы.

Симбирские обыватели, сколько я могу судить по воспоминаниям, наслаждались тогда совершенною независимостью: от дворянина до простолюдина никто не нес другой повинности, кроме поставки в очередь свою бутылки, и по временам военного постоя. Последний мещанин или цеховой имел свой плодovitый при доме садик, на окне в бурачке<sup>6</sup> розовый бальзамин, и ничего не платил за лоскуток земли, доставшейся ему по купле или от пра-

деда. <...> Каждый имел свои связи — не от трусости, не из корыстных видов, а по выбору сердца. Таким образом жил и отец мой.

Почти ежедневное общество его состояло из трех коротких приятелей, умных, образованных и недавно покинувших столицу. Между ломбером <sup>7</sup>, любимую тогда игрою, и ужином оставалось еще довольно времени для разговоров. Я бывал, так сказать, весь внимание. Всякий вечер получал новые сведения; слушивал о бывшем итальянском театре Локателлия и Бельмонти: о иггранных на нем интермедиях и больших операх; о игре Дмитревского и Троепольской; часто воспоминаемы были анекдоты о соперничестве Ломоносова с Сумароковым, о шутках последнего на счет Тредьяковского; судили об их талантах и утешались надеждою, которую подавал тогда молодой Д. И. Фонвизин, уже обративший на себя внимание комедией «Бригадир» и «Словом по случаю выздоровления наследника Екатерины». Иногда разговор нечувствительно принимал тон важный: сетовали об участи Москвы, где свирепствовало моровое поветрие; судили об мерах, принимаемых против него светлейшим князем Орловым <sup>8</sup>, или с таинственным видом, вполголоса начинали говорить о политических происшествиях 1762 года <sup>9</sup>, от них же восходили до дней могущества принца Бирона, до превратности счастья вельмож того времени, до поразительного видения императрицы Анны <sup>10</sup> и пр. и пр. Таким образом, еще на двенадцатом году моей жизни я набирался сведениями для меня не бесполезными. Таким образом проходили наши тихие вечера, и ни отец мой, ни его собеседники не предчувствовали того, что они вскоре оставят мирных своих пенатов <sup>11</sup>, и вот по каким обстоятельствам.

Оренбургской губернии в казацком городке Яике, прозванном потом Уральском, появился донской казак, прозвищем Пугачев, под именем бывшего императора Петра Третьего. <...>

Все наше дворянство из городов и поместьев помчалось искать себе спасения: каждый скакал туда, где думал быть безопаснее. Так и отец мой со всем своим семейством отправился в Москву. <...>

Через несколько месяцев пребывания нашего в Москве прошли слухи, что губерния наша уже вне опасности. <...> Мать моя с меньшими детьми отправилась в отчизну, а отец наш с старшим братом моим и со мною остался в Петербург для явки в действительную службу. Теперь, к слову пришлось сказать, что мы, по тогдашнему обыкновению, еще в малолетстве, в 1772 г., записаны были в гвардии в Семеновский полк солдатами и уволены в отпук до совершенного возраста.

Итак, в первых днях мая 1774 г. мы уже находились посреди прекрасного Петербурга, но где не было ни одного нам родного дома. Из порядочного московского дома переселились в низменный солдатский домик, с платежом по рублю пятидесяти копеек на месяц. На другой день нашего новоселья явились мы с нашими паспортами к полковому майору Евгению Петровичу Кашкину, и по приказу его помещены были в полковую школу. В ней обучали только математике, рисованию и на русском языке священной истории и всеобщей географии. <...>

В конце года последовал мир с турками<sup>12</sup>. Императрица вознамерилась торжествовать его в древней столице. Гвардия получила повеление готовиться к походу, назначено было с каждого полка по одному батальону. Многие малолетки из нашей школы, в числе коих и я с братом, стали просить о причислении к походному батальону. Снисходительный начальник, желая доставить радость отцам и матерям, уволил всех нас в месячный отпуск с тем, чтобы мы по приходе батальона в Москву явились к адъютанту для дальнейшего об нас распоряжения.

Итак, мы опять в Москве и посреди родимого семейства. Но свидание мое с отцом было на короткое время: он отправился в Симбирск, а семейство еще осталось. Вторичный приезд наш в Москву был для нас как будто переходом из отроческого возраста в юношеский. <...>

В скором времени по прибытии нашем в Москву я увидел позорище, для всех чрезвычайное, для меня же и новое: смертную казнь. Жребий Пугачева решился. Он осужден на четвертование. Место казни было на так называемом Б о л о т е.

В целом городе, на улицах, в домах только и было речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей; но мать моя долго на то не соглашалась. По убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, чтоб мы ни на шаг от него не отходили.

Это происшествие так врезалось в память мою, что я надеюсь и теперь с возможною верною описать его, по крайней мере, как оно мне тогда представлялось.

В десятый день января 1775 г., в восемь или девять часов пополуночи, приехали мы на Болото; на середине его воздвигнут был эшафот, или лобное место, вокруг коего построены были пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине жестокого мороза. Тут же находился и обер-полицеймейстер Н. П. Архаров, окруженный своими чиновниками и ординарцами. На высоте, или помосте лобного места увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фронта все пространство Болота, или, лучше сказать, низ-



кой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоого пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. Вдруг все восколебалось и с шумом заговорило: «Везут, везут!» Вскоре появился отряд кирасир<sup>13</sup>, за ним необыкновенной величины сани, и в них сидел Пугачев; насупротив духовник его и еще какой-то чиновник, вероятно, секретарь тайной экспедиции. За санями следовал еще отряд конницы.

Пугачев, с непокрытою головою, кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил в лице его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные и небольшую бороду клыном.

Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и любимец его Перфильев в препровождении духовника и двух чиновников, едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово: «На караул», — и один из чиновников начал читать манифест; почти каждое слово до меня доходило.

При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» Он отвечал столь же громко: «Так, государь, я донской казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев». Потом, во все продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился; между тем сподвижник его Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота; читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знаменем несколько земных поклонов, обращаясь к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный; отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою; прости, народ православный!» — При сем слове эзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; стали раздевать рукава шелкового малинового полукафтання. Тогда он всплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же.

Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то, похожее на притворство, и сам осуждал себя: как скоро Пугачев готов был повалиться на плаху, брат мой отворотился, чтобы не видеть взмаха топора: чувствительное сердце его не могло выносить такого позорища. Я при-

творно показывал то же расположение; но между тем украдкою ловил каждое движение преступника. Что ж этому было причиною? Конечно, не жестокость моя; но единственно желание видеть, каковым бывает человек в столь решительную, ужасную минуту.

Вскоре после этого происшествия последовало торжественное вшествие в Москву победительницы внешних и внутренних врагов своих. С прибытием двора, день ото дня более стало прибывать иногороднего дворянства: роскошь удвоилась; промышленность усилила свою деятельность; в обществе начались непрерывные праздники, а при дворе приготовления к великолепному торжествованию славного мира с Оттоманскою Портою; но я не имел удовольствия быть зрителем народного пира на Ходынке, ни входа победителя и миротворца графа Румянцева-Задунайского в триумфальные ворота, нарочно для него устроенные. По крайней мере, не стыжусь и теперь с поэтическим участием повторить последнее двоестишие из послания, поднесенного на этот случай знаменитому полководцу столь несправедливо забытым ныне Петровым.

Вот как сильно и кратко изобразил поэт могущество Екатерины:

Речет, да гибнет враг: и сходит быстро месть!  
Да грянет гром: гремит! да будет мир: и есть.

Мать моя со всем семейством отправилась в отчизну, оставя меня с братом у родного нашего дяди Петра Афанасьевича Бекетова, в надежде перемены нашего звания. Ожидание наше было не долговременно: чрез ходатайство другого нашего дяди, сенатора Никиты Афанасьевича Бекетова подполковник наш граф Брюс произвел нас чрез чин прямо в фурыеры. Потом мы получили годовой отпуск и отправились в деревню к нашим родителям.

Закключаю тем первую книгу. Знаю, что она не удовлетворит любопытству тех важных особ, которые время первой молодости считают не иначе как давним сновидением, и стыдились бы сознаться, что об нем помнят; но я, касаясь первых двух возрастов моей жизни, имел только в виду товарищей моих на поприще словесности. Может быть, для них любопытно будет узнать, с каким запасом вышел я на одну с ними дорогу.

## КНИГА ВТОРАЯ

Можно бы пропустить несколько лет, проведенных мною в скучной унтер-офицерской службе между строев и караулов; но я уже предварил, что буду в записках моих

говорить и об авторской моей жизни; почему и приведет-ся иногда останавливаться на мелочах, пока буду описы-вать то время, когда я бродил еще ощупью, как слепец, по стезе, ведущей к познанию словесности и вкуса.

С <1>777 г. начались первые мои опыты в рифмован-нии, — мне совестно сказать: в поэзии. Не выдав еще ни од-ной книги о правилах стихосложения, не имел и понятия о метрах, о разнородных рифмах, о их сочетании, я выво-дил строки и оканчивал их рифмами: это были стихи мои. Первоначальные были большею частию сатирические. Все они брошены в огонь, коль скоро я узнал о их неправиль-ности. Одна только надпись, хотя и погребена во мраке неизвестности, но, к стыду моему, еще существует. Вот ее история.

Николай Иванович Новиков издавал в Петербурге еженедельник под названием «Ученые ведомости». В од-ном номере этих ведомостей предлагаемо было нашим поэ-там сочинить надписи к портретам некоторых из отлич-ных наших соотечественников; на первый же случай, к изо-бражению духовного оратора Феофана Прокоповича, остроумного князя Антиоха Кантемира, живописца Лосенко-ва, портретного гравера Чемезова. Едва я прочитал этот вызов, как вспыхнуло во мне дерзкое желание быть в чис-ле сподвижников. Журнальный листок принесен был ко мне в ту минуту, когда я отправлялся в трехдневный пол-ковой караул. Итак, положи листок в грудной карман, по-шел я с ружьем в руке на полковой двор и привел оттуда мою команду на так называемый Средний Пикет, постав-ленный позади полка в поле, где по летам бывало ученье, ротное и батальонное. Там, в низкой и тесной хижине, на-зывавшейся караульною, окруженной сугробами снега, в куче солдат, я надумывался, как бы мне выхвалить Кан-темира. Стихотворения его мне уже были известны; служ-ба его также из «Опыта исторического словаря о русских писателях» того же Новикова. Думал, думал и насилу до-кончил мою надпись. Настала другая забота: чтобы не за-быть ее до смены, ибо со мною не было ни карандаша, ни бумаги. Целый день я твердил ее; даже всю ночь терпел бессонницу. Наконец пришла смена: я бегу домой; тотчас пишу стихи мои четким почерком на хорошей бумаге и отправляю их при письме к издателю «Ученых ведомо-стей».

Через неделю я вижу надпись мою уже в печати. Прия-тель и сослуживец мой Н., живший со мною, поздравляет меня с успехом; так он заключал из отзыва издателя, со-стоявшего только в том, что он желает хороших у с п е х о в неизвестному сочинителю надписи. Самолюбие мое не по-мешало мне понять всю силу подчеркнутого слова; однако я остерегся выводить приятеля моего из заблуждения.

В продолжении времени один из моих сослуживцев изъяснил мне слегка правила поэзии, и я по совету его купил риторiku Ломоносова<sup>14</sup>. Через два года после того прочитал пиитику Андрея Байбакова<sup>15</sup>, бывшего потом епископом под именем Апполоса. Образцами моими были Сумароков и Херасков. Первый мне правился более своею легкостью и разнообразием; но впоследствии я уже предпочитал ему Хераскова, находя в стихах его более мыслей и стихотворных украшений. Но тем не менее Сумароков и поныне в глазах моих поэт необыкновенный, и как отказать ему в этом титуле? В то время, когда только и слышны были жалкие стихи Тредьяковского и Кирьяка Кондратовича, писанные силлабическим размером, чуждые вкуса и остроумия, несносные для слуха, без малейшего дара, когда и в самой Франции еще не было Фреронов, Клеманов, Мармонтелей и Лагарпов, когда еще никто не оценивал изящности в стихах Расина и Лафонтена, вдруг из среды юношей кадетского корпуса выходит на поприще Сумароков, и вскоре мы услышали новое благозвучие в родном языке, обрадовались игре остроумия, узнали оды, элегии, эпиграммы, комедии, трагедии и, несмотря на привычку к старине, на новость в формах, словах и оборотах, тотчас почувствовали превосходство молодого сподвижника над придворным пиитом Тредьяковским, и все прельстились его поэзией. Это истинно шаг исполинский! Это права одного гения!

Будем более справедливы и к Хераскову. Молодые наши словесники судят о его таланте по настоящему ходу общей литературы, забывая, что он писал за пятьдесят лет до них и образовал себя не в общенародных училищах, а самоучкою; что тогдашние наши поэты скудны были в образцах для подражания, менее знакомы с иностранною словесностию и не имели счастья пользоваться теми выгодами и наградами, какими поощряются ныне авторские таланты. Херасков, писавший «Россиаду» девять лет, награжден был за труд свой от императрицы Екатерины девятью тысячами рублей ходячею монетою, а молодой Пушкин за одну главу еще недоконченной стихотворной повести «Онегин» получил от русского книгопродавца пять тысяч ассигнациями по тогдашнему курсу. В зрелых летах Хераскова читали только просвещеннейшие из нашего дворянства, а ныне всех состояний: купцы, солдаты, холопы и даже торгующие пряниками и калачами. Ныне автор может во всю жизнь свою не обязываться никакою черствою службою, или и совсем не служить, всегда имеет досуг заниматься мечтами воображения и между тем получать чины и знаки отличия; но сколько еще и других, благороднейших побуждений? Он читает произведения свои в ученых обществах, при многочисленном стечении слуша-

телей обоего пола, вызывается на сцену и встречается общим рукоплесканием.

Между тем, следуя доброму примеру моего брата, я ознакомливался день ото дня более и с французским языком, уже стал понимать и французских поэтов; но, к сожалению моему, прилепился к ветреному Дорату и его товарищам. Брат мой всегда укорял меня им и журил за то, что я не прилежу к истории, особенно же к древней. В случае наших размолвок нередко называл меня невеждою или жалким рифмокропателем. Это прозвище было для меня столь оскорбительно, что я перестал показывать ему стихи мои. Несколько лет писал их, быв разделен с ним одною только перегородкою; рассылал в разные журналы, и брат мой не знал их автора. Не больше знали о том и короткие мои знакомцы, ибо я после неудачной моей надписи уже нигде не ставил моего имени.

Таким образом я стихотворствовал долгое время, не зная, что говорят по крайней мере словесники о стихах моих. Писать и видеть их в печати было для меня единственным возмездием, и я был тем доволен, даже счастлив! <...>

Чтоб не наскучить дальнейшим описанием мелких случаев, постараюсь скорее пробежать первую треть авторской моей жизни, или, лучше сказать, одно к ней приготовление. Между тем, повинувшись моему сердцу, не могу промолчать о двух моих знакомствах; они памятливы мне будут во всю жизнь мою. Но прежде, нежели начну говорить о первом, да позволено мне будет отступить назад несколькими годами.

В 1770 г., в провинциальном городе Симбирске, старший брат мой и я, десятилетний отрок, находились на свадебном пиру, под руководством нашего учителя г. Манжена. В толпе пирующих увидел я в первый раз пятилетнего мальчика в шелковом перувьевеневом камзолычке с рукавами, которого русская нянюшка подводила за руку к новобрачной и окружавшим ее барыням. Это был будущий наш историограф Карамзин. Отец его, симбирский помещик, отставной капитан Михайла Егорович, соединился тогда вторым браком с родною сестрою моего родителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе.

С того времени до зрелого моего возраста я не имел случая видеть его; знал только, что он в отрочестве своем обучаем был немецкому языку тамошним пятидесятилетним врачом, которого прозвище я позабыл, но очень помню, не потому, что он был с горбом, но по его привлекательной физиономии. Он говорил тихо; в глазах и на устах его обнаруживались кротость и человеколюбие. Я узнал и полюбил его по случаю болезни младшего брата моего, еще младенца, который от оспы несколько дней не мог

раскрывать глаз. Добрый старик думал утешить его, привозя к нему разные детские гостинцы, но эти вещи лишь более раздражали больного, потому что не мог их видеть. Тогда он обратился к другому средству: привез к нему свой маленький клавесин и в каждое посещение играл на нем разные штучки, сидя подле кровати младенца, желая тем сколько-нибудь развлекать его и успокаивать.

С приближением юношеского возраста Карамзин отправлен был в Москву и отдан в учебное заведение г. Шадена, одного из лучших профессоров Московского университета, где и находился до вступления в настоящую службу. По тогдашнему обыкновению, или злоупотреблению в гвардейских полках, он записан был так же, как и я, еще малолетним в Преображенский полк подпрапорщиком. С того времени началось наше знакомство, и вот каким образом.

Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, рассказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу и вижу румяного, миловидного юношу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от моего родителя.

Стоило только услышать имя Карамзина, как он уже был в моих объятиях; стоило нам сойтись два-три раза, как мы уже стали короткими знакомцами.

Едва ли не с год мы были почти неразлучными; склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах укрепляли связь нашу день ото дня более. <...>

По кончине отца своего он вышел в отставку поручиком и уехал на родину. Там однажды мы сошлись на короткое время: я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в обществе: опытным за вистовым столом, любезным в дамском кругу и оратором перед отцами семейств, которые, хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали. <...>

Но рассеянная светская жизнь его недолго продолжалась. Земляк же наш, покойный Иван Петрович Тургенев, уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву. Там он познакомил его с Николаем Ивановичем Новиковым, основателем или, по крайней мере, главною пружиною «Общества дружеского типографического»<sup>16</sup>. При слове об этом замечательном человеке нельзя оставить без замечания и лености или равнодушия наших авторов, особенно же издателей журналов. Никто из них не сказал ни слова по случаю его кончины, и мы даже поныне знаем только об нем по одним слухам. Замечательном, повторяю, по заслугам его в словесности и по чрезвычайному в жизни его пе-

ревороту. Я не премину сказать здесь в своем месте все, что знаю об нем, хотя для детей наших.

В этом-то дружеском обществе началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением. <...>

После свидания нашего в Симбирске какую перемену нашел я в милом моем приятеле! Это был уже не тот юноша, который читал все без разбора, пленялся славою война, мечтал быть завоевателем чернобровой пылкой черкешенки; но благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека. Тот же веселый нрав, та же любезность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели. Тогда я почувствовал пред ним всю мою незначительность и дивился, за что он любит меня еще по-прежнему! Мы прожили недолго вместе. После того еще несколько раз встречались в Москве и, наконец, разлучились уже на долгое время: он отправился в чужие края. <...>

Теперь договорим об Новикове. Он не имел, как и многие из наших писателей, классического образования. Имя его стало известно с семидесятых годов по изданию им одного за другим двух еженедельников: «Трутня» и «Живописца». Я не равняю их с Аддисоновым «Зрителем»<sup>17</sup>: по крайней мере, они отличались от сборников чужой и домашней всякой всячины, и более отзывались на родностию, хотя и менее об ней твердили, нежели нынешние наши журналы. Издатель в листках своих нападал смело на господствующие пороки, карал взяточников, обнаруживал разные злоупотребления, осмеивал закоренелые предрассудки и не щадил невежества мелких, иногда же и крупных помещиков. Словом, старался, сколько мог и умел, выдерживать главное свойство своих журналов и принаравливать их к духу того времени. В 1772 г. он выдал «Опыт исторического словаря о русских писателях», а потом двадцать томов старинных рукописей разного рода под названием «Древней российской вифлиофики»<sup>18</sup>. Одно это издание могло бы дать ему почетное место в истории нашей словесности. Пожелаем, чтоб кто-нибудь из современных трудолюбивых и доброхотных словесников взял на себя выбрать из этих двадцати томов замечательные только статьи; составить из них несколько отделений, как то историческое, политическое, словесность, смесь и выдать их под заглавием «Дух, или Извлечение любопытных статей из древней российской вифлиофики».

Потом Новиков издавал в Петербурге около года «Ученые ведомости»<sup>19</sup> и там же, а после в Москве, ежемесячник «Утренний свет»<sup>20</sup>, в стихах и прозе, исключительно

содержания только важного, более назидательного. Весь доход от этого издания употреблен был на заведение в Петербурге народных училищ, коих тогда у нас еще не было. В них обучали беднежно детей всякого состояния русской грамматике, первым основаниям истории, землеописания, катехизису, математике и рисованию. Эти училища находились в разных частях города, и от них-то, с учреждением наместничеств, начались в каждом городе казенные народные училища.

С переселением Михайлы Матвеевича Хераскова в Москву, в звании куратора Московского университета, Новиков, последуя за ним, взял на откуп университетскую типографию и завел «Дружеское типографическое общество», составленное из людей благонамеренных и просвещенных. <...>

Между тем как «Дружеское типографическое общество» в полной безопасности процветало, как члены его с общего согласия носили явно кафтаны одинакого покроя и цвета, голубые с золотыми петлицами, внезапно восстала против них политическая буря. Французский переворот<sup>21</sup> возбудил во всех правительствах подозрения на все постоянные сборища, тайные и явные. Главнокомандующий в Москве князь Прозоровский получил тайное повеление взять в особенное внимание масонскую ложу, на которую содержатели типографии имели большое влияние. Вследствие того захвачены были в ложе и в домах Новикова и друзей его все бумаги, сделан строжайший осмотр книжному магазину, библиотеке «Филантропического общества»<sup>22</sup>, и все найденные в них мистические книги преданы были сожжению. Сам же Новиков отправлен был в тайную канцелярию, а потом заключен в Шлиссельбургскую крепость. Восшествие на престол императора Павла возвратило ему свободу, но не возвратило спокойствия духа.

Еще за год до его возвращения жена его скончалась, оставя трех малолетних сирот в пустом доме, на произвол судьбы. Несчастный отец нашел сына и одну из дочерей своих в ужасной, редко исцелимой болезни (эпилепсии). Остальные годы унылой жизни проведены им в малом поместье, близко Москвы. <...>

Немногим прежде знакомства моего с Карамзиным началась у меня тесная связь и с почтенным Федором Ильичом Козлятевым. И это было эпохою, с которой я начал выбираться на прямой путь словесности. Скоро мы сделались почти неразлучными, несмотря на разность лет и состояний: он уже был в гвардии Семеновского полка подпоручиком, а я еще сержантом, и гораздо его моложе.

У него была хорошая французская библиотека, увеличиваемая непрестанно старыми и новейшими сочинениями и переводами. <...>



Но и кроме таких пособий, одна беседа с Козлятевым уже была для меня училищем изящного и вкуса. Он одарен был умом, хотя не беглым, не блестящим, но основательным, украшенным просвещением и кротостью необыкновенною. В молодости моей часто я сердился на него за это прекрасное качество: в кругу не слишком ему знакомых он готов был внимательно выслушивать всех и не сказать ни слова. Почитатель его достоинств, я дружески пенял ему, для чего он таит их и тем подает повод к невыгодному об нем заключению. Добрый Козлятев обыкновенно отвечал на то нежной улыбкою или пожатием руки моей.

Слыша его строгие или беспристрастные суждения о стихах даже и первенствующих наших поэтов, я начал таить еще более, особенно же от него, мои произведения; еще более стал чувствовать все их несовершенство. Некогда он признался мне, что было время, когда он и сам занимался переводами и стихотворствовал; что даже написал шутивную поэму: но вскоре одумался, все свое сжег и принялся читать чужое. Это спокойнее и прибыльнее, — прибавил он с кроткою своею улыбкою. Во все продолжение долговременной нашей связи он однажды только показал мне перевод своей элегии Катулла на смерть Проперция, или наоборот — точно не помню, но ни под каким условием не дал мне списать его. <...>

В конце года гвардейские батальоны возвратились в столицу. Я начал жить по-прежнему, выдаясь ежедневно с Козлятевым; но в следующем году опять с ним разлучился: с весною открылась вторая кампания. Он пошел в поход уже в звании капитана. Грустно было мне еще с ним расставаться; но провидение благоволило и в настоящем случае послать мне отраду: знакомство с Державиным и свидание с Карамзиным, возвратившимся из путешествия.

## КНИГА ТРЕТЬЯ

Поэзия Державина известна мне стала еще с 1776 г. Около того времени первые произведения его вышли в свет без имени автора из типографии Академии наук, под названием «Оды, сочиненные и переведенные при горе Читалагае». Это были, как я после узнал, плоды кратких досугов его в военном стану посреди уфимских степей. Тогда он в числе гвардейских офицеров находился для разных поручений при Александре Ильиче Бибикове, предводителе войск против бунтовщика и самозванца Пугачева.

В этой книжке помещены были несколько од разного содержания, более философических, и послание Фридриха Второго к астроному Мопертию, переведенное в прозе. Я упоминаю с такою подробностью об этой книжке потому только, что ныне она редка и немногим известна даже из литераторов. В стихах, помещенных в ней, при некоторых недостатках, уже показывались замашки или вспышки врожденного таланта и его главные свойства: благородная смелость, строгие правила и резкость в выражениях. <...> Хотя сам писал и худо, но по какому-то чутью находил в них более силы, живописи, более, так сказать, свежести, самобытности, нежели в стихах известных мне современных наших поэтов. К удивлению, должно заметить, что ни в обществах, ни даже в журналах того времени не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. Малое только число словесников — друзей Державина — чувствовали всю их цену. Известность его началась не прежде, как после первой оды «К Фелице». Наконец, я узнал об имени прельстившего меня поэта; узнал и самого его лично, но только глядявал на него издали во дворце с чувством удовольствия и глубокого уважения. Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним в знакомство; вот какой был к тому повод.

Во вторую кампанию шведской войны<sup>23</sup> я ездил на границу Финляндии для свидания с старшим братом моим. Он служил тогда в пехотном Псковском полку премьер-майором. В продолжение дороги и на месте я вел поденную записку; описывая в ней между прочим красивое местоположение, употребил я обращение в стихах к Державину и назвал его единственным у нас живописцем природы. По возвращении моем, знакомец мой П. Ю. Львов переписал эти стихи для себя и показал их поэту. Он захотел узнать меня, несколько раз говорил о том Львову; но я совестился представить знаменитому певцу в лице мелкого и еще ниже не признанного стихотворца, долго не мог решиться и все откладывал. Наконец, одним утром знакомец мой прислал собственноручную к нему записку Державина. Он еще напоминал Львову о желании его сойтись со мною. Эта записка победила мою застенчивость. Итак, в сопровождении Львова отправился я к поэту, с которым желал и робел познакомиться.

Мы застали хозяина и хозяйку в авторском кабинете: в колпаке и в атласном голубом халате он что-то писал на высоком столе; а она в утреннем белом платье сидела в креслах посреди комнаты и парикмахер завивал ей волосы. Добросердечный вид и приветливость обоих с первых слов ободрили меня. Поговорив несколько минут о словесности, о войне и пр., я хотел, соблюдая приличие, откланяться, но они оба стали унимать меня к обеду. После ко-

фея я опять поднялся и еще упрощен был до чая. Таким образом, с первого посещения я просидел у них весь день, а чрез две недели уже сделался коротким знакомцем в доме. И с того времени редко проходил день, чтоб я не виделся с этой любезной и незабвенной четою. <...>

С первых дней нашего знакомства я уже пробежал толстую рукопись всех собранных его стихотворений, известных мне и неизвестных. Сверх того, показаны мне и те, которые, по хлопотам службы, долгое время лежали у него неоконченными. <...>

Державин, при всем своем гении, с великим трудом правлял свои стихи. Он снисходительно выслушивал советы и замечания, охотно принимался за переделку стиха, но редко имел в том удачу. Везде и непрестанно внимание его обращено было к поэзии. <...>

Голова его была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих его поэтических произведений. Он охотник был до чтения, но читал без разборчивости. Говорил отрывисто и не красно. Кажется, будто заботился только о том, чтоб высказать скорее. Часто посреди гостей, особенно же у себя, задумывался и склонялся к дремоте; но я всегда подозревал, что он притворялся, чтоб не мешали ему заниматься чем-нибудь своим важнейшим обыкновенных, пустых разговоров. Но тот же самый человек говорил долго, резко и с жаром, когда пересказывал о каком-либо споре по важному делу в Сенате, или о дворских интригах, и просиживал до полуночи за бумагой, когда писал г о л о с, заключение или проект какого-нибудь государственного постановления. Державин как поэт и как государственная особа имел только в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство.

Со входом в дом его как будто мне открылся путь к Парнасу. Дотоле быв знаком только с двумя стихотворцами: Ермилом Ивановичем Костровым и Дмитрием Ивановичем Хвостовым, я увидел в обществе Державина вдруг несколько поэтов и прозаистов: певца «Душеньки» Иполита Федоровича Богдановича, переводчика Телемака и Гумфрея Клингера Ивана Семеновича Захарова, Николая Александровича и Федора Петровича Львовых, Алексея Николаевича Оленина, столь известного по его изобретательному таланту в рисованье и сведущему в художествах и древности. О первом не стану повторять того, что уже помещено было Карамзиным по пересказам моим в биографии Богдановича<sup>24</sup>, напечатанной в «Вестнике Европы»; прибавлю только, что я познакомился с ним в то время, когда он уже мало занимался литературою, но сделался невольным данником большого света. По славе «Душеньки» многие, хотя и не читали этой поэмы, хоте-

ли, чтоб автор ее дремал за их поздними ужинами. Всегда в французском кафтане, кошелек на спине и тафтяная шляпка (кляк) под мышкою; всегда по вечерам в концерте или на бале в знатном доме, Богданович, если не играл в вист, то везде слова два о дневных новостях или о дворе, или заграничных происшествиях, но никогда с жаром, никогда с большим участием. — Он не любил не только докучать, даже и напоминать о стихах своих: но в тайне сердца всегда чувствовал свою цену и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям на счет произведений пера его. Впрочем, чужд злоязычия, строгий блюститель нравственных правил и законов общества, скромный и вежливый в обращении, он всеми благоразумными и добрыми людьми был любим и уважаем.

Через Державина же я сошелся и с Денисом Ивановичем Фонвизиным. По возвращении из белорусского своего поместья он просил Гаврила Романовича познакомить его со мною. Назначен был день нашего свидания. В шесть часов пополудни приехал Фонвизин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами из Шкловского кадетского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Разговор не замешкался. Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я «Недоросля»? Читал ли «Послание к Шумилову», «Лису Кознодейку»<sup>25</sup>, перевод его «Похвального слова Марку Аврелию»? И так далее; как я нахожу их? Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства ума моего и характера. Наконец спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю об «Душеньке»? — Она из лучших произведений нашей поэзии, — отвечал я. — Прелестна, — подтвердил он с выразительною улыбкою. Потом Фонвизин сказал хозяину, что он привез показать ему новую свою комедию «Гофмейстер». Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В продолжении чтения автор глазами, киваньем головы, движением здоровой рукой подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. По словам его, во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только литератора, городского почтмейстера. Он вы-

давал себя за жаркого почитателя Ломоносова. Которую же из од его, — спросил Фонвизин, — признаете вы лучшею? — Ни одной не случилось читать, — отвечивал ему почтмейстер. «Зато, — продолжал Фонвизин, — доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня роились. Однажды докладывают мне: «Приехал сочинитель». «Принять его, — сказал я, — и чрез минуту входит автор с пучком бумаг. После первых приветствий и оговорок он просит меня выслушать трагедию его в новом вкусе. Нечего делать; прошу его садиться и читать. Он предвещает меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная: у всех трагедии оканчиваются добровольным или насильственным убийством, а его героиня или главное лицо, — умрет естественною смертью. — «И в самом деле, — заключает Фонвизин, — героиня его от акта до акта, чахла, чахла и наконец издохла».

Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а наутро он уже был во гробе<sup>26</sup>!

Между известными того времени поэтами, посещавшими Державина, к удивлению моему, ни однажды не сходил-ся я с Княжениным и Петровым. Первого, по крайней мере, видал я в театре, а последнего никогда не знал, хотя и жила с ним в одном городе. <...>

Н. А. и Ф. П. Львовы, А. Н. Оленин и П. Л. Вельяминов составляли почти ежедневное общество Державина. Здесь же познакомился я с Васильем Васильевичем Калнистом. Он по несколько месяцев проживал в Петербурге, приезжав из Малороссии, его отчины, и веселым остроумием, вопреки меланхолическому тону стихов своих, оживлял нашу беседу.

Но я еще более находил удовольствия быть одному с хозяйном и хозяйкою. Катерина Яковлевна, первая супруга Державина, дочь кормилицы императора Павла и португальца Бастидона, камердинера Петра Третьего, с приговором лица соединяла образованный ум и прекрасные качества души, так сказать, любивой и возвышенной. Она пленялась всем изящным и не могла скрывать отвращения своего от всего низкого. Каждое движение души обнаруживалось на миловидном лице ее. По горячей любви своей к супругу она с живейшим участием принимала к сердцу все, что ни относилось до его благосостояния. Авторская слава его, успехи, неудовольствия по службе были будто ее собственные. Однажды она провела со мною около часа один на один. Кто же поверит мне, что я во все это время только что слушал, и о чем же? Она рассказывала мне о разных неудовольствиях, претерпенных мужем ее в бытность его губернатором в Тамбовской губернии; говоря же о том, не однажды отирала слезы на глазах своих.

Воспитание ее было самое обыкновенное, какое получали тогда в частных учебных заведениях; но она по выходе в замужество пристрастилась к лучшим сочинениям французской словесности. В обществе друзей своего супруга она приобрела верный вкус и здравое суждение о красотах и недостатках сочинения. От них же, а более от Н. А. Львова и А. Н. Оленина, получила основательные сведения в музыке и архитектуре.

В пример доброго ее сердца расскажу еще один случай: жена, муж и я сидели в его кабинете; они между собою говорили о домашних делах, о старине, дошли, наконец, до Казани, отчизны поэта. Катерина Яковлевна вспомнила покойную свекровь свою, начала хвалить ее добрые качества, ее к ним горячность; наконец, стала тужить, для чего они откладывали свидание с нею, когда она в последнем письме своем так убедительно просила их приехать навсегда с нею проститься. Поэт вздохнул и сказал жене: «Я все откладывал в ожидании места (губернаторского), думал, уже получаю его, испросить отпуск и съездить в Казань». При этом слове оба стали обвинять себя в честолюбии, хвалить покойницу, и оба заплакали. Я с умилением смотрел на эту добросердечную чету. Молодая супруга, пятидесятилетний супруг оплакивают — одна свекровь, другой — мать свою — и чрез несколько лет по ее смерти! <...>

В дополнение характеристики достойно уважаемого нами поэта, сообщу еще одну быль, рассказанную мне Елизаветой Васильевной Херасковой, супругою творца «Россиады», ныне столь нагло унижаемого по слухам и эгоизму молодым поколением.

В <1>775 г., когда двор находился в Москве, у Хераскова был обед. Между прочими гостями находился Иван Перфильевич Елагин, известный по двору и литературе. За столом рассуждали об одах, вышедших на случай прибытия императрицы. Началась всем им оценка, большею частью не в пользу лириков, и всех более критикована была ода какого-то Державина. Это были точные слова критика. Хозяйка толкает Елагина в ногу: он не догадывается и продолжает говорить об оде. Державин, бывший тогда уже гвардии офицером, молчит на конце стола и весь рдеет. Обед кончился. Елагин смутился, узнав свою неосторожность. Хозяева ищут Державина, но уже простыл и след его.

Проходит день, два, три. Державин против обыкновения своего не показывается Херасковым. Между тем как они тужат и собираются навестить оскорбленного поэта, Державин с бодрым и веселым видом входит в гостиную: обрадованные хозяева удвоили к нему ласку свою и спрашивают его, отчего так долго с ним не видались? — «Два

дня сидел дома с закрытыми ставнями, — отвечает он, — все горевал об моей оде: в первую ночь даже не смыкал глаз моих, а сегодня решился ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным и заслужить его внимание; так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и я прямо оттуда к вам». <...>

С началом <1>791 г. появился журнал Карамзина под именем «Московского»<sup>27</sup> и обратил на себя внимание первостепенных наших авторов. Все отдали справедливость новому, легкому, приятному и живописному слогу «Писем русского путешественника», «Натальи, боярской дочери» и других небольших повестей. Этот журнал, сверх многих собственных сочинений издателя, помещал стихотворения Хераскова, Державина, Нелединского-Мелецкого, Николаева, Федора Львова и других молодых стихотворцев. В первых трех частях его напечатаны были и мои стихотворения, выбранные издателем без моего назначения, а по собственному его произволу, из взятого им моего бумажника. Все они были едва ли не ниже посредственных; но с четвертой части начался уже новый период в моей поэзии: песня моя «Голубок» и сказка «Модная жена» приобрели мне некоторую известность в обеих столицах. Любители музыки сделали на песню мою несколько голосов. Она полюбилась прекрасному полу; а сказка — поэтам и молодежи. С той поры и в обществе Державина уже я перестал быть аускультантом<sup>28</sup> и вступил, так сказать, в собратство с его членами; но ничье одобрение столько не льстило моему самолюбию, как один приветливый взгляд Карамзина или Козлятева.

В то же время я начал изучать басенников и выдал, подражая более Лафонтену и Флориану, несколько басен. Мне посчастливилось также и этими опытами угодить обществу и многим из литераторов.

<1>794 г. был моим лучшим пиитическим годом. Я провел его посреди моего семейства в приволжском городке Сызрани, или в странствовании по Низовому краю. Здоров, независим, обеспечен во всех моих прихотливых нуждах, я не скучал отсутствием шумных забав и докучливых, холодных посещений. Для меня достаточно было одной моей семьи и двоюродного моего брата Платона Петровича Бекетова: с ним я вместе учился в Казани и Симбирске; вместе служил в гвардии и, к счастью моему, вместе доживаю теперь и старость.

Сызрань выстроен был худо, но красив по своему местоположению. Он лежит при заливе Волги и разделяется рекою Крымзою, которая в первых днях мая бывает в большом разливе. Каждое воскресенье, в хорошую пого-

ду, видел я ее из моих окон покрытою лодками: зажиточные купцы с семейством и друзьями катались в них взад и вперед под веселым напевом бурлацких песен. На дочерях и женах веяли белые кисейные фаты или покрывала, сверкал жемчуг, сияли золотые повязки, кокошники и парчовые телогрейки. Прогулка их оканчивалась иногда заливом Волги. Там они, бывало, тянут тоню<sup>29</sup> и сами себе готовят на мураве уху из живой рыбы.

Это место было и моим любимым гульбищем. В ясное утро, с первыми лучами солнца, я переезжал на дрожках—когда нет разлива—реку Крымзу прямо против монастыря и, взобравшись на высокий берег, хаживал туда и сюда без всякой цели; но везде наслаждался живописными видами, голубым небом, кротким сиянием солнца, внешним и внутренним спокойствием. Везде давал волю моим мечтам, начиная мою прогулку всегда с готовою в голове работою. Потом спускался на Воложку или к заливу Волги. Там выбирал из любого садка лучших стерлядей и привозил их в ведре к семейному обеду. Потом клал на бумагу стихи, придуманные в моей прогулке. Если сам бывал ими доволен, то читывал их сестрам моим, Платону Петровичу Бекетову или Игнатью Ивановичу Соловцову, которые гащивали у нас попеременно. Наступает новое удовольствие: переписывать стихи мои набело для отсылки к Карамзину. С каким нетерпением ожидал от него отзыва! С какою радостью получал его! С каким удовольствием видел стихи мои уже в печати! Каждое письмо моего доброго друга было поощрением для дальнейших стихотворных занятий. Здесь-то, в роскошную пору весны, в тонком сумраке тихого вечера мелькнули передо мной безмолвные призраки Ермака и двух шаманов<sup>30</sup>.

В продолжении того же года я отлучался в Царицын для свидания в последний раз с родным моим дядею Никитой Афанасьевичем Бекетовым. <...>

Поэту не бесполезно путешествовать — одна неделя в пути может обогатить его запасом идей и картин по крайней мере на полгода. Всегда под открытым небом, свидетель великолепного восхождения солнца, вечерних сцен, озлащаемых последними его лучами, безмолвной величественной ночи, усеянной звездами или освещаемой полною и кроткою луною, он вдыхает в себя большое благоговение к Непостижимому. Будучи одинок, никем не развлечен, наблюдатель и нравственного и физического мира, он входит сам в себя, с большею живостию принимает всякое впечатление и запасается, не думая о том, материалами для будущих, как и прежде сказал, своих произведений. Самое над ним пространство, недосыгаемое и беспредельное, возвышает в нем душу и расширяет сферу его воображения.



Всякий раз, когда я ни бывал в дороге, в весеннюю или летнюю пору, прихаживало мне на мысль, что я родился живописцем, а не поэтом, — по крайней мере, поэтом в живописи: каждое замечательное местоположение, все живописные сцены утра, вечера или ночи заставляли меня вздохнуть, для чего я не живописец и не могу тотчас остановиться и перенести все виденное на холст или бумагу. <...>

На возвратном пути моем в Петербург узнал я в Москве от Карамзина о прекращении «Московского журнала». Издатель его занялся печатанием «Писем русского путешественника» и собранием всех повестей, сказок и мелких сочинений в стихах и прозе под заглавием «Мои безделки». Последуя примеру его, выдал и я в <1>795 г. в первый раз собрание моих стихотворений под именем «И мои безделки». Это издание достопамятно для меня тем, что приобрело мне лестное знакомство с почтенным обер-камергером Иваном Ивановичем Шуваловым. Меценат Ломоносова еще обращал приветливый взгляд и к позднешему поколению наших поэтов.

С пресечением «Московского журнала» охолодело во мне соревнование. С того времени до издания Карамзиным «Вестника Европы»<sup>31</sup> я не написал ничего, чем бы сам был доволен, не исключая и «Освобожденной Москвы», хотя некоторые и ставили эту поэмку на счету лучших моих стихотворений. Она давно бродила у меня в голове; но я откладывал приняться за нее до приезда моего в Сызрань, в надежде насладиться там опять пиитической жизнью; судьба расположила иначе: пожар истребил город<sup>32</sup>, остались только следы нашего дома. Отец мой принужден был съехать на житье в свою деревню, в двадцати пяти верстах от города, и там-то написаны были «Освобожденная Москва» и «Послание к Карамзину»:

Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых и пр. написаны в ветхом и тесном доме, в продолжении жестокой болезни сестры моей. Пронзительный вопль ее почти каждый день, раздирая мое сердце, заставлял бросать перо и бежать из дома.

После того в четыре года вышли от меня только подражание «Посланию Попа к доктору Арбетноту»<sup>33</sup> и посредственные стихи на случай освобождения от податей потомства Ломоносова. Во все это время, находясь в гражданской службе, я уже не имел досуга предаваться поэзии. Притом же и сам хотел на время забыть ее, чтобы сноснее для меня был запутанный, варварский слог наших толстых экстрактов и апелляционных челобитен.

Наконец, получив отставку, я переселился в Москву, купил у профессора Лангера за пять тысяч восемьсот руб-

лей деревянный домик с маленьким садом<sup>34</sup> близ Красных Ворот, в приходе Харитония в Огородниках, переделал его снаружи и внутри, сколько можно было получше, украсил небольшим числом эстампов, достаточною для меня библиотекою и возобновил авторскую жизнь уже не в городке, а в роскошной столице, имея только три тысячи рублей постоянного годового дохода.

С весны до глубокой осени, в хорошую погоду, каждое утро и каждый вечер обхаживал я мой садик, занимаясь его отделкою или поправкою; иногда же чтением под густою тенью двух старых лип, прозванных Филемоном и Бавкидою<sup>35</sup>. Меж тем посвящал часа по два моему кабинету, ездил на дрожках за город любоваться живописными окрестностями или хаживал по разным частям города.

Но не проходил ни один день, чтоб я не видался с Карамзиным, а по зимам и с Козлятевым. Помнится мне, он вышел в отставку на одном году со мною и проживал в Москве каждую зиму.

Кроме их я также с удовольствием проводил вечера у Настасьи Ивановны Плещеевой. В ее-то сельском уединении развивались авторские способности юного Карамзина. Она питала к нему чувства нежнейшей матери. Нередко посещал я и почтенного моего земляка Ивана Петровича Тургенева, тогдашнего директора Московского университета равно и патриарха современных поэтов Михаила Матвеевича Хераскова. <...>

По кончине Сумарокова Херасков считался у нас первым поэтом; но впоследствии времени Державин сильным и оригинальным стихотворством своим взял над ним преимущество, хотя и уступал ему во вкусе, разнообразии, правильности и чистоте языка. Херасков, несмотря на соперничество, сохранял с ним постоянную связь и пользовался уважением публики до конца своей жизни. Молодые поэты вменяли себе в обязанность стараться получить доступ к нему и заслужить его внимание. Около того времени он выдал еще две небольшие поэмы: «Пилигримы» и «Царь, или Спасенный Новгород». За год же до кончины своей заключил литературное свое поприще сказкою, или повестью «Бахариана», писанною белыми стихами. Он и в самую глубокую старость, едва ли не восьмидесяти лет<sup>36</sup>, всякое утро посвящал музам, в остальные же часы, кроме вечеров, любил читать по большей части на французском языке. Я заставлял его почти всегда за книгою. Однажды нашел его читающим Лагарпов «Лицей, или Курс литературы»<sup>37</sup>. Первые слова его были ко мне: «Не так бы я писал мои трагедии, если бы сорокью годами прежде прочитал эту книгу». — Надобно было видеть разрушение во всех чертах лица и во всем составе, слышать дрожащий

голос его, чтобы понять, как в эту минуту он меня тронул!

Говоря о Хераскове, трудно было бы мне промолчать о почтенной его супруге. Елизавета Васильевна, по отце Неронова, умела пленить нашего поэта своею любезностью, которую она сохранила до самой смерти, и талантом своим в поэзии. Она в молодости своей много писала стихов, из коих мне известна одна только поэмка под заглавием «Потоп», напечатанная в семидесятых годах в «Вечерах», петербургском журнале. Тогда требовали более плавности, чистоты в языке, нежели силы в мыслях и выражении. По справедливости можно назвать ее во всех отношениях достойною подругою поэта. Она облегчала его во всех заботах по хозяйству, была лучшим его советником по кабинетским занятиям и душою вечерних бесед в кругу их друзей и знакомцев.

По кончине супруга, она не мешкая написала духовную, избрав Якова Ивановича Булгакова, князя Николая Никитича Трубецкого и меня в свои душеприказчики. Вскоре потом впала в продолжительную болезнь и скончалась. Я с умилением бывал свидетелем ее покорности и равнодушия, с каким она готовилась расстаться с миром. Подкреплю сказанное мною примером: во время ее болезни хаживал к ней молодой человек, сын ее знакомца. Часто случалось им провожать вдвоем целые вечера. Чем же они занимались? Задавали друг другу рифмы (bouts-rimes). Он показывал мне однажды четверостишие, сочиненное больною на смертном одре, на заданные от него рифмы. Содержание стихов было размышление о жизни. Она уподобляла свою одной из заданных ей рифм догорающей с в е ч к е. <...>

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На прощанье скажу еще несколько слов о себе и об том, как я сам оценивал авторские мои способности, и в чем полагаю истинное свойство и назначение поэта.

Я начал писать, не зная еще правил стихотворства, с 1777 и продолжал до 1810 г. Из этого круга времени, конечно, должно исключить четырнадцать лет, в продолжении коих стихотворствовал я, бывши знаком только с двумя стихотворцами, но и тем стыдился показывать мои рифмы. Посылал их в журналы от безымянного и, кроме одного поучительного случая, описанного мною в начале моих записок, ни по слухам, ни по журналам не знал, как об стихах моих судят. Стихотворствовал притом несколько лет посреди черствой службы, в малых чинах, между строями и караулами, в обращении с товарищами,

почти необразованными, в уголке тесного, низменного домика, через перегородку, разделяющую меня с братом, в шуму входящих и выходящих; не быв почти никогда, ни же на две минуты, в совершенном уединении.

Вся моя забота была только об том, чтоб стихи мои были менее шероховаты, чем у многих. Одну только плавность стиха и богатую рифму я считал красотой и совершенством поэзии. Но в то время у нас едва ли не так же думали не только читатели, но и самые первостепенные стихотворцы. Оттого стихи мои были вялы, бесцветны, без характера, жалкие подражания; почему напоследок и преданы от меня забвению, и не вошли в первое издание «И моих безделок».

Равномерно должно исключить еще восемь лет, проведенных мною в гражданской службе. Тогда я не только не имел досуга, но даже и боялся развлекать себя стихотворством. Это была четырехлетняя бытность моя обер-прокурором и столько же сенатором. Итак, выходит, что деятельная пиитическая жизнь моя продолжалась только одиннадцать лет.

Но упомянутые четырнадцать лет моего рифмования имели влияние и на последующие мои произведения. Привыкнув в молодости писать урывками, я не мог уже и в зрелом возрасте высидеть за бумагой около часа: нетерпелив был обдумывать предпринимаемую работу. При малейшем упорстве рифмы, при малейшем затруднении в кратком и ясном изложении мыслей моих, я бросал перо в ожидании счастливейшей минуты: мне казалось унижительным ломать голову над парюю стихов и насиловать самого себя или самую природу.

Оттого, может быть, и примечается даже самим мною в стихах моих скудость в идеях, более живости, украшений, чем глубокомыслия и силы. Оттого последовало и то, что ни в котором из лучших моих стихотворений нет обширной основы.


Ныне трудно уверить, что я не домогался покровительства журналистов, не употреблял никаких уловок к распространению моей известности, не старался из зависти унижать самобытный талант в ком бы то ни было и никогда много не думал о стихах моих. Поверят или нет, совесть моя спокойна. Часто приходило мне даже на мысль, что я и совсем не поэт, а пишу только по какому-то случайному направлению, по одному навыку к механизму. Даже и тогда, когда писал уже не про себя, я думал, и в том убежден был, что кощунство, изображение картин, возмущающих непорочность, приветствия к Алине и Ам без дара Катулла и Анакреона, даже дружеские послания, растворенные многословием, не принадлежат к достоянию истинного поэта.

Так! я и теперь не переменил моего мнения: поэзия, порождение неба, хотя и склоняет взор свой к земле, но — здесь она проникает во глубину сердец, наблюдает сокровенные их изгибы и живописует страсти, держась всегда нравственной цели, воспаляет к добродетели, ко всему изящному и высокому, воспевает доблести обреченных к бессмертию. А там — изливается в удивлении к мирозданию, в трепетном благоговении к Непостижимому. Вот назначение истинной поэзии! Вот почему она и называется органом богов, а вдохновенный ею — поэтом.

Как бы то ни было, но я должен быть признателен к счастливой звезде моей: едва ли кто из моих современников переходил авторское поприще с меньшею заботою и большею удачею. <...>

## ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ЭНГЕЛЬГАРДТ

(10.II.1766—4.XI.1836)

 В деревне Зайцеве, некогда принадлежавшей обрусевшему немцу Вернеру Энгельгардту, родился 10 февраля 1766 года Лев Николаевич Энгельгардт, прямой его потомок. Отец его Николай Богданович был помещиком Духовщинского уезда Смоленской губернии. Достаток имел он малый, всего 80 душ крепостных, но брак с Надеждой Петровной Бутурлиной несколько поправил его состояние: жена принесла ему в приданое 700 душ.

Человек не богатый, но строгих правил чести, Николай Богданович был не из тех, кто, используя связи, умел делать карьеру. Он состоял адъютантом при графе П. И. Шувалове, когда был организован дворцовый заговор против императора Петра III. Гвардия желала посадить на трон жену Петра Екатерину. Братья Орловы находились с Николаем Богдановичем в коротких приятельских отношениях, но, зная честность его, не посмели посвятить его в заговор, и он, едва ли не единственный из адъютантов Шувалова, о заговоре не знал. Поэтому дворцовый переворот 1762 года был для него неожиданностью. Потом Николай Богданович не искал ни случая, ни покровительства уже всемогущих Орловых. Он сумел сохранить имя свое незапятнанным, и, не оставив сыну наследства, внушил ему высокие понятия о чести и долге перед отечеством. К моменту рождения сына Николай Богданович был полковником в отставке: военная служба была ему не по карману.

До восьми лет Лев Николаевич Энгельгардт жил у своей бабки со стороны матери Наталии Федоровны Бутурлиной в селе Кирманы Нижегородской губернии. Мальчик рос недорослем, проводя время на улице в играх и забавах с крестьянскими детьми. Никто не занимался его духовным развитием, да и некому было: бабка «едва ли знала хорошо российскую грамоту». Впрочем, недостаток духовного развития отчасти вознаграждался полной свобо-

дой и почти спартанским воспитанием, благодаря которому Лев Энгельгардт «сделался самого крепкого сложения». Так продолжалось до 1774 года, когда Николай Богданович после смерти тещи своей, забрал мальчика с собою в Витебск, куда сам был послан воеводой.

Несколько попыток познакомить мальчика с русской и немецкой грамматикой принесли мало успеха, зато к одиннадцати годам он уже изрядно говорил по-французски. Немецкий язык ему настолько не нравился, что ни говорить, ни понимать по-немецки так и не выучился, и даже немцем себя не считал (см. рассказ Энгельгардта о встрече с графом Ангальтом в 1787 году).

Не слишком обременил познаниями юного Энгельгардта и пансион Эллерта в Смоленске, куда был он отдан на тринадцатом году жизни и где провел трудный год, запомнившийся ему на всю жизнь. Недостаток учебных сведений Эллерт с лихвой возмещал той изуверскою строгостью, которая внушала отчаянный страх и заставляла воспитанников творить чудеса прилежания. Эллерт «бил без всякой пощады за малейшие вины ферулами из подошвенной кожи и деревянными лопатками, секал розгами и плетью, ставил на колени по три и по четыре часа». В среде воспитанников поощрялась жестокость и всегда связанные с нею предательство и доносительство. К счастью для Энгельгардта, срок этого испытания кончился для него довольно быстро; продлись он дольше, неизвестно, что стало бы с неокрепшей душою мальчика.

Терпимый, умный и широкий по взглядам на жизнь, Энгельгардт впоследствии хотя и не оправдывал Эллерта, но все же считал, что его «военная дисциплина» была едва ли не единственным методом «обуздания» мальчика, слишком привыкшего пользоваться неограниченной свободой и отчасти испорченного ею.

В 1779 году Льва Энгельгардта привезли в Полоцк, где Николай Богданович служил председателем гражданской палаты. В том же году Лев был записан в Преображенский полк сержантом, как и многие другие дворянские дети, а потом еще год учился в шкловском кадетском корпусе, называвшемся тогда, вначале своего существования, просто училищем. «Пожалуйста, не спеши отправлять его на службу, — говорил великий князь Павел Петрович Николаю Богдановичу, — если не хочешь, чтобы он развратился». К этому времени Николай Богданович сделал большое продвижение по службе: он «был пожалован вице-губернатором в Могилев». Это было назначение почетное и выгодное, а главное, оно предоставляло возможность, не проявляя искательства, входить в общение с людьми, занимавшими самое высокое положение в государстве.

Проезжая через Могилев, Потемкин, только что получивший титул светлейшего князя Таврического за присоединение Крыма к России, пребывал в состоянии большого душевного подъема и расточал милости еще более широко, нежели обыкновенно. Николаю Богдановичу посулил он взять к себе в адъютанты сына его Льва.

Прослужив недолгое время в гвардии, где за высокий рост свой назначен он был стоять на часах перед входом в кавалергардскую залу, Лев Николаевич стал в 1783 году адъютантом Потемкина, который сдержал слово, данное им Николаю Богдановичу. Через 15 лет Павел I, люто ненавидевший Потемкина, спросил Энгельгардта: «...да как ты не сделался негодяем, как все при нем бывшие?» И в самом деле, лестная для семнадцатилетнего юноши должность адъютанта при особе, игравшей роль, «какую никто никогда в России не представлял и так не был силен», требовала незаурядного ума и еще более незаурядного по тем временам чувства собственного достоинства.

Видимо, только один раз Лев Николаевич поступил в этом отношении вопреки собственной натуре, так же чуждой искательства и лести, как и натура отца его. Было это уже в 1787 году и навсегда запомнилось Энгельгардту как унижительный урок. По совету камердинера императрицы, Лев Николаевич отправился к новому фавориту Екатерины II Мамонову, с которым всего лишь четыре года назад служил у Потемкина. В ту пору Мамонов был генерал-адъютантом фельдмаршала. С визитом к Мамонову Лев Николаевич связывал некоторые надежды (см. с. 248—249).

Предельно честный и взыскательный к себе Энгельгардт о таких случаях более не упоминает. Надо полагать, что подобное с ним уже и не случалось.

В интригах юный адъютант Потемкина участия не принимал, потому что не имел к ним склонности и потому что был неискушен и наивен. «По моей молодости и неопытности почти не доходило до моего сведения ничего, касательно дворских интриг». Как многие подлинно умные люди, Лев Энгельгардт отличался большим простодушием, так что однажды чуть было не прозевал появление нового временщика и потому обошелся с ним слишком запросто. Это могло бы иметь весьма неприятные последствия для Энгельгардта, не будь временщик хорошо знаком с его матерью и расположен к ней.

В конце 1785 года мать Льва Николаевича умерла. Печальное событие это совпало с окончанием Смольного монастыря его сестрой Александрой Николаевной. Взяв сестру, Энгельгардт отпросился у Потемкина в бессрочный отпуск и отправился в Могилев к отцу. Там ждало его первое серьезное испытание.



Кроме горя, доставленного девятнадцатилетнему юноше смертью матери, возникло непредвиденное испытание его нравственности, доброты и твердости характера. Об этом обстоятельстве, по скромности и сдержанности своей, Лев Николаевич ни словом не обмолвился в записках: ему было не свойственно писать о своих достоинствах, о них он стыдливо умалчивал, хотя в тех же записках откровенно и честно признавался в своих недостатках. Об этом обстоятельстве, связанном со смертью матери, Энгельгардт упомянул лишь однажды в жизни, да и то по очень конкретному поводу. В 1818 году он составил завещание, в котором, обращаясь к сыну своему Петру Львовичу, просил его проявить благородство в отношении сестер: «Законы, — писал Лев Николаевич, — дают тебе преимущество против твоих сестер, то поступи в сем случае, как отец твой; мать моя, а твоя бабка, скончалась тогда, когда я был на службе; по прибытии моем в дом отцовский услышал, что угодно ей было, чтобы, уступив сестрам моим все ее имение, состоявшее в 700 душах, без малейшего письменного вида, тогда, когда у отца моего было всего 80 душ; на другой же день в могилевской гражданской палате все материнское имение отдал сестрам, не оставя себе ничего...» \*.

После смерти матери Лев Николаевич остался жить у отца в Могилеве. Следующий, 1786 год, принес семье Энгельгардтов перемены. Александра Николаевна вышла замуж за Сергея Козмича Вязмитинова, бригадира Вологодского пехотного полка. Вязмитинов был старше жены лет на двадцать, успешно продвигался по службе и не чуждался изящной словесности. Лет за пять до женитьбы написал он либретто оперы «Новое семейство», сочиненное им для увеселения великого князя Павла Петровича по случаю проезда его через Могилевскую губернию, где служил тогда полковником Вязмитинов. Знакомство с Вязмитиновым было давнее, прочное, семейное. К Льву Николаевичу относился он по-братски, но покровительствовал ему и наставлял его как старший: между ними была разница в 17 лет. Заметив, что Лев Николаевич после смерти матери не спешит вернуться в Петербург и хорошо зная по опыту, что адъютантство у Потемкина ничему его зятя не научило и не научит, Вязмитинов предложил ему поучиться настоящей военной службе у него в полку. Предложение было принято с охотою. «Я перешел жить в лагерь, — писал Энгельгардт, — и в первой роте считался за прапорщика сверх комплекта; нес всю службу простого офицера, ходил в караулы; дежурил, и капитан Дрейер,

---

\* ЦГАЛИ, ф. 394, оп. 1, ед. хр. 222, л. 1.

командовавший первую роту, в угодность зятя моего, поступал со мною так строго в учении, что я вскоре узнал фронтową службу; под исход лагеря я при полку исправлял майорскую должность и мог уже без стыда быть определен в полк и с честью удержать свое звание».

В том же году Лев Николаевич определился в Сибирский гренадерский полк, командовать которым поручено было Вязмитинову. Через год, однако, обстоятельства изменились: началась турецкая война, Вязмитинов принял командование над Белорусским егерским корпусом (был он в это время уже генерал-майором), а в Сибирский полк, где служил Энгельгардт, назначен был князь Павел Михайлович Дашков. Полк направлялся в Польшу.

«Когда полк получил повеление идти в поход, почтенный мой отец, благословя меня, сказал: «Уверен, что ты не обесчестишь род наш своим недостойным поступком, и лучше я хочу услышать, чтобы ты был убит, нежели бы себя осрамил, а притом приказываю тебе: ни на что не напрашиваться, а чего требовать будет долг службы, исполняй ревностно, усердно, точно и храбро». Тут мы оба прослезились; поцеловав его руку, с восхищением сел я на коня и с полком выступил, делая планы отличиться героически и строил воздушные замки».

Не напоминает ли вам, читатель, эта сцена другую, написанную почти столетие спустя после изображенных здесь событий:

«— Теперь слушай: письмо Михайлу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! <...> Коли хорош будет, служи. <...> Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Андреевича Болконского, мне будет... стыдно! — взвизгнул он» \*.

«Войну и мир» Толстой начал печатать в 1863 году, то есть через четыре года после того, как «Русский вестник» опубликовал «Записки» Л. Н. Энгельгардта.

Однако вернемся к Энгельгардту. Князь Дашков, как командир полка, во всем уступал Вязмитинову, который умел организовать и дело и людей, был взыскателен, но справедлив. При Дашкове солдаты недоедали, лошади не получали вовремя фураж, в полку началось воровство, командиром не пресеченное. Так что о Сибирском гренадерском полке пошла худая слава.

---

\* Толстой Л. Н. Собр. соч. В 22-х тт. Т. 4.— М., 1979, с. 140—141.

Родственная привязанность и симпатия к зятю побуждали Энгельгардта пользоваться всяким удобным случаем, чтобы повидаться с Вязмитиновым. Когда полк Льва Николаевича стоял лагерем при Плопах, он отпросился на несколько дней к зятю, осаждавшему Хотин. Здесь Энгельгардт, до той поры не обстрелянный, впервые испытал чувство страха, о чем он со свойственной ему откровенностью и прямоотой рассказал в записках: «...турки <...> стреляли ядрами; первое, которое я услышал, заставило меня с такою торопливостью нагнуться, что обе шлифные пряжки у меня лопнули». Во время той же войны с турками был с Энгельгардтом и другой случай, когда его так напугала канонада, что он «только и думал, как бы сказаться больным, а после выйти в отставку. Однако стыдно было показать себя трусом; я решился продолжать ходить в форштат, но об отставке все еще не покидал намерения; в третьей канонаду уже и то отдумал, и так привык к свисту ядер и бомб, как бы бывал на простом артиллерийском учении».

Хотя собственная личность ни в коей мере не была предметом анализа в записках Энгельгардта, он, большой поклонник Руссо, не раз останавливался на дурных сторонах своей натуры, на неблагоприятных поступках, совершенных им в жизни. Но вот что интересно: читая об этом, мы всегда испытываем чувство, что рассказал нам все это человек, сумевший преодолеть благодаря уму, твердой воле и постоянной работе над собой дурные наклонности. Во время турецкой войны, находясь в Молдавии, Энгельгардт пристрастился было к вину, впал, по его словам, «в гнусный порок». Это продолжалось до тех пор, пока офицер, живший с ним в одной палатке, не сказал ему: «ежели не исправишься, я тотчас с тобой расстанусь». <...> Я дал себе слово более не пить, и могу сказать, что с тех пор во всю жизнь был трезвой и воздержной жизни...»

Как человек, одержавший победу над собой, Энгельгардт стал относиться к себе серьезнее, чем прежде: он занялся самообразованием, прошел «курс артиллерии, готовясь служить с замечанием и быть годным к употреблению, когда какой случай предстанет». Случай представлялся не раз, Энгельгардт вел себя поистине героически, бросаясь в бой и увлекая за собой солдат, но оставался без наград и в тени. Однако, усвоив отцовские правила чести, он хотя и мечтал о славе, но никогда не старался о наградах, «а просить о себе почитал низостью». Лев Николаевич настолько был обойден вниманием и милостями, которые в ту пору легко расточались за дела гораздо меньшие, а то и вовсе без всяких дел, что отец его Николай Богданович усомнился в правдивости его рассказов. Тог-

да, не лъстясь на награды, Лев Николаевич пожелал восстановить поправленную справедливость и с тем отправился по окончании турецкой войны в Петербург к князю Николаю Васильевичу Репнину, отлично осведомленному о его подвигах. Князь Репнин обошелся с Энгельгардтом как лукавый царедворец и демагог: «Вы хотите быть вывескою вашей храбрости, — сказал он. — Благоразумному человеку довольно, когда уже знает, что его имя и служба известны государыне...»

Энгельгардт был не из тех, кто впадает в тоску от неудач. Он желал дела, а потому, уйдя ни с чем от Репнина, определился в Козловский мушкетерский полк, выступавший в Польшу, с которой начиналась война. Он все еще желал славы и наград.

В 1794 году Энгельгардт участвовал в штурме Праги, предместья Варшавы; этот штурм и все увиденное им во время него и после, вдруг резко отрезвило его. Энгельгардт увидел войну другими глазами. После штурма она казалась ему не делом чести, а источником ужаса и проклятием. Он увидел войну так, как может увидеть ее только гуманный, притом штатский человек. Профессиональный военный видит ее иначе.

После штурма Праги Энгельгардт в боевых действиях более участия не принимал, хотя по прихоти судьбы чины и награды пришли к нему позднее, — притом не на поле брани, а на смотровом поле.

1795 год застал Льва Николаевича в Уфе, где он коротко сошелся с гостеприимным и милым семейством Аксаковых. Сереже Аксакову было тогда четыре года, но он навсегда запомнил и гостей, и веселые вечера, такие веселые, каких никогда потом уже не было за все время его жизни в Уфе. «Из военных гостей я больше всех любил сначала Льва Николаевича Энгельгардта; по своему росту и дородству он казался богатырем между другими, и к тому же был хорош собою. Он очень любил меня, и я часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушал его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривал на два креста, висевшие у него на груди, особенно на золотой крестик с округленными концами и с надписью: «Очаков взят 1788 года 6 декабря» \*.

Поистине непредсказуемы переплетения людских судеб: через 20 лет Сергей Аксаков приехал в Петербург и, трепеща от восторга и воодушевления, читал старому Державину его оды... И этим словно соединил два звена, две исторических судьбы.

---

\* Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. — М., 1935, с. 80.

Тогда же, в 1795 году, время на зимних квартирах в Уфе проходило приятно и на редкость безмятежно. Россия отдыхала от войн. Безмятежность, однако, продолжалась недолго. Через год все переменялось: в ноябре 1796 года от апоплексического удара умерла Екатерина II и началось короткое, но гнетущее ужасом царствование Павла I. Впрочем, о том, что оно будет коротким, тогда никто не знал, а потому, как все дурное и страшное, оно уже в первые недели казалось бесконечным.

Продолжая служить в Уфе, Лев Николаевич в 1798 году был произведен в полковники, а вслед за тем полк его отправился на царский смотр в Казань: военные смотры были истинным призванием нового государя. Взыскательность Павла не знала пределов, а гнев его вселял в людей почти животный страх. «Все шли с трепетом; я более ужасался, чем идя на штурм Праги», — вспоминал Энгельгардт. Вопреки ожиданиям, после специального смотра на Арском поле, Павел объявил всем полкам благодарность. Повернулась фортуна и к Энгельгардту, — Павел удостоил его похвалой и разговором, — особой монаршей милостью. «Я руку его, лежавшую у меня на плече, целовал, как у любовницы, ибо в первые два дня я потерял бодрость и ожидал уже не того, чтоб обратить на себя его внимание, а быть исключенным из службы». Испытание для человека чести немалое! Потом, как водилось, посыпались щедроты: шпага с аннинским крестом, генерал-майорский чин и командорство ордена св. Иоанна Иерусалимского с тысячью рублей годового дохода. Энгельгардт хорошо понимал случайность Павловых милостей: «Служа в турецкую войну и противу поляков усердно и ревностно, был я в нескольких сражениях, лица от неприятеля не отворачивал и почти ничего не получил. А за марширование на Арском поле и удачные батальонные выстрелы получил два ордена». Умный и дальновидный Энгельгардт понимал и то, что расположение Павла может внезапно смениться опалой. В конце ноября 1799 года, не искушая более судьбу, подал он в отставку.

Незадолго до этого, в том же году, женился Лев Николаевич на Екатерине Петровне Татищевой, дочери гвардии секунд-майора Петра Алексеевича Татищева. Жену свою Энгельгардт нежно любил и почитал благоговейно. Не раз потом писал он о «блаженстве» брака с женщиной, которая была «нравом драгоценнее злата»\*. Потекли годы почти безоблачного счастья. К тому же, с воцарением Александра I стало легче жить и дышать, особенно на первых порах. «Радость <...> была общая: друг друга позд-

---

\* ЦГАЛИ, ф. 394, оп. I, ед. хр. 222, л. I.

равляли и обнимали, как будто Россия была угрожаема нашествием варваров и освободилась» \*.

Однако ж ни в военной, ни в государственной жизни Лев Николаевич более не участвовал. Жил он в стороне от столиц, тихо, неспешно, домовито. В 1812 году совершил поездку в Казань, где были имения жены его. Уже начинал заботиться он о том, чтобы оставить детям приличное состояние. Детей было четверо: сын Петр и три дочери — Анастасия, Наталия и София. Трудями и заботами его, а также тем, что взял он за женою, состояние его значительно приумножилось: в 1818 году был он владельцем без малого двух тысяч душ.

А потом начались беды — как водится, одна за другой: в 1821 году оплакал Лев Николаевич горячо любимую жену. Вскоре после нее умерла дочь Наталия. Потом заболел психически и впал в безумие сын Петр. Это был крест на всю оставшуюся жизнь. Томили Льва Николаевича неотвязные мысли о том, что будет с Петром после его смерти. Хорошо еще, что повезло с зятем: 9 июня 1826 года Анастасия Энгельгардт вышла замуж за поэта Евгения Баратынского. Брак был счастливым. Баратынский писал своему другу И. В. Киреевскому в августе 1831 года: «Скажу тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, нежели в Москве. Вот тебе рама нашего существования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, разговоры; вставь в нее то, чему нет имени: это общее чувство, этот итог всех наших впечатлений, который заставляет проснуться весело, гулять весело, эту благодать семейного счастья, и ты получишь довольно верное понятие о моем бытье» \*\*.

Лев Николаевич привязался к зятю всей душой. Между ними установились простые и родственные отношения; о характере их отчасти дает представление одно из писем Энгельгардта к Баратынскому и его жене: «Милые друзья, вчера отправился из Скуратова. Пробыл у Шаховского часа два, ночевал во Мценске, теперь обедаю в Орле. Благодарение богу, усталости не чувствую, дорога из Скуратова была хороша, теперь дождит и очень нагрязнило. Представьте, что с самой Москвы не видал ни одной ягодки земляники и клубники: все морозом истреблено <...> Год не хороший. <...> Бог вас благослови» (отправлено из Орла 24 июля 1836 года) \*\*\*.

О последних годах жизни Энгельгардта известно мало. Два раза переписал он завещание, составленное им впер-

\* Энгельгардт Л. Н. Записки.— М., 1868, с. 219.

\*\* Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма.— М., 1951, с. 500.

\*\*\* ЦГАЛИ, ф. 51, оп. 1, ед. хр. 197.

вые в 1818 году еще вместе с Екатериной Петровной. Третий вариант, написанный в 1834 году,— один из самых трагических человеческих документов. Обращаясь к дочерям и зятю, Лев Николаевич напоминал им о том, что предыдущее завещание (от 1828 года) «писано было, когда сын мой Петр еще не вовсе был безумен, бывши под опекою, мог бы пользоваться имением, которое по праву ему следовало, но как богу угодно было по неисповедимым его судьбам вовсе лишить его ума; почему рассудил за благо некоторые пункты в том завещании иные вовсе уничтожить, другие переменить (а нечто прибавить...) <...>

Еще прошу родных моих и друзей, по сим законам об опеке над безумными и сумасшедшими, представить несчастного сына моего правительству, испросив поручить в смотрение как ближайшим родственникам— дочерям моим, и как они есть наследники его, все ему принадлежащее имущество, с отдаением отчетов. А вас, дочери мои и зять мой Евгений Абрамович, ежели несчастный не будет много тревожить, то держать его при себе, но ежели он будет зlobен или делать нестерпимое беспокойство, отдать его в какое устроенное для сего частное заведение, где бы с ним человеколюбиво обращались <...>» \*.

Однако напоследок вернемся к временам более светлым. В ту веселую зиму в Уфе, о которой вспоминал потом Аксаков, Энгельгардт, приходя в гости к его родителям, затеял игру с маленьким Сережей. Однажды Лев Николаевич спросил его: «Хочешь, Сережа, в военную службу?» Я отвечал: «Не хочу». — «Как тебе не стыдно, — продолжал он, — ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером. Хочешь в гренадеры? Я привезу тебе гренадерскую шапку и тесак». Я перепугался и побежал от него» \*\*.

С выходом в отставку взгляды и вкусы Льва Николаевича начали постепенно меняться в том направлении, какое предопределил ему штурм Праги. Брак его дочери и литературный круг, в котором Энгельгардт оказался благодаря этому браку, как бы окончательно оформил происходившие в нем перемены. К концу жизни он отдавал уже явное предпочтение перу перед шпагой— и не только за счет возраста. Вырос его интерес к словесности, и можно предположить, что Лев Николаевич, если и не принимал непосредственного участия в литературных разговорах и спорах, происходивших в доме его зятя, то бывал частым свидетелем их. Скорее всего тогда же, после 1826

\* ЦГАЛИ, ф. 394, оп. I, ед. хр. 222, лл. 5—5 об.

\*\* Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука, с. 90.

года, начал писать он записки, которые читал в узком семейном кругу, где, кроме родных, собирались лишь самые близкие друзья. В писании записок находил он, видимо, утешение («литературный труд сам себе награда», — говорил его зять Баратынский) и немного отвлекался от мрачных мыслей о судьбе сына Петра. Энгельгардт успел написать только первую часть записок, закончив их 1826 годом. Ее и опубликовал в 1859 году второй зять Льва Николаевича Николай Васильевич Путята, близкий друг Баратынского, женившийся на Софии Энгельгардт в 1837 году \*.

За год до этого события, 4 ноября 1836 года Энгельгардт умер, поручив распорядиться своим состоянием, делами и бумагами своему зятю и душеприказчику Евгению Баратынскому. К тому времени Энгельгардт называл его сыном. 5 февраля 1837 года Баратынский писал П. А. Вяземскому: «Я лишился моего тестя, и смерть его передала мне много хлопот положительных \*\*». «Положительными» заботами были неустанные попечения о доме и семье, которые усердно и терпеливо выполнял последние годы своей жизни Лев Николаевич Энгельгардт.

\* \* \*

Записки Л. Н. Энгельгардта — не только памятник истории, но и значительное литературное явление. Энгельгардт был сыном своего времени, и это запечатлелось в его записках. Его оценки, мироощущение, представления о жизни во многом связаны с екатерининской эпохой, ориентированы на нее. Но Энгельгардт писал записки в начале второй четверти XIX века. Это сказалось в их стиле и характере, в портретных характеристиках — во всем том, к чему пришла в это время русская литература, преодолевшая эстетические каноны классицизма и сменивший его сентиментализм. Записки Энгельгардта отличаются редкой искренностью и чистосердечием, но прежде всего литературным мастерством. Написанные им портреты Суворова, Румянцева-Задунайского, Потемкина лишены парадности. В каждом из этих портретов — психологическая доминанта личности, потому они так выразительны и рельефны. Это же свойственно и описаниям Энгельгардта: на-

---

\* В ЦГАЛИ сохранилась черновая рукопись записок, доведенных до 1835 года и до сих пор не опубликованная.

\*\* Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма, с. 526.



пример, поразительному по яркости изображению кончины Потемкина и его похорон. Наконец, эти записки отмечены печатью того гуманного отношения к человеку, которое пришло в русскую литературу вполне осознанно только в XIX столетии.

### **ЛИТЕРАТУРА**

Энгельгардт Н. А. Давние эпизоды. Екатерининский полковник. — «Исторический вестник», 1911, № 7.

Хетсо Гейр. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. — Осло — Берген, 1973. (О связи Е. А. Баратынского с семьей Л. Н. Энгельгардта).

I. ВСТУПЛЕНИЕ

Записки каждого частного лица о том, что случилось видеть, слышать или чего быть свидетелем в жизни, как бы оно ни было малозначуще в свете, всегда могут быть интересны для будущих времен, касательно нравов того века, людей, образа жизни, обычаев, политических и военных происшествий и описания знаменитых лиц.

Я сожалею, что занялся сим уже поздно, когда мне минуло шестьдесят лет; многое интересное забыто, а что и вспомнил, то уже не так верно, как должно бы было быть в связи с течением времени. Занятие это доставило мне удовольствие вспоминать счастливое время юности; рассказывать же о прошедшем, как говорит г. Сегюр, есть единственное удовольствие для стариков. Эти записки я начал писать в 1826 году, следственно все, случившееся после, дошедшее до моего сведения, будет подробнее.

Отец мой был действительный статский советник и кавалер Св. Владимира 2-й степени<sup>1</sup>, Николай Богданович; мать моя была из рода Бутурлиных, Надежда Петровна; замечательно, что он из смоленских дворян был в числе первых, женившихся на великороссиянке, ибо со времени завоевания царем Алексеем Михайловичем Смоленска, они, по привязанности к Польше, брачились вначале с польками, но как в царствование императрицы Анны Иоанновны были запрещены всякие связи и сношения с поляками, даже ежели у кого находили польские книги, того ссылали в Сибирь; то сперва по ненависти к русским, а потом уже по обычаю, все смоляне женились на смолянках. Поэтому можно сказать, все смоленские дворяне между собою сделались в родстве. Первый женился на русской Яков Степанович Аршеневский, второй — отец светлейшего князя<sup>2</sup> Григория Александровича Потемкина.

1766. Я родился в 1766 году, февраля 10 числа, в Смоленской губернии, Духовского уезда, в деревне Зайцеве, родовом имении отца моего, которое дано было королем польским Сигизмундом по взятии Смоленска<sup>3</sup> предку нашему, генерал-лейтенанту Вернеру Энгельгардту, курляндцу, служившему у него в войске, как сказано в жалованной грамоте: «*Za krwawe zaslugi przeciwko Moskwy, dajemy dobra*», то есть: «За кровавые заслуги против Москвы, жалую имения и проч.» Назвали меня Харлампием, но когда привезен я был родителями моими в Нижегородскую губернию, Арзамасского уезда в село Кирманы, к бабке моей Наталье Федоровне, то она,

в память сына ее Льва, убитого в Семилетнюю войну, назвала меня его именем; я воспитывался у нее до пяти лет, то есть до самой ее смерти.

1771—1773. Бабка моя отдала свое имение, 1200 душ своим дочерям, то есть моей матери и тетке моей, бывшей замужем за Стремоуховым, оставя себе на прожитие 100 душ; по дешевизне в то время сельских произведений и по несуществованию водяной коммуникации, доход ее едва простирался до ста рублей. Однако ж, она довольствовалась сим доходом, не быв в тягость своим детям и не входя в долги.

Физическое мое воспитание сходствовало с системою Руссо, хотя бабка моя не только не читала сего автора, но едва ли знала хорошо российскую грамоту. Зимю иногда я выбегал босиком и в одной рубашке на двор резвиться с ребятишками, и, закоченев весь от стужи, приходил в ее комнату отогреваться на лежанке; ежenedельно меня мыли и парили в бане в самом жарком пару и оттуда в открытых санях возили домой с версту. Кормился я самую грубою пищею и от того сделался самого крепкого сложения, переноса без вреда моему здоровью жар, холод и всякую пищу; вовсе не учился, и, можно сказать, был самый избалованный внучек.

1774. По смерти бабки отец мой, быв полковником в отставке, определен воеводою в отобранную от Польши Белоруссию, в город Витебск, и взял меня с собою. Оставить военную службу заставило его крайне расстроенное его состояние; он задолжал тетке своей, бригадирше Витковичевой, жившей в Малороссии, в местечке Сорочинцах, три тысячи рублей; по тогдашнему, сей долг был неоплатный, ибо доходы в низовых губерниях почти ничего не значили, рожь продавалась там по двадцати пяти копеек четверть<sup>4</sup>, да и ту некуда было сбывать; водяной коммуникации вовсе не было, винокуренных заводов было мало; сказанная Витковичева столь была не снисходительна, что принуждала отца моего ежегодно приезжать для переписки векселя из Выборга, где полк, в котором он служил, был на непременных квартирах; таковая поездка чрезвычайно его расстроила. Как доходы были малы и отец с семейством жил почти одним жалованьем, то не прежде мог он долг сей заплатить, как когда пожаловано было ему три тысячи рублей за разорение имения матери моей партией бунтовщика Пугачева.

1775. По приезде в Витебск, начал меня учить грамоте униатской церкви<sup>5</sup> дьячок, и как я был избалованный внучек, то едва в два года выучился порядочно читать.

1776. Тогда приставили ко мне учителя, отставного поручика Петра Михайловича Брауншвейга, учить меня писать по-русски, первым правилам арифметики и по-не-

мецки, за шестьдесят рублей в год, а учиться по-французски ходил я в иезуитский монастырь к иезуиту Вольфорту; но можно сказать, что от таких учителей мало показывал успеха по тупоумию и лености.

1777. Впоследствии к старшей моей сестре Варваре Николаевне выписана была из Вильны *madame Leneveu* за 500 рублей; вместе с нею я учился целый год и уже говорил по-французски изрядно; тогда же по-немецки учил меня иезуит Кацаврик, который исправно всякую неделю наказывал меня дисциплиною, отчего я получил такое омерзение к немецкому языку, что никогда не мог порядочно знать по-немецки и разумею, что читаю.

Тогда же записан я был в гарнизон сержантом. Полковнику Древичу за заслуги его против польских конфедератов, пожалованы были в Витебской провинции деревни и, кроме того, он чрезвычайно обогатился во время своих действий в Польше. Отец мой оказывал ему разные услуги по сему имению, почему, по прибытии его в Витебск, определил меня в гусарский вербованный Белорусский полк кадетом. Я, по ребячеству моему, помню, в каком я был восхищении, когда одели меня в гусарский мундир, а всего более забавляла меня сабля с ташкою <sup>6</sup>.

Я был самых дурных склонностей, ничего не мог сказать, чтобы не солгать; как скоро из-за стола вставали, тотчас обегал стол и все, что оставалось в рюмках, выпивал с жадностью, крал всякие лакомства и все украденное клал в ташку; нередко приводили меня с поличным к матери моей, которая со слезами говаривала: «Один у меня сын, но какого ожидать от него утешения при таких порочных склонностях»; ни наказания, ни увещания, ничто меня не исправляло, сверх того я был неловок, неопрятен, и стан мой был крив и сутуловат; вот какую я обещал моим родителям радость.

1778. Таким я был до 1778 года. Тогда открылись наместничества <sup>7</sup>, и отец мой помещен был в Полоцк председателем гражданской палаты, а меня отвезли в Смоленск, в пансион к содержателю Эллерту, где пробыл я год. Правду сказать, хотя он касательно наук был мало сведущ, и вся учебная деятельность его состояла в сокращенном преподавании всех наук, то есть катехизиса, грамматики, истории, географии, мифологии, без малейшего толкования, и в принуждении учеников затверживать наизусть французские фразы, но зато строгостию содержал пансион в порядке, на совершенно военной дисциплине, бил без всякой пощады за малейшие вины *ферулами* <sup>8</sup> из подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, секал розгами и плетью, ставил на колени по три и четыре часа; словом, совершенный был тиран. Но, кажется, для меня таковой и был нужен, чтобы переменить злую мою

нравственность; как я имел дурную память, то не проходило дня, в который не был я наказан, но успевал я очень хорошо в арифметике и геометрии, которым учил нас оставной артиллерийский сержант Осип Иванович Овсянников, отличавший меня перед всеми прочими; также успевал я в танцевании и фехтовании, чему учил сам Эллерт. Французский язык тоже шел хорошо по навыку, ибо никто не смел ни одного слова сказать по-русски, для чего учреждены были между учениками начальники: младшие означались красным бантом в петлице и надзирали над четырьмя учениками, а старшие чиновники отличались голубым бантом и надзирали над двумя младшими чиновниками; все они должны были смотреть, чтобы никто не говорил по-русски, не шалил и учил бы наизусть уроки, заданные для другого дня. Младшие имели право наказывать, если кто скажет слово по-русски, одним ударом по руке ферулою, а старшие чиновники — по два удара. Если Эллерт узнавал, что сии чиновники худо исполняли свою должность, или во зло употребляли власть, им данную, то наказывал их ужасным образом, а иногда лишал бантов. Чтобы заслужить такой знак отличия, надобно было вести себя хорошо и прилежно учиться; я почитаю, что поощрение это много способствовало к нравственности, но, впрочем, все было основано на побоях. Из учеников от такого славного воспитания много было изуродовано, однако ж пансион был всегда полон. За таковое воспитание платили сто рублей в год, на всем содержании Эллерта, кроме платья. Танц-ботдек<sup>9</sup> был два раза в неделю; много было девиц, которые приезжали учиться танцевать и за выучку платили по тридцати рублей, даже и взрослые, однако ж, и им не было спуска; одна была девица Лебедева, очень непонятная, один раз он отбил ей руки о спинку стула при многолюдном собрании; но до совершенного обучения менуэта<sup>10</sup> и контрадансов<sup>11</sup> никто не брал своих детей обратно. Сравните теперь воспитание того времени с нынешним, и верно мало тому поверите. Однако ж, касательно мальчиков, умеренная строгость не лучше ли неупотребления телесного наказания? Нужно, чтобы они с юности попривыкли даже и к несправедливостям.

Через год взяли меня из пансиона и привезли в Полоцк. В таком восхищении были мои родители, увидя меня выправленного, исправившегося от пороков, танцующего на балах, говорящего по-французски и о всех науках, хотя я говорил, как попугай, ничего не понимая, и потому вскоре все забыл!

Между тем Древич представил меня в аудиторы, хотя мне было только тринадцать лет; но как ему досталось в генерал-майоры, а полк принял мой внучатный дядя, Василий Васильевич Энгельгардт, племянник светлейшего

князя Потемкина, то вместо аудитора перевел меня в гвардию в Преображенский полк сержантом, в число служащих, а не недорослей\*.

Отец мой был пожалован вице-губернатором в Могилев. Генерал-майор Зорич выбыл из случая, причем пожаловано было ему местечко Шклов с тринадцатью тысячами душ. Первое употребление монаршей милости было то, что он завел училище, выписал хороших учителей; в оном я учился еще один год. Впоследствии сие училище названо кадетским корпусом, и в нем было до трехсот кадетов. Государыня дала привилегию этому зоричевскому корпусу, чтобы по экзамену принимать кадетов в армию офицерами, и многие из них были с большими сведениями, а особливо в математике. По смерти Зорича, казна приняла корпус на свой кошт, поместила сперва в Смоленске, потом в Гродно, а в 1812 году оный переведен в Кострому; ныне состоит в Москве.

По окончании года взят я был из оного училища и, для обучения практической геометрии и геодезии, отдан обер-квартирмейстеру Матвею Михайловичу Щелину, который, по дружбе к моему отцу, учил меня, как своего сына, в Орше; жил же я там у генерал-майора Б.; из благодарности умолчу о нем, но пребывание мое у него в доме много сделало мне вреда касательно нравственности.

Сим заключилось мое воспитание.

## II. ВРЕМЯ ДО ПРИБЫТИЯ МОЕГО НА СЛУЖБУ В ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК И НЕКОТОРЫЕ АНЕКДОТЫ

Еще во время пребывания моего в Шкловском училище, вышел из случая Иван Николаевич Корсаков. При дворе стал иметь большое влияние Александр Дмитриевич Ланской. Корсакову пожаловано было в Могилевской губернии 6000 душ, 200 000 рублей для путешествия в чужие края, бриллиантов и жемчугов было у него, как ценили тогда, более, нежели 400 000 рублей; судя по нынешнему курсу, имел он денег и вещей на 2 400 000 рублей. Как в жалованных ему деревнях еще не было построено-

---

\* Большею частью все дворяне записывали своих детей в гвардию, смотря по связям их, капралами, унтер-офицерами и сержантами; не имевшие же случая, записав малолетних своих детей недорослями, брали их к себе для воспитания до возраста; старшинство их считалось по вступлении в настоящую службу, а случайные вносились в список служащих; тогда давали им паспорта до окончания наук. В одном Преображенском полку считалось более тысячи сержантов, а недорослям не было и счёту. (Прим. автора.)

го дома, то выпросил он у тамошнего помещика Иозофовича деревню Желив, верстах в тридцати от Могилева, куда и приезжали к нему все родственники его из Смоленской губернии: нередко и отец мой с семейством своим ездил туда же и меня брал с собою. Как ни огромен был в Желиве дом и как ни много было при нем служб, но теснота бывала ужасная; в одной комнате помещалось фамилии по две; ежедневно одни приезжали, другие — уезжали, но менее осьмидесяти человек никогда не бывало; при таком множестве господ, сколько перебывало людей и лошадей? Более шести месяцев жил он таким образом; все, что можно придумать к увеселению и роскоши, все было придумано; посему, а еще более по беспорядку \*, он в короткое время прожил много из данных ему на путешествие денег. Я для того написал сие в начале главы, что впервые тогда начал пользоваться обществом, помышлять нравиться обоюдо пола людям и заслуживать к себе внимание.

1779. В 1779 году отец мой призван был вообще со всеми вице-губернаторами к императрице Екатерине Великой. Она хотела узнать от самых лиц, коим вверены казенные имущества, о доходах каждой губернии и отчетах и обстоятельствах пространной своей империи; видеть и узнать каждого, кому поручены ее финансы.

Я слышал от отца моего, в какую подробность и тонкость она входила, расспрашивая каждого глаз на глаз; многие лишены были своих мест, многих, при первых открывшихся местах, пожаловала она в губернаторы и иные государственные должности, по способности каждого, некоторых оставила при себе и помнила каждого из них, так что без всякого постороннего покровительства жаловала в свое время; в числе таковых впоследствии и отец мой удостоен пожалованием губернатором в Могилев, на место бывшего губернатора Петра Богдановича Пассека.

Вот как был представлен отец мой тогда ее величеству. Накануне генерал-прокурор, князь Александр Алексеевич Вяземский, повестил, чтобы батюшка на другой день в шесть часов явился пред кабинет государыни и чтобы сказал ее камердинеру доложить ей о нем.

В первом часу отец мой позван был в кабинет государыни. Государыня, пожаловав ему поцеловать ручку, спрашивала о его службе, и когда он сказал, что был капитаном в полку Мельгунова, то она сказала: «Так мы с вами знакомы, вы были караульным капитаном в Петергофе, когда я вступила на престол, я вас помню». Действительно, это было так, но отец мой, хотя был в коротком

---

\* Не только его слуги, но и люди гостей пивали шампанское. (Прим. автора.)

знакомстве с Орловыми, особенно с князем Григорьем Григорьевичем, с которым был в одно время адъютантом у графа Петра Ивановича Шувалова, но по его твердым правилам ему не открывали заговора; начальствовавшими же в Петергофе при императоре Петре III, державшими уже сторону императрицы, никакого особого наставления караульным дано не было, а потому ему вовсе заговор не был известен. Потом государыня расспрашивала о доходах Могилевской губернии; отец мой на многие подробности государыне донес, что не имеет верной памяти и; чтобы не сказать ложно, то просит позволения справиться с своею памятною книжкою, которая для сего нарочно была заготовлена и, которую вынув из кармана, тотчас дал отчет на спросы государыни со всеми подробностями. Императрица сказала: «Позвольте взглянуть на вашу память, которая гораздо лучше, нежели бы вы мне отвечали словами»; долго рассматривала книжку, в которой были помещены все ведомости и отчеты, со всеми обстоятельствами и замечаниями, сделанными собственною рукою моего отца, потом сказала: «Можете ли вы меня ею подарить? Я каждому вице-губернатору прикажу иметь таковую». Между прочим, говорила еще: «Отчего ваша губерния в прошлом году такую претерпевала в соли нужду, что жители принуждены были вымачивать сельди и тем солить свою пищу?» \* — Государыня, — отвечал мой отец, — сие донесено вам было ложно, свидетель этому сия же книжка, в которой изволите вы усмотреть, что великое количество соли от каждого года оставалось во всех магазинах. — Она, увидев ведомость о соли и уверившись в справедливости слов моего отца, сказала: «Я скажу вашему наместнику, что он имеет в вас человека, который справедливым удостоверительным образом отстаивает его», — что на другой же день и исполнила, сказав о том брату его, графу Ивану Григорьевичу Чернышеву \*\*. <...> Продержав же отца моего наедине более двух часов, пожаловала ручку и сказала: «Я бы желала, чтобы всех нашла таковых вице-губернаторов, хотя память ваша и хуже моей; доказательство тому, что я вас вспомнила, и будьте уверены и впредь о вас буду помнить».

---

\* Сие было выдуманно неприятелем бывшего тогда наместника, графа Захара Григорьевича Чернышева. (Прим. автора.)

\*\* При этом отец мой доложил, что как в Польше соль была гораздо дороже, и жители к тому привыкли, то казна имела бы великое приращение в доходах, если бы пустить соль в продажу по прежним ценам: жители бы повинность сию приняли без ропота и отягощения. Императрица сказала: «Нет, я с вами не согласна, пусть соль, соль необходимая для жизни и сохранения здоровья, будет даже с убытком казне, нежели наложить подать на народ!» (Прим. автора.)



1780. В следующий 1780 год императрица предприняла путешествие в новоприобретенный край, в белорусские губернии, и в Могилеве назначено было свидание с римским императором Иосифом II. Для принятия высоких путешественников делали большие приготовления; наместник, фельдмаршал граф Захар Григорьевич Чернышев, не щадил трудов, чтобы представить вверенные ему Полоцкую и Могилевскую губернии в лучшем устройстве, и действительно они были в самом цветущем состоянии, как по наружности, так и по внутренности, как по исполнительной, так и по судебной и хозяйственной части. Люди, им собранные, были отличной нравственности, сведущие в делах и деятельные; словом, сии губернии могли быть образцом для всей России.

Вначале жители не могли быть довольны новым правительством, и, правду сказать, граф принялся круто в том крае, где была совершенная анархия: паны поступали с своими крестьянами по произволу, даже и в жизни их были властны; который из них был богаче, тот утеснял бедных, как хотел; итак, могло ли им быть приятно, когда на всяком шагу останавливали их в буйных дерзостях? Делание же дорог произвело общий ропот. Зато дороги были не только от столиц, но и ко всем смежным губерниям и уездам таковы, каким во всей империи не было подобных; широкие, прямые дороги ведены были чрез леса, горы и буераки, по обеим сторонам вырыты были каналы и обсажены в два ряда березками, горы были скопаны, гати были сделаны по непроходимым зыбям и болотам; мосты прочные, переправы через реки безопасные; на почтовых станциях выстроены были домики и снабжены простыми, но достаточными мебельями, так что каждый проезжающий находил не только спокойный ночлег, но и все нужное. Граф склонил помещиков тех селений, где станции были учреждены, взять в свое смотрение не только сии домики, но и почтовых лошадей и почтальонов, одетых пристойно по образцу, как в Пруссии; казна по сходным ценам платила за то содержателям, так что они имели небольшой доход.

В городах, как губернских, так и уездных, присутственные места выстроены были каменные, в два этажа, с приличным расположением и архитектурой. Дома для государева наместника с большою залою, в коей был поставлен трон и все дворянство вмещалось для выборов, дома для губернатора, вице-губернатора и председателей палат, а в уездах — для городничих. Впоследствии, когда все сие учредилось, сей государственный человек всеми божаем.

Как императрица назначила для своего пребывания в Могилеве семь дней, то чтобы со стороны увеселений

было чем занять ее и двор, граф выписал из Петербурга придворную итальянскую оперу, а для концертов — придворную музыку и лучших артистов, в числе которых по тогдашнему времени славилась известная певица Бонафина; для праздников же построил на свое иждивение театр и просторную залу, по плану и содействиям славного архитектора Бригонция.

Собран был корпус войск из лучших полков: первого кирасирского, двух гусарских, одного драгунского, пяти пехотных, пятидесяти орудий полевой артиллерии и двух полков донских казаков под командою генерал-поручика Степана Матвеевича Ржевского, известного по тактическим познаниям и некоторым военным сочинениям, которых, однако ж, в печать не выдал; им приготовлены были для императора маневры.

За месяц до прибытия государыни съехались иностранные министры, часть двора, множество иностранцев, а особливо знатных и богатых польских вельможных панов; тогда Могилев уподоблялся более многолюдному, столичному, нежели губернскому городу. Беспрестанные были праздники, балы и карточная игра, каковой, конечно, прежде в России не бывало, да и сомнительно, было ли и после; граф Сапега проиграл тогда все свое знатное имение\*.

Наконец государыня через Псковскую и Полоцкую губернии прибыла к границе Могилевской, где отец мой встретил ее, а губернатор послан был встречать императо-

---

\* Случилось в то время странное видение бывшему тогда губернатору Петру Богдановичу Пассеку; он был страстный игрок: в одну ночь проиграв тысяч с десять, сидел около трех часов у карточного стола и вздремнул, как вдруг, очнувшись, сказал: attendez <пождидите; фр.>; приснился мне седой старик с бороδοю, который говорит: «Пассек, пользуйся, ставь на тройку 3000, она тебе выиграет соника<sup>12</sup>, загни пароли<sup>13</sup>, она опять тебе выиграет соника, загни сестелева<sup>14</sup>, и еще она выиграет соника». Ба, да вот и тройка лежит на полу; идет 3000». И точно, она сряду выиграла три раза. Но сие видение тем и кончилось. Пассек был ленивый человек. Граф Захар Григорьевич требовал деятельности, а потому Пассек беспрестанно получал от него выговоры и взыскания; в один день получает он из Полоцка от графа строгий выговор; на тот раз был у него мой отец и многие другие его приятели из тамошних чиновников. «Нет, братцы, говорит он, я решился идти в отставку, долго ли терпеть такие неудовольствия, да и старик мой, который заставил меня выиграть 21 000, сегодня приснился мне и сказал: «Полно, Пассек, грустить, поди в отставку, тебя не оставят, но не пройдет трех месяцев, как пожалуют тебя сенатором, а ровно через год от сего дня главнокомандующий в Москве князь В. М. Долгорукий умрет, на его место будет граф Захар Григорьевич, тебя же пожалуют на место последнего». Отец мой записал сей день, и он точь-в-точь в год сбылся. Нужно заметить, что князь Долгорукий летами был гораздо моложе графа Чернышева и был здоров. (Прим. автора).

ра Иосифа под именем графа Фалкенштейна, ехавшего со стороны Галиции. Императрица пожаловала отцу моему поцеловать ручку и сказала: «Если бы я сама не видела такого устройства в Белоруссии, то никому бы не поверила, а дороги ваши, как сады». Перед въездом в Могилев императрица ночевала в Шклове, где была угощаема Зоричем, а на обратном пути обещала пробыть в Шклове одни сутки.

Встреча в Могилеве была самая великолепная; в трех верстах построены были триумфальные ворота прекраснейшей архитектуры, между ними и городом поставлены были войска, а по другой стороне народ и мещанство с их цеховыми значками. У самых триумфальных ворот встретил государыню наместник граф Захар Григорьевич Чернышев с чиновниками губернии и дворянством с их предводителями, верхами; у городских ворот — прибывший накануне фельдмаршал, граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин и все бывшие тут генералы; перед каретою императрицы ехал эскадрон кирасир. В сопровождении всех вышеупомянутых особ, при громе пушек и звоне колоколов, императрица прибыла прямо к собору, где встречена была с крестом и св<ятой> водою преосвященным Георгием, архиепископом могилевским; приложась к образам и отслужив благодарный молебен, она отправилась в дом наместника, где имела свое пребывание. Там встречена была римско-католическим архиепископом Сестренцевичем с духовенством и с супругою наместника, статс-дамою графинею Анною Родионовною Чернышевою с дамами.

На другой день императрица осматривала присутственные места, и после представлялись ей чиновники губернии и дворянство. В тот же день к обеду прибыл и император в сопровождении своего генерал-адъютанта и фаворита Когцейна\*. Вечером представлялись все дамы; после чего при дворе был бал.

Не знаю, справедливо ли, но распространился слух, что императрица позвала к себе фельдмаршала, графа Петра Александровича, и говорила ему о плане союза с Австриею; надобно знать, что с самого вступления на престол императрицы дворы российский и прусский связаны были тесным союзом; фельдмаршал страстно был привержен к Пруссии; в Семилетнюю войну он уже известен

---

\* Оный Когцейн на третий день приезда в Могилев, ночью хотел утолить жажду, схватил графин воды, который лопнул; мелкие части стекла врезались в руку его, отчего сделался антонов огонь, и на другой день он умер. Погребли его уже по отъезде двора с подобающею по чину его военною почестию. (Прим. автора.)

был взятием Кольберга <sup>15</sup>, а потом был с вспомогательным корпусом в конце царствования Петра III, при короле прусском Фридрихе II, против австрийцев; при восшествии же на престол Екатерины II оставался зрителем побед Фридриха Великого. С того времени фельдмаршал был обворожен его воинским и государственным гением; впоследствии два раза был в Пруссии с наследником для женитьбы его, сперва на прежней великой княгине Наталье Алексеевне, урожденной принцессе Дармштадтской, а потом на нынешней императрице Марии Федоровне, принцессе Вюртембергской, да и сама императрица Екатерина Алексеевна была принцесса Цербстская, родственница короля прусского Фридриха II. Король чрезвычайно уважал фельдмаршала, и он со всеми славными прусскими генералами был в коротком знакомстве, восхищался прусскою армиею, конечно, тогда лучшею в свете, и с тех самых пор постоянно твердо оба двора хранили союз; новый же союз с Австриею, по природе враждебною Пруссии, предложен был князем Потемкиным, личным неприятелем по некоторым причинам с фельдмаршалом <sup>16</sup>. Естественно, что он опровергал этот союз, но государыня утверждала, «что союз сей касательно турецкой войны выгоден, и князь Потемкин то советует»; фельдмаршал сказал: «Государыня, вам не нужно ни от кого принимать советы: свой ум — царь в голове». Императрица отвечала: «Правда, но есть и другая русская пословица: один ум хорош, а два лучше». Несмотря на представление фельдмаршала, союз с Австриею был заключен лично между двумя монархами <sup>17</sup>.

В течение нескольких дней по утрам производились маневры в присутствии императора, а по вечерам продолжались праздники. На четвертый день пребывания двора, бывши во дворце, граф Захар Григорьевич говорил князю Потемкину, чрез которого текли все милости и с которым он был тогда в приятном обхождении, что очень бы ему желалось, если бы государыня наградила достойного пастьеря преосвященного Георгия панагиею <sup>18</sup> — князь с удовольствием взялся доложить об этом императрице и тогда же пошел в кабинет ее величества, откуда вышед чрез короткое время и отдавая графу панагию, сказал: «Извольте отвезти сами желаемое вами награждение архиепископу». Граф тем обиделся и сказал: «У вас есть на то адъютанты, а я уже стар для рассылок». Явно, что князь хотел тем услужить графу, но видя его гордый ответ, приказал при нем своему адъютанту отвезти панагию к архиерею, а сам пошел к государыне и пожаловался за сделанную ему при всех грубость. Императрица разгневалась и с тех пор уже обращалась с графом холодно. Щедрые награждения орденами, чинами и подарками, какие

были приготовлены чиновникам в белорусских губерниях, остались без действия. Светлейший князь в тот же день отправился. Кажется, что граф напрасно погорячился и тем самым лишил себя и подчиненных своих многих ожидаемых милостей.

В пятый день заложена была церковь во имя Иосифа, для здания которой императрица и император назначили значительные суммы; при этом императрица после коленопреклоненной молитвы, вместо того, чтобы позволить себя приподнять графу, обернулась к губернатору Пассеку и, подав ему руку, сказала: «Петр Богданович, поспособите мне встать». После того ее величество уже не была, как до сего, ни на каком угощении.

В седьмой день поутру императрица отправилась с императором Иосифом в Шклов. Зорич к приезду ее построил преогромный дом, богато убранный, выписал из Саксонии фарфоровый сервиз, стоивший более шестидесяти тысяч рублей. Благородные представили пантомиму на театре, бывшем в том же доме, с чрезвычайными декорациями, которых было до семидесяти; сочинил оную, а также и музыку, костюмы и декорации барон Ванджурье, отставной ротмистр австрийской службы; император его тотчас узнал и объявил ему сожаление, что он оставил его службу. После ужина был сожжен фейерверк, деланный несколько месяцев артиллерии генерал-майором Петром Ивановичем Мелиссино; павильон из 50 000 ракет был достоин своего мастера и стоил чрезвычайно дорого.

На другой день императрица отправилась в С.-Петербург через Смоленск и Новгород, а император через Москву.

По отбытии императрицы был обед у архиерея Георгия, где граф Захар Григорьевич изъявил свое огорчение; после нескольких рюмок вина он сказал: «Ну, друзья мои, я виноват, что никто из вас не награжден; признаюсь, не кстати разгорячился; ну вот, по крайней мере, жалованье государыни жене моей разделю с вами». Затем он порвал ожерелье жемчужное у сидевшей возле его графини, которое рассыпалось и которое после подобрали.

Через несколько дней Могилев из многолюдного города сделался пустой и принял свой вид. В исходе всего года Пассек вышел в отставку, а отец мой на его место пожалован губернатором.

1781. В 1781 году наследник престола, великий князь Павел Петрович с великою княгинею проезжал чрез Могилев в чужие края. Отец мой провожал его чрез всю губернию. Граф Захар Григорьевич Чернышев в Чесерске, местечке, принадлежавшем ему, угостил великого князя великолепно, был благородный театр; были даны опера «Новое семейство»<sup>19</sup>, для сего случая сочиненная бывшим

тогда полковником С. К. Вязмитиновым, а музыка оной — графским адъютантом г. Фрейлихом; потом французская комедия «Anglomanie»; спектакль кончился прологом, играным детьми и сочиненным графским секретарем Федором Петровичем Ключаревым. Я и старшая сестра моя играли в опере. По окончании театра актеры представлены были их высочествам. Великий князь спросил отца моего, записан ли я в службу. Как он отвечал, что записан в Преображенском полку сержантом, — великий князь сказал: «Пожалуйста, не спешి отправлять его на службу, если не хочешь, чтоб он развратился». После ужина сожжен фейерверк. На другой день их высочества отправились в Гомель, местечко, принадлежавшее фельдмаршалу графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому, где были им угощаемы, и продолжали далее путь свой.

В сем году граф Захар Григорьевич Чернышев пожалован был главнокомандующим в Москве <sup>20</sup>, а Петр Богданович Пассек на место его в Могилев.

1782. В 1782 году светлейший князь Потемкин, проезжая чрез Могилев, обещал отцу моему взять меня к себе в адъютанты, и в сем году приобрел он полуостров Крым <sup>21</sup>, который назван Таврическою губернию. Светлейший князь пожалован генерал-губернатором, как в оной губернии, так и в Новороссийской и Херсонской.

Вот происшествие, случившееся во время проезда его светлости. Со времени случая Зорича они между собою были неприятели; хотя князь и не имел к Зоричу ненависти, но тот всегда думал, что он к нему не благоволит; чтобы доказать противное, светлейший князь остается в Шклове на целый день. Один еврей просил позволения переговорить с князем наедине, князь, не ожидая ничего важного, не хотел было его к себе допустить, но как тот еврей безотвязно просил о том, то князь и велел ввести его к себе в особливую комнату. Еврей показывает сторублевую ассигнацию: «Видите ли, ваша светлость, что она фальшивая?» Князь долго рассматривал, и не находил ничего, так она хорошо была подделана, подпись сенаторов и разными чернилами, казалось, не могла быть подвергнута ни малейшему сомнению. «Ну, что же тут, покажи», — сказал князь; тогда жид показывает, что вместо «ассигнации» напечатано «ассигнация». — «Где ты ее взял?» — «Если вашей светлости угодно, я вам чрез полчаса принесу несколько тысяч». — «Кто же их делает или выпускает?» — спросил князь. — «Камердинер графа Зановича <sup>22</sup> и карлы Зоричевы». Князь дал еврею тысячу рублей и приказал, чтоб он променял их на фальшивые ассигнации и привез бы ему на другой день в местечко его Дубровну, недавно им купленное, от Шклова по Смоленской дороге верстах в семидесяти.

Отпустив еврея, князь притворился нездоровым и в тот же день, до выздоровления, возвратился в Дубровну и послал за отцом моим, чтоб он туда к нему приехал; на другой день, как скоро батюшка мой к нему явился, князь полученный уже тогда пук ассигнаций показав ему, сказал: «Видишь, Николай Богданович, у тебя в губернии делают фальшивые ассигнации, а ты не знаешь? Как скоро я проеду Могилев, то ту же минуту поручи уголовной палаты председателю Малееву провести следствие, не щадя ни самого Зорича, ежели будет в подозрении; я для того не хочу, чтобы ты сам следовал, чтобы в изыскании вины Зорича и его друзей-плутов не был употреблен Энгельгардт, мой родственник».

Теперь я делаю отступление и скажу о жизни Зорича и о Шклове. Ни одного не было барина в России, который бы так жил, как Зорич. Шклов был наполнен живущими людьми всякого рода, звания и наций; многие были родственники и прежние сослуживцы Зорича, когда он служил майором в гусарском полку, и жили на его совершенном иждивении; затем отставные штаб и обер-офицеры, не имеющие приюта, игроки, авантюристы всякого рода, иностранцы, французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване, турки, словом, всякий сброд и побродяги; всех он ласково принимал, стол был для всех открыт; единственно для веселья съезжалось даже из Петербурга, Москвы и разных губерний лучшее дворянство к 1 сентября, дню его именин, на ярмарки два раза в год, и тогда праздновали недели по две и более; в один раз было три рода благородных спектаклей, между прочими французские оперы играли княгиня Катерина Александровна Долгорукая, генерал-поручица графиня Мелина и прочие, соответствующие сим двум особам дамы и кавалеры; порусски трагедии и комедии — князь Прокофий Васильевич Мещерский с женою и прочие; балет танцевал Д. И. Хорват с кадетами и другими, польская труппа была у него собственная. Тут бывали балы, маскарады, карусели, фейерверки, иногда его кадеты делали военные эволюции, предпринимали катания в шлюпках на воде. Словом, нет забав, которыми бы к себе хозяин не приманивал гостей и много от него наживались игрою. Хотя его доходы были и велики, но такового рода жизнь ввела его в неоплатные долги.

В числе живущих у него был турецкий князь Иван-Бей, второй сын сестры царствовавшего султана; когда Зорич был в плену, он с ним был знаком и пользовался его благодеяниями. Сей князь был воспитан тайно под чужим именем, ибо по турецким законам сестра султана одного только может иметь в живых сына, а последующих должна при рождении задушить. По материнской природ-

ной нежности мать сберегла его, когда же начали догадываться, что он близкий человек султану, тогда мать его отправила в чужие края, и он, быв во Франции, данные ему деньги все прожил, а более ему не присылали. Вспомнив свое знакомство с Зоричем, приехал в Шклов просить взаимной помощи, в чем ему и не было отказано. Он был прекрасный и любезный человек, говорил хорошо по-французски и скоро выучился изрядно говорить по-русски; впоследствии старший брат его умер, и султан, узнав о нем, позволил ему возвратиться в Константинополь. Многие русские потом его там видели и сказывали, что дан ему чин подавать султану умываться. Я для того сказал о нем, что можно ли было подозревать кого-либо, с каким намерением кто там жил? Тем более Зановичи могли быть без малейшего замечания, ибо они приехали как путешественники, познакомившись в Париже с Неранчицем <sup>23</sup>, родным братом Зорича, которого и ссудили немалым числом денег, приехали же, имея паспорта, жили роскошно и вели большую банковую игру.

По следствию открылось, что как Зорич был много должен, то Зановичи хотели заплатить за него долги, а Шклов с принадлежавшим имением взять в свое управление на столько лет, пока не получат своей суммы с процентами, Зоричу же давать в год по сто тысяч рублей, по тогдашнему времени большую сумму; для сего просиживали они с ним, запершись, ночи, уговаривая его по сему предмету, и употреблең в посредство учитель, бывший в корпусе, Сальморан. Зорич говаривал, что скоро заплатит свои долги и будет опять богат, что и подало подозрение, что он участвовал в делании фальшивых ассигнаций. Тоже послужило к таковому невыгодному для него мнению, что два карла меняли фальшивые ассигнации; это случилось от того, что они держали карты, а на больших играх, особливо когда Зановичи метали банк, за карты давали по сто рублей и более.

Графы Зановичи родом из Далмации; меньшей из них был иезуитом; по уничтожении сего ордена монахов, возвратился к брату, который, прожив имение, стал жить на счет ближних разными оборотами; оба получили хорошее воспитание, при большом уме обогащены были познаниями; во многих были государствах и везде находили простачков, пользовались то игрою, то другими хитрыми выдумками; сказывали даже, что их портреты в Венеции были повешены, а они, сделав какое-то криминальное дело, успели ускользнуть; таким образом встретились с Неранчицем в Париже, как сказано прежде, и видно, что план их тогда же имел основание.

Когда уговорили Зорича на их предложение, то старший остался в Шклове, а меньшей уехал за границу под



видом там продать свое имение и приехать с деньгами для заплаты долгов Зорича, но истинный предмет был, чтобы там наделать фальшивых ассигнаций и уже приехать с готовыми в Россию, и для делания оных привезти инструменты; он был за границую несколько месяцев, а по возвращении проживал с полгода в Шклове до приезда светлейшего князя. С отъездом его светлости в Дубровну, меньшей Занович с Сальмораном отправились в Москву.

Отец мой послал одного курьера обогнать его и известить главнокомандующего в Москве, а другого вслед — для надзирания за Зановичем.

Председатель Малеев, получив наставления, с земскою полициею и губернскими драгунами отправился в Шклов, ночью застал старшего графа Зановича в постели, отправил его за караулом в Могилев, прямо в губернское правление; квартиру его окружили караулом; также взяты Зоричевы карлы, а с самого Зорича взята подписка не выезжать из дома, пока не сделает ответа на запросные пункты. На квартире Зановича по осмотре ничего подозрительного не оказалось; найдено тысячи две рублей золотом, несколько сотен фальшивых ассигнаций и несколько вещей из дорогих камней. Камердинер его оказался его любовницею итальянкою, но она ничего не знала, ибо она только ночевала на квартире, а в прочее все время была в доме у Зорича. Князь Иван-Бей был великий неприятель сих побродяг, беспрестанно с ними ссорился и неоднократно уговаривал Зорича, чтобы их прогнал.

Меньшой Занович схвачен был в Москве у самой заставы; найдено с ним с лишком 700 000 фальшивых ассигнаций, все сторублевых. Стакнувшись с братом, он показывал то же; потом, по признании их вины, заключены они были в крепость Балтийский порт<sup>24</sup>. Во время нападения на оный порт шведов в 1789 году, по малочисленному гарнизону, арестанты были выпущены для защиты оного; Зановичи оказали особливую ревность и разумными советами некоторые услуги, за что по освобождении порта высланы за границу.

В Шклове было множество бродяг, так что ежели случалась нужда отыскивать какого-нибудь сорванца, то государыня приказывала посмотреть, нет ли его в Шклове, и иногда точно его там находили. Между прочими, во время французской революции в 1792 году, граф де Монтегю, бывший капитан корабля во французском флоте королевской службы, под видом эмигранта императрицею принят был в Черноморский флот; он, проезжая Шклов, притворился больным и оставался там не малое время. Почтмейстеру казался он подозрителен тем более, что не

успел туда приехать, как через Ригу адресованы были на его имя иностранные газеты. Один раз почтмейстер решился распечатать и, осматривая с прилежанием, заметил, что на одном листке между строк шероховато, а когда поднес к огню, оказалось написанное и открылось, что Монтегю был якобинец и ему было поручено сжечь наш черноморский флот. Сего Монтегю отправили за караулом в С.-Петербург; впоследствии на эшафоте изломали над ним шпагу, и сослан он был в Сибирь в работу 1783. В июле 1783 года мать моя по болезни отправилась в Нарву (и меня с собою взяла) пользоваться там от главного доктора г. Сандерса; где пробыв до сентября и не получая облегчения в своей болезни, отправилась в С.-Петербург. По прибытии туда, явился я на службу в Преображенский полк; майором тогда был генерал-майор Николай Алексеевич Тагищев, приятель моего отца. Отыскал, что я написан в списке служащих и уже состою в третьей сотне и числюсь в 1-й мушкетерской роте.

### III. ВСТУПЛЕНИЕ МОЕ В СЛУЖБУ ДО ОТКРЫВШЕЙСЯ ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ В 1788 ГОДУ

Служба моя в гвардии ничтожна и кратковременна; некоторое время я был при роте и раза два дежурил, потом записан был в уборные. Так назывались сержанты, избираемые по высокому росту: одеты они были в обыкновенные тогдашние мундиры; шишаки<sup>25</sup> вроде римских с богатою серебряною арматурою и панашем из страусовых перьев<sup>26</sup> украшали их головы; сума для патронов тож с серебряною арматурою. Сии уборные сержанты стояли по два на часах перед кавалергардскою залой<sup>27</sup>, куда только впускались до капитана; но в дворянском мундире всякий имел право туда входить: я хаживал, быв сержантом гвардии, как и прочие мои товарищи, не в службе, в дворянском мундире, который во всяком чине дворянин имел право носить. За сею залою была тронная, у дверей которой стояли по два кавалергарда; не все генерал-поручики и тайные советники имели туда вход, но те только, которые имели на то позволение. Кавалергарды были не то, что теперь; их было всего шестьдесят человек; выбирались по желанию каждого; высокого роста, из дворян; они все считались поручиками в армии; капралы<sup>28</sup> были штаб-офицеры, вахтмейстер<sup>29</sup> — полковник, корнет<sup>30</sup> — генерал-майор, поручик был светлейший князь Потемкин; ротмейстер<sup>31</sup> — сама императрица; должность их была стоять по двое на часах у тронной, а когда императрица хаживала пешком в Александро-Невский мона-

стырь, 30 августа, в день сего святого, то и они все ходили по сторонам ее; мундир их парадный был синий бархатный, обложен в виде лат кованым серебром и шишак тож из серебра и очень тяжелый.

По приезде светлейшего князя из Херсонской губернии, определен я был к нему с четырьмя другими сержантами на ординарцы; сим заключилась служба моя в гвардии. 1783 года в декабре его светлость взял меня к себе в адъютанты; он тогда еще был генерал-аншефом и вице-президентом военной коллегии<sup>32</sup>. По чину имел одного генерал-адъютанта премьер-майорского чина, двух флигель-адъютантов капитанского чина, да такое же число адъютантов по званию шефа екатеринославской конницы. Адъютанты его, как он был вице-президентом военной коллегии, имели право носить все армейские мундиры, кроме артиллерийского; и вообще у всего генералитета адъютанты носили мундиры тех войск, какие у них были в команде; общий знак адъютантов был аксельбант<sup>33</sup> на правом плече.

Князь жил во дворце; хотя особливый был корпус, но на арках была сделана галерея для прохода во дворец через церковь, мимо самых покоев императрицы.

Лишь только я вступил в свое лестное, по тогдашнему времени, звание, как по разным причинам государыня оказала к князю немилость, и уже он собирался путешествовать в чужие края и экипажи уже готовились. Князь перестал ходить к императрице и не показывался во дворце; почему, как из придворных, так и прочих знатных людей, никто у него не бывал; а сему следуя, другие всякого звания люди его оставили; близ его дома ни одной кареты не бывало; а до того вся Миллионная<sup>34</sup> была заперта экипажами, так что трудно было и проезжать. Княгиня Дашкова, бывшая в милости и доверенности у императрицы, довела до сведения ее через сына своего, бывшего при князе дежурным полковником, о разных неурядицах в войске: что слабым его управлением вкралась чума в Херсонскую губернию, что выписанные им итальянцы и другие иностранцы для населения там пустопорожных земель, за неприготовлением им жилищ и всего нужного, почти все померли, что раздача земель была без всякого порядка, и окружающие его делали много злоупотребления и тому подобное; к княгине Дашковой присоединился А. Д. Ланской.

Императрица не совсем поверила доносу на светлейшего князя, и через особых верных ей людей тайно узнала, что неприятели ложно обнесли уважаемого ею светлейшего князя, как человека, способствовавшего к управлению государством; лишила милости княгиню Дашкову, отставила ее от звания директора Академии<sup>35</sup>, а на место

ее пожаловала г. Домашнева; князю возвратила доверенность.

Светлейший князь, в один день проснувшись, на столе близ кровати видит пакет, положенный его камердинером из греков Захаром Константиновым, и который прислан был от императрицы с тем, чтобы для сего князя не будить; он, проснувшись и прочитав оный, закричал: «Попова!» (Так звали правителя его канцелярии). Я, бывши тогда дежурным, позвал его; князь подал ему бумагу и сказал: «Читай». То был указ о пожаловании князя президентом военной коллегии, то есть фельдмаршалом. Василий Степанович Попов, тогда бывший подполковником, выбежал в комнату перед спальнею и с восторгом сказал: «Идите поздравлять князя фельдмаршалом». Я на тот раз один только и был; вошел в спальню, поздравил его светлость; он встал с постели, надел мундирную шинель, повязал на шею шелковый розовый платок и пошел к императрице. Не прошло еще двух часов, как уже все комнаты его были наполнены, и Миллионная снова заперлась экипажами; те самые, которые более ему оказывали холодности, те самые более перед ним пресмыкались; двое, однако ж, во время его невзгодья показали к нему приверженность, а именно камергеры Евграф Александрович Чертков и Александр Федорович Талызин.

Штат по чину его увеличился двумя генерал-адъютантами в чине подполковников, и еще двумя флигель-адъютантами в прежних чинах. Остался прежний его генерал-адъютант Рибопьер, а другого взял меньшого сына фельдмаршала графа Кирилла Григорьевича Разумовского, по Екатеринославской коннице из его флигель-адъютантов в генерал-адъютанты Мамонова, который впоследствии стал значительным лицом при дворе.

Теперь почитаю приличным сказать вкратце о происхождении и истории моего генерала, игравшего роль, какую никто никогда в России не представлял и так не был силен.

Род светлейшего князя Потемкина был польский; с завоеванием Смоленска предки его остались в России; были дворяне, но ни одного не было, который бы занимал высокие государственные должности. Петр Великий употреблял одного Потемкина для посольства в Англию<sup>36</sup>; но по возвращении ничем его не почтил. Отец знаменитого сего человека, окончив службу в гарнизоне капитаном, жил в поместье своем, недалеко от Смоленска. Князь Григорий Александрович родился в 1736 году<sup>37</sup>, в деревне Чижове, которая досталась по праву наследства от сестры его, бывшей за Василием Андреевичем Энгельгардтом, племяннику его Василию Васильевичу Энгельгардту; другая сестра его была за Самойловым, а третья—за Высоцким. До

двенадцати лет он воспитывался при своих родителях. За недостатком учебных заведений отец записал его в Смоленскую семинарию; но, заметя в нем пылкий ум, отправил в гимназию Московского университета. В характере Потемкина оказывалось в то время много странности. «Хочу непременно быть архиереем или министром», — часто твердил он своим товарищам. Поэзия, философия, богословие и языки латинский и греческий были его любимыми предметами; он чрезвычайно любил состязаться, и сие пристрастие осталось у него навсегда; во время своей силы он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрять себя в познаниях.

Родители его почли, что военная служба будет ему выгоднее; по ходатайству некоторых господ записали его в конную гвардию унтер-офицером и отправили на службу; по дошедшей до него очереди сделан он вахмистром. В сем чине был он, когда в 1762 году взошла на престол Екатерина II. Образ его жизни доставил ему знакомство с важнейшими особами<sup>38</sup>, участвовавшими в сей государственной перемене. Во весь день 28 июня находился он вблизи государыни; был в ее свите, когда она поехала в Петергоф.

Екатерина II, вступив на престол, пожаловала Потемкина офицером гвардии и потом камер-юнкером; он послан был в Стокгольм курьером к находившемуся там российскому посланнику графу Остерману с известием о ее воцарении.

Возвратившись из Швеции, он умел войти в теснейшую связь с особами, всегда окружавшими императрицу, и сделался более известным Екатерине, принят был в ее общество, состоявшее из небольшого числа известных людей. Потемкин был прекрасный мужчина; имел привлекательную наружность, приятную и острую физиономию, был пылок и в обществе любезен.

Потемкин встретил при дворе некоторые неприятности; в 1769 году война с Турциею подала ему случай удалиться на несколько времени из столицы; пожалованный камергером, отправился он в армию волонтером<sup>39</sup>, где участвовал во многих военных действиях в продолжении сей войны. Фельдмаршал Румянцев о славных победах послал его с донесением к государыне. Государыня пожаловала его генерал-поручиком и генерал-адъютантом<sup>40</sup>, и он снова принят был в число приближенных к императрице. Через несколько времени сделался пасмурным, задумчивым, наконец, оставил совсем двор; переехал в монастырь Александра Невского, объявил, что желает там постричься, от-

растил бороду и носил монашеское платье. Великая монархиня, видя в нем отменное дарование государственного человека <sup>41</sup>, вызвала его из сего уединения, пожаловала генерал-аншефом, подполковником Преображенского полка, осыпала всеми щедротами и почестями, а при заключении мира с турками почтила графским достоинством, как непосредственно способствовавшего своими советами. В 1776 году римский император Иосиф II прислал ему диплом на императорско-княжеское достоинство с титулом светлейшего. Имел все российские ордена, кроме Св. Георгия <sup>42</sup> (который получил после), ордена всех европейских держав, кроме Золотого Руна <sup>43</sup>, Св. Духа <sup>44</sup> и Подвязки <sup>45</sup>. Впоследствии и в свое время сказана будет окончательная его история.

Принц де Линь так его портрет изобразил: «Показывая вид ленивца, трудится беспрестанно; не имеет стола, кроме своих коленей; другого гребня, кроме своих ногтей; всегда лежит, но не предается сну ни днем, ни ночью; беспокоится прежде наступления опасности и веселится, когда она настала, унывает в удовольствиях; несчастен от того, что счастлив; нетерпеливо желает и скоро всем наскучивает; философ глубокомысленный, искусный министр, тонкий политик и вместе избалованный девятилетний ребенок; любит бога, боится сатаны, которого почитает гораздо более и сильнее, нежели самого себя; одною рукою крестится, а другою приветствует женщин; принимает бесчисленные награждения и тотчас их раздает; лучше любит давать, чем платить долги; чрезвычайно богат, но никогда не имеет денег; говорит о богословии с генералами, а о военных делах с архиереями; по очереди имеет вид восточного сатрапа <sup>46</sup> или любезного придворного века Людовика XIV и вместе показывает изнеженного сибарита <sup>47</sup>. Какая же его магия? Гений, потом гений — и еще гений; природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздавании наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он сам не знает, и величайшее познание людей; это настоящий портрет Алкивиада».

По моей молодости и неопытности почти вовсе не доходило до моего сведения ничего, касательно дворских интриг, но скажу: каким образом двор по наружности всем был известен. В каждое воскресенье и большой праздник был выход ее величества в придворную церковь; все, как должностные, так и праздные, собирались в те дни во дворце; те, которые имели вход в тронную залу, ожидали ее величества там; имеющие вход в кавалергардскую залу, в сей зале — и тут более всех толпились; а прочие собирались в зале, где стояли на часах уборные гвардии

сержанты. Военные должны были быть в мундирах и шарфах, статские — во французских кафтанах или губернских мундирах и башмаках; все должны были быть причесаны с буклями и с пудрою; обер-гофмаршал и гофмаршалы заранее, до выхода императрицы, ходили по кавалергардской зале и, ежели усматривали кого неприлично одетым, то просили такового вежливо выйти. За несколько времени наследник, великий князь с великою княгинею из своей половины переходили во внутренние комнаты государыни, которая в половине одиннадцатого часа выходила в тронную, где чужестранные министры, знатные чиновники и придворные ее ожидали. Там представлялись приезжие, или по иным каким причинам имеющие вход за кавалергардов; там она удостаивала со многими разговаривать. В одиннадцать часов отворялись двери; первый выходил обер-гофмаршал с жезлом, за ним пажи, камер-пажи, камер-юнкеры, камергеры и кавалеры, по два в ряд; пред самую императрицу светлейший князь. Государыня всегда имела милый, привлекательный и веселый, небесный взгляд. Ежели были приезжие или отъезжающие, или благодарить ее за какую милость, но не имеющие входа в тронную, то представляемы были тут обер-камергером, и государыня жаловала целовать им ручку; за императрицею шел великий князь рядом с великою княгинею; за ними статс-дамы, камер-фрейлины и фрейлины по две в ряд. Тем же порядком государыня возвращалась во внутренние комнаты. Императрица кушала в час. Ежели кто хотел быть представлен великому князю и великой княгине, то представлялся на их половине в день, когда их высочества сами назначат.

Каждое воскресенье был при дворе бал или куртаг<sup>48</sup>. На бал императрица выходила в таком же порядке, как и в церковь; перед залом представлялись дамы и целовали ее ручку. Бал всегда открывал великий князь с великою княгинею менуэтом; после них танцевали придворные и гвардии офицеры; из армейских ниже полковников не имели позволения; танцы продолжались: менуэты, польские и контрадансы. Дамы должны были быть в русских платьях, то есть особого покроя парадных платьях, а для уменьшения роскоши был род женских мундиров по цветам, назначенным для губерний. Кавалеры все должны были в башмаках; все дворянство имело право быть на оных балах, не исключая унтер-офицеров гвардии, — только в дворянских мундирах.

Императрица игрывала в карты с чужестранными министрами или кому прикажет; для чего карты подавали тем по назначению камер-пажи; великий князь тоже играл за особливый столик. Часа через два музыка переставала играть; государыня откланивалась и тем же порядком от-

ходила во внутренние комнаты. После нее спешили все разъезжаться.

В новый год и еще до великого поста бывало несколько придворных маскарадов. Всякий имел право получить билет для входа в придворной конторе. Купечество имело свою залу, но обе залы имели между собою сообщение, и не запрещалось переходить из одной в другую. По желанию, могли быть в масках, но все должны были быть в маскарадных платьях: доминах<sup>49</sup>, венецианах<sup>50</sup>, капуцинах<sup>51</sup> и проч. Императрица сама выходила маскированная, одна без свиты. В буфетах было всякого рода прохладительное питье и чай; ужин был только по приглашению обер-гофмаршала, человек на сорок в кавалерской зале. Гвардии офицер наряжался для принятия билетов; ежели кто приезжал в маске, должен был пред офицером маску снимать. Кто первый приезжал и кто последний уезжал, подавали государыне записку; она была любопытна знать весельчаков. Как балы, так и маскарады начинались в шесть часов, а маскарад оканчивался за полночь.

Один раз в неделю было собрание в эрмитаже, где иногда бывал и спектакль; туда приглашаемы были люди только известные; всякая церемония была изгнана; императрица, забыв, так сказать, свое величество, обходилась со всеми просто; были сделаны правила против этикета; кто забывал их, то должен был в наказание прочесть несколько стихов из «Телемахида», поэмы старинного сочинения Тредьяковского.

У великого князя по понедельникам были балы, а по субботам на Каменном острове, по особому его приглашению, лично каждого чрез придворного его половины лакея; а сверх того наряжались по два гвардии офицера от каждого полка.

В Европе славилась тогда певица г-жа Тоди и певец Маркези; никогда они вместе не съезжались, но императрица убедила их обоих прибыть в Петербург. Г. Сарти, известный сочинитель музыки, сочинил оперу «Армида и Рено»<sup>52</sup>; все арии согласовались с желанием сих двух именитых артистов. Во время представления, один над другим стараясь одержать поверхность, пением своим они удивляли и восхищали знатоков и любителей музыки.

Образ жизни вельмож был гостеприимный, по мере богатства и звания занимаемого; почти у всех были обеденные столы для их знакомых и подчиненных; люди праздные, ведущие холостую жизнь, затруднялись только избранием, у кого обедать или проводить с приятностию вечер. В сем случае фельдмаршал, граф Кирилл Григорьевич Разумовский\*, отличался от прочих. У него ежедневно

---

\* Который никогда и ротой не командовал. (Прим. автора.)



был открытый стол для пятидесяти человек; много бывало у него за столом таких гостей, которых он никогда не знал. Рассказывали, что граф любил играть после обеда в шашки, без денег, а как она игра мало приносила удовольствия, то мало было и охотников. Случилось, что какой-то штаб-офицер в один день у него обедал; по предложению, кому угодно играть в шашки с его сиятельством, сей штаб-офицер рад был таковой чести, и уже всякий день, недель с шесть, продолжал сию игру. Вдруг сего майора не стало; по привычке граф его спрашивал, но никто в доме не знал, кто этот был господин майор, откуда он приехал и куда девался.

По воскресениям у вице-канцлера графа Остермана бывали балы; вообще много было открытых домов, где весело проводили время, а особливо у обер-гофшталмейстера Льва Александровича Нарышкина.

Публичные увеселения были: два театра, на которых играли русские актеры трагедии, комедии и оперы; в трагедии отличался своим неподражаемым талантом г. Дмитриевский. Французская была прекрасная труппа для трагедии и комедии, итальянская опера-буфф<sup>53</sup>, которую императрица \* из всех театральных позорищ более всего жаловала. В балете всегда отличался Розетти, как прыгун, а Пик для характеристических танцев. В Большом каменном театре каждый четверг г. Морсаньи давал маскарады: платили за вход по одному рублю и посещали оные как все знатные обою пола, так и вся публика, маскированные и без масок. Императрица неоднократно инкогнито бывала замаскировавшись в сопровождении А. Д. Ланского, статс-дамы графини Браницкой и камер-фрейлины Протасовой.

Был музыкальный клуб, где каждую неделю, по понедельникам, были концерты и многие другие вольные для увеселения заведения. Игры азартные хотя законом были запрещены, но правительство на то смотрело сквозь пальцы. Словом, все, жившие в Петербурге, жили вольно и приятно, без всякого принуждения, однако ж, благопристойность строго соблюдалась, ибо старались быть принятыми в хорошем обществе, а для того надобно было иметь репутацию без малейшего пятна и тон хорошего воспитания.

Образ жизни моего генерала был единообразен; всякое утро дом его наполнялся вельможами, особливо военными.

---

\* Уведомилась она, что граф Безбородко дал 40 000 актрисе Давни, и как сие знала вся публика, что государственный тот человек употребил таковую знатную сумму, повелела актрису Давию выслать в 24 часа за границу, а потом и всю оную труппу выслать. (Прим. автора.)

но его редкие кто видали. Он всегда был в своей спальне и в шлафроке<sup>54</sup>; кроме самознатных людей и коротких его знакомых никто не входил туда без доклада. В час он обедал; его собственный стол был на осьмнадцать приборов, да для штата его в другой зале на двадцать четыре прибора; как стол, так и все прочее, было на счет двора, равно и услуга. Любил играть в коммерческие игры, а иногда и в банк. Любил лакомиться самыми грубыми вещами, для чего старались ему доставлять по его вкусу не только из Петербурга, как то: хорошие соленые огурцы, капусту и тому подобное, но из губерний; с нарочными курьерами доставляли из Урала икру, из Астрахани — рыбу, из Нижнего Новгорода — подновские огурцы, из Калуги — калужское тесто. Иногда князь выезжал на вечера и балы, а особливо ко Льву Александровичу Нарышкину; обедать иногда ездил к Матвею Федоровичу Кашталинскому, у которого почитался самый лакомый стол и собирались знатнейшие карточные игроки. На балы великого князя и на Каменный Остров ни одного раза не миновал. Любил смотреть на искусных игроков в бильярд, почему всех лучших искусников отыскивали и к нему привозили; тоже любил смотреть игру шахмат, для чего из Тулы выписали одного купца — и он возил его с собою даже и в армию. Многие, чтобы быть известными его светлости, старались иметь к нему вход и его забавлять.

1784. В начале 1784 года светлейший князь преобразил армию в новую одежду. Перед сим гренадеры имели старинные гренадерские шапки; мушкетеры, кавалерия и артиллерия носили шляпы; вся армия причесана была с буклями, длинными косами и пудрою, что особливо было тягостно для нижних чинов; зимою одеты были в длинные мундиры, а летом — в красные камзолы с рукавами. По введенной же светлейшим князем реформе у всей армии волосы были острижены в кружок, как можно ниже; вместо шляп и гренадерских шапок, даны легкие каски с плюмажем из шерсти; у гренадеров и кирасир плюмажи белые, спереди латунь с вензеловым именем императрицы; у прочих войск плюмажи желтые с простою полосою латуни. Вместо долгополых мундиров сделаны были куртки; вместо коротких штанов, чикчиры сверх сапог, внизу обшитые черною кожею и застегивавшиеся шестью медными пуговицами; на лето все нижние чины имели кители из фламского полотна с широкими шароварами. Слободские гусарские полки уничтожены, а вместо оных сформировано десять легкоконных полков, по шести эскадронов каждый. Гвардия сохранила прежние свои мундиры и прическу. Генералитет, штаб и обер-офицеры остались также в прежнем виде. Когда его светлость представил на утвер-

ждение императрице доклад, то надписал: «Солдатский наряд должен быть таков: что встал, то готов».

В исходе зимы князь отправился в свои губернии, как для осмотра оных, так и для того, чтоб увидеть преобразование армии в новой одежде; еще более ему нужно было быть там, чтобы выманить хана Шагин-Гирея из гор, где он с приверженными себе крымскими татарами укрывался, увидя, что был обманут обещаниями, данными ему за добровольное его подчинение российской державе, не исполненными впоследствии. Без того спокойствие в Крыму было непрочно. Но князь не хотел прибегнуть к силе. Внезапная смерть А. Д. Ланского, коего государыня жаловала более прочих, заставила его без медления отправиться в Петербург. Начальство над войсками поручил он генерал-поручику Игельstromу; равно поручил ему и уговорить хана, а потом отправил его в Воронеж. Игельstrom, в отсутствие князя, приступил к исполнению сего таким образом: до его командования войска очень дурно обходились с крымцами и, несмотря на их жалобы, никогда не давали им должного удовлетворения; тож неоднократно и просьбы хана в заступлении обид и притеснений его бывших подданных, оставались без внимания. Игельstrom стал строго наказывать по просьбам татар правого и неправого; стал им всячески поглажать. Хан вошел с ним в переписку, благодаря, что он его бывших подданных покровительствует и защищает от страшных угнетений. Наконец, они сделались по письмам друзьями, и хан так расположен был к нему, что просил его к себе приехать в горы. Через несколько времени Игельstrom получил курьера с малозначащими бумагами; он сделался задумчив, пасмурен; запершись в своем кабинете, что-то писал; из сего заключили, что, верно, получил он какую-либо неприятность, и не приказано ли уже ему сдать войска старшему по себе, а самому отъехать для командования в другом месте? Как он был ненавидим, то вскоре молва эта разнеслась и дошла до хана.

Хан, как скоро то услышал, то с большим соболезнованием спрашивал его письмом: справедлива ли эта молва? Игельstrom отвечал, что ему велено ехать командовать кавказским корпусом, и он более всего сожалеет, что отъезжает, с ним не видавшись. Хан пишет, что он в отчаянии, видя крымцев своих, лишенных такового покровителя, и предлагает ему, что объезд на Кавказ очень далек, а ежели он поедет через его стан, в горах находящийся, то ему несравненно будет ближе и покойнее; что это есть средство лично запечатлеть его с ним дружбу. То было только и нужно Игельstromу. Он отвечал хану, что очень благодарен за таковое его приглашение, и что как скоро он сдаст команду, то, известя его заранее,

воспользуется сим случаем иметь давно желанное с ним свидание.

Игельстром нарядил один батальон с четырьмя пушками, выбрал к тому способного штаб-офицера, дал ему маршрут как бы для безопасного его проезда и, особое наставление, чтоб он, показывая, будто сбился с дороги, в назначенное для приезда Игельстрома число, очутился близ ханского стана и бросился бы к хану просить его защиты в ошибке, им сделанной; ибо-де Игельстром без того сделает его несчастным, а потом выпросил бы позволение для части поставить в караул роту близ ханской ставки; инако-де Игельстром его не простит.

Игельстром, учредив сие, с большим конвоем кавалерии, под видом проводы, с некоторыми генералами и множеством штаб- и обер-офицеров, отправился в стан хана. По прибытии же туда, как скоро увидел того штаб-офицера, то и напустился на него, хотел разжаловать его в солдаты; хан насилу мог испросить ему прощение. После сей комедии вошли они к хану в палатку; тут Игельстром сбросил с себя личину, стал уговаривать хана отдаться и предать себя справедливой монаршей милости. Хотя тогда хан и увидел себя обманутым, но уже нечего было делать, окружен будучи батальоном с пушками и более нежели тысячею человек российской конницы, он должен был согласиться. В тот же день хана вывезли, и вскоре был он отправлен на житье в Воронеж.

1785. Императрица очень обрадована была приездом князя; она была в то время очень огорчена; на некоторое время при дворе остановлены были все увеселения.

Вскоре в штате светлейшего князя появился офицер Александр Петрович Ермолов; касательно его наружности, он не был отлично хорош, был женоподобен, умом же не слишком дальновиден.

Я недели две был нездоров и не выезжал из дому; получивши облегчение, приехал к князю и уведомился, что Мамонов пожалован был капитан-поручиком гвардии, а на место его взят в адъютанты Ермолов и живет во дворце, в отделении его светлости. Я тотчас пошел к нему знакомиться. У комнаты его стоял придворный камер-лакей; я хотел войти прямо к Ермолову, но камер-лакей остановил меня и спросил: «Как прикажете о себе доложить?» Я спросил: «Что это за странность, что без доклада войти не можно?» Однако ж, дал время о себе доложить. Ермолов принял меня очень вежливо, но свысока; я простодушно рекомендовал себя в его знакомство; он был знаком с моею матерью в Москве и считал за милость, что она его хорошо принимала, почему обошелся

со мною ласково и обещал при случае оказывать мне свои услуги.

Светлейший князь приготовил большой праздник в Аничковском своем доме, или, лучше сказать, павильоне. В день сего великолепного маскарада, приказано было всему его светлости штату быть в мундирах легкой конницы и в шарфах. Собравшись еще до приезда князя, увидел я Ермолова в драгунском мундире и в башмаках; по добродушию своему, подошед к нему, сказал: «Александр Петрович, разве вы не знаете, что велено всем нам быть в мундирах легкой конницы, в сапогах и в шарфах?» «Я знаю, — отвечал он мне, — но думаю, что его светлость на мне не взыщет». «Остерегитесь, лучше поезжайте домой и переоденьтесь». «Не беспокойтесь, — сказал он, — однако ж, не менее я вам благодарен за ваше ко мне доброе расположение». Вскоре его светлость приехал, взял Ермолова под руку и стал ходить с ним по зале, чего он и самых знатных бояр не доставлял.

Когда все съехались, прибыла императрица с великими князьями, и села играть в карты. Ермолов стоял от нее шагах в четырех, впереди всех вельмож, стоявших вокруг государыни.

Маскарад был чрезвычайно великолепен; более двух тысяч человек было в богатых костюмах и доминах. Большая длинная овальная галерея к одной стороне огорожена была занавесом, а в другом конце сделан был оркестр пирамидою, убранный с великим вкусом; более было ста музыкантов с инструментальною, духовою, роговою и вокальною музыкаю, управляемую майором Росетти, всегда находившимся при князе; на самом верху пирамиды был поставлен в богатой одежде литавщик Арап. Вся галерея освещена была висящими гирляндами вдоль и поперек, на которых поставлены были свечи.

Две пары танцевали кадрили: князь Дашков с княжною Барятинскою, в первый раз показавшеюся в публике и удивившею всех своею красотою, а особливо ловкостью и гибкостью своего стана (которая после была замужем за князем В. В. Долгоруковым). Она одета была просто в белом платье, а кавалер ее сверх мундира в белом домино. Вторая пара была графиня Матюшкина (которая после была замужем за графом Виельгорским), кавалер ее был граф Г. И. Чернышев, обе пары танцевали так, что я в жизни моей лучших танцовщиков не видал.

Когда настало время ужина, хозяин доложил о том императрице; лишь только она подошла к занавеси, как она была поднята, и явился стол, богато убранный, как бы некоторым волшебством. Императрица кушала за особым круглым столом с великими князьями, статс-дамами,

камер-фрейлинами, чужестранными министрами и некоторыми самых первых степеней кавалерами; вокруг сего был поставлен в полциркуля другой большой стол, так что сидящие за оным обращены были к ней лицом; в то же время, в одно мгновение, внесено было до сорока малых столов, каждый о двенадцати кувертах, убранных и освещенных. Перед тем как императрице встать из-за стола, все они были вынесены и в один миг исчезли, равно и завеса опустилась. По некотором времени императрица с великими князьями изволила отбыть. Маскарад продолжался до трех часов.

На другой день А. П. Ермолов пожалован был флигель-адъютантом ее величества \* и станиславским кавалером; чрез несколько дней — генерал-майором и кавалером Белого Орла <sup>55</sup>.

В исходе сего года мать моя скончалась, а сестра моя Александра Николаевна выпущена была из Смольного монастыря; мне поручено было ее принять и привезть к отцу моему в Могилев, для чего князь отпустил меня бессрочно в отпуск. После уже я по должности в Петербурге не бывал; ибо в 1785 году пожалован я был секунд-майором к иррегулярным войскам \*\*.

---

\* Флигель-адъютанты ее величества были полковники, но они сохраняли свое звание, даже быв в генерал-майорском чине. У них был особый мундир с шитьем и аксельбантом, с вензельным именем императрицы; впрочем, они могли носить мундиры всей армии. Чтобы быть флигель-адъютантом, надобно было иметь великий фавор; право их было по желанию оставлять свои полки или бригады во всякое время, даже и в военное, объявля только начальнику, командующему тою частию войск, в которой состоят под командою, что едут к своей должности ко двору. По службе это было большое злоупотребление: при малейшем неудовольствии всегда сии флигель-адъютанты пользовались сею несправедливою привилегиею. (*Прим. автора.*)

\*\* В течение сего времени случилось следующее происшествие: фрейлина Эльмпт, г-жа Дивова, брат ее, флигель-адъютант князя Потемкина, граф Бутурлин и некоторые другие сделали на многих знатных людей сатиру в рисунках, с острыми, язвительными и оскорбительными надписями для многих лиц, в которой не пощажена и сама императрица. Долго не находили сочинителей сего пасквиля, а в удовлетворение более потерпевших бесславия оный сожжен был на эшафоте палачом. Но по некотором времени парикмахер, убирая фрейлину Эльмпт и имея надобность в бумагах на папилоты, взглянул в угол, и видя разорванные лоскутки бумаги, хотел оные употребить, но, взявши их, увидел рисунки лиц, подобрал все и представил обер-гофмаршалу, который узнал ту сатиру, написанную рукою фрейлины Эльмпт, донес императрице; почему и открылись все авторы. Фрейлину Эльмпт, как говорили, обер-гофмейстерина высекла розгами и отправлена она была к ее отцу в Лифляндию. Дивова с мужем удалены из столицы; граф Бутурлин оставлен с запрещением въезжать

1786. В июне 1786 года Ермолов удалился от двора; дано ему было в Могилевской губернии шесть тысяч душ. Особенным значением после того стал при дворе пользоваться Александр Матвеевич Мамонов, бывший мой товарищ.

В 1786 году С. К. Вязмитинов, бывший тогда бригадиром в Вологодском пехотном полку и квартировавший в Могилеве, женился на моей сестре Александре Николаевне; зять мой представил мне, какое несчастье быть майором и не знать службы, что когда я буду определен в полк, то начальниками не буду уважен, а еще того хуже, подчиненными презираем, почему предложил мне учиться у него в полку службе; на что я с большим удовольствием согласился. В мирное время полки входили в лагерь 15 мая, а в квартиры выходили 15 августа. Я перешел жить в лагерь и в первой роте считался за прапорщика сверх комплекта; нес всю службу простого офицера <...>

В 1786 году отобраны были от малороссийских монастырей деревни; из оных набраны были рекруты и сформированы десять гренадерских полков четырехбатальонных. Сибирский гренадерский поручен был зятю моему, и я в оный был определен. В Белоруссии полки были под начальством князя В. В. Долгорукого, которого команда была очень для молодых людей приятна, ибо вместо строгих смотров, он желал только в лагере праздников, забавляя тем свою жену, на которой тогда только что женился. Всегда заранее извещал, когда который полк будет смотреть, и для того полковники приготавливали праздники, иллюминации и фейерверки, один другого хотели перещеголять. Но более всех в том успел Кинбурнского драгунского полка полковник Юшков: он построил галерею, в которой было около четырех тысяч восковых шкаликов. Каков же полк был в учении, умолчу, ибо, употребляя лагерное время на устройство такой галереи, мало оставалось на учение.

1787. В 1787 году императрица предприняла путешествие в новообретенные свои области, в которых начальствовал князь Г. А. Потемкин. Государыня отправилась из Петербурга в 1 день января. Свиту ее величества составляли: часть ее двора, ее канцелярия, дипломатический корпус и много ученых по разным частям; ехали с нею

---

в местопребывание государыни. Всех острее изображен был Безбородко, недавно пожалованный графом<sup>56</sup>; он держал книгу с надписью: «Le comte nouveau relié en veau»\*. Если бы подобные сему были все насмешки и не касались обруганных в нравственности лиц, то, конечно, поступлено бы было более нежели снисходительно. (Прим. автора.)

\* «Новый граф, обернутый телячьей кожей» (фр.)

в карете: камер-фрейлина Протасова, Мамонов, австрийский посланник граф Кобенцель, Л. А. Нарышкин, обер-камергер Шувалов; в последующей за нею карете были: английский министр Фиц-Герберт, французский граф Сегюр, генерал-адъютант граф Ангальт и граф Н. Г. Чернышев. Потом через день менялись в карету императрицы: Фиц-Герберт и граф Сегюр с Нарышкиным и Шуваловым.

Путешествие ее было чрез губернии Новгородскую, Смоленскую, Могилевскую, Черниговскую до Киева. Генерал-губернаторы, губернаторы с предводителями и почетными дворянами на границе каждой губернии встречали и провожали до следующей. В Мстиславе могилевский преосвященный Георгий приветствовал ее речью, по превосходству которой здесь поставляю ее в подлиннике. <...>

Я был наряжен отвести роту в Кричев<sup>57</sup> для караула ее величества; как скоро государыня изволила прибыть, я явился к генерал-адъютанту генерал-поручику графу Ангальту. Нельзя умолчать о сем оригинале; думая по моему прозванию, что я немец, стал он было говорить со мною по-немецки, но узнав, что я не говорю, то спросил по-французски, где караульная, и приказал, чтобы я его в оную проводил. Пришед туда, начал он с каждым гренадером здороваться; самым смешным немецким выговором затвердил он наизусть несколько вопросов по порядку, как то: «Здорово, мои друзья, как вы называетесь? кой город? женаты ли вы? имеете ли дети? много ли сыновей? много ли дочерей?»,—и, несмотря на ответ, что холост, все продолжал от начала до конца свои расспросы; потом брал каждого руку; один гренадер, думая, что хочет пробовать его силу, так ему сжал его руку, что бедный граф почти со слезами, с трудом отнял у него.

Вечеру приказал мне спросить отца моего: есть ли тут пожарные трубы и прочие пожарные орудия. Я, по приказанию его, спросил батюшку; на что он мне отвечал: «Доложи графу, что это партикулярное местечко и никакой полиции нет; но я приказал капитану-исправнику изготовить несколько бочек с водою, собрать народ и поставить близ кухни». Что я его сиятельству и донес.— «Ведите меня туда». Я, зная, где кухня, повел его в сопровождении караульного капитана Роштейна. Как у кухни всего того не было, то я побежал отыскивать; лишь только я несколько шагов отойду, он тотчас посылал за мною Роштейна; лишь только я к нему появлялся, он спрашивал: «Où sont les pompes?»\*—«Тотчас, ваше сиятельство». Наконец, по многом тщетном бегании, принужден был сказать, что ничего не нашел. Тут он мне сделал

\* Где насосы? (фр.).



добрый окрик, для чего я в точности не исполнил его приказание, и взял меня за руку. «Пойдем, — сказал он, — я вас поведу к императрице и покажу ей, каких она исправных имеет в своей армии штаб-офицеров». Я насилу мог его упросить, чтоб он меня простил; тут новая беда: он потребовал мою записную книжку, и своею рукою хотел вписать мою неисправность для урока; но как у меня на тот раз книжки не случилось, то снова обременил меня выговорами; наконец, приказал мне, чтоб я не прежде лег спать, пока не приведу все в порядок.

Однако ж я в том не почитаю себя виновным; мне приказано было спросить, где пожарные инструменты, что я и исполнил. Увидя, что бывший прусской службы граф шуток не любил, отыскал я собранных исправником людей и множество бочек с водою; все то было готово, только не в назначенном месте. Часа за три до света его сиятельство просил меня к себе, и я с большим торжеством повел его и показал мою исправность.

После чего он был ко мне милостив, и, по моей просьбе, выпросил у обер-камергера И. И. Шувалова, чтобы меня с караульными офицерами представил государыне прежде других, дабы офицеры успели выйти к ружью, когда императрица отправится; ибо многие, квартировавшие в Могилевской губернии военные чиновники, прибыли в Кричев представиться ее величеству. Между прочими был тут Рижского карабинерного полка бригадир Хомутов, с его полка штаб-офицерами. Обер-камергер поставил меня с моими офицерами у самых дверей, в которые государыне надобно было выйти, так, чтоб я первый мог быть ей представлен. Но бригадир Хомутов, как скоро двери отворились, выступил передо мною; государыня, по названии его обер-камергером, подала ему ручку, и, отворачаясь от него, довольно громко спросила: «Не тот ли это Хомутов, который, бывши еще унтер-офицером конной гвардии, провозил потаенно товары мимо таможни?» Действительно, он был самый. Тем моя суетность была вознаграждена, что он перебил меня быть первым представленным.

Вот, где мое самолюбие претерпело унижение: в день приезда государыни увидел меня камердинер ее Захар Константинович Зотов, который был уже в полковничьем чине; а когда я был адъютантом у светлейшего князя, тогда он был камердинером при нем. Он спросил меня, был ли я у Мамонова, бывшего моего товарища. Но как я сказал, что не был, то советовал мне к нему явиться. Я последовал его доброжелательству; ежели пользы никакой не получу, то, по крайней мере, при многолюдстве покажу, что я знаком сильному при дворе человеку. Я выступил с гордым и самонадеянным видом вперед

и поклонился ему; но вместо того, чтоб обратить на меня благосклонное внимание, он взглянул на меня с презрением и отворотился. Это было низкое мщение за мою с ним бывшую ссору<sup>58</sup>, но признаться, очень мне было больно предо всеми быть так унижену.

Императрица продолжала путь до Киева, где пребывала до вскрытия от льда Днепра. Когда наступила весна и свободное по Днепру открылось плавание, ее величество отправилась водою на построенной для сего флотилии, до Днепровских порогов, со всем двором и министрами. Путем сим управлял светлейший князь Григорий Александрович. Король польский Станислав Август имел с императрицею, доставившей ему корону, свидание в местечке Каневе, в польском владении, где готовил большой праздник. Императрица не рассудила съезжать на берег с своей яхты, но двор ее был великолепно угощаем.

У порога Кайдаки император Иосиф II встретил императрицу и вместе с нею сухим путем отправился на полуостров Крым. В Севастополе был построен великолепный дворец, из окон которого была видна вся гавань; по прибытии ее сожжен был огромный фейерверк, и весь большой флот был иллюминирован. Императрица наименовала светлейшего князя **Таврическим**.

На возвратном пути в Полтаве собран был корпус войск, где производились маневры, те самые, которыми вечно достойный памяти потомства император Петр Великий победил Карла XII и возвел Россию на ту степень величия, в каковой она ныне. Иосиф II получил известие о возмущении нидерландцев, почему и отправился восвояси, а императрица продолжала путь свой чрез Москву\*.

---

\* Государыня не очень жаловала Москву, называя ее к себе недоброжелательною, потому что все вельможи и знатное дворянство, получа по службе какое неудовольствие и взяв отставку, основывали жительство свое в древней столице, и случалось между ними пересуживать двор, политические происшествия и вольно говорить. Как Москва старинный город, то улицы ее не прямы, строение старое, не по новому вкусу архитектуры: близ огромного дома бывали хижинны. Государыня спросила на другой день своего прибытия английского министра Фиц-Герберта с насмешливым видом: «Comment avez vous trouvé ma bonne ville de Moscou?» — «Votre Majeste, — отвечал тот, — il n'y a pas une seul le ville au monde qui puisse être comparée a Moscou en beauté». — «C'est une ironie?» — Non, V. M., c'est la pure vérité, il n'y a nulle part ce que j'ai vu a Moscou; j'ai vu des palais qui n'écrasent pas des chaumières auprès d'eux». «Ну, как вам нравится мой славный город Москва?» — «Ваше величество, в целом мире нет города, который может равняться красотой Москве». — «Это что, ирония?» — «Нет, ваше величество, это чистая правда. Я в Москве ничего не видел; но я видел дворцы, которые не подавляют стоящих рядом хижин» (фр.).>

Принц де Линь спросил императрицу: «Отчего, В<аше>

Важнейшая польза от путешествия Екатерины II в южные области России состояла в заключенном с императором Иосифом II наступательном союзе противу турок, последствие которого прославило российское оружие, изнурило Австрию и пагубно было для турецкой империи.

#### IV. ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

Булгакову, нашему министру при Оттоманской Порте, приказано было подать ноту, в которой между прочим требовано: чтобы Турция позволила иметь консула в Варне; чтобы признала Ираклия русским вассалом<sup>59</sup>; чтоб обузда-ла татар закубанских, беспокоивших набегами границы Российской империи, чтоб объяснила о военных своих приготовлениях, и чтоб ответ на все это дан был без замедления\*.

в<еличество>, в проезд мы видели, что некоторыми губернаторами вы были довольны, а потому изъявляли им ваше благоволение, а некоторыми были недовольны, и вы им ничего оскорбительного не сказали?» — «Потому что,— отвечала императрица,— я хвалю вслух, а браню наедине». (Прим. автора.)

\* Вскоре, по прибытии двора в Петербург, по случаю войны было сделано распоряжение всему генералитету, кому в которой армии быть и какими частями командовать. Сей список, сочиненный светлейшим князем, императрица утвердила. А. В. Суворов не был внесен в него, ибо светлейший князь, по странностям его, почитал его человеком ничтожным, а по чину его должно было дать ему преимущество перед многими, по службе считавшимися ниже. Суворов, узнав о том, приехал в Петербург, прямо явился к императрице и с плачевным видом сказал: «Государыня, я прописной». — Как это? — спросила императрица. «Меня нигде не поместили с прочими генералами и ни одного капральства не дали мне в команду». Императрица оскорбилась на князя Потемкина и тотчас послала за ним. Посланный рассказал князю, по какому случаю за ним был послан, почему, быв предварен, он с готовым ответом пошел. Как скоро он вошел, государыня недовольным голосом сказала: «Как, князь, вы известного, отличного, заслуженного генерала в поднесенном вами мне списке пропустили?» — Оттого-то, отвечал князь, что вашему величеству он так известен, я и не вписал его с прочими, чтобы вы сами изволили назначить, где и как вам будет угодно. — В сие же время и М. Ф. Каменский приехал. Государыня через несколько дней по его прибытии послала ему 5000 рублей золотом; он счел то за маловажный подарок и в Летнем Саду каждодневно делал завтрак, лоя встречного и поперечного, пока не истратил все жалованные деньги, и уехал. А Суворов поступил иначе: когда камер-лакей привез ему такой же подарок, он вынул один империл и, отдав его камер-лакею, сказал: «Доложи государыне, что Суворов по ее милости очень богат, и на что мне такая груда золота, а осмелился один империл вынуть, чтобы дать тебе». После того поехал из Петербурга. Императрица вслед за ним послала ему 30 000 р.; эту сумму он принял безоговорочно. (Прим. автора.)

Диван вместо ответа объявил войну России, 5 августа, и заключил нашего посланника Булгакова в Семибашенный замок <sup>60</sup>. По получении сего известия, императрица выдала манифест о войне против турок. Равно, как скоро дошло известие до императора Иосифа, так и он объявил войну Оттоманской Порте.

Составлены были две армии: Украинская, под командою фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, которая должна была вступить в Польшу и приблизиться к Днестру; правый фланг оной армии составлял корпус под командою генерал-аншефа графа Ивана Петровича Салтыкова, центр армии составлял корпус генерал-аншефа Эльмпта, левый фланг составлял корпус генерал-аншефа Михаила Федотовича Каменского. Вторая армия Екатеринославская, состояла под командою фельдмаршала светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, которому назначено было с наступающею кампаниею атаковать Очаков. Генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов тогда командовал в Кинбурне <sup>61</sup>.

Зять мой С. К. Вязмитинов пожалован был генерал-майором, приказано ему было принять Белорусский егерский корпус, из четырех батальонов состоящий, на место заболевшего шефа того корпуса генерал-майора Фаминцына; Сибирский полк велено было принять полковнику князю П. М. Дашкову, который пред сим командовал Днепровским мушкетерским полком; но большею частию люди сего полка посажены были на флотилию для путешествия императрицы к Херсону, и там размещены по другим полкам. Князь Дашков принял полк на походе в Киеве, откуда полк пошел в Польшу, в корпус графа Салтыкова, которого квартира была в местечке Янове <...>

1-го октября турки атаквали Кинбурн. Суворов не приказал противиться высадке, дал им время сделать несколько ложементов <sup>62</sup>, и как уже увидел их приблизившихся шагов на двести, для штурма крепости, тогда напал он на них с своими войсками. Турки беспрестанно с флота получали новые подкрепления, положение наших войск было весьма опасно; сражение сделалось общее, и так обе стороны перемешались, что артиллерия принуждена была остановить свое действие; храбрость наших поколебалась; уже было начали отступать; наконец, пришло к русским подкрепление около трехсот человек, и сие малое число решило сражение. Турки прогнаны, в 10 часов ночи победа была одержана. Большая часть турок убита, а еще более потонуло; малое только число спаслось на суда.

Еще в сумерки Суворов был ранен в левое плечо; он потерял много крови, и не было лекаря перевязать рану. Казачий старшина Кутейников привел его к морю, вымыл

рану морскою водою и, сняв свой платок с шеи, перевязал им рану. Суворов сел на коня и опять возвратился командовать. Тогда же генерал-майор Рек был ранен; наша потеря была очень значительна.

Эта первая победа в сию войну тем была важнее, что оною уничтожены намерения турок — взять Кинбурн, привести себя в состояние напасть выгодно на Херсон и Крым и истребить нашу флотилию. За сию победу Суворов награжден был андреевским орденом <sup>63</sup>.

Светлейший князь, опасаясь вторичного нападения на несобравшуюся еще его армию, просил императрицу, чтобы на случай мог он употребить один корпус Украинской армии. Государыня приказала фельдмаршалу графу Румянцеву, чтобы по способности один корпус его армии стоял под орденом светлейшего князя до открытия кампании, почему фельдмаршал и приказал генералу Каменскому явиться к князю.

Каменский поехал в Елисаветград <sup>64</sup>, где тогда была главная квартира его светлости; но как он предвидел, что больше будет выгод в армии светлейшего князя, чем под командою устарелого фельдмаршала, то и просил князя, чтоб он его корпус взял совсем в свою армию, сказав: «Ибо с тех пор, как я состою под орденом вашей светлости, корпус мой претерпевает во всем недостатки, как то: в свое время не получаю ни амуниции, ни жалованья, ни провианта». Князь отвечал: «Очень хорошо; отправьтесь в свой корпус (который расположен был в Умани), где узнаете о вашем желании». Как скоро Каменский отправился, князь вслед за ним отправил курьера, требуя от него изъяснения письменного о том, что он докладывал ему о претерпевании нужд его корпуса. Каменский нехотя должен был сие исполнить, хотя с некоторыми увертками. Князь, получив от него требуемое, отправил к фельдмаршалу рапорт Каменского, в предосторожность от сего коварного человека. Князь не любил подлых людей, и с тех пор он никогда его не употреблял, да и граф Петр Александрович поступал с ним не лучше. Вот что выиграл Каменский своею интригою \*.

---

\* Еще был случай, в котором князь Г. А. Потемкин показал, что не любил льстецов и подлецов. Известный по сочинениям своим, Денис Иванович Фонвизин был благодетельствован Иваном Ивановичем Шуваловым; но, увидя свои пользы быть в милости у светлейшего, невзирая на давнюю его большую неприязнь с Шуваловым, перекинулся к князю, и в удовольствии его, много острого и смешного говаривал насчет бывшего своего благодетеля. В одно время князь был в досаде и сказал насчет некоторых лиц: «Как мне надоели эти подлые люди». — «Да на что же вы их к себе пускаете, — отвечал Фонвизин, — велите им отказываться». — «Правда, — сказал князь, — завтра же я это сделаю». — На другой день Фонвизин приезжает к кня-

До открытия кампании, войска в занимаемых квартирах были покойны; тут я увидел разницу между бывшим и новым моими начальниками. Зять мой вел службу, как должно бы наблюдать каждому; во-первых, военная дисциплина строго хранилась, чин чина почитал, но благородная связь была между корпусом офицеров; порядок канцелярии в отчетах сумм, жалованья, амуниции, провианта и фуража приведен был в точность, обоз был исправный; полковые лошади были добрые, полк учился превосходно, в эволюциях<sup>66</sup> офицеры были наметаны, солдаты без изнурения выправлены, одеты без излишней вытяжки, хорошо. Во время похода в России и Польше ни одной подводки ни под каким видом никто не смел взять, солдаты несли на себе все тягости и даже шанцевый<sup>67</sup> инструмент. Словом, полк мог быть во всех частях образцовым в армии. При командовании же полком князем Дашковым, солдаты во многом претерпевали нужды, для продовольствия провианта и фуража он принимал деньгами и задерживал их; то же случалось и с жалованьем; хотя через некоторое время оно и отдавалось, но не в свое время; лошади были худо накормлены, отчего в переходах в Польше бралось множество подвод, почему беспрестанно на полк были жалобы, а во время кампании к полковому обозу наряжались солдаты, чтобы в трудных местах пособлять взвозить на горы. Чтобы нижние чины не роптали, князь дал поползновение к воровству, чем по времени Сибирский полк получил дурную молву; полковник имел пристрастие к некоторым офицерам, зато другие были в загоне и претерпевали разные несправедливости.

1788. В 1788 году, в апреле, зять мой Вязмитинов с 4 батальонами, 4 эскадронами и двумястами казаков послан был в соединение с австрийцами для закрытия Буковины, угрожаемой турками; но вскоре возвратился, не имея никакого дела.

Украинская армия образовалась таким образом: корпус, состоящий из 12 батальонов, 12 эскадронов, 30 орудий полевой артиллерии и одного казачьего Донского пол-

зу; швейцар ему докладывает, что князь не приказал его принимать. «Ты верно ошибся,— сказал Фонвизин,— ты меня принял за другого». — «Нет,— отвечал тот,— я вас знаю и именно его светлость приказал одного вас только не пускать, по вашему же вчера совету»<sup>65</sup>. (Прим. автора.)

\* Многие полки, проходя по России и Польше, брали подводки для облегчения солдат, так что, кроме ружья, они ничего не носили. Мы все роптали, для чего бы, казалось, и нам изнурять своих; но пользу уже я увидел во время кампании, когда должно было носить на себе все тягости; не привыкшие к тому уставали до того, что, пришед в лагерь, в других полках сотнями отставали, а в Сибирском полку, по навыку к трудам, ни одного отсталого не случалось. (Прим. автора.)

ка, под командою генерала графа Салтыкова, в соединении с австрийским корпусом, под командою принца Кобургского, должен был осадить Хотин.

Главному корпусу назначено было рандеву<sup>68</sup> Подольской губернии при местечке Мурахве (в сей корпус Сибирский полк был назначен). Оный корпус состоял из 17 батальонов, 10 эскадронов кирасир, 18 карабинер<sup>69</sup>, одного Донского казачьего полка и 30 орудий полевой артиллерии.

Корпус генерала Эльмпта, состоявший из 12 батальонов, 12 эскадронов, двух Донских казачьих полков и 30 орудий полевой артиллерии, должен был перейти через Днестр и делать поиски над неприятелем.

Резервный корпус, под командою генерала Каменского, состоял из 12 батальонов, 12 эскадронов, одного полка Донских казаков и 20 орудий полевой артиллерии.

Вся армия, ежели была бы в комплекте, состояла бы из 50 000; но налицо, конечно, не превосходила 30 000 человек.

Как в Украинской армии не было регулярных легких войск, то фельдмаршал испросил позволение у императрицы преобразовать четыре полка карабинер и назвал их легкоездными. У фельдмаршала с князем Потемкиным был спор в наименовании войск: сперва именовали их легкою кавалериею, а светлейший князь назвал легкою конницею; граф назвал своих легкоездными. Когда светлейший князь впоследствии принял в командование обе армии, назвал их конными егерями, хотя лошади и вооружение оставались те же самые.

Екатеринославская армия числом гораздо была превосходнее и двинулась к Очакову. Притом под непосредственным распоряжением светлейшего князя состоял Черноморский флот и гребная флотилия. Всеми морскими силами управлял вице-адмирал Н. С. Мордвинов, флотом начальствовал контр-адмирал Ушаков, имея под собою известного Поль-Джонса, прославившегося в американской войне. Флотилиею командовал принц Нассау.

Собравшейся Украинской армии главный корпус получил повеление идти к Могилеву, что на Днестре. По прибытии туда, на другой день и фельдмаршал прибыл с главною квартирою. <...>

На другой день по прибытии фельдмаршал приказал войскам быть во фронте без ружья, и сам со всеми генералами прибыл к корпусу; все были при появлении его в восхищении; ни одного не оставил он штаб-офицера, которому бы не сказал что-нибудь приятное. Как скоро сказал солдатам: «Здравствуйте, ребята!», все почти в голос закричали: «Здравствуй, наш батюшка, граф Петр Александрович!» Старые солдаты говорили: «Насилу мы тебя, нашего

отца, увидели». Поседельый унтер-офицер, обвешанный медалями, сказал фельдмаршалу: «Вот уже, батюшка, в третью войну иду с тобою». — «Ну, друг мой, отвечал граф, в четвертый раз мы вместе с тобой уж воевать не будем». — Объехав все полки, исполненные радостью его присутствием, отъехал он в главную квартиру, в Могилев.

Авангард, состоящий из пяти батальонов, шести эскадронов и Донского полка Грекова, переправился через Днестр, а в то время наводили понтонный мост.

Как скоро мост был готов, весь корпус переправился и занял высоты: пехота в две линии, кавалерия в третьей, а главная квартира за оною. Гренадерские полки, как то: Сибирский на правом фланге, 1-й и 2-й батальоны в первой линии, а 3-й и 4-й во второй; на левом фланге был Малороссийский гренадерский, в котором фельдмаршал был шефом. Первыми двумя батальонами в лагере начальствовал сам полковник, а как подполковник откомандирован был для командования сводным гренадерским батальоном в авангарде, то, как старший по нем в лагере, 3-м и 4-м батальонами полка командовал я; как же скоро корпус двигался, то полк соединялся вместе.

На другой день выступил корпус в поход. Пред выступлением, когда лагерь был снят, полки выстроились, знамена были развернуты. Фельдмаршал проезжал мимо фланга командуемых мною батальонов; я сделал ему на караул и поскакал к нему навстречу. Но представьте мой ужас! Фельдмаршал на меня кричал самым страшным голосом; вид его представлял, чего вообразить невозможно: ноздри раздувались, глаза яростно сверкали. Как скоро я услышал этот голос и увидел страшный его вид, то так оробел, что не слышал ни одного его слова. Дежурный генерал, подскочив ко мне, приказал командовать: на плечо! Я едва мог выговорить. После чего опять подъехал он ко мне и спрашивал от имени фельдмаршала: «Как я осмелился отдать ему честь!» Я отвечал, что считал то долгом. Но он мне сказал: «Вчера был отдан приказ, что когда фельдмаршал будет проезжать мимо полков или караулов, никогда бы не отдавали ему чести». — Я отвечал, что приказа сего не слышал. Когда дежурный генерал донес о сказанном мною, фельдмаршал поехал к 1-й линии, где мой полковник тоже сделал ему на караул. Фельдмаршал делал таковое же взыскание; но как полковник отвечал, что приказа того не слышал, то фельдмаршал, обратясь к князю Волконскому, сказал «Князь Григорий Семенович, я вам приказал?» На что тот отвечал, что и он приказал. Но полковник утвердительно донес графу, что в Сибирском полку сей приказ не объявлен. Фельдмаршал приказал дежурному генералу объехать все полки и спросить, в которых полках объявлено сие приказание? Между тем весь корпус стоял



в ружье. Дежурный генерал, справясь, донес, что ни в одном полку не было того объявлено. Тогда фельдмаршал с великим гневом сказал Волконскому: «Господин генерал! ежели вы вперед забудете исполнить мое приказание, я вас поставлю перед взводом гренадер с заряженными ружьями, а теперь поезжайте к господину майору Энгельгардту и скажите ему, что он исполнил свою должность, что я его благодарю, и что выговор, сделанный ему, к вам относится». Хотя его сиятельство и подъезжал ко мне, но приказанное фельдмаршалом мне сказать не объявил; однако ж мое удовлетворение всем стало известно, ибо главнокомандующий был окружен всеми генералами и всем штабом, к главной квартире принадлежащим.

Порядок марша каждого перехода был таков: за авангардом шли всегда наряженные на завтрашний день в караул, то есть все пехотные пикеты с шанцевым инструментом; все отъезжие пикеты кавалерийские с дежурными штаб-офицерами, с генерал-квартирмейстером и квартирмейстерами отправлялись занимать лагерь, и когда корпус вступал в оный, то все уже караулы были на своих местах, и цепь расставлена. Во время похода артиллерия составляла среднюю колонну, по сторонам ее две пехотные колонны; перед каждой командировано было по одному эскадрону кавалерии для утоптанья травы; по сторонам пехотных колонн были две кавалерийские, с флангов которых шла кавалерийская цепь. Обоз тянулся в две веревки, а иногда и в четыре, ежели позволяло место; за оным — вагенбург<sup>70</sup>.

Бывшие того дня полевые пехотные пикеты с отъезжими караулами оставались на своих местах по выступлении корпуса; дежурные штаб-офицеры формировали оные в батальоны и эскадроны и составляли арьергард.

Когда вступали в лагерь, то каждый батальон подходил к левому флангу своего лагеря, а кавалерийские полки к левому флангу своих полков; тогда вдруг делан был отбой, и пехота церемониальным маршем повзводно, а кавалерия поэскадронно, входили в линию.

В походе наряжалось два эскадрона в конвой к фельдмаршалу, и он, несмотря ни на какую погоду, верхом, в одном мундире, до половины марша ехал при корпусе. На половине приказывал делать отбой на час времени, а сам с главным штабом уезжал вперед осмотреть занятие лагеря; иногда приказывал, по положению места, переменить лагерь, потом ездил в авангард, осматривал отъезжие пикеты и приказывал, куда посылать партии. Случалось, что мы, пришед в лагерь, уже отдохнули, а он только что приезжал.

Во время марша фельдмаршал подъезжал к полкам и не позволял, чтоб офицеры сходили с лошадей; ибо по

тогдашнему обряду службы, когда выходили войска в поход, то, кроме дежурных при полку одного капитана и при каждом батальоне по одному офицеру, все прочие офицеры могли ехать верхом подле своего взвода. Солдаты, по желанию, пели песни, и когда граф подъезжал, обыкновенно старались петь какую-нибудь военную в честь ему, как то: «Ах ты наш батюшка, граф Румянцев генерал» и проч. Иногда давал он сим песельникам червонца по два, говорил им несколько ласковых слов, тоже удостоивал разговаривать с некоторыми штаб- и обер-офицерами; словом, приветливостию своею привлекал к себе всех души и сердца.

Лагерь всегда был в две линии: на флангах кавалерия, артиллерия батареями между полками, а главная квартира между двух линий. Караул фельдмаршала состоял из 24 человек при одном офицере, с хором музыки и конвойной команды с литаврами, с двумя трубачами; для сигналов была вестовая пушка, из которой стреляли к вечерней заре.

Пароль и приказ отдавал дежурный генерал, для принятия которого должны были быть: дежурный по корпусу полковник, подполковник и секунд-майор, от каждого полка штаб-офицер и генеральские адъютанты.

К разводу фельдмаршал никогда не выходил.

Когда корпус не был в походе, обыкновенно граф выходил из своей ставки или домика, в большой еринной намет<sup>71</sup>, где уже стол был накрыт, и где генералы и штаб-офицеры и некоторые из обер-офицеров были. Всегда выходил он в мундире, с тростью и шляпою в руке. Обходил всех тут бывших, и ежели с кем не говорил, то, по крайней мере, делал ему приятную мину. Наконец, пил водку и закусывал, и все, кто тут были — тоже. В первом часу он обедал; стол накрываем был на 41 кувертов<sup>72</sup>; другой стол в особливом намете для штата его и ординарцев, от каждого полка наряжаемых по одному офицеру.

После стола фельдмаршал тотчас откланивался; по вечерам собирались к нему генералы и полковники, иногда играли в коммерческие игры.

Второй лагерь был при деревне Плопахе, в 30 верстах от Днестра; тут пробыли более месяца, в ожидании действия осады Очакова и Хотина. Корпус генерала Эльмпта дошел до Ясс, не встречая нигде неприятеля. Фельдмаршал был недоволен медленным и тактическим немецким движением сего корпуса, почему сей генерал, когда главный корпус подошел к Цыцоре (на Пруте, в 20 верстах от Ясс), отправился в отпуск и более уже в армию не приезжал.

По долгом пребывании в лагере при Плопах, отпра-  
сился я к Хотину на короткое время, посмотреть осаду

и видется с моим зятем С. К. Вязмитиновым, тогда бывшим в том корпусе. Он, с позволения графа Салтыкова, дал мне своего адъютанта, чтобы осмотрел я все батареи и траншеи, которые только вели цесарцы, а наши, пользуясь рвами около Хотина, закрывались оными от канонады.

Тогда я увидел, как недостаточно знать только фрунттовую службу; чтобы значить более, надобно знать фортификацию<sup>73</sup> и артиллерию; и тогда же принял намерение в зимовые квартиры заняться сими науками, необходимыми для генерала, а как я держался правила, что худой тот солдат, который не надеется быть фельдмаршалом, то и думал, что необходимо нужно иметь познания, сопряженные с сим званием. Был я в лагере у австрийцев, составлявших левый фланг.

Ни у австрийцев, ни у русских осадной артиллерии не было; батареи были в таком отдалении, что едва двенадцатифунтовые ядра доносило до бруствера<sup>74</sup>, а гранаты из полумортирных единорогов<sup>75</sup> никакого действия не производили; ночью подвигали батареи без всякого закрытия, а без цели выстрелы не делали ни малейшего вреда.

Я чуть было не попался в плен и особливым чудным образом избавился. У Днестра был во рву егерский пост, не допускавший турок пользоваться хорошею ключевою водою. Осмотрев оный, адъютант Сергея Кузмича узнал, что ночью, перейдя ров, заложена была батарея, которая и была нам видна, но не знал, что проезд к оной по сю сторону рва шел очень близко неприятельского ретранше-мента, а ров был так крут, что едва с трудом можно сойти пешком. Лишь только мы несколько проехали, как егеря стали нам кричать: «Остерегитесь, турки вас видят и намереваются выйти из ретранше-мента, чтобы вас схватить», — а мы уже так заехали, что возвратиться к егерскому посту значило быть еще ближе к ретраншементу, а до батареи еще было далеко; отдаться в плен охоты не было, а равно даром и убиту быть; потому я решился, несмотря на крутизну рва, спуститься и рвом добраться до егерского поста, что, благодарение богу, удалось. Можно сказать, у страха глаза велики: в обыкновенное время, конечно, никто не осмелится спуститься на лошади в сей буррак. Должен я еще признаться в моей храбрости: с польской стороны, по правой стороне Днестра, заложена была сею же ночью батарея, которую я желал видеть; турки, для воспрепятствования работы, стреляли ядрами; первое, которое я услышал, заставило меня с такою торопливостью нагнуться, что обе шлифные пряжки у меня лопнули.

Пробыв при Хотине два дня, возвратился я в главный корпус.

Во время пребывания моего при главном корпусе получено известие, что шведский король Густав III внезап-

но объявил войну<sup>76</sup> и вступил в российскую Финляндию, а флот его, под командою герцога Зюдерманландского, атаковал Балтийский порт и требовал от коменданта сдачи; комендант был майор Кузмин, старый инвалид, у которого в прежнюю войну была оторвана рука; он отвечал: «Я рад бы отворить ворота, но у меня одна рука, да и та занята шпагою». По несколькодневной храброй обороне, герцог принужден был отойти насупротив русского флота, вышедшего из Кронштадта под командою вице-адмирала Грейга. Произошла у Красной Горки морская баталия<sup>77</sup>; все выстрелы в Петербурге были слышны; двор готовился выезжать. Но Грейг одержал славную победу и взял вице-адмиральский корабль с начальником оного гр<афом> Вахмейстером. Ветер способствовал шведскому флоту укрыться в своих гаванях, но Грейг был опасно ранен и вскоре от раны умер<sup>78</sup>.

В Финляндии собрана наскоро армия, которая поручена была в команду генерал-аншефу графу Валентину Платоновичу Пушкину.

Там же получено известие от светлейшего князя, что послан был флота капитан Сакен на дубль-шлюпке<sup>79</sup>, для разведывания о неприятельском флоте и содержания брандвахты<sup>80</sup> близ Кинбурнской косы. Он, усмотрев передовые суда капитан-паши, идущие на всех парусах; почел за благоразумие идти на Глубокую пристань, для извещения принца Нассау-Зигена о появлении неприятеля, или присоединиться к русской эскадре, стоявшей выше устья реки Буга пред Станиславою косою. Турки устремились за дубль-шлюпкою. Сакен, чувствуя несоразмерность сил, поспешал удалиться, но четыре турецкие галеры, очень легкие на ходу, настигали его и кричали, чтоб он сдался. Сакен, войдя в устье Буга, высадил всех бывших людей и, чтобы не дать завладеть судном туркам, сам с зажженным фитилем спустился в крюйт-камеру<sup>81</sup>. Вскоре дубль-шлюпка была окружена преследовавшими ее галерами; экипаж их, видя русское судно оставленное, смело пристал к борту и толпы взошли на палубу, как вдруг с треском дубль-шлюпка поднялась на воздух и вместе с нею турецкие галеры со всеми на них бывшими людьми. Таким геройским подвигом капитан Сакен кончил жизнь свою, увековечив ее вечною славою.

Очаковская осада продолжалась медленно, которую называл фельдмаршал осадю Трои; однако ж, были успехи на водах, как то: наша флотилия одержала победу над флотилиею турецкою, равно и большой наш флот заставил турецкий оставить Очаков.

В течение очаковской осады Александр Васильевич Суворов в один день при вылазке завязал большое дело, посылая беспрестанно по несколько батальонов занять са-

ды, прилежавшие к крепости, так что весь левый фланг вступил в сражение, и наши войска много претерпевали от усилившихся подкреплений турок в выгодной для них позиции. Кажется, намерение его было, видя медленную осаду, заставить светлейшего князя сим средством решиться на штурм или самому с своим корпусом на плечах турок ворваться в крепость, и ежели бы князь Репнин не выручил с своим корпусом, то наши бы войска претерпели значительный урон. Александр Васильевич ранен был в руку легко. Светлейший князь послал его спросить дежурного генерала: «Как он осмелился без повеления завязать столь важное дело?» Суворов отвечал: «На камушке сижу и на Очаков гляжу».

Фельдмаршал получил донесение от графа Салтыкова, что Хотин турки сдают на капитуляцию, но требовали сроку на три дня; фельдмаршал к тому времени приказал, чтобы на батареях были пушки заряжены стрелять викторию о сдаче Хотина, когда курьер приедет; но он приехал с тем, что отсрочено еще туркам на три дня, и потом еще на три дня\*; фельдмаршал был очень недоволен и, не ожидая уже взятия Хотина, выступил с главным корпусом вперед. Все мы, молодые служивые, обрадовались, что наконец увидим неприятеля, и ревностно хотели с ним сразиться; но дошед в несколько маршей, остановились до окончания кампании при урочище Цыцорах, на левой стороне Прута, в 20 верстах от Ясс.

Корпус генерала Эльмпта занял Яссы и поступил, по отпуске его, в командование генерал-поручика князя Бориса Григорьевича Шаховского; через день резервный корпус генерала Каменского присоединился к главному. На марше получено донесение графа Салтыкова о занятии Хотина и сдаче оного цесарцам. Графу Салтыкову поручено занять Кишинев и наблюдать Бендеры.

Неприятельский лагерь открыт был в сорока верстах на левой стороне Прута, против Рябой Могилы, в больших силах.

За малоимением легких войск, фельдмаршал приказал отставному полковнику Сиверсу, бывшему волонтером, набрать три тысячи арнаутов<sup>83</sup>; ему поручены от трех корпусов Донского войска казачьи полки и повелено быть в десяти верстах от армии, иметь свой стан, охранять оную

---

\* Сказывали, что медленной осаде Хотина и еще девятидневной отсрочке была причиною жена Каменец-Подольского польского коменданта Витта (которая после была за графом Потоцким<sup>82</sup>), в которую граф Салтыков был влюблен и которая часто приезжала в лагерь; она была гречанка, сестра ее была замужем за Хотинским пашою, почему граф, по просьбе ее, посылал парламентаря с письмами от госпожи Витт к сестре, а от той получала она на оные ответы. (Прим. автора.)

и посылать партии для разведывания. Редко очень казаки встречались с турками, а еще меньше было небольших схваток; турки так боялись русских, а еще более имени Румянцева, что как скоро завидят казака, то, бывало, и бегут; однако ж, во все то время нахватали человек до пятидесяти пленных.

Армия имела всегда с собою провиант, люди на себе в ранцах на четыре дня, в фурах полковых — на шесть, да в каждый полк даны были возы на волах, и на оных было провианта на 22 дня. Транспорты с провиантом еженедельно приходили из Польши; заготовление оно поручено было генерал-майору Шамшеву и генерал-провиантмейстеру, бригадиру Новицкому. Для прикрытия магазинов в Польше, под командою сказанного Шамшева, оставался Днепровский мушкетерский полк, от некоторых мушкетерских полков двухротные команды; в местечке Сороке, Молдавского княжества, построен был ретраншемент, в который свозили покупаемый в Польше провиант и фураж.

В Польше сделалась революция<sup>84</sup>, и 3 мая сейм утвердил новую конституцию; поляки оказывали неприязненное нам расположение; посол наш гр. Штакельберг лишился прежнего своего влияния, а доверенность поляков получил прусский министр Луккезини<sup>85</sup>.

Цесарские войска непрестанно, хотя и не было генеральной баталии, но во многих сражениях турками были поражаемы. Император неоднократно просил фельдмаршала сделать движение для диверсии в пользу австрийцев, но граф и с места не тронулся, под видом, чтобы при его движении не открыть места, чрез которое турки могли подать секурс Очакову. Неоднократно для сего приезжали в лагерь австрийские генералы: Йордыш, Сплени и Карачай; а сверх того, для наблюдения наших действий, при нашей армии был полковник Герберг; под исход уже кампании, из-под Очакова приезжал в Яссы принц де-Линь, откуда часто приезживал для сего же в лагерь. Несмотря, однако ж, на его красноречивые убеждения, фельдмаршал и шагу не делал.

Главкомандующий был очень недоволен генерал-квартирмейстером Бердяевым, который действительно не имел особых дарований, ни природных, ни приобретенных сведениями. К генерал-квартирмейстеру лейтенанту Медеру он по особливым причинам не благоволил и хотел испытать товарища его полковника Филиппи: способен ли он, если бы нужда потребовалась, на какое важное предприятие. Фельдмаршал дал ему повеление с сотнею казаков ехать по правую сторону Прута и рекогносцировать: можно ли, поставя батарею на Рябой Могиле, анфилировать<sup>86</sup> неприятельский лагерь? Прут в то время был так мелок, что было только лошади по колено; фельдмаршал, дав

ему приказ, не объявил, что полковнику Сиверсу дано уже повеление, — что Филиппи поедет рекогносцировать; а потому чтобы Сиверс заранее со всеми своими легкими войсками отправился вперед и его бы прикрывал, и ежели не только опасно будет Филиппи, но даже можно опасаться потери одного человека его команды, то чтобы сам возвратился и дал бы Филиппи запечатанное повеление, в котором ему приказано было возвратиться без исполнения порученного. Филиппи, получив приказание от фельдмаршала, думал, что посылается на неизбежную смерть. Отъехав верст десять, спросил он молдаван: есть ли турки на той стороне? И как они ему сказали, что много, то он и отправился назад. Вошед к фельдмаршалу в ставку, когда уже было большое собрание, и как на тот раз хотинский гарнизон не в дальнем расстоянии от лагеря проходил под прикрытием австрийских войск, то командующий оным конвоем генерал и многие австрийские штаб-офицеры тут были. Фельдмаршал, как скоро увидел вошедшего Филиппи, подошел к нему и спросил на ухо: «Sind Sie da gewesen?» (Были ли вы там?) — «Nein Ihre Erlaucht». (Нет, ваше сиятельство.) — «Wagum?» (Для чего?) — «Ich fürchte». (Я побоялся.) — Тогда вдруг вскричал фельдмаршал громко: «Счастлив ты, что сказал не по-русски, а их языком (показав на австрийцев), а то бы тотчас велел тебя расстрелять» — И после сего не только никогда его не употреблял, но даже с ним никогда уже не говорил.

Тогда фельдмаршал вздумал испытать дивизионного квартирмейстера Лена. Когда хотинский гарнизон вышел в турецкий лагерь, то сераскир<sup>87</sup> присылал парламентаря благодарить за исполнение в точности капитуляции. Фельдмаршал воспользовался сим, послал Лена с пустым комплиментом, но, отправляя его, сказал ему: «Неприменно привези ты мне план позиции неприятельского лагеря». Лен вот как исполнил сие поручение: как скоро приехал к аванпостам с трубачом, то дал себе, по обыкновению, завязать глаза, но когда он почувствовал, что уже в неприятельском лагере, по шуму его окружавших, тогда вдруг сдернул повязку; некоторые турки было бросились на него, но он, выхватив пистолет, угрожал выстрелом. Он приведен был в палатку, обгороженную тростником, но уже успел увидеть все положение турецкого лагеря. При возвращении своем, начертил план и представил его фельдмаршалу, который спросил: «Как, батюшка, вы это сделали?» И когда он ему отвечал, то граф его обнял и сказал: «Будем друзьями, господин Лен».

Скажу вам, что впал было я в гнусный порок, но, благодарение богу, добрый мой приятель от того меня избавил. Полковник мой, следуя английскому обыкновению, подпивал; после обеда ставили чашу пунша. Приятели его,

а мои товарищи стали на мой счет подшучивать, что похож ли я на гренадерского офицера: водки и пунша не пью и трубки не курю. Желая быть в числе коротких приятелей своего полковника и быть настоящим гренадерским офицером, сперва пил я в угождение, потом это вошло в привычку и наконец не только у полковника, но уже я искал в других местах, где бы подпить; словом сказать, ни одного дня не проходило, чтоб я не был пьян. Роштейн произведен был недавно секунд-майором, он не успел еще завестись своею палаткой и жил у меня. В один день после обеда, соснув, я оделся и хотел идти, как он вдруг сказал мне: «Послушай, Л. Н., за благосклонность твоего ко мне зятя, бывшего нашего командира, и по дружбе моей к тебе, я должен сказать, что уже, наконец, я выхожу из терпения и мне стыдно жить в одной палатке с пьяницею; представь, что вот уже около месяца, как ты всякий день пьян и теперь, я вижу, спешишь искать пунш; ежели не справишься, я тотчас с тобой расстанусь». Чувствительна мне была такая укоризна; сначала я было на него рассердился, но как скоро одумался, то действительно увидел, что страсть сия во мне укоренилась. Я дал себе слово более не пить, и могу сказать, что с тех пор во всю мою жизнь был трезвой и воздержной жизни; счастливая минута, в которую друг мой своим словом излечил меня!

В начале ноября сделались большие морозы, выпал снег, и стала зима, какой в Молдавии никто не помнил; реки замерзли и даже лиман под Очаковым.

15-го числа полковник Сиверс донес, что турки лагерь свой оставили; генерал Каменский получил повеление преследовать неприятеля, а по другой стороне Прута генерал-поручику князю Шаховскому приказано идти вперед до Васлуи<sup>88</sup> и начальствовать передовым корпусом.

Войска 22 числа вошли в зимовые квартиры; в Цыцорах сделано было несколько редутов, и ставлено три батальона для прикрытия Ясс и сбережения замерзших понтонных мостов. Корпус кишиневский поручен был генералу Каменскому, на место графа Салтыкова, который отпросился в Петербург. Главная квартира заняла Яссы.

При выходе из лагеря, накануне того дня, говорил я полковнику, что мне хочется побывать к батюшке; он мне сказал, что о том скажет фельдмаршалу, который, как скоро о том услышал, с гневом сказал: «Мы еще не вошли в зимовые квартиры, а молодые люди уже скучают службой». Хотя все знали, что уже и приказ написан, только еще не был объявлен, но чрез несколько часов оный и отдан был при пароле.

Штабы всех полков, составлявших главный корпус, остались в Яссах, а полки были расположены в окружностях. Я уже лишился было надежды быть в отпуску, а проситься боялся и подумать.



25-го обедал я у фельдмаршала, как вдруг он сказал мне: «Как, господин майор, я слышал, что вы хотите в отпуск?» — Я ему отвечал: «Если ваше сиятельство позволите». — «Для чего же нет?» — сказал он. Вставши из-за стола и подошед ко мне, он спросил: «Скоро ли вы хотите ехать?» — «Как вашему сиятельству угодно». — «Однако ж, если б от вас зависело?» — «Я бы уехал сего же дня». — «Вы очень скоры, однако ж, я вас прошу остаться только до шести часов утра завтрашнего дня, а притом я вас буду просить взять на себя некоторые поручения, и завтра в шесть часов прошу ко мне». Я думал, что как мне должно было проезжать Гомель, его местечко в Белоруссии, то верно что-нибудь прикажет к его там управляющему. Не успел я в шесть часов поутру явиться, как уже дежурный генерал сказал, что фельдмаршал меня ожидает. Я вошел в кабинет. Граф дал мне паспорт на двадцать девять дней, подорожную и письмо к моему отцу, сказав: «Вот в чем состоит мое поручение, доставьте удовольствие вашему батюшке видеть доброго сына» \*.

Лестное сие письмо я почитаю лучшим себе аттестатом в мою службу. С какою деликатностию сей великий человек делал свои благодеяния, и вот каким очарованием привязывал к себе! Хотя чины и кресты во время его командования трудно доставались, но зато они были им раздаваемы справедливо и за настоящее дело, кто чего заслуживал; зато всякая награда принималась с величайшим уважением.

Можете себе представить, с каким удовольствием отец мой меня увидел с графскою рекомандациею. Уже в бытность мою в Могилеве, узнал я о взятии штурмом Очакова шестого декабря \*\*.

---

\* Вот содержание сего письма:

«Милостивый государь мой Николай Богданович!

Податель сего будет вам лучшим свидетелем моего к вам усердия, но я не могу, однако ж, отказать себе того удовольствия, чтобы не представить его тоже с моей стороны, свидетельствовать о его лучшем поведении и прилежности к службе и вам не пожелать всякого самобысленнейшего добра, и что я в особенное себе удовольствие вменяю всякий случай, который мне подает способы вам и вашему достойному сыну мои услуги оказать. И с сими чувствами и искреннейшим почтением, что я имею честь быть.

Яссы 26 ноября  
1788 года.

Вашего Превосходительства  
всепокорнейший и всегдашний  
слуга гр. Румянцев-Задунайский.  
(Прим. автора.)

\*\* Взятие Очакова стоило очень дорого; потеря людей чрезвычайно значительна, не убитыми, но от продолжительной кампании; зима, наставшая в том краю ранее и холоднее обыкновенного, изнури-

Светлейший князь награжден орденом св. Георгия 1-го класса; по его рекомендации все щедро награждены орденами и крестами; по некотором времени отправился он в С.-Петербург, где его с триумфом встретили, и по пути, где он проезжал, встречали как победителя; весь его проезд уподоблялся празднику. Штаб и обер-офицеры все получили золотые кресты на георгиевской ленте с надписью: «За службу и храбрость», а на другой стороне: «Очаков взят 6 декабря 1788 года». Нижним чинам даны серебряные медали.

1789. В 1789 году явился я из отпуска к фельдмаршалу, несколько дней просрочив, и боялся его выговора; но вместо того, увидя меня, он сказал: «Как, вы уже возвратились?» — «Я и так, ваше сиятельство, просрочил; причиною тому большие метели», — отвечал я. И действительно, подъезжая к Могилеву, подводчик мой потерял дорогу, всю ночь проплутал, и почти к свету, заехав в сторону, наткнулся на одну деревню, где дождался свету; в ту крутую зиму многие от вьюг пострадали. «Напрасно вы спешили, дела теперь нет, вы бы могли еще пробыть столько же у вашего батюшки; однако ж, это не худо: вперед будете иметь кредит».

Во время моего отсутствия, генералу Каменскому повелено было выгнать татар из занимаемых ими квартир, селений Гангур и Салкуц, к стороне Бендер. Каменский, напав на них нечаянно, почти всех их истребил; в том числе был убит сын хана, командовавшего оными; малое число из них спаслось. Этим зимовые наши квартиры стали безопасны и во всю зиму не были неприятелями беспокоиваемы; почему три батальона, под командою полковника Владычина, оставленные при Цыцорах в землянках, для прикрытия укрепления, отпущены, а на место их для караула понтонных мостов оставлено две роты.

Князь Г. С. Волконский, на другой же день моего прибытия, командировал меня к оным двум ротам. Фельдмаршал того же дня спросил нашего полка премьер-майора Клугина: «Где же ваш приезжий майор Энгельгардт?» — а как тот отвечал, что командирован в Цыцоры для караула мостов князем Волконским, тут бывшим, фельдмаршал с гневом сказал ему: «Для чего штаб-офицера нарядили в караул? Тотчас пошлите ордер господину майору,

---

ла людей до того, что едва четвертая часть осталась от многочисленной армии, а кавалерия потеряла всех почти лошадей. Светлейший князь, жалея людей, решился на штурм по необходимости поздно; если бы штурм дан был тотчас по отбытии турецкого флота, то потеря была бы в половину менее; расчет самый неверный для сбережения людей — поздняя кампания, а особливо в местах, где продовольствие так затруднительно, и есть лишение всех нужных потребностей. Филантропия не всегда бывает кстати. (*Прим. автора.*)

чтоб сдал он команду старшему по себе капитану, и завтра явился бы ко мне. Господин генерал, — примолвил он, — молодых, хороших офицеров надобно поощрять, а не унижать». Получив сие повеление, я очень обрадовался, тем более когда узнал о приятном отзыве обо мне фельдмаршала.

По прибытии в Яссы, занялся я, как прежде уже себе предположил. Достал я книгу «Le parfait ingénieur Français»\*, где все до того времени известные системы всех авторов о крепостях подробно описаны, и могу сказать, что прилежанием своим все три манера укреплений Вобана и регулярные крепости его и Когорна твердо сам собою выучил, равно как атаку, так и защиту; также к оному присовокупил: «De l'attaque et de la défense des places», par Blondel\*\*. Из библиотеки князя Дашкова много читал тактических книг; словом, зимовые квартиры провел я с пользою, а в следующий год прошел я и курс артиллерии, готовясь служить с замечанием и быть годным к употреблению, когда какой случай предстанет.

Образ жизни фельдмаршала в Яссах был таков: он вставал всегда в пять часов; в шесть приходил к нему с рапортом дежурный генерал, потом секретари его разных экспедиций по очереди подносили дела, которые он приказывал к тому дню приготовить; в десять в кабинет были допускаемы генералы и некоторые полковники; в одиннадцать выходил он в приемную комнату и из бывших тут с каждым почти говорил. Наконец отворялись двери, и допускаемы были к нему люди всякого звания с просьбами: солдаты, молдаване, жидаы, словом, кто только имел до него дело; словесные просьбы выслушивал он с терпением и тогда же делал удовлетворение, отсылая их куда следует, или через своих адъютантов или ординарцев; писанные же просьбы принимал и клал в карман. Обедал в первом часу в половине; стол его, так же как и в лагере, был на сорок приборов; после обеда через полчаса откланивался и уходил в кабинет; там несколько отдыхал, а проснувшись рассматривал просьбы, на всякой своею рукою надписывал резолюцию и к которому числу должен ее секретарь исполнить, записывая у себя в особливую тетрадь и в следующее утро справлялся с нею: какие дела и который секретарь должен был ему доложить. В шесть часов вечера приходили секретари, и каждому из них по экспедиции он отдавал те просьбы; ежели какая поступала просьба недельная, то он наддирал у оной уголок: то было знаком, чтобы просителю отказать. Потом выходил в приемную,

---

\* «Образцовый французский инженер» (фр.).

\*\* «Об искусстве атаковать и защищать плацдармы» Блонделя (фр.).

где собирались генералы и штаб-офицеры и делали партии, а в девять часов он откланивался, и все разъезжались. Во все время той зимы в Яссах было тихо; у некоторых бояр бывали балы, как то у князя Кантакузена, у Стурдзы и некоторых других. На оных балах танцевали молдаване свой танец, называемый жоком: становились в кружок мужчины и женщины, держась рука за руку, и, важно подвигая ноги то в сторону, то вперед, обходили кругом по их музыке, составляющейся из цыган (инструменты: кобза, род гитары, свирель и две скрипки), с припеванием гнущихся самих музыкантов. Сии же танцы и в простом народе употребляются. На сих балах в других комнатах играли в карты, и многие бояре страстно играли большею частию в рокамболь и азартные игры. Между тем разносили варенье, фрукты, шербет, и желающие курили трубки.

В марте князь Шаховской донес, что он атакован превосходными силами, и требовал скорого подкрепления. На зиму все почти полковники отправились в отпуск, одни штаб-офицеры командовали полками. Фельдмаршал приказал нарядить два батальона Сибирского и два батальона Малороссийского полков с их полковыми орудиями и от каждого полка штаб-офицера; старшему из них приказал поручить все четыре батальона. Старшим случилось быть мне, и на другой день должен я был явиться к фельдмаршалу для получения приказа и тотчас выступить. Я был в восхищении, всю ночь занят был распоряжениями, был у генерал-квартирмейстера для получения маршрута, скопировал карту окружности Васлуи. Мечталась в моих мыслях слава, которую приобрету я моими дарованиями и храбростию, но мечта сия на другой же день рано исчезла.

Князь Шаховской донес, что вместо больших неприятельских сил, которых он сам не видал, только передовые посты его были атакованы сильною партией, которая вскоре, не сделав ни малейшего вреда, отступила к своим квартирам к Галацу. Притом схваченные турки сказывали, что там делают несколько отдельных укреплений, полагать должно, редутов.

В исходе же марта главнокомандующий сделал производства на вакансии; мне досталось премьер-майором в Днепровский полк, пребывавший для прикрытия магазинов в Польше.

Фельдмаршал, вскоре после взятия Очакова, просил у императрицы, по преклонным летам и болезням, увольнения от командования армиею, на что государыня соизволила указать при милостивом рескрипте. После того обе армии соединились под команду светлейшего князя Потемкина, но до приезда его назначено принять оную генерал-аншефу князю Николаю Васильевичу Репнину; авангардный корпус — генерал-аншефу Александру Васильеву-

чу Суворову. Фельдмаршал не хотел дожидаться князя Репнина, который тогда еще не был в России, и до прибытия его сдал армию генералу Каменскому.

Суворов скоро прибыл и явился к фельдмаршалу в куртке и каске, когда был там и Каменский, который всегда был по недугу своему в длинном мундирном сюртуке, белую портупеей подвязанном. Суворов до выхода еще фельдмаршала из кабинета сказал Каменскому: «Признаться, мы с тобой великие оригиналы: оба мы у фельдмаршала, которого чтим душою, только ты очень долго, а я очень коротко». Не замедлил прибыть и князь Николай Васильевич Репнин и вступил в командование армиею. Тогда фельдмаршал переселился на речку Жижу, в деревню одного молдаванского боярина, в десяти верстах от Ясс, где и пробыл почти до заключения мира.

В апреле князь Репнин приказал генерал-поручику Дерфельдену атаковать неприятеля в укреплениях его при Галаце, что тот и исполнил, взял в плен человек шестьсот и двадцать пушек; прочие неприятельские войска прогнаны за Серет к Браилову, а сам Дерфельден возвратился в Берлат, где Суворов учредил авангардный свой пост.

Прибыл я в полк Днепровский, расположенный в Ямполье. Полковник сего полка Гавриил Михайлович Рахманов был мне очень рад, ибо полк был очень расстроен и снабжен офицерами новыми и неопытными; нижних чинов почти не было, и все солдаты были из рекрут. Итак, занялся я по своему званию новою своею должностию. По тогдашней службе на премьер-майоре почти, так сказать, лежал весь полк: он настоящий был хозяин; полковник занимался приятным начальством, а все трудное и неприятное по службе было участью премьер-майора; зато скоро мог исправный майор сделать свою репутацию и быть на замечании у главного начальства.

Во время пребывания полка в Ямполье, генерал Каменский, ехавший в отпуск, пробыл в Сорочке недели с две; а как расстояние от Ямполья по левой стороне Днестра не более трех верст, то все то время мы пробыли с ним вместе. Как скоро не касалось Московского полка, в котором он был шеф, и где офицерам по чрезвычайной его строгости почти служить было невозможно, как корпусный командир был он любим, а не по службе был очень любезен. Он ожидал скот и табунов своих, отогнанных им во время экспедиции на Гангуру и Салнакуц.

Наконец поляки настояли, чтобы наши войска выведены были из Польши, а сами сформировали свои войска и обучали на прусский манер, почему полк Днепровский получил повеление идти в Кишиневский корпус, под команду генерала Кречетникова. Главный корпус бывшей

Украинской армии был в Гинчештах; передовой, под непосредственным начальством генерала Суворова, в Берлате.

В июне Суворов, соединясь с принцем Кобургским, разбил неприятеля при Фокшанах и прислал реляцию князю Н. В. Репнину, следующего содержания: «Речка Путна от дождей широка <sup>89</sup>. Турок тысяч пять-шесть спорили, мы ее перешли, при Фокшанах разбили неприятеля; на возвратном пути в монастыре засели пятьдесят турок с байрактаром; я ими учтивствовал принцу Кобургскому, который послал команду с пушками, и они сдались».

Вскоре после того полк наш был командирован для обеспечения переправы на Днестре идущему бывшей Екатеринославской армии передовому корпусу под командою генерал-поручика Павла Сергеевича Потемкина, состоящему из четырех батальонов Бугского егерского корпуса, которого шефом был незабвенный Михаил Ларионович Кутузов, и из четырех батальонов Екатеринославского егерского корпуса, которого был шеф зять мой Сергей Козмич Вязмитинов, а также из двух гусарских полков. За оным и вся Екатеринославская армия следовала (которая потом заняла позицию под Фокшанами, до блокады Бендер). Как скоро переправился тот авангардный корпус, полк наш возвратился в лагерь под Кишинев.

Светлейший князь прибыл к армии; осмотрев наш корпус, ездил для осмотра главного корпуса бывшей Украинской армии, при Гинчештах; потом отправился уже к собравшейся при Фокшанах армии.

По полученным известиям, что визирь с большою армиею идет на австрийский корпус принца Кобургского, расположенный от Берлата более ста верст, Суворову предписано соединиться с принцем и разбить визиря; а князю Репнину, присоединив к себе корпус генерала Кречетникова, разбить Гассан-Пашу, расположенного в Табаке. Гассан-Паша в прошлую кампанию был капитан-пашою и в наказание, что не способствовал защите Очакова, был разжалован, сделан комендантом Измаила, и приказано было ему от султана с сильным корпусом занять Табак и препятствовать нашей армии подать помощь австрийцам.

Соединенные наши два корпуса составляли более двадцати тысяч регулярного войска и три тысячи казаков. На речке Ларге было авангардное сражение, и узнали, что Гассан-Паша занимает крепкую позицию в укрепленном лагере при реке Сальче, недалеко от известного урочища Кагул, славного по победе, одержанной фельдмаршалом графом Петром Александровичем Румянцевым-Задунайским в прошлую войну; и что, по причине нескольких крутых гор, пред самую неприятельскую позицию, затруднительно было его атаковать.

Генерал-квартирмейстер-лейтенант Медер рекогносциро-

вал и открыл, что между двух хребтов гор, сделав двадцать верст лишних, скрытно можно было обойти сии горы и придти во фланг, где неприятель не имел никакого укрепления и никак нас с той стороны не ожидал. Почему с вечера выступили боковым маршем ложиною между тех гор; авангард составлен был под командою генерал-майора Ласси из полков пехотных: Днепровского, Угличского и Витебского, Киевского карабинерного, трех эскадронов кирасир и трех тысяч Донского войска казаков, под командою наказного атамана В. П. Орлова.

Действительно, неприятель был изумлен нечаянным нашим появлением, когда он думал, что мы еще из занимаемого нами накануне лагеря не тронулись. Авангард в двух кареях занял два оканчивающихся хребта гор, между которых мы прошли верстах в десяти от турецкого лагеря; между сих двух кареев в ложине поставлены были три эскадрона кирасир, за ними Киевский карабинерный полк, а впереди их в полуверсте казаки в две шеренги (по термину их: лавою) на равнине, простирающейся не только до турецкого лагеря, но и до самого Табаку верст на сорок. Весь корпус за авангардом расположился в двух верстах, в двух линиях.

Неприятель выслал свою конницу против нас, а прочие его войска стали готовиться к отступлению. Картина представилась нам превосходная: турки рассыпались по полю в разнообразном цветном своем одеянии, наездники подъезжали к казакам и стреляли в них из пистолетов, наконец, собравшись в одну толпу, бросились с обыкновенным их криком «алла», при приближении которой атаман, приподнявшись на стремянах, снял шапку, перекрестился, что и все казаки сделали. Они встретили неприятеля на дротиках и гикнули с таким стремлением, что обратили его в бегство; крик смешавшихся казаков и турок произвел ужасную гармонию. Киевский карабинерный полк послан генерал-поручиком князем Г. С. Волконским для подкрепления казаков. Вдруг убитые турки раздеты были донага, и у нас в пехотном авангарде сделалась ярмарка; оружие разного рода, конские богатые уборы и лошади продавались за ничто. Казаки гнали турок версты три. Киевский полк, под командою секунд-майора Гельвига, за отсутствием полковника и прочих старших штаб-офицеров, проскакав мимо казаков и оставя их за собою, поражал неприятелей, не доезжая версты за две до их лагеря. Турки, увидя, что гнал их один только карабинерный полк, остановились и в свою очередь атаковали наших; храбрый секунд-майор Гельвиг, видя, что казаки далеко от него отстали, принужден был ретироваться, по временам останавливаясь, когда турки сильно на него напирали, и таким образом соединился с казаками с небольшою потерею. Турки

отступили в свой лагерь, и нашей авангардной коннице тоже приказано отступить. Если бы вслед сей нашей кавалерии весь корпус двинулся, то вся бы артиллерия, весь лагерь достались бы нам, и корпус неприятельский вовсе был бы уничтожен. Но князь Репнин, человек над-меру осторожный, думал, что войска утомились, тогда как все жадничали сражения и одушевлены были духом храбрости, безотлучной у русских воинов. Поле укрыто было убитыми турками, которых, конечно, было более тысячи, а князь Репнин показал в реляции только пятьсот. Секунд-майор Гельвиг, узнав, что в донесении светлейшему князю сказано, «что Киевский полк только подкреплял казаков», сказал князю Репнину: «Ваше сиятельство, вы не отдали должной справедливости Киевскому полку, ибо я гнал неприятеля до самого его лагеря, а казаки от меня отстали около четырех верст, в чем они сами сознаются, и подвиг мой был в виду всего авангарда». Князь с досадою выговаривал ему за дерзость и сказал, что он хотел было представить его к повышению чином. Гельвиг отвечал, что не себя считал обиженным, но полк, и уверен, что главнокомандующий не откажет сделать дело сие гласным в армии; что касается до него, то он при отставке без всякой рекомендации получит чин<sup>90</sup>.

Корпус оставался в тот день на занятой им позиции. В 10 часов вечера мы слушали еще обыкновенные турецкие сигналы, три пушечные выстрела; но то было только для нашего усыпления, а турки с самого вечера отступили поспешно к Измаилу.

Сделана была диспозиция атаковать неприятеля на рассвете, но уже и след его простыл; послана была кавалерия для преследования, и отнято было несколько обозов.

В два марша достигли мы лимана в двенадцати верстах от Измаила. Князь Репнин думал, что крепость была в таком положении, как в прошлую войну, и хотел взять оную штурмом; но увидел, что Измаил был уже чрезвычайно укреплен по правилам новейшей фортификации с каменной одеждою, почему без формальной осады штурмовать его невозможно; однако ж мечтал, что устрешенный Гассан-Паша сдастся, как скоро мы к Измаилу подступим. На другой день поутру подошли мы к крепости и канонировали до трех часов пополудни, в таком расстоянии, что наши полевые орудия не могли сделать ни малейшего вреда; выпустили до двух тысяч ядер и гранат, на что и нам из крепости безвредно отвечали. После чего мы отступили сорок верст назад, с такою поспешностию, как будто неприятель нас гнал превосходными силами.

Светлейший князь так был недоволен сею экспедициею, что князя Репнина послал командовать в Очаков. При Фальче оставлен был корпус под командою генерал-пору-



чика Михельсона из трех полков пехоты, двух полков кавалерии, одного полка Донских казаков и десяти орудий артиллерии. Прочие войска пошли присоединяться к главному корпусу под Бендеры.

В то время как мы делали сию пустую экспедицию, Суворов одним переходом соединился с принцем Кобургским и принудил его тотчас идти атаковать визиря с своим корпусом и стать в авангарде. Корпус принца Кобургского был около 15 000, Суворова — около 6000, а неприятеля полагали в 80 000. Под Рымником союзники одержали совершенную победу; неприятель потерял много убитыми, а еще более утонувшими в реке Рымнике, так же и пленными; взята вся артиллерия и лагерь. За сию славную победу Суворов был пожалован графом Рымникским.

В течение всей кампании взята крепость Аккерман<sup>91</sup> на устье Днестра, а в исходе оной Бендеры сдались на капитуляцию.

Войска вступили в зимовые квартиры; главная квартира расположилась в Яссах, корпус графа А. В. Суворова-Рымникского — в Фокшанах, корпус Михельсона — в городе Фальче и окрестности оного.

Главная квартира пышностию отличалась против бывшей под командою графа Петра Александровича. Множество приехало жен русских генералов и полковников. Из числа знатнейших были: П. А. Потемкина, которой его светлость великое оказывал внимание, гр. Самойлова, кн. Долгорукая, гр. Головина, кн. Гагарина; польского генерала жена, славившаяся красотою де Витт, потом бывшая замужем за графом Потоцким. Беспреданно были праздники, балы, театр, балеты. Хор музыки инструментальной, роговой и вокальной был до трехсот человек; известный сочинитель музыки г. Сарти всегда был при князе. Он положил на музыку победную песнь: «Тебе бога хвалим», и к оной музыке прилажена была батарея из десяти пушек, которая по знакам стреляла в такт; когда же пели: «свят! свят!», тогда производилась из оных орудий скорострельная пальба.

Его светлость одевался нередко в гетманское платье, которое шито было щегольски и фасона, который он выдумал, быв пожалован гетманом екатеринославских и черноморских казаков. В самое то время, когда он так щегольски одевался и так нарядом своим занимался, приказал сделать себе и мундир из солдатского сукна, дабы своим примером подать недостаточным офицерам средства не издерживать из малого своего жалованья на покупку тонкого сукна, которое за отдалением торгующих купцов оным товаром было дорого. Почему в угождение его все генералы сделали таковые мундиры. Итак, хотя приказа и не было, но почти все штаб и обер-офицеры с удовольствием

во всю войну одевались в куртки толстого сукна, как солдаты; но, однако ж, не запрещалось по желанию носить мундиры из тонкого сукна.

По прибытии светлейшего князя в Яссы, один раз он только был у фельдмаршала графа Румянцева в Жиже и изредка посылал дежурного генерала, племянника своего В. В. Энгельгардта, с приветствием. Остальные генералы из подлости и раболепства редко посещали графа, да и то самое малое число. Один только граф Алекс<андр> Вас<ильевич> Суворов оказывал ему уважение; после всякого своего дела и движения, посылая курьера с донесением главнокомандующему, особенно курьера посылал с донесением и к престарелому фельдмаршалу, так как бы он еще командовал армией.

В течение зимы Бендерская крепость взорвана.

1790. В 1790 году император Иосиф II умер; император Леопольд, вступая на престол, заключил мир<sup>92</sup>, для Австрии вовсе невыгодный. Французская революция тогда была самой ужасной анархией.

Шведский флот, на котором был сам король, и который состоял в 26 кораблях и фрегатах, атаковал Ревельский наш флот<sup>93</sup>, в котором не более было десяти кораблей при самом ревельском рейде, под командою адмирала Чичагова; он не только был отражен, но потерял один фрегат. Оставя оный, король пошел против Кронштадта, под командою адмирала Крузе, имел большую поверхность, но когда оба наших флота соединились, то шведский флот и с гребною флотилиею загнан был между островов и был в таком положении, что ожидали, или что флот должен был сдаться, или быть сожжен. В таком положении он был более двух недель; наконец ветер сильный ему поблагоприятствовал; пустив перед собою брандер<sup>94</sup>, он открыл себе выход, но хотя он и вышел, но собственный его брандер сжег у него два корабля, и от нашего флота повреждено еще два; множество из гребного его флота потеряно судов и людей. Затем принц Нассау с нашею флотилиею одержал большую победу над флотилиею шведскою. Сухопутная наша армия действовала неудачно, почему от командования армиею Финляндии генерал Пушкин отозван, а вместо его поручено главное начальство генералу барону Игельструму.

Когда шведский флот был заперт, генерал Кречетников, управлявший тогда малороссийскими губерниями, услышал от какого-то проезжего из Петербурга, что будто шведский флот сдался. С сим приятным известием светлейшему князю прислал Кречетников курьера. Не только во всей армии стреляли викторию, но светлейший князь о сей мнимой победе отправил курьера к австрийскому императору. Через несколько дней Кречетников при-

слал извинение, что по слухам донес о том ложно. Курьер с сим известием прибыл во время обеда; князю было чрезвычайно прискорбно, что должен был послать курьера к императору о таковой скоро-поспешной неосмотрительности. Князь стал бранить Кречетникова; князь В. В. Долгоруков, сидевший подле самого князя, стал его защищать. Светлейший князь до того рассердился, что вышел из себя, схватил Д. за георгиевский крест, стал его дергать и сказал: «Как ты смеешь защищать его, ты, которому я из милости дал сей орден, когда ты во время штурма Очаковского струсил?» Вставши из-за стола, подошел князь к австрийским генералам, на тот раз тут бывшим и сказал: «Pardon, messieurs, je me suis oublié; je soppnois ma nation et je l'ai traité comme il mérite» \*. Сие случилось в Яссах при самом отбытии в Бендеры.

В половине июля светлейший князь перенес главную свою квартиру в Бендеры, где собрано было большое число войск. Граф Суворов занимал Фокшаны; генерал-поручик Потемкин получил в командование корпус, состоявший при Фальче, который значительно был усилен.

Во время сих происшествий фаворит Мамонов женился, а его место занял П. А. Зубов, который потом пожалован был светлейшим князем, а братья его графами. По кончине князя Г. А. Потемкина, был он столько же, как он, силен, не имел его гения.

В исходе сентября послан был большой корпус под команду артиллерии генерал-аншефа И. И. Меллера-Закомельского к Килии<sup>95</sup>. Как Днепровский полк получил в укомплектование рекрут, заразившихся кровавым поносом, а потому в поход идти был не в состоянии, то перешел я во вновь сформированный из Санкт-Петербургского полка Свято-Николаевский полк, поступивший в корпус генерала Меллера.

Корпус, не доходя упомянутой крепости верст за десять, имел роздых. В ночь командирован был генерал-поручик Самойлов для занятия ретраншемента, около сей крепости расположенного. Самойлов разделил свои войска на три колонны: правую колонною командовал бригадир (конногренадерского полка, что был Малороссийский гренадерский, но еще не снабженный лошадьми) Василий Сергеевич Шереметев. Среднюю колонну вел сам Самойлов. Левою командовал храбрый генерал-майор Мекноб. Перед выступлением, Самойлов созвал колонных командиров и полковников и объявил им, что как по верным известиям весь гарнизон и с жителями в Килии не более пяти тысяч турок, то ежели они выгнаны будут

---

\* Извините, господа, я забылся; я знаю наш народ, и с ним обошелся так, как он того заслуживает (фр.).

из ретраншементов, нужно стараться на плечах турок войти в крепость; это легко могло бы быть, если бы турки и занимали ретраншемент.

Все, будучи заняты таковою мыслию и таковым предприятием, шли с решительною бодростью. Ночь была самая темная; к несчастью, ретраншемент был очень обширен для малочисленного гарнизона, а потому как оный, так и форштат <sup>96</sup> турками были оставлены.

Средняя колонна прежде других дошла к ретраншементу, и как Самойлов не нашел тут неприятеля, то и приказал войску, голову колонны составлявшему, закричать: «ура!». Прочие, бывшие в хвосте, приняв сигнал «ура», думали, что неприятель побежал, опрокинули голову колонны и бросились к крепости, не слушая ни генерала, ни прочих своих командиров. Правая колонна, услышав «ура» средней, бросилась также к крепости. Левая колонна одна удержала порядок, заняла ретраншемент и расположилась в оном.

Килия построена на клине Дуная, и сия великая река как бы составляла ее фланги, которые прикрыты были по обеим сторонам флотилиею. Наше войско, бывшее в расстройстве, встречено было из крепости пушечными картечными выстрелами и ружейным огнем, а с флотилии — ядрами. В таком несчастном отпоре, претерпевая сильные поражения, бросились наши войска к левой части ретраншементов, занятого колонною генерал-майора Мекноба, которая приняла своих за турок и открыла по ним ружейный огонь. Тогда беспорядок сделался общий; солдаты вышли из повиновения, разбрелись по форштату, бывшему между крепостью и ретраншементом, предались всяким неистовствам, перекололи всех армян и греков и ворвались в армянский монастырь, истребляя и опустошая все, что ни попадалось.

Между тем весь корпус подошел и занял лагерь верстах в четырех от крепости.

Командующий генерал с прочими генералами взошли на случившийся перед лагерем курган, ветер был ужасно сильный со стороны лагеря; ни одного выстрела не было слышно, но мелькания огня наподобие фейерверка представляли вид удивительный. Генерал беспрестанно посылал к Самойлову узнать о причине виденного, но Самойлов, думая привести в порядок войска, посланных удерживал при себе. Наконец начало светать; полковник принц Филиппштальский прибыл от Самойлова с донесением о случившемся и о том, что он не может привести в порядок расстроенные войска.

Иван Иванович Меллер отправился сам, приказав нарядить свежие войска. Когда он прибыл в форштат, встретили его солдаты в разброде: «Батюшка, вели по-

ставить пушки, выломить ворота, мы тотчас крепостию овладеем». — «Хорошо, ребята, — говорил он, — подите назад в ретраншемент, а то вы мешаете стрелять из пушек». И так мало-помалу войска приходили в должное повиновение; но лишь только генерал показался на площадь против крепости, как роковая пуля попала ему в звезду и прошла навывлет наискось через весь его корпус; отнесли его в лагерь, где чрез несколько часов он и умер.

Новые войска заняли ретраншемент, а прежние выведены в лагерь. Много было убито и ранено офицеров; нижних чинов убито слишком пятьсот человек, а ранено еще более; в числе раненых был бригадир Шереметев легко в ногу, однако ж, во все время осады Килии не мог служить. Начальство над корпусом принял генерал-поручик И. В. Гудович.

На другой день занят был отчасти выжженный форштат, где во время канонады укрывались от ядер. Сделаны были батареи, одна для отдаления флотилии от крепости, а другая против самой крепости и кегель-батарей. Канонады были ужасно сильные с крепости и с обеих флотилий, так что, признаюсь, с первой мною вытерпленной канонадой, я только и думал, как бы сказаться больным, а после выйти в отставку. Однако стыдно было показать себя трусом; я решился продолжать ходить в форштат, но об отставке все еще отлагал намерения; в третью канонаду уже и то отдумал, и так привык к свисту ядер и бомб, как бы бывал на простом артиллерийском учении. Ко всему можно привыкнуть, и храбрость также опытом приобретается, как и все другие добродетели. <...>

По занятии Килии, полкам: Екатеринославскому, которого светлейший князь был шефом, конногренадерскому и Свято-Николаевскому с осадною артиллериею, велено было идти к Бендерам, а прочим войскам — к Измаилу, под начальство графа Суворова, шедшего к оному с большим корпусом\*.

Его светлость большие тогда делал угождения

---

\* Туда же светлейший князь отправил трех гвардии офицеров Ч., Ц., Т., присланных императрицею в армию, чтоб они заслужили и омыли своею кровью оказанную ими трусость во время сражения нашей флотилии против шведов под начальством принца Нассау. Они, командуя одним судном, в самое жаркое сражение вышли на остров; а сержант гвардии Рунич, бывший на оном, оказал большую храбрость. Принц Нассау, заметя оное, спросил: кто начальник сего судна, и немало удивился, что то был сержант. Спросил: где же офицеры? и когда узнал о их подлом поступке, донес государыне. После штурма они все трое получили георгиевские кресты. (Прим. автора.)

кн. К. Ф. Долгорукой. Между прочими увеселениями сделана была землянка против Бендер за Днестром. Внутренность сей землянки поддерживаема была несколькими колоннами и убрана была бархатными диванами и всем тем, что только роскошь может выдумать. Из великолепной сей подземельной залы особый был будуар, в который только входили те, кого князь сам приглашал. Вокруг землянки кареем поставлены были полки: Екатеринославский и конногренадерский, имея ружья, заряженные холостыми патронами, и в суммах по 40 патронов на каждого человека; близ одного карея поставлена была батарея из ста пушек; обоих полков барабанщики собраны были к землянке. Однажды, князь вышел из землянки с кубком вина и приказал ударить тревогу по знаку, по которому, как полками, так и из батареи произведен был батальный огонь; тем и кончился праздник в землянке. Однажды княгиня сказала, что любит цыганскую пляску. Князь Григорий Александрович узнал, что бывшие в конногвардии вахмистры два брата Кузьмины, выпущенные ротмистрами в кавказский корпус, мастера плясать по-цыгански, приказал за ними послать, и когда их привезли, одели одного из них цыганкою, а другого цыганом. На одном бале сделан был для княгини сюрприз, и должно отдать справедливость мастерству гг. Кузьминых: я лучшей пляски в жизнь мою не видывал. Так поплясали они недели с две и отпущены были в свои полки на Кавказ, с тою только для них пользою, что проезд им ничего не стоил \*. <...>

\* Много такого своенравного его обычая случалось в его жизни: так например, бывши в Петербурге, узнал он, что в Херсоне какой-то чиновник хорошо передразнивал некоторых известных лиц: тотчас отправил он за ним курьера; как скоро тот приехал, то и приказал ему передразнивать всех, кого он умеет, потом и самого себя. Его светлость, позабавившись таковым дарованием, приказал ему отправиться в свое место. Бывши под Очаковым, услышал он, что некто г. Спечинский, живший в Москве в отставке, знает наизусть все святцы, то есть какого святого каждого месяца и числа. Тотчас он послал за ним; тот, получивши от светлейшего князя приглашение, думал, что как без Ахиллеса не могла взята быть Троя, так и без него не может быть взят Очаков. С восторгом принял он тот зов, и при отъезде из Москвы обещал многим свою протекцию и разные милости. Когда он явился к его светлости, то князь его спросил: «Правда ли, что вы знаете наизусть все святцы?» И по утвердительном ответе спросил: «13 января какого святого?» Тот ему отвечал. Князь справился с святцами. «А 10 февраля?» Потом спросил по одному числу в каждом месяце. «Какая счастливая у вас память! Благодарю, что вы потрудились приехать; можете отправиться в Москву, когда вам угодно».

В бытность мою у него адъютантом, в один день спросил он кофею; из бывших тут один вышел приказать; вскоре спросил опять кофею, и еще один поспешил выйти приказать о том; наконец бес-

1791. В наступивший 1791 год, в исходе января, его светлость отправился в С.-Петербург, поручив армию за отсутствием своим князю Николаю Васильевичу Репнину. <...>

Визирь собрал большую армию и расположился в крепкой позиции и укрепленном лагере при Мачине.

Князь Репнин решился атаковать его; в ночь 23 июня, главный корпус стал переправляться через Дунай, не снимая лагерь и оставя в оном все тягости; по переправе главного корпуса, переправился корпус князя Голицына, потом отряд Милашевича, а 26-го корпус князя Волконского. Переправа всегда была делана ночью на флотилии, которую начальствовал генерал-майор О. М. де Рибас. Днем за Дунаем войска скрывались в камышах, и во все время нашего пребывания не позволено было иметь огня, чтоб оставить турок в неведении о нашей переправе. Лагери оставались неснятыми на своих местах, с своими тягостями, небольшим числом офицеров и слабыми людьми, которые не могли следовать за армию; также оставлено было некоторое число барабанщиков и в каждом лагере по одной пушке для выстрелов к вечерней заре.

Переправившаяся армия состояла из 33 000 человек, кроме иррегулярных войск, с шестидневным провиантом; такового числа войск вместе, во время турецкой войны, никогда не бывало.

27 числа генерал-квартирмейстер лейтенант Медер, с легкими войсками послан был рекогносцировать неприятельский лагерь. По открытии им неприятельской позиции, положено было атаковать турецкую армию, следующею диспозициею. Того же дня, в 7 часов пополудни, генерал-поручику Кутузову с 13 000, составлявшими левый фланг, должно было выступить и обойти цепь гор,

престанно просил кофее; почти все по одному спешили приказать по его нетерпеливому желанию; но как скоро принесли кофей, то князь сказал: «Не надобно, я только хотел чего-нибудь ожидать, но и тут лишили меня сего удовольствия».

В один день князь сел за ужин, был очень весел, любезен, говорил и шутил беспрестанно, но к концу ужина стал задумываться, начал грызть ногти, что всегда было знаком неудовольствия, и наконец сказал: «Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнялись, как будто каким очарованием: хотел чинов — имею, орденов — имею; любил играть — проигрывал суммы несчетные; любил давать праздники — давал великолепные; любил покупать имения — имею; любил строить дома — построил дворцы; любил дорогие вещи — имею столько, что ни один частный человек не имеет так много и таких редких; словом, все страсти мои в полной мере выполнялись». С сим словом ударил фарфоровую тарелкою об пол, разбил ее вдребезги, ушел в спальню и заперся. Если записывать все его таковые странности, то можно бы наполнить огромный том. (Прим. автора.)

простирающихся верст на пять параллельно по Дунаю и примыкающих к неприятельскому лагерю с левой его стороны. В 9 часов приказано было выступить двумя колоннами: правая колонна, под командою генерала князя С. Ф. Голицына, должна была идти близ Дуная; средняя колонна, под командою генерал-поручика князя Волконского, взять левее. Следовало выйти на равнину обеим колоннам между Дунаем и сказанною цепью гор и выстроиться в две линии карсками, но не прежде показаться из-за камышей, как когда уже корпус Кутузова покажется на горе и на фланге турецкого лагеря.

Ночь была чрезвычайно темная, что способствовало нашему скрытному маршу; расстояние от переправы до Мачина было около 30 верст.

Только лишь начало рассветать, мы приблизились к месту, где оканчивается цепь гор, при подошве которой протекает болотистая речка, впадающая в Дунай; брошены были по оной портативные мосты, по которым беспрепятственно переправились. Камыши этой речки так чисты и высоки, что человек человека едва мог видеть.

Корпус князя Голицына едва показался из камышей, как был атакован большим числом янычар, с их обыкновенным страшным криком: «алла! алла!». Вовремя открытою картечною пальбою были они отражены; тогда они бросились на гору и заняли оную, так что мы от корпуса Кутузова были отделены, а он на горах не показывался. Наш корпус выстроился версты за три от неприятельского лагеря, откуда из больших орудий стреляли в нас ядрами; с горы анфилированы были наши войска, а с правой стороны была турецкая флотилия; в таком неприятном положении мы были три часа.

За горою слышна была сильная канонада. Князь Репнин послал своего адъютанта к Кутузову узнать, что там происходит и для чего он не всходит на гору? Должно было объехать всю эту цепь гор, на что требовалось много времени; а как ветер усилился и дул от нас, то казалось, что канонада отдалялась. Князь Репнин был в большом беспокойстве, тем более что перешел Дунай вопреки желанию светлейшего князя, взяв на свою собственную ответственность. Многие генералы, зная то, желали сделать ему угодное; один из них говорил князю, что ежели Кутузов принужден будет отступить и будет разбит, тогда могут отрезать нас от наших мостов, и имея с собою провианта только на три дня, армия будет в худшем положении, нежели Петр Великий был при Рябой Могиле<sup>97</sup>. Уже князь и сам о том помышлял; он, который был всегда более нежели осторожен.

Наконец возвратился посланный от Кутузова, который приказал сказать, что он имеет пред собою великие си-



лы, препятствующие ему взойти на гору. Князь хотел было уже ретироваться, как князь Г. С. Волконский, его зять, уговорил его, чтобы нам самим взойти на гору. Счастливая была минута сего совета. Генерал подъехал к Свято-Николаевскому полку, бывшему у самой горы: «Господин полковник! — сказал он, — прикажите своим резервам атаковать гору». Я подскакал и сказал: «Ваше сиятельство, удостойте приказать мне сию честь исполнить». — «С богом, друг мой», — сказал он мне. Тогда я вывел из каре резервы нашего полка, спешился и закричал: «Ребята, на штыки! ура!» С большою храбростию за мной они бросились; вслед за мною Свято-Николаевский полк, а за ним Малороссийский гренадерский. Гора очень была крутая, обросшая терновником, однако ж ничто нас не остановило. Взошед на гору, взяли тут брошенную неприятелями пушку. Неприятели, увидя, что наши войска были уже на горе, взошли все в свое укрепление; но артиллерию трудно было взвести. Меня командировали за пушками, и кое-как людьми втащил я несколько, пока нашли удобное место взвести батарейную артиллерию. Тогда и Кутузов со всем своим корпусом к нам присоединился \*. Учредя батарею, стали стрелять в турецкий ретраншемент. К счастью, гранатою зажжен был большой пороховой на неприятельских батареях магазин, которого взрыв так устрасил турок, что они побежали: тем и баталия сия выиграна. Князь Волконский послал меня к князю Репнину поздравить с победою.

Мы взяли весь лагерь, сорок пушек, множество съестных припасов, даже находили во многих местах варившееся кушанье и кофей. На другой день принесен был благодарственный молебен на месте победы, и мы возвратились за Дунай, в прежние свои лагеря.

Все знакомые мои меня поздравляли, что мне удалось в виду всей армии показать готовность к службе, и уверены были, что так как я первый, так сказать, способствовал к одержанию победы, то и буду отлично награжден. По обыкновению, все ходили в канцелярию князя Репнина к управляющему оною подполковнику Панкратьеву справляться и искать помощи его быть хорошо рекомендовану; я никогда не любил таскаться по канце-

---

\* М. Л. Кутузов мог взойти на гору без труда и показал ложно, что против его большие были силы; даже генерал-квартирмейстер Пистер, бывший в его корпусе, при многих дерзко его в том уличал. Думать надобно, что Кутузов знал коротко свойство князя Репнина, что он без него по известной его осторожности в крепкой неприятельской позиции атаковать не осмелится, и что, вероятно, стал бы ретироваться; тогда Кутузов взошел бы на гору, ударил бы неприятелю во фланг и один разбил бы визиря. (*Прим. автора.*)

ляриям и находить себе покровительство от управляющих оными. Знал, что главнокомандующий был очевидным свидетелем, знал, что командующий центром, рекомендуя своего дежур-майора и при нем находящихся, свидетельствовал в справедливом представлении к награждению гг. карейных командиров, и тот о мне сказал, что и как я поступал; потому я и не хотел более о сем заботиться, думая, что ежели мне что следует, то и без того получу, а просить о себе почитал низостью.

По возвращении нашем за Дунай прибыл принц Вюртембергский, меньшей брат тогда бывшей великой княгини Марии Федоровны; оттого ли, что спешил и очень обеспокоился, или оттого, что не успел приехать к баталии, он огорчился, опасно занемог и вскоре умер.

Визирь, узнавши, что мы опять перешли за Дунай, возвратился в прежний свой лагерь под Мачин. Турецкая флотилия приблизилась было к нашей. Де Рибас послал к начальнику оной сказать, чтоб он тот же час отошел назад, или он его к тому принудит. Паша вместо ответа прислал к нему несколько арбузов и кусок льду. Де Рибас тотчас подал сигнал сняться с якоря, построиться в боевой порядок и выступить. Однако ж паша, не взирая на гордый, затейливый ответ, не дождался приближения нашей флотилии и отплыл к Браилову. Вскоре визирь прислал к князю Репнину, с предложением открыть переговоры о мире. Князь был уполномочен от императрицы, почему, нимало не медля, поверенные с обеих сторон в Галацах съехались, сделаны были предварительные условия и подписаны визирем и князем Репниным; для утверждения их назначен конгресс в Яссах.

Светлейший князь приехал после всего через три дня, и очень ему было досадно, что князь Репнин поспешил заключить мир<sup>98</sup>; он выговаривал ему при многих, сказав: «Вам должно было бы узнать, в каком положении наш Черноморский флот, и о экспедиции генерала Гудовича; дождавшись донесения их, и узнав от оных, что вице-адмирал Ушаков разбил неприятельский флот, и уже его выстрелы были слышны в самом Константинополе, а генерал Гудович взял Анапу, тогда бы вы могли сделать несравненно выгоднейшие условия». Это действительно было справедливо. Хотя князь Репнин слыл за государственного человека и любящего свое отечество, но в сем случае предпочел личное свое любочестие пользе государственной, не имел оной побудительной причины поспешить заключить мир, кроме того, чтоб его окончить до приезда светлейшего князя.

В то время принц Вюртембергский умер; светлейший князь был на похоронах, и, как по окончании отпевания князь вышел из церкви, и приказано было подать его ка-

рету, вместо того подвезли гробовые дроги; князь с ужасом отступил: он был чрезвычайно мнителен. После сего он вскоре занемог, и повезли его больного в Яссы. <...>

Болезнь светлейшего князя стала усиливаться, но он не хотел принимать никаких лекарств, вопреки медиков Тимона и Массота; и, будучи в жару, мочил себе голову холодной водою \* <...>

Между тем болезнь светлейшего князя более и более усиливалась; чувствуя изнурение своих сил, он послал курьера с повелением к командиру войсками в Крыму, генералу Каховскому, чтоб он прибыл принять в заведывание его армию, во время его отлучки, намереваясь отъехать в Николаев. Пятого октября, в сопровождении графини Браницкой, отправился он в путь. Проехав от Ясс 30 верст, князь почувствовал приближение смерти, велел остановиться и вынести себя из кареты; лег на разостланый на дороге плащ<sup>100</sup> и в объятиях своей любимой племянницы графини Браницкой испустил дух. Тело его перевезли в Херсон.

Кабинет-секретарь императрицы генерал-майор Василий Степанович Попов, управлявший всеми делами при светлейшем князе, приехав в Яссы, явился у Каменского, объявил ему о смерти главнокомандующего, как старшему, или, лучше сказать, одному и бывшему тогда генерал-аншефу, и требовал от него приказания. Каменский, удивясь скорой кончине светлейшего князя, потребовал тотчас от Попова отчета в делах и экстраординарных суммах. Тот отвечал, что он кабинет-секретарь ее величества и был не при армии, а единственно при особе светлейшего князя, почему отчета никакого и дать не может.

Каменский вышел из себя, побежал к дежурному генералу В. В. Энгельгардту, страдавшему тогда злою лихорадкою, и смертью дяди и благодетеля своего сражен-

---

\* Светлейший князь, будучи в Петербурге, дал в присутствии императрицы великолепный праздник в Таврическом своем доме, который после его смерти взят в казну и назван Таврическим дворцом. Очаровательный сей праздник описан нашим славным поэтом Гавриилом Романовичем Державиным<sup>99</sup>. Наконец, издерживаемые им суммы и роскошная его жизнь привели императрицу в неудовольствие; к тому же Зубов так усилился, что начал с ним совмещать; наконец, государыня потребовала, чтобы князь ехал в армию, чего он так скоро исполнить не желал; приближенным своим тогда он говаривал: «Зуб болит; надобно его сперва выдернуть». Думать надобно, что сие была истинная причина его болезни, и напрасно думали, что ему был дан яд: для честолюбивого человека и то настоящая отравка. Заметили, что в пути своем в армию стал он задумчив и временами жаловался на боль головы.

(Праздник этот был дан 28 апреля 1791.)

(Прим. автора.)

ному. В той же комнате лежала в беспамятстве сестра его графиня Браницкая. Каменский требовал от него по дежурству дел, но тот отвечал: «Видите, ваше высокопревосходительство, в каком я положении, и прикажите явиться к себе при дежурстве находящимся штаб-офицерам: я не в силах головы поднять». Каменский бросился в дежурство, бил всякого, кто с ним только встречался: солдат, молдаван и жидов, как будто сумасшедший. Он отдал приказ по армии, что вступает в командование оною, и тотчас отправил в Ботушаны курьера за сыном, чтобы послать его к императрице с известием о смерти светлейшего князя. Но Попов отправил о том того же дня от себя донесение. <...>

Между тем приготавливали похороны светлейшему князю. Я потребован был для оной церемонии. Проезжая квартиры старого Екатеринославского полка, заехал на квартиру унтер-офицера, чтоб он нарядил мне две перемы лошадей. Я нашел у него несколько старых гренадер, которые хотели было выйти; я их остановил и начал с ними разговаривать. Между прочим я спросил: «Скажите, ребята, вы были 3-го гренадерского полка, всегда были при главной квартире славного нашего фельдмаршала Румянцева и были его любимым полком; потом также был полк сей всегда при покойном светлейшем князе и также его любимым полком, в котором он был и шеф: один из них уже умер, а другой так стар, что, конечно, никогда уже не будет командовать армиею; кого из них вы более любили?» Один гренадер отвечал: «Покойный его светлость был нам отец, облегчил нашу службу, довольствовал нас всеми потребностями; словом сказать, мы были избалованные его дети; не будем уже мы иметь подобного ему командира; дай бог ему вечную память!» Тут он прослезился и отер свои глаза; но вдруг глаза его оживились, он приосанился и сказал: «А при батюшке нашем графе Петре Александровиче, хотя и жутко нам было, но служба веселая; молодец он был, и как он, бывало, взглянет, то как рублем подарит, и оживлял нас особым духом храбрости».

Погребение тела князя происходило 13 октября следующим порядком. По совершении духовных обрядов, приготовлена была просторная зала, где долженствовало быть поставлено тело усопшего, вся обитая черным крепом с флеровыми<sup>101</sup> перевязями по бортам.

Впереди для катафалка сделано отделение шелковою черною занавесою, обложеною по бортам серебряным позументом<sup>102</sup>, с большими посредине висящими серебряными кистями и подтянутою серебряным шнурком; несколько подалее поставлена была балюстрада<sup>103</sup>, обитая

черным сукном и обложенная сверху по краям широким серебряным позументом.

Потолок сего отделения одет был наподобие павильона черным сукном и увит крестообразно по краям белыми и креповыми перевязями.

Посредине отделения поставлен был амвон<sup>104</sup>, обитый красным сукном, с тремя ступенями, обложенными по краям серебряным позументом.

На середине амвона сделано было возвышение, покрытое богатою парчою, на коем поставлен был гроб, обитый розовым бархатом, выложенный богатым золотым позументом, с серебряными скобами на серебряных подножиях и покрытый богатым парчовым покрывалом.

Над гробом сделан был великолепный балдахин из розового бархата, обложенный по краям черным бархатом, с богатым золотым позументом. Спуски оного были из розового бархата, обложенные золотым позументом с бахромою и поднятые шнурами с небольшими золотыми кистями. Балдахин поставлен был на 10 древках, обтянутых розовым бархатом и перевитых серебряным позументом, и укреплен к земле восемью золотыми шнурами, на коих повешены большие золотые кисти. Наверху балдахина, по углам и посредине, укреплены страусовые черные и белые перья; внутри оный был обложен белым атласом.

В головах, на сделанном возвышении, положена была на парчовой золотой подушке княжеская корона, обведенная лаврами.

На первых от гроба ступенях, у головы с обеих сторон стояли табуреты, покрытые красным сукном с золотым по краям позументом, на коих положены были подушки из малинового бархата, обложенные золотым позументом с бахромою и с золотыми по углам висящими кистями; на оных с правой стороны положен фельдмаршальский жезл, а с левой — венец лавровый; с сей же стороны, пониже, лежала крышка от гроба, на коей находились шпага, шляпа и шарф. На последней ступени расположены были на таковых же бархатных подушках все ордена покойника по старшинству их, все знаки власти, полученные в награждение заслуг от милостей монарших.

По сторонам катафалка поставлены были две пирамиды из белого атласа, увешанные черного и белого крепа перевязями. На пирамиде, стоявшей с правой стороны, виден был герб его светлости, по сторонам поставлены два знамени великого гетмана, а на черной доске изображена была белыми буквами следующая надпись:

«В Бозе почивающий светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический и проч., и проч., усерднейший сын отечества, присоединитель к Россий-

ской империи Крыма, Тамани, Кубани, основатель и соорудитель победоносных флотов на южных морях; победитель сил турецких на суше и море, завоеватель Бессарабии, Очакова, Бендер, Аккермана, Килии, Измаила, Анапы, Сучук-Кале, Суннии, Тульчи, Исакчи, острова Березянского, Хаджибея<sup>105</sup> и Паланки; прославивший оружие Российской империи в Европе и Азии, приведший в трепет столицу и потрясший сердце Оттоманской империи победами на морях и положивший основание к преславному миру с оною; основатель и соорудитель многих городов; покровитель наук, художеств и торговли; муж, украшенный всеми добродетелями общественными и благочестием. Скончал преславное течение жизни своей в княжестве Молдавском, в 34 верстах от столичного города Ясс, 1791 года, октября в 5-й день, на 52 году от рождения, повергнув в бездну горести не только облагодетельствованных, но и едва ведающих его».

На пирамиде, с левой стороны стоявшей, виден был герб во всем подобный первому, а по сторонам поставлены были: справа — кейзер-флаг<sup>106</sup>, а слева — гетманское знамя.

Девятнадцать больших свеч, в высоких подсвечниках, обложенных золотою парчою, и множество меньших свеч, поставленных кругом гроба, освещая катафалк, представляли весьма важное и великолепное зрелище, внушающее благоговение и горечь. 11-го числа, по совершении всех вышеписанных приготовлений, тело поставлено было на катафалк и учреждено при гробе дежурство из одного генерал-майора, двух полковников, четырех штаб-офицеров, и восьми обер-офицеров, одного генерал-адъютанта и одного флигель-адъютанта. Тогда объявлено было в городе, что хотящие отдать последний долг покойному фельдмаршалу допускаемы будут к тому без изъятия.

Народ стекался толпами; горечь написана была на всех лицах, наипаче воины и молдавские бояре проливали слезы о потере своего благодетеля и друга; в сие время поставленный у дверей офицер раздавал убогим мелкие серебряные деньги. Поклонение телу происходило сего числа пополудни от 3 до 6 часов. В часы прихода для поклона телу стояли у голов по обеим сторонам штаба покойного фельдмаршала два генерал-адъютанта, у середины гроба по два гвардии офицера, два флигель-адъютанта, а несколько подалее по два офицера Екатеринославского гренадерского полка; внутри с правой стороны лейб-гвардии от бомбандирской роты, с левой — кирасирского полка князя Потемкина, а у балюстрады того же полка по два офицера в супервестах<sup>107</sup>.

12-го числа двери открыты были от 10 часов пополудни до 2-х часов пополудни, потом от 3-х до 8 часов

вечера, в которое время по-прежнему была раздача убогим серебряных мелких денег. Между тем, один генерал-адъютант, два флигель-адъютанта на лошадях, в сопровождении одного эскадрона полка князя Потемкина, в траурном виде с литаврами, покрытыми черным сукном, возвестили городу о времени выноса тела, которое имело быть на другой день в 8 часов пополудни.

13-го числа полки Екатеринославский и Малороссийский гренадерские и Днепровский мушкетерский стали по обеим сторонам улиц, где долженствовало происходить шествие. Когда духовенство собралось, и все было готово, время выноса возвещено было 11-ю пушечными выстрелами и унылым колокольным звоном; пальба продолжалась чрез каждую минуту до самого внесения тела в монастырь Голлий, назначенный к совершению сего печального обряда.

Тело выносили из особого усердия генералы, также штат его светлости и назначенные к тому штаб-офицеры; балдахин несли гвардейские офицеры, кисти поддерживали полковники.

Шествие происходило следующим порядком:

Открывал оное эскадрон конвойных гусар покойного фельдмаршала.

За ним кирасирский полк князя Потемкина.

Дом покойного в трауре.

Верховые лошади в богатых уборах; каждую вели два конюха в богатой ливрее, в черных епанчах<sup>108</sup> и шляпах.

120 человек солдат с факелами, в черных епанчах и в распущенных шляпах, с черным флером.

24 обер-офицера в траурном виде со свечами.

12 штаб-офицеров в траурном виде со свечами.

Бояре княжества Молдавского, князья и посланники Черкесские.

За сим должен был следовать генералитет; но генералы, как выше сказано, выносили гроб и шли подле оно-го до самой церкви.

Духовенство.

Знаки отличия, из которых каждый несли штаб-офицеры, имея двух обер-офицеров ассистентами <!...>

Гроб на черных дрогах, запряженных 8-ю лошадьми в черных понах, из которых каждую вел один конюх в черной епанче и шляпе.

Парадная карета, покрытая черным сукном, запряженная 8-ю лошадьми, под черными покрывалами; при ней конюхи в парадной ливрее и черных епанчах.

За гробом шли родственники князя.

Шествие замыкали: эскадрон конвойных гусар, казачий полк Булавы великого гетмана, Донской казачий полк князя Потемкина.

По совершении литургии<sup>109</sup> преосвященный епископ Херсонский Амвросий вышел было сказать надгробное слово, но за рыданием не мог выговорить ни слова и вошел обратно в алтарь. По окончании отпевания, когда запели вечную память, сделано было 11 пушечных выстрелов, а войско произвело троекратно ружейный беглый огонь. Рыдание родственников, ближних и воинов раздалось со всех сторон.

Тело омыто горячими слезами благодетельствованных покойником\*.

По окончании всего, определены были при гробе к дежурству один адъютант, четыре офицера и караул. <...>

## V. ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА

1792 г. Вскоре по объявлении и торжестве мира взял я отпуск и отправился в Могилевскую губернию к отцу моему, получившему отставку, причем пожаловано было ему по смерти восемьсот душ в Белоруссии, куда он на житье и переехал.

Отец мой меня встретил некоторым для меня прискорбным выговором: «Хорошо ты пишешь реляции (ибо я ему писал о происшедшем со мною в мачинской баталии<sup>111</sup>). Но в реляции, пропечатанной в газетах, того нет; каждый, кто отличился, всякий поименован, но ты с прочими помещен в списке, что был примером храбрости и мужества; рекомендованные награждены орденами, золотыми шпагами с надписью «за храбрость», а тебе с прочими назначен одобрительный лист за подписанием князя Н. В. Репнина». Больно мне было услышать такой выговор и несправедливость от начальства, мне оказанную; но, к счастью моему, князь Г. С. Волконский при отъезде моем в отпуск, как он был корпусный мой командир, дал мне аттестат с прописанием всего, до меня касающегося во время мачинской баталии. Показав оный отцу моему, я достаточно его удостоверил, что писал я не ложно и не был самохвал. <...>

\* Можно без всякой лести сказать, что светлейший князь имел исполненную доброты душу. Во все время его беспримерного могущества ни одного человека не сделал несчастным. Много было примеров, где он оказал сострадательное сердце, например: поручик артиллерии барон Плото послан был в Воронеж для покупки под артиллерию лошадей; он всю сумму, данную ему для сей казенной надобности, проиграл, почему военным судом приговорен был к разжалованию навсегда в солдаты. Когда же поднесена была князю на подписание конфирмация<sup>110</sup>, он написал: «разжаловать в солдаты на три месяца со дня подписания», но Попову приказал к исполнению не прежде отослать, как по истечении и сего срока.



Прибыв в С.-Петербург, увиделся я с служившим тогда при банке И. С. Захаровым, по соседству деревень отца моего сделавшимся ему коротким знакомым. Когда сказал я ему о причине моего приезда, то он говорил мне, что он хороший приятель Панкратьеву, управлявшему канцеляриею князя Репнина, и просил вверить ему мой аттестат для показания и требования от него совета, как с ним поступить. Я не расчел, что Панкратьев, писав реляцию, не захочет признать свою ошибку, и аттестат Захарову отдал.

На другой день приехал я к Захарову, который мне сказал, что Панкратьев удивляется аттестату, данному мне князем Волконским, ибо-де он меня не рекомендовал. Несмотря на то, решился я ехать к князю Репнину и с самим им объяснить, что на другой день и исполнил. Приехал я поутру к князю, часов в десять; перед кабинетом его Панкратьев меня встретил и спросил, что мне угодно. Я сказал ему о моей претензии; но, как и Захарову, говорил мне, что князем Волконским я не рекомендован, и просил идти с ним в канцелярию. Пришед туда, показывает он мне рапорт князя Волконского, в котором он рекомендовал лично только при нем бывших, но что он утверждает в донесении справедливую комендацию карейных командиров. Тогда я сказал: «Посмотрите рапорт карейного моего командира». В нем Панкратьев увидел, что рекомендация моя во всем согласна с полученным мною аттестатом. На это Панкратьев сказал, что делали представления к награждению только тех, кого корпусные командиры рекомендовали лично\*. «А затем вы получить не можете более ничего», — прибавил он. «Как бы то ни было, — сказал я, — прошу о мне доложить его сиятельству; по известной его справедливости, он не откажет удовлетворить в моем требовании».

Панкратьев вошел в кабинет к князю и, пробыв там с четверть часа, позвал меня к нему. Как скоро я вошел, то князь, не дав мне вымолвить ни слова, сказал: «Здравствуйте, мой друг; это вы, который мною в мачинской баталии посланы были атаковать гору? Вы то исполнили как храбрый офицер и добрый слуга ее величества

---

\* Между некоторыми я заметил, что отлично рекомендован ротмистр Хорват и награжден орденом Св. Георгия IV класса, которого с двумя эскадронами гнали турок с двадцать, и что сам князь Репнин видя, сказал, что их надобно одеть в серые кафтаны. Показав ему сие, я сказал: «Не натурально, чтобы корпусный командир, будучи занят распоряжением, мог видеть действия всех, а в пехоте невозможно никому особливо отличиться, ибо из фронта выскочить невозможно разве только в таком случае, каков мне представился, что случается чрезвычайно редко, тем более, что то было в глазах самого главнокомандующего». (Прим. автора.)



**АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ**

**ИЗЪЯВЛЕНИЕ КОНФЕДЕРАТАМИ ПОКОРНОСТИ СУВОРОВУ  
ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ КРАКОВСКОГО ЗАМКА В 1772 ГОДУ**



**АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ БОЛОТОВ**  
**МОНАСТЫРЬ НЕГОЕШТИ В ВАЛАХИИ. ГЛАВНАЯ КВАРТИРА**  
**СУВОРОВА В 1773 ГОДУ**



ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЗЯТИЯ РУССКИМИ ШТУРМОМ СИЛЬНО  
УКРЕПЛЕННОГО ВАРШАВСКОГО ПРЕДЕСЬЯ ПРАГИ.  
4 НОЯБРЯ 1794 ГОДА



**ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА**  
**КАМЕРОНОВА ГАЛЕРЕЯ В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ САДУ**



ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ

ПЕТЕРБУРГ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II. ВИД ИСААКИЕВСКОГО  
МОСТА И ЧАСТИ ГОРОДА ОТ АДМИРАЛТЕЙСТВА ДО СЕНАТА



ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ ПУГАЧЕВ  
ВИД г. КАЗАНИ В 1767 ГОДУ



АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ БИБИКОВ  
ОРЕНБУРГ. НАЧАЛО XIX ВЕКА





СЕМЕЙСТВО ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ЭНГЕЛЬГАРДА  
ШТУРМ ОЧАКОВА ПОТЕМКИНЫМ 6 ДЕКАБРЯ 1788 ГОДА



**ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОТЕМКИН**

**«РУИНА», ВОЗДВИГНУТАЯ В ПАМЯТЬ ВЗЯТИЯ ОЧАКОВА, И  
«ОРЛОВСКИЕ ВОРОТА» В ЦАРСКОМ СЕЛЕ**



ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ  
СМЕРТЬ КНЯЗЯ Г. А. ПОТЕМКИНА



МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ КУТУЗОВ  
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА



**ИВАН ИВАНОВИЧ БЕЦКИЙ**

**ПУТЕШЕСТВИЕ ЕКАТЕРИНЫ II В КРЫМ В 1787 ГОДУ. ВИД  
СМОЛЕНСКА В КОНЦЕ XVIII СТОЛЕТИЯ**



**ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАПНИСТ  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В МОСКВЕ**



**НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЬВОВ**  
**МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ**



**ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ**  
**АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ СУМАРОКОВ**





**МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ ХЕРАСКОВ**  
**НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН**

(и выхвалял меня минут с пять). Да вы, друг мой, и награждены». — «Ваше сиятельство, я видел себя в списке награжденным одобрительным листом». — «Как, друг мой, вы этим недовольны? Разве не все равно, ордена, шпаги? — все то — не что иное, как благоволение монаршее, то же, что и листы, а вы хотите быть вывескою вашей храбрости. Благоразумному человеку довольно, когда уже знает, что его имя и служба известны государыне; вам более ничего не надобно, и нет надобности ни в каком аттестате. Простите, мой друг, я не имею более времени быть с вами; спешу во дворец; а когда случай приведет нас быть вместе на ратном поле, зная вашу способность, мужество и ревность к службе, не премину вас употребить как отличного штаб-офицера».

Вот чем кончилось мое объяснение с человеком, слышшим так справедливым, как древний Аристид. Итак, не оставалось мне ничего более делать в Петербурге. Я определился в Козловский мушкетерский полк, которым командовал ко мне хорошо расположенный полковник И. Н. Рокасовский, давно просивший меня перейти к нему в полк. Я спешил уехать, ибо с Польшею начиналась война, и Козловский полк уже пошел к границе в отряд генерал-поручика графа Мелина.

Возвратясь к отцу моему, снабдившему меня всем потребным, отправился я в полк, который уже нашел в Новогрудке Виленской губернии, и, к сожалению моему, не успел к неважному делу, бывшему при местечке Мире<sup>112</sup> <...>

1794. Так как я сделал некоторый долг, о котором нужно мне было объяснить лично с моим отцом, то и хотел проситься в отпуск, но полковник уприсил меня остаться до его возвращения — ибо дела требовали его самого в Лифляндию, — обещав мне непременно приехать в январе. Вместо того он возвратился уже в марте, когда получено было повеление ни в отставку, ни в отпуск не принимать прошений. Чтобы меня удовлетворить, полковник позволил мне сказаться больным и ехать в Могилевскую губернию под именем капрала Семенова, которого дал мне в сопровождение с тем, чтобы я приехал перед выступлением в лагерь, то есть в первых числах мая.

Во время зимних квартир видно было брожение польских умов, Я, будучи в коротком обхождении со многими слонимскими жителями и в окружности города, где квартировал полк, видел, что между ними происходили какие-то неприязненные к нам замыслы, но, не имея никакого предписания, оставил без большого внимания все их речи, которых я был свидетелем, почитая их пустым самохвальством и думая, ежели бы что между ними затевалось, то, конечно, генерал Игельстром, сделавшись на

место Сиверса чрезвычайным послом, был бы о их расположении известен и сделал бы по сему случаю начальникам войск предписание. Но он был усыплен новою Далилою <sup>113</sup>, его любовницею, графинею Залуцкою, как и многие генералы, подражавшие в этом главному начальнику. Он пренебрег тогдашние обстоятельства, а иначе заговор, поляками сделанный, заранее был бы открыт военными чиновниками, квартировавшими в Польше.

Пробыв у отца моего до 20-го апреля, я отправился в полк на своих лошадях, не имея ни малейшего понятия о происходившем в Польше. Приехав в Минск и останавливаясь в корчме, пошел я к вице-губернатору Михайлову, который был женат на сестре сверх-комплектного майора Козловского полка Арсеньева; я увидел хозяйку и всех, с нею живущих, в слезах; от них узнал я, что в Польше сделалась революция <sup>114</sup>, что в Вильне генерал-майор Арсенев захвачен поляками в полон, что войска наши истреблены и что поляки в больших силах идут к Минску. Притом я узнал, что полковник Рокасовский подал просьбу в отставку, отпущен в отпуск и проехал уже чрез Минск, а что полк Козловский выступил из Слонима к Бресту-Литовскому, и что мне в полк проехать никак невозможно, ибо всех русских поляки на пути режут. Чрезвычайное уведомление сие меня изумило и привело в большое затруднение; не быв отпущен начальством, а только партикулярно полковником, подвергал я себя военному суду, или, объявляя, что получил от полковника позволение, подвергал его той же ответственности, чем оказал бы ему неблагодарность, почему я решился, несмотря ни на какую опасность, ехать в полк. Едва только возвратился я в корчму, где оставил свой экипаж, как от губернатора И. Н. Неплюева ординарец пришел требовать меня к нему, ибо он был извещен о моем приезде от г. Михайлова. Нечего было делать; я должен был надеть мундир и к нему явиться. После очень вежливого мне приема, Неплюев сказал: «Я очень рад вашему прибытию; мое здесь самое критическое положение: уведомился я, что поляки с несколькими войсками и большим числом посполитого рушенья <sup>115</sup> идут к Минску; здешние жители также не надежны. Здесь оставлено две роты Смоленского пехотного полка, несколько выздоровевших из госпиталя, две полковые пушки и пришедших три партии рекрут, каждая по сто человек, но ни одного нет штаб-офицера; почему извольте принять все то в свою команду, сделать свое распоряжение и изготовиться делать отпор». Я ему представил мое положение, что я не под своим именем, что подвергаю себя военному суду, и столько убедил его моими резонами и просьбою, что он согласился меня отпустить, но с тем, чтобы я не в Сло-

ним ехал, ибо проезду никакого тут не было, но в Несвиж, где находятся генерал-губернатор новозабранного от Польши края Тимофей Иванович Тутолмин и военный начальник той части, генерал-майор Б. Ф. Кнорринг, прибавивши, что им известно, где Козловский полк, и там я узнаю, где безопаснее к нему проехать.

Получа сие позволение, я без малейшего медления отправился, и на другой день под вечер приехал в Несвиж. Оставя свой экипаж в корчме, пошел я к артиллерии майору Н. И. Богданову; он удивился, меня увидев, и спросил: как я сюда попал. Как я рассказал ему о моих обстоятельствах, — «Братец, — сказал он мне, — уезжай как можно скорей отсюда; наш генерал Кнорринг — самый грубый человек; он тебе сделает тьму неприятностей; поезжай в Пинск: эта дорога безопасна, потому что по ней идет сюда три батальона егерей, а в Пинске начальником Н. С. Ланской; ты знаешь, он самый добродушный человек; Брест оттуда недалеко, и тебе можно будет свободно доехать в полк».

Я, простясь с ним, тотчас пошел в корчму, чтобы в ту же минуту уехать; но капрал мой, встретив меня с печальным видом, сказал, что он только что пришел от генерала, который, потребовав его к себе, спросил: с кем он едет. А как он донес, что с экипажем и людьми Козловского полка майора Энгельгардта, то и приказал ему пожитки и повозки отдать под сохранение в комиссариатский цейнгауз<sup>116</sup>, лошадей в казачий табун, а самому с людьми явиться к подполковнику Сакену (что ныне фельдмаршал), принять на всех солдатскую амуницию и ружья и состоять у него в команде. Услышав сие огорчительное повествование, пошел я опять к Богданову, который, погоревав со мною, сказал, чтобы я к Кноррингу на другой день не прежде явился, пока он с ним обо мне не переговорит, ибо де он с ним только одним по-приятельски обходится; в противном случае, он мне наговорит столько грубостей, что я потеряю терпение.

На другой день, пока не известил меня Богданов, видел я большую суматоху, ибо и в Несвиже получено известие, что поляки идут атаковать город. В замке поправляли брустверы, ставили пушки. Там было тогда три роты артиллерии, три эскадрона Украинского легкоконного полка, две сотни казаков; кроме того пришло пять партий рекрут, и из Пинска шло три батальона егерей. Генерал долго занимался отправлением курьеров и партий в разные направления, уже около полудня Богданов мог переговорить с ним обо мне; «Ну, — сказал он мне, — ступай теперь; я упредил его о тебе, и хотя несколько умягчил его угрюмость, но не вовсе уломал сего медведя».

Я явился к генералу в кабинет, и вот наш разговор.

Он спросил меня самым худым выговором по-русски: «Кто вы таков?» — «Козловского полка премьер-майор Энгельгардт». — «Когда приехал?» — «Вчера». — «Неправда, я не имел о вас записка, а приехал с экипажем майора Энгельгардта капрал Семенов». — «Это я, ваше превосходительство; я отпущен был от полковника партикулярно». — «А, это другой дел, явитесь в команду к подполковнику Сакену; я велю ему вам дать две сотни рекрут, и мы будем вместе драться с поляками». — «Ваше превосходительство, я бы за честь поставил себе во всякое другое время быть в вашей команде, но судите о моих обстоятельствах: я должен ответствовать перед военным судом за самовольную отлучку или показать себя неблагодарным моему полковнику, сделавшему мне одолжение; а притом его в полку нет, и я не знаю, как о мне полк показывает». — «А, вы не кочите быть зо мной; вам в ваш полк не можно доехать». — «Я решусь на всякую опасность, только чтобы быть в полку». — «Нет, г. майор, вы не кочите за нами умирали и вы боитесь поляков». — «Я никогда не имел чести служить с вашим превосходительством, и вы меня не знаете; но ото всех моих командиров я имел счастье заслужить лучшее о себе мнение, а быв так дурно предупрежден вашим превосходительством, почту за несчастье остаться здесь, почему, сделайте милость, отпустите меня». — «Вы тумал, что без вас обойтись не можно, изволь ехать хоть к шорту». Я не ожидал ничего более, будучи очень доволен любезным его приемом, а еще более милостивым его отпуском; вышел, запряг лошадей и, погоняя не оглядываясь, прибыл благополучно в Пинск.

Николай Сергеевич Ланской принял меня самым добродушным образом, уведомил меня, что Козловский полк давно выступил из Бреста и пошел за Вислу в Сендомирское воеводство присоединиться к войскам, вышедшим из Варшавы, и что к полку мне проехать невозможно. Он советовал мне, чтоб я свой экипаж оставил у него, а сам бы отправился в Лабун курьером к графу И. П. Салтыкову, командующему всеми войсками в новозабранном краю, откуда уже можно будет чрез австрийскую Галицию пробраться в Сендомирское воеводство, где расположены наши войска; но чтоб я дождался отряда полковника Чесменского из Бреста и узнал от него про тогдашние обстоятельства. Оный отряд послан был в Брест останавливать идущие разные малые к полкам команды остававшихся за болезнию в зимовых квартирах и препроводить их в Пинск. Почему и я имел случай показывать себя за болезнию остававшимся в Слониме. Итак, дождавшись через день того detachmenta <sup>117</sup>, отправился я Волынской губернии в местечко Лабун с несколькими тысячами червонцев, которые должен был Ланской переслать к графу Салтыкову.

При приезде в Лабун, у въезда заставили меня подписать реверс <sup>118</sup>, чтобы ни под каким видом я не сказывал никому, откуда приехал, и ничего бы не говорил, что мне известно о польских обстоятельствах.

Явясь к его сиятельству и отдав казначею привезенную мною сумму, исправно лгал я о моем приключении. Граф еще повторил мне строгое приказание, объявленное мне при въезде, и обещал по просьбе моей при случае отправить меня к полку.

Смешно было, что на вопрос многих моих знакомых, откуда, я отвечал: «Не знаю». — «Зачем приехал?» — «Не знаю». Тщетная предосторожность тогда, когда уже все знали о случившейся в Польше революции! <...>

Между тем поляки предались совершенно духу французской революции: многие знатные поляки были перевешаны, в числе которых князь Масальский, бискуп <sup>119</sup> Виленский, Ожаровский и Четвертинский. Колонтай играл роль Робеспьера; хотел было всех русских перерезать, но Костюшко, завременно прибыв в Варшаву, до злодейства сего не допустил. После, когда уже Прага, предместье Варшавы, русскими была взята и перед занятием самой Варшавы, Колонтай ушел с большою суммой денег.

Костюшко наименован был главным начальником с неограниченною властью. Наскоро формировал он войска, умножив регулярные полки вольницею, так что в каждом полку был тройной комплект. Кавалерию паны снабдили хорошими лошадьми, отдали всех своих охотников, которые были искусные стрелки, войска усилили «посполитым рушением», то есть все шляхтичи, живущие наподобие однодворцев, — а в Польше их многое множество, — должны были вооружиться; сверх того набраны были крестьяне: не имевшие достаточного оружия, они вооружены были косами наподобие пик. <...>

Граф Суворов, по поручению фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева, увидевшего худые успехи русских в Польше, собрав корпус тысяч в двенадцать близ Варкович, внезапно при Кобрине разбил Сираковского, который отступил к Крупчицам на крепкую позицию и получил сильное подкрепление, но и там вторительно был истреблен. После сего, не давая нисколько отдыха, Суворов истребил сильный корпус, бывший у Бреста-Литовского под командою Макраковского. Во всех оных делах 25 тысяч человек поляков с их артиллериею как будто не бывало \*. Он прошел в три недели около пятисот верст.

---

\* При Бресте польские войска стояли за рекою и городом, ожидая неприятеля с большой дороги, но Суворов, оставя пехоту с ар-

Нельзя умолчать случая, который послужить может примером не бояться смерти, и что она находит свою жертву не там, где ее ожидают. Один лифляндский 4-й егерский батальон командует был подполковником Шпарманом, человеком пожилым, небогатым, женатым и обремененным большою семьей. Во время нашего похода он говорил, что так как он пойдет после кампании в отставку, то и не желает рисковать своею жизнью, что ежели бы кто захотел принять его батальон снисходительно, то он рад бы его был сдать, чтобы самому выпроситься в отпуск, впредь до отставки. Граф Зубов был ко мне благосклонен и обещал мне доставить тот батальон, и у нас с Шпарманом почти сделано было условие. Но так как он с сим батальоном оставался при графе и не подвергался опасности, то он и мне отказал в сдаче. Я был на пражском штурме, остался здоров, а он занемог горячкою и через несколько дней умер.

22-го октября подошли мы к предместью Праги, укрепленному крепким ретраншементом, занятым 30 тысячами человек польского войска; но он был так обширен, что чтобы хорошо оный защитить, по крайней мере надобно было быть сильнее втрое. В ту же ночь заложено было несколько батарей, и для прикрытия оных ложемент. 23-го числа канонировали ретраншемент, на что и нам отвечали,—без большого вреда с обеих сторон. <...>

Мы подошли в сумерки и остановились в колонне. Во время нашего марша с другой стороны Вислы по нас стреляли из пушек без малейшего вреда.

Со мною был странный случай, подавший повод к разным догадкам. Ночь была холодная и небольшой мороз; легли мы несколько соснуть и прикрылись соломою, которую нашли в близ находившемся хуторе. Поляки, усмотря нас, во всю ночь стреляли светлыми ядрами<sup>120</sup>, чтобы не быть врасплох атакованными. Лишь только я задремал, как вдруг почувствовал, что кто-то меня ударил по ляжке; я думал, что со мною хотел пошутить майор Арсеньев, и я ему сказал: «Полно, брат, шалить, я было заснул». Он говорит: «Лежи смирно, возле тебя упала бомба». А как несколько времени прошло, бомба не разразилась и от трубки солома не загорелась, то я к ляжке протянул руку и ощупал каркас. Надобно было думать, что уже он, вовсе потеряв силу, подкатился ко мне и остановился; но вероятнее, что глыба земли, в которую он ударился, отбрызнула и ударила меня.

По сделанной диспозиции, по первой сигнальной раке-

---

тиллерию в виду поляков, сам с конницею ночью переправившись через Буг, обошел и ударил неприятеля в тыл; поляки, изумленные, все были истреблены. (Прим. автора.)

те войска должны были сформироваться в колонны, по второй—идти к назначенным пунктам и остановиться на пушечный выстрел, по третьей—штурмовать. Первый сигнал, видно, мы просмотрели; по второму встали, а по третьему тронулись, но уже слышали крик штурма и открывшийся огонь; почему в ретраншементе противу нас поляки, будучи предупреждены, встретили нас из всех дефензий<sup>121</sup> сильным картечным и ружейным огнем, так что голова колонны остановилась на несколько минут. Но Денисов велел принять влево по болоту, и мы по пояс в воде вошли в ретраншемент, поражая бегущих к Праге, куда мы вошли уже в порядке. Там мы нашли всех в разброде и на грабеже. Вскоре поставлены были батареи по берегу Вислы и открыли канонаду по Варшаве; мост поляки успели разобрать.

Чтобы вообразить картину ужаса штурма по окончании оногo, надобно быть очевидным свидетелем. До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвленные, а на берегу оной навалены были груды тел, убитых и умирающих: воинов, жидов, монахов, женщин и ребят. При виде всего сердце человека замирает, а взоры мерзятся таковым позорищем. Во время сражения человек не только не приходит в сожаление, но остервеняется, а после убийство делается отвратительно.

Вечеру, оставя часть войска охранять Прагу, мы возвратились в лагерь. Поляки потеряли на валах 13 тысяч человек, из которых третья часть была цвет юношества варшавского; более двух тысяч утонуло в Висле, около 800 человек из гарнизона уцелело, перешедши на другую сторону; 14 680 человек взято в плен, из числа которых восемь тысяч на другой день отпущены в дома; умерщвленных жителей было несчетно. Русские потеряли 580 человек убитыми и 960 раненых; пушек и мортир взято в ретраншементе 104.

25 октября присланы были из Варшавы депутаты с письмом от короля, которые представлены были графу Суворову. Победитель сидел в палатке, разбитой на опроверженном ретраншементе; деревянный отрубок был вместо стула, а другой, повыше, вместо стола. Граф, как скоро увидел их, бросил свою саблю и сказал: «Мир, тишина и спокойствие». Обнял послов, послы обнимали его колена и спрашивали, на каких угодно будет пунктах графу предписать капитуляцию польской столице, повергающей к освященным стопам российской монархини. Победитель отвечал: «Жизнь, собственность, забвение прошедшего, и моя государыня дарует мир и спокойствие». Послы, изумившись, возвратились в Варшаву, ожидавшую их с трепетом. Они, еще не доезжая берега, кричали:



«Покой! Покой!» Народ в восхищении бросился в воду и вынес их на руках; в радостных криках провожали их в Раду. «Виват императрица, виват Суворов!» — по всей Варшаве слышны были такие клики. <...>

29-го, в девять часов утра, войска наши вступили в Варшаву с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою; граф Суворов ехал в простом мундире. Как скоро победитель съехал с моста, на самом берегу встречен был магистратом, купечеством и мещанами, с хлебом и солью, и ему поднесли городские ключи. Граф Суворов принял их, поцеловал и сказал: «Хорошо, что они дешевле достались, нежели те», — показав на Прагу. Улицы, по которым проходили победители, усыпаны были народом, восклицавшим: «Виват Екатерина!», «Виват Суворов!»

У назначенной для графа Суворова квартиры ожидали его российские пленные, генерал-майор Милашевич и генерал-майор Арсеньев (которого потом наименовал он дежурным генералом); 1376 человек нижних чинов, 500 прусаков и 80 австрийцев.

На другой день граф Суворов посетил короля, а через два дня польское величество назначил, что приедет к нему. Граф приказал дежурному генералу написать церемониал, как принимать короля, в котором сказано было: «Графские адъютанты встретят его у кареты, дежурный генерал у лестницы, а графу должно встретить его перед приемною комнатою». Но лишь только сказали, что король едет, граф Суворов без шпаги и шляпы бросился встречать к карете и стал было короля принимать под руки; но, остановясь, сказал: «Погодите, погодите; ведь, Николай Дмитрич, по церемониалу не тут я должен принять его величество; простите меня; я так почитаю священную особу вашего величества, что и забылся». Оставя короля, он побежал в дом и принял его уже перед приемною. <...>

За взятие Варшавы граф Суворов пожалован фельдмаршалом и прислан был ему повелительный жезл<sup>122</sup>; многие награждены были орденами и золотыми шпагами за храбрость, в числе которых и я удостоился получить шпагу; многие произведены в следующие чины, в том числе и я, по рекомендации, за многие дела, в которых я был во время польской экспедиции, пожалован подполковником после семилетней моей службы в премьер-майорском чине; все штаб- и обер-офицеры награждены золотыми крестами на георгиевской ленте в петлицу, с надписью, с одной стороны: «за труды и храбрость», а с другой: «Прага взята 1794 года 24 октября»; солдаты получили медали. <...>

Впервые мне случилось быть под начальством великого полководца, графа Суворова. Он был тонкий политик

и под видом добродушия был придворный человек; перед всеми показывал себя странным, оригиналом, чтобы не иметь завистников; когда с кем надобно было объяснить-ся наедине, то сказывали, что он говорил с убедительным красноречием; суждения его были основательны, а предприятия—чрезвычайно дальновидны, что опыт доказал. Вырвались у него сказанные моему приятелю слова, показывающие правило, которого он держался: «*Pour parvenir, mon ami, il faut avoir la patience d'un coq au vin*» («Чтобы достигнуть, надобно быть терпеливу, как петух»). Но, как скоро он был втроем, то и принимал на себя блажь. Совершенно знал языки: французский, немецкий, латинский, греческий и турецкий. В угождение ему надобно было к его странностям привыкнуть, не говорить: «Не могу знать», «Не могу доложить», даже и «Не знаю». О всех таковых он говаривал: «Боже упаси от немогузнаек; от них беда; надобно все знать». Например, вдруг спросит кого: «Что султан делает?»—надобно соврать, что хочешь, только не говорить «не знаю»; или, например: «Далеко ли от Варшавы до Праги?»—скажи: «250 верст, 13 сажень и 1 аршин», то он и доволен и говорит: «Вот настоящий человек: все знает».

Военные его действия всегда располагаемы были так, чтобы действовали на мораль людей, как на своих, так и на неприятелей. Визирь шел атаковать принца Кобургского и верные имел известия, что Суворов был еще накануне в Берлате, верстах около ста от принца. Как вдруг вместо цесарцев увидел он себя атакуемого русскими; изумление было более причиною победы, чем самая храбрость. Равно и разбитие трех польских корпусов; поляки о самомалейших наших движениях имели скорые и верные известия; о Суворове же и это не касалось до их слуха; ожидали от русских нападения с лица, вдруг Суворов, как с неба упал, поразил их при Кобрине и, не дав им образумиться, при Бресте и Крупице. Хотя много оставлял он за собою усталых, которые приходили на другой день или на третий, даже и позднее, но скорыми своими маршами и внезапною всегда побеждал. Генералы и военные с дарованием люди долго думали и приписывали все дела его счастью; но уже в итальянскую кампанию увидели в нем гения в военном искусстве, и что все баталии, им выигранные и ни одна не проигранная, были обдуманы человеком, которого никто постигнуть не мог.

Суворов окружал себя людьми простыми, которые бы менее всех могли отгадать его; однако ж, от них зависела участь служивших под начальством графа Суворова. Чтобы получить какое награждение за настоящую службу, надобно было с низостию искать тех покровительства;

таковы были при нем Курис, Мандрыкин и прочие... Кто в них не снискал, не только не успевал по службе, но иногда обращал на себя неудовольствие графа, и сам он своею странностию иногда унижал людей достойных. Во время прагского штурма он закричал: «И я возьму ружье со штыком». — «Нет, ваше сиятельство, не пустим вас», — говорили знавшие его; кто хватал за узду его лошади, кто хватал его за руку и полы платья, когда он и шагу не намерен был сделать; но он делал вид, будто вырывался, и кричал: «Труссы, труссы, пустите меня!» Только что выпущенный из кадетского корпуса поручик Оленин как-то попался к нему в свиту, и, по простоте своей, думая сделать ему угодное, сказал: «Извольте, ваше сиятельство, я вас проведу на возвышенное место, откуда вы изволите усмотреть весь штурм». Граф его расцеловал: «Вот один только герой, а вы все труссы», — сказал он. Однако ж и затем те его не пустили. Что же? Все те, которые его не пускали, были награждены, а Оленин остался без ничего и отпущен в полк. Во время сражения Суворов всегда бывал на казачьей лошади и на казачьем седле, делал вид, что скакал в пыл сражения, но как скоро замечал, что никто его не удерживает, останавливался, слезал с лошади и переправлял свою обувь, говоря: «Ох, онуча жмет ногу». (Он вместо чулок обертывал ноги тонким полотном наподобие онуч.)

Спал он всегда на сене, покрытом простынею; другой постели во всю жизнь не имел; всякий день обливался холодною водой, несмотря ни на какую погоду; стол его был простой, но сытный; в постные дни никогда не ел он скоромного; никогда не заботился, что будет есть; этим занимался Курис. Час обеда Суворова, когда захотел; иногда в 8 часов утра, но не позже 11. Говорили, что он любит пить, но это неправда; перед обедом он выпивал большую рюмку водки, а за столом рюмки две вина; если же иногда наливал третью, то Тимченко, его камерднер, ему запрещал, равно, если бы сверх обыкновенного хотел съесть лишнее: «Ну, Тимченко не велит, — говорил он, — надобно слушаться».

По прибытии моем в Варшаву, я должен был явиться к нему с рапортом. Чтобы сделать ему угодное, понаслышке изготовился я отвечать на все его странные требования, но вместо того обратил на себя его негодование, за что, не знаю, и получил за столом чувствительный афронт<sup>123</sup>. Думаю, что подал к тому повод следующий случай: сержант гвардии перед обедом разносил водку по старшинству чинов; ежели кто были в одних чинах, то тот сержант спрашивал, с которого года и месяца состоят в оных; почему и меня спросил, как человека нового и впервые бывшего у графа. Я сказал, что уже 6 лет,

3 месяца и 12 дней в сем чине, и усмехнулся. Казалось, что граф сего не мог заметить, но другой причины к его неудовольствию не было. Сели за стол; мне пришлось сесть наискось против графа. Вдруг он вскочил и закричал «Воняет!» — и ушел в другую комнату. Адъютанты его начали открывать окошки и сказали ему, что «дурной запах прошел». «Нет, — кричал он, — за столом вонючка». Они стали обходить всех сидящих и начали обнюхивать; один ко мне подошел, сказал: «Верно, у вас сапоги не чисты, извольте выйти, граф не войдет, пока вы не встанете и не прикажете себе сапоги вычистить; тогда опять можете сесть за стол». Представьте мое смущение; однако ж, делать было нечего. Я встал, сказал тому адъютанту: «Доложите графу: я вижу, что моя физиономия ему не понравилась; как бы мне приятно ни было обратиться на себя благосклонное его внимание, но я к нему более не явлюсь», — и вышел. Посудите, приятно ли было служить при нем человеку с благородным чувством; признаюсь, что несмотря на его великий гений, и служа под ним в его славных победах, приобретая чины и ордена, трудно перенести подобные оскорбления, которые не с одним со мною случались, но и с некоторыми генералами. <...>

Прибыв к отцу моему, узнал я, что зять мой, С. К. Вязмитинов, сделан был генерал-губернатором Уфимской и Симбирской губерний и командиром Оренбургского корпуса. Он уговорил меня перейти под его начальство, чтобы быть вместе с моею сестрой. Почему в 1795 году дан мне был третий Оренбургский полевой батальон, и так я переместился в столь отдаленный край.

В сем году открылась персидская война<sup>124</sup>, продолжавшаяся до восшествия на престол государя императора Павла I, под главным начальством генерал-поручика графа В. А. Зубова. Успехом сей войны было взятие Дербента.

1796. В 1796 году в августе было избрание и утверждение, вместо умершего, нового киргизского меньшей орды хана. Обряд сей происходил следующим образом: между Оренбурга и менового двора, за Уралом, построенного в трех верстах от крепости, киргизы собрались в несколько тысяч кибиток, разных их родов, управляемых своими султанами. Когда за Уралом поставлены были собранные войска Оренбургского корпуса, тогда генерал-губернатор послал тому народу сказать, чтоб он приступил, по обычаю своему, к избранию хана, уже заблаговременно назначенного нашим правительством. По некотором прении, избрание кончилось. Хана нарядили в богатую парчевую, чернобурых лисиц шубу и такую же шапку, присланную в дар от двора; киргизы, посадя его

на кошму, подняли на руки и начали качать с превеликим криком, на что ответствовано было в честь хана пальбою из крепости и состоявшей при полках артиллерии, и ружейным беглым огнем. После чего хан был угощаем с султанами обеденным столом у генерал-губернатора, а все прочие киргизы—на степи близ наших войск, которых угощение состояло во множестве изготовленного их кушанья, или по ихнему биш-бармака, то есть изрубленной мелко баранины с луком и бараньим салом, пловом и кумысом. Киргизы хватали кушанье, как голодные волки; у каждого был приготовлен кожаный мешок, висевший на шее; одни, выжав рукою жир и жижу в рот, оставшийся в руке запас клали в сии кожаные мешки. Тем кончился весь праздник; на другой же день киргизы откочевали вовнутрь степи.

## VI. ЦАРСТВОВАНИЕ ПАВЛА I

Внезапная смерть императрицы Екатерины II Алексевны облекла Россию в сердечный траур. Она воспоследовала в 1796 году 6 ноября, на шестьдесят седьмом году, шестом месяце и четвертом дне ее рождения <...> Смерть ее поразила вообще всех, и каждый думал, что лишился в ней нежной матери.

В ее царствование Россия была славна и счастлива, подданные ее наслаждались спокойствием, каждый гражданин уверен был в безопасности личной и обладании своей собственности. Она отказалась от наименования, поднесенного ей сенатом: Великой и премудрой матери отечества. Но все то помня, сыны отечества сохраняют навсегда в сердцах своих сию дань справедливому титла. Она сделала многие учреждения к утверждению благоустройства и скорому течению дел. <...> О всех ее делах вкратце сказать нет возможности. Конец ее царствия был слабее; она дала много воли графам Зубовым. Сколь ни славно царствование Екатерины Великой, но спокойствие не раз было нарушаемо: 1) Возмущение Мировича, желавшего освободить императора Иоанна Антоновича, содержимого в Шлиссельбургской крепости под крепкою стражей со времени вступления на престол блаженной памяти Елисаветы Петровны. К нему приставлены были заслуженные два штаб-офицера, которым дано повеление: ни в каком случае живого его не выдавать. Сказанный поручик Мирович, во время путешествия императрицы в Ригу, подговорил солдат своей роты и с оными вломился в темницу несчастного Иоанна. Упомянутые два штаб-офицера, видя, что уже не осталось им

никакого средства сберечь своего узника, закололи его. Таким образом Иоанн, двадцати четырех лет, окончил несчастную свою жизнь<sup>125</sup>. Мирович, вошед в ту камеру, где он содержался, и увидя его мертвым, сам представил себя правительству как мятежника. Сенат и первенствующие государственные чины присудили на эшафоте отрубить ему голову, что и исполнено<sup>126</sup>. 2) О бунте Пугачева сказано было в I главе. 3) Смертоносная язва во время турецкой войны вкралась в государство, сильно свирепствовала, а особливо в Москве<sup>127</sup>; с жестокою зимой и предохранительными средствами она прекратилась. Во время оной архиепископ московский Амвросий, увидя, что народ прикладывает к образу Боголюбской Богоматери, что у Варварских ворот, и от того чернь заражалась, приказал тот образ снять. Народ взволновался, вломился в Кремль, ударил в набат в новгородский вечевой колокол; архиерей оттоль уехал в Донской монастырь и там спрятался в алтаре; его вытащили и убили. Главнокомандующий в Москве фельдмаршал, граф Петр Семенович Салтыков, видя мятеж, уехал из города и с ним вместе бывший тогда обер-полицеймейстер Н. И. Бахметьев. Но отставной генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин усмирил чернь и прекратил возмущение. Сказанный колокол государыня приказала снять, в который до того при пробитии вечерней зари ударяли три раза.

Смерть императрицы приключилась на 5 число ноября; занимаясь делами в своем кабинете, она пошла в потаенную комнату, и там роковой удар поразил ее; прибежавшие ее камер-фрау и камер-медхены нашли ее лежащею на полу без чувств; и на другой день она скончалась\*.

---

\* Многие полагают, и вероятно, что уже в здоровье императрицы сделалась чувствительная перемена по случаю неудачного ее предприятия. Ей хотелось внуку свою, великую княжну Александру Павловну выдать замуж за шведского короля Густава Адольфа: почему поручила министру своему при стокгольмском дворе вступить по сему предмету в переговоры. Король и его двор, казалось, с восхищением к тому приступили; в июле король в сопровождении дяди своего, принца Зюдерманландского, прибыл в Петербург. Великолепные праздники по сему происшествию следовали один за другим; король, сдавалось, был влюблен в прекрасную великую княжну; он был красивый мужчина; с великим удовольствием смотрели на сию будущую чету. Наконец, переговоры доведены были до конца; во всем было соглашено. Назначен уже был день помолвки и при дворе бал; все знатные особы обоего пола были повешены; императрица со всем своим августейшим домом прибыла в залу, ожидали только жениха, чтобы объявить всенародно о радостной для обоих дворов помолвке. Прошло много времени, а король не ехал; между тем, бал не открывался, послано было узнать о причине; посланный возвратился и доложил государыне что-то тайно. Она послала по дипломатической части находившегося при ней в дове-

С печальным сим известием отправлен граф Николай Александрович Зубов к императору Павлу I, законному наследнику российского престола, находившемуся тогда в Гатчине. Государь надел на него Андреевский орден <sup>128</sup> и поехал тотчас же в Петербург, приказав за собою следовать гатчинским своим войскам. Весь двор, сенат и генералитет в Зимнем дворце его ожидали, где тотчас ему и присягнули.

Говорят, что императрица сделала духовную, чтобы наследник был отчужден от престола, а по ней бы принял скипетр внук ее Александр, и что она хранилась у графа Безбородки. По приезде государя в С.-Петербург, он отдал ему оную лично; правда ли то, не известно, но многие бывшие тогда при дворе меня в том уверяли.

Император приказал приготовить печальную церемонию; сам перенес прах родителя своего императора Петра III из Александро-Невского монастыря, где, под предлогом, что он был не коронован, был погребен. Он был поставлен на одном катафалке с покойною императрицей, и вместе погребены в соборной церкви Петра и Павла, где прах покоится всех императоров и императриц.

На другой же день он указал, чтоб отдаваемые им при пароле приказы признаваемы были за именные повеления, и того же дня пожаловал в фельдмаршалы князя Н. В. Репнина, графом и фельдмаршалом М. Ф. Каменского, графа В. П. Мусина-Пушкина, графа И. П. Салтыкова. <...>

Он переменял мундиры, одел всю армию на манер прусский прошлого века, тоже и самый прусский старый военный устав издал к исполнению, введя совсем новый род службы, так что старые генералы не более знали новую службу, как и вновь произведенные прапорщики; старым людям, сделавшим навяз к прежнему обряду, трудно не только было отправлять ее, но даже и понять. Зато ежедневно одни отставлялись, другие исключались,

---

ренности графа Аркадия Ивановича Маркова. Наконец, по долгом ожидании, он возвратился с ответом, что король не может согласиться, чтобы королева, супруга его, оставалась в православной греко-католической вере, на что уже было изъявлено его согласие. Императрица так была сим поражена, что приближенные ее заметили, что едва ли не имела она легкого удара, и с тех пор стала в духе и телом ослабевать. С чрезвычайным усилием приняла она на себя вид твердый. Объявлено было, что король занемог и для того на бал не будет. Можно судить, каково самолюбие ее было, когда все чужестранные министры под рукой были предварены, и вдруг король отказался от женитьбы. Бал был открыт на короткое время, и вскоре императрица отбыла во внутренние покои. (Прим. автора.)

многие генералы с дарованиями принуждены были оставить службу; но тем не менее, производство шло с непостижимою скоростью, так что едва получа один чин, как уже и в другой производились. Служащим в отдаленных корпусах еще несколько было полегче, а тем, которые были ближе, несравненно было труднее. Сам граф А. В. Суворов пострадал; сказывали, что он перед разводом показывал свою блажность, говоря: «Пукли — не пушка, коса — не тесак, а я не прусак, а фельдмаршал в поле, а не при пароле». Удивительно, что сей тонкий человек говорил такие речи, которые не сходились с его умом. Государю о том донесли, и он послал за ним фельдъегеря, с которым он приехал и явился на другой день на вахт-параде.

Вскоре он сослан был в свои деревни, в новгородской губернии находящиеся, где и проживал под присмотром земской полиции, до назначения его командовать российско-австрийскою армией в Италии против французов.

Строгость касательно военных была чрезмерна. За безделицу исключались из службы, заточались в крепость и ссылались в Сибирь; аресты считались за ничто; бывало по несколько генералов вдруг арестованных на гауптвахте. Гражданским чиновникам и частным лицам было не легче. Вместе же с сим изливались великие милости. Если гнев государя сколько-нибудь замедлит наказанием, то те же самые люди не только приходили в милость, но и осыпались благодеяниями. Можно сказать, что он совсем был не злопамятен; бывали времена, и не редко, он показывал благородную душу и к добру расположенное сердце. Думать надобно, что ежели бы он не претерпел столько неудовольствий в продолжительное царствование Екатерины II, характер его не был бы так раздражен, и царствование его было бы счастливо для России, ибо он помышлял о благе оной. Но или он не имел способности к тому, или не мог переломить крутой свой нрав и принять благоразумные меры. Словом, царствование его для всех было чрезвычайно тяжело, особливо для привыкших благоденствовать под кротким правлением обожаемой монархини. Конечно, и при ней были несправедливости, но они были чрезвычайно редки и претерпевали их частные лица, но не все целое; совершенства во всем мире нет.

<...>

1797. В конце марта 1797 года государь прибыл в Москву, а в апреле короновался. Щедроты свои, по обыкновению, расточал, жаловал чинами, орденами и раздавал казенное имущество и деревни. После чего через Смоленск отправился в Петербург. <...>

1798. Император принял титул магистра державного ордена Св. Иоанна Иерусалимского<sup>129</sup>; почему хотел иметь



остров Мальту в своем владении; уже назначены были туда военный губернатор и комендант. С турками и англичанами заключил союз против французов; послана была эскадра в Средиземное море и вместе с турецкою действовали; капитан флота 2-го ранга Белли с небольшим числом войска занял Неаполь; государь, получив о том донесение, сказал: «Он меня удивил, да и я его удивлю». Послал ему орден Св. Анны 1-й степени<sup>130</sup>. Кроме Белли, в полковничьем чине никто такого не имел.

В 1798 году я пожалован в полковники, а в феврале полк получил повеление идти на **реву**<sup>131</sup> в Казань, где все пехотные полки той инспекции должны быть собраны, куда и государь намеревался прибыть. <...>

Государь прибыл в Казань с великими князьями Александром и Константином Павловичами 3-го июня, и прогневался на Игельстрома, что войска до прибытия его еще не вступили, приказав ему распорядить, чтобы каждый полк вступил на другой день поутру в разные часы, так, чтоб он каждый мог видеть особо.

В семь часов утра вошел Екатеринбургский полк в Сибирскую заставу; шеф одного был из гатчинских, генерал-майор Певцов. В восемь часов должен был войти Уфимский полк. Все шли с трепетом; я более ужасался, чем идя на штурм Праги.

Государь был у самой заставы. Передо мною шел батальон шефский, который переменял ногу; я тотчас переменял также свою, чтобы маршировать согласно с предыдущим батальоном. За мною шел сверхкомплектный подполковник кн. Ураков, который пооробел, и, не заметив, что я переменял ногу, шел по-прежнему, какою ногой шел весь мой батальон. Государь сказал: «Господа штаб-офицеры, не в ногу идете». Я, видя, что иду в ногу шефского батальона верно, тем же шагом продолжал. Тогда государь гневно закричал: «Полковник Энгельгардт не в ногу идет». Увидевши ошибку моего подполковника, оправдываться было не время. Когда весь полк прошел, ударили под знамена; я скомандовал: «С поля». Надобно объяснить, что делалось это на марше по трем флигельманам в четырнадцать приемов, и оканчивалось тем, что ружья обертывались вниз дулом, а прикладами вверх, что было чрезвычайно трудно. Император увидел, что батальон исправно сие сделал. <...>

Вечеру того дня дворянство давало бал, который удостоил своим присутствием император с великими князьями; также дворянство пригласило на сей бал пришедших полков штаб-офицеров. Государь танцевал польский со многими дамами. Увидя военного губернатора Лассия в башмаках с тростью, он подошел к нему и сказал:

«Как? Лассий в башмаках и с тростью?» Тот ему отвечал: «А как же?» — «Ты бы спросил у петербургских». — «Я их не знаю». — «Видно, ты не любишь петербургских; так я тебе скажу: когда ты в сапогах, знак, что готов к должности, и тогда надобно иметь трость; а когда в башмаках — знак, что хочешь куртизировать дам, тогда трость не нужна. «Comment, votre majesté, voulez qu'à mon âge je sache toutes ces misères?» («Как, вы хотите, ваше величество, чтобы в мои лета я мог знать все эти мелочи?») Государь рассмеялся сему ирландскому ответу, ибо Лассий был ирландец. Государь, пробыв часа с два, отправился в дом отставного генерал-майора Лецкого, где он имел свое пребывание.

5-го числа был специальный смотр на Арском поле (на том самом, где Михельсон разбил Пугачева). Когда полки выстроились по уставу, то подскакал ко мне бывший при государе бригад-майор Н. И. Лавров, с которыми мы были коротко знакомы во время турецкой войны в Молдавии, и сказал мне: «Не так у тебя стоят подпрапорщики» (ибо за некоторое время до вступления полков в Казань, переименованы штаты, и подпрапорщики названы уже были вторыми после фельдфебелей). Видя, что это уже исправлено в шефском батальоне, который за суетой меня не уведомил, я переименовал в первых двух ротах, а в трех ротах еще не успел, как уже государь подъезжал к моему батальону на фланг. Я побежал стать на свое место; он проехал мимо меня с суровым видом. Теперь-то я пропал, — думал я; однако ж, видно, император сего не заметил. После мы проходили мимо него церемониальным маршем. В приказе объявлена была всем полкам благодарность.

6-го числа было ученье, где мы стреляли, на месте и маршируя, плутонгами<sup>132</sup>, полудивизионами и дивизионами. Когда стали стрелять батальонами, как в первой линии было пять батальонов и мой батальон был на левом фланге, то мне должно было, изготовясь, не прежде выстрелить, как когда 2-й батальон Рыльского полка, выстрелив, возьмет ружья на плечо, а как сей батальон очень мешкал, то великий князь Александр Павлович, подъехав ко мне, сказал: «Стреляй!» Но я доложил ему, что батальон, после которого мне должно стрелять, еще не зарядил ружья; хотя он мне повторил сие приказание раза четыре, но я не спешил, выждал и выстрелил в свое время, когда было должно; залп был удачный. Государь заметил, что я не торопился исполнить приказание его высочества наследника, ибо он был почти у моего батальона на фланге, и остался доволен моею исправностью.

По окончании ученья в комнате государя и при нем

военный губернатор Лассий отдавал пароль и приказ; я тот день был дежурным и был в кругу с прочими, принимавшими приказание. Государь подошел ко мне сзади, положил руку на мое плечо и, пожимая, спросил: «Скажи, где ты выпекся? Только ты мастер своего дела». Я руку его, лежавшую у меня на плече, целовал, как у любовницы, ибо в первые два дня я потерял бодрость и ожидал уже не того, чтоб обратить на себя его внимание, а быть исключенным из службы.

Тот день приказано было мне быть к столу. Как скоро государь вышел из внутренних комнат, то прямо подошел ко мне и спросил: «Из каких ты Энгельгардтов, лифляндских или смоленских?» — «Смоленских, ваше величество». — «Знаю ли я кого из твоих родных?» — «Когда ваше величество в 1781 году изволили проезжать через Могилев, отец мой тогда был там губернатором». — «А, помню; у тебя, кажется, была сестра Варвара; где она теперь?» — «Она замужем за Наврозовым». — «Давно ли она вышла замуж?» — «В нынешнем году (тогда ей было тридцать три года).» — «Не молодою же она вышла отроковицей; а ты где начал служить?» — «В гвардии». — «То есть по обыкновению всех вас тунейдцев дворян; а там как?» Я, было, хотел пропустить, что был адъютантом у светлейшего князя, и сказал: «А потом в армии». — «Да как?» — «Взят был в адъютанты к князю Потемкину». — «Тьфу, в какие ты попал знатные люди; да как ты не сделался негодяем, как все при нем бывшие? Видно, много в тебе доброго, что ты уцелел и сделался мне хорошим слугой». Вскоре после того пошел за стол.

7-е. Были маневры; государь разгневался на Рыльский полк за худую стрельбу, а Уфимским был доволен, особливо моим батальоном. Когда я прошел мимо него церемониальным маршем и, отсалютовав, взял эспантон<sup>133</sup> в правую руку и подошел к нему, император сказал мне: «Становись на колени; видишь, как ты вырос; велик, иначе не могу тебя обнять». Когда я стал на колени, он поцеловал меня в обе щеки.

8-е. Тоже был маневр, по окончании которого и после отдания приказа, государь пожаловал орден Св. Анны 2-й степени гр. Ланжерону, который ему сказал: «Государь, доставляют мне вашу милость труды моего полковника; смею уверить ваше императорское величество, что ежели полк мой имел счастье вам быть угоден, он им до того доведен». — «Знаю, — сказал государь, — у меня и для него есть подарок, а после дам ему и более». После того, подзвав меня к себе, приказал стать на колени, вынул из ножен шпагу, дал мне три удара по плечам и пожаловал шпагу с аннинским крестом. <...>

После обеда, перед выходом государя в сад, перед спальней был военный губернатор Лассий, генерал-адъютант Нелидов и граф Ланжерон. Государь, вышед из спальни, подошел к графу Ланжерону и сказал: «Ланжерон, ты должен принять инспекцию от сумасбродного старика Игельстрома». — «Государь, — сказал граф, — я не могу». — «Как! Ты отказываешься от моей милости?» — «Тысяча резонов заставляют меня отказаться от оной; первое, я еще не силен в русском языке». Государь с большим гневом отошел от него на другой конец комнаты и, подозвав Нелидова, сказал ему: «Поди спроси Ланжерона, какие остальные резоны заставляют его отказываться от инспекции?» Граф Ланжерон отвечал: «Первый и последний: Игельстром мне благодетельствовал, и я не хочу, чтобы моим лицом человеку, состарившемуся на службе его императорскому величеству, было сделано такое чувствительное огорчение». Не успел он вымолвить, как государь подбежал к нему с фурией<sup>134</sup>, топнул ногой, пыхнул и скорыми большими шагами ушел в спальню.

Бывшие тут не смели тронуться с места; Лассий сказал: «Ланжерон, что ты сделал? Ты пропал». — «Что делать! Слова воротить не можно; ожидаю всякого несчастья, но не раскаиваюсь; я Игельстрома чрезвычайно почитаю, он не раз мне делал добро».

Через полчаса времени государь, вышед из спальни, подошел к графу и, ударя его по плечу, сказал: «Langeon, vous êtes un bon enfant, toujours je me souviendrai de votre généreux procédé». («Ланжерон, вы добрый мальчик; всегда я буду помнить ваш благородный поступок»). Я всегда за удовольствие поставлял себе это рассказывать. Сколько приносит сие чести графу Ланжерону, столько, и еще более, императору Павлу I; оно показывает, что он умел иногда себя переработать и чувствовать благородство души. Если б он окружен был лучше, говорили бы ему правду и не льстили бы ему из подлой корысти, приводя его на гнев, он был бы добрый государь. Но когда истина была, есть и будет при дворе? <...>

1799. Я отпросился в отпуск, и в наступившем 1799 году бог благословил меня супружеством, блаженство коего продолжалось двадцать два года и шесть месяцев. В сем же году пожалован я генерал-майором и шефом того же Уфимского полка, а графу Ланжерону дан полк Ряжский. В мае государь пожаловал мне командорство ордена Св. Иоанна Иерусалимского с тысячью рублями годового дохода. Служа в турецкую войну и противу поляков усердно и ревностно, был я в нескольких сражениях, лица от неприятеля не отворачивал и почти ничего не получил. А за марширование на Арском поле и удачные батальонные выстрелы получил два ордена.

Сего же года, в исходе ноября, по просьбе моей я отставлен с мундиром, что при государе императоре Павле считалось большою милостию.

Император в минуту своего гнева был ужасен, но не злопамятен. Чувствуя уважение к герою графу Суворову, бывшему в опале, и зная, какую славу российское оружие им может приобрести, начальствуя австро-российскою армией противу всюду торжествующих французов, он вызвал славлюбивого старца из ссылки, и столь убедительным рескриптом<sup>135</sup>, что тот забыл все огорчения и через час по получении того рескрипта выехал из своего заточения. Когда он явился к императору, государь в ту же минуту надел на него орден Св. Иоанна Иерусалимского; он пал к ногам его, сказав: «Господи, спаси царя». А Павел, обняв его, сказал: «А ты поезжай спасать царей». <...>

Смерть приключилась государю<sup>136</sup> в Михайловском замке 11 марта 1801 года около полуночи. Царствование его продолжалось четыре года и четыре месяца, от роду же ему было сорок семь лет и одиннадцать дней\*.

---

\* В Соловецком монастыре был монах Авель, предсказавший смерть императрице Екатерине и потом императору Павлу, со всеми обстоятельствами краткого его царствования. За год до смерти императрицы сей Авель, пришед к настоятелю того монастыря, требовал, чтобы довести до сведения ее, что он слышал вдохновенно глас, который должен на был ей объявить лично. По многим отлагательствам и затруднениям, наконец, донесено было ей, и приказано было его представить: тогда он ей объявил, что слышал он глас, повелевший ему объявить ей скорую кончину. Государыня приказала его заключить в Петропавловскую крепость. По кончине государыни император повелел, освобождая его, представить к нему; тогда он ему предсказал, сколько продолжится его царствие; государь в ту же минуту приказал его опять заточить в крепость. Смерть, однако ж, исполнилась в назначенный срок. При вступлении на престол Александра I он был освобожден. За год до нападения французов Авель предстал перед императором и предсказал, что французы вступят в Россию, возьмут Москву и сожгут. Государь приказал его опять посадить в крепость. По изгнании неприятелей он был выпущен. Сей Авель после того был долго в Троицко-Сергиевской лавре и Москве; многие из моих знакомых его видели и с ним говорили: он был человек простой, без малейшего сведения и угрюмый; многие барыни, почитая его святым, ездили к нему, спрашивали о женях их дочерей, он им отвечал, что он не провидец и что он тогда только предсказывал, когда вдохновенно было велено ему, что говорить. С 1820 года уже более никто не видал его, и неизвестно, куда он девался<sup>137</sup>. (Прим. автора.)

## СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА

5.VII. 1775—5.IV.1847



Сергей Глинка был личностью любопытнейшей, во многом противоречивой и парадоксальной. Это был человек одержимый. Но фанатическая идея его состояла в безудержной любви к Отечеству—иногда даже слепой, доходящей до крайности, бескорыстной, самоотверженной любви. А. С. Пушкин заметил как-то о Глинке: «Пылкость и неустрашимость его духа обнаружились в его речах, письмах и деловых записках. Он увлек сердца просторечием сердца...»

Истинно так: просторечие сердца было его важнейшей чертой. Сразу же надо привести характеристику Глинки, принадлежащую Вяземскому, которого уж никак не заподозришь в «квасном» патриотизме: «Должно отдать справедливость Глинке. Он никогда не отдавал себя в кабалу никаким литературным партиям. Он прошел беспристрастно и миролюбиво сквозь несколько поколений литературы и литераторов наших. Ко всем он питал сочувствие и радушие. Рождением своим, воспитанием и воспоминаниями лучшей поры в жизни, молодости, принадлежал он веку отжившему, но с любовью и уважением приветствовал знаменитости и надежды других поколений».

И еще одно надо оговорить сразу же: в записках С. Н. Глинки, да и во всех его стихах, письмах и речах, рядом с идеей национальной, по крайней мере, внешне, всегда присутствует монархическая. Это надо иметь в виду при восприятии мемуаров Глинки—слияние понятий «царь» и «отечество», умиление матушкой-императрицей у него заметнее, чем у кого-либо другого. Таков был он, так воспринимал историю. Этим, скорее всего, объясняется относительная личная и тем более идейная отдаленность С. Н. Глинки от его замечательного младшего брата, декабриста Федора Глинки, которого Пушкин называл «великодушным гражданином» и «почтеннейшим человеком сего мира». Однако подлинная демократичность общественного поведения С. Н. Глинки, любовь к русскому народу, вечная готовность последнюю рубашку снять для

бедняка; да и, как увидим, гордая независимость в обращении с теми, кого считал он жалкими холопами, будь они хоть министры, не то, чтобы искупает издержки его исторической философии, но, во всяком случае, вызывает горячую симпатию к его личности.

В приводимой части записок о детстве Сергея Николаевича, его трудной кадетской юности говорится так много, что добавить уже нечего. Обращаем внимание читателя также на любопытные «заметы» о Глинке в мемуарах М. А. Дмитриева. Они, несомненно, придают рельефность этому персонажу, принадлежащему нашей культурной истории. Кстати, Дмитриев проводил его в 1847 г. в последний путь стихами:

Вся жизнь твоя была —  
Любовь к отечеству и истине служенье.  
От детских лет моих я помню голос твой,  
Всех громче мне твердил о Руси православной.  
Ты жизнь полезную умел соделать славной.

Остается только присоединить к запискам Глинки несколько фактов, почерпнутых из справочников и различных мемуаров...

Выпущенный в 1795 г. из кадетского корпуса поручиком, С. Н. Глинка был назначен служить в Москву — адъютантом к князю Ю. В. Долгорукому. Но уже в 1800 г., дослужившись до майорского чина, запросился в отставку. Тогда же, в 1800 г., скончался его отец, чуть позже — мать. У ее смертного одра Глинка поклялся позаботиться о сестре: он отказался от единственного своего наследства — деревеньки с 30 душами крепостных, отдав ее сестре в приданое. Жить было нечем. Отправился на Украину учительствовать и лишь через три года снова появился в Москве.

Тогда-то и начались его литературные труды. Сначала перебивался переводами для театра, сочинением оперных либретто. Его собственные пьесы — исторические драмы «Наталья, боярская дочь» (1806), «Михаил, князь Черниговский» (1808), «Осада Полтавы, или Клятва полтавских жителей» (1810) и другие пользовались определенной известностью. «Прологом...», сочиненным Глинкой, открылся 13 апреля 1808 г. Новый императорский (Арбатский) театр в Москве, которому суждено было перед самым приходом французов, 30 августа 1812 г., закрыться навсегда также драмой Глинки «Наталья, боярская дочь». Третье действие этой пьесы заканчивается пожаром селений, подожженных неприятелем. Это потом воспринималось как предсказание.

В 1806 г. бригадный майор Глинка был определен в земское Смоленское войско. Тильзитскому миру (1807)

он не поверил, считая его не миром, а перемирием, столкновение же с наполеоновской Францией — неизбежным. Собственно, на этой патриотической волне подготовки к новым битвам и появилось главное дело его жизни — журнал «Русский вестник», выходивший с 1808 по 1820 г. (и ненадолго возобновленный в 1824 г.). Для характеристики программы журнала предоставим слово «независимому свидетелю» — П. А. Вяземскому: «Чувства и цель его были общие с народным чувством и с народною потребностью: чувство любви к отечеству и стремление более и более знакомить русских с Россиею. Время, в которое он начал действовать, очень благоприятствовало ему. Тогда Россия еще не была отыскана — История Карамзина еще не была обнародована». Вполне вероятно, что «Русский вестник» в своем «антигаллицизме» хватил через край — однажды это вызвало даже официальный дипломатический протест посла Франции в Петербурге А. де Коленкура. Еще бы — ведь оба императора, Александр I и Наполеон I, делали вид, что после Тильзита они помирились навсегда, а наивный Сергей Глинка призывал готовиться к войне.

О наивности, простоватости Глинки, о его «литературном старообрядчестве» много говорили и писали. К. Н. Батюшков задел его, правда, дружески, в «Видении на берегах Леты» (1809):

«Кто ж ты?» — «Я русский и поэт.  
Бегом бегу, лечу за славой,  
Мне враг чужой рассудок здравой.  
Для русских прав мой толк кривой,  
И в том клянусь моей сумой».

Иначе говоря, получается, что для Глинки и хорошее чужое — плохо, а плохое свое — хорошо. И *сума* по отношению к Глинке употреблена не случайно: Батюшков, быть может, хотел сказать, что с его жизненной и литературной позицией барышей не наживешь. В другом популярном сатирическом произведении того времени (1814 г.) — «Доме сумасшедших» А. Ф. Воейкова Глинке, с его неудержимым патриотизмом и неприятием всего нерусского, досталось куда хлеще:

Нумер третий — на лежанке  
Истый Глинка восседит:  
Перед ним дух русский в склянке  
Не откупорен стоит.

Глинка добродушно смеялся шуткам и эпиграммам, редко с кем ссорился и шел своим путем. Мужественный человек, никогда он не пугался нападений — ни в литера-



туре, ни на войне, говоря: «Я прихожу в трепет только в одном случае—когда вижу ребенка на открытом окне четвертого этажа».

«Перо Глинки,—писал Вяземский,—первое на Руси начало перестреливаться с неприятелем». «Русский вестник» пользовался популярностью во многих губерниях, у самого различного круга читателей.

Как бы ни воспринимать иногда наивные попытки Глинки «отыскать Россию», намерения его были благородны и печатные выступления исторически актуальны. «В святом ополчении за честь и права отечества,—говорит П. А. Вяземский,—не каждый может быть полководцем, не каждому присуждено присвоить себе решительную победу. Но каждый ратник, с любовью и мужеством исполнивший свою обязанность, стоявший всегда под ружьем в передовой дружине, не даром посвятил себя на боевое дело».

Следует заметить, что у Глинки не было ненависти к другим народам. Он блестяще знал французский язык (настолько, что перевел на французский книгу брата Ф. Н. Глинки «Письма русского офицера»), со свойственной ему добротой помогал французским пленным во время войны. Наконец, он всесторонне пользовался во многих своих литературных произведениях достижениями европейской культуры. Однако отдельные «уклонения» в крайность с ним случались—при подходе наполеоновских войск к Москве он, например, покидая столицу, в знак ненависти к оккупантам сжег свою французскую библиотеку, в том числе книги любимейшего с юных лет автора—Бюффона...

У «Русского вестника» при самом его появлении были не только оппоненты, но и горячие сторонники, шедшие в неприязни к иноземному дальше Глинки. Как только в 1807 г. появилось объявление в газетах о выходе нового издания и его программе, Глинка получил письмо с явно псевдонимной подписью Устин Веников из села Зипунова. Приведем выдержки из этого длинного и весьма любопытного документа: «Милостивый государь мой Издатель Русского Вестника! Хотя я и сам имел человек с десяток заморских учителей, зевал на чужой земле и говорю на нескольких иностранных языках, но со всем тем бог охранил меня от заразы. И я узнал свою отчизну, помня примеры предков, поучения священника Петра и слова мамы Герасимовны, остался до сих пор совершенно русским <...> Вы имеете в виду единственно пользу общую и хотите издавать одну русскую старину, ожидая от нее исцеления слепых, глухих и сумасшедших <...> А как заставить любить по-русски отечество тех, кои его презирают, не знают своего языка

и по необходимости русские? Как привлечь внимание вольноопределяющихся в иностранные? Как сделаться терпимым у раздетых по моде барынь и барышень? Упрашивайте, убеждайте, стыдите, ничто не подействует. Для сих отпадших от своих и впадших в чужие вы будете проповедником как посреди дикого народа в Африке. До сего одни лишь иностранные за наше гостеприимство, терпение и деньги ругали нас без пощады, а уже и русские к ним пристают. Я не удивлюсь, если со временем найдется какой-нибудь бесстыдный враль, который станет нам доказывать, что мы не люди и что бог создал одно наше тело, а души вкладываются иностранными по их благорассмотрению; что мы без них обратились бы в четвероногих, без их языка и без их поваров ели бы траву и желуди. Мы с первого раза вытверживаем имя всякого иностранного искидка, а они до сих пор не могут правильно писать Суворов, а что еще лучше, что сим великим именем называют в Лондоне белого медведя; и в Париже, в 1785 году, показывали за деньги француза, одетого в звериную кожу под вывескою: «Здесь можно видеть страшное чудовище, которое говорит своим природным московским языком»...»

Вскоре, правда, выяснилось, что автор письма не из глубинки, а из Москвы и не кто иной, как московский главнокомандующий граф Ф. В. Ростопчин, но это послание весьма порадовало издателя «Русского вестника». Можно, конечно, опять-таки обвинить их обоих в «квасном» патриотизме, но речь идет в данном случае не об отдельных лицах, а об общественном настроении, достаточно длительном во времени—до и после Отечественной войны 1812 года. Вспомним грибоедовского героя, мечтавшего

Чтоб истребил господь нечистый этот дух  
Пустого, рабского, слепого подражанья.  
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,  
Кто мог бы словом и примером  
Нас удержать, как крепкою вожжой  
От жалкой тошноты по стороне чужой.

Сергей Николаевич Глинка произносил такое слово и показывал, как умел, такой пример.

\* \* \*

Наступление французов на Москву в 1812 году стало его звездным часом. Прочитав 11 июля воззвание царя к гражданам первопрестольной столицы, Глинка на другой день в 5 часов утра уже был у дома главнокомандующего, готовый положить за родину все, что у него было,

и саму жизнь свою. Ф. В. Ростопчин не принял его в столь ранний час. Глинка оставил записку: «У меня нигде нет поместья, у меня нет в Москве никакой недвижимой собственности, и хотя я и не уроженец московский, но где кого застала опасность отечества, тот там и должен стать под хоругви отечественные. Обрекаю себя в ратники московского ополчения и на алтарь Отечества возлагаю на триста рублей серебра». В тот же день, беседуя на Поклонной горе с москвичами, он увидел, как воодушевлены они общим порывом отстоять Россию. Чтобы снарядить на свой счет нескольких ратников ополчения, он заложил драгоценности жены—последнее достояние семейства.

Начальство скоро догадалось, что Сергей Глинка наибольшую пользу может принести не как воин ополчения, а именно как издатель «Русского вестника», способный ярким словом воспламенить патриотические чувства соотечественников. Не счастье, сколько речей произнес он в Москве и в окрестных деревнях перед крестьянами. По слову Вяземского, Глинка рожден был народным трибуном. Во время войны это проявилось в полной мере. Ему было сказано Ростопчиным: «Развязываю ваш язык на все полезное для Отечества, а руки на триста тысяч рублей экстраординарной суммы». Огромную по тому времени сумму он не истратил и на десятую долю, возвратив всё казне.

Одним из последних он покидал Москву. По дороге встретила колонна пленных французов. Глинка подъехал, спрашивая по-французски, всем ли они довольны. «Нас не обижают, но мы с трудом находим пищу»,— отвечали ему. «Что делать?—сказал он.—И мы, русские, в отечестве своем с трудом добываем кусок хлеба. Нашествие вашего императора всё вверх дном перевернуло!..» Когда впоследствии его спрашивали: «Кто жег Москву?», он категорически отвергал обе распространённые тогда версии: люди, назначенные Ростопчиным; люди, назначенные Наполеоном. «Кто жег Москву?—говорил он.—Никто! Эта слава без исключения принадлежит Москве, страдавшей и отстрадавшей за Россию и за Европу»...

До 1820 года удавалось выпускать «Русский вестник», затем подписка упала настолько, что пришлось отказаться от издания. Попытка возобновить журнал в 1824 г. успеха не имела. В 1824 г., уже 3-м изданием, вышла «Русская история» С. Н. Глинки в 14 частях. Карамзин считал, что она достойна быть введенной как пособие во всех учебных заведениях и писал автору: «Обо мне можете сказать по справедливости, что не уступлю никому в искреннейшем вам доброжелательстве и в готовности доказать делом искренность моих чувств». Но бедность его

нисколько не уменьшалась. В том же 1824 г. он жаловался в частном письме: «А мое положение вот какое: если бы моя жизнь прервалась в тот миг, когда к вам пишу, то через несколько недель жена и дети мои (их было восемь человек. — В. К.) пошли бы с сумою по тем самым московским улицам, где в 1812 году и мой усердный голос громко возносился во имя бога, веры и царя».

Вскоре последовали некоторые благодеяния Глинке: детей его поместили на казенный кошт в различные учебные заведения, а ему в октябре 1827 г. была предложена должность цензора в Московском цензурном комитете. При этом он остался самим собою — отказался от положенного специального мундира и чина, попросив «оставить его майором». После некоторой волокиты столь необычная просьба была уважена. Но, конечно, Глинка с его правдолюбием и неспособностью к чиновничеству в цензурном ведомстве ужиться не мог. Он вспоминал потом: «Защищая интересы литературы перед министром народного просвещения кн. К. А. Ливеном, взволнованный светлейшими кулаками министра, я по выходе от него на улицу, кричал, что от самодурства министров будут вспыхивать каждый день Четырнадцатые декабря».

Кончилось дело тюрьмой, хоть и недолгой: в начале февраля 1830 г. Глинка, пропустивший не понравившиеся начальству произведения в журналах «Московский телеграф», «Московский вестник», альманахе «Денница», был посажен на гауптвахту. О том резонансе, который это вызвало, рассказывает М. А. Дмитриев (см. в настоящем сборнике). Побывавший у Глинки М. П. Погодин записал: «Он привел меня в умиление. Жена, дочь, малютки. Старик сидит в изодранной шинели на кровати и читает из Екклесиаста». «Старику» было 55 лет — по тем временам немало. Пережитые испытания нисколько не отразились на его характере и доброжелательности к людям. Между прочим, 10 апреля 1831 г. он посетил в доме Хитрово на Арбате молодых супругов Пушкиных и поднес им следующий стихотворный комплимент:

Того не должно отлагать,  
Что сердцу сладостно сказать.  
Поэт! обнявшись с красотою,  
С ней слившись навсегда душою,  
Живи, твори, пари, летай!..  
Орфей, природу оживляй  
И Байрона перуном грозным  
Над сердцем торжествуй морозным.  
Теперь ты вдвое вдохновен;  
В тебе и в ней всё вдохновенье,  
Что ж будет новое творенье, —  
Покажешь: ты дивить рожден!

Гауптвахтой служба Глинки-цензора и завершилась. Он прожил еще 17 лет—бедствовал и неустанно трудился, выпустив целый ряд книг и написав свои записки—может быть, самое главное сочинение. Ослепнув за несколько лет до кончины, он просил жену перечитывать вслух любимых своих авторов, в том числе и французов—Руссо, Мирабо.

Проводив его в последнюю дорогу, Вяземский напомнил: «Недавно жил среди нас русский писатель, который проливал слезы, слушая «Семиру» Сумарокова и смеялся вчера, слушая «Ревизора» Гоголя. Он был современником Княжнина и одним из литературных сподвижников в эпоху Карамзина. Он беседовал с Пушкиным и многими годами пережил его. Он известен с 1794 года и кончил свое земное поприще в 1847 г. Во все течение этих долгих годов он был непрерывно и почти исключительно писатель и более ничего».

Пусть памятью о славном имени Сергея Николаевича Глинки послужит и включение страниц из его записок в этот сборник.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

Дурылин С. Н. Русские писатели в Отечественной войне 1812 года.— М., 1943.

## ЗАПИСКИ

К «Русскому» моему «вестнику» и «Русскому чтению»<sup>1</sup> присовокупляю мои «Исторические и частные записки».

Может быть, все произведения моего пера со мною исчезнут. Желая одного, чтобы осталось удостоверение, что любовь моя к родному краю всегда беспредельна была с любовью к человечеству; а если и это затеряется, то явно будет там, где положен предел всем противоречиям и где остается одна любовь.

Сергей Глинка

### I

*L'homme par un penchant secret  
Chérit les lieux de sa naissance  
(Créset)\**

Я родился 1776 года, июля 5-го дня, Смоленской губернии в Духовском или Духовщинском уезде, в селе Сутоках, в 8 верстах от Чиждова, родины бывшего шляхтича Потемкина, который потом, под блистательным именем князя Таврического, гремел замыслами ума парящего и, говоря словами Державина, «был могущ, хотя и не в порфире»<sup>2</sup>.

После 1812 года в первый раз в половине 1834 года посетил я свою родину. Изменяется жребий обширных областей, изменяется жребий и малых поземельных участков. Родина моя теперь в постороннем владении; но я видел следы праотцев моих; я видел липы, вязы и дубы, насажденные рукою моего прадеда по матери Федора Александровича Наховского. Я видел под сенью сих дерев, осенявших некогда юными и роскошными ветвями своими кружки пировавших друзей и родных, а теперь грустно, уныло отживающих в одиночестве безмолвном. Я сидел под ними, вслушивался в минувшее и вспоминал, что прадед мой был радушным патриархом родных, другом бедных, примирителем соседей по спорам поземельным, посаженным отцом, восприемником. На это нет почетных грамот в архивах земных; эти мирные дела лю-

---

\* Человек по какой-то тайной склонности любит родные места (Крессе) (фр.).

бовь сердечная передает выше земли. Видел я сельский деревянный храм, где в течение девяноста лет курится жертва богу любви и милосердия. Прошумел около него вихрь вражеского нашествия; но в стенах его не коснулся ни святыни, ни утварей церковных; все осталось, как прежде было, нет только тех, кто там бывал; но там их прах.

И мир их праху! Они живут в душе моей. Любовь не умирает. <...>

Отец мой служил в молодости в гвардии и, по выходе в отставку поселясь в деревне, сделался примерным хозяином. Он жил без спеси и без чванства, в мире с самим собою и со всеми. Алчная роскошь не отделяла еще тогда резкими чертами помещиков от почтенных питателей рода человеческого, то есть от крестьян. Кроме губернского мундира, одежда будничная и праздничная почти вся была домашнего изделия. Таратайка или одноколка заменяла щегольскую и великолепную карету. Домоводство цвело изобилием под животворным надзором хозяйским. <...> Решительно можно сказать, что роскошь стеснила в России состояние крестьян пахотных и оброчных. Не удружили дворянству и банки заемные, и ломбарды.

Екатерина II хотела ими исторгнуть недостаточных дворян из челюстей безбожного лихоимства и доставить им легкое средство оправляться в случае неурожая, пожаров, скотского падежа и других непредвидимых бед. Но пышность, засевавшая в новоучрежденных городах, винула большую часть заемщиков в бездну роскоши и мотовства. Екатерина жила и отжила с своим временем. Все ее скрылось с нею. Никогда и нигде не занимая денег, отец мой, в кругу ограниченных желаний и при жите не затейливом, был добрым помещиком. Радушно делился он хлебом-солью со всеми, и готовая к помощи рука его сзывала бедных соседей к участию в избытках его. От прилива и отлива частых гостей Сутокский наш дом был назван несъезжим двором. Заторопленный наездом гостей, отец мой, завидя спускавшиеся с горы возки и колымаги, гневно вскрикивал иногда на мать мою: «Вот, матушка! родные твои отбою не дают!» Но когда, надев сюртук понаряднее, выбегал на крыльцо, когда встречал и приветствовал гостей, и когда наш сельский запевало Кулеш, прицелясь ладонью к щеке, звонко затягивал: «Вспомни, вспомни, мой любезный!» — тогда подлинная или мнимая досада быстрою зарницею сбегала с лица его. Отец мой страстно любил музыку и играл на флейте. В весенние вечера он выходил на крыльцо, и звукам его флейты вторил голос соловьев, разливавшийся в прибрежных приозерных кустах.

Глубокая чувствительность удваивала земное бытие матери моей, а душевная ее набожность переносила мысль ее в мир духовный. Суеверие не волновало ее ума. Высказывались иногда порывы пылкого ее нрава, но это была только тень на светлой ее жизни. Вдовы и сироты называли ее матерью. С страдальцами делилась слезами, а с бедным тем, что бог посылал в избытках домашних. Была она и примерною хозяйкою. Все Сутокское славилось в Смоленске и отправлялось в Петербург. В одной рифменной географии сказано: «В Смоленске варятся прекрасные закуски».

Домашние наши варенья, коврижки, сыры и живность появлялись при дворе Екатерины и на столах наших петербургских милостивцев и знакомых. Однажды родители мои получили следующее письмо от Л. А. Нарышкина: «Все присланные вами коврижки разошлись на домашнем потчивании, а потому, чтобы быть позапасливее, прошу вас заготовить мне тысячу коврижек с моим гербом, которого и прилагаю рисунок. Из этой тысячи уделю только двадцать Г. Р. Державину за его хорошие стихи. Он большой лакомка, а вас отблагодарит своею поэзиею». Этот гостинец был тотчас отправлен. <...>

Державин не остался в долгу: из стихов его помню четыре последние:

Дележ у нас святое дело,  
Делимся всем, что бог послал;  
Мне ж кстати лакомство поспело:  
Тогда Фелицу я писал.

И князь Таврический, наш сосед, посылал к нам за липцем и расплачивался турецким оружием, то в серебряной, то в золотой оправе. Всем известно, что у князя Потемкина были свои гонцы ловкие, расторопные, умные, но никогда не знавшие того, что передавали они за его печатью. Баур летал по Европе не с письмами к тогдашним министрам, но с доверенностью к банкирам, которые отсыпали деньги тому, кто был ближе к тайным министерским столикам. В числе этих гонцов был двоюродный брат моего отца Г. Б. Глинка. В разъездах своих от князя, заезжал он и к нам за липцем.

Однажды привез он его к Потемкину в то время, когда он забавлял принца де Линя прогулками на лимане и давал ему пиры. Быстро взглянув на моего родственника, князь спросил: «Все ли здорово в Ковно?» — Родственник мой отвечал, как следовало. — «Ну, — сказал князь принцу, — мы сегодня будем пить ковенский липец»; и за столом сам употчевал его тремя бокалами. После обеда принц не мог встать со стула. Князь улыбнулся и примолвил: «Это не ковенский, это русский липец моего



соседа. В вашей суматошной Европе из куска золота тормозят и землю, и море, а у нас в России любят угостить и усадить. Выпейте стакан холодной воды, все пройдет». <...>

Изображение нравов, обычаев, частных мер правительства и рассказ о лицах, действовавших в свое время на театре света или случайности: вот объем и жизнь записок.

И у нас, и в Европе говорили, что Екатерина и царствовала, и привлекала сердца. Мы согласны, что она отыскивала все то, что можно было употребить на пользу современников, без мысли о будущем. Ум ее постиг, что сильная, богатая и чиновная аристократия домогается по духу своему угнетать то, что малочиновнее и маломощнее ее. А потому она и заметила в «Наказе» своем, что богатым должно полагать преграду к удручению бедных, и что чины суть принадлежность мест, а не лиц.

Князь Григорий Александрович Потемкин, из участи бедного смоленского шляхтича перешедший на чреду князя Таврического,—Потемкин был при Екатерине главным оплотом от притязаний сильной аристократии, или, лучше сказать, против вельможеской гордыни. Вековые грамоты вельмож смирились перед юною его грамотою. Но он не пренебрегал вельмож дельных, нужных для дела.

Однажды со мною спорили, будто бы князь Николай Васильевич Репнин был его заклятым врагом. Я возразил на это собственноручным князя Репнина письмом к Потемкину, в котором он его называет любезным и задушевым другом. Оно теперь в руках у князя Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского. У Потемкина было все свое. «Забывайте искусство,—говорил он.—Сами пролагайте себе пути, и слава великих дел подарит вас венком».

В жребий сего чудного баловня счастья судьба включила все необычайные свои игры. В колыбель вступил он не в стенах дома, а в бане, которую я недавно видел, но ту ли?—не знаю. Банный уроженец был и большим проказником в молодости своей. Однажды вместе с отцом его<sup>3</sup> пустился полевать родной его дядя, рослый и дюжий. Смерклось, выплывал месяц. Потемкин нарядился в медвежью шкуру, висевшую между утварью домашнею, притаился в кустарнике; охотники возвращались, и когда дядя поравнялся с кустами, медведь-племянник вдруг выскочил, стал на дыбы и заревел. Лошадь сбросила седока и опрометью убежала. Дядя, растянувшись на траве, охал от крепкого ушиба, а племянник, сбросив шкуру, сказался человеческим хохотом. Стали журить. Проказник отвечал:

— Волка бояться, так и в лес не ходить.

Мать князя Таврического была образцом в целом околоте. По ее уставам и одевались, и наряжались, и сватались, и пиры снаряжали. Это повелительство перешло и к сыну ее.

С медвежьими затеями Потемкин вступил в Московский университет и выслан оттуда недоученным студентом<sup>4</sup>, но с дивным умом. Переводчик «Илиады» Костров рассказывал, что однажды Потемкин взял у него несколько частей естественной истории Бюффона и возвратил ему их через неделю. Костров не верил, чтобы можно было так скоро перечитать все взятые части, а Потемкин, смеясь, пересказал ему всю сущность прочитанного. Память его равнялась его желудку и сладострастию. Память, желудок и сладострастие его все поглощали. Он метил из гвардии в монастырь и попал в чертоги Екатерины. В глубоком раздумье грыз он ногти, а для рассеянья чистил бриллианты. Женщин окутал в турецкие шали, а мужчин нарядил в ботинки. Поглощал и ананасы, и репу, и огурцы. «Иным казалось, — говорит граф Ростопчин, — что Потемкин, объевшись, не проснется, а он встанет, как ни в чем не бывало, и еще свежее. Желудок его можно уподобить России, она переварила Наполеона, и все переварит». Посылал в Париж за модными башмаками и под этим предлогом подкупал любовниц тогдашних дипломатов. Лакомя хана роскошью, выманил у него Крым. Выдумывал вместе с Пиком польские и контрадансы; дал Екатерине и двору ее такое празднество<sup>5</sup>, какого не придумал бы и обладатель Аладиновой лампы. Мир, заключенный князем Репниным после победы Мачинской, называл ребяческою сделкою и дал князю бессрочный отпуск. Грозился вырвать в Петербурге зуб, то есть сбить князя Зубова. И умер князь Таврический в глухой степи, под туманным октябрьским небосклоном. Присмотревшись к мнимой беспечности Потемкина, принц де Линь сказал: «Потемкин притворяется, будто он ничего не делает, а он всегда занят».

Вот некоторые подробности о последних днях его жизни, сообщенные мне очевидцем, служившим при нем, родственником моим Гр. Б. Глинкою.

В Галаце после погребения принца Вюртембергского, в каком-то необычайном раздумье, князь Таврический сел на опустелые дроги. Ему заметили это. Он молчал, но угрюмая дума, проявлявшаяся на отуманенном его челе, как будто говорила: и меня скоро повезут. Заболев с того же дня, переехал он за Днестр в монастырь Гуж. Перемыны в образе жизни не было. Музыка гремела, в комнатах все ликовало, одна рука его отталкивала лекарства, а другая хваталась за все лекарства роскошной при-

роды; прихотливый его вкус сам не знал, чего хотел в период своего оцепенения. Из-за Прута князь пустился в Яссы. Прощаясь с Поповым, так крепко стиснул ему голову, что любимец невольно вскрикнул. Князь улыбнулся, а Попов с восторгом рассказывал, «что еще есть надежда, что у князя не пропала сила». В числе провожатых была племянница его, графиня Браницкая. Проехав верст шестнадцать, остановились на ночлег. В хате Григорию Александровичу стало душно. Нетерпеливою рукою стал он вырывать оконные пузыри, заменяющие в тамошних местах стекла. Племянница уговаривала, унижала, дядя продолжал свое дело, ворча сквозь зубы: — Не сердите меня!

На другой день пустились в Яссы, проехали верст шесть. Потемкину сделалось дурно, остановились, снова поднялись и снова поворотили на прежнее место. Смерть была уже в груди князя Таврического. Он приказал высадить себя из кареты. Графиня удерживала. Он проговорил по-прежнему: «Не сердите меня!». Разложили пуховик и уложили князя. Он прижал к персям своим образ, осенился крестом, сказал: «Господи, в руке твои предаю дух мой!» и вздохнул в последний раз.

От великана обращаюсь к скромному быту моему!

Кроме великана сего своего времени, Екатерина, желая, так сказать, учредить между собою и дворянством радушную иерархию, выбирала людей умных, приветливых в милостивцы, или в посредники между собою и дворянством. Повторим и здесь, что Екатерина сочинила царствование свое. К милостивцам, учрежденным не по указу, а по указанию, дворянин, приезжавший по делам в Петербург, немедленно относился, и каждый дворянин в милостивце губернии своей встречал и ревностного ходатая, и радушного гостеприимца.

Нашими милостивцами на берегах Невы были Л. А. Нарышкин и М. Ф. Кашталинский. О первом рассказу после, о втором — теперь. По особенному ли поручению Екатерины, которая сама признавалась, что, не взирая на устройство ее судов, все еще нужно ездить в Петербург для покровительства (собственные слова Екатерины II; см.: Собеседник любит <елей> росс <ийского> слова, 1783 года), или по внушению князя Потемкина, уроженца смоленского, Кашталинский был ходатаем за всех просителей, приезжавших из Смоленска по делам в Петербург. Отобрав записки, он спешил в Сенат и к генерал-прокурору. Словом, вне дома был за них ревностным стряпчим, а у себя — радушным гостеприимцем. Матвей Федорович Кашталинский был, как говорится, творцом судьбы своей. И он, как Потемкин, родился простым мелкопоместным шляхтичем. Двор, война и обширный за-

мыслями ум усилили Потемкина; двор, карты и расторопность возвели Кашталинского на степень временной известности. Он человек записок, а не истории. От одного ловкого выигрыша в макао<sup>6</sup> при дворе Елизаветы и от ловкой утайки туза, мешавшего выигрышу, прослыла поговорка: «Он туза проглотил». Однажды Потемкин, не домогаясь выигрыша, проиграл победителю в макао сто тысяч; это просто подарок, и это намек на свое время. Потемкин любил Кашталинского. Матвей Федорович хорошо знал математику, языки и, как сказывают, в Семилетнюю войну служил при штабе герцога Ришелье. Роста он был небольшого, казался подслеповатым, но очень зорко видел. Лицо его цвело здоровьем, и он умел и шёл средствами поддерживать здоровье. Рано прибегнул он к парикю, чтобы каждое утро тереть голову льдом, в то же время освежался он прогулками и ваннами ароматными. К игре на бильярде и к обеду являлся он в коротеньком бархатном сюртуке и в бархатных башмаках, завязанных ленточками. Казалось, что сама богиня щегольства наряжала его. Много вышло теперь сочинений в прозе и стихах о гастрономии, но едва ли где баловали вкус такие блюда, какие подносили у Кашталинского. В обеде были три перемены: две состояли из кушаньев, а третья из закусок. У Кашталинского все было на серебре и золоте, но скука не перечила желудку. Он дарил вкусным обедом, и его дарили затейливою веселостью. Сенатор Щербачев не спускал ни блюдам, ни анекдотам, ни прибауткам. Видал я у него и молодого человека в щегольском красном артиллерийском мундире, ловкого, умного, и который, обладая разнообразными знаниями, золотил разговоры чистым русским языком без примеси французского. То был Алексей Николаевич Оленин. После лукулловского обеда в доме Кашталинского опускались на окнах занавески, зажигались свечи и начиналась резня в карты. Это не укоризна: бездействие есть преждевременная могила. <...>

Продолжая речь о семейном нашем быте, прибавлю, что у нас было искусственное подспорье. В то время дворянам дозволялось выкуривать по девяносто ведер вина, но перекуривали и гораздо за сто; случалось и тут с грехом пополам: у иных проглядывало корчемство; откупщики жили и наживались. Перегонное вино шло на домашние наливки, а остальное на потчеванье крестьян и в положенные дни; бардою<sup>7</sup> же кормили скот, что и способствовало унавоживать пашни.

Было у нас и другое большое подспорье. В семидесятых и начале восьмидесятых годов через деревню нашу Холм пролегал столбовая дорога на Торопец и до Петербурга. Наши холмяне содержали почту. Они были уда-

лые, ловкие и расторопные ямщики. По этой дороге проезжал великолепный князь Потемкин то из Белоруссии, то из Смоленска. Бывало, зимою в темно-зеленой бархатной бекеше с золотыми застежками и в огромной шубе, легкой, как пух, мчится снедаемый жаждой власти Потемкин. У князя Таврического не было никакой оседлости. Не строил он замков, не разводил садов и зверинцев: дворец Таврический был даром Екатерины II, а у него своего домовитого приюта не было нигде. Селением его было поморье Понта Эвксинского<sup>8</sup>; заботы его были о древнем царстве Митридатом<sup>9</sup>, и он это царство принес России в дар бескровный. Чего не успели сделать века от покорения Казани и Астрахани, чего не успел сделать Петр I, то один совершил этот великан своего времени. Он смирил и усмирил последнее гнездо владычества монгольского. Из пространного объявления графа Остермана по случаю первой войны с Портой Оттоманскою при императрице Анне<sup>10</sup>, видно, какие грозные и опустошительные набеги производили крымцы и до Курска, и до Нижнего, в то самое время, когда Петр I покорял крепости и города прибалтийские. И этот исполин, повторяю еще, был странником: он жил бесприютно и умер в пустыне, на плаще, под сводом сумрачного неба октябрьского. <...>

Дядя мой Андрей Ильич Глинка был отец Григория Андреевича Глинки, который первый из круга родовых русских дворян отважно ногою вступил на профессорскую кафедру и запечатлел имя свое в летописях Дерптского университета званием профессора русской словесности. Тогда еще не было помину о политической экономии, ни о книжках о сельском хозяйстве, а в селении дяди моего Закупе все было в приволье, пышно золотели нивы, роскошно цвели его луга. <...>

Андрей Ильич был крестным моим отцом; ни у него, ни у отца моего не было нигде в закладе ни одной души. Тогда богатые помещики уравнивались с бедными в одном праве винокурения.

По моде своего времени дядя одевался и чопорно и красиво. На отце моем одежда, так сказать, горела. Новое его платье было новым только на один час, а на дяде моем оно как будто не изнашивалось. Мне, крестнику его, не оставил он своей бережливости, а передал впоследствии свой сердечный романтизм. Лишась первой супруги своей, он уныло бродил по рощам и дубравам и вырезывал на деревьях имя ее. Он плакал, читая романы Федора Эмина, и заливался слезами, читая и перечитывая «Маркиза Г.», переведенного Елагиным. Теперь этих книг нет и в помине; теперь не только не плачут, но и не читают трагедий Сумарокова; а было время, что при

дворе императрицы Елизаветы были для них и рукописания, и слезы, и вздохи. На все время, и все на время. Молнией мелькает и слава побед, и слава писателей. В то время, когда жил мой дядя, мнение общественное было сиднем неподвижимым. Екатерина II, очарованная царствованием своим умы дворян, подносила им волшебную рукою золотой сосуд, из которого они пили забвение прошедшего и беспечность о будущем. Им казалось, что Екатерина условилась с судьбой жить вечно, и что они всегда будут жить ее жизнью. Ту же беспечность передавали они и детям своим. Загнезвился бы тогда неискоренимый застой в умах дворян смоленских и великороссийских, если бы два обстоятельства не освежали силы мыслящей.

Во-первых, в семидесяти годах с блеском явился на поприще военном Румянцев, совместник Потемкина. Духом своим возбуждал он дух деятельности в земляках своих малороссиянах. Киевская академия была храмом учения их, откуда рука Румянцева выводила соотчичей на пути различных служб. Безбородко, быстрый в соображениях ума и порывистый в страстях; Завадовский, медленный в соединении мыслей, тяжелый в оборотах высокопарного слога и вовсе отживший с Екатериною, — оба сии уроженцы малороссийские даны Екатерине Задунайским.

«Препровождаю к вам алмазы в коре, — писал Задунайский Екатерине, — ваша искусная рука их обделает» \*.

Во-вторых, около того времени умный, деятельный, предприимчивый Николай Иванович Новиков, далеко опередивший свой век изданием «Ведомостей московских» <sup>11</sup>, «Живописца» <sup>12</sup>, других многообразных книг и искусным влиянием на умы некоторых вельмож, двигал вслед за собою общество и приучал мыслить среди роскошного и сладострастного обаяния. <...>

Крестною моею матерью была супруга С. Ю. Храповицкого, также родственника моего по матери. Степан Юрьевич Храповицкий был по Смоленской губернии одним из ревностнейших последователей и содействователей Новикова.

Богатый не только числом душ, но и собственною душою, он был и дворянином, и в полном смысле человеком благородным. Бурную юность, проведенную в разгуле военном, заменил он мирною сельскою жизнью. Храповицкий воспитывался в сухопутном кадетском корпусе и вышел оттуда с просвещенным умом и с сердцем, го-

---

\* Мне рассказывал граф Ростопчин, что однажды императором Павлом I поручена была бумага в двадцать строк и что за нею граф ходил суток двое: первоначальный подлинник был весь исчерчен и перечерчен. (Прим. С. Н. Глинки.)

товым всех любить, всем верить, не ознакомься еще с тем светом, где и лучший ум, не опираясь на опыт, спотыкается и делает промахи в жизни.

По выходе из корпуса, он поступил поручиком под знамена князя Долгорукого-Крымского и скоро отличился храбростию своею. Война и разгул юношеский идут рука об руку. В кругу юных товарищей своих он с таким же жаром предался карточной игре, с каким действовал в сражениях. Он играл на чистоту и спустил почти все свое имение, выкупленное двумя его сестрами и возвращенное ему сполна. В то время познакомился он с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, который был уже известен военною деятельностью и необычайною ранюю, полученною им тогда, когда стоял в виду неприятеля на Косогоре, с которого был сбит, и при падении его засыпало землю, откуда с трудом его отрыли.

Но родственник мой во всю жизнь был против него предубежден, и вот от чего: Кутузов в картах был тонким тактиком, но Храповицкий почитал эту расчетливость хитростью. Счастье, которое довело Кутузова до 1812 года, было тогда с ним в размовке и вело его тернистым путем нужды. Случалось, что он у сослуживца своего Филипповского, издавшего впоследствии «Пантеон российских государей», занимал по пяти и по десяти рублей.

«За мною, брат,—говорил он,—не пропадет твое». Так и сбылось. Во время нашествия дом Филипповских, бывший у Варварских ворот, сгорел; княгиня Смоленская, узнав о том, назначила ему в память его к ее супругу по 300 руб<лей> пенсии.

Из военной службы Храповицкий вышел в отставку полковником, бросил игру и в своем селе Кошуне сделался в полном смысле отцом-помещиком своих поселян.  
<...>

Всем известно, с какою ревностью Н. И. Новиков старался об издании книг и распространении чтения. Храповицкий непосредственно участвовал в этом подвиге. Хотя в библиотеке его были все подлинники лучших сочинений французских и немецких писателей, но он покупал, кроме русских книг, и все переводы, печатаемые у Новикова, почему и был с ним в письменных сношениях.

Поговорим об этом человеке.

Н. И. Новиков, двинув умственный ход своего века, перешел и в наше девятнадцатое столетие. Типография Московского университета обязана ему распространением «Московских ведомостей» и по дальнейшим пределам нашего отечества. А учреждение библиотек по губернским городам есть продолжение мысли его. Видя непомерный разгул роскоши, заполонившей свет столичный и исто-

щавшей быт сельский, он решился отвлечь умы современников от рассеяния к размышлению; средством к тому употребил издание книг. Силой чтения ему удалось сблизить различные сословия, а изданием своего «Живописца» он огромлял закоснелое невежество, видевшее еще на челе трудолюбивых земледельцев печать Хамову. Желая удержать подмосковных своих поселян в правилах возможного благонравия, он домашним запасом всего нужного и для одежды, и для обуви, и для орудий полевых предостерегал их от поездок в город, где так часто выработанное в деревне оставалось за попойками. Трудны были переходы его жизни, но он всегда оставался самим собою. Много перенес он, но могучая мысль человека должна всегда пройти через горнило страдания. Семена и плоды зоркой мысли сами высказывают человека. Вот очевидные следы жизни Н. И. Новикова.

Передаю здесь содержание одного письма Новикова к Храповицкому:

«Вы благодарите меня за присылку «Древней русской Вифлиофики»<sup>13</sup>, но замечаете, что бумага не так-то хороша. Всего сделать вдруг нельзя. Я стараюсь особенно в том, чтобы книги пускать как можно дешевле и тем заохотить к чтению все сословия. Вы просите также, чтобы я выслал к вам перевод записок Сюлли<sup>14</sup>, хотя у Вас и есть подлинник. Вы желаете, чтобы соседи Ваши читали этот перевод. Это прекрасное намерение! Правила Сюлли о внутреннем хозяйстве в государстве как будто писаны и для нас. Нивы, луга и пажити питают столицы и города; чем обильнее будут источники сельского хозяйства, тем привольнее будет и везде. Вы поручаете мне также из присланных Вами 50-ти рублей, за уплатою за книги, остальное раздать бедным. Благодарю Вас. У нас в Москве убогие хижины подле великолепных палат сами извещают о своих бедняках; Вы желали быть безгласным в добром деле, я молчал; но души бедных молились за Вас».

## II

Новая жизнь блеснула на родине моей. Екатерина II подарила ее посещением своим. <...> На возвратном пути из Белорусского края Екатерина II, 1781 года 4-го июня, из стен Смоленска, сооруженных тем исполином своего века, который с среды писца перешел на средувельможи и царя<sup>15</sup>, отправилась в село Чижово, на родину другого исполина своего времени, князя Гр. А. Потемкина. В эту поездку пригласила она с собою Румянце-



ва-Задунайского, и мы увидим, что это было не без намерения. Карета императрицы остановилась у ворот скромного дома. Румянцев окинул его быстрым взглядом. Заметя удивление на лице его, Екатерина сказала: «Когда Потемкин устраивал Херсонскую пристань, завистники его разглашали, что он из выданных ему миллионов выстроил какие-то великолепные дворцы на родине своей, а вот его дворец». Румянцев отвечал: «Молва, как морская волна, прошумит и исчезнет; если огорчаться всеми слухами, то придется сидеть сиднем; но и тут не уйдешь от пересудов; одни дела оправдывают нас». Екатерина прибавила: «Я ушенадувателей не любила и не люблю. Клеветали на расточительность князя; неправда и то, что будто бы он писал ко мне, что не хочет и не может слушать с вами; он всегда уважал вас» \*.

В этом доме обращена только была в беседку та баня, в которой родился Потемкин. Заглянув в нее, Екатерина сошла по лестнице к колодцу и пила воду.

Если кому из читателей моих доведется проезжать село Чижово, то он увидит и беседку, и скромный бюст князя Таврического, работы домодевной, и стакан, в который Екатерина почерпнула воду, и лист в рамке за стеклом, свидетельствующий о бытности тут императрицы. В это самое время один из родственников князя Таврического, богатый помещик, полагая, что Екатерина удостоит его своим посещением, заготовил торжественный пир, на который съехались почетные его соседи. Не так случилось. Простой шатер, раскинутый под кровом ясного неба, победил и связи знаменитости, и великолепие роскоши.

Императрица повернула из села Чижова прямо на столбовую дорогу, пролежавшую из Духовщины на Порхов. В деревне нашей Холм была тогда перемена лошадей. По званию капитана-исправника, отец мой устроил свой участок в виде рощи, обсадя обе стороны дороги ветвистыми деревьями. У самой перемены лошадей, близ рощицы, раскинута была довольно обширная палатка, или шатер. Ближайшие наши родные, по повестке отца моего, под предводительством столетнего прадеда моего Григория Андреевича Глинки, со всех сторон спешили для воззрения на Екатерину. Родительница моя, в платье из домашнего изделия приготавливала в палатке сельское угощение. Четыре мои брата и я, в канифасных домотканых камзольчиках, мы кружились около столиков, украшенных цветами, и разбегались глазами по узорчатым тканям, окидывавшим верх и бока шатра. Между тем

---

\* Это я слышал от Я. М. Чекалевского, бывшего письмоводителем у князя Потемкина. (Прим. С. Н. Глинки.)

отец мой сопровождал карету императрицы. День был как будто праздником сельской природы. Яркие лучи полдневного солнца, разливаясь по густым вершинам дерев придорожных, образовывали какой-то светозарный свод, под которым медленно двигалось шествие Екатерины. По одну сторону крестьяне в нарядных одеждах стояли с хлебом-солью, а по другую — крестьянки с различными садовыми и полевыми цветами. Одни простирали руки с сокровищами нив своих, другие усыпали дорогу цветами и зеленью. Гремели хоры родных песен, по мере движения кареты тянулись вереницы хороводные. С очаровательным приветом своим, Екатерина, раскланиваясь во все стороны, часто останавливаясь, спрашивала у радостных поселян:

— Довольны ли вы, друзья мои, вашим капитаном-исправником? — И раздался общий крик:

— Довольны, матушка-царица, довольны! Он нам отец!

Лицо Екатерины сияло удовольствием, весело было и графу Румянцеву, что он мог поставить на своем. И в важных, и в обыкновенных обстоятельствах щекотливое самолюбие домогается взять свое. Императрице хотелось непременно, чтобы граф побывал на родине князя Потемкина, которого если не он, то другие почитали его соперником; а граф Румянцев, у которого некогда служил мой отец, заранее условился с ним, чтобы мимо богатого родственника князя Потемкина завезть к нему императрицу. Видя, что все кипит душевным восторгом, он доложил Екатерине, что капитан-исправник почтет свыше всех наград, если она соблаговолит принять в семействе его сельскую хлеб-соль.

Известно, что Екатерина, преобразовывая Россию по мысли своей, почитала земское начальство первую ступенью к внутреннему благоустройству, почему и отвечала:

— В семействе ревностного капитана-исправника рада быть гостею. Он исполнял мой устав, а я исполню его желание. Его любят добрые земледельцы, на которых я всегда обращала особое внимание, а это и для меня — лучшая награда.

При перемене лошадей граф Румянцев слово от слова пересказал отцу моему отзыв Екатерины. Он записал его, и эту бумажку, которую называл ж и з н и ю ж и з н и с в о е й, носил в ладанке на груди.

Иду от памятника Екатерины на то место, где была почтовая наша станция и где для нее переменяли лошадей. Боже мой, как все преобразовывается от присутствия или отсутствия одного человека! Где жизнь, кипевшая так весело в этом селении? Что теперь там, где останав-

ливалась царица? Убогий приют крестьянина. И что прочно на земле? Где Вавилон великолепный? Где это чудо древнего мира? И оно тлеет под разливом мутных вод Евфрата. Но пока бьется сердце в груди, там живет и память о делах благости. Сажусь под образами у хозяйна избы и начинаю записывать то, что происходило в шатре июня 4-го 1781 года, а он был отсюда в нескольких шагах.

Когда карета остановилась, отец мой в радостном порыве соскочил с лошади и вскричал:

— Матушка-царица, прими от нас нашу сельскую хлеб-соль, наш домашний липец и наши усердные сердца!

— Благодарю, благодарю, — отвечала Екатерина, — усердие сердечное для меня всего дороже.

Тут с быстротою юноши спрыгнул с коня прадед мой и, преклонив колено, воскликнул:

— Матушка! Живи вдвое столько, сколько я прожил на белом свете, и дай бог тебе такую же крепость сил, какую его милосердие даровало мне в преклонные годы.

— А сколько вам лет? — спросила Екатерина.

— Сто лет, матушка-государыня.

Императрица возразила с ласковою улыбкою:

— Нет, мой друг, цари так долго не живут: у них много забот, — сказала и рукою приподняла моего прадеда.

Присутствие Екатерины превратило наш шатер в чертог великолепный; в виде ее ангел милосердия вступил в него. С душевным восхищением мать моя облобызала руку императрицы и подвела к ней нас, пятерых малюток. И теперь еще помню то очаровательное мгновение, когда брат мой Николай (он давно уже умер) резво и смело плясал пред царицею, звонким голосом заводя родную нашу песню: «Юр Юрка на ярмарке». Вижу теперь, как она, нежная мать отечества, посадила его на колени; вижу, как брат играл орденскою ее лентою; слышу, как смело сказал ей:

— Бабушка, дай мне эту звезду!

— Служи, мой друг, — отвечала Екатерина, — служи, милое дитя, и у тебя будут и ленты, и звезды; и тут же собственноручною рукою записала его и меня в кадетский корпус, а старшего брата нашего Василия (его давно нет) — в Пажеский корпус.

Между тем, заметя, что граф Румянцев разговаривал с отцом моим, как с старинным знакомым, императрица спросила, где граф его узнал. Герой Задунайский отвечал, что отец был у него в Молдавии четыре месяца на ординарцах, и потом прибавил:

— В жару Кагульского сражения я послал его к полковнику Озерову с приказом, чтобы он с первым грена-

дерским полком ударил на толпы янычар, которые, нагло ворвавшись из лоцины в каре Племянникова, резали наших кинжалами.

Не робея пред царицею, отец мой от полноты сердечной воскликнул:

— Матушка-государыня, я всем обязан его сиятельству, даже детьми, которых готовлю на службу вашему императорскому величеству.

При этом слове Лев Александрович Нарышкин сказал с живою своею шутливостию:

— Слышите, матушка, что говорит капитан-исправник? Он хвалится, что и детьми своими обязан его сиятельству.

Спохватливый мой отец не ходил в карман за словом и, не запинаясь, возразил:

— Я сущую правду говорю, матушка-государыня. Однажды грустным горемыкою явился я в Молдавии к графу на ординарцы; его сиятельство с отеческою заботою спросил: «Отчего ты так скучен?» Я отвечал, что помолвлен и получил известие, что к невесте моей присватался другой жених. Граф немедленно дал мне домовый отпуск, и по милости его представляю вашему величеству детей моих.

Ликовала Екатерина при этих рассказах; она любила голос сердечный. Приветливо откушала она нашего хлеба-соли, выпила бокал липца за здоровье хозяев «и за здоровье старшины Глинок», — прибавила она, обратясь к прадеду моему.

Граф Румянцев промолвил:

— Не мимо идет пословица, что за богом молитва, за царем служба не пропадает. За ревностную службу родного внука старшины Глинок и вы, государыня, и я ему в долгу. Старооскольского полка секунд-майор Глинка, брат нашего хозяина, был в числе дежурных офицеров у генерал-поручика Ступишина при переходе через Дунай; с неустрашимою быстротою передавал он приказания своего генерала. Он был убит, но и вы, государыня, читали о нем в моем донесении.

Слезы брызнули в глазах прадеда моего. Упав на колени пред Екатериною, он сказал:

— Вели, матушка-царица, и я готов за тебя умереть во всякое время! А теперь дозвожь проводить тебя верст десять.

Граф Румянцев приглашал его в свою коляску.

— Нет, — отвечал он, — я поеду верхом у кареты матушки-царицы, нагляжусь на нее, и у меня спадет с плеч десятка два лет, — сказал и на борзого коня своего взлетел без чужой помощи. А конь, как будто веселя всадника, говоря ломоносовски:

Крутил главой, звучал браздами  
И топал бурными ногами,  
Столетним всадником гордясь,  
А витязь — молодец!

Он был не на коне. В жизни обновленной он летал по поднебесью.

Все то, что относится к этому дню, осталось у нас семейным сокровищем. Доходила ли до половины та бочка, из которой наливался липец для царицы, ее тотчас дополняли, и этот неистощимый липец величали царским липцем. Каждый раз, когда съезжались родные и соседи, и когда речь душевная вызывала воспоминание о великой посетительнице, в бокалах и кубках пирующих друзей кипел царский липец и гремели восклицания: «Да здравствует матушка-царица! Да здравствует матушка Екатерина!»

Вечером того же дня князь Репнин, тогдашний смоленский генерал-губернатор, встречал императрицу, и она сказала ему:

— Угадайте, у кого я была сегодня в гостях?— и не дожидаясь ответа, промолвила:— я была у духовщинского капитан-исправника. Спасибо ему, он понял душу земского учреждения. Он любим поселянами и вполне исправник. Я сказала в «Наказе» моем, что в нашем государстве важнейшая часть—земледелие. Вот почему я приняла все меры, чтобы земское начальство было охранительным щитом земледельцев. Поблагодарите от меня духовщинского капитан-исправника за ревностное исполнение его должности и передайте от меня ему эту золотую табакерку. Я никогда его не забуду. А он пусть привозит в Петербург и кадетов своих, и пажа, записанных мною в корпуса.

Прадед мой, Григорий Александрович Глинка, после свидания с Екатериною жил еще два года и умер ста двух лет. В путешествии своем по Ладожскому озеру Озерецковский<sup>16</sup> говорит, что он видел стариков, которые умирают, костenea. Быв академиком и врачом, он уверяет, что такая смерть есть принадлежность людей, близких к природе. Так умер мой прадед, хотя он был небольшого роста и худощав; но жизнь его, не разъединенная с природою, закалила его рамена крепостью булатною. Без всех диетических мудрований, порожденных роскошью, он прожил век. <...>

### III

Через год после посещения императрицы, то есть 5-го июля 1785 года, в день моего рождения, положено было везти в кадетский корпус меня и брата моего Николая. Но со старшим нашим братом Василием матушка никак не мо-

гла расстаться. Несколько раз благословляла его в путь и несколько раз удерживала; рыдания эти и слезы победили решительность отца нашего. На заре жизни узнал я и слезы разлуки, и горе душевное, и силу той чувствительности, которая так глубоко западает в сердце. Любовь к родине была первою моею любовью, а потому и не могу и не стану описывать разлуку с нею. Отец мой, сопровождавший нас в Петербург, вынес меня на руках из-под благословения матери: я задыхался от слез и рыданий. У конца околицы сельской ожидало меня новое испытание. Никогда не обижал я дворовых ребятишек, любил сам лакомства, но любил и их лакомить. За воротами плетня сутокского выстроились товарищи игр моих и закричали: «Прощайте, прощайте, барин! Дай бог вам здоровья!» Не утерпело сердце, и я выскочил из повозки и бросился прощаться с ними. Силою усадили меня в повозку. Слово «барин» осталось для меня навсегда на последнем рубеже родины моей. С простым именем человека легче переходить туда,

Где каждый человек другому будет равен.  
Это стих Хераскова, а истина вековая. <...>

Вид Петербурга нисколько не поразил меня. Огромные здания были для меня груды камней. Сердце мое было на родине. Часто снились мне холмы, рощи, и сад, и очаровательное село Третьяково. Часто казалось мне, что я гуляю по берегу озера и слышу разливы песни вечернего соловья в кустах. Часто также просыпался я со слезами.

По приезде в Петербург отец представил нас в корпус. Нас принимали как спартанских отроков: раздевали, заставляли бегать и прыгать. Мы выдержали всю эту гимнастику. Старший брат наш Егор был уже во втором возрасте. Мы встретились с ним, как с чужим. И немудрено: привычка сердечная — дело золотое, а этой связи не было между нами. Он жил не долго и умер от чахотки. Не описываю последней моей разлуки с отцом. Грустен, печален был тот вечер, когда пришлось расставаться с домашним платьем, с домашнею рубашкою; в первую ночь я не надел казенной рубашки; я снял с груди благословение матери, осторожно прицепил его над изголовьем так, чтобы оно не прикоснулось к стене длинной спальни нашей. Я сделал это для того, чтобы оно было под домашнею рубашкою, и чтобы на другой день поцеловать на нем неостывшее еще прикосновение родительское. Я поступил в кадетский корпус в тот самый год, когда вышел оттуда граф Бобринский. В бытность его Екатерина нередко посещала сие заведение, а граф Григорий Григорьевич Орлов еще чаще. Обходясь с кадетами, как с детьми своими, они отведывали их пищу и брали с собою кадетский хлеб, го-

воря, что очень, очень хорош; и это сущая правда. Когда императрица прекратила посещения свои в корпус, тогда по воскресным дням, зимою, человек по двадцати малолетних кадет привозили во дворец для различных игр с ее внуками, между прочим, в веревочку. На этих играх не видно было Екатерины, царицы пол-света; в лице ее представлялась только нежная мать, веселящаяся весельем детей своих. В тот вечер, когда довелось мне быть на играх, у шестилетнего товарища моего Фирсова спустился в игре в веревочку чулок и упала подвязка. Императрица посадила его к себе на колени, подвязала чулок и поцеловала Фирсова. Отпуская нас в корпус, Екатерина раздавала нам по фунту конфет и говорила: «Делитесь, дети, делитесь с товарищами своими! Я спрошу у них, когда они ко мне приедут, поделились ли вы с ними».

Накануне отъезда своего из Петербурга отец мой представлен был императрице милостивцем своим Л. А. Нарышкиным. За ним несли огромный поднос с домашними коврижками и несколько бутылок липца. «Примите, всемилостивейшая государыня,— сказал отец мой,— примите нашу сельскую хлеб-соль. Я подношу вам те коврижки, которые вы изволили у нас кушать, и липец, в напоминание вашего посещения названный мною царским липцем. Каждый раз, когда съезжаются ко мне родные гости, мы пьем этот липец и восклицаем в радости душевной: «Да здравствует наша императрица, матушка Екатерина Алексеевна».

Приветливо разговаривая с отцом моим, императрица спросила:

— Здоров ли ваш старик?

— Слава богу,— отвечал он,— он здоров и говорит, что с тех пор, когда удостоился лицеизрения вашего, у него спало с плеч несколько десятков лет.

— Пусть он живет,— примолвила Екатерина,— он патриарх Глинок, а я люблю времена патриархальные.

И тут же спросила:

— Всех ли трех правнуков вашего патриарха ты привез с собою?

— Виноват,— воскликнул мой отец,— виноват, слезы матери выплакали у меня старшего сына, записанного вами в пажи!

— А разве я не мать вам?— спросила императрица с ласковою улыбкою.

— Вы, матушка-царица,— возразил мой отец,— вы общая всем мать!

— Это цель моей жизни,— отвечала Екатерина.

С восторгом и быстрым сердечным порывом отец мой упал на колени, облобызал десницу у благодушной монархини и воскликнул:

— Государыня! Вы общая наша мать и окажите мне новую милость. Вместо моего сына примите старшего сына моего брата, названного в честь нашего патриарха Григорием Андреевичем!

— Согласно, — сказала Екатерина и тут же вручила Льву Александровичу предписание о принятии его в Пажеский корпус.

Когда отец мой откланялся, то Лев Александрович Нарышкин вышел за ним и, потрепав его по плечу, спросил:

— Ну что, Николай Ильич, доволен ли ты приемом государыни?

— Доволен, — отвечал мой отец, — при ней рад жить, а ее не переживу. Если не умер от радости, то умру с тоски.

И он сдержал свое слово. Весть о смерти Екатерины свела его в гроб.

---

Дом кадетского корпуса — дом исторический. Первоначально принадлежал он князю Александру Даниловичу Меншикову. После Полтавской битвы, на которой вместе с Петром I Меншиков решил жребий вторжения в Россию Карла XII в 1709 году, он устроил в этом доме церковь. Здесь было обручение старшей дочери Меншикова Марии Александровны с юным Петром II, и отсюда был Меншиков изгнан, лишен всех почестей и сослан в дальнюю Сибирь на острова Березовы; но там он, так сказать, отыскался в самом себе — и утрату всех блесков заменил именем человека; там, с топором в руках, в крестьянской одежде, забывая славу земную, сооружал церковь во имя божией матери; подле этой церкви похоронил он невесту юного императора и сам сошел в могилу, оплакиваемый оставшимися двумя детьми, для которых он был последней опорой в той России, где некогда был всем, — и умер только христианином. Но он сдержал свое слово; когда потребовали от него знаков его почестей и заслуг, он сказал: «Я знал, что и на это посягнут мои гонители, и заранее уложил их в ящик; возьмите его. Остаюсь с одним крестом на груди — и смирюсь под ним».

Жалеть ли этих честолюбцев, которые в чаду тщеславия не умеют жалеть ни себя, ни других?

Известно, что граф Миних был основателем кадетского корпуса при императрице Анне<sup>17</sup>. Кажется, что судьба Меншикова предостерегала его от порывов властолюбия; но он не остерегся и испытал ссылку в той Сибири, где затмилось столько знаменитостей.



Вначале в кадетский корпус вступали взрослые юноши с познаниями предварительными. В числе их был Румянцев-Задунайский. Известно, что при Анне Иоанновне, в каком-то порыве негодования, он удалился в Пруссию и под знаменами Фридриха довершил свое военное воспитание. Миних научил русских побеждать кареями<sup>18</sup>, а Румянцев отменил рогатки, которыми солдаты наши ограждались для цельной стрельбы<sup>19</sup>. Но в жизни его всего достопамятнее переписка с Екатериною, в которой Екатерина и Румянцев предлагали свои правила к устрашению оттоманской державы, особенно сильной тогда войском янычарским. Румянцев перешел за Дунай только с 13 000 и потому просил усилить его полки. Екатерина отвечала вследствие своих правил, что не может отделить ни одного человека от сохи до окончания полевых работ, почитая первую свою заботою народное продовольствие. Такой переписки не было ни в одной из европейских летописей. Граф Панин, покоривший Бендеры и нанеший удар Пугачеву, князь Прозоровский, образователь легкой конницы; Мелиссино, содействовавший к победам под Ларгою и Кагулом; граф Н. И. Панин, прославившийся в царствование Екатерины таким же подвигом, каким князь Я. Ф. Долгорукий прославился при Петре I<sup>20</sup>, и на поприще государственном неумолимо наблюдавший пользу народную, — все они вышли из кадетского корпуса. Тут же учрежден был первый русский театр. Трагедия «Хорев», сочиненная кадетом Сумароковым, разыграна была товарищами его в корпусе, а потом во дворце императрицы Елизаветы. В то же время учреждалось между кадетами первое общество любителей русской словесности. Председателями его были Сумароков и Херасков. Портреты их и теперь находятся в кадетской зале. Суворов два свои разговора в царстве мертвых<sup>21</sup> (Кортеса с Монтецуемою и Александра с Геростратом) читал в кадетском обществе любителей российской словесности, о чем я слышал от самого Хераскова. Постоянным попечителем кадетского корпуса при других начальниках был И. И. Бецкий.

В нашем энциклопедическом словаре поместили какую-то загадочную родословную Бецкого; смешно чваниться родом и вековыми грамотами с заслугами и без заслуг. Наш холмогорский рыбак-поэт сказал:

Кто родом хвалится, тот хвалится чужим.

Бецкий ничем не хвалился; в чинах и блестящих почестях он вполне был человеком, и скромное поприще жизни своей означал делами полезными человечеству; но и он не избегнул укоризны. Легкомысленные его современники, не постигая цели учреждений, говорили: И. И. Бецкий — человек немецкий; в заведениях его и тени не было немецкого. <4...>

Насмешки бесят мелкую спесь. Бецкий пропускал их мимо ушей. Он служил добру. В почестях и чинах он был силен на одно добро. При Минихе вступали в корпус взрослые юноши. Бецкий, как будто по степеням новой жизни, разделил корпус на 5 возрастов. Каждый возраст состоял из 5 отделений, заключавших в себе по 20 дворян и 5 гимназистов из мещанских детей; первых приготавливали к военной службе, а последних к званию учителей, но в воспитании их не было никакого различия. Кто более успевал в нравственности и науках, тот и получал пальмы наград. Сын мещанина шел наряду с графами и князьями и по достоинству нередко был впереди их. Сближая сословия в общем воспитании, Бецкий желал, так сказать, породнить их навсегда; но это была у т о п и я. Богатство, чины и почетность разделяет все в свете, и на это сердиться нечего; так все размещают или должности или обстоятельства. Каждому возрасту назначался трехгодичный срок. В первый поступали малолетние и постепенно доходили до 5-го. Первый находился под надзором дам или надзирательниц, второй—под наблюдением гувернеров; а у трех последних были военные начальники. И Бецкий умел выбирать надзирательниц, или, лучше сказать, матерей, малолетним питомцам. Они сохраняли здоровье пяти- и шестилетним питомцам. В России, в нашем отечестве, мы, дети, удаленные от родины и родных, жили как будто на чужой стороне; но сердце везде откликается на голос любви, и Бецкий с колыбели нашего воспитания призвал эту душевную любовь. Воспитание юного современного поколения было владычествующею мыслью Бецкого. В половине октября 1788 года он сказал секретарю своему Княжнину:

— Вы, любезный Яков Борисович, отказались для меня от всех лестных предложений А. А. Безбородко; надобно же и мне приготовить вам награду к вашим именинам.

— Награду, — отвечал Княжнин, — вы обижаете меня; вы знаете мой образ мыслей и удостоверены, что лучшею для себя наградою полагаю то, что вы делаете меня участником в исполнении цели полезной и благотворной для нашего отечества.

— Мы, — возразил Бецкий, — идем оба одинаким путем, а потому я и приготовил вам награду, соответственную образу ваших мыслей и расположению вашей души.

Тут, взяв исписанный лист, он подал его Княжнину. Яков Борисович, пробежав быстро обе страницы, сказал:

— Это приглашение в Академию Художеств всех родственников воспитанников Академии.

— То есть ко дню ваших именин; но это будет не торжественный акт, а просто семейное собрание, и вы заготовите на этот случай речь о «достоинстве человека и о личной славе просвещенного художника»; в этот же день будет и выпуск воспитанников, окончивших учение в Академии.

— Этот день, — воскликнул Княжнин, — будет счастливейшим днем во всей моей жизни!

Бецкий подал ему руку и поцеловал его.

Речь и послание к воспитанникам Академии первоначально напечатаны были в «Собеседнике любителей российской словесности». Вот некоторые из них черты: «Частно видимые примеры свидетельствуют о том, что человек, хотя и обогащенный дарами природы, но без воспитания лишенный надежного путеводства; не шествуя, но, так сказать, скитаясь в пустынях света, не умея править собою, падает; и показав, к пущему сожалению сограждан, сколько бы он мог быть полезен, увядает, не оставя по себе ничего, или весьма мало плодов, которые каждый гражданин обязан приносить своему отечеству».

А вот что он говорит в послании своем к воспитанникам Академии Художеств о личном достоинстве художника:

Не думайте, чтобы почтение обрести,  
Нужна бы вам была чинов степенна честь.  
Не занимаясь вовек о рангах спором,  
Рафаэль не бывал коллежским ассесором.  
Животеорящую он кистию одной  
Не меньше славен был, как славеи и герой.

Где был Бецкий, там была и отеческая заботливость и привет сердечный. С каким радушием принимал он нас в день своих именин, с какою ласкою сам угощал нас и с какою нежною внимательностию расспрашивал нас о предметах нашего учения! Бецкий обладал глубокими сведениями в науках и искусствах. Он подал мысль кисти Лосенко изобразить Екатерину сожигающею маки на алтаре любви к отечеству, то есть поставить ее на стражу пользы ее народа. На такой страже был и сам Бецкий. Мысль его неусыпная о благе человечества положила основание Сиротопитательного или Воспитательного дома в Москве.

В старинной Руси, в одном только Новгороде был учрежден приют для безродных младенцев. Ежегодное стечение гостей иноземных из восьмидесяти немецких городов на берега Волхова и реки Великой заносило туда две заразы чумы и своеволие страстей. Первая, известная под названием черной смерти (1352), завезенная из Китая с товарами в Новгород и Псков, долетела оттуда до Москвы, поражала и князей, и бояр, и поселян. Второе зло было постоянное, и предки наши, в предупреждение душегуб-

ства, учредили Сиротопитательный дом в Новгороде. Но в старинной Москве это пособие не было нужно. Статья о тогдашних московских приказах, помещенная Новиковым в «Древней Вифлиофике», свидетельствует, что в то время в нашей столице не было праздношатающих людей, и что в быту семейном соблюдали чистоту нравов. <...> Не то было в новой Москве. Туда залетели вдруг две заразы: моды и толпы слуг, гайдуков, официантов, и все это была молодежь, отторгнутая от сохи и затолпившаяся в домах расточительной почетности и на улицах московских. Мотовство разоряло быт сельский; за Москву страдали села и деревни, а в Москве час от часу более умножалось распутство. Что же оставалось делать Бецкому? Он не был законодателем, но он знал мудрое изречение, изображенное и на корпусной нашей стене, что вся мудрость человеческой политики состоит в том, чтобы предвидеть и предупредить зло. Он предвидел, что от мотовства и неугомонных мод наследственные имущества будут добычею лихоимства и что своеволие страстей будет доводить до того душегубства, за которые Петр I, несмотря на усиленные просьбы супруги своей, подверг виновную смертной казни. А потому Бецкий учредил Воспитательный дом на двух главных основаниях. Во-первых, чтобы спасти несчастных жертв безродных при первом воззрении их на свет. Во-вторых, чтобы пособием ссудным и сохранным сколько возможно предохранить и помещиков и крестьян от неизбежного разорения. Сколько невинных младенцев, отринутых людьми и отданных под покров божий! Вот и родословная грамота Бецкого. 1812-го года горела Москва, гибли в ней от голода целые семейства, а малолетнее отделение Воспитательного дома ограждалось и безопасностью, и всеми привольями жизни. Начальником его был тогда отставной полковник Тутолмин. Полагая, что французы зажигают Москву, он вооружил своих людей и стал с ними на стражу Воспитательного дома. Узнав о том, Наполеон потребовал его к себе. Не зная по-французски, Тутолмин взял с собою переводчика. На вопрос Наполеона, кто сжег Москву, он отвечал: «Французы». — «Ошибаетесь, — возразил Наполеон, — но вы честный и храбрый человек, вас никто не потревожит, Воспитательный дом должен быть под общим покровительством человечества».

Ни один из наших поэтов не славил Бецкого при жизни его. Один только Державин звуками лиры своей почтил его могилу, а архимандрит Анастасий в память его произнес умилительное слово в нашей корпусной церкви; и мы, кадеты, принесли ему в дань благодарности искренние слезы наши. Но если когда-нибудь на берегу Москвы реки, против Воспитательного дома, воздвигнут памятник Бецко-

му, то лучшею для него надписью послужат слова Наполеона: «Воспитательный дом состоит под общим покровительством человечества». <...>

Бросьте взор на различные кружки кадет, составленных из земляков, окликавших друг друга; тут кружок смолян, там — новгородцев, украинцев, саратовцев, сибиряков, словом, там представлялась вся обширная Россия. Мы дышали новым воздухом, мы сошлись с новыми товарищами. Свечка соединила с ними и мысли, и душу, и сердца наши, она породнила нас. Начались детские игры, детское забвение прошедшего, детская беспечность о будущем. Мы думали, что век свекуем в корпусе. Рано познакомились мы с французским языком, но это было действием любви сердечной. Повторяю и здесь, что счастливый выбор Бецкого дал нам в надзирательницах наших вторых матерей. Без книг и перьев их ласковый голос научил нас обыкновенному разговору. Из первых речей, запечатленных в памяти нашей, был сердечный привет Екатерине. <...>

#### IV

*Время проходит,  
Время летит!  
Время проводит  
Все, что не льстит.  
Счастье, забавы,  
Светлость корон,  
Пышность и славы —  
Все только сон.*

*Сумароков*

Быстрыми сновидениями слетали с лица земли и с поприща политического мелкие события и затеи мелкого восемнадцатого столетия и быстрыми шагами, как привидение невидимое, выступал исполинский разгром Франции.

На многих челах померкла светлость корон, для многих пышностей ударял час роковой, час могильный!

Между тем, хотя я жил и не в Аркадии<sup>22</sup>, но беспечность аркадская убаюкивала отроческие мои лета, и в то же время и для меня готовился перелом и поворот в тесном объеме умственной моей области.

А вот по каким степеням шел я, так сказать, от прежнего самого себя к другому себе. <...>

В корпусе служил военным инспектором тот Де Рибас, о котором Суворов говорил, что его и Кутузов не обманет. Каким образом поступил он в числе нужных людей под знамена князя Таврического, об этом будет после, а здесь

упомяну о том, что называли причудами Потемкина, и кто объяснит мне эту загадку?

В прошедшем веке были два друга. Один занимал блистательнейшую среду в отечестве, а другой жил мирным поэтом; но сила дружбы уничтожила неравенство жребия. Поэт ничего не требовал от знаменитого своего друга, ни даров, ни почестей; а князь убежден был, что поэт дорожит одною его душевною взаимностию. Такая дружба была свыше понятий того света, где все движется по отношениям или кружится в вихре рассеянности. Эти два друга были князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический и поэт Василий Петров. С Петровым познакомился я в 1797 году. В это время слава Потемкина промелькнула сном мимолетным. Забыли и бескровное присоединение Крыма к России, и волшебный праздник, данный им Екатерине. Потемкин не делал никакого духовного завещания, но он желал, чтобы в Москве на Никитской, где был скромный деревянный дом отца его, сооружена была церковь.

Наследники, разделив его огромное имущество, не занялись тогда этим делом \* и не упрочили памяти его никаким полезным заведением. И вот какого человека Державин называл исполином<sup>23</sup>, хотевшим возвести Россию на чреду, с которой древний мир колебал вселенную. Потемкин не умирал только для дружбы. Петров оживлял его и лирою своею, и словом. В первое свидание со мною Петров мне говорил: «И вы, конечно, слышали, что Григорий Александрович по какой-то ребяческой прихоти рассылал гонцов по России то за калужским тестом, то за икрою, то за солеными огурцами, и в Париж за модными безделками. У него на посылках были люди умные; на вопросы любопытных, куда и зачем они идут, они отвечали шутками. Князь много читал и умел соображать; но он знал, что от людей сведущих можно иногда заимствовать в один час то, чего в целые месяцы не доищешься в книгах; убежден он был также, что гордостью ни из души, ни из мысли ничего не вызовешь. Я изложил это в послании моем к Екатерине о русском слове. Особенности его посылки были за теми людьми, с которыми ему нужно посоветоваться о том или другом предмете. Приглашая их, он писал: «Если вам досуг, то обяжите меня своим посещением, мне нужно с вами посоветоваться». И при этом всегда означал, о чем надобно ему переговорить. Таким образом каждому можно было надумать и приготовиться дорогою для совещания с князем, и каждый возвращался домой очарованный его разговором и с каким-нибудь подарком

---

\* Завещанный храм окончен был после 1812 года. (Прим. С. Н. Глинки.)

на память свидания. Вот отчего удивлялись разнообразным и основательным сведениям Потемкина». Говорили, что он презирал людей. Неправда, у него была любимая поговорка: люди — все, а деньги — сор. Обращаюсь к Де Рибасу. Он был отправлен с письмом, в котором Бецкий приглашал Потемкина в почетные члены Воспитательного дома.

В ответах своих Бецкому князь Таврический между прочим писал: «Благодарю Вас за сделанную мне честь; но Вы, может быть, и посетуете на меня за то, что я отнял у Вас Де Рибаса. Он нужен здесь для общего дела и для меня». Длинное письмо Бецкого к Потемкину сочинено было Княжниным, и его можно назвать отчетливым историческим очерком всех учреждений Воспитательного дома. А вот как оно досталось мне.

Еще в бытность мою в корпусе ученическим пером чертил я свои записки. Яков Борисович Княжнин читал мою рукопись. Не знаю, что ему в ней понравилось и что показалось смелым, но сказал мне: «По замашке вашей мысли вижу, что вы охотник до наблюдений. Это хорошо. Воспоминание — запас для старости». В первый приход к нам он подарил список своего письма, который поместил я заглавную статью в IV части моих «Русских анекдотов»<sup>24</sup>. Тогда же получил я от него и список французского письма к нему де Рибаса. Оно было вписано у меня вместе с другими статьями в особенной книжке и затерялось в 1812 году. Сколько помню, вот главные его черты: «Вы спрашиваете меня, любезный Яков Борисович, о теперешней моей жизни. Я переселился в мир труда и работы. Баловни Вашего большого света здесь замучились бы от скуки. В Петербурге уверяли, что князь Потемкин убивает здесь время в праздности и роскоши; и он иногда по целым дням лежит полураздетый на диване, грызет ногти и думает. — Если у Вас кто-нибудь спросит: что делает князь? — отвечайте просто: он думает. Но здесь по его мысли все исполняется, и она передает ему все, что делается на Кавказе, в Константинополе и в Париже. Недавно как-то до него дошла весть, что во Франции, несмотря на мирное время, снаряжают новый конный полк. Он тотчас писал туда к нашему посольству, чтобы его известили о причине этого. У него, кажется, на перечете все ряды войск европейских. Слышал я также в Петербурге, что здесь у Потемкина всем распоряжают Попов и Фалеев; это пустая молва. Здесь нет проволочек, которые убивают дела и людей.

Князь думает за Попова, и он может свободно играть в карты. Однажды Потемкин заметил какое-то утомление в лице и сказал: ты, верно, всю ночь напролет проиграл в карты. Береги свои глаза. Когда я умру, ты закупо-ришься в деревне и будешь от скуки всматриваться в зве-

зды небесные \*. Несправедливо судят и о Фалееве: он не только занимается винным откупом в новом краю, но и с чрезвычайно расторопностью содействует к безостановочному продовольствию войск. С чрезвычайным также здравым смыслом говорил он о пользе, которую бы приобрела общая наша промышленность, если бы уничтожены были днепровские пороги, и он об этом так умно и красноречиво рассуждает, что кажется, будто их уже и нет. Говорили и обо мне, что я хитрец, и Суворов, не знаю из-за чего, писал ко мне: «Вы ищете совершенства, но Вы не найдете его ни в себе и ни в ком другом». Суворова, видно, напугала настойчивость моя в поручаемой мне работе. Но я стыдился бы потерять и одну минуту бесполезно. Мое первое желание быть во всем достойным внимания князя. Доверенность к его уму и славе здесь всех одушевляет, зато и о нем можно сказать, что он бы сам все делал, но он любит делиться своей славой и в подвигах других утешается уступкою своей славы».

Вскоре после отъезда Де Рибаса к Потемкину Екатерина посетила Бецкого. Заметив необыкновенную суетливость в той половине дома, где жило семейство Де Рибаса, она спросила: все ли у вас здорово? И услышала, что поехали за повивальною бабкою; она поспешила в спальню жены Де Рибаса и прислуживала ей до приезда бабки. Узнав об этом, Де Рибас писал к императрице: «Как не посвятить все дни свои службе Вашей и как не желать жертвовать жизнью за Вас и за отечество, видя такую беспредельную заботливость Вашу о наших семействах». Екатерина отвечала: «Мое первое удовольствие делать всегда и при всяком случае добро всем и каждому. Радует меня похвальный об Вас отзыв князя Григория Александровича, и я была на крестинах в семействе Вашем».

Был у нас учителем французского языка Д. Х. Стратинович; он перешел в наш корпус из Шклова. Стратинович вышел в отставку майором; где и как он служил, об этом мы не справлялись. Но он сказывал, что был в Риме при том посольстве, которое, представляясь папе, отказалось снять сапоги. Не знаю, почему он особенно был со мною разговорчив. «К французской словесности, — говорил он, — пристрастился я, читая курс Баттё». Но сколько переменилось у нас этих курсов? Тогда и в Московском университете Баттё был законодателем словесности; а те-

---

\* И это сбылось. Во время отставки, живя в поместье своем Решетиловке, Попов занимался астрономическими наблюдениями. Я узнал это 1805-го года в бытность мою в Украине, от Х...ва, с детьми которого я занимался русскою словесностью, и мы посвятили Попову перевод речи Бюффона о природе. (Прим. С. Н. Глинки.)



перь никто его и не читает. А вот что Стратиневич говорил о своем природном греческом языке.

Читая со мною перевод Кострова гомеровой «Илиады», он одобрял некоторые стихи; но, прибавляя он, — душа гомеровой поэзии для нас исчезла; ее можно уподобить картинам Рафаэля и других великих живописцев, с которых время стерло или истребило все оттенки очаровательной кисти, оставя один только абрис. Древние греки чрезвычайно были щекотливы в выговоре своего языка. Известно, каким остроумным пером Аристофан изобразил нравы своего века. Но когда он, по приезде в Афины, покупал у торговки зелень для своего стола, она сказала ему: «Чужеземец, давно ли ты в Афинах?»

Зная, что я кропаю стихи, Стратиневич советовал мне вытверживать на память стихи различного размера из наших поэтов. Но минувший век как будто увлек с собою все тогдашнее стихотворство. Если по нынешним требованиям уничтожить в наших стихотворениях усеченные слоги, то что из них останется? Впрочем, поэзия перешла теперь в непоколебимую положительность, где, однако, она еще скитается в потемках и не находит оседлости. У Д. Х. Стратиневича было свое понятие о свободе: «Прибейте на улице кусок золота, — говорил он, — и если тот прохожий, который явственно его увидит, не захочет оторвать его — он вполне свободен. Я согласен с Ж. Ж. Руссо, — прибавлял Стратиневич, — что прихотливые страсти всегда будут одолевать буквы и слова законоучреждений». Один из просвещеннейших греков полагал, что гражданские общества учреждаются там, где воспитывают всех одинаково, где уравнивают страсти, где закон поощряет добродетель и правосудие и где богатые не презирают бедных.

По смерти графа Ангальта Стратиневич оставил кадетский корпус и был при Павле I в числе цензоров в Москве; но, перестав быть моим учителем, он все еще был наставником. Строго пересматривая и наблюдая мои рукописи и не принимая от меня никаких переводных романов, он одобрил одни только стихи к Хандошкину, при которых был в прозе очерк древней и новой лирической поэзии. Это был первый мой опыт, напечатанный в Москве. Одним только опытам Монтеня посчастливилось в полной жизни переходить из века в век. Во время своего цензorstва Стратиневич жил у друга моего А. А. Тучкова, где я был почти каждое утро и всегда заставлял Стратиневича за чтением «Вифлиофики» Новикова. Чего он там доискивался, не могу сказать. Памятью своею он удивлял и англичан. 1805 года за обедом у английского посланника зашел разговор о каком-то древнем законе; посланник признался, что не припомнит, когда и кем он был издан. Тут

случился Броневский, который в «Петербургском зрителе» Крылова печатал остроумные статьи о русском театре, и он отвечал, что русский его приятель доставит сведение об этом законе. Посол и гости его удивились; и Броневский написал к Стратиновичу записку, чтобы он сообщил, где находится такой-то закон. Ответ немедленно был с показанием издания и статьи. Знание древних и нескольких новых языков тогда еще удивляло; теперь это дело обыкновенное.

Быстро промелькнули для меня три года в первом возрасте; счастливая звезда блеснула надо мною и во втором: любовь и внимание встретил я в надзирателе нашем Леблане. Но об нем поговорю далее, а здесь припомню, что когда вышел в свет отчет Неккера о доходах Франции, то Петр Петрович Фромандье, показывая мне эту книгу, сказал: «Во Франции будет нечто необычайное». В ней действительно приближался политический перелом; настал перелом и в бытии души моей.

При торжественных наших экзаменах присутствовал и старший внук Екатерины<sup>25</sup>. Готовясь к одному из них, сам тогдашний архимандрит корпусный предоставил мне спрашивать о богопознании естественном. Учительский подвиг мой увенчался успехом: я не только не робел, но заранее условился с товарищами вместе с вопросами соединять и ответы, и чтобы они только внимательно вслушались.

Уловка моя вполне удалась. Кончился экзамен; наступил час наград. Совет корпусный за отличие в катехизисе<sup>26</sup>, что присудил мне в подарок! Выслушайте: 1762 год, когда еще не было меня на свете, Харламов, на беду будущей моей жизни, перевел «Житие Клевеланда, побочного сына Кромвеля»<sup>27</sup>. Перевод нестерпим; но десятилетний ребенок думает ли о слоге? Давно сказано, что первая попавшаяся в руки книга, в которую закралась любовь, покажется лучшею книгою. Но в Клевеланде не любовь, а бешенство любви; и эта иступленная страсть из бурного сердца Прево, сочинителя романа, вырывалась кипящею лавою в юное мое сердце.

По совести говорю, что начальники наши были очень доброжелательны. Как же судить о такой опрометчивой несообразности? Вместо ответа приведу рассказ о том, что и очень смысленные люди попадают впросак от неспохватливости в соображениях.

Однажды кавалер Фогар, объяснитель Полибия, слишком расхвастался, будто бы он первый выдумал колонны, то есть столпы или сонмы. Фельдмаршал Кейт, шутя над ним, сказал:

— Неправда, кавалер, неправда, не вы, а Моисей выдумал колонны!

Фогар не спохватился и отвечал:

— Я не знаю этого офицера, в каком он полку служит?

Перевод Клевеланда печатан был в корпусной типографии. Вероятно, переводчик не сполна заплатил, отчего и удержаны были несколько экземпляров. Куда же их деть? Включить в список подарков и для блеска натиснуть золотые орлы на переплетах; а потом при торжественной выключке, сопровождаемой звуками труб, подарить роман Сергею Глинке за прилежание и благонравие. И я, впившись в очаровательные рассказы романа, прежде богатыря нашего века, прежде Наполеона, сроднился с островом Елены, мыслю перелетал за океан и по вершине скалы Еленской гонялся за Фани, героинею романа, и сердце мое превратилось в роман. Я начал влюбляться в призраки. Мечты любви сблизили меня с слезами; горько плакал я, когда в начале 3-ей части романа читал и перечитывал следующие слова:

«Тут пускаясь в беспредельный океан моих злоключений. Начинаю повествование, при котором от плача не могу удержаться и которое, конечно, извлечет слезы у моих читателей». Плакал ли переводчик при этих строках, не знаю; но я плакал и рыдал. Прощай, классное учение, прощайте, карандаши, перья и грифеля!

Мечтательное воображение до того овладело мной, что я заливался слезами от сказки о Бове Королевиче, читая, каким образом девка-чернавка спасла юного королевича от козней и злобы его гонителей; я перестал учиться.

Узнал я, что и на заре жизни, и в лета неопытности голос правоты вступается в сердце человеческом за гонимую невинность.

В этом-то разгроме занятий моих и в этом бурном перевороте души моей приспело время учения грамматики. Как будто бы дикими звуками отзывались в слухе моем склонения и спряжения. Сердце мое склонялось к мечтам и спрягалось с мечтами; разлив моего воображения час от часу усиливался.

В зимние вечера, когда вой метели и треск морозов сгонял нас со двора, кружок товарищей усаживался около меня для слушания сказок, собственных моих вымыслов. Услыша призывный звонок к ужину, я говорил: «Ну, братцы, помните, на чем я остановился», — и на другой вечер пускался в даль небылиц моих.

Распаленному воображению моему часто мечтались по ночам, наяву и во сне бог знает какие призраки и привидения!

С переменою души моей все во мне переменилось. Сказано в первой части, что я был пролаза-рукодельник и неугомонный торгаш<sup>28</sup>; мечты угомонили и плутни, и руко-

делье мое. Я бросил и карандаши, и краски, и бумагу, и все классные наши сокровища; я попрал их ногами, как в вольтеровой Эльдораде<sup>29</sup> попирали изумруды, яхонты и все вещественно-блестящее, приурочиваемое славным Линнеем к царству дикой природы. Словом, ничто вещественное меня не льстило; крайне также я стал небрежен в одежде. За плутни прослыл я Багдадским купцом, а за нерящество — разгильдяем.

Между тем, когда разгуливал в лабиринте романтизма, умер генерал Пурпур, начальник корпуса под ведением Бецкого; для него семейство его и кадеты были одно. Лицо его было отражением его кроткой и безмятежной души. Страсти бурные не бороздили ни чела его, ни ланит. Не заглядывая в пути окольные, он открытым сердцем служил Екатерине и действовал по мысли и сердцу Бецкого. К нему можно применить то, что добрый Лафонтен сказал о смерти мудрого: смерть его была тихим вечером дня ясного.

На место его поступил граф де Бальмен, сановитый и умный. В это время в русских полках военные люди составляли два разряда: одни были приверженцами графа Задунайского, а другие — князя Таврического. Граф де Бальмен был привержен к последнему. Один из сыновей графа де Бальмен был впоследствии в числе хранителей \* генерала Бонапарта на острове св. Елены и женился на дочери английского наместника острова. Он рассказывал мне, что однажды Наполеон отправлял во Францию запечатанное письмо, в котором просил о присылке ему белья. Требовали вскрытия печати; Наполеон отвечал: «Лишусь последней рубашки, но не соглашусь на рабское условие». Получа тайком локон сыновних волос, Наполеон целовал его и орошал слезами.

При графе де Бальмен было грозное восстание старших кадет против офицеров. В то же время геркулесами-забияками того же старшего возраста избит был и изувечен кадет Михаил Иванович Полетика. Его гнали в корпусе за то, за что Анаксагор гоним был в Афинах: его называли философом или умозрителем. Зависть и сила придираются и в тесном объеме, и на обширном театре света. К счастью, Михаил Иванович выздоровел и служил сперва в канцелярии графа П. А. Зубова, а потом был секретарем императрицы Марии Феодоровны. На пятнадцатом году жизни он читал наизусть почти всего Руссова «Эмиля». <...>

Не могу сказать, почему граф де Бальмен, как будто мелькнув в стенах корпуса, отправился или в Крым, или

---

\* Секретарей. (Прим. С. Н. Глинки.)

на Кубань. Преемником чреды его был Федор Евстафьевич Ангальт.

В корпусе началась новая жизнь. С графом Ангальтом вступил в него и начальник, и отец, и наставник. Он один желал бы заменить всех, если бы можно было; но зато все шло по следам его в нежной заботливости о кадетях; дела его доказывают истину этих слов. Не знаю, принадлежал ли он к поколению того Ангальта, который с властелином обширных стран европейских и областей заокеанских, с Карлом V от имени князей имперских заключал условия; но известно, что он был родственником Екатерины и ее генерал-адъютантом. Наружность графа Ангальта была: рост высокий и стройный, прическа короля прусского; зеленый мундир с простыми обшлагами, белые суконные панталоны, ботфорты об одной шпоре. А отчего? Оттого, что в Семилетнюю войну, спеша к королю, граф не успел надеть другой. «А за это, — говорил он, — я сам наказал себя, чтобы помнить, что надобно всегда быть готовым на свое дело». Кроткая его душа светилась во всех чертах лица его; проглядывал в них и ум Фридриха II, страстно им любимого.

По катонскому владычеству над собой<sup>30</sup> он даже не употреблял и носового платка. Но он строг был только к себе.

Я изобразил это в надписи к его портрету. Вот она:

Как нежный он отец,  
Кадет всегда любя,  
Был Титом для других<sup>31</sup>,  
Катоном для себя.

Никогда туманная черта не налегала на лицо его, а я видел его почти каждый день, а иногда и по два раза. Известно только об одной его ссоре с князем Таврическим. Он вызвал его на поединок, а где? — не могу сказать утвердительно. Задунайский был его героем, он первый передал нам имя его. «Запишите, — говорил он, — запишите имя графа Румянцева и в тетрадах ваших, и в памяти, и в сердцах. Он был кадетом, пусть будет он Фаросом вашим на путях военной вашей службы<sup>32</sup>. Фридрих II любил и уважал его, хотя он и взял Кольберг. Герои уважают героев». Сердце графа Ангальта всегда жило в стенах корпуса, хотя граф Ангальт жил за Невую, в доме графа Г. Г. Орлова, тем только известного, что отважился ехать в Москву, где бродила по стогнам городским чумная смерть<sup>33</sup>. Но, несмотря на свист бури ноябрьской и напор льда от Ладоги, он спешил в корпус. Дневальный у Невы говорил: «Нельзя». Граф показывает свою генерал-адъютантскую трость

и возражает: «Можно». Настилают доски, и он первый переходит по зыблущейся поверхности льда. Вот он уже в корпусной зале кадетской; вот он и в торопливом кружке кадет, и говорит: «Дети мои, любезные дети! товарищи, любезные товарищи! Еду к вам, выхожу из кареты, спускаюсь на Неву; меня останавливают, говорят: «Темно!» Приказываю принести фонарь; говорят: «Лед чуть стал!» Приказываю настилать доски, и я у вас, я с вами. Воеет ветер, знобит мороз, но мне не холодно. Любовь все согревает, труд побеждается трудом. Для вас мне все легко. В мире вещественном нет света без тени; в мире нравственном наши обязанности — наше солнце; при блеске его лучей мы идем с душою чуждою гордости; а если бы и встретилась тень, то скромность ее отдалит. Одушевляйтесь величием сих нравственных обязанностей, знайте их, понимайте; выражайте их делами, сердцем, умом. Исполни и малютка равны перед богом. Тигры, хотя и тигры, но хранят мир заветный. Обильный источник обтекает сердце человеческое; черпайте из него. Предусматривайте, предупреждайте. Слово начинает, пример довершает. Солнце светит не для себя, но для вселенной. Все дружбою, все для дружбы и везде дружбою. Заниматься науками и не любить человечества все то же, что зажечь свечу и зажмуриться. Безумец на высокой чреде подобен человеку, стоящему на вершине высокой горы. Все кажутся ему оттуда карликами, а он сам карлик. Чваниться порокою предков значит дорываться плодов в корнях, забыв, что они растут на ветвях цветущих, а не во мраке подземельном. Зажигательное стекло воспламеняется огнем небесным; добродетель и просвещение — светильники жизни. Убедитесь, дети мои, в этой мысли. Добрая воля — душа труда. Не расточайте времени, оно — ткань жизни.

Courage, le coeur à l'ouvrage, courage!» \* Страх есть глупость; я люблю русскую поговорку: небось (не бойся). Достоинство, а не порода, не богатство, не стелени блистательные составляют человека; прах, поднимаемый ветром, все прах, а алмаз и в пыли не теряет цены своей. Истинная слава — подруга истинного достоинства. Товарищи, любезные товарищи! Воспитание — нежная мать. Оно усеивает цветами путь учения. Идите за мною этим путем. Мне приятно, мне сладко делиться с вами мыслию, душою, сердцем. Вы в мысли, вы в душе, вы в сердце моем». Так начинал и так оканчивал речи свои граф Федор Евстафьевич Ангалт, и это все изображено на корпусной садовой стене, названной графом г о в о р я щ е ю с т е н о ю.

---

\* Смелее, пусть трудится сердце! (фр.)

*Радужным лучом яснеет жизнь отрока, лелеемого заботливым руководством отца. Счастлив сей отрок; он растет и стареется среди благ наследственных, под родным небосклоном.*

*«Одиссея», песнь 1.*

Петр Петрович Фромандье, инспектор наш, позвал в комнаты свои меня и брата моего Николая.

— Вот приезжий из Смоленска, — сказал Фромандье, — он хорошо знаком с батюшкой и матушкой вашей.

Мы спросили, здоровы ли наши родители.

— Здоровы, — отвечал он, — и прислали вам письмо и гостинец.

Мы взяли письмо и стали читать. Тут ручьи слез брызнули из глаз отца нашего, и мы, бросясь в объятия нашего родителя, плакали и кричали: «Батюшка! Батюшка!»

Припомню здесь и то, что было тогда в родном моем городе Смоленске, 1797 года; Екатерина вторично посетила его. Князь Таврический был сделан в то время главным начальником войск и флота. Граф Румянцев возвратился тогда к войску и как будто собственною волею своей если не подчинился Потемкину, то во всем с ним советовался. За эту скромность Державин назвал его Камиллом<sup>34</sup>. Вместе с Потемкиным возвысилось и дворянство смоленское. Три брата Храповицкие были главными его членами. Старший, Платон Юрьевич, был губернатором, Иван был вице-губернатором, а младший, полковник Степан Юрьевич, с которым я познакомил уже читателей моих, был совестным судьей и приветствовал императрицу следующей речью: «По духу учреждений ваших о губерниях смоленское дворянство избрало меня в совестные судьи. Вы, всемилостивейшая государыня, вы первая из царей земных оказали явную доверенность к совести человеческой. Сей подвиг увековечит имя ваше на трудном поприще законодателей народов. Но пред лицом вашим признаюсь откровенно, что я весьма затруднялся в начале моих действий. По новости необычайного вашего узаконения иным казалось, что кто по совестному суду признает свой иск и свое дело несправедливым, тот виновен и против совести. По возможности разумения моего, я стараюсь убедить тяжущихся, что сила вашего узаконения состоит в том, чтобы совесть была сама себе судьей и, в случае недоумения, помогла

бы собственным своим сознанием. Затруднялся я и с другой стороны. Получа воспитание в кадетском корпусе и находясь потом в военной службе, я не мог заняться изучением законов, которые также требуют вашего правила о совестном суде. При первом шаге моем в новую должность, я посвятил себя сему учению и чего не мог сообразить сам, о том всегда советовался с людьми опытными. Величайшею для себя наградою почитаю то, что пред лицом вашим и в присутствии всего дворянства могу сказать, что доселе никто не жаловался на совестный суд». — «Благодарю вас, — отвечала Екатерина, — вы поняли мысль мою узаконения и исполняете его».

Между тем, императрица, узнав, что пред приездом ее у совестного судьи родился сын, сама вызвалась быть приемницею его от купели и сказала губернатору: «Я слышала, что у него домашнее училище для бедных дворян, и желаю его видеть. Пусть он едет к себе; завтра в двенадцатом часу буду у него: но пусть он по совести оставит все так, как у него идет изо дня в день, а не делает никаких приготовлений. Из этого можно что-нибудь заключить, а из приготовлений увидишь только, что тебя ждали». Так все и было. От купели Екатерина посетила учебную комнату. Урок был русской истории из «Записок касательно русской истории», сочиненных Екатериною и напечатанных в «Собеседнике». Она улыбнулась и сказала: «Ну, где же совесть?» Хозяин отвечал: «Вот роспись нашим учебным дням и часам». — «Итак, это счастливый день для сочинительницы», — промолвила Екатерина. Храповицкий представил ей тетрадь русской истории, где, сообразно с ее повествованием о каждом русском князе, прибавлены были подробности о современных им чужеземных владельцах. Екатерина осталась очень довольна и пожелала, чтобы и другие достаточные помещики для пользы бедных подражали его примеру. <...>

Так было в свете, а в корпусе все шло своим чередом. Я сказал выше, что в затворнических стенах его был и театр. В нем явилась вольтерова трагедия «Брут». В это время наступил мне одиннадцатый год; я узнал тогда и скалу Тарпейскую<sup>35</sup>, — дочь-изменница Тарпея пала под грудой золотых щитов; и узнал пресловутую Капитолию, представительницу Рима, провозглашенного городом вечным. Узнал сенат римский, который показался послу неугомонного Пирра сеймом царей, словом, ознакомился с летописями римскими и как будто переселился в древний Рим.

Первые лица в трагедиях представляли с жаром, выражением и душою: Черныш, близкий по уму и сердцу графу Безбородке; Владислав Александрович Озеров, пе-



реселивший в память и душу свою театр Корнеля, Расина и Вольтера, изучивший французских трагиков и подражавший им в «Эдипе», «Поликсене»; П. С. Железнов, переводчик «Телемака» и некоторых произведений итальянской словесности. Екатерина призвала итальянских виртуозов и поручила им хор придворных певчих. Она слышала за это упреки от своих современников и говорила: «Есть люди, которые упрекают меня в пристрастии к иностранным виртуозам. Это неправда. Я выписываю их не для себя, а для тех, которые влюблены в итальянскую музыку; они точно так же промотались бы на виртуозов, как сохнут труды земледельцев на безделки заграничные. Природа не дает человеку всех способностей, она не наделила слух мой способностью чувствовать очарование и прелесть музыки. Может быть, от того, что это льстит моему самолюбию, я, как сочинительница, люблю в операх моих русские напевы». <...>

Екатерина все оживляла, всему давала ход. Все наши любители театра корпусного отличались счастливыми способностями ума, все они пламенели живою чувствительностью и прежде времени сошли с поприща жизни. Железников умер очень молод, он был страстный любитель Расина и Фенелона, Тасса и Петрарки. Черныш был в чужих краях, обещал блистательного дипломата, но пылкие страсти увлекли его, и <он> исчез в буре страстей года через четыре по выходе из корпуса. Озеров, вызвавший на театр и шотландского барда Оссиана, и слепца Эдипа, и героя Донского<sup>36</sup>, в живых как будто сошел в могилу<sup>37</sup> или от волнения собственного воображения, или от стрел зависти, неразлучной тени, следующей за достоинством и дарованием. Чудное воспитание! Первый шаг на поприще деятельности общественной был первым шагом к унынию или гробу. Голос добродетелей Древнего Рима, голос Цинциннатов и Катонов громко откликнулся в пылких и юных душах кадет. Область воображения не может быть пустынею. Были у нас свои Катоны, были подражатели доблестей древних греков, были свои Филопомены. Был у нас Катон-Гине, поступивший из кадет в корпусные офицеры и в учителя математики. Если бы он был на месте Регула, то, вероятно, и ему довелось бы проситься из стана ратного у сената римского распахать и обрабатывать ниву свою. Кроме жалованья не было у него ничего; но был у него брат, ценимый им свыше всех сокровищ. Взаимная их любовь как будто бы осуществила Кастора и Поллукса<sup>38</sup>. Но это герои баснословные. На поприще исторической любви братской Гине стал наряду с Катонем Старшим, который на три предложенные ему вопроса: кто лучший друг? — отвечал, брат, брат и брат. Брат нашего Катона-офицера служил в Кронштадте и опасно

занемог. Весть о болезни брата поразила нашего Катона-Гине.

Свирепствовали трескучие крещенские морозы. Залив крепко смирился под ледяным помостом. Саней не на что было нанять, но была душа, двигавшая и ноги, и сердце, и Гине отправился к брату пешком, в одних сапогах и даже без чулок. Можно было взять у кого-либо теплые сапоги или деньги? Но что такое просить? Одолжиться. Древний римлянин терпел, а не просил. С небольшим в полтора суток Гине перешел залив, навестил, обнял брата и возвратился в корпус к назначенному дню дежурства. Хотя и оказались признаки горячки, хотя и уговаривали его отдохнуть и вызывались отдежурить за него, он отвечал: «Не изменю должности моей». Отдежурил и слег в постель, в бреду жестокой горячки видел непрестанно брата, говорил с ним и с именем его испустил последнее дыхание. <...>

Заметят, может быть, что граф Ангальт, очаровывая нас Римом и Грециею, отдалял нас от отечества. Этого не было. Едва ли кто из иностранцев ездил столько по России, сколько он. Тогда русская история была у нас еще в младенчестве; но мы вычитывали историю о русском народе из примеров и слов графа Ангальта. Он чрезвычайно любил и уважал русский народ; он всегда хвалил его умную во всем спохватливость и отважность духа. У нас и в отделениях, и в классах, и в увеселительной зале были сторожами отставные русские унтер-офицеры и сержанты; мы каждый день видели, как ласково граф обращался с ними. Нередко, приезжая в корпус часу в пятом по утру, он заставал в зале одного дневального, старого служивого, и расхаживал с ним рука об руку, и, хотя с трудом, но усиливался говорить по-русски. Гвардейские караулы во дворце всегда радовались его дежурству. Обходя ряды, приветливо он со всеми разговаривал. Однажды он спросил у одного рядового:

— Женат ли ты?

— Холост, ваше сиятельство! — отвечал рядовой.

Не поняв этого слова, граф прибавил:

— А много ли у тебя детей?

— Шесть человек! — сказал спохватливый рядовой.

Граф дал ему пятьдесят рублей. Отыскав дома в словаре, что холост значит неженатый, граф по приезде в корпус говорил нам:

— Любезные дети, я вчера заплатил за невежество мое 50 рублей, и очень рад. Старшего Катона упрекали за то, что он на восьмидесятом году принялся за греческую азбуку; он отвечал: «Лучше быть старым учеником, неже-

ли быть старым невеждою». Я не только не стыжусь быть учеником в русском языке, но почитаю это учение украшением моей памяти. Укрепляйте сколько возможно вашу память: без нее слабы все другие способности ума. Вот почему древние называли муз богинями памяти. Фридрих II затверживал каждый день по двадцати или десяти стихов. Подражайте его примеру. Тело требует своей пищи, а ум — своей. Огонь гаснет, если под него что-нибудь не положат; гаснет душа, если мысль дремлет в праздности. От праздности до порока один шаг. Мне нравятся русские пословицы: «Век живи, век учись» и «Без труда нет плода». «Вы в корпусе учётесь, а вышед из него доучивайтесь».

Сюрвиль, сочинитель французских хоров, был и наставник наш в декламации. В «Мизантропе» Мольера он был истинным мизантропом, но отличался самым кротким нравом. Авторская неудачная попытка заставила его оставить Францию. «В молодости моей, — говорил он, — сочинил я роман и думал, что слава о нем прошумит везде; прихожу однажды к знакомому моему маркизу N и что же? — вижу, что роман мой превращен в папильотки! Самолюбие мое раздражилось, и я уехал в Россию». Печален был последний год жизни умного и доброго Сюрвиля. Он мучился жестокою простудою в руках и бедностью. Любя Сюрвиля, мы часто навещали его и, видя его нужды, спрашивали, для чего он не просит помощи? Ответ его всегда был одинакий: «Я не протягивал для милости здоровой руки, не протяну и больной».

Между тем, бог знает, куда бы увлекла меня не историческая, а романтическая моя мечтательность, если бы не остановил меня умный и опытный гувернер наш Леблан. Казалось, что он в одно время жил и в России и во Франции. Каждую неделю списывал он по несколько листов очень красивым почерком и отправлял на родину. Но это заочное сношение с заграничными друзьями не отдаляло его сердце от кадет. <...>

«Ни пылкое воображение — говорил Леблан, — ни счастливая память ни к чему не поведут, если рассудок не управляет ими. Воображение увлекает нас в область мечты, а память, поглощая чужое, обременяет ум, не сопровождаемый соображением, то есть свитильником рассудка. Цицерону однажды сказали, что один из граждан римских вытвердил наизусть все его речи. Римский оратор равнодушно отвечал: «Он знает, что я знаю, а я хотел бы занять у него то, чего я не знаю». Это врезалось у меня в памяти, и, как увидим впоследствии, послужило к большой пользе. <...>

*Les seules conquêtes durables  
Sont celles qu'on fait sur les cœurs.*

*(Ode de J. B. Rousseau au prince Eugène)\**

В корпусном странствовании моем наступил третий переход из возраста в возраст. В первом расставался я с гувернантшею, во втором расставался с гувернером. Тяжелая скорбь налегла на сердце мое при этом переходе. Добрый Леблан по праву заботливых попечений своих стал родным моего сердца и родным моих мыслей. Он ознакомил глаза мои с новыми понятиями. Говоря словами Ксенофонта, «он воздвиг в сердце моем живой памятник любви радушным вниманием своим». Победы, одерживаемые любовью, остаются в душе ее до перелета ее с земли за все земное.

Победа первая — победа над сердцами.

<...> Выше сказано было, что я сочинял записки со времени вступления моего в корпус, домогаясь доказать, что ни в одной из европейских областей нет узаконенного воспитания. Некоторые из моих наставников называли мои записки дерзкими; Яков Борисович Княжнин назвал их отважными, и я бросил их в огонь. Юность моя летела от мечты к мечте. К обширному залу нашему прилежала комната, где находилась наша отдельная библиотека, а я был библиотекарем. В то время мучила меня страсть к чтению; я читал все, что ни попадалось мне в руки, читал, чтобы только читать. На беду кровать моя была у ночника, а потому я зачитывался и ночью. От двухлетней сидячей жизни и от напряжения мыслей казалось, что я впал в какую-то чахотку или сухотку. Страшно болела у меня грудь, слышно было в ней непрерывное хрипение, и от неугомонного чтения на меня находил столбняк. Иногда стою неподвижно в глубокой думе час и более. Меня расталкивают, колотят в спину, ничего не слышу, ничего не чувствую. <...>

Лейбница называют живою библиотекою; таким был и граф Ангальт. Трудно решить, чему в нем более удивляться: различным ли глубоким познаниям или скромности. Граф был первым наставником и прилежным учеником в русском слове. <...>

Граф отдавал нам отчет в своих успехах в русском языке и говорил: «Я экзаменую вас, мои добрые дети, эк-

\* Победа первая — победа над сердцами. (Ода Ж. Б. Руссо принцу Евгению) (фр.).

заменяйте и вы меня в очередь свою. И, занимаясь с нами, он занимался и будущемо нашею судьбою. Вот слова его: <...> «Вот мысли, мои любезные друзья, которые требуют, чтобы их записать; повторите их, мои добрые дети, вашим детям, и скажите им от меня, чтобы они передавали их своим детям. <...> Постоянство может идти медленно, но оно никогда не прерывает начатого им труда и производит, наконец, великие дела. Приносите каждый день по корзинке земли, и вы, наконец, составите гору».

Об употреблении времени он говорил: «Пусть каждый из вас себе скажет, что хорошее или худое употребление времени, данного нам, делает нашу жизнь очень счастливою или очень несчастною. К верному употреблению этого драгоценного времени желаю всею душою пригласить вас тремя следующими рассуждениями: касательно прошедшего времени—мы много его потеряли; первое рассуждение. Касательно настоящего, которым обладаем мы—оно быстро мчится; второе рассуждение. Касательно времени, как остающегося нам—оно очень не верно и сомнительно; третье рассуждение».

Эту мысль Я. Б. Княжнин, по поручению графа Ангальта, развил и изложил в речи своей, читанной им в присутствии графа и собрания кадет. В заключение Княжнин сказал: «Полезного употребления времени, которого ущерб ничто не может заменить, требует от вашей чувствительности сердце доброе, нежное и к вам истинно отеческое нашего начальника, здесь присутствующего. Не растерзайте его употреблением во зло вашего времени, чтобы он, видя вас во все течение жизни вашей, какими видеть уповает, с восторгом и гордостью сказал: «Вот мои дети!»

Между тем, когда у нас в корпусе шли обыкновенные занятия и рассуждали о полезном употреблении времени, для Европы ударил роковой час<sup>39</sup>.—С 1789 года поколебались вековые основания ее областей. Все предположения и соображения знаменитых ее политиков исчезли. Вчера почитали они себя распорядителями европейского мира, а проснувшись, увидали, что им надо приняться за новую азбуку. То же случилось и с Екатериною II. Сперва революция французская казалась ей обыкновенным порывом беспорядка общественного; но потом и она призналась, что ей пришлось закрыть все книги и ожидать, что выйдет из этой бури. За несколько лет пред тем она писала Бюффону: «Вы не досказали нам историю человека». Бюффон радовался, что Екатерина указала ему на то, что ускользнуло от наблюдения целой французской академии наук. Но замечание Екатерины касалось только естественной истории; а летописи всемирные, действительно не представляли еще такого человека, в лице которого совершилась бы тогда судьба Европы и ее народов. Этот человек был На-

полеон. Но и события, соединенные с ним, кажутся теперь мифом и баснею. И это неудивительно. Если бы кто-нибудь упал с вершины высокой горы и остался бы жив, он в первые мгновения изумился бы, но потом, оправившись, возвратился бы к прежним своим занятиям. Так случилось и с поколением XIX века после необычайных событий. Граф Ангальт не говорил нам ни о каких отдаленных причинах переворота европейского мира, но, чтобы ознакомить нас с тогдашними обстоятельствами, учредил в нашем зале новый стол со всеми повременными заграничными известиями. В корпусе, а не по выходе из него, узнал я о всех лицах, действовавших тогда на обширном европейском театре. На том же столе помещены были ежемесячные русские издания: «Зритель»<sup>40</sup> Крылова, «Меркурий»<sup>41</sup> Клушина, «Академические известия»<sup>42</sup> и «Московский журнал»<sup>43</sup> Карамзина. Помню, что во всех тогдашних наших срочных изданиях особенно вооружались против козней ябеды и заразы роскоши и мод, истощавших быт сельский, а о политической буре европейской в них не было и помину; она как будто и не существовала для России. <...>

## VII

*Expliquer l'homme c'est le faire aimer, c'est rattacher  
l'étude de la vie d'un homme à l'étude du coeur humain et de faire  
de l'histoire d'un  
individu un chapitre de l'histoire de l'humanité\*.*

В лучах мирных и сердечных побед 1791 года, января 14, сошел с поприща русской словесности и человечества Яков Борисович Княжнин, наставник словесности в Кадетском корпусе.

Яков Борисович Княжнин родился 1744 года в стенах древнего Пскова, на берегах реки Великой.

От зари жизни до пятнадцати лет он одушевлялся советами и примером своего отца-наставника, а потом на берегах Невы обогащал себя новыми познаниями у Модераха, тогдашнего профессора академии наук. Ум его свыкался с науками, а душа питалась и расцветала поэзией. Час от часу более юный Княжнин сроднялся с Метастазием, Расином, Галлером и Геснером. Два первые поэта пролагали ему поприще драматическое, а Галлер, певец гор альпийских, и Геснер, Феокрит Швейцарии, пробудили в нем тихую мечтательность. Воображение Княжнина любило ви-

---

\* Объяснить человека — значит научить его любить, значит побудить его постигать жизнь человека через познание его сердца, видя в истории отдельной личности историю всего человечества (фр.).

тать по заоблачным вершинам альпийским и романтическим долинам отечества Вильгельма Телля. «Если б я не родился в России, — говорил он, — то желал бы, чтобы Швейцария была моею колыбелью». <...>

Не доверяя одному влечению природных способностей, Княжнин приготавливался к поприщу словесности и терпеливым трудом, о чем свидетельствуют переведенные им так называемыми белыми стихами трагедии Корнеля и вольтерова «Генриада». Жаль, что на последний труд потерял он время, чернила и бумагу. В «Генриаде» есть прекрасные стихи, но нет искры жизни поэтической.

С знанием нескольких европейских языков поступил Княжнин в иностранную коллегия, где от юнкера до переводчика был для него один шаг.

Давным-давно сказано, что пути пылкой юности так же непостижимы, как размашистый орлиный полет в долинах воздушных и как следы корабля, рассекающего валы морские: вскипят, исчезнут и снова запенятся. Кипела и юность нашего поэта. Неудивительно: такова судьба души пылкой и порывистой.

С поприща дипломатического судьба перевела Княжнина в новый мир. Фельдмаршал Разумовский, любя ловкого, расторопного юношу-красавца, переманил его под знамена военные, куда и поступил он в чине капитана. Мир очарований раскинулся перед его глазами. Все лелеяло его: он капитан почетный, он причислен к дежурным генералам. Сама Терпсихора<sup>44</sup> учила его тому, что теперь называют грациозностию. А в этой грациозности он не уступал в стройных танцах славному Пику, корифею театральных балетов в царствование Екатерины, и который вместе с князем Потемкиным устраивал танцы на волшебном празднике, данном императрице в чертогах таврических.

Мудрено ли, что при таких блестящих достоинствах Княжнин беспрестанно переходил с почетного дежурства на вечер, с вечера на бал, с бала на маскарад? Плывя тем берегом, где, напевая очаровательные песни, коварные сирены заманивали в смертные сети, Улисс приказал себя крепко-накрепко привязать к мачте, но и тут едва устоял от восхитительных напевов; а Улисс был омиров мудрец: где же юноше устоять против напевов обольстительного мира? Попал и наш поэт в тот круг, где, говоря его собственными словами, —

Фортуна в выборах слепая,  
Бумагою судьбу метая,  
Невинных яростно разит:  
Игрою скрыз приманки льстиры,  
Как Сфинкс, опустошивший Фивы,  
Гаданьем к гибели ведет.

Княжнин, на беду свою, очень твердо знал математику, а потому и в ставке карт пустился в гадательные исчисления. Он не знал тогда, что в руках банкмета готов громовой отвод против всех гаданий понтера <sup>45</sup>.

Само собою разумеется, что при таких обстоятельствах кануло в бездну кое-что из родового наследства игрока-поэта; но из груди его не выпала ни одна искра прекрасной его души. Все в ней уцелело. А разительным этому доказательством служит то, что в этот бурный разгул страстей он сочинил первую свою трагедию — «Дидону». Он читал ее Екатерине. Императрица одобрила ее и желала видеть на театре \*. В честь ее гремели рукоплескания в обеих столицах; на петербургском театре Екатерина увенчала первый опыт нового трагика своим присутствием; но скромность Княжнина была выше всех искушений самолюбия, часто и невольного. Один из его знакомых, по окончании трагедии, побежав к нему, вслух закричал:

— Яков Борисович — наш Расин.

— Молчи! — возразил шепотом Княжнин, — молчи, братец, а не то если подслушают такую ложь, то тебе ни в чем не станут верить.

Княжнин ни слова не говорил о Шекспире; Сумароков знал английского поэта и голландского трагика Фонделя и Лопе де Вега, и не шел по следам Шекспира даже и в «Гамлете». Он был строгим наблюдателем трех аристотелевых единств: времени, места и действия. И Княжнин подражал ему в этом. В творениях ума человеческого существует одно только единство — единство мысли. Дивный Шекспир угадал эту тайну и, раскинув мысль на всю вселенную, движет видимую природу и олицетворяет страсти человеческие. Есть легенда, что один какой-то отшельник тысячу лет прослушал пение райской птички, и ему этот ряд десяти веков показался одним днем, одним часом, одним мгновением. Таким очарованием дышат и шекспировы трагедии. У него годы превращаются в часы, и он прав: в театр ходят не исчислять, а забывать время. Но Сумароков и Княжнин надеялись на другое очарование. Давно сказано: «Голос любви — голос сердца, восхитительная гармония душевная». И они были правы. У лиц, действовавших в их трагедиях, был душевный голос, заменявший все подстановки того, что теперь называют театром на театре. Вот что говорит Княжнин о силе душевного в послании к Грациям:

---

\* В другой редакции «Записок» С. Н. Глинки <sup>46</sup> читаем: «Княжнин отвечал: «Не могу этого сделать, я должен сперва представить ее А. П. Сумарокову, основателю русского театра, и узнать его мнение». Екатерина похвалила скромность его, и он с трагедией своей отправился в Москву. Поступок Княжнина чрезвычайно польстил самолюбию Сумарокова, и он бывал у него каждый день.



Без вас

Актер себя пред зрителем ломает,  
Героя делает дугой;  
А с вами Гюс, подпора Мельпомены,  
Приятная владычица сердец,  
От наших слез берет похвал венец  
И чувствовать дая страстей премены,  
То к трепету, то к плачу приводя,  
Пленяет всех ее победой, в грудь входя.

Гюс действительно была Мельпоменою <sup>47</sup> французского петербургского театра. Мне было семнадцать лет, когда в первый раз я видел ее в «Альзире» <sup>48</sup>. Сильно волновалось сердце мое во время двух действий; но когда в третьем действии, почитая Замора убитым и взывая к его тени, она произнесла:

Le trait est dans mon coeur \*,

я думал, что сердце вырвется у меня из груди, выбежал из театра и за трепет душевный заплатил горячкою. Вскоре потом встретил я эту драматическую очаровательницу в Летнем саду, и что же увидел? — женщину небольшого роста, лицо в веснушках... волосы золотистые. <...>

Восхитителен, очарователен первый успех поэта: новый мир возникает в очах его. Он слышит плески современников, он слышит и вдали плески будущего; он начинает жить и во времени, и в потомстве. Но Княжнин не удовольствовался торжеством своим на петербургском театре; с пальмами драматической славы своей, с берегов Невы поспешил он на берега Москвы-реки к отцу русского театра, к А. П. Сумарокову. Какое свидание и в какое время! Тогда еще драматическая поэзия была, так сказать, новою гостью в нашем отечестве, а на поэта смотрели как на какое-то существо необыкновенное.

— Я виноват перед вами, — сказал Княжнин Сумарокову, — мне надлежало до представления трагедии моей отдать ее на ваш суд; но я неосторожно поторопился прочесть ее некоторым моим приятелям. Молва о «Дидоне» дошла до слуха императрицы, и она требовала, чтоб ее сыграли, между тем как я переписывал трагедию мою для вас, отца русского театра.

Не нужно говорить, с каким восторгом обнял Сумароков юного соперника своего! <...> В другом месте я представляю разительные свидетельства о том, что он никогда не был врагом нашего Холмогорского гения. Их ссорили завистники; но Сумароков осыпал цветами и гроб Ломоносова. Предполагают также какую-то гордость в Су-

\* Его след в сердце моем (фр.).

марокове, и это несправедливо. Его величали именем великого современника, а он сам никогда не возводил себя на эту пышную чреду; он даже не почитал себя и беспримерным поэтом.

<...> Он убежден был, что и самое живое слово человеческое едва ли может выразить полноту движений сердца. А гордость, в которой напрасно его упрекают, называл он «язвою и занозою душевною». Княжнин такого же был мнения. «Гордость, — говорит он, — огромная вывеска самой мелкой души».

Но обратимся к нашему повествованию.

Думал ли Сумароков, обнимая в первый раз Княжнина, что он в лице его обнимает будущего своего зятя — это его тайна. Но то верно, что он так же восхищен был приветствием Княжнина, как и Геродот, отец греческой истории, когда при плесках олимпийских юный Фукидид подарил его тем, что дороже всех рукоплесканий — слезами душевного восторга.

Вруча трагедию свою Сумарокову, Княжнин сделался в доме его ежедневным гостем. Через несколько дней с робостию спросил он у Сумарокова, как показалась ему его трагедия. Сумароков отвечал, что он снова перечитывает «Энеиду и Дидону» Лэфрана Помпиньяна, чтобы высказать основательно мнение свое. Но вскоре наш поэт забыл трагедию и как будто отыскивал в себе самого себя. Одна из дочерей Сумарокова была в замужестве за графом Головиным, а другая, цветя умом и красотою, ожидала еще суженого, и этот суженый был Я. Б. Княжнин. С поэзией муз в душе его откликнулась и поэзия любви. То же было и в сердце юной дочери Сумарокова. <...>

Но чрезвычайная скромность Княжнина оковывала уста его робостию. А любовь душевная, любовь, как будто из заветной храмины судьбы переходящая в сердце, и без робости боязлива. Могущественное, сильное ее стремление то верит, то надеется, а то, увлекаясь порывами сомнения, страдает и на пороге счастья; но это страдание для души поэтической — блаженство. Княжнин это чувствовал и выразил в прекрасных стихах, дышащих и вдохновением Сафо, и сердечным словом нашего поэта. Вот они:

Что я, ты чувствуешь ли то же?  
Не видя, алчу зреть тебя;  
Узрев, забвение себя  
Стократно памяти дороже  
Объемлет душу, чувство, ум.  
В тревоге нежной сладких дум  
Душой твои красы лобзаю;  
И кровь то мерзнет, то кипит,  
И сам себя тогда не знаю.  
Мы сердцем лишь тогда живем,  
Как сердце чувствуем в другом.

Это было воспоминание. А что кипело в душе поэта в настоящем, в те дни, в те мгновения, когда безмолвная любовь порывалась высказаться! Истомленный страстью, он открылся приятелю своему Федору Григорьевичу Карину, пламенному любителю словесности и искусств. Карин взялся быть посредником и полетел к Сумарокову. У творца «Семиры»<sup>49</sup> страсть любви была жизнью его жизни. Страдальцы угадывают сердце благотворительное; а кто живет любовью, тому и в другом не трудно разгадать тайну любви.

Сумароков сказал Карину, что и он, и дочь его уважают ум и душевные качества Якова Борисовича, и что он рад увенчать взаимную их склонность. Стремительное нетерпение нашего поэта равнялось порывам его любви. Едва вошел Карин, он вскричал: «Жизнь или смерть?» Карин отвечал ему стихами из «Дидоны» с некоторою переменою:

Се день уже настал, желаемый тобою;  
Дидона перстень свой Энею отдает,  
И ваши брак сердца навеки сопряжет.

В тот же день голос высказал все той, к кому оно горело.

А Сумароков, с восторгом соединяя два сердца, достойные одно другого, надписал на рукописной «Дидоне»:

Мы не в равной доле:  
Я тебе мила, а ты — стократ мне боле.

И с этою надписью поручил невесте возвратить жениху трагедию, которую умышленно продержал целый месяц, дожидаясь того, что предвидел.

В это время Сумароков был на высшей степени своей литературной славы. 1767 года при собрании депутатов из всех пределов обширного нашего отечества, появилось и начало оживляться все то, что он высказал Екатерине в слове, в котором предъявил душу ее «Наказа». В то же время был он в переписке с философом фернейским<sup>50</sup>, и трагедии его венчались рукоплесканиями и слезами и на театрах двух столиц, и на театрах народных. Его «Хорев»<sup>51</sup> сблизил народный дух с двором и обществом большого тогдашнего света. Это его лавр: ему одному удалось сблизить такие различные области быта человеческого. <...>

Расскажу здесь и о Федоре Григорьевиче Карине, бывшем сватом у Княжнина. Я познакомился с ним в то уже время, когда от семи тысяч душ у него оставалось только три тысячи; когда за роскошный разгул молодости в старости платил он тяжелую дань докучливой подагре. В цве-

тущие годы жизни своей он не уступал в пышности сатрапам древней Персии. Да и что тогда было в Москве! Улицы ее были блестящим маскарадом, кареты летали великолепными цугами; на запятках гайдуки исполинские; по сторонам карет скороходы, порхавшие зефирами, в шелковых чулках, даже и в трескучие морозы. Кровь, видно, была горячее. А псовая охота! — целое разноцветное войско. Что за псаря! что за ловчие! Сколько тянется фур со всеми прихотями застольными! Где же все это? Правду сказал Тацит, что «не от каменных стен зависит душа городов». Все приведенное здесь с избытком было у юного Карина. Но я, повторяю еще, познакомился с ним на западе его дней. В доме у него кипела еще чаша пиршественная, но в сердце гнездилась змея, которая за разлад семейный ссорила его с человечеством. Он любил меня за страсть мою к словесности; нередко утолял я гневные его порывы, и он, вынудив у меня скучный присест для моего портрета, написал к нему следующие стихи:

Младого Глинку зрим лица сего в чертах;  
Сей юноша, блистающий ученьем,  
Умом и просвещеньем,  
Поэт, и пламень льет в стихах.  
Что ж будет в зрелых он летах?

Я подписал под стихами: Н и ч т о .

Хотя Я. Б. Княжнин и не слишком наделен был дароми своенравного счастья, однако и он, став семьянином, жил в Петербурге открытым домом и был душою своего общества. Однажды обедали у него великолепный князь Таврический и Карин. Остроты сыпались аттической солью<sup>52</sup>, и князь Потемкин не всегда сидел, заключась в глубокую думу и грызя ногти. Развеселясь в гостеприимной беседе и оборотясь к юному Адонису<sup>53</sup> Карину, он сказал:

Ты, Карин,  
Райский крин<sup>54</sup>;  
Ты лилей  
Нам милее!  
Многих умников умнее,  
И весенних дней яснее.

<...> И на поэзию, и на прозу у нас, как и везде, есть какая-то мода, но, несмотря на все превратности различных мнений, доблести душевные никогда не теряют своей цены. Вот неотъемлемая собственность Княжнина. Его любил и посещал князь Потемкин, но Яков Борисович никогда в нем не искал, а сам всегда был готов на услуги другим. Баснописец наш Иван Андреевич Крылов, окончив воспитание в Тверском училище, приехал в Петербург

круглым сиротой<sup>55</sup>. Княжнин дал ему приют в своем доме<sup>56</sup> и первый открыл ему поприще тогдашней словесности, но он об этом никогда не говорил. Ознакомясь с Петербургом, Крылов оставил Княжнина, и шутливым пером, в комедии своей «Таратор» описал в смешном виде домашний быт своего хозяина<sup>57</sup>. Он жил человеколюбием и ясными душевными воспоминаниями. Он не вспоминает ни о пирах роскошных, ни о собраниях блестящих; он не вспоминает даже о торжествах своих драматических. Заря жизни была бытием его души; и по привычному чувству любви к человечеству, он у себя в доме не мог видеть печального лица. Часто случалось с ним, что в дождливую погоду, взяв денег, чтобы отправиться на дрожках в кадетский корпус, где он был учителем словесности в старшем возрасте, он отдавал те деньги бедняку-просителю или слуге, который или по какой-либо причине, или и умышленно, казался печальным. «На, братец,—говорил он,—будь повеселее!» И в корпус, на кафедру словесности приходил в скромном сюртуке, запрысканном дождем. — Что такое добродетель? — говорит Лабрюер. — Человеколюбие. — А что такое человеколюбие? — Он же отвечает: Первая душевная добродетель. — И потом прибавляет: Счастливыцы света! Вы, которых судьба осыпала всеми дарами своими! Не замки сооружайте—сооружайте памятники благодетельные: когда следы ваших поколений затеряются в книге знаменитостей, вас вспомнят, если и вы помнили, что одно добро бессмертно».

К числу прекрасных душевных качеств Я. Б. Княжнина принадлежит беспристрастная его любовь к отечественной словесности. Охотно отдавал Яков Борисович справедливость другим и радовался успехам отечественной словесности. Всем известен Петров, друг юности Карамзина, с которым сей последний начал свое литературное поприще в «Детском чтении»<sup>58</sup>, издававшемся Новиковым. Осыпая гроб его цветами, Карамзин назвал его Агатоном; этот друг нашего историографа был приятелем Княжнина и показывал ему все письма, получаемые от русского путешественника. В один свой приход в кадетский корпус Яков Борисович, перечитывая их нам, с восторгом сказал: «Приветствую русскую словесность с новым писателем. Юный Карамзин создаст новый, живой, одушевленный слог и проложит новое поприще русской словесности». Любил и Карамзин Княжнина; особенно нравилось ему из сочинений Якова Борисовича послание «От дяди стихотворца рифмоскрипа». Никто из наших писателей не уважал трудов земледельцев более Княжнина.

Вот его слова:

Почтен питатель смертных рода!  
На нивы тучные спешит;

Чтя труд его, сама природа  
Согбенны класы золотит.  
Он смертных жизнь с полей собирает  
И униженье презирает,  
Чем пышность гордая претит  
Его полезнейшей заботе;  
В священной рук его работе  
Блаженство мира состоит.

С таким же чувством ценил он и услуги домашних людей своих: никто из них не слышал на себя окрика и не погоревал от него. В жизни его были черты достойные Плутарха и Ж. Ж. Руссо.

По свойству души своей, вот как он в «Толковом словаре» определяет уважение. «Уважение, — говорит он, — разделено по состоянию богатства». Но он во всех речах, говоренных им в Академии художеств и в корпусе, доказывал, что истинное достоинство человека заключается в нем самом. В том же словаре он называет историю архивом тщеславия. Это не совсем справедливо. История оказывает часто пагубные следствия тщеславных замыслов, но правда и то, что эти уроки иногда ветер разносит, и, если смотреть на историю как на хронологию неудачных царствований и на заблуждения народов, оно может быть и справедливо. Там же, говоря о чернильнице, он сказал: «Чернильница — малая причина больших действий». Тут почти вся история XVIII столетия от 1713 до 1788 года. <...>

При всей остроте ума своего Княжнин не был насмешлив и только раз намекнул о падении драмы какого-то сочинителя, не означая, однако, имени его; он имел завистников и недоброжелателей за то, что ревностно защищал человечество.

Хотя fortuna-мачеха не очень щедро наделила Якова Борисовича дарами своими, но и у него бывали дружеские пирушки; по поверью того времени, литераторы шутили, остроумничали, перекидывались колкими эпиграммами, заносились на Парнас и не заглядывали в область политики; но когда забушевала французская революция, тогда Княжнин первый понял порыв и полет этой бури.

Но счастлив ли был Княжнин на поприще своих трудов? Вот его ответ:

Одни заслуги чтя, моя не подла муза;  
Бежа со лестию порочного союза,  
В терпении своем несчастна, но тверда,  
Не приносила жертв фортуне никогда.

И это сущая правда. А он много трудился. Как член Российской академии, он участвовал в составлении

«Русского словаря»; а в «Собеседник»<sup>59</sup>, где участвовала сама Екатерина, доставлял многие статьи; он также вместе с Фонвизинным переводил словарь, изданный французскою академиею.

Наш поэт доказал также, что душа его была выше всех обольщений счастья. Иван Иванович Бецкий принял его в секретари свои и водворил в Кадетский корпус наставником русской словесности. Безбородко, занимавший и при Екатерине чреду блистательную, перезывал его к себе от Бецкого, предлагая и чины, и улучшение состояния. Княжна ничто не поколебало. Он говорил: «Я чувствую, что я полезен на моем месте, вот моя почесть и награда». Не обольщаясь никакими почестями, он жил сердцем и в стихах своих сказал:

Мы сердцем лишь тогда живем,  
Как сердце чувствуем в другом.

И на сердечный его голос откликнулись сердца воспитанников Академии художеств, Воспитательного дома и Кадетского корпуса. К очерку жизни его должно прибавить, что В. А. Озеров, сочинитель «Эдипа» и «Фингала», и Ефимьев, сочинитель комедии «Братом проданная сестра», были его учениками. Первый пожал венцы Мельпомены по смерти его, а второй блеснул на театре при нем.

Рано уклонился Я. Б. Княжнин в могилу: он не дошел и до полвека. Труды и чрезмерная чувствительность ускорили его кончину. Когда зашумела буря французской революции, он написал почти все то же, что тесть его Сумароков высказал Екатерине 1762 года. Но тогда еще Франция, затеряваясь в кукольном быту своим, дремала, не слыша отдаленной бури. Правда, ее слышал Жан Жак Руссо еще 1756 года, но его называли безумцем и мечтателем.

Смерть преждевременная постигла Княжнина на сорок восьмом году. Предполагают, что рукопись его под заглавием «Горе моему отечеству»<sup>60</sup>, попавшая в руки посторонние, отуманила последние месяцы его жизни и сильно подействовала на его пылкую чувствительность. В этой рукописи страшно одно только заглавие. Я читал несколько черновых листов. Главная мысль Княжнина была та, что должно сообразовываться с ходом обстоятельств и что для отвращения слишком крутого перелома нужно это предупредить заблаговременным устройством внутреннего быта России, ибо французская революция дала новое направление веку. Такую же почти мысль изложил он в трагедии «Рослав» и в некоторых других местах сочинений своих. Вероятно, что рукопись умышленно или неумышленно перетолкована была людьми пугливыми, кото-

рые видят страх там, где его нет, а не видят его там, куда он действительно затеснился. При бушевании ветра какая сила человеческая воспретит, чтобы колебались леса и не волновались леса? Сумароков, тесть Княжнина, прежде его сказал:

Питай водами лавр, доколе не увянет,  
И стройся грозных бурь, доколе гром не грянет.

Патриотические, но не дерзновенные мысли Княжнина оправданы были событиями, быстро изменившими прежний мир политический.

<...> Как бы то ни было, но тогда гул бури французской революции застрашал умы, и патриотические мысли Княжнина показались неуместными. Он не пережил этого случая. Полагали, будто бы трагедия его «Вадим» нанесла ему удар преждевременной смерти. Это несправедливо: он скончался в 1791 году, а трагедия «Вадим» напечатана была княгинею Дашковой в 1792 году<sup>61</sup>. Не брусь описывать свойств прекрасной души Я. Б. Княжнина; он сам высказал их, и вот в каких словах:

Для добродетели на все беды стремиться,  
Любить отечество и смерти не страшиться,  
Для счастья своего не лстить страстям людей:  
Вот, что я сохранял всегда в душе моей!

## VIII

Место Княжнина занял у нас Николай Яковлевич Озерецковский, академик, естествослов и врач, словом, муж ученый, обладавший различными сведениями. Он сопровождал в путешествии по чужим краям графа Бобринского. Екатерина, недовольная Телемаком<sup>62</sup>, укоряла Ментора. Озерецковский с добродушною откровенностью отвечал: «Матушка, ведь я человек! Один бог делает, что хочет; я сделал, что мог». Лицо Озерецковского было здорово и молодо. Он был сутуловат и еще более сгибался, когда, держа в руках табакерку, выхватывал из нее табак щепотку за щепоткою, торопливо принюхивал, мерными шагами ходил по классу, приискивая надлежащее слово и, отыскав его, приговаривал: «Да, вот так надобно». Тут речь его текла плодovieе и свободнее. Изучая анатомию, он не только объяснял нам смысл фигур риторических, но и действие их на внутренний состав телесный. О Карамзине он был совершенно различного мнения с Княжниним. Видя, с каким жаром читали мы «Письма русского путешественника», он однажды заставил меня прочесть вслух письмо



о горах альпийских. Я начал читать. Озерецковский, по обыкновению своему, расхаживал по комнате и когда я кончил чтение подобно восторженной Пифии<sup>63</sup>, он угрюмо и отрывисто сказал: «Ну, что это такое? Пышный, вычурный слог, мыльный пузырь, надутый ветром. Кольни булавкой, ветер вылетит и останется пустота. Я сам был на Альпах, но не видал того сумбура, который забрел в это письмо». Случилось мне в другой раз читать Озерецковскому перевод Карамзина Вольтерова «Экклезиаста». При чтении стихов «Ничто не ново под луною», он вспыхнул от досады и проворчал: «Неправда, не под луною, а под солнцем. На что так срамить землю?» Для дополнения рассказа о Н. Я. Озерецковском сближаю времена и скажу, что 1825 года встретил я его у тогдашнего министра народного просвещения А. С. Шишкова. Он был еще довольно крепок на ногах, но на лице его проглядывало изнеможение, предвестие близкой смерти. Он мне очень обрадовался и сказал с прежним радушием: «Ты много трудишься, брат, это хорошо».

— Тружусь много, — отвечал я, — потому что привык к труду, да проку мало.

— Нет нужды, брат, — возразил он, — в труде всегда есть прок; труд занимает ум и душу. Я и постарее тебя, но не прочь от труда. <...>

Заняв от Фридриха II страсть к французскому языку, граф Ангальт пригласил в учителя декламации для усовершенствования в произношении тогдашнего французского актера Офрена. Офрен был чрезвычайно даровитый актер. Декламируя рассказ Терамена о смерти Ипполита из «Федры» Расиновой, он плакал. Плакали и мы, несмотря на длинный и однообразный александрийский стих<sup>64</sup>: в декламации Офрена простота и чувство слышались в выразительном его голосе. Он не выбрасывал ходули декламации своей. Офрен гостил в Фернее у Вольтера и играл с ним на домашнем его театре. «Хотя Вольтер, — говорил он нам, — был иногда вспыльчив, но одушевлял свои трагедии и лица, игравшие с ним в них». Об этом Офрен рассказывал нам следующий анекдот: «В первом представлении «Китайской сироты» Вольтера Лекен играл Чингисхана. Трагедия принята была холодно. Вольтер бесился и, по обыкновению своему, честил земляков своих именем вельхов-невежд, способных быть только тиграми и обезьянами. Во время бешенства Вольтера Лекен приехал в Ферней. Не дав ему образумиться, Вольтер закричал: «Прочитайте, прочитайте мне, г. Лекен, роль Чингисхана. Посмотрим, как вы ее играли». Лекен начал читать высокопарно, размахивая руками и вытягивая свой небольшой рост. «Скверно, скверно! Вы убили мою трагедию!» — кричал Вольтер, топая ногами; и сам начал читать роль Чингисхана. Лекен

не сводил с него глаз, ловил каждый взгляд, каждый звук его голоса, и, когда Вольтер кончил, он повторил роль свою. Вольтер, в свою очередь, вслушивался и всматривался в Лекена и вдруг бросился обнимать его, воскликнув: «Браво, браво! Вот как надобно выражать роль умного, скрытного и хитрого Чингисхана! Теперь наши парижане оглушат вас рукоплесканиями». Так и сбылось. <...>

Учение графа Ангальта можно назвать учением предварительным, которое, знакомя исподволь с различными предметами, не изнуряет способностей ума и сберегает полноту их к надлежащему учению. Деспотизм азиатский вреден и в делах человеческих, и в области учения.

Неуместное принуждение раздражает душу и нередко гасит счастливейшие дарования. Нас в детстве с завязанными глазами вводят в область учения, оттого-то в ней детям и кажется все дико. Развяжите глаза ума, осветите пути, которыми ум должен идти, и питомец смело и радостно бросится в объятия науки. Так думал и действовал граф Федор Евстафьевич Ангальт. Воспитание, повторяю еще, называл он нежною матерью, которая, отдаляя тернии, ведет питомца своего по цветам.

Не теряя из вида и русского языка, гр. Ангальт пригласил и нашего актера Плавильщикова, который громким и ясным голосом читал нам оды и похвальные слова Ломоносова. При этих уроках граф всегда присутствовал. Кроме од Ломоносова, Плавильщиков читал сам и рассуждение свое о тогдашней словесности, помещенное в «Зрителе» Крылова. С жаром говорил он о Ломоносове; «Россиаду»<sup>65</sup> называл венцом русской словесности, а «Душеньку» Богдановича неувядаемым цветком нашего Парнаса. Это было давно, в прошедшем столетии, а каждый век налагает свою печать и на дела людей, и на перья писателей, и, не оглядываясь, идет вперед, чтобы, в свою очередь, затеряться в будущем веке.

Желая приучить нас к основательному чтению, из первого или высшего класса граф выбрал в 1793 году для слушания логики несколько учеников, в число которых не знаю почему, попал и я. Профессор логики был у нас Христиан Иванович Безак, человек благодушный и ученый. Выводы логические объяснял он выкладками или формулами алгебраическими.

Престарелый наш профессор, шутя сам над способом своего преподавания, говорил: «Не бойтесь моих крючков они не так страшны, как крючки подъяческие. Моими крючками можно ловить мышей». Ретивое мое воображение никак не поддавалось на эти крючки. Я слушал рассеянно, в тетрадь ничего не записывал, и, засунув книгу под стол, читал украдкою то Дидерота, то Буффлера, то Вольтера, то Ж. Ж. Руссо. Профессор знал это и, не сердясь на

меня, почти каждый класс вызывал на словесный бой. Не ведаю, как предлагал я доводы свои, а priori или a posteriori\*; знаю только, что пылкая моя диалектика очень забавляла доброго профессора. Иногда спорили мы по получасу и более, и нередко открыто изъяснял я несогласие свое. Великодушный мой противник подлинно ли, или в шутку уступал мне, приговаривая: «Вам надобно выдержать тридцать походов и тридцать сражений; а без этого у вас все будет в голове стихотворческий ветер». И почтенный профессор был прав. Ветреная моя голова чуть было не погубила меня еще в кадетском корпусе. <...>

Раболепное благоговение к французскому театру внушал нам Аллер, учитель французской риторики. Высокопарным слогом своим он провозглашал нам:

«Корнель владычествует на небесах, Расин — на земле, а Кребийон — в областях преисподних». Вольтеру в этом разделении не было уголка, ибо он, вопреки чугунных узаконений школьного Батте, осмелился пленять сердца Заирою и Альзирою.

Аллер до звания учителя риторики был французским адвокатом. <...>

Хотя наш адвокат-ритор и не открыл Ньютоновой системы, но, подобно ему, носил летом и зимою одинаковую одежду, — то было полукафтанье, подбитое мехом, и с широкими карманами по обеим сторонам. В жару самодовольствия ударяя по карманам, он говорил:

— У меня в карманах вся французская словесность.

Аллер читал нам «Ифигению» и «Федру», а Плавильщиков, окончив с нами Ломоносова, читал трагедии Княжнина и Сумарокова и все вышедшие тогда стихотворения Державина. Когда звучным голосом прочел нам «Вельможу», где сказано:

Всяк думает, что я Чупятов  
В Мароккских лентах и звездах,

мы спросили у него: да кто же этот Чупятов? Он отвечал:

— Говорят, что Чупятов был некогда богатым купцом, торговал за морем, но одна сильная буря лишила его состояния и затмила его ум<sup>66</sup>. Не могу сказать, торговал ли он с Африкою, но в помешательстве рассудка ему мечтается, что им пленилась Мароккская принцесса, и он горит к ней взаимною страстью, и что в награду за его постоянство она присылает те почетные знаки, о которых упоминает Державин. Я познакомлю его с вами,

---

\* Независимо от опыта; на основании опыта (лат.).

Плавильщиков сдержал слово и на другой день, часу в шестом вечера, пришел к нам в сад с мароккским кавалером. Я смотрел на Чупятова с большим вниманием. Он был высокого роста, во французском кафтане и с мишурными знаками отличия. Лицо его было здоровое и свежее, хотя и проглядывала в выражении какая-то грусть. Более всего удивляла меня его скромность; он шел тихо и так вежливо нам кланялся, что мы от доброго сердца и без всякой улыбки платили ему взаимным поклоном.

К особенным нашим занятиям с графом Ангальтом принадлежало чтение военных записок из жизни древних и новых полководцев. Этим предметом занимался с нами Ф. Ф. Сакен, бывший потом фельдмаршалом.

## IX

Переменяются обстоятельства, а вместе с ними переменяются иногда и люди; в превратности света трудно сохранять непоколебимость душевную; но кто утвердил деяния свои на совести, тот не отдаст их на произвол легкомысленного мнения: нравственную жизнь свою ставит он выше всего земного.

Так говорил граф Ангальт и никогда не изменял этому правилу. Месяца за три до кончины своей подвергся он какой-то опале при дворе, где никогда он не был уклончивым царедворцем. Вместе с охлаждением Екатерины все к нему переменилось, но он оставался всегда тем же, чем и прежде: ревностно исполнял свою генерал-адъютантскую должность, ни от кого из придворных не допытывался об этой перемене, а к нам был еще приветливее и, чувствуя изнеможение сил своих, он как будто хотел, чтобы в кругу нашем пресеклось последнее биение его сердца. В половине 1794 года скончался граф Федор Евстафьевич Ангальт. За два дня до смерти он медленными шагами обходил сад и с отеческим вниманием беседовал с нами <...>, и последним приветом его было не прощание, а надежда на скорое свидание.

— Слабеет тело мое, — сказал он, — но не душа. Вы, мои любезные дети и друзья, всегда были в ней, и она никогда не расстанется с вами.

Мы не знали, что это было последнее прощание с нами его отцовской любви. Бледностью было подернуто лицо его, но в глазах светилась приветливость подобно лучам солнечным, безмятежно угасающим на западном небе.

Граф не призывал ни корпусных, ни посторонних врачей. Ни жизнь, ни смерть своею он не хотел никого беспокоить. Но каким мы были поражены ударом, когда

директор наш К. Ф. Редингер, заливаясь слезами, сказал:

— Общего нашего отца нет. Граф Ангальт умер!

Целый корпус готов был двинуться ко гробу его. Около семи лет был он начальником и никого не огорчил ни делом, ни словом; кроткие выговоры его были отцовскими наставлениями. <...> При вступлении в корпус графа Ангальта императрица подарила ему серебряный столовый прибор. У него пиров не было, и никто не знал, куда исчез этот подарок. Тут узнали от его камердинера, что граф его продал, и что полученные за него деньги и часть своего жалованья употреблял он для вспоможения нуждающимся. <...> Поутру, до отъезда своего в корпус, он каждый день приказывал своему камердинеру справляться о всех бедных и больных той части, где он жил; а вечером посылал к ним пособия от неизвестного. Мы плакали при этом расказе, и трагик наш В. А. Озеров, бывший с нами дежурным при гробе, тут же написал в память графа французские стихи, помещенные покойным цензором П. А. Корсаковым в первой книжке «Маяка»<sup>67</sup>. <...>

В XVIII столетии уверяли, что воспитание не достигло своей цели, оттого что в училище надобно забывать занятое в свете, а в свете отбрасывать приобретенное в училище. Но учение графа Ангальта развивалось в понятиях его питомцев на всех путях жизни. Не упомяну здесь о тех кадетах, которые так рано исчезли 1799 года в войне, кипевшей в Швеции, Италии и Голландии. С 1812 года особенно известны стали Монахтин, Толь (впоследствии граф) и Полетика. Первый, управляя штабом корпуса Дохтурова, вывел наши полки, со всех сторон непрестанно тревожимые неприятелем, и на военном совете под Смоленском в числе трех голосов был и его голос. Толь был дежурным полковником при Кутузове, а Полетика — в Лондоне, напечатав на английском языке статью о тогдашнем состоянии России, был послом в области Северной Америки; речь, произнесенная им там, была напечатана в заграничных ведомостях. Монахтин пал жертвою Бородинской битвы в чине генерала. Ум его был обогащен глубокими познаниями, и он удивлял природных германцев и французов знанием их языков. По окончании заграничной войны 1815 года французские историки называли Толя первым русским тактиком. Отчего им так казалось, не разбираю этого. Скажу только, что ни Монахтин, ни Толь, ни Полетика не занимали ни в одном из корпусных классов первых мест. В последний год жизни графа Ангальта шесть кадет награждены были звездами; они не были в числе их, а я был; впрочем, они получили потом звезды на службе, но я их не домогался заслужить; моя звезда блеснула и померкла в стенах корпуса. Но две памяти о графе Ангаль-

те живут и теперь в душе моей: сердечная память о любви его к нам и умственная память, укрепленная его руководством и до сих пор еще помогающая мне в соображении моих мыслей. Он спас мою пылкую юность и в этом деле был единственным моим наставником. <...> Наш директор, полковник Редингер, вполне делил с нами скорбь о потере нашего отца, и по движению собственного своего сердца, сохранял его правила. Однажды при мне явился к нему богатый отец одного из наших кадет (имя его скрываю) с низким поклоном и, робкою рукою подавая ему сверток, сказал: «Тут пятьсот рублей». — «Вы, — возразил Редингер, — конечно назначили это для того, чтобы показать сыну вашему, как должно употреблять излишние деньги». Товарищ мой был тотчас призван, и директор сказал ему: «Вот, мой друг, батюшка твой дарит тебе пятьсот рублей на добрые дела, и мы исполним его желание. На триста рублей в память графа Ангальта мы выкупим из острога несколько человек, а двести рублей доставим в городскую больницу». С этими деньгами отправлен был офицер, которому поручено было взять расписку из острога и больницы. Богач краснел и не знал, что говорить; сын, ничего не зная, от доброго сердца целовал его руки, а я в восторге сказал Редингеру «Вы оживляете графа Ангальта чувствительностию и делами вашими!» <...>

Неизвестность и ожидание всегда волнуют умы. Долго допытывались мы и наконец узнали, что к нам назначен начальником Михаил Илларионович Кутузов. Мы уже слышали о его чудесных ранах, о его подвигах под Измаилом, о его быстром движении за Дунаем на высотах Мачинских, которое решило победу и было первым шагом к заключению мира с Портою Оттоманскою в исходе 1791 года. В половине 1794 года был он чрезвычайным послом в Константинополе, где ловкою политикою возбудил общее внимание послов европейских, а остроумием своим развешал важный диван<sup>68</sup> и султана. В блестящих лаврах вступил он к нам в корпус, и тут встретило его новое торжество, как будто нарочно приготовленное для него рукою графа Ангальта. Вошел в нашу залу, Кутузов остановился там, где была высокая статуя Марса<sup>69</sup>, по одну сторону которой <...> начертана была выписка из тактики Фридриха II: «Будь в стане Фабием, а в поле Ганнибалом»<sup>70</sup>, а по другую сторону стоял бюст Юлия Цезаря. Если бы какая-нибудь волшебная сила вскрыла тогда звезду будущего, то тут представилась бы живая летопись всех военных событий 1812 года. Но тогда в нашей великой России никто об этом не думал; все в ней пировало и ликовало, только мы были в унынии. Кутузов молча стоял перед Марсом, и я чрез ряды моих товарищей подошел

к нему и сказал: «Ваше высокопревосходительство! В лице графа Ангальта мы лишились нашего нежного отца, но мы надеемся, что и вы с отеческим чувством примете нас к своему сердцу. Душа и мысль графа Ангальта жила для нас и благодарность запечатлела в душах наших любовь его к нам. На полях битв слава увенчивала вас лаврами, а здесь любовь ваша к нам будет одушевлять нас такою же признательностию, какую питали мы и к прежнему нашему отцу». Когда я кончил, Кутузов, окинув нас грозным взглядом, возразил:

— Граф Ангальт обходился с вами как с детьми, а я буду обходиться с вами как с солдатами.

Мертвое молчание было единственным на это ответом. Он понял, что мы догадались, что слова его были посторонним внушением.

## Х

Было время испытания для всех и для всего. С одной стороны, буря революции шумела во Франции, а с другой, запылала война в Польше от тщеславного порыва нового временщика! Для взволнованных страстей нет ни уроков истории, ни опыта, тут нужен светильник истины. Но где его взять среди кружения наших обществ? Усомнилась и Екатерина в учении графа Ангальта: ей показалось, что он какое-то необыкновенное направление дает умам нашим. А я по совести скажу, что он даже никогда не произносил слово революция. Он предлагал нам тогдашние напечатанные известия в виде только современной истории. «L'ignorance de ce qui est, entraîne l'ésprit dans les ténèbres»,—говорил он. (Незнание существующего увлекает ум в потемки.)

Между тем, какая-то невидимая рука в нашей зале с окон и столов отбирала книги и газеты и снимала со стен все собственноручные памятники графа Ангальта. Постепенно исчезли со стен нашего сада и надписи, и эмблемы, и изображение систем Тихобрага, Птоломея и Коперника; вместе с ними отживали и пирамиды, и стены вавилонские, и все чудеса древнего мира. И в стенах залы, и в саду все для нас переменилось, кроме напоминания о том человеке, который в тесные пределы корпуса отцовски старался переселить все то, что непрерывный ряд веков передавал мысли человеческой. Не стало у нас ни французских журналов и никаких заграничных газет; но в это время вступил учителем французского языка в младший возраст швейцарец Паш. Моя французская болтливость скоро меня с ним познакомила. Не знаю, родственник ли он того

Паша, который был в числе республиканских министров и завлек умных, но опрометчивых жирондистов сперва в сети свои, а потом на гильотину. Упомяну только, что он передавал мне вести о французской революции, и что от него получил я Марсельезу, которую тогда перевел; в необычайное время не люди — воздух высказывает события. Опустела учебная область графа Ангальта; Кутузов переселился в корпус, но жил в нем невидимкою. Это было в исходе тринадцатого года бытности нашей в корпусе. Мы чувствовали, что нам настало время отворить из него ворота. Так и сбылось. И потому предложу несколько слов о предубеждении, которое и до сих пор еще существует на счет хода учения при графе Ангальте. Полагают, будто бы оно поселяло в умы наши какую-то изнеженность, от-вращавшую от работ и трудов обыкновенной службы. <...> При жизни графа Ангальта были порицатели его учения, но были и достойные ценители его. Князь Н. В. Репнин препоручил двух своих родных внуков Фогелю, преподававшему нам историю на французском языке, с тем, чтобы они пользовались наставлениями графа Ангальта. Вслед за этим явился граф М. Ф. Каменский с двумя своими сыновьями и сказал графу Ангальту: «Вы пролагаете юношам вашим путь к славе и трудам; вы и в стенах кадетского корпуса продолжаете те подвиги, которыми увековечили имя ваше в борьбе вашего короля с саксонцами; шпагою своею вы пожинали лавры, а человеколюбием привлекли сердца. Примите и моих сыновей под свое руководство». Обратясь к сыновьям, прибавил: «Поцелуйте руку, которая всегда миловала побежденных неприятелей!» Граф обнял их, и они часто вместе с нами обходили садовую нашу стену и слушали отеческие его уроки. Князь Репнин и граф Каменский были первыми старинными кадетами; стало быть, они умели и могли ценить все переходы корпусного воспитания. Наконец, предполагают также, что юные кадеты по причине изнеженной мысли сделались неспособными к трудам службы, спешили на покой в свои поместья. Но и это было бы не бесполезно. Кто воспитан любовью и вниманием, чье сердце не окаменело от роскоши и тщеславия, тот будет и там полезен. В начале 1796 года воспоследовала война с Персией<sup>71</sup>, и некоторые из моих товарищей были в этом походе. В исходе того же года, при вступлении на престол императора Павла, так называемые матушкины сынки, в колыбели записанные в гвардию и жившие тунейдцами в поместьях своих отцов, потребованы были на действительную службу, от которой некогда было уже отбиваться кадетам. В архаровском полку, в восьми батальонах, многие из моих товарищей были моими сослуживцами. 1799



года происходили военные действия русских в Италии, в Швейцарии, в Голландии и на прибрежных островах Англии<sup>72</sup>. Сколько же кадет трех последних выпусков графа Ангальта исчезло в этой обширной войне! <...>

Верил ли Кутузов молве о графе и о корпусе, не знаю. Но он был вполне светским человеком и в этом резкою чертою отличался от Суворова. Отделяясь от света, Суворов, как будто опасаясь, чтобы слава его подвигов не затмилась, набивался с письмами ко всем значащим своим современникам. Кто чего-нибудь ищет и домогается, тот не хочет быть забытым. «Не показись раза три в театре, — говорил Наполеон после первой войны в Италии, — слава твоя расстелется дымом». Кутузов не вел переписки, но в виду общества действовал своим лицом, кланялся и уклонялся, выжидал и не упускал выжданного, оттерпывался и после сумрачных дней выходил блистательнее.

В корпус вступил он во всем сиянии славы своей. Он жил в стенах корпуса, но не с нами. Незадолго до своей кончины граф Ангальт подарил мне полное издание Плутарха, Амиотова перевода. Замечу здесь, что все то, что граф нам дарил, и все, что было в нашей увеселительной зале, он покупал на собственное иждивение и сверх того доставлял всевозможные льготы корпусным учителям. Граф Ангальт был мот и расточитель на добрые дела. ...

Между тем поразило нас необычайное обстоятельство. При вступлении в корпус графа Ангальта Екатерина до переезда своего в Царское Село и по возвращении оттуда проезжала мимо корпуса и дарила приветливою улыбкою кадет, сбегавшихся взглянуть на нее, но это прекратилось за год до кончины графа, и, к удивлению нашему, в начале декабря Екатерина опять проехала мимо корпуса. Эта загадка скоро объяснилась и предвестила преждевременный выпуск наш из корпуса. На другой день по проезде императрицы был повешен, а чрез два дня воследовал экзамен, всегда происходивший по вечерам. Началось с русской словесности. Николай Яковлевич Озерецковский задал нам сочинить письмо, будто бы препровожденное к отцу раненым сыном с поля сражения.

Кадет Егоров был первым по классу, Калатинский — вторым, а я — третьим. Два первые сочинения Кутузов слушал без особенного внимания. Дошла очередь до меня. Я читал с жаром и громко. Кутузов вслушивался в мое чтение. Лицо его постепенно изменялось, и на щеках вспыхнул яркий румянец при следующих словах: «...ранен, но кровь моя лилась за отечество и рана увенчала меня лаврами! Когда же сын ваш придет к вам, когда вы примете его в свои объятия, тогда радостное биение серд-

ца вашего скажет: „Твой сын не изменил ожиданиям отца своего!”» У Кутузова блеснули на глазах слезы, он обнял меня и произнес этот роковой и бедоносный приговор: «Нет, брат! Ты не будешь служить, ты будешь писателем!»

Недавно еще слышал я, будто бы Кутузов обходился с нами сурово. Это неправда; правда только то, что между им и нами было какое-то безмолвное недоверие, но это недоверие рушилось и разрешилось случайно. Кутузов пожал тогда такие лавры, каких не пожинал ни на высотах Мачинских, ни под стенами Измаила, ни на поле Бородинском — он победил самого себя.

Два вечера прошли спокойно. На третий спрашивали у нас всемирную историю, которая как будто нарочно подоспела с великими своими превратностями к важнейшему обстоятельству нашей кадетской жизни. Мы начали шепотом разговаривать между собою, и голоса 120-ти кадет слились в один жужжащий гул. — «Тише, господа!» — сказал Кутузов. Мы смолкли и чрез несколько минут опять заговорили. «Тише, говорю вам!» — грозно повторил Михаил Илларионович. Мы замолчали, но не надолго. «Тише!» — закричал он еще грознее, и при этом третьем «тише» прибавил несколько слов, от которых мы замолчали. Ударило восемь часов. Мы все пошли за ним. Каждый вечер Кутузов ездил к тогдашнему временщику. Слуга сказал, куда ехать, а мы закричали:

— Подлец, хвост Зубова!

В наше время о каждом экзамене начальник корпуса лично доносил императрице. На другой день Кутузов явился к ней.

— Каковы твои молодцы? — спросила Екатерина.

— Прекрасны, ваше величество, — отвечал он, — они слишком учены, им недостает только военной дисциплины. А потому, хотя они не дожили еще до срока двух лет, но позвольте их выпустить.

Екатерина согласилась и сказала:

— Постарайся отдать твоих молодцов на руки таких полковников, которые бы не застращали их службою. Юношей надобно беречь, они пригодятся.

Кутузов объявил нам решение Екатерины. При появлении его нынешний граф Толь и я, мы стояли возле него. Кутузов любил Толя за искусные чертежи и за охоту к военным наукам.

— Послушай, брат, — сказал он Толю, — чины не уйдут, науки не пропадут. Остайся да поучись еще.

Толь остался, и Кутузов ознакомил его с своими военными правилами и познаниями.

Шесть человек выпущены были капитанами, а все прочие — поручиками. Кутузов созвал к себе наших офицеров и сказал им: «Господа, разведайте, кто из кадет не в состоянии обмундироваться, да сделайте это под рукою. Наши юноши пресамолюбивые, они явно ничего от меня не возьмут». С мундиров недостаточных кадет мерки сняты были ночью: чрез три дня мундиры были готовы и отданы им будто бы от имени их отцов и родных. Ударил час прощания. Мы составили круг. Кутузов вошел в него и сказал: «Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам, что буду обходиться с вами, как с солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны; но лучшую наградою почитаю то, когда обо мне говорят: он настоящий русский солдат. Господа! Где бы вы ни были, вы всегда найдете во мне человека, искренно желающего вам счастья, и который совершенно награжден за любовь к вам вашей славою, вашей честью, вашей любовью к отечеству». За день до выхода из корпуса, когда надели мы мундиры, Кутузов поодиночке призывал нас к себе и предлагал нам тактические вопросы. Мне задал он вопрос о полевых укреплениях. Чувствуя, что по строгим правилам науки не могу отвечать, я спросил: «Как прикажете мне объяснить, тактически или исторически?» Он взглянул на меня и сказал: «Ну, посмотрим, отвечай исторически». Я начал: «Полевые укрепления устраиваются для остановления первых напоров неприятеля. Известнейшие из таких укреплений устроены были Петром I на поле Полтавском, и граф де Сакс в сочинении своем о военном искусстве приписывает им победу русских над Карлом XII. В древние времена афинский полководец Ификрат при всяком случае укреплял свои войска и когда его упрекали в излишней осторожности, он говорил: «В военное время неприятель везде. Он не там нападает, где его остерегаешься, но там, где его не ждут». Но никакие укрепления не могут устоять перед отважною решимостью войска. Граф Ангальт рассказывал нам о вашем движении на высотах Мачинских, споспешествовавшем к заключению мира с Портою Оттоманскою 1791 года». Кутузов был доволен моим ответом.

Теперь скажу несколько слов о Л. А. Нарышкине. Лев Александрович Нарышкин, как говорилось, был столповой вельможа<sup>73</sup> двора Екатерины, посредник между ею и мнением народным. Приготовляясь издать какой-нибудь указ, она поручала ему узнать: что скажет о том народ. Нарышкин знал дух народный и острыми замысловатыми шутками умел вызвать мысль народную. В простой одежде ходил он по площадям, протирался, никого не толкая, везде, где был народ, заводил речь, как бы не-

умышленно о том, что нужно было ему выведать. Люди русские любили его. Затеяливым балагурством и радушною ласкою приманивал он сердца их. Однажды при мне сходил он с крыльца к карете. Его встретил хлебник с корзинкою и говорит: «Батюшка, Лев Александрович! Прикажете выдать за хлебы деньги». — «Скрипку, скорее скрипку» — закричал он. Принесли скрипку. — «Ну, брат! ты славный парень; пропляши бычка!» Тут вельможа-скрипач засучил рукава, заиграл, загудел и запел, словом, как говорилось, отодрал бычка, а хлебник удалой выкинул лихую выпляску. «Славно! Славно, брат!» — вскричал Лев Александрович. — Вот мы и расплатились. Я играл, ты плясал». Разумеется, что деньги были отданы. Лев Александрович был оберштабмейстером<sup>74</sup>. Однажды Екатерина ехала из Петербурга в Царское Село, до которого верстах в двух сломалось колесо в ее карете. Императрица, выглянув из кареты, громко сказала: «Уж я Левушке (так называла она Л. А.) вымою голову». Лев Александрович выпрыгнул из коляски, прокрался стороною до въезда в Царское Село, вылил на голову ведро воды и стал как вкопанный. Между тем колесо уладили Екатерина подъезжает, видит Нарышкина, с которого струилась вода и говорит: «Что это ты, Левушка?» — «А что матушка! Ведь ты хотела мне вымыть голову. Зная, что у тебя и без моей головы много забот, я сам вымыл ее!» Все кончилось смехом. В другой раз пришел он во дворец, прикинувшись чрезвычайно встревоженным. — «Что с тобою сделалось, Левушка? — спросила Екатерина, — ты так грустен!» — «Матушка, — отвечал он, — жена меня гонит с белого света! Она требует, чтобы я платил долги! Да где это видано, матушка, чтоб придворный платил долги? От этого со стыда умрешь. Разведусь, разведусь с женою!» Долг был заплачен. Но какой? Екатерина возвращала ему только то, что он расточительною рукою рассыпал для родных увеселений.

Лев Александрович был еще гостеприимцем и угодителем всех азиатских народных старшин, приезжавших с поклоном к Екатерине или по делам. За столом было для каждого родное, любимое его блюдо. По пестроте разнообразных одежд различных племен, казалось, видишь не обед, а какой-то волшебный съезд из «Тысячи одной ночи». Хозяин азиатских своих гостей осыпал приветами и ласками, шутил, смешил их, забавлял музыкой и плясками. А они, возвратясь восвояси, говорили своим друзьям и родным: «Какая царица, какие у ней бояре!»

Такой голос раздавался и в кочевье калмыков и в степях киргиз-кайсаков. Чувство достоинства души своей глубоко запало в сердца тех племен кочующих, которые ска-

зали: «Лучше пальме быть вырванной с корнем, нежели переломленной: лучше человеку умереть, нежели жить в уничтожении». Ловила и Екатерина все случаи, чтобы торжественно показывать ему свой радушный привет. Был у него однажды бал и маскарад. Гремела музыка, танцевали под звуки польских Козловского, положенных на слова Державина; гремели клики:

Славься сим Екатерина,  
Славься, нежная к нам мать!

Внезапно и неожиданно является Екатерина в полном наряде царицы Натальи Кирилловны, подходит к хозяину и ласково приветствует его. Восхищенный хозяин бросается на колени, целует руку Екатерины и в слезах восклицает: «Матушка! Матушка!»

По выходе моем из корпуса, я при первом шаге в большой свет увидел, что буду в нем пришельцем и гостем.

По приказанию милостивца нашего семейства Л. А. Нарышкина я напечатал в корпусной типографии упомянутую песнь Великой Екатерине<sup>75</sup>, переплел в голубой атлас и представил ему первое мое печатное сочинение. В то же утро отправил он меня к князю П. А. Зубову с майором Петровым, служившим при дворцовой конюшне. В приемной князя было уже множество лиц и в мундирах, и во фраках. Нисколько не робея, но укрываясь от любопытных взоров, я стал в угол комнаты и закрыл шляпою мое сочинение, а мой услужливый путеводитель, как опытный знакомец с передними знатных, подбегал то к тому, то к другому с приветствиями и расспросами.

Я много уже читал о передних временщиков и думал: чего от них добиваются? Сегодня они все, а завтра вместе с их случайностью все исчезнет, и те самые раболопные поклонники, которые с такою жадностью ловили каждый его взгляд, первые забудут их. Кроме этого, кружились в голове моей и Рим, и Спарта, и Афины, где не знали передних и где, по словам одного французского поэта, «не нужно было ждать приказа молвить слово».

Тут, нечаянно оглянувшись, я увидел М. И. Кутузова, который стоял недалеко от дверей. В то время от князя вышел камердинер с подносом и с пустою шоколадною чашкою в руках. Кутузов поспешно подошел к нему и спросил по-французски: «Скоро ли выйдет князь?» — «Часа через два», — отвечал с важностью камердинер. А Кутузов, не отступавший от стен Очакова, ни от стен Измаила, смиренно стал на прежнее место. Досада закипела в моем юном сердце; я подошел к Петрову и сказал: «Я не стану более ждать!» Оторопев от этих слов, Петров спросил:

«А что же я доложу Льву Александровичу?» — «Что вам угодно, — отвечал я, — Кутузов, герой Мачинский и Измайльский, здесь ждет и не дожидается, а я что такое?» И я ушел. Часу в шестом вечера пришел я к Нарышкину. Он сидел на софе с каким-то незнакомым человеком: то был Державин. Увидя меня, Лев Александрович захохотал и сказал: «Гаврило Романович! посмотрите, вот этот Вольтеров гурон<sup>76</sup>, который бежал из приемной князя, он затеял там высчитывать послужной список Кутузова. Понатрется в свете — перестанет балагурить. Однако в песне его к Екатерине есть хорошие стихи»; и Лев Александрович прочитал наизусть следующее:

Ты отроком меня прияла,  
Ты разум мой образовала,  
Ты в сердце чувства влила;  
Благотворительной рукою  
Ты правила моей душою,  
Ты жизнь мне новую дала!

Державин похвалил эти стихи. Я был очень рад и, благодаря моей памяти, с восторгом начал наизусть читать его «Фелицу». Лев Александрович приговаривал: «Продолжай, продолжай, брат!» Лицо Державина дышало удовольствием, и слезы брызнули из глаз его при строфе:

Стремятся слез приятных реки  
Из глубины души моей;  
О, коль счастливы человеки  
Там должны быть судьбой своей,  
Где ангел кроткий, ангел мирный,  
Сокрытый в светлости порфирной,  
С небес ниспослан скипетр несть.

Державин поцеловал меня и сказал: «Питайте всегда эти чувства к государыне, это делает честь вам и вашему сердцу; но, — прибавил он, — передал ли вам В. А. Озеров мнение мое о ваших стихах?» Но, не дождавшись ответа, Лев Александрович спросил: «А что он, видно, и там что-нибудь напроказил? Уж не ударился ли он в политику?» Державин отвечал, что стихи мои не предосудительны, но что я часто слишком неосторожно увлекаюсь порывом воображения. — «То-то, брат, — сказал Лев Александрович, — воображение — бред; а до политики не касайся, это не твое дело. Наша политика в кабинете Екатерины. Она за нас думает и заботится. А наше дело — пировать да веселиться!» Был я в нескольких домах так называемого большого света, но нигде не слышал ни слова о делах европейских. Мысли и душа моя летели на родину.

*Везде я направлял мысль мою к сему вечному влиянию, которое видима-я природа производит на расположение духа и на судьбу человека.*

*Александр Гумбольдт*

*Toute ma jeunesse est réfugiée dans ton coeur\*.*

*Шатобриан*

В 1795 году, в половине января, по выходе из тогдашнего сухопутного кадетского корпуса, отправился я на родину, в Духовщинский уезд, с старшим братом моим Василием и с младшим Николаем, корпусным моим сопитомцем. Из нас, трех братьев, один я остался на шатких колесах нашего мира, так часто и в таких различных объемах, кружащегося без мира. Мне было тогда девятнадцать лет. Зима роскошествовала во всем великолепии своем. В стенах нашего училища бегали мы по двору и в саду в легоньких курточках, без шляп и в башмаках, подчас с такими же подметками, какими отличались сапоги бедняка Наполеона Бонапарта до 1793 года, то есть до первого удачного его батарейного выстрела под Тулоном. На все время и все на время! Но, бегая и по двору, и по саду, я видел снег, но не зиму. А за заставой, под ясным, голубым небосклоном мелькнули в глазах моих и рощи, и поля, и луга, и долины, блиставшие и изумрудами, и яхонтами, и топазами, словом, — очаровательными отблесками всех тех цветов, которые Ньютон с таким усилием заманивал в окна своего кабинета, но которые слово божие сотворило в одно быстрое мгновение.

Удивительная была картина зимы! То был блистательный праздник, которым она дарит глаза безденежно. Но когда один из таких зимних праздников поцарапал нос Дидероту, который перечитывал «Наказ» с Екатериною, он писал в Париж к приятелям своим: «Если будете на берегах Невы, то окутывайте плотнее лицо: русский мороз невежлив». Живи Дидерот в наш двенадцатый год, и он бы назвал наш мороз морозом убийственным. <...>

Как бы то ни было, теперь рассуждая, а в январе 1795 года с восторгом наслаждался полным разгулом зимы, которая блеском цветов своих не лелеяла глаз моих тринадцать лет. Мне и брату моему Николаю, нам душно было в кибитке. Новое зрелище земли и неба непрестанно

---

\* Вся юность моя переселилась в сердце мое (фр.).

заманивало нас к себе. Особенно мой сопитомец, как будто предчувствуя, что весна дней его померкнет с будущей весной, почти не заглядывал в повозку. На свободе, под открытым небом хотел он надыхаться жизнью. А у него в этой жизни была и душа, и жаркое чувство, и ум, и мысль зоркая; все это было и все промелькнуло мгновенным лучом в апреле того же 1795 года. Ему удалось только взглянуть на мать, на отца, услышать слова их любви, услышать первую песнь весеннего соловья, помолиться в родном храме и лечь у стен его, подле праха наших праотцев.

Быстро на светлый небосклон налетает грозная туча! То же бывает и на небосклоне нашей жизни. Едва блеснет улыбка на устах, а в глазах сверкают слезы. Но тогда сквозь радужное сияние восхитительной надежды не проглядывала к нам ни одна черта туманная. Сердца наши ликовали и летели на родину. В таком расположении духа остановились на покормку наших лошадей в селе Чудове. Старший наш брат был в бекеше, а мы в военных зеленых курточках. Неподалеку от нас сидели на полатах два оставшиеся солдата, обросшие уже бородами. В это время и в северной столице, и в окрестностях ее витала какая-то молва о новой войне. Поглядывая на нас, старые служивые (тогда слово «ветеран» не было еще в ходу) между собою говорили: «Вот и эту молодежь туда же отправят».

Тут вдруг один спросил товарища своего: «Да когда же кончится этот мятеж?» Другой, не запинаясь, наотрез отвечал: «Да как людей не будет» И теперь еще не удивлюсь этому быстрому, этому громоносному ответу. Сберите всех мыслителей нашего мира земного — они будут рассуждать о превратностях политических, о кипении страстей человеческих, о порывах духа завоевательного и так далее. Но человек безграмотный, простым смыслом, без всех околочностей к укрощению мятежа и волнению страстей превращает нашу земную вселенную в пустыню безлюдную. Поэзия ужасная! Но рассказ мой не выдумка, он напечатан был в 1805 году в журнале Брусилова в то самое время, когда наш Михаил Илларионович Кутузов, первый из русских полководцев, начал борьбу с Наполеоном в стране германской, где судьба определила ему и в 1813 году продолжать такую же борьбу и кончить жизнь.

С теплого их приюта мы пригласили добрых ветеранов к нам на чай. С нами, юношами, разгулялось воображение их, и память былого громко откликнулась; «нам обоим, — сказал один из них, — довелось быть под Кагулом, в карее генерала Племянникова, в которое тучею ястребиною влетели толпы янычар, поджидавшие нас в лощинах. Вскрикнув: «Алла! Алла!», они бросились на нас в кинжалы. Мы не то, чтобы дрогнули, но некогда было спохватиться.



Вдруг, откуда ни возьмись, на коне богатырском взвился граф Петр Александрович<sup>77</sup> полетом соколиным, подскочил к нам и воскликнул: «Ребята, стой!» И душа у нас встрепенулась и ноги как будто к земле приросли, и ни одна чалма не выбилась из карея».

Так говорил первый, а вот рассказ его товарища.

«С нашими русскими полками как будто нагрязнула под Очаков и зима русская: лиман замерз; а в день великого угодника божьего Николая<sup>78</sup> сказан был штурм. Мороз был трескучий, но сердца кипели отвагою. Вдруг раздалось в рядах наших: «Князь Григорий Александрович молится на батарее и плачет: ему жаль нас, солдатушек». Загремело: «Ура! с нами!» Мы полетели на валы, на стены — и крепости как будто и не было. А летом, когда еще турки храбрились, наш батюшка князь Григорий Александрович как будто для прогулки разъезжал под их батареями. Ядра сыпались, а он себе и не поморщится. Однажды подле него, рука об руку, убило ядром наповал генерала Синельникова, а на отца нашего не пала и порошинка. Видно, бог его за то и берег, что он себя нигде не берег, а об нас всегда жалел».

И это истина историческая. По случаю взятия Исаки князь Таврический в тогдашних военных известиях писал: «При столь важном происшествии милость к нам господня тем паче видна, что у нас не было ни одного убитого, ни раненого».

Рассказы наших чайных собеседников-ветеранов были, так сказать, продолжением и дополнением того, что мы слышали в стенах нашего корпуса. Были у нас старые служивые в прислугах при пушках, на учениях. Мы были окружены олицетворенными летописями времен Румянцева, Потемкина и Суворова. <...>

Дети одного семейства, на заре жизни рассеянные по различным местам и получившие различное воспитание, после долговременной разлуки встречаются, как будто посторонние и незнакомые. Так и с нами случилось. Я был воспитан в Петербурге, а брат мой Василий вырос дома и наездом учился в Шклове, в корпусе, учрежденном Семеном Гавриловичем Зоричем, устремленным на путь временного блеска князем Таврическим. Вечером, в первый день случайности своей, Зоричу дан был бал на одной петергофской даче. Гусар — удалец и красавец шутил, забрасывал турецкими словами, которые уловил в отважных схватках с оттоманскими наездниками, очаровывал всех ловкими движениями в венгерке и мазурке, и сам был очарован внезапным переходом из рядов гусарских в чертоги. Случайность его протекла, как тихая струя бесшумного ручейка. Ни при себе, ни после себя не оставил он никакого следа на поприще тогдашней политики, кото-

рая, повторяю слова Державина, не выходила из мощных дланей того исполина<sup>79</sup>, который осмелился взвесить силу росса и дух Екатерины. Но, уклоняясь в круг жизни частной, Зорич сделал то, чего не сделал ни один из временщиков ни прежде, ни после его. Он завел в Шклове корпус и этим заведением сблизил с собою дворян смоленских и белорусских. Труднее всего соблюдать во всем надлежащую середину. Китайцы, по их мнению, тысячи и тысячи лет доискиваются этой надлежащей середины. А потому и неудивительно, что ее не было ни в сухопутном корпусе, где я воспитывался, ни в корпусе шкловском, куда брат мой наезжал для мимолежного ученья. Сухопутный кадетский корпус был слишком затеснен стенами от большого и малого света, а корпус шкловский, подобно древней Спарте, вовсе был без стен. Корпус Зорича был и садом Гесперидским<sup>80</sup>, и волшебным замком тассовой Армиды. У роскошного владельца Шклова был непрестанный прилив и отлив гостей. Гремели концерты, шумели балы, были театральные представления, проскакивали и романические приключения. Из Шклова можно было отправляться в столицы в полном смысле человеком модного света. Но брат мой, заглядывая только в Шклов, свылся с деревней для деревни.

Между тем час от часу более приближались мы к родине нашей. 8-го февраля 1795 года мы увидели с окрестной высоты нашу родину. Светилось прекраснейшее зимнее утро. После тринадцатилетней разлуки с родным пепелищем завидеть над кровлею отцовскою струящийся дым в отблеске багряном—это можно чувствовать, а не описывать. Вот мы уже спускаемся с горы, и на звон колокольчика сбегаются и из деревни, и люди дворовые. Гремят общий голос: «Едут! Едут!» В ожидании нас, тринадцатилетних птенцов, слетевших с гнезда родного, съехались родные и родственницы. У крыльца быстрее молнии вылетел я из кибитки. В волнении душевном бегу в комнату. Никто не указал мне на родительницу мою. А каким образом очутился я у ног ее, и теперь не могу этого объяснить. Думаю только, что сердце мое угадало бы и среди тысячи женщин, хотя глаза мои простились с нею на шестом году жизни моей. С того восхитительного мгновения прошли десятки лет, но и теперь еще вполне живет оно в душе моей. Ни корпусная жизнь, ни смерть моих родителей не истребили их из моей памяти. Среди различных превратностей судьбы я счастлив в тот день, когда они мелькнули мне в сновидении. После первых восторгов свидания, когда я вышел в другую комнату, меня окружили прежние мои дворовые-сверстники, с которыми в ребячестве моем делил я игры и все, что у меня было. Тут же бросилась обнимать меня моя кормилица и, указывая на

своего сына, сказала: «Вот, батюшка, твой братец». И тогда же я породнился с ним этим чувством. И мне, и ему нужна была взаимная любовь, но я не мог так безусловно сблизиться с моим родным братом.

Я дышал новою жизнью, жизнью родственною. Небосклон родной был пределом мыслей и желаний моих. Видеть отца, мать, сестру, любоваться семилетним братом Федором, который, вытвердя многие места из «Владимира», трагедии Ф. П. Ключарева, читал их с жаром и с размахкою детских рук: вот что было тогда радостию обновленных моих дней.

Где лучше, как в семье своей! —

сказал И. И. Дмитриев. Я вполне это тогда чувствовал. Не заботился ни о службе, ни о будущем жребии моей жизни, ни о почестях, которые служа можно заслужить. Не так думали добрые родители мои: они предполагали, что сын их, девятнадцатилетний поручик, выйдет, как говорилось, в люди и будет чем-нибудь в свете. Так они думали, а эта мысль даже и мимоходом не западала в мой юношеский, в мой романтический ум. Душа моя, так сказать, поглощена была одним родственным чувством: ничто другое не примешивалось к нему. Иногда мною забавлялись как ребенком; я походил на выходца из какого-то другого света, откуда появился, не ведая и не зная, что делают и как живут в подлинном свете.

Сердце, полное жизни и любви, дорожит каждою ласкою, каждым словом радушным. Однажды шел я по деревне. Кормилица моя бросилась ко мне из избы, запросила к себе и усердно потчевала блинами, приправляя потчеванье веселостию и приветною речью. Убедила она меня завернуть к ней и на другой, и на третий день. Родительница моя узнала об этом и, смеясь, сказала: «Ведь ты этим отобьешь от дела и работы». Рубль серебряный был наградою кормилице за блины.

В первый раз познакомился с большим светом в Смоленске и там же в первый раз увидел у коменданта б<sup>а</sup>л. Зрелищем волшебным показался он мне, и я написал следующие стихи:

Великолепием прославлен град Петров,  
Москва веселия жилищем учинилась,  
А обладающа сердцами всех любовь  
С прелестной красотой — в Смоленске  
поселилась.

Этот привет в один вечер ознакомил меня со всеми. В стихах моих не было лжи! Смоленск действительно вели-

чался тогда красотою жительниц своих. Но, как говорит песня:

Все со временем проходит.

Сверх того, Смоленск, сближенный с Екатериною уроженцем своим князем Таврическим, цвел тогда двумя отраслями сельского хозяйства: продажею в Ригу хлеба и пеньки, особенно закупаемыми англичанами. <...>

Хотя родители мои были не в числе богачей, но я видел, что в первый приезд мой отправляли они домашние избытки к тем из соседей, которые не могли сами приехать, а другие получали пособие лично. И это происходило тогда по всем годовым праздникам. Быстро прошло двадцать дней со времени приезда нашего на родину, и на второй неделе великого поста попечительный мой отец со мною и братом, моим корпусным сопитомцем, решил ехать в Москву, чтобы выпросить нас в отпуск. <...>

В первых числах марта 1795 года в первый раз въехал я в Москву, но в какую? Не ехал Христофор Колумб по наклонению магнитной стрелки: сперва мысленно отыскал Новый Свет, потом открыл его. Ни по какому наклонению мыслей моих не мог я тогда отыскать Москвы в Москве. Прочитал я в корпусе в «Наталье, боярской дочери» <sup>81</sup> о граде престольном. Но это чтение быстро промелькнуло в памяти моей, загроможденной памятниками Рима и Афин. Счастливая звезда, которая сопровождала меня от Петербурга до родины, встретила меня и при первом шаге моем в Москве. Если б я в отроческих летах слышался о Кремле, о Красной площади, если бы слышал, что в Москве почти каждая улица есть страница историческая, то, верно, порывался бы взглянуть на нее с Поклонной еще горы, откуда представляется она в обширном объеме своем. Но я преспокойно сидел в углу кибитки и думал о родине. Ни большой колокол, ни исполинская пушка, ни колокольня Ивана Великого, ничто не возбуждало и не занимало моего любопытства. Несмотря на пустынное отношение памяти и мыслей моих к старинной и заветной матушке-Москве, сердце мое породнилось с ее гостеприимством. Приближаясь к церкви Смоленской божией матери, мы вышли из кибитки; отец наш остановился у наружной иконы Николая Чудотворца и осенился крестом; мы также перекрестились и вслед за ним пошли на Смоленский рынок осведомиться, где можно остановиться. Тут к нам подошел незнакомец в большой медвежьей шубе и сказал, обращаясь к отцу нашему:

— Вы, конечно, приезжие, вам нужна квартира?

— Точно так, — отвечал мой отец.

— Милости просим ко мне, — продолжал незнако-

мец, — у меня как будто бы нарочно для вашего приезда теперь опростались комнаты.

И радушный незнакомец взял отца под руку и повел к себе. Имя его Д. П. Беклемишев. Этот почтенный человек пострадал впоследствии от неудачных оборотов и от непомерного усердия своего. Он тогда рассказывал мне, что родственник его Беклемишев имел жаркую схватку в собрании депутатов в Москве с одним из сильных тогдашних временщиков. Одушевляясь званием депутата, Беклемишев праводушно объяснялся о необходимости твердого и положительного законоучреждения. Временщик закричал:

— Молчи, дерзкий!

— Молчи сам, — возразил Беклемишев, — жизнь мою оставил я за порогом палаты депутатской, и здесь вещаю словами правды, ибо от нас требуют правды.

Следовало бы мне об этом расспросить подробнее, но мне тогда и во сне не снилось, что буду когда-нибудь писать в России об России.

Беклемишев сообщил мне письменный отзыв графа А. Г. Орлова по случаю отказа его быть председателем палаты депутатов. Вот сущность этого отзыва: «Милостивые государи! Приношу вам глубочайшую благодарность за оказанную мне честь избранием меня в председатели палаты депутатов. Сия величайшая для меня почестъ доказывает, что вы обращаете внимание на скромную мою жизнь, но чем более уважаю сие избрание, тем более испытываю мою совесть и убеждаюсь, что я не способен поддерживать столь важное звание и признаю себя недостойным высокой чреды, на которую вы меня вызываете. Но вместе с вами и со всеми сынами России буду молить провидение, да увенчает оно трудное ваше дело повсеместным водворением правды и святости законов, споспешествующих общему нашему счастью, и дабы тем исполнилось намерение нашей монархии, предпочитающей счастье России собственной жизни».

Тогда ходила молва, будто бы жители отдаленных стран нашего отечества, прибывшие в Москву для присутствия в собрании, простодушно удивлялись, для чего нужны законы. Это просто шутка; о законах не думали тогда роскошные богачи, проматывавшие на прихоти пустого тщеславия труды поселян своих, но действия законов всегда страшились те, которые, заглушив голос совести, опасались, что рано или поздно правосудие сорвет личину с пронирливой их корысти.

Как сон, как сладкая мечта,  
Исчезла и моя уж младость <sup>82</sup>.

Но она некогда была, итак продолжаю об ней рассказ. К счастью, безостановочно дали нам отпуск, и мы

выехали из Москвы. Но несчастный ушиб, принудивший отца открыть кровь, задержал нас несколько под Вязьмой у одного из родных наших, от которого мы выехали на Страстной неделе. Дорога была несносная; по утру, в самое Светлое Воскресенье мы не приехали, а по непроходимой почти ростепели шагом черепашьим притащились в деревню нашу Пологи, бывшую верстах в двадцати от Суток. Тринадцать лет не встречали мы этого дня с матерью, а потому и просили отца нашего, чтобы поспешить в родные Сутоки. Он не мог удовлетворить нашей просьбы и по слабости здоровья, и по причине ужасной дороги. Но мы говорили, что пойдем пешком, что пролетим двадцать верст, чтобы только похристосоваться с матушкой.

Видя неотступную нашу просьбу, родитель мой сказал мне:

— Сергей! Я заказал в Москве чугунную доску для памятника, который хочу поставить на том месте, где императрица удостоила нас посещением своим, и где она соблаговолила собственной рукою записать в корпус тебя и брата твоего.

Быстро схватил я перо и написал следующее:

Дражайший памятник благополучных дней,  
Когда монархиня, достойна алтарей,  
Родителей моих жилище посетила  
И благости на них несметные излила!  
Ты будешь возвещать грядущим временам,  
Сколь снисходительна была царица к нам.

Мечта! мечта! И этот памятник при пожарных заревах 1812 года лег в прах земной. Но и тридцать четыре года не изгладили из души моей того восторга, когда мы с братом не пошли, а полетели на крыльях любви торопливой. На топких лугах мы увязли по колени; порыв сердечный все преодолевал. В полверсте от дома нашего кровь брызнула у меня из горла. Я остановился, обмылся из ручья, и мы, так сказать, перелетным взмахом влетели в комнаты и воскликнули:

— Христос воскрес, матушка!

Не требуйте от пера того, чего и сердце не может высказать!

Напрасно многие уверяют, что порывы душевные — бред и мечта. В глазах моих в зале корпусной умер один отец, обнимая сына своего после десятилетней разлуки.

Не знаю, как я не умер от радости, празднуя великий день на родине. Я тогда так был счастлив!..

На возвратном нашем пути на родину у брата Николая оказалось какое-то неодолимое влечение к воде. На Днепре, переходя по льду, он едва не утонул. В тот год весна была ранняя, и брат мой, отправляясь в гости к кому-ни-

будь из родных, всегда спрашивал, есть ли там речка. Наступил весенний праздник Георгия, храмовой праздник в нашем селе. Погода была ясная, хотя веял холодный ветерок. Мать наша, по слабости здоровья, легла после обеда отдохнуть. Отец мой ходил по двору и курил трубку. А я, гуляя под горою, на берегу ручья, мечтал с Стерном. Вдруг среди общего безмолвия раздался страшный крик: «Утонул, утонул! Николай Николаевич утонул!» Сестра моя гуляла в саду: ее несли в обмороке. Родитель мой молнией полетел к озеру, в отчаянии душевном бросился в него и был уже в нем по грудь. Насилу могли его удерживать. «Где он? Где он?» — вопиял горестный наш отец. Служитель мой Иван Яковлев, которому впоследствии дал я свободу и определил к московскому театру, объяснил мне, что погибший брат мой зазвал его купаться и, едва спустился с берега, пошел ко дну, и что он несколько раз нырял за ним, но тщетно. Раскинули невод, принесли багры, достали тело. Между тем, от шума и смятения мать наша выбежала на крыльцо, и что же увидела она? Мертвое тело юного сына ее, несомое на руках; того сына, который после тринадцати лет разлуки для того возвратился на родину, чтобы взглянуть на мать, на отца и умереть! Приехал врач, но было уже поздно. Не было и искры жизни.

Я окаменел от глубокой скорби, слезы замерли у меня в груди. Врач отворил мне кровь, которая едва струилась.

Разнеслась плачевная молва по соседству, съехались родные. Положено было предать тело земле на другой день. Мать наша лежала полумертвою; по временам туманно поглядывала и с тяжелым стоном вопияла: «Где он! Где он! Жив ли он?» И опять смыкала очи. Скрытно от нее, рано поутру повезли тленные останки в церковь. Я остался при матери, остались и некоторые родные. Несколько раз, приходя в себя, порывалась она в столовую, предполагая, что там тело покойника. Ее удерживали и говорили, что она еще успеет проститься. Ударил час пополуночи. Лицо ее покрылось ярким румянцем. «Вы обманываете меня! — сказала она, — вы обманываете меня! Николая погребают!» Она поверглась стремительно на колени, положила три земные поклона и прочитала «Отче наш»! Я слышал голос сердца, голос души! Я слышал моление матери. Я упал на колени, молился, рыдал, и мне казалось, что камень оторвался от стесненной груди моей. Кто сказал матери, что в тот самый миг сына ее опускали в могилу? Кто сказал ей о том? Сердце матери! Милый брат и сопитомец! Не стану оплакивать ранней твоей кончины; ты много не испытал, не боролся ни с собственным своим сердцем, ни с превратностями судьбы, не испытал ты и горестного гонения страстей человеческих. Брат мой

был моложе меня годом и питал в душе чувствительность добродетели. Никогда не огорчал он меня, но я в стенах корпуса огорчал его иногда упреками за пренебрежение французского языка. Читая одни русские книги, он озабочился с душою родного слова. Я мечтал, а он рассуждал. Постоянное чтение истории сблизило с ним предварительный опыт. Я смотрел на все сквозь лучи радужные; взгляд его на общество был верный, но не порицательный.

В это время родственник мой, занимавший в Смоленске чреду почетного чиновника, отправлялся на берега Невы по делу, в которое вовлекли его неприязненные попреки. Нужно было лично поклониться сильному временщику и отыскать благоволение. Повторяю и здесь, что Екатерина сама сознавалась, что и после издания «Учреждения о губерниях» все еще настояла нужда ездить в северную столицу для отыскания покровительства.

Для рассеяния меня отпустили с родственником моим. В это счастливое время и слухом еще не слышал я, что такое суды и для чего они существуют. Роковой жребий знакомства с ними таился вдали будущего, откуда, как после увидят, таким ударил налетом перунным, что я не в стихах, а просто в прозе завидовал брату моему, отошедшему в могилу до встречи с тяжбою и ябедою. Но, повторяю еще, тогда все это скрывалось вдали недоступной мысли моей.

Горе тому, кому довелось на туманном западе жизни искать и отыскивать. Под бременем этой пытки родственник мой изнемог и умер. Он меня любил и уверял, будто бы я не разбогатею и от золотого руна. Простясь с прахом его, я отправился в Москву, где находились вновь составленные московские батальоны, куда я назначен был при выпуске из корпуса. Во второй раз для меня Москвы не было в Москве. Русское было далеко от моих мыслей, а в настоящем затерялся я в области так называемого большого света, так же далеко от древней Москвы и от старобытной России.

Войска, бывшие тогда в Москве, состояли под начальством князя Юрия Владимировича Долгорукова. Являюсь к князю. Лицо его показалось мне угрюмым, но радушная ласка осветила его. «Останься, брат, при мне, — сказал князь, — а я дам сведение в ваш батальон, что оставляю тебя при себе. Твой корпусный однокорытник Монахтин у меня живет».

В первую еще битву в Семилетнюю войну, то есть в августе 1756 года, князь Юрий служил в гвардии и был ранен. Не величаю личной его храбрости. Скажу только, что в свое время отличался он и сведениями военными, и знанием языков, и расторопностью дипломатической,



а потому, по настоянию графа Алексея Григорьевича Орлова, и был употреблен он в тайную экспедицию военно-дипломатических посольств в Черную гору. <...>

Радушный князь Юрий Владимирович принял меня в число адъютантов своих. И я зажил у князя, как в родном доме. Штат князя Юрия Владимировича составлен был из отличных молодых людей того времени. Два брата Апухтины были из первых остроумников. Алексей Михайлович Пушкин, по беглости и гибкости ума своего, говоря тогдашнею речью, был первый хват в Москве. Хват значило в то время молодец на все руки. Он забрасывал и русскими и французскими *bons mots* (острыми словами). В этом мире я был совершенно новичком, а потому как можно менее говорил, боясь обмолвиться. Но как ни умудряйся, а подчас от беды не уйдешь: попал и я впросак, и вот таким образом. Дочь князя превосходно выучилась у иностранца Кинеля музыке и живописи. Мне вздумалось на одну из ее картин скропать французские стихи, в которых, с восточною надутостью слога, я назвал ее *la perle des princesses*\*. Досталось мне от остряков моих товарищей за эту восточную жемчужину! И поделом.

Чтоб глупо не упасть и чтоб не осрамиться,  
Так лучше не в свои нам сани не садиться.

В гостеприимном доме князя Юрия Владимировича судьба дала мне в соседи ловкого актера того времени — Силу Николаевича Сандунова. По пылкости, живости, деятельности и изворотливости ума его можно назвать русским Бомарше. Рассказ о тогдашней Москве начну с нового моего знакомства. Обстоятельства женитьбы его сливаются с напоминаниями века Екатерины II. В молодости своей С. Н. Сандунов был ловким актером и на театре, и в обществе. Не зная французского языка, острыми русскими шутками смешил он бар и большой свет, а иногда и крепко задевал их своими колкостями. Но вдруг впал он в глубокую задумчивость. Лиза, поступившая на Большой Эрмитажный театр императрицы, заполонила его сердце. Но у него был опасный соперник и по важному месту, и по отличным способностям гибкого ума. Но этот делец-вельможа, говоря словами Державина:

Сегодня обладал собою,  
А завтра прихотям был раб<sup>83</sup>.

Ведя холостую жизнь, он любил на досуге попировать с приятелями в трактире и, оставляя за порогом свою по-

---

\* Жемчужиной принцесс (фр.).

четность, уравнивал там всех с собою ласкою и приветом. Страстно также любил он общественные увеселения, особенно театр и маскарады.

Силен был этот вельможа, но в деле соперничества вышло иначе. Сердце Лизы отдано было Сандунову. «В это ужасное время, — говорил мне Сандунов, — часто приходила мне в голову мысль о самоубийстве; но это пагубное средство я всегда почитал трусостью, а не отважностью. Невольно, однако же, изнемогал я иногда духом и однажды, когда я читал «Вертера» Гете, торопливо вошла ко мне Лиза, взглянула на книгу, вырвала ее из моих рук и сказала: «Полно тебе дурачиться, может быть, сегодня будем мы счастливы. Вечером я играю в Эрмитаже «Федула с детьми» — сочинение императрицы. Возьми перо и пиши к государыне прошение о нашем браке. Ты знаешь, как государыня любит эту оперу. Может быть, мне удастся ей угодить; подам нашу просьбу, а ты будь в это время за кулисами».

«Федул с детьми» была любимую оперою Екатерины из всех театральных представлений. В этот вечер Лиза превзошла сама себя. Сочинительница, очарованная ее игрою, была вне себя от восхищения. Рукоплескания не умолкали. После представления Екатерина допустила Лизу к руке, а она бросилась на колени и вскричала: «Матушка! Матушка-царица! Спаси меня!» С этими словами вручила она Екатерине бумагу, в которой жаловалась, что сильный вельможа, преследующий ее, препятствует ей выйти замуж за С. Н. Сандунова. В этот миг выбежал из-за кулис Сандунов и стал также на колени. Прочитав прошение, Екатерина сказала: «Все уладится, будьте спокойны и не заботьтесь о приданом».

Приданое готовилось, а Екатерина по этому случаю сочинила для Лизы песню:

Как красавица одевалась,  
Одевалась, снаряжалась,  
Для милого друга  
Жданого супруга.  
Все подружки  
Друг от дружки  
Ей старались угодить,  
Чтоб скорее снарядить.  
Лизу все они любили,  
Сердцем все ее дарили  
За ласку, любовь,  
За доброе сердце;  
А доброе сердце  
Всего нам милей!

Трудно жить и уживаться в этом свете не только в горе, но и в радостях, и в счастье. Началась новая борьба.

Около людей случайных, на посылках их прихотей и страстей, кружится всегда рой раболепных прислужников. На Сандунова нападали со всех сторон, чернили, сердили, выводили из терпения. Но у него были тогда два вспомогательные войска — восторг счастливой любви и театральная слава жены его. Вскоре после этого в особенной чести на театре была опера «Редкая вещь», переведенная с итальянского актером Дмитревским, который в Лондоне удивлял Гаррика, а в Париже играл в вольтеровой «Заире» Оросмана, дожил до нашего 1812 года, почти ста лет явился на театре в драме «Ополчение» и умер в повторении исторических веков. В этой опере Сандунова представляла крестьянку. Богач, городской волокита, увиваясь около нее, обольщает ее драгоценными подарками. Она взяла из рук его кошелек и отвечала арией:

Перестаньте льститься ложно  
И думать так безбожно,  
Что деньгами возможно  
В любовь к себе склонить.  
За деньги золотые,  
За камни дорогие  
Красавицы градские  
Вас могут полюбить,  
А нас корысть не льстит.

И при этом слове она бросила кошелек к той стороне, где каждый раз сидел в ложе раздосадованный вельможа-обожатель (Безбородко). Громко хлопали зрители, хлопал, сжав сердце, и сиятельный вельможа, который, при обширном уме и удивительной памяти, уподоблялся, в разгуле страстей, современнику своему Фоксу, который метал пламенные перуны на соперника своего Питта. Но всему есть предел. Сандунова до того довели, что он, по собственным словам, решился бежать из Петербурга в Москву; а по этому случаю, прощаясь с зрителями, он отважился прочитать стихи, сочиненные Клушиным, издателем «Меркурия» и сотрудником в «Зрителе» Крылова. Главную мысль этих стихов было то, что Сандунов не хочет оставаться долее там,

Где бары и бароны  
Готовы рассыпать Лизеттам миллионы.

Миллионы, вероятно, причтены для рифмы. Переселясь в Москву, Сандунов отдал в Воспитательный Дом, в пользу сирот, все петербургские драгоценности, полученные преждею Лизою. Его называли скрягою, но это неправда. Скряга прячет за замки и деньги, и душу свою, а Сандунов трудовые свои деньги расточил на пользу обществу.

Напротив дома своего, на Трубе, выстроил он бани на славу, с приличными отделениями для всех сословий, и все его благодарили. Справедливо только то, что он приучал жену свою к самому мелочному хозяйству. В ней как будто были две женщины. Одна — актриса, восхищавшая игрою и голосом зрителей, а другая — в обществе чрезвычайно робкая и безгласная. Однажды за обедом князь Юрий Владимирович, указывая на нее, сказал: «Нашу Елизавету Семеновну можно уподобить фельдмаршалу Лаудону. В мирное время он как будто робел пред каждым человеком и не мог промолвить ни одного слова, а в сражениях был герой и летал, как орел. Елизавету Семеновну никто в комнате не узнает, она сидит, притаившись, и боится промолвить слово, но на театре за ее быстрою игрою и голосом не поспевают наши рукоплескания». А С. Н. Сандунов был ловким, умным и искусным актером и на театре, и в комнате. Казалось, что он никогда не сходил со сцены. Но живая, ловкая Сандунова как будто бы сама в себе исчезала, переходя из театра в комнату. Каждый день виделся я с Сандуновым. Нас разделяла одна только стена. Весело было смотреть на счастливую чету, но грозный приговор судьбы пал и на Сандунова. В вихре нашего света счастье — быстрая перемена театральных декораций. <...>

## XII

У С. Н. Сандунова познакомился с Н. М. Шатровым. Не учась нигде, он стал на степень поэтов-самоучек. Русское слово, славянское наречие и природа — были его наставниками. Напрасно классики затягивают под свои знамена Буало — он наотрез сказал: «Кто не родился под звездою поэзии, тот не будет поэтом». С запасом метафор недалеко уедешь. Ум говорит уму, сердце — сердцу, душа — душе. Простолюдину Шекспиру природа открыла все тайны сердца человеческого. Кому предоставлено читать в великой книге природы, всегда отверстой для духа творческого; кому предоставлено уловлять переливные движения сердца и души человеческой — тот выразится языком вдохновения. Шатров не знает иностранных языков, но в стихотворениях его — общий объем мыслей. Дидерот, в бытность свою в Петербурге, где перечитывал с Екатериною «Наказ» ее, узнав, что Василий Майков, сочинитель проказных поэм, не сведущ ни в живых, ни в мертвых языках, упросил Александра Ильича Бибикова перевести для него несколько страниц из Майкова.

— Я хочу видеть, — сказал Дидерот, — как предлагает и соображает мысли писатель, не знающий французского языка.

Бибииков перевел, а Дидерот и в переводе нашел тот же ход мыслей, как и во французском языке. <...>

Знакомство с Шатровым повело меня к знакомству с Николаем Петровичем Николаевым. На заре жизни померкло зрение его, но ум всегда ярко светил. Чем была Антигона для Эдипа, тем Шатров был для Николаева: везде он был его вожатым. Врачи говорили ему, что от частого смотрения на слепоту он сам со временем ослепнет. От этого ли, или от чего другого, а предречение сбылось. На западе жизни Шатров погрузился в потемки оссиановские. Но подвиг его дружбы достоин жить в летописях друзей.

Николева можно назвать поэтом-метафизиком. Он чрезвычайно любил и в произведениях своих, и в разговорах, блиставших какою-то живою новостью, изворачивать и раздроблять мысли. Дурную оказали ему услугу напечатанием сочинений в четырех огромных частях<sup>84</sup>, не отбросив даже и грехов его юности. Но утвердительно можно сказать, что избранные сочинения Н. П. Николаева никогда не поблекнут в области русской словесности. О слоге его можно выразиться по-французски: *Son style est pourgi de pensées* \*. Оболочка мыслей, то есть слог, разнообразится и отцветает; душа мыслей бессмертна, как мысль. Любя раздробление мыслей, Николаев называл Державина поэтом внешней природы. Внешнюю же природу называл он корою, по которой ум скользит, но не останавливается. При таком уме Николаев старался воздерживаться от острых и язвительных шуток. Однажды только явно изменил он своему правилу. По случаю издания «Аонид»<sup>85</sup> был торжественный обед у Н. М. Карамзина; за столом при заздравном кубке за будущий успех «Аонид» главный издатель их Карамзин сказал: «Кто в наше время напишет вялый и водяной стих, тому именным указом должно запретить писать стихи». Николаев с хитроумною улыбкою возразил: «Об нас что говорить: мы что за поэты. Но, Николай Михайлович, вам бы надобно пощадить себя».

И Николаеву, в свою очередь, Мельпомена подносила венцы. Играли трагедию его «Сорену». При резких выходках против тиранов и тиранства раздавались громкие рукоплескания. Но нашлись люди услужливые, которые, приехав из театра к тогдашнему градоначальнику графу Брюсу, так настращали его трагедиею Николаева, что он запретил вторичное представление и извещал императрицу, что принял эту меру по причине многих стихов о тиранах и тиранстве. Екатерина отвечала графу:

«Запрещение трагедии «Сорены» удивило меня. Вы пишете, что в ней вооружаются против тиранов и тиранст-

---

\* Его стиль — пища для мыслей (фр.).

ва. Но я всегда старалась и стараюсь быть матерью народа. А потому и предписываю отнюдь не запрещать представления «Сорены». <...>

Модный московский свет, наряду с петербургским, размежевался на два отделения: в одном отличались англомамы, в другом — галломаны. В Петербурге было более англоманов, то есть любителей поверий английских; в Москве более было галломанов. В модных домах появились будуары, диваны, и с ними начались истерики, мигрени, спазмы и т. д.

Из обветшалой Франции XVIII столетия нахлынуло к нам волокитство, вместе с Доратами, Парни и так называемую любезностью петиметров<sup>86</sup>.

Как будто бы для сбережения своих сердец, щеголихи большого света надели золотые цепи. Это, однако же, была не парижская мода, а своя — московская. В утренние разезды и на обеды ездили с гайдуками, скороходами, на быстрых четвернях и шестернях.

Вечером — домашние театры, где большею частию играли французские комедии, балы и маскарады; по воскресеньям и в праздничные дни под Донским были кулачные схватки, пляски, хоры песельников и санный бег. В честь победителя раздавались рукоплескания. По ночам кипел банк. <...>

Князь Юрий Владимирович Долгорукий был государственный и военный человек, но у него в доме не было ни одного иностранного журнала, ни одного листочка заграничных ведомостей. По утрам занимался он своей должностью, знал обо всех происшествиях московских, наблюдал обстоятельства петербургские; после обеда и вечером играл в бостон, и не слышно было ни одного слова о действиях войны европейской. О чем же говорили мы, молодые его адъютанты, между собою? О балах, театрах и маскарадах. Я был у князя Юрия Владимировича на вестях благотворения, принимал прошения от немущих, представлял общий доклад князю и развозил пособия его. <...>

В первый раз услышал я от него об имени Наполеона, когда он был уже первым консулом и когда разнеслась молва об адской машине. «Англичане, — сказал князь, — нарушили права народные и человечества, посягнув так бесчестно на жизнь генерала Бонапарта». Многие у нас приписывали это англичанам, но это событие и теперь еще не разгадано. В исходе 1795 года князь Юрий Владимирович занят был единственно событиями отечественными. Он явно был против похода в Персию.

«Зубов, — говорил он, — хочет вписать брата своего в число героев и всеми силами домогается открыть ему

путь туда, где Петр I воевал по нужде и покорил Дербент; но теперь эта война вовсе бесполезна. Если б и родной отец одобрял ее, я бы и с ним не согласился». У Зубова были в Москве свои приверженцы, и молва о мнении князя долетела в Петербург. Между ними вспыхнуло неудовольствие, князь подал в отставку и был предварительно извещен об увольнении от свояка своего, графа Н. И. Салтыкова.

Князь стоял у камина, когда получил это известие. «Я бы еще послужил, — сказал он, — но не хочу связываться с Зубовым». Обратясь ко мне, промолвил: «Ты, брат, возьми отпуск, ты давно не был у своих; я знаю, что московские батальоны не пойдут в поход. Княгиня даст гостинец для твоей матери. Стыдно было бы из нашего дома отпустить тебя с пустыми руками». И я получил отпуск. <...>

## ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА ЛЬВОВА

2.IX.1788—28.XII.1864



Однажды, в конце 70-х годов прошлого века филолог Иван Васильевич Помяловский купил в одной из букинистических лавок Петербурга три переплетенные рукописные тетрадки небольшого формата. Придя домой, он с любопытством взглянул в них и зачитался: старинные анекдоты из русской жизни XVIII века перемежались с рассказами о недавних событиях Крымской войны, героической обороне Севастополя. Здесь было много имен и кратких, но выразительных характеристик известных писателей, государственных и военных деятелей. При этом характеры знаменитых людей представляли в каком-то милом, домашнем, неофициальном освещении, раскрываясь в поступке, слове, жесте, душевном порыве. Автор рукописи не комментировал, как правило, своих историй и анекдотов, словно предоставляя их на суд неведомому читателю. Семейные предания занятно смешивались здесь с преданиями историческими. Эти отрывки, не связанные ни хронологией, ни сюжетами, создавали тем не менее впечатление единого целого, потому что давали представление о разных эпохах, о быте и нравах (в особенности—о нравах) старой России и представляли историю с какой-то неожиданной и совсем нетрадиционной стороны. Интересно было и то, что увиденное собственными глазами соседствовало в рукописи с преданиями, по-видимому, передававшимися из уст в уста.

Тетрадки были исписаны женской рукою. Заглавие первой гласило: «Некоторые анекдоты людей известных, умных и по душе приятных. 1854 года 12 октября. Первая часть». Другая называлась: «Продолжение анекдотов,—часть вторая». Третьей части не было, зато было окончание: «Продолжение анекдотов,—часть четвертая». Написано все было в старинной манере, напоминающей XVIII столетие. Фамилии автора нигде не было.

И. В. Помяловский отнес тетрадки в журнал «Русская старина» и передал их редактору журнала М. И. Семевскому, который и догадался, что рукопись принадлежит



Е. Н. Львовой. Догадка возникла потому, что в тетрадках особенно часто и любовно упоминались члены большой и разветвленной семьи Львовых.

\* \* \*

Отцом Елизаветы Николаевны был Николай Александрович Львов, известный своими разносторонними дарованиями. Он писал стихи и пьесы, рисовал, был архитектором, горным мастером и даже инженером-строителем. При всем том его отличало необыкновенно развитое чувство изящного. Когда-то, как и многие другие юноши его круга и возраста, он был пламенно влюблен в Марию Алексеевну Дьякову, вторую дочь обер-прокурора Сената Алексея Афанасьевича. Мария Алексеевна получила прекрасное по тем временам образование, отлично говорила по-французски, но по-русски писала с ошибками. Была она редкой красоты и еще более редких душевных качеств. Лучшие художники того времени — В. Л. Боровиковский и Д. Г. Левицкий — писали ее портреты. Родители Марии Алексеевны ухаживаний Львова не поощряли: то ли казался он им слишком беден, то ли карьера его внушала им сомнения, но они ни за что не хотели отдать за него дочь. Мария Алексеевна и Львов тайно венчались; им помог В. В. Капнист, собиравшийся жениться на другой дочери Дьякова, Александре.

Вскоре после венчания Львов уехал за границу, и только по возвращении оттуда, через 2 года, раскрыл родителям жены тайну. Гроза миновала.

Н. А. Львов много путешествовал, несколько раз бывал за границей и неустанно занимался самообразованием. Он так преуспел в этом, что Российская академия избрала его в 1783 году своим почетным членом. Инициативный и энергичный, изобретатель по натуре и призванию, Львов разработал в 1797 году простой и экономичный способ постройки глинобитных домов, сумев заинтересовать этим Павла I. По указу императора тогда же было учреждено училище земляного битного строения, а Львов стал его директором.

Можно легко предположить, что Львов, страстно увлеченный науками и искусствами, дал прекрасное воспитание своим детям. Елизавета Николаевна не только говорила и писала по-французски, но столь же хорошо владела и родным языком, что в ее кругу встречалось в ту пору не так уж часто. От отца унаследовала она изящество мысли и слога и любовь к прекрасному. Лизе было 15 лет, когда отец ее умер. Это было большой потерей для семьи, близких, друзей: все любили и ценили умного, обаятельного, всегда благожелательного Львова. Мать Елизаветы

Николаевны не на много пережила своего мужа: через четыре года похоронили и ее. Трех сестер Львовых — Лизу, Веру и Прасковью — взяла к себе тетка Дарья Алексеевна Державина. Она была бездетна и очень привязалась к ним. Опечаленный Гавриил Романович почтил память свояченицы стихотворением «Поминки», в конце которого живо выразил свою радость по поводу присутствия в его доме сестер Львовых:

Победительница смертных,  
Не имея сил терпеть  
Красоты побед несметных,  
Поразила Майну — смерть.  
Возрыдали вокруг эроты,  
Всплакал, возрыдал и я;  
Музы, зря на мрачны ноты,  
Пели гимн ей, — и моя  
Горесть повторяла лира.  
Убежала радость прочь,  
Прелести сокрылись мира,  
Тишина и черна ночь  
Скутали мой дом в запоны,  
От земли и от небес  
Слышны только эха стоны;  
Плачем мы — и плачет лес;  
Воем мы — и воют горы.

В этом горе племянницы были для него светом радости, живым продолжением их матери. Поэтому конец стихотворения был уже не так печален:

И из праха возникают  
Се три розы, сплетшись в куст,  
Веселят, благоухают,  
Разгоняют мрачну грусть.

Любимицей Державина стала Лиза. Именно ей летом 1809 года начал он диктовать объяснения к своим стихотворениям. Ему было приятно перебирать в памяти подробности своей жизни; ей — интересно записывать. Общение с Державиным обогащало ее душу; записывая под его диктовку объяснения, она научилась ценить литературный факт и анекдот, бытовые мелочи и остроумное слово. Все это пригодилось ей потом, много лет спустя, когда она стала писать свои записки. Кто знает, может быть, работа с Державиным и вдохновила ее на это трудное и полезное дело?

В 1810 году Елизавета Николаевна вышла замуж за двоюродного брата своего отца Федора Петровича Львова. Федор Петрович был вдов, на попечении его после смерти первой жены осталось несколько детей. Хотя Елизавета Николаевна была на 22 года моложе Ф. П. Львова, но за-

менила его детям мать. Особенно она была дружна со старшим своим пасынком Алексеем Федоровичем, который стал впоследствии композитором и скрипачом. Его игра на скрипке поразила Роберта Шумана, и после одного из выступлений А. Ф. Львова он написал: «Если в России играют так, как господин Львов, то всем нам надо ехать в Россию не учиться, а учить». Елизавета Николаевна всегда гордилась успехами и славой Алексея Федоровича.

Муж Елизаветы Николаевны был тоже не чужд искусству и, достигнув больших чинов в государственной службе, не оставлял сочинительства. Стихотворения он писал в сентиментально-патриотическом духе, талантом не блистал. Однако снисходительный Гавриил Романович не раз хвалил его, донельзя ценя родственников и постоянно им покровительствуя. Уже после смерти Державина Федор Петрович издал сборник своих стихотворений «Часы свободы в молодости» (СПб., 1831, ч. 1—2). Ему же обязаны мы и появлением в свет «Объяснений на сочинения Державина». Их Львов опубликовал в 1835 году.

Елизавета Николаевна овдовела в 1835 году. Она намного пережила мужа и, судя по ее запискам, до самой смерти сохранила прекрасную память, живой интерес к происходящим событиям, острый ум и наблюдательность.

В обзорной статье «"Русская старина" в 1880 году» М. И. Семевский писал, что к запискам Львовой «следует относиться с надлежащей осмотрительностью, так как подобного рода сообщения—не более как записи слухов, вестей, а потому нередко и грешат против исторической правды; но при всем том, как отголоски духа времени и нередко свидетельства общественного мнения о тех или других деятелях, они не могут не обращать внимания исследователя быта общества в разные эпохи и биографа достопамятных деятелей»\*. А также всех тех, кто интересуется отечественной литературой и историей.

#### ЛИТЕРАТУРА

<Семевский М. И. Предисловие к «Запискам Е. Н. Львовой».— «Русская старина», 1880, № 3, с. 635—636.

Коплан Б. И. К истории жизни и творчества Н. А. Львова.— «Известия АН СССР», 1927, № 7—8, с. 699—726.

---

\* <Семевский М. И.> «Русская старина» в 1880 году.— «Русская старина», 1880, № 12, с. 1072—1073.

**РАССКАЗЫ, ЗАМЕТКИ И АНЕКДОТЫ ИЗ ЗАПИСОК  
ЕЛИЗАВЕТЫ НИКОЛАЕВНЫ ЛЬВОВОЙ**

**ИМПЕРАТОР ПЕТР I И КН. ЯКОВ ДОЛГОРУКИЙ**

В царствование государя Петра князь Долгорукий, будучи сенатором, приезжает в Сенат, где было экстраординарное собрание в день праздничный и ему показывают подписанный указ государем императором для наложения особого налога на соль, потому что царю деньги были нужны. Князь Долгорукий, живо представляя себе, как будут роптать на указ, не мог воздержать первого чувства, по любви его беспредельной к государю взял указ, разорвал его, сел в свою повозку и поехал к обеду. Приезжает государь в Сенат и первую вещь видит разорванный свой указ; чрезвычайно рассердившись, приказал послать в церковь за Долгоруким; обедня еще не отошла, и он царским посланным отвечал: «Воздадите кесарю кесареви, а богу богу». Ответ сей еще более разгневал царя и, увидя чрез несколько минут, что Долгорукий подъезжает к Сенату, царь Петр с обнаженною шпагой выбежал к нему навстречу. Князь упал пред ним на колени и раскрыл свою грудь.

— Рази, государь, — сказал он ему, — вот грудь моя! Но выслушай меня прежде: тебе нужны деньги для продовольствия твоей армии и для этого ты хотел наложить налог, что родило бы ропот на тебя; моя душа этого не вытерпела; и без налога продовольствие армии будет; у Шереметева сто тысяч четвертей муки, у меня столько же, сотоварищи наши отдадут тебе, что могут, и больше тебе ничего не нужно.

Государь поднял Долгорукого, расцеловал его и неоднократно просил у него прощения.

**ФЕДОР СОЙМОНОВ**

При императрице Анне Иоанновне Бирон был всемогущ и все его боялись. Федор Иванович Соймонов был тогда уже александровский кавалер; ему приходится сказать в одно утро: «Не ездь в Сенат, потому что там читать будут дело Бирона и ты пойдешь против».

— Поеду, — отвечал Федор Иванович, — и буду говорить против: дело незаконное.

— Тебя сошлют в Сибирь.

— И там люди живут, — отвечал Соймонов.

Поехал в Сенат, говорил против Бирона и от этого четыре раза был ударен кнутом на площади, лишен всего

и сослан в Сибирь. Императрица Елизавета Петровна, вошед на престол, поспешила Федора Ивановича воротить и отдала ему все почести и всю свою доверенность.

## ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II

Однажды государыня Екатерина, будучи в Царском Селе, почувствовала себя нехорошо; приехал Рожерсон, ее любимый доктор, и нашел необходимым ей пустить кровь, что и сделано было тотчас.

В это самое время докладывают государыне, что приехал из Петербурга граф Александр Андреевич Безбородко узнать о ее здоровье.

Императрица приказала его принять.

Лишь только граф Безбородко вошел, императрица Екатерина, смеясь ему сказала:

— Теперь все пойдет лучше: последнюю кровь немецкую выпустила.

Вы знаете, что в сочельник, канун Рождества Христова, простолюдины не едят «до звезды», в память той звезды, которую увидели волхвы на востоке, как родился Спаситель. В то время уже многие завидовали уму и положению Суворова при дворе императрицы Екатерины, которая была к нему очень милостива и желала непременно к празднику пожаловать ему святого Андрея Первозванного знаки<sup>1</sup>, но завистники Суворова отклонить умели царицу, и она его сим орденом не украсила, а Суворов уже уведомлен был об этом, и, как будто в вознаграждение, пригласила Суворова к ней в самый сочельник кушать. Сели за стол; граф ничего не кушал и салфетки не снимал; государыня, приметя это, спросила причину.

— Звезды не вижу, ваше величество, — отвечал Суворов.

Императрица усмехнулась, встала из-за стола, взяла свою Андреевскую звезду<sup>2</sup> и положила Суворову на тарелку, сказав:

— Ну, теперь кушать будешь, граф.

Имея привычку очень рано вставать, императрица Екатерина часто сама разводила огонь в своем камельке, не желая беспокоить никого из ее прислужников; у лампадки своей зажигала свечи и садилась работать в тишине; теперь еще мы восхищаемся, читая, что она в эти часы своею рукой оставила нам написанное. Однажды проснувшись, увидя, что лампадка ее погасла, она тихонько отворяет дверь в соседнюю комнату; часовой, стоявший у дверей, не ожидая видеть царицу, а может быть, и вздремнув

на часах, отдал ей честь ружьем, но лишь ударил им об пол, ружье выстрелило и пуля ударилась в потолок. Кажется, как бы в эту минуту в тишине ночной не испугаться, услыша выстрел? Но государыня не потеряла ни сколько присутствия духа, твердо сказала только часовому:

— Зачем у тебя ружье было не в порядке?

Вот что рассказал мне граф Николай Петрович Румянцев, которого отец так близок был к императрице Екатерине: однажды в большой праздник, за столом, один из пажей, служа императрице, наступил на ее кружева и разорвал. Императрица сделала маленькое движение в досаде; паж так испугался, что тарелку супа пролил на ее платье. Она засмеялась и сказала:

— Vous m'avez puni de ma vivacité\*.

Хемницер, сочинитель первых наших басен русских, которые он поднес маменьке моей, когда она еще была не замужем, был самый близкий знакомый и приятель всему кругу моих родителей; его все любили, почитали как добрейшего человека; кротости был необыкновенной, но так рассеян, что часто друзья его клали ему в карман салфетку на место платка носового, останавливали его как вора, укрывшего ложку серебряную, и много подобных делали над ним шуток; он все с великим терпением выносил и кроткою улыбкой наказывал тех, которые поднимали его насмех; вечно был в кругу богатых и значущих людей и вечно нуждался в жизни; служил в Смирне консулом и уважаем был всеми и, наконец, скончался в крайней нужде.

Н. А. Львов сделал ему памятник с этою надписью:

Жил честно, целый век трудился  
И умер гол, как гол родился.

Государь Павел, будучи в Москве во время коронации, сказал однажды при Н. А. Львове:

— Как желал бы я иметь хороший план Москвы.

Через несколько времени Львов ему его подносит гравированный отлично, со всеми подробностями, кругленький, в ладонь величииной. Государь был в восхищении; обнял своего «кума», вышел из кабинета и сказал тут стоящим:

— Отгадайте, что мне Львов положил на ладонь?—  
Москву.

— Что мудреного, ваше величество, — сказал Н. А. Львов, — когда у вас Россия под рукой!

---

\* Ты меня наказал за мою живость (фр.).

## КАСКАД В ГАТЧИНЕ

Николай Александрович Львов, рожденный с необыкновенными дарованиями, имел еще ко всему этому дар употребить всякую ничтожную вещь в пользу и в украшение; поэтому вы можете судить, как он примечал все; однажды, гуляя с Обольяниновым по Гатчине, он заметил ключ, из которого вытекал ручеек самый прекрасный.

— Из этого, — сказал он Обольянинову, — можно сделать прелесть, так природа тут хороша.

— А что, — отвечал Обольянинов, — берешься, Николай Александрович, сделать что-нибудь прекрасное?

— Берусь, — сказал Н. А. Львов.

— Итак, — отвечал Обольянинов, — сделаем сюрприз императору Павлу Петровичу. Я буду его в прогулках отвлекать от этого места, пока ты работать станешь.

На другой день Н. А. Львов, нарисовав план, принялся тотчас за работу; он представил, что быстрый ручей разрушил древний храм, которого остатки, колонны и капители, разметаны были по местам, а иные, вполовину разрушенные, еще существовали. Кончил, наконец, Н. А. Львов работу, привозит Обольянинова ее посмотреть; он в восхищении его целует, благодарит.

— Еду сейчас за государем, — сказал он, — и привезу его сюда, а ты, Николай Александрович, спрячься за эти кусты, я тебя вызову.

И в самом деле, как это был час прогулки государя, он через несколько времени верхом со свитою своею приезжает, сходит с лошади, в восхищении хвалит все. Обольянинов к нему подходит, говорит что-то на ухо; государь его обнимает, еще благодарит, садится на лошадь и уезжает, а Львов так и остался за кустом, и никогда не имел духа обличить Обольянинова перед государем.

## ПРИОРАТ В ГАТЧИНЕ

Вы, верно, видали строение в Гатчине, на левой руке отсюда, не доезжая до дворца, который направо; скажу вам, что его построил Н. А. Львов, двоюродный брат Федора Петровича Львова, и вот каким образом. Государь Павел Петрович жил всегда в Гатчине при императрице Екатерине, и все лето проживал там, когда и воцарился. Он любил очень Н. А. Львова, который часто находился при нем, звал его «кумом», хотя никого из нас он не крестил; разговаривая с ним о том, что Н. А. Львов заметил в чужих краях, узнал, что он многие постройки сделал у себя в деревне (в Никольском <...>) из земли, составленной с малою частью известки и песку.

— Я хочу, — сказал государь, — чтобы ты мне построил здесь, в Гатчине, угол избы с фундаментом и крышкою.

Н. А. Львов тогда же выписал двух наших мужиков, Емельяна и Андрея, в Гатчину; стали они работать в саду, куда и государь Павел, и великий князь Александр Павлович с прекрасною его супругою Елизаветою Алексеевною приходили всякий день смотреть их успехи; когда часть стены уже была выведена, Елизавета Алексеевна однажды пришла и острым концом своего парасоля<sup>3</sup> стала стену сверлить; но видя, что едва со всею силою могла сделать в стене маленькую ямочку, обернулась к Н. А. Львову, сказала ему:

— Je ne m'attendais pas m-r Lvoff, que votre mur en terre puisse être aussi dût\*.

Пришел государь Павел и, увидя, что уже с самого фундамента земляная стена и крыша соломенная (которая особенным манером крылась), все готово, приказал принести двое золотых часов с цепочками и сам их подарил Емельяну и Андрею. Но этим государь не удовольствовался; он был человек очень умный, но вспыльчивого нрава и имел как будто что-то странное... Что особенно не нравилось в нем, — это слепое его подражание пруссакам и желание все русское переделать на их лад; конечно, много хорошего в чужих краях, но уже по большому пространству России не все и годится нам. Однако землебитное строение заняло государя Павла; он тотчас повелел из каждой нашей губернии отправить к нам в Никольское по два мужика обучаться оному, что весною и было исполнено; с лишком сто человек явились и с того начали, что стали строить себе казарму, в которой потом и жили. Государь, увидев оконченный угол в саду гатчинском, сказал Н. А. Львову, чтобы он выбрал в Гатчине, где хочет, место и построил бы ему Приорат. Н. А. Львов отличный был в тогдашнее время архитектор; он нарисовал план Приората, который был государем утвержден; но, несмотря на повеление его дать место Львову для построения Приората, Петр Хрисанфович Оболянинов, который тогда был первое лицо при государе, за разными причинами в отводе места Н. А. Львову отказывал; наконец, эта комедия Львову надоела; он поручил Оболянинову выбрать самому место. Какое же место выбрал он? Вообразите — болото, в котором собака вязла. Н. А. Львов, видя, что все это неудовольствие на него происходило от зависти, сказал Оболянинову:

— Я и тут построю Приорат, только он государю сто-

---

\* Я не ожидала, месье Львов, что ваша земляная стена может быть также и твердой (фр.).



ить будет более ста тысяч рублей, потому что я должен осушить это болото.

— Ну, делай как хочешь, — отвечал Обольянинов, и Н. А. Львов приступил к работе. Хотели, по зависти, чтобы она не удалась, и тем переменить мысли государевы на счет Львова, а вышло иначе; так богу угодно всегда завистливых людей наказать. Землю, что вырвали из болота, все возили на одно место, и от этого сделался пригорок средь прекрасного озера, на котором Приорат с башнею своею, вышиною двух сажен с лишком, сделанною из земляного кирпича, красовался всем на удивление. Это похоже было на то, что случилось с французским сочинителем Beaumarchais\*; он сочинил прекрасную комедию «Le mariage de Figaro»\*\*; его стали гнать ужасно и притеснять разным образом; он и написал другую: «Le barbier de Seville»\*\*\*, и она имела такой успех, что все тогда же сказали: «On a poursuivi Beaumarchais et il s'est sauvé sur un piédestal»\*\*\*\*. Так случилось и с Н. А. Львовым: он сам выбирал скромные места для постройки Приората, а судьба поставила его на возвышенном месте; где прежде не было ни одного деревца, но посаженные Н. А. Львовым с большим тщанием деревья все принялись прекрасно и украсили бывшее болото, и даже теперь можно было бы и срубить некоторые, чтобы вид более открыть. Вот уже теперь 57 лет, что Приорат стоит неповрежденным; года три тому назад, когда были маневры близ Гатчины, А. Ф. Львову была в Приорате отведена квартира, и он не мог надивиться, как хорош был в нем воздух, и даже живопись, исполненная по сырой штукатурке, что называется по-итальянски *al fresco*\*\*\*\*\*, по сию пору еще в хорошем виде. Н. А. Львов недолго радовался всему этому, потому что он скончался в 1807 г.<sup>4</sup> и имел еще огорчение заслужить негодование государя Павла, которого уверили, что руками тех мужиков, что присланы были учиться землелитному строению, он будто украшал свое село Никольское. Он, точно, вынужден был строить, чтобы их учить, но как не подумали, что одной земли для этого было мало, что для строения нужен лес, железо, стекла и пр.; что все эти издержки расстраивали Н. А. Львова, а не богатели и, наконец, время доказало, что все строения были не нужны для украшения Никольского, потому что впоследствии моя мать принуждена была все их скрыть; слишком дорого ей было ненужные строения поддерживать в порядке.

\* Бомарше (фр.).

\*\* «Свадьба Фигаро» (фр.).

\*\*\* «Севильский цирюльник» (фр.).

\*\*\*\* Бомарше преследовали, и он спасся на пьедестале (фр.).

\*\*\*\*\* Фрески (ит.).

Однажды граф Кутайсов (который из пленных турок попал в фавориты государя Павла Петровича, сделался большим баринном, имел все ордена и, наконец, получил графское достоинство) шел по коридору Зимнего дворца с Суворовым, который, увидя истопника, остановился и стал кланяться ему в пояс.

— Что вы делаете, князь, — сказал Суворову Кутайсов, — это истопник.

— Помилуй бог, — сказал Суворов, — ты граф, а я князь; при милости царской не узнаешь, что́ этот будет за вельможа, то надобно его задобрить наперед.

## ДЕРЖАВИН

Неблагонамеренные люди умели так не расположить государя Александра Павловича к дяде моему Гавриилу Романовичу Державину, что он решился подать в отставку, когда его удалили от генерал-прокурорства. Государь, увидя его, просит Державина остаться в Государственном совете и Сенате.

— Нет, ваше величество, — отвечал Державин, — позвольте мне совсем идти прочь, тем более, что в Сенате вы меня не увидите, а в Совете не услышите.

Гавриил Романович Державин известен был тем, что готов был умереть за правду и не раз доказывал это в живых спорах, которые он имел и с императрицею Екатериною, и с государем Павлом. Однажды, в царствование этой государыни, его упросили не ехать в Сенат и сказаться больным, потому что боялись правды его; долго Державин не мог на это согласиться, наконец, желчь его расхотилась; он точно не был в состоянии ехать, лег на диван в своем кабинете и в тоске, не зная, что делать, не будучи в состоянии ничем заняться, велел позвать к себе Прасковью Михайловну Бакунину <...>, которая в девушках у него жила, и просил ее, чтоб успокоить его тоску, почитать ему вслух что-нибудь из его сочинений. Она взяла первую оду, что попалась ей в руки — «Вельможа» — и стала читать, но как выговорила стихи:

Змеей пред троном не сгибаться,  
Стоять — и правду говорить...

Державин вдруг вскочил с дивана, схватил себя за последние свои волосы, закричав:

— Что́ написал я и что́ делаю сегодня! Подлец!

Не выдержал больше, оделся и, к удивлению всего

Сената, явился; не знаю наверно, как говорил он, но поручиться можно, что душою не покривил.

Я вспомнила, что мой дядя Гавриил Романович Державин написал про стихи Ф. П. Львова; однажды, придя в кабинет его и найдя на столе у него раскрытую книжку, в которой он писал и поправлял свои стихи, Державин взял перо и написал следующее:

Пиши, о Львов, пиши  
Ты чувства твоей души, —  
И не пиши ты ничего иного,  
Поэт ты будешь века золотого!

Можно себе представить, как такая похвала славного нашего поэта порадовала Ф. П. Львова; он так знал, любил и почитал Державина, и все эти чувства он так прекрасно излил в оде на смерть Державина; осьмая строфа особенно мне нравится:

Нет места скорби в дверях гроба,  
Где прах Державина сокрыт!  
Здесь обессиленная злоба,  
Там громоносный правды щит,  
Тут лира под венцом лавровым,  
А тут к отечеству любовь!

Строфу эту я велела выгравировать на памятнике, который поставила дяде Державину.

А как утешительна последняя строфа:

О лира! стонешь ты невольно!  
Грусть рвет тебя из рук моих!  
Я знаю, что где сердцу больно,  
Там свет ума темнеет вмиг.  
Но знай, что Запад возвещает  
В блистательной заре Восток.

Граф Николай Петрович Румянцев, у которого Ф. П. Львов служил, был один из трех сыновей Петра Александровича Румянцева, который заключил славный Кайнарджийский мир, по которому все татары крымские, буджакские и кубанские объявлены были независимыми от Порты и русским кораблям было предоставлено свободное плавание по Черному морю и Архипелагу. Петр Александрович был необыкновенного ума человек и не удивлялся, что ни один сын не родился в него.

— Женили меня, — говаривал он, имея выговор мало-российский, — на Голицыной и что мудреного, что все сыновья мои вышли дураки.

И точно, все трое ничего не значили и умерли в неизвестности; Николай Петрович не службою достиг до звания государственного человека, а потому, что был сын гр. Румянцева, воспитывался в Париже и был, можно сказать, начитанная пустая голова. Был он министром коммерции и тогда-то Ф. П. Львов у него служил и все говорили в Петербурге, что «Львов вытаскивает из грязи Румянцева», и даже была сделана карикатура, в которой был представлен Румянцев, сидящий в тачке, и Львов его из лужи вывозит с трудом. И от этой молвы, которая, может быть, и доходила до Румянцева, иногда он, чтоб доказать, что не Львов, а он все делает, часто Ф. П. Львова приводил в большое замешательство. Однажды он ему докладывал, когда камердинер графа вошел и сказал: «Граф Сергей Петрович».

— Как это несносно, — отвечал Николай Петрович, — люди незанятые всегда мешают дело делать. — И Сергей Петрович входил.

— Как я рад тебя видеть, друг мой, — говорил граф, — садись, пожалуйста, только позволь продолжать Федору Петровичу докончить докладную записку, — и тут же просил Ф. П. Львова начать читать. Лишь только тот прочитал несколько строк, граф его останавливал.

— Что такое? Помилуй, Федор Петрович, ты умный человек, а на тебя иногда находит столбняк; что это ты тут написал? Совсем не то, что надобно и что я хотел.

И тут же начинал очень красноречиво, но без всякого толка, говорить совершенную нелепицу. Ф. П. Львов с большим удивлением смотрел ему в глаза, никак не понимая, чего он хочет, и лишь только в оправдание скажет слово, граф останавливает его, повторяя: «На него находит иногда столбняк». Сергей Петрович, думая, что он, может быть, тут лишний, откланивался брату, и лишь только он выходил в другую комнату, смеючись, Николай Петрович говорил Ф. П. Львову:

— Оставь все по-старому на бумаге, все прекрасно, я хотел только доказать брату, а он и другим скажет, что не все же ты работаешь за меня.

Не помню кем, кажется, Лампием написан портрет императрицы Екатерины II, в котором она представлена сжигающей благовонный фимиам перед бюстом Петра I на пылающем жертвеннике с надписью: «Начатое совершаю». И точно, многое ею было окончено. Она носила в перстне портрет Петра Великого и однажды принц де Линь (Prince de Ligne), который находился при ней посланником от Австрийского двора, спросил ее:

— Pourquoi votre Majesté porte t'Elle ce portrait?

— Je le consulte à toute heure, répondit l'Impératrice\*.

Императрица Екатерина II, учредив Академию художеств<sup>5</sup>, приказала так ее построить, чтобы в середине ее был круглый двор, обнесенный всем строением академии; удивленный таким приказанием, гр. Безбородко, который должен был изменить план, поданный им императрице, спросил ее, почему она именно желает иметь круглый двор в академии?

— Для того, — отвечала Екатерина, — чтобы все дети, которые тут учиться будут, имели бы ежеминутно величину купола с <вятого> Петра под глазами и соображались с ним в своих архитектурных проектах.

Иногда императрица Екатерина, хотя не большой была знаток в музыке, но любила ее слушать и приказывала князю Платону Александровичу Зубову устраивать у нее квартеты и комнатные концерты. Выслушав однажды квартет Гайдна, она подозвала Зубова к себе и сказала ему на ухо:

— Когда кто играет solo, я и знаю, что как кончится, его аплодировать должно, но в квартете я теряюсь и боюсь похвалить некстати; пожалуйста, взгляни на меня, когда игра или сочинение требует похвалы.

После славного мира Кайнарджинского<sup>6</sup> Румянцев, сидя за обедом со всем своим штабом, принял курьера из Петербурга; граф приказал курьеру принести депеши, что он привез; распечатав первый пакет от императрицы, узнает, что его государыня назначает фельдмаршалом. Прочитав вслух рескрипт, улыбнувшись, он сказал: «Государыня жалует меня фельдмаршалом; она ошибается, я рожден фельдмаршалом».

Во время итальянской кампании (1799 г.) назначен был в Вене военный совет, и все генералы были к нему приглашены с тем, что всякий из них должен был привести свой план, как продолжать войну. Явился и наш Суворов; все сели вокруг стола и по очереди каждый читал свой план кампании; как очередь дошла до Суворова, он, держа свиток бумаги, положил его на стол; раскрыли его,

---

\* — Почему ваше величество носит при себе этот портрет?

— Потому, что я ежечасно с ним советуюсь, — ответила императрица (фр.).

и что же нашли? — Белую бумагу. Все удивились, а Суворов, смеючись, сказал:

— Если бы шляпа моя знала планы мои, то я бы и ее сжег.

## ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ

Иван Андреевич Крылов жил долго в доме у Николая Александровича Львова, где он был принят двенадцатилетним мальчиком по бедности; отец его был бедный тверской дворянин<sup>7</sup> и, не имея возможности воспитывать сына своего Ванюшу дома, отдал его Петру Петровичу Львову<sup>8</sup>, который умным мальчиком занимался, учил, чему мог, а между тем как Ванюша вырос и сделался расторопным молодым человеком, всегда был чисто и пристойно одет, и как в доме Петра Петровича людей было мало, то часто, как гости бывало приедут, то кто-нибудь из хозяев и скажет: «Ванюша, подай в гостиную поднос с чаем», — и Крылов ловко исполнял желание хозяев и получал благодарность от доброго и умного Петра Петровича. Потом Крылов отправлен был в Петербург и уже там известен стал всей России своими прелестными баснями. Часто посещал он и наш дом, хотя решительно никогда не упоминал о доме Петра Петровича; может быть, очень самолюбие его страдало, вспоминая, что он служил там иногда как лакей, и немудрено, что он никогда об этом и не говорил, но всегда был в доме Ф. П. Львова самый близкий человек; почти всегда у нас читал он свои новые басни и любил часто у нас обедать, потому что простой наш стол и не церемонный прием всегда ему нравились.

Вскоре после моей свадьбы, как-то раз Иван Андреевич Крылов пришел к нам обедать; покушал всего с обыкновенным своим аппетитом, потому что любил покушать; подали мне делать салат; я взяла плетеную бутылочку, в которых, бывало, всегда привозили нам из Италии масло, понюхала ее и говорю буфетчику: «Масло не хорошо». Но как другого достать было долго, я принуждена была с этим же маслом сделать салат, и Крылов мне сказал:

— Вы еще молодая хозяйка, примите мой совет; вашего салата я уже не возьму, потому что вы сказали масло не хорошо, а я бы, очень может быть, сам бы и не заметил; хорошая хозяйка прежде обеда пересмотрит все или прикажет доверенному человеку это сделать; уже поздны замечания, когда уже гости за столом! Точно так же хорошая хозяйка и не совсем удачное блюдо порочить не должна, гости, если и заметят, как гости деликатные, промолчат, а другие бы и не приметили, если бы хозяйка сама не заставила бы их приметить.

## МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ

23.V.1796—5.IX.1866



Литературные репутации и их изменения в историческом времени — дело тонкое. Многие десятилетия Дмитриев-младший, племянник И. И. Дмитриева, считался поэтом бездарным, человеком неприятным, врагом писателей пушкинского круга. Совсем недавно еще его полагали перешедшим после 14 декабря 1825 г. на охранительные позиции апологетом николаевского режима. Чтоб не путать с достойным дядюшкой, его даже еще в пушкинские времена называли в шутку Лже-Дмитриев. А уж эпиграммами обстреливали, злее некуда. Он, правда, отвечал — и не без успеха. Но его «уколы», поэтически не столь удачные, выпали из памяти, а направленные против него остались. «Стреляли» литературными стрелами в Дмитриева Вяземский, Грибоедов и многие другие. Но больше всего прижилась «эпитафия при жизни», принадлежащая С. А. Соболевскому (такого рода шуточные «похороны» — дело для литераторов той поры обычное):

Михайло Дмитриев помре,  
Он был чиновник в пятом классе.  
Он — камер-юнкер при Дворе  
И камердинер на Парнасе.

Дмитриев обиделся ужасно, между прочим, и тем, что чины его перевераны. Соболевский, услышав о своей ошибке, добавил четыре строки — еще обиднее:

Так я в твоём ошибся классе,  
Но, верно, в том не ошибусь,  
Что ты болтушка на Парнасе,  
Плевальница для муз.

Между тем, подготовивший и выпустивший единственное в наше время издание сочинений М. А. Дмитриева Вл. Б. Муравьев (М.; Московский рабочий, 1985) пишет: «В одном он не менялся: в отрицательном отношении к са-

модержавию и его деятельности». И в подтверждение приводит, например, такую оценку Дмитриевым завершившего николаевского царствования: «С самого начала царствования Николай Павлович смотрел неблагоприятно на литераторов, как на людей мыслящих, следовательно, опасных деспотизму, а вследствие этого почитал опасною и литературу. Бунт 14 декабря 1825 г., произведенный заговорщиками, имевшими в рядах своих лучших и просвещеннейших людей России, так перепутал его понятия о просвещении вообще, что оно не отделялось в его голове от мысли о бунте, и бунтом почитал он всякую мысль, противную деспотизму». Но, может быть, направление мыслей Дмитриева резко переменилось, а в юности все же был он «охранителем устоев»? Чтобы опровергнуть такой взгляд, довольно будет привести его стихотворение 1823 г. «Неправедным судьям»:

Всегда ли правду вы творите,  
О судии земных сынов?  
Всегда ль виновного вините?  
Всегда ли слабому покров?

О нет! Вы сердцем беззаконны,  
И злодеянье на весах;  
Вы с детства были вероломны  
И ложь сплетали на устах!

Как змия яд, ваш яд опасен!  
Как аспид, глухи вы. Над ним  
Труд заклинателя напрасен:  
Закроет слух — и невредим!

Пошли ж, о боже, день невзгоды  
И тигров челюсти разбей!  
И да иссякнут, яко воды,  
Под истощенною землей!

Да их губительные стрелы,  
Как преломленные, падут  
И, как зародыш недозрелый,  
Да в свете тьму они найдут!

Да праведник возвеселится,  
Омывши ноги в их крови;  
Да мщенью всякий изумится  
И скажет: «Бог — судья земли!»

Так стоит ли после этого творить поспешный суд над самим Михаилом Дмитриевым?..

Столь же противоречиво, сколь с его политической репутацией, обстояло дело и с литературной. О «плевальнице для муз» читатель уже слышал. В 1858 г., когда по-



явились «Московские элегии» Дмитриева, они оказались совершенно не ко двору демократической общественности. Оно и понятно — идиллическое восхищение отошедшей в прошлое московской жизнью и сладостным ее укладом не могло прийтись по сердцу революционным демократам, стремившимся ставить актуальные задачи борьбы за народную свободу. Н. А. Добролюбов откликнулся довольно едкой рецензией: «Вздумал же ведь нагнать тоску на целую Россию, опечаливши сердце ее, поместив Москву в элегию! В предисловии говорит он, что хотел представить характеристику Москвы и намеревался даже назвать свои элегии „Москва и москвичи“».

Познакомим теперь читателя хотя бы с малыми фрагментами элегий, а потом возвратимся к выводам Н. А. Добролюбова.

### КРЕМЛЬ

Камни, священные камни Кремля! Вы, громады соборов!  
Светлые, с красным крыльцом, с теремами царевен чертоги!  
Башни, красивые башни в узоре из каменных кружев!  
Стены, по коим могла бы с конями пройти колесница!  
Русь воедино связал вековой ваш незыблемый пояс!

Здесь-то святое зерно, возрадившее древо России,  
Коего сень полюбили ее племена и народы!  
Но — чуть буря идет, от запада или с востока,  
Древо святое шумит и весть подает непогоды:  
Руси сыны восстают и бегут на защиту святыни!

Здесь прервем Дмитриева, обратив внимание на то, что ни патриотического чувства, упроченного знанием истории, ни поэтической выразительности ему не занимать. Кроме того, в стихотворении скрыта и полемика с теми, кто противопоставлял старую столицу новой, говоря: «домик на петербургской стороне, дворец в Летнем саду, дворец в Петергофе стоят не одного Кремля». Еще короткий отрывок из элегии, вызвавшей наибольшее раздражение критиков явной приверженностью к безвозвратной старине:

### СЕМЕЙНЫЕ ПИРЫ

Прежде здесь были пиры. Я помню: сбিরались родные  
К старшему в роде, в день именин или в праздник. —

Бывало,  
Длинные ставят столы; сыновья наезжают с женами,  
Дочери, внуки, зятья; и беда не приехать к обеду!  
Ласковы были до нас старики, а шутить не любили!

Говор и шум, и детей беготня; но за стол — все утихнут!  
Дед сидит на переднем конце, близ внучки старушка.  
Жены с мужьями рядом; а подалее — дети постарше...

Все по порядку, и чинно разносятся вкусные блюда:  
После жаркова обносят бокал — и все поздравляют!  
Нынче не то! — Собираются где веселее! — Нет старших,  
Нет молодых, все равны и слабеют семейные связи!  
Нужен — ему и почет, а не нужен — умри и не вспомнят!  
Кто в сертуке, кто во фраке; этот в пальто мешковатом;  
Тот, как француз, с бородой; а рядом — в звезде заслуженной...

А теперь — оценка Добролюбова: «Добродушный поэт дошел, после горького опыта жизни, до самого отчаянного скептицизма: ему представляется по временам, что Москва нет... то есть она есть, но только в его воспоминаниях, реального же бытия не имеет... Очи его омрачены туманом неверия, и он, в ответ на все наши указания, только повторяет с сокрушением сердца: „Нет, это не Москва! Какая же это Москва! Разве Москва такая бывает! Нет, вот я помню Москву до француза — так то была настоящая Москва; а это что такое? Даже подобия Москвы не имеет!“». Конечно, Добролюбов прав: автор «Московских элегий» как бы остался в прошедшем веке, знакомом ему по рассказам, не видя проблем своего позднего времени. Но сейчас, на пороге XXI века, именно этим он нам и интересен.

Следует сказать, что революционно-демократическая критика 1850-х годов тоже относилась к опусам Дмитриева неоднозначно. Несколько иную, чем Добролюбов, позицию занял по отношению к нему Н. Г. Чернышевский. Откликаясь, правда, не на элегии, а на «Мелочи из запаса моей памяти» — те самые, что печатаются в нашем сборнике, — Чернышевский писал: «Записки г-на М. Дмитриева, в которых сохранено так много интересных и даже довольно много важных воспоминаний, обращали на себя заслуженное внимание журналов <...> Все отдали должную справедливость их занимательности, живости; все хвалили и благодарили почтенного автора за то, что он поделился с публикою своими воспоминаниями о Карамзине, И. И. Дмитриеве, других писателях карамзинской эпохи, которых коротко знал». Таким образом, те поминки по быломu, которые творил Дмитриев своими стихами и мемуарной прозой, вовсе не были чужды современному ему обществу. А нам и подавно...

\* \* \*

Сообщим все же некоторые «анкетные данные» мемуариста. Родился, как и дядя-поэт, в селе Богородском Сызранского уезда Симбирской губернии. Рано осиротел, оставшись на попечении бездетного родственника (после Отечественной войны 1812 г. жил вместе с дядей в доме, о котором мы рассказывали). Закончил Благородный

пансион при Московском университете — одно из лучших учебных заведений того времени. Затем, в 1816 г., был принят в Университет и одновременно определен на службу в Главный архив Иностранной коллегии в Москве, где прослужил до 1847 года. В начале 1820-х годов организовал Общество громкого смеха, считающееся одной из самых ранних преддекабристских организаций. Однако вскоре уехал в отпуск в Симбирск и от дальнейшей деятельности в Союзе благоденствия совершенно отошел. В 1823 г. в Симбирске нашло Михаила Александровича письмо Бестужева и Рылеева, предлагавших ему сотрудничество в «Полярной звезде». Стихи были посланы и напечатаны. В 1824 г. Рылеев рекомендовал М. А. Дмитриева в члены петербургского Вольного общества любителей российской словесности, что, безусловно, свидетельствует об отнюдь не реакционной его позиции.

В начале 1824 г. разразился некий литературный спор, который, если мерить популярность писателя числом упоминаний имени в книгах и статьях, принес Дмитриеву самую громкую славу в его жизни. Дело в том, что первое издание вышедшего в 1824 г. пушкинского «Бахчисарайского фонтана» сопровождалось предисловием Вяземского — своеобразным манифестом нового романтического направления в русской поэзии. Дмитриев, как мы знаем, приверженный старине, первый выступил с отповедью Вяземскому. И закрутилась карусель полемики, в которой с обеих сторон участвовали многие литераторы. Вот с этого пор Дмитриев хоть в какой-то степени и «прославился», но прослыл ретроградом. Между тем, он ведь восхищался «прекрасным стихотворением Пушкина» и полемизировал лишь с теоретическими замечаниями Вяземского о романтизме. Словом, Михайло Дмитриев, как его тогда звали, сам того никак не предполагая, попал в результате этой полемики в историю пушкинистики. Иван Иванович с ним не соглашался, проявив больше готовности к восприятию новых поэтических веяний, чем племянник, и даже грозился наследству лишиться.

В 1826 г. Дмитриев, не оставляя архива, поступил на службу в Московский надворный суд. Но литература всегда была для него, в тех или иных формах, главным занятием. В разные годы он сотрудничал стихами и статьями в «Атенее», «Галатее», «Московском вестнике», «Телескопе», «Молве», «Москвитянине». Несколько его стихотворений А. И. Герцен напечатал в заграничной вольной печати. Издавал книги стихов, писал воспоминания, биографическую книгу о писателе И. М. Долгоруком. Некоторое время, после отставки в 1847 г. вовсе не служил. Затем вернулся к чиновничьей карьере, поднявшись довольно высоко — стал обер-прокурором 7-го департамента и заве-

дующим делами общего собрания московских департаментов Сената.

Собственно, этим и исчерпываются «внешние события» его жизни. Вполне можно согласиться с теми, кто не причисляет М. А. Дмитриева к числу выдающихся деятелей нашей литературы. Но пренебрежительно относиться с высоты нашего исторического взгляда к подобным личностям было бы непростительным расточительством. В конце концов уже одно то, что он запомнил и поведал нам множество черт из жизни литераторов XVIII в., заслуживает уважения. И разве столь уж неправ он, говоря в середине XIX в.: «Наша литература последней половины прошлого века была не так слаба и бесплодна, как некоторые об ней думают. Она ограничивалась не одними цветочками, но приносила плоды, которыми в свое время пользовались и наслаждались». О людях, создававших эту литературу, он нам и поведал. Как-то в стихах М. А. Дмитриев заметил вполне самокритично:

Следа я в мире не оставил,  
Но мир оставил след во мне.

Пусть так, но этот след, благодаря мемуарам, стал достоянием многих поколений читателей.

### **ЛИТЕРАТУРА**

Дмитриев М. А. Московские элегии. Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. Сост., предисл. и прим. Вл. Б. Муравьева. — М., 1985.

## МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ

*Y'ai pris la plume pour écrire.  
Sur qui est à propos de quoi?  
Ye l'ignore.*

*Chateaubriand\**

Я знаю многое кое-что об нашей литературе, или об наших литераторах, что теперь или не известно, или забыто. Когда мне случалось упоминать в разговоре что-нибудь из прежнего времени, многим казалось это новым. Я не признаю в этом никакого достоинства, потому что обязан этим только моим летам, только тому, что я живу дольше других, что я старше молодых словесников: преимущество не важное!— Но, желая поделиться с другими моею памятью, я решился записать все мелочи из ее запаса. Прошу и смотреть на это, как на мелочи, и не требовать от меня ни порядка, ни важных сведений. Я и сам еще не знаю, что напишется и с чего начать. Однако ж начнем абово \*\*: Тредьяковский.

О Тредьяковском я слышал мало и никого не встречал, кто бы знал его лично. Он умер в 1768 г., когда дяде моему \*\*\* было только 9 лет: он не мог знать его. Но я слышал от многих, знавших современников Тредьяковского, между прочим от Платона Петровича Бекетова, что все, что об нем рассказывают, справедливо. Между прочим, и то, что когда при торжественном случае Тредьяковский подносил императрице Анне свою оду, он должен был от самых дверей залы до трона ползти на коленях. Я думаю, хороша была картина! Судя по всем об нем рассказам, кажется, что Лажечников в своем романе «Ледяной дом» изобразил его и его характер очень верно<sup>1</sup>.

Ледяной дом был описан академиком Крафтом и напечатан с приложением гравированного плана и фасада. Все производство постройки, вся внутренность дома и украшения наружные описаны подробно. У меня есть печатный экземпляр этого описания, ныне очень редкого.

Забавы двора всегда замечательны: они дают меру времени и меру просвещения; а притом очень замечательно, что это производство описывал академик, профессор

---

\* Я взял перо, чтобы писать. Для кого и по какому поводу? Не знаю. Шатобриан (*фр.*).

\*\* С самого начала (*лат.*).

\*\*\* Ивану Ивановичу Дмитриеву. (*Прим. М. А. Дмитриева.*)

физики. Он же при Анне Иоанновне занимался астрологиею и составлял гороскоп для Ивана Антоновича. Об этом есть известие в сочинениях А. С. Пушкина <sup>2</sup>.

Ломоносова видал мой дед в Петербурге; но знаком с ним не был. Ломоносов, как ученый, занятый делом, как человек серьезный, а притом не богатый и не дворянского рода, не принадлежал к большому кругу, как Сумароков. Об его характере дед мой отзывался всегда с уважением и рассказывал о его непрерывных ссорах с Сумароковым, оправдывая, однако, Ломоносова. Судя по его словам, Ломоносов был неподатлив на знакомства и не имел нисколько той живости, которою отличался Сумароков и которою тем более надоедал он Ломоносову, что тот был не скор на ответы. Ломоносов был на них иногда довольно резок, но эта резкость сопровождалась грубостью; а Сумароков был дерзок, но остер: выигрыш был на стороне последнего! Иногда, говорил мой дед, их нарочно сводили и приглашали на обеды, особенно тогдашние вельможи, с тем, чтобы сравить их. Таков был век!

С Сумароковым были знакомы в своей молодости мой дед и моя бабка. Родной брат ее — Никита Афанасьевич Бекетов, будучи еще кадетом, представлял на сцене кадетского корпуса «Семиру» Сумарокова и понравился Елизавете. Несколько времени он был ее любимцем. Потом дед мой, живучи в Петербурге и служа в гвардии, был коротко знаком с Орловыми: все это было еще при Елизавете, прежде их известности. По этим связям и знакомствам ему часто случалось бывать вместе с Сумароковым. Судя по его словам, Сумароков очень любил блистать умом и говорить остроты, которые нынче, вероятно, не казались бы остротами, и любил умничать, что тогда принималось за ум, а ныне было бы очень скучно; например, однажды за столом у моего деда подали кулебяку. Он, как будто не зная, спросил: «Как называют этот пирог?» — «Кулебяка!» — «Кулебяка!» — повторил Сумароков: — какое грубое название! а ведь вкусна! Вот так-то иной человек по наружности очень груб, а распознай его: найдешь, что приятен!» Замечание очень обыкновенное, которого дед мой, однако, не применял к Сумарокову.

Я сказал, что Н. А. Бекетов был любимцем Елизаветы. Это продолжалось очень недолго, и вот по какому случаю. Молодой человек, попавший в фавориты, с небольшим двадцати лет от роду, немножко возгордился, начал представлять из себя вельможу и принимать других вельмож и старых придворных в шлафроке. Между тем, наде-

ясь на красоту и молодость и будучи неопытен, он мало занимался своим туалетом. Опытные придворные стали оказывать ему усердие, давать дружеские советы о сохранении цвета лица и говорить, что на это есть разные средства. Бекетов отвечал, что очень рад бы употребить эти средства, но их не знает. Они вызвались доставить и достали ему притирание для сохранения цвета кожи, которым он только что притерся, все лицо попрыщивело, так что ему нельзя уже было являться ко двору, и он по нездоровью должен был сидеть дома. Елизавета очень заботилась, спрашивала; все говорят — нездоров. Она стала добиваться, что за болезнь? Молчат и делают разные ужимки, которые показались ей подозрительны. Это самое заставило ее потребовать, чтоб ей сказали всю правду. Ей объявили с осторожностью такую болезнь, какой у него совсем не было... Она никогда не забывала его, обогатила и дала ему земли и деревни близ Царицына, в Астраханской губернии. Там была у него великолепная деревня «Отрада» с виноградными садами, мраморными водоемами, роскошной мельницей, в которой не было ни малейшего стука, ни малейшей пыли, и стояли красного дерева ломберные столы для игры в карты; наконец же, ему принадлежали богатые рыбные ловли на Волге, от которых произошла Бекетовская икра, некогда знаменитая. При Екатерине он был астраханским губернатором и много содействовал к устройству тамошнего края. Между прочим, при нем заведена и устроена знаменитая колония гернгутеров, или моравских братьев, под названием Сарента. Он был приятный стихотворец и написал много нежных песен. Он был истинным благодетелем вверенного ему края, любим и уважаем и родными, и чужими. Умер <в> 1794 г. Племянник его И. И. Дмитриев написал к его портрету известную надпись, которая заключает в себе самую правду:

Воспитанник любви и счастья богини,  
Он сердца своего от них не развратил;  
Других обогащал, а сам, как стоик, жил  
И умер посреди безмолвных пустыни!

Никита Афанасьевич, командовавший полком, на Цорндорфском сражении<sup>3</sup> был взят в плен, вместе с гр. Захаром Григорьевичем Чернышевым, и содержался в Кистрине; об этом была сложена песня, которая долго пелась в народе и была помещена в песеннике Чулкова<sup>4</sup>. Я помню из нее несколько стихов:

Как возговорит прусский король:  
Ой ты гой еси российский граф,  
Чернышев Захар Григорьевич,

Со своим ли сотоварищем,  
Со Никитой Афанасьичем  
По фамилии Бекетовым!  
Послужите мне службу верную,  
Как служили вы монархине!  
Как возговорит российский граф,  
Чернышев Захар Григорьевич:  
Послужу я тебе службу верную,  
Что своей ли саблей острою,  
На твою ли шею толстую!

Сестра его Катерина Афанасьевна Бекетова вышла замуж за моего деда вот по какому случаю. Во время придворной жизни ее брата ее хотели взять ко двору: она была еще очень молода, лет шестидцати, и красавица! — Отцу очень этого не хотелось: он боялся придворных нравов. Вскоре присватался к ней мой дед: ей было уже 17 лет, а ему 18. Отец и рад был этому случаю отдать дочь за хорошего человека и богатого дворянина хорошей фамилии, чтобы только отклонить ее принятие ко двору.

Отец ее, Афанасий Алексеевич Бекетов, служил где-то воеводой. При Екатерине вышел он в отставку и приезжал в Петербург поблагодарить государыню. Она спросила: «А много ли ты, Афанасий Алексеевич, нажил на воеводстве?» — «Да что, матушка ваше величество! Нажил дочери приданое хорошее: и парчовые платья, и шубы; все как следует!» — «Только и нажил?» — «Только, матушка! И то слава богу!» — «Ну, добрый ты человек, Афанасий Алексеевич! Спасибо тебе!» Тем и кончилась аудиенция. — Какая простота тогдашнего времени! Надобно заметить, что тогда отправляли на воеводство — покориться. Это был употребительный термин, так что даже просились у государей на воеводство покориться. Нынче не просятся.

У меня есть приданая роспись моей бабки. Как любопытно в ней видеть, какие платья и другие предметы входили тогда в приданое! А между тем, при этом роскошном приданом, дано всего две тысячи рублей на покупку и меня. Следовательно, каковы были цены! Должно думать, что это приданое, истинно великолепное, не стоило и двух тысяч. <...>

Кстати, о старине, и о той, которая современна уже мне, и о прежней. — Так как я записываю все, что мне приходит на память, без всякого плана, то позволяю себе всякие отступления.



Нельзя и вообразить разницы между тем, что теперь в России и что было лет за 60, за 70 и далее. Лучшее в старину было то, что образ жизни был проще (но эта простота была бы нам совершенным неудобством и лишением), что люди были радушнее и жизнь была дешевле. Мотовство было частное, но не было общего, т. е. роскоши. Воспитание детей почти ничего не стоило; впрочем немногому и учились, — об этом скажу после. Лучше было еще то, что, до разрыва с Англией и приступления нашего к континентальной системе<sup>5</sup>, сбыт хлеба был вернее и надежнее. Быстрых перемен во внутренней администрации, в самую старину, тоже не было: все шло привычным образом, и все это служило тоже к спокойствию жизни. Земская полиция была слаба и не имела тех средств, какие она имеет ныне. От этого происходило и добро, и худо. Сама она, правда, меньше нынешнего беспокоила жителей; но зато в обыкновенный порядок вещей входило и то, к чему, кажется, нельзя и привыкнуть. Например, это было дело очень обыкновенное, что с наступлением каждого лета, когда леса были уже одеты густо зеленью, появлялись разбойники: я это помню, где по рассказам, а где и сам. Вот некоторые примеры.

В самый тот день, когда мне минул год, 23 мая 1797 <г.>, дошло известие до моего деда, что будут к нему разбойники. — Спросят: как же дошло такое известие? — Всегда доходило; иногда от одного к другому, теряясь в первоначальном источнике; а иногда давали знать и сами разбойники, чтобы хозяин ждал их. Дед мой всегда был наготове: каждый год, с наступлением весны, в деревенском его доме, на стенах залы и передней развешивались ружья, сумы с зарядами, сабли и дротики с кольцами и на крепких бечевках; а по обеим сторонам широко переднего крыльца вколачивались сошки с перекладинами, и на них раскладывались копь и рогадины. Итак, враспloch застать его было невозможно! Так и в этом случае. При первом известии о приближении разбойников ударили в набат; крестьяне, бывшие в поле, прискакали на господский двор; дворовые все вооружились. Дед мой надел на себя кортик, который я помню, с зеленой костяной ручкой, на бархатной портупее; велел отворить ворота и ждал разбойников на крыльце.

Между тем моя бабушка, мать и тетки переоделись в платья дворовых женщин, чтобы не быть узванными, и вместе с нами малолетними попрятались в саду и в других местах.

На этот раз обошлось, однако, благополучно. Разбойники, в числе двадцати человек, вооруженные с ног до го-

ловы, подъехали верхами к околице, подозвали караульщика и сказали ему: «Поди, скажи Ивану Гавриловичу, что мы не испугались бы его набату, да у нас лошади приустиали». — После этого они, в виду всех, объехали около деревни, под горою, и отправились далее. — Но в тот же день получено известие, что они ограбили под Сызраном мельницу и сожгли ее. <...>

Я говорил, что в старину не было роскоши; но жили барственное нынешнего.

Дед мой, когда еще служил в гвардии, при императрице Елизавете, вот как выезжал на караул, будучи, кажется, еще подпоручиком. Да! Не ходил, а ездил в карете. Под мундиром был у него парчовый камзол; а на эфесе шаги, вместо темляка, цветные ленты, с бантом. Лакей же, стоявший за каретою, имел на голове гренадерскую шапку своего господина и держал в руке его ружье; ибо гвардейские офицеры и при Екатерине имели легонькое ружье.

Живучи потом в отставке, в деревне, когда он отправлялся в уездный город, за 27 верст от своего села, около кареты ехали гусары. Я еще помню в кладовой гусарский мундир с желтыми шнурами и венгерские шапки с длинною лопастью, которая навивалась на тулью и распускалась по ветру во время похода. Началось же это содержание конвоя, вероятно, в самую старину, как остаток того времени, когда помещики обязывались отправлять службу вместе со своими людьми. Прапрадед мой нередко должен был, вооружа положенное число людей, ходить в поход в Оренбургскую сторону против башкирцев. Пленные поступали в крепостные холопы помещиков. Я знал еще одного башкирца Филиппа Ильича, который был у моего деда приказчиком: он был взят в плен, будучи еще мальчиком.

О деревенской жизни в старину, в захолустье нельзя судить по-нынешнему. Для нас она была бы тошнее нынешней; но они привыкли: это была их натура. Мы любим общество образованное, которого и нынче там не находишь; мы любим картины природы: тогда о них не имели понятия. — Мудрено ли, что Сумароков и его последователи описывали в своих эклогах выдуманнные нравы и выдуманную природу, и то и другое не наши? — Нравы были совсем не поэтические и не изящные; а природы вовсе не было! — Как не было? — Не было, потому что природа су-

ществует только для того, кто умеет ее видеть, а умеет душа просвещенная!— Природа была для тогдашнего помещика то же, что она теперь для мужика и купца.— А как они смотрят на природу?— Мужик видит в великолепном лесе— бревна и дрова; в бархатных лугах, э м а л ь и р о в а н н ы х цветами,— сенокос; в прохладной тени развесистых деревьев— что хорошо бы тут положить под голову полушубок и соснуть, да комары мешают.— А купец видит в лесу, шумящем столетними вершинами, барочные доски, или самовар и круглый пирог с жирной начинкой, необходимые принадлежности его загородного наслаждения; в серебряном источнике, гармонически журчащем по златовидному песку,— что хорошо бы его запрудить плотиной, набросавши побольше хворосту да навозу, да поставить тут мельницу и получать бы пользу.— После этого есть ли для них природа? Потому-то и Сумароков населял свои эклоги сомнительными существами пастушков и пастушек, что нечего было взять из сельской существенности; потому-то и для наших старинных помещиков— природы совсем не было <...>

Не лишнее сказать нечто и о воспитании дворян старого времени. Учились читать и писать; в ученье ограничивались этим. Но и то еще одни люди богатые и избранные. Бедные дворяне ничему не учились; привыкали только к хозяйству. Барыни и девицы были почти все безграмотные. Мать первой супруги нашего поэта, князя Ив<ана> Ми<хайловича> Долгорукого (он сам говорит это в своих записках)<sup>6</sup> не умела ни читать, ни писать. В двенадцати верстах от нас, в деревне Ивашевке, было много дворян и дворянок, и во всей деревне был только один грамотник, дворовый человек одной из барынь, Ф е д ь к а, который писал за всех письма к мужьям и родственникам, когда они были в отлучке.— Собственно о воспитании едва ли было какое понятие, потому что и слово это принимали в другом смысле. Одна из этих барынь говаривала: «Могу сказать, что мы у нашего батюшки хорошо воспитаны: одного меду невпроед было!», т. е. сколько ни ешь, всего не съешь. Это было исключительным явлением, что мой дед говорил по-немецки и понимал по-французски, и что моя бабка умела писать и читала книги.— И в этом-то народе, при этом просвещении явились Ломоносов и Сумароков, явилась литература!— И после этого говорят, что не бывает чудес! У нас— все вдруг и все чудо: не надобно только мешать нашим закоренелым упрямством, которое есть-таки в характере нашего покорного народа. Он покорен власти, а не нравственному или умственному убеждению! Тут он упрется, и его не своротишь.

В царствование Екатерины, с учреждением народных училищ (1786) грамотность начала распространяться несколько более; а с умножением типографий, когда старанием Новикова число книг значительно прибавилось, явились между дворянами порядочного состояния и охотники до чтения. Дамы начали читать романы. — Но все это мало прибавляло сведений. — Учиться основательно и узнавать положительные предметы, нужные для просвещения, начали мы, собственно, только с указа 1809 г., 6 августа...<sup>7</sup> <...>

В самую старину только и было одно место, выпускавшее молодых дворян образованными: это кадетский корпус, где учился и Сумароков.

Возвращаюсь к Сумарокову. Нигде так хорошо не изображен его характер, как в биографии его, напечатанной через три месяца после его кончины, в «Санкт-Петербургском вестнике», под заглавием: «Сокращенная повесть о жизни и писаниях господина действительного статского советника и св. Анны кавалера Александра Петровича Сумарокова»! — Вот что там сказано: «Что касается до свойств его души, то, кажется, он был весьма доброго сердца; но безмерная чувствительность, качество, нужное стихотворцу, которое однако ж должно обуздывать благоразумие, была виною крутого и горячего нрава, который всех, имеющих с ним союзы, а больше его самого, терзал. Склонен, сколько благодетельствовать, столько и мстить, не мог никогда позабыть ни одолжений, ни обид, ему учиненных. Притворства и коварств ненавидя, был друзьям верный друг и не умел скрывать злобы противу враждующих ему. Нетерпелив в желаниях и несколько в оных безмерен; малейшее препятствие, смертельно огорчая его, представляло ему часто самое ничто великим злоключением. Славен, осыпан благодеяниями монаршими, мог бы он быть блажен, если бы умел. Гнушаясь всякой низости души, был он снисходителен к учтивым, но горд противу гордых. Имел он высокое мнение о звании и достоинстве прямого стихотворца; и для того не мог с терпением видеть, что сия благородная наука, в которой упражнялись Гомеры, Софоклы, Мароны, Вольтеры\* и прочие великие люди, почитаемые от века всеми народами, была оскверняема руками людей, не имущих ни ума, ни сердца!»

Вот как говорится о последнем времени его жизни и о его невоздержности: «Последнее время жизни своей прово-

---

\* Вольтер непременно тут! О век! (Прим. М. А. Дмитриева.)

дил он почти в недействии. Неумеренность его (прости мне, о тень, любезная Музам, мое чистосердечие, ты, который столько истины вмещал в своих стихах для наставления человеков! Позволь вещающему о тебе быть тебя достойным и неумолчанием прискорбной истины засвидетельствовать свету нелицемерие похвал, принесенных мною твоим достоинствам и великим дарованиям!), невоздержность его была вящею причиною его болезни, снедавшей его медлительно, и наконец преждевременной его смерти, приключившейся 1 октября 1777 г.» (А это все напечатано в январе 1778. Стр. 39).

Дядя мой помнил Сумарокова. Под конец своей жизни Сумароков жил в Москве, в Кудрине, на нынешней площади<sup>8</sup>. Дядя мой был 17 лет, когда он умер. Сумароков уже был предан пьянству без всякой осторожности. Нередко видал мой дядя, как он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь, в белом шлафроке, а по камзолу, через плечо, анненская лента. Он женат был на какой-то своей кухарке и почти ни с кем не был уже знаком.

Есть люди, которые могут делать все безнаказанно; это, во-первых, те, для которых нет общественного мнения; во-вторых, те, для которых нет потомства. Но стихотворец самый плохой не уйдет от его суда. Если он только печатал, то вспомнится его имя, а имя напомнит, что он был. Даже о Тредьяковском, а в наше время о графе Хвостове писали и печатали; а кто напишет и что написать о худом губернаторе? Да и не позволят! От того-то стихотворцы, вообще взятые, лучше других людей; они у всех на виду, на них есть суд современников, для них есть потомство! — Они и потому лучше, что истинная поэзия требует благородного сердца; а требует ли его математика? — Математик может быть порочным, неверующим, и все оставаться хорошим математиком; а в поэте — вместе с низким пороком упадает его дарование.

Богдановича видал мой дядя у Державина и в других Петербургских обществах. Он был чрезвычайно скромен и молчалив. Являлся на вечера, всегда очень опрятно и хорошо одетый, в французском кафтане, щеголевато напудренный, с кошельком, с плоской тафтяной шляпой под мышкой. Говорил осторожно и разыгрывал дипломата: он тогда служил в иностранной коллегии. Предметом его разговора было всегда несколько слов о поли-

тических новостях, всем известных. Вообще, как человек, желавший казаться светским, он не останавливался долго на одном предмете разговора, не вдавался в рассуждения, не объявлял своего мнения, ни на чем не настаивал, а скользил по предметам. О его скромной наружности и молчаливости то же самое рассказывал кн. Дм <итрий> Владимирович Голицын на одном из своих литературных четвергов. Богданович, кажется, не думал быть автором<sup>9</sup>: написал «Душеньку» для собственной своей забавы и напечатал по убеждению приятеля; на поприще писателя вызвал его успех «Душеньки». Но после ее ничто уже не далось ему, кроме перевода маленькой поэмы Вольтера<sup>10</sup> на разрушение Лиссабона; этот перевод теперь тяжел, но тогда был хорош, потому что все писали такими стихами. Авторство Богдановича много поддерживала княгиня Дашкова<sup>11</sup>. Но «Душенька» доставила ему сама собою повсеместную славу: ее читала вся Россия.

По смерти Богдановича Карамзин, написавший столь прекрасный разбор «Душеньки»<sup>12</sup>, предложил в «Вестнике Европы» (1803, ч. 7, февр., № 2, стр. 226) русским авторам, вроде конкурса, написать эпитафию Богдановича. Эпитафии посылались в «Вестник Европы». Были хорошие, были и посредственные, были и очень фигурные. Почти во всех упоминались Амур и Душенька. Чтобы положить конец этому конкурсу, Иван Иванович Дмитриев напечатал в «Вестнике» эпиграмму под названием «Эпитафия эпитафиям», после которой они и прекратились. Вот она:

Прожий! пусть тебе напомнит этот стих,  
Что все на час под небесами:  
Поутру плакали о смерти мы других,  
А к вечеру скончались сами!

Платон Петрович Бекетов забывал часто фамилию Карновича и мешал ее с фамилией Богдановича. По этому-то случаю написал к нему Иван Иванович Дмитриев шуточные стихи, которые напечатаны в его сочинениях под названием «К приятелю»:

Два разные, мой друг, прозванья ты мешаешь  
Людей, которые не сходствуют ни в чем;  
Итак, когда ты их не знаешь,  
То я тебе скажу о том и о другом.  
Один приятный был писатель,  
Другой едва ли и читатель;  
Один стихи, другой лишь вексели писал;  
Тот в Панову свирель, а этот в банк играл.

Лучшее издание сочинений Богдановича — это издание Бекетова<sup>13</sup>, напечатанное в его же типографии. Никто не издавал у нас книг с таким тщанием; он присовокупил к нему все варианты автора, сличив разные издания, чего у нас никогда не делается. В 1811 г. он напечатал маленькое прекрасное издание «Душеньки» на веленовой бумаге, которое до выпуска в продажу почти все погибло во время нашествия французов; осталось только одиннадцать экземпляров, из которых у меня три. Худшее издание сочинений Богдановича — это, бесспорно, Смирдинское 1848 г., который перепортил текст во всех наших авторах. <...>

Петрова дядя мой не знал лично и, живучи в одно время с ним в Петербурге, ни разу с ним не встречался. Но он очень уважал его живописные оды, его послания, богатые мыслями, его силу ума и воображения, несмотря на жесткость его слога. Много в языке Петрова было упрямством, например — **морь** — вместо **морей** и прочее. Он знал хорошо и русский язык, и славянский; знал основательно латинский; в Англии<sup>14</sup> научился английскому, немецкому и французскому. В одах он достоин стоять между Ломоносова и Державина<sup>15</sup>. Его перевод «Энеиды»<sup>16</sup> забыт отчасти по старинному языку, а более потому, что у нас все забывается. Но он верен, и доселе у нас нет другого. И «Илиада» Кострова<sup>17</sup>, и «Энеида» Петрова писаны шестистопными ямбами: это принадлежит уже их веку. Впрочем, Тредьяковский так уронил гексаметры, что писать ими было бы в то время бесполезною смелостью. Надобно рассматривать писателей в отношении к их времени: иначе приговор наш будет всегда не верен. Лицо Петрова, судя по портрету, было благородно и величественно. Петров заикался. На его перевод «Энеиды» Майков написал следующую эпиграмму:

Сколь сила велика Российского языка!  
Петров лишь захотел, Виргилий стал заика.

Но эпиграмма ничего не доказывает. Петров все-таки был не Майков.

Алексей Федорович Малиновский знал Петрова лично. Он рассказывал, будто Петров писал некоторые оды, ходя по Кремлю; а за ним носил кто-то бумагу и чернильницу. При виде Кремля он наполнялся восторгом, останавливался и писал. Странно; но в то же время и прекрасно: видеть поэта, на которого так сильно действовал наш Кремль, полный великих воспоминаний!

Петров был, говорят важной наружности. Он познакомился с Потемкиным, когда оба они были еще студентами,

и был до конца его жизни другом. Об этом свидетельствуют многие его послания и стансы, исполненные чувств искренних, где он радуется его успехам, его победам, его славе, от всего сердца, по участию дружества, а не тем торжественным тоном, который ставит поэта перед вельможей и полководцем, на расстоянии восторга и славы. Он писал к Потемкину, провожая его в армию:

Превыше чайний взнесися, мой орел!  
Ты в поле — из моих объятий полетел!

Он хвалит в Потемкине не одного полководца, но более вельможу доступного, человека просвещенного, любителя литературы и поэзии:

Себе единому подобен,  
В доброте благородство чтит;  
Всем равен и от всех особен;  
Луча снисшествием не тмит!

Не тяжек праздных слов примесом,  
Красот во слоге он пример;  
Когда б он не был Ахиллесом,  
Всемерно был бы он Гомер!

Жаль очень, что Петров ныне забыт; этому виной его тяжелый слог. Пусть не читает его публика; но литераторам непростительно не знать его!

Кострова знал мой дядя лично. Но анекдот, написанный Д. Н. Бантыш-Каменским в его словаре, будто бы Дмитриев привез пьяного Кострова в Петербург, совершенная небылица; а ее повторяли в журналах!

Костров — кому это не известно! — был действительно человек пьяный. Вот портрет его: небольшого роста, головка маленькая, несколько курнос, волосы приглажены, тогда как все носили букли и пудрились; колени согнуты, на ногах стоял не твердо и был вообще, что называется, рохля. Добродушен и прост чрезвычайно, безобидчив, не злопамятен, податлив на все и безответен; в нем, говорил мой дядя, было что-то ребяческое. У меня есть его гравированный портрет.

Он жил несколько времени у Ивана Ивановича Шувалова. Тут он переводил «Илиаду». Домашние Шувалова обращались с ним, почти не замечая его в доме, как домашнюю кошку, к которой привыкли. Однажды дядя мой пришел к Шувалову и, не застав его дома, спросил: «Дома ли Ермил Иванович?» Лакей отвечал: «Дома; пожалуйста сюда» — и привел его в задние комнаты, в девичью, где девки занимались работой, а Ермил Иванович сидел



в кругу их и сшивал разные лоскутки. На столе возле лоскутков лежал греческий Гомер, разогнутый и обороченный вверх переплетом.— На вопрос: «Чем он это занимается?» Костров отвечал очень просто: «Да вот девчата велели что-то сшить» — и продолжал свою работу.

Повторяю, что анекдот Бантыш-Каменского — небылица; а вот что действительно бывало. Костров хаживал к Ивану Петровичу Бекетову, двоюродному брату моего дяди. Тут была для него всегда готова суповая чаша с пуншем. С Бекетовым вместе жил брат его Платон Петрович; у них бывали: мой дядя Иван Иванович Дмитриев, двоюродный их брат Аполлон Николаевич Бекетов и младший брат Н. М. Карамзина Александр Михайлович, бывший тогда кадетом и приходивший к ним по воскресеньям. Подпоясавши Кострова, Аполлон Николаевич ссорил его с молодым Карамзиным, которому самому было это забавно; а Костров принимал эту ссору не за шутку. Потом доводили их до дуэли; Карамзину давали в руки обнаженную шпагу, а Кострову ножны. Он не замечал этого и с трепетом сражался, боясь пролить кровь неповинную. Никогда не нападал, а только защищался.

Светлейший князь Потемкин пожелал видеть Кострова. Бекетовы и мой дядя принуждены были, по этому случаю, держать совет, как его одеть, во что, и как предохранить, чтоб не напился. Всякий уделил ему из своего платья кто французский кафтан, кто шелковые чулки, и прочее. Наконец, при себе его причесали, напудрили, обули, одели, привесили ему шпагу, дали шляпу и пустили идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашел; но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, что идти с ним рядом было несколько совестно: Костров и трезвый был не тверд на ногах и шатался. Он во всем этом процессе одеванья повиновался, как ребенок. Дядя мой рассказывал, что этот переход Кострова был очень смешон. Какая-нибудь старуха, увидев его, скажет с сожалением: «Видно, бедный, больнехонек!» — А другой, встретясь с ним, пробормочет: «Эк нахлюстался!» — Ни того, ни другого: и здоров и трезв, а такая была походка! Так проводили его до самых палат Потемкина, впустили в двери и оставили, в полной уверенности, что он уже безопасен от искушений!

Майков никогда не считался наряду с лучшими поэтами; он имел особый, не высший круг читателей. Впрочем, его шутовская поэма «Элисей, или Раздраженный Вах» показывает много воображения и непритворной шутовщины, хотя не отличается благородством вкуса. Другая шутовская поэма «Плачевное падение стихотворцев»<sup>18</sup>, которая приписывается Майкову и печатается в собрании

его сочинений, принадлежит не ему, а Чулкову. Она в свое время наделала много шума и произвела большое негодование на автора между другими стихотворцами.

Херасков был в большом уважении, и по благородному своему характеру, и по сочинениям. Действительно, в то время, склонное к удивлению и к воздаянию похвал всякой заслуге и не бравшее на себя обязанности строгого судьи, две эпические поэмы должны были произвести сильное впечатление. У Хераскова было воображение, но не было творчества. Он, кажется, многое придумывал хладнокровно и помогал своему воображению процессом мысли. У него нет внезапного пыла; он заменил его терпением и искусством.

Однажды дядя мой, пришед к Хераскову, застал его за чтением Лагарпова «Лицея». Он читал его разбор французских трагиков. «Не так бы я писал свои трагедии, — сказал Херасков, положив книгу, — сжели бы прочитал это прежде!»

Супруга Хераскова, Елизавета Васильевна, была и сама стихотворица: она печатала в журналах; есть ее стихи в «Аонидах». Она была очень добра, умна и любезна. Ее любезность много придавала приятности их дому, уравновешивая важность и некоторую угрюмость ее мужа. Их очень любили и уважали.

С Херасковым было странное происшествие в его детстве. Мамушка посадила его на окно и ушла из комнаты; это было летом. Мимо дома проходила толпа цыган, которые схватили его и унесли с собою. К счастью, вспомнили об этой толпе, догадались, догнали их и отняли ребенка. Мы не имели бы «Россиады» и «Владимира»; а Херасков пел бы во всю жизнь не героев нашей истории, а цыганские песни.

Последнее произведение Хераскова было «Бахариана», повесть в стихах. Каждая глава ее написана особым размером; но стихи не хороши, не гладки, иногда вялы, иногда даже в них не соблюдены ударения меры. Она мне всегда казалась скучною. Я не понимаю, почему любил ее Николай Михайлович Языков, этот первоклассный мастер русского стиха. Незадолго до его кончины я подарил ему

бывший у меня экземпляр «Бахарианы», которой он не мог найти в книжных лавках. Он был очень рад; в нем много было добродушия.

«Бахариану» никто из книгопродавцев не брался печатать. Херасков напечатал ее на свой счет в типографии П. П. Бекетова. Но она худо продавалась, и потому автор долго не платил в типографию. Бекетов, соблюдая всю деликатность, долго не напоминал ему; но наконец просил моего дядю поговорить об этом долге Елизавете Васильевне. — «Как! — сказала Елизавета Васильевна, — вообразите, ведь он мне сказал, что Бекетов у него купил рукопись!» Старику хотелось похвастаться перед женою! — Она заплатила за него деньги, но после спросила его: «Как же ты мне сказал, Михайла Матвеевич, что Бекетов у тебя купил «Бахариану»?» — «Да? — отвечал сквозь зубы Херасков: — дело было совсем слажено, да после разошлось!» — Ничего этого не бывало.

У Хераскова собирались по вечерам тогдашние московские поэты и редко что выпускали в печать, не прочитавши предварительно ему. Но дядя мой говорил, что по большей части похвала Хераскова ограничивалась словами: «Гладко, очень гладко!» — Гладкость стиха почиталась тогда одним из первых достоинств: она была тогда действительно большим достоинством, так как оно становится и теперь; но во времена Дмитриева, Жуковского, Батюшкова это было достоинством второстепенным.

Однажды Василий Львович Пушкин, бывший тогда еще молодым автором, привез вечером к Хераскову новые свои стихи. — «Какие?» — спросил Херасков. — «Рассуждение о жизни, смерти и любви», — отвечал автор. Херасков приготовился слушать со всем вниманием и с большою важностью. Вдруг начинает Пушкин:

Чем я начну теперь! — Я вижу, что баран  
Нейдет тут ни к чему, где рифма барабан!  
Вы лучше дайте мне зальцвасеру стакан  
Для подкрепленья сил! Вранье не алкоран — и проч.

Херасков чрезвычайно насупился и не мог понять, что это такое! — Это были *bouts rimes* \*, стихи на заданные рифмы, которые можно найти в собрании русских стихотворений, изданных в 1811 г. Жуковским. Важный хозяин дома и важный поэт был не совсем доволен этим сюрпри-

---

\* Буриме (фр.).

зом; а Пушкин очень оробел. Дядя мой сказывал, что это было очень смешно.

Хераскова уважали как поэта и Державин и Дмитриев. Первый упоминает об нем в стихах своих «Ключ»:

Певца бессмертной «Россиады»,  
Священный Гребеневский ключ,  
Поил водой ты стихотворства.

А второй написал известную надпись к его портрету:

Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют:  
Хераскову они вреда не принесут!  
Владимир, Иоани щитом его покроют  
И в храм бессмертья приведут!

«Россиады» и «Владимира» нынче уже и не читают; но кто не знает имени Хераскова! А что такое наше земное бессмертие? Имя. Деревня Хераскова, где он жил каждое лето и где написал большую часть своих сочинений, называется О ч а к о в о, по Можайской дороге, в стороне, налево от дороги.

Когда Херасков написал «Россиаду», несколько петербургских литераторов и любителей литературы собирались несколько вечеров сряду у Н. И. Новикова, чтобы обдумать и написать разбор поэмы; но не могли: тогда еще было не по силам обнять столь большое произведение поэзии! — Оставались одно безотчетное удивление и похвала восторга! Пусть судят по этому, насколько выше был Херасков тогдашних литераторов! А мы, не принимая в соображение ни времени, ни степени просвещения современников, не даем никакой цены такому произведению, которое, однако, показывает меру духа поэта, несмотря на свои недостатки! Имя Хераскова все-таки живет 70 лет, а нынешние гении живут года по два, да и то с помощью друзей! А на чем еще основана эта дружба? Кончу стихом Капниста:

О боже! Положи устам моим храненье! <...>

Первая супруга Д е р ж а в и н а была Екатерина Яковлевна Бастидонова. Отец ее был португалец Бастидон, камердинер Петра III, а мать — кормилица императора Павла. Вторая его супруга была Дарья Алексеевна Дьякова, родная сестра супруги Василия Васильевича Капниста, который, следовательно, был Державину свояк. Первую он воспевал под именем П л е н и р ы, почему она и в стихах Ивана Ивановича Дмитриева, на ее кончину, названа Пленирюю. Вторую он называл в стихах своих М и л е н о ю:

Нельзя смягчить судьбину,  
Ты сколько слез ни лей;

Миленой половину  
Займи души твоей.

Державин, любя нежно вторую жену свою, не мог забыть первой! Вскоре после второй его женитьбы обедал у него Иван Иванович Дмитриев. Он заметил, что Державин несколько уже минут сидит нагнувшись над своей тарелкой и, водя по ней вилкой, чертит что-то остатком соуса. Он взглянул на него: глаза полны слез. Взглянул на тарелку и видит, что он чертит вензель первой жены своей. Дмитриев шепнул ему, что если заметит Дарья Алексеевна, ей будет это неприятно. Державин стер написанное и зарыдал; так что Иван Иванович принужден был вывести его в другую комнату под предлогом дурноты, чтобы не обнаружить причины слез молодой жене его.

Державин любил природу, как живописец, и никакая красота ее не только не ускользала от его взгляда, но оставалась навсегда в его памяти и при первом же случае вызывалась наружу его воображением. Иван Иванович Дмитриев говорил, что память его была запасом картин и красок! — Однажды видел он, что Державин стоит у окна и что-то шепчет. На вопрос об этом Державин отвечал: «Любуюсь на вечерние облака! Какие у них золотые края! Как бы хорошо было сказать в стихах: к р а е з л а т ы е!» — И действительно, вскоре этот эпитет явился в стихах его! В другой раз за столом долго смотрел он на щуку и сказал, обратясь к Дмитриеву: «Я думаю, что очень хорошо будет в стихах и щ у к а с г о л у б ы м п е р о м!»<sup>19</sup> — и этот стих не пропал из его запаса!

Дядя мой пришел однажды к Державину в то время, когда он сидел над окончанием «Видения Мурзы». Он остановился на двух стихах:

Как солнце, как луну поставлю  
На память будущим векам!

Выше солнца и луны лететь было некуда, и он стал в тупик. Дмитриев сказал ему шутя: «Вот бы как кончить:

Превознесу тебя, прославлю,  
Тобой бессмертен буду сам!»

«Прекрасно!» — сказал Державин: написал эти два стиха и кончил. — Действительно, нельзя было лучше придумать окончания, тем больше, что оно совершенно в роде Державина: гордо и благородно!

Когда Екатерина отправилась из Петергофа в Петербург для принятия короны, Державин был гвардии солдатом и стоял на часах. Думала ли Екатерина, проходя мимо этого солдата, что это будет певец Фелицы, поэт, который прославит ее царствование!

Державин был правдив и нетерпелив. Императрица поручила ему рассмотреть счета одного банкира<sup>20</sup>, который имел дело с Кабинетом и был близок к упадку. — Прочитывая государыне его счета, он дошел до одного места, где сказано было, что одно высокое лицо, не очень любимое государыней<sup>21</sup>, должно ему такую-то сумму. «Вот как мотает! — заметила императрица: — и на что ему такая сумма!» — Державин возразил, что кн. Потемкин занимал еще больше, и указал в счетах, какие именно суммы. — «Продолжайте!» — сказала государыня. — Дошло до другой статьи: опять заем того же лица. — «Вот опять!» — сказала императрица с досадой: — мудроно ли после этого сделаться банкротом!» — «Кн. Зубов занял больше», — сказал Державин и указал на сумму. Екатерина вышла из терпения и позвонила. Входит камердинер. — «Нет ли кого там, в секретарской комнате?» — «Василий Степанович Попов, ваше величество». — «Позови его сюда». — Попов вошел. — «Сядьте тут, Василий Степанович да посидите во время доклада; этот господин, мне кажется, меня прибить хочет»...

При императоре Павле Державин, бывший уже сенатором, сделан был докладчиком. Звание было новое; но оно приближало к государю, следовательно, возвышало, давало ход. Это было несколько досадно прежним его товарищам. Лучшее средство уронить Державина было настроить его же. Они начали говорить, что это, конечно, возвышение; однако, что ж это за звание? «Выше ли, ниже ли сенатора, стоять ли ему, сидеть ли ему?» — Этим так разгорячили его, что настроили просить у государя инструкции на новую должность. Державин попросил. Император отвечал очень кротко: «На что тебе инструкция, Гаврила Романович? Твоя инструкция — моя воля. Я велю тебе рассмотреть какое дело или какую просьбу; ты рассмотришь и мне доложишь: вот и все!» — Державин не унялся, и в другой раз об инструкции. — Император, удивленный этим, сказал ему уже с досадою: «Да на что тебе инструкция?» — Державин не утерпел и повторил те самые слова, которыми его подзадорили: «Да что же, государь! Я не знаю: стоять ли мне, сидеть ли мне!» Павел вспыхнул и закричал: «Вон!» — Испуганный докладчик побежал из кабинета; Павел за ним: и, встретив Ростопчина, громко сказал: «Написать его опять в Сенат!» — и закричал вслед бегущему Державину: «А ты у меня там сиди смирененько!» — Таким образом Державин воз-

вратился опять к своим товарищам.— Это рассказывал граф Ростопчин.

Обыкновенное общество Державина составляли: И. Ф. Богданович, Алексей Николаевич Оленин, Николай Александрович и Федор Петрович Львовы, П. Л. Вельяминов и Василий Васильевич Капнист, когда он приезжал из Малороссии.

А. Н. Оленин известен своею изобретательностию и талантом в рисовании, известен как знаток и любитель художеств.

Н. А. Львов— кроме ученых сочинений, должен быть известен в нашей литературе, во-первых, началом богатырской повести «Добрыня»<sup>22</sup>, написанном в духе старинной русской поэзии и весьма оригинальном; во-вторых, переводом в стихах Анакреона<sup>23</sup> с подстрочного русского перевода, который сделан был для него Евгением Булгаром, архиепископом Таврическим. Этот перевод был издан с греческим подлинником в С<анкт>-П<етер-бурге> 1794 г. и почитается знатоками весьма близким. Перевод Мартынова известен более; но перевод Львова глаже, мягче и читается свободнее, что составляет большое достоинство, особенно в переводе такого поэта, как Анакреон.

П. Л. Вельяминов известен был многими переводами; между прочим, народною песнею «Ох, вы, славные русски кислы щи!». Вот конец ее:

Проскакал конек поле чистое,  
Доскакал конек до крутой горы,  
По горе коньку, знать, шажком идти!

Все это небольшое дружеское общество Державина отличалось просвещением, талантами, вкусом, любовью к художествам, к музыке и вообще к изящному. До 1782 г., то есть до отъезда своего в Смирну, к нему же принадлежал и Хемницер, который много обязан ему чистотою слога своих басен, особливо Оленину и Н. А. Львову. Они строго разбирали его погрешности, советовали и даже с его позволения поправляли слог его. Хемницер прошел чрез сильное чистилище.

Из письма Державина к первой своей супруге \* известно, что государыня приказала было напечатать сочинения Державина, и что по этому случаю он поручил Капнисту

---

\* Оно было напечатано мною в «Москвитянине». (Прим. М. А. Дмитриева.)

и Ивану Ивановичу Дмитриеву пересмотреть их и выбрать лучшие для издания. — Они для этого пересмотра собирались у него в доме. Но выбор их показался автору слишком строгим. Войдя в комнату, где они занимались этим разбором, и увидя малое число пьес, отобранных и отложенных в сторону, он взял и все перемешал, сказав им: «Что ж! вы хотите, чтобы я снова начал жить!» Тем разбор и кончился.

Комедия Капниста «Ябеда» была написана им прежде лирических его стихотворений, что заметно и по языку: слог «Ябеды» груб и шероховат, хотя и силен; в лирических стихотворениях он плавнее и чище, хотя и слабее. При Екатерине «Ябеда» не могла быть напечатана<sup>24</sup> по причинам, как говорят ныне, не зависящим от автора. Она была напечатана уже при императоре Павле, 1798 г., и посвящена ему. Любителям безошибочных изданий советуем отыскать это издание: в сочинениях Капниста, изданных Смирдиным, многие стихи так испорчены, что нельзя добраться до смысла и до меры стихов.

Комедия Капниста «Ябеда» была несколько времени забыта, как п и е с а с т а р а я. Очень жаль! Нынче опять иногда ее играют на театре. Это одна из тех комедий, которые делают честь не только автору, но всей литературе. Сила ее изумительная! Есть такие места, в которых порок, не теряя стороны комической, доходит до трагической силы: такова, например, ужасающая нравственное чувство оргия членов палаты. — Вот право Капниста на бессмертие, а не оды. <...>

Будем справедливы; если кто написал хоть один стих, достойный памяти, — и того не забудем. Этим беспристрастием окрыляется дарование.

Есть пять стихов и у Тредьяковского, очень порядочных, а по его времени даже и хороших:

Вонми, о небо, и реку!  
Земля да слышит уст глаголы!  
Как дождь, я словом потеку,  
И снидут, как роса к цветку,  
Мои вещания на доли!

Есть и у графа Хвостова стихи, которые называли бы французы *des vers à retenir*\*. Например:

\* Стихи, достойные запоминания (фр.).



Потомства не страшись: его ты не увидишь!

или:

Выкрадывать стихи — не важное искусство!  
Украдь Корнелев дух, а у Расина чувство!

Это напоминает мне, что когда, бывало, у графа Хвостова случится порядочный стих, то Ал. Фед. Воейков уверяет, что это он промолвился.

В старину читали с величайшим вниманием. Я помню спор одного почтенного старика с его приятелем. — Приятель сказал о чем-то, что он читал в «Деяниях Петра Великого». — Старик возразил: «Там этого нет!» — «Есть!» — «Нет!» — «Я принесу книгу!» — «Принеси!» — и побились об заклад. — Приятель отыскал и несет в торжестве книгу: «Вот она! Выиграл!» — «Нет, проиграл! Я не хочу и смотреть на книгу: это не «Деяния»!» — «Да что же это такое?» — «Это «Дополнения»!» — возгласил старик, не смотря на книгу; и заклад выиграл! <...>

До Новикова мало было книг для общего чтения: они были редки; и потому между грамотниками простого народа, между купцами, между помещиками и их людьми более нынешнего были известны церковные книги и духовные церковные печати. Поучительные слова свят<ых> отцов Греческой церкви, Минея-Четия<sup>25</sup> и Пролог<sup>26</sup> были всеобщим чтением. Мало-помалу это вывелось с умножением книг светских. А теперь что читает наш народ! — Мне случалось в Москве, проходя мимо читающего лавочника, посмотреть у него книгу. — По большей части **Поль де Кок** или другие французские романы, из которых они учатся семейному разврату и обману. Из поэзии — одна любимая книга, которой нынче не могут начитаться: «Конек Горбунок»...

Есть пословица: «По платью встречают, по уму провожают!» Не знаю, провожают ли у нас по уму, но встречают действительно по платью. — Сперва было у нас русское, национальное платье: встречали поклонами и угощением. — Потом ходили в немецких кафтанах, или в том, что у кого есть: начали встречать с важностию, с почтением и с оглядками. — Потом появились французские кафтаны и фраки: стали встречать первых с тонким приличием, вторых с свободою, непринужденною вежливостию. Теперь все любят свой покой, ездят с визитами в сюртуках и пальто и ни на кого не смотрят; оказывается, что

и на них не смотрят, встречаются не глядя и никому не оказывают уважения. — В последнее время начали носить уже косматые пальто по образцу медведей, которые, кажется, и называют *ours* \*: этих уж совсем никак не встречают! До чего наконец дойдут встречи и провожания, этого не отгадает и сам Нострадамус!

История нашей поэзии делится на три периода. От Ломоносова до Дмитриева: период старого стиля, и в слове и в формах поэзии; от Дмитриева включительно до Пушкина: период нового стиля и художественности; после Пушкина период произведений без всякого стиля и формы. Само собою разумеется, что лучшие поэмы нашего времени принадлежат тоже к школе и стилю Пушкина; но их немного: они не составляют общего характера эпохи. И во втором периоде оставались люди, принадлежавшие к старой школе. Я говорю о характере периода вообще.

Дядя мой говаривал, что нынешние поэты оттого не пишут длинных торжественных од, что у них дух короток; а я думаю оттого, что ныне дух не тот. Нынче нет удивления! <...>

В первый раз я узнал Карамзина 5 июня 1812 г., когда я еще был в университетском благородном пансионе. Он приезжал к начальнику пансиона Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому и пожелал меня видеть, сколько по дружбе своей с моим дядей, столько и по воспоминанию о моем отце. Мне было тогда 15 лет. Я смотрел на него с благоговением: таким уважением я был преисполнен к его сочинениям, которые были мне известны с малолетства; так привык я слышать в нашей семье его имя, повторяемое с уважением к его дарованиям. Пришедши назад в пансион, я записал все, что Карамзин говорил, и сохранил доньше эту тогдашнюю записку...

Карамзин, с первой молодости, был другом моего дяди: но еще прежде, нежели сблизился с ним, он был дружен с моим отцом. Военная служба в отдаленном краю России, а потом смерть моего отца разлучили их.

Об нем говорит Карамзин в «Письмах русского путешественника», в письме от 26 мая 1789: «В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Дмитриеву, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он несчаст-

---

\* Медведь (фр.).

лив! — «Состояние мое совсем твоему противоположно, — сказал он со вздохом. — Главное твое желание исполняется; ты едешь наслаждаться, веселиться, а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой друг, — сказал я ему, — чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаясь другого, и жалею. — Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал».

Об нем же упоминает он в статье «Цветок на гроб моего Агатона». Вот это место: «Я говорил с ним за два дни до кончины его (пишет ко мне любезный Дмитриев) и никогда не перестану удивляться силам души его». «А я за сие удивление никогда не перестану любить тебя, милый Дмитриев». — Это писано 28 марта 1793.

Под именем Агатона Карамзин разумел товарища своей юности Александра Андреевича Петрова. В первом году журнала «Москвитянин» помещен был мною отрывок из «Записок» моего дяди, где было сказано о Петрове. И потому повторяю в коротких словах, но с некоторым пояснением то, что было уже напечатано.

Петров был молодой человек глубокого ума и с верным критическим взглядом. Он знал языки древние: греческий и латинский; из новейших: немецкий, английский и французский; в русском имел глубокие сведения. Сам он не писал ничего, а занимался переводами. <...> Он же издал, под руководством Н. И. Новикова, первые четыре части «Детского чтения».

«Детское чтение» было едва ли не лучшею книгою из всех, выданных для детей в России. Я помню, с каким наслаждением его читали даже и взрослые дети. Оно выходило пять лет, с 1785 по 1790 <г.>, особыми тетрадками при «Московских ведомостях»... <!...>

Первая супруга Карамзина скончалась в 1802 г. Карамзин любил ее страстно. Видя безнадежность больной, он то рвался к ее постели, то отрываем был срочною работою журнала<sup>27</sup>, который составлял его доход и был необходим для семейства. Это было мучительное время его жизни! Утомленный, измученный, бросился он на диван

и заснул. Вдруг видит во сне, что он стоит у вырытой могилы, а по другую сторону стоит Екатерина Андреевна (на которой он после женился) и через могилу подает ему руку. Этот сон тем страннее, что в эти минуты, занятый умирающею женою, он не мог и думать о другой женитьбе и не воображал жениться на Екатерине Андреевне. Он сам рассказывал этот сон моему дяде. На Екатерине Андреевне он женился в 1804 г.

Не было равнодушнее Карамзина и к похвале и к критике: первой не давал он большой цены, потому что его славолубие было не мелочное авторское самолюбие; второю он не возмущался, потому что мелочи не тревожили никогда его философского спокойствия. В его характере было какое-то высокое спокойствие духа, которое мы находим у древних философов. Сердце его могло страдать, но дух не возмущался. <...>

Образ жизни его в Москве был чрезвычайно правилен. Всякое утро посвящал он труду, истории российского государства; всякий день ездил верхом или ходил пешком перед обедом; в 10 часов вечера выходил в гостиную пить чай и принимал тех, которые приезжали к нему на вечер. <...>

Отец Карамзина, Михаил Егорович, был симбирский дворянин. Он был женат два раза. От первого брака были у него сыновья: Василий Михайлович, Федор Михайлович (род. 1767) и Николай Михайлович (род. 1765). Я знал и тех обоих братьев. Во втором браке был он женат на родной сестре моего деда и родной тетке моего дяди и отца, Авдотье Гавриловне Дмитриевой. От этого брака имел он сына Александра Михайловича и дочь Марфу Михайловну, по мужу Философову. Таким образом, младший брат и сестра Николая Михайловича были моему дяде двоюродные; а Николай Михайлович не родня. Но они были с ним ближе родных по своей дружбе. <...>

Начало службы Карамзина было, как и всех дворян хорошей фамилии того времени, в гвардии. Гвардейская его служба продолжалась недолго<sup>28</sup>; но сколько и с которого года по который, не знаю; знаю, однако, что он в своей молодости (это было до 1787 г.) приезжал на мою родину, в Симбирск<sup>29</sup>, и едва там не остался.

Там молодой человек, умный, хорошенький собою и приехавший из Петербурга, разыгрывал роль светского юноши. Танцевать он, вероятно, не танцевал, потому что был и не мастер: он сказывал при мне, что за его танцеванье было заплачено танцмейстеру всего 15 рублей; он взял 30 уроков, по полтине за урок, но в замену этого он пристрастился было к картам. К счастью, в это время был в Симбирске Иван Петрович Тургенев (отец Александра Ивановича). Он знал способности молодого человека; знал его переводы, первые его опыты в литературе. Ему стало жаль умного и талантливую юношу, который губит свои способности в кругу людей, которые не могли и оценить их, не только придать им силы. Он устыдил молодого Карамзина образом его жизни, уговорил его ехать в Москву<sup>30</sup> и приняться за что-нибудь полезное. Этому-то достойному человеку обязаны мы сохранением Карамзина от рассеянной, пустой жизни и неразлучных с нею искушений. Тогда-то возвратился Карамзин в Москву и тогда-то, по рекомендации Тургенева, вступил в Общество Новикова, к которому принадлежал уже его Агатон—Александр Андреевич Петров. <...>

В книжке Карамзина «Мои безделки» напечатан был рассказ под названием «Фрол Силин, благодетельный человек», с таким примечанием автора: «Он еще жив, один из моих приятелей читал ему сию пиесу. Добрый старик плакал и говорил: я этого не стою, я этого не стою!»

Я обязан сказать, что все написанное о Фроле Силине не совершенная правда. Он был крестьянин моего деда Ивана Гавриловича Дмитриева, из деревни Ивановское, более известной под другим названием: Чекалино, в семи верстах от нынешнего моего села. Я знал Фрола Силина и помню, как теперь гляжу, его умное лицо, высокий рост, редкую седую бороду и красный нос, потому что он любил-таки выпить.—Сколько раз в моем детстве он приносил мне меду, только что вынутых сотов, потому что он был зажиточный.—Приятель Карамзина, читавший Фролу Силину описание его добрых поступков, это мой дядя Ив<ан> Ив<анович> Дмитриев.—Фролу Силину казалось чрезвычайно дико, что о нем написано в книге: как-то он не верил и думал, кажется, не шутят ли над ним и не читают ли наизусть, чего совсем не написано.

Есть пословица: «Каков корень, таковы и отростки».—Но, видно, она не совсем справедлива.—Расскажу происхождение Фрола Силина, годное хоть бы в роман.

Мать его, молодая баба, работала в поле; наехали разбойники и увезли ее с собой. У них прожила она целый год. Наконец, когда они в ней уже уверились и могли, по их соображениям, безопасно оставлять ее одну, они отправились на разбой, оставивши ее без надзора. Она скрылась, ушла к своему мужу и, говорят, не без денег. Один из разбойников, который был к ней ближе, отыскал ее, приехал к ней в дом и велел дать знать — в известное место, — когда она родит; и ежели родит сына, дать ему имя Фрол Силин. Так и сделалось. <...>

По странности происхождения Фрола Силина ходили о нем разные, конечно, вздорные слухи. Говорили, что он знал какое-то слово, по которому его не трогали разбойники, и даже некоторые слова, которым приписывали таинственную силу. — Я рассказываю это, натурально, не за истину, а за слухи, которые о нем ходили между крестьянами и которым они верили.

Говорили, например, что однажды, когда он ехал куда-то один в телеге, на него самого напали разбойники, разумеется, уже другие, не той шайки, которая похитила его мать, потому что прошло много времени. Одни схватили под уздцы его лошадь, другие ухватились за телегу. — Он будто бы промолвил какое-то слово и закричал на лошадь. Руки их пристали к узде и к телеге, и таким образом он их привел к себе домой. — Приехавши, велел их накормить; но они просили только, чтобы он отпустил их. Фрол Силин взмиловался и отпустил, сказав только: «Теперь знайте Фрола Силина!» — Само собою разумеется, что это сказка, доказывающая только, как все необыкновенное вызывает в народной фантазии рассказы, превращающиеся по большей части в чудесное.

Сочинения Карамзина были приняты с необыкновенным восторгом. Красота языка и чувствительность — вот что очаровало современников. Молодые люди и женщины всегда восприимчивее и к чувствительному и к прекрасному: по крайней мере, так было в то время. Их-то любимцем сделался Карамзин как автор. Его слог чрезвычайно быстро проник в молодое поколение писателей, но тем более возбудил он против себя закоснелость стариков и старых писателей, которым переучиваться было уже поздно. Между ними восстал на него Шишков<sup>31</sup> в своей книге «Рассуждение о старом и новом слог» (1802).

Нынче эта книга забыта, но в свое время она наделала много шума в пишущей публике, и Шишков сделался знаменем, под которое стекались литературные старо-

веры. Впрочем, этих людей было немного; все они были люди, не отличавшиеся ни знаниями, ни талантами. Таковы были, например, Захаров <...>, потом: Станевич, Анастасевич, Политковский. Кто об них ныне знает и помнит, что они написали? А язык Карамзина распространялся более и более.

Ныне пишут о Шишкове, как об учредителе школы, противодействовавшей Карамзину, как будто Шишков имел в нашей литературе какую-нибудь силу и произвел на нее какое-нибудь влияние! Ничего этого не было! — Один Шишков писал против Карамзина, а другие, немногие, молча лепились около него, по зависти к недостижимому таланту, по недоверчивости к нововведениям в слоге и по незнанию языка, а не потому, чтобы отстаивали коренные его свойства. Сам Шишков, имевший пристрастие к славянскому языку, плохо знал его и вообще не имел достаточных сведений в филологии<sup>32</sup>. Если бы нынешние защитники Шишкова прочитали его книги «Рассуждение о старом и новом слоге»; «Прибавление к рассуждению» и «О красноречии Св<ятого> Писания», они сами могли бы это увидеть. <...>

Шишков, под неприветливою наружностью, был добродушен; под холодною наружностью, пылок. Таков он был и в молодости. Дядя мой, С. Ф. Филатов, капитан первого ранга и георгиевский кавалер, служил с ним вместе в морской службе и знал его коротко, как товарища. Он рассказывал, что Шишков в молодых годах влюблялся беспрестанно и страдал от любви. Он не изменил себе и под конец жизни: в глубокой старости он вторично женился на женщине молодой, в сравнении с ним, летами.

Добродушный, честный, благонамеренный, он увлекался слепую страстию к старине и к красотам славянского языка; говорю слепую, потому что он худо знал и понимал предмет своей страсти. Эта слепая страсть делала его несправедливым; при цели, с его стороны, конечно, благонамеренной, он почитал дозволенными все средства. В своей книге «О слоге» он беспрестанно употребляет вот какую уловку. Он выписывает фразу Карамзина, всем известную; а вслед за нею фразы плохие или смешные других молодых прозаиков: так, чтобы не знающий или недогадливый читатель подумал, что и последние принадлежат Карамзину же. Этими уловками и тоном нетер-

пимости, господствующим в его книге, он более всего возбудил против себя почитателей Карамзина; а примерами собственного незнания, соединенного с уверенностью знатока и с упреками, не всегда умеренными, возбудил негодование просвещенных литераторов.

Но со стороны нравственных требований от слова человеческого, которое, особенно в руках писателя, может сделаться и благотворным и вредным орудием, Шишков, несмотря на свои крайности, был прав: в этом отношении нельзя не пожалеть, что люди его времени оставляли в пренебрежении его указания. Он восставал, например, не собственно против французского языка, но против его безрассудного употребления, которое было таково, что нынче мы устыдились бы видеть это между нами. Одним словом: до 1812 г. чистый французский язык был у нас — и грамота на благородное происхождение, и аттестат на отличное воспитание. Один Шишков видел, задолго до нашествия врагов, что под этим скрывается пристрастие не к одному языку, а ко всему чужому; что и посредством языка Франция, так сказать, налагала на нас безотчетное покорство самому образу мыслей чужого народа. Кроме того, он видел, хотя и не умел выразить этого, что одна чужая литература, особенно же французская, красивая, легкая, неглубокая, ведет к расслаблению понятий и к односторонности; что русские писатели, не зная других литератур, не могут извлекать пользы из сравнения и потому, вместо расширения своих понятий, суживают свои понятия; что они осуждены черпать из одного источника, и то не из чистой глубины, а по большей части тиннистую мутную воду пологого берега, к которому доступ легче. Шишков предсказывал многие плоды этого пристрастия к чужому, этого отчуждения от самих себя: что и сбылось и что мы только теперь поняли. Шишков был, в некотором смысле, пророк; за то его и не слушали, как в древности пророков! Несмотря на все, что сказано много выше, несмотря на его исключительность, на те средства обличения, которые он иногда позволял себе в своем негодовании, несмотря, говорю, на все это, честная его память, как человека, заслуживает вечное уважение.

Эта-то его односторонность и раздражительность и восставляли против него: хладнокровные указания и строгость мысли были бы действительнее. Это надобно принять в соображение и нынешним славянофилам. <...>



Гр. Хвостов теперь забыт; но в наше время он составлял наслаждение веселых литераторов и молодых людей, не чуждых литературе, которые хотели позабавиться. Слушатели бегали от его чтения; но словесники находили в его сочинениях неисчерпаемый источник забавы и шуток.

Он был по происхождению не граф и начал свое литературное поприще еще в старинном журнале «Собеседник», потом печатал в «Аонидах» Карамзина, еще без графского титула. Но он был женат на племяннице Суворова, который и выпросил ему графство у короля Сардинского. <...>

Граф Хвостов был известен охотою читать всякому свои сочинения. Ф. Ф. Кокоскин был его племянник. Однажды в Петербурге гр. Хвостов долго мучил его чтением. Наконец, Кокоскин не вытерпел и сказал ему: «Извините, дядюшка! Я дал слово обедать; мне пора! Боюсь, что опоздаю; а я пешком!» — «Что же ты мне давно не сказал, любезный!» — отвечал гр. Хвостов. — «У меня готова карета, я тебя подвезу!» — Но только что они сели в карету, гр. Хвостов выглянул в окно и закричал кучеру: «Ступай шагом!» — а сам поднял стекло кареты, вынул из кармана тетрадь и принялся запертого Кокоскина опять душить чтением. <...>

Талант князя Шаликова известен: вялость мыслей и слога, поддельная чувствительность; в стихах — никакого одушевления, прозаический, жидкий период с рифмами; переносы смысла в недоконченный стих и никакого искусства; но в прозе слог его был чист, правилен и гладок.

Когда дядя мой станет, бывало, нападать на его пустоту, холодность и вялость, то Карамзин, прекрасно защищал его, говоря, что в нем есть что-то тепленькое.

Кн. Шаликов был один из тех несчастливых подражателей, за которых упрекали Карамзина его противники, как будто хороший писатель виноват, что бездарная толпа идет по следам его. Скорее можно было поставить ему в заслугу, что и эти люди научились писать чисто, гладко и правильно.

Таково было действие, произведенное примером Карамзинской прозы, что и бесталанные писатели научились от

него не только правильности и чистоте языка, но и благородству слога. Последнее надобно заметить особенно в нынешнее время. Ни один из тогдашних писателей не писал языком лакейским; ни один журналист не вставил бы в свою фразу: «изволите видеть». Чувство вкуса предупредило бы его, что такими любезностями и такими поговорками не говорят в хорошем обществе. — Ни один из них не писал, как пишут нынче: «взойдти в дверь и войти на лестницу». Ни один не сказал бы: «не хватало на это»; а сказал бы: «недостало на это»! А нынче так пишут даже и дамы.

Князь Шаликов был чрезвычайно известен и смешон своею наружностью, которой совсем не было в его характере: он был только сластолюбив и раздражителен, как азиатец; его сентиментальность была только прикрытием эпикурейства. Он был странен и в одежде: летом всегда носил розовый, голубой или планшевый платок на шее. Его очень забавно описал молодой тогдашний поэт к<нязь> В<яземский>.

С собачкой, с посохом, с лорнеткой<sup>33</sup>  
И с миртовой от мошек веткой,  
На шее с розовым платком,  
В кармане с парой мадригалов  
И чуть звенящим кошельком,  
Пустился бедный наш Вздыхалов  
По свету странствовать пешком.

Продолжения не помню.

Кн. Шаликов был по происхождению грузинец, что обнаруживала и его физиономия: большой нос, широкие черные брови, худощавость. Отец его был в военной службе, в офицерском чине. Сын был вместе с ним в походах, тоже записанный в какое-то военное звание, и находился в армии Потемкина при взятии Очакова...

Потом он жил в Москве, имея собственный домик на Пресне, и во время нашествия на Москву неприятелей остался в ней по недостатку средств для выезда. «Историческое известие о пребывании в Москве французов»<sup>34</sup> напечатано им особой книжкой, и так как она содержит в себе свидетельство очевидца (а у нас таких книг мало), то и она не должна быть забыта. Это, может быть, из всего, написанного князем Шаликовым, одно, что должно сохраниться в библиотеках. Потом, когда был издателем

«Московских ведомостей», кн. Шаликов жил в доме университетской типографии, на Страстном бульваре. Потом он оставил службу и переехал в маленькую свою деревеньку в Серпуховском уезде, где и умер 16 февраля 1852 г., 84 лет от роду.

Его нежные бульварные похождения невообразимы! Иногда за это ему случалось попадать в неприятные или в смешные приключения, которые не подлежат скромному описанию, но которые забавляли его современников! А любопытно было бы описать в подробности *se vétéran — voltigeur et ses campagnes à la rose* \*. Он был очень оригинален. Нынче оригиналы так редки, бульвары и гулянья сделались так пошлы, что для современников князя Шаликова—его именно недостает на Тверском бульваре, как необходимой принадлежности. <...>

В «Дамском журнале» кто-то сыграл с ним непростительную штуку, прислав к нему для помещения в журнале длинную шараду, которая составляла и акростих. Князь Шаликов не заметил акростиха и напечатал, а начальные его буквы составляли смысл: г л у п к а к к о л о д а! — Но он совсем не был глуп, а только странен, кривлялся и сентиментальничал. <...>

Еще забыл один анекдот о князе Шаликове, доказывающий, что он в нужных случаях не терял присутствия духа. За обедом рассердился на него гордый и заносчивый В. Н. Ч-н и вызвал его на дуэль. Кн. Шаликов сказал: «Очень хорошо! Когда же?» — «Завтра!» — отвечал Ч-н. — «Нет! Я на это не согласен! За что же мне до завтра умирать со страху, ожидая, что вы меня убьете? Не угодно ли лучше сейчас?» Это сделало, что дуэль не состоялась!

После французов (т. е. когда они вышли из Москвы) граф Ростопчин призвал кн. Шаликова для объяснения: «Зачем он остался в Москве?» — «Как же мне можно было уехать! — отвечал кн. Шаликов. — Ваше сиятельство объявили, что будете защищать Москву на Трех Горах, со всеми московскими дворянами; я туда и явился вооруженный; но не только не нашел там дворян, а не нашел

---

\* Этого ветерана-искусника и его амурные похождения (фр.).

и вашего сиятельства!» — Еще забавнее, что он к этому прибавил по-французски: «Et puis j'y suis resté par curiosité!»... \*

В разряде почитателей Карамзина, но в противоположность князю Шаликову, следует сказать о Сергее Николаевиче Глинке. Нежный кн. Шаликов обожал в Карамзине чувствительного автора. С. Н. Глинка видел в нем, сквозь европейскую его образованность, человека полезного и с русскою душою. Это делало ему тем больше чести, что немногие видели это качество в Карамзине в начале его литературного поприща.

Глинка воспитывался в Сухопутном Кадетском корпусе под руководством графа Ангальта. Он служил в военной службе, был в армии в первые войны с французами (1805 и 1807) и вышел в отставку майором. Он сделался известен изданием «Русского вестника» с 1808 г., в ту пору, когда после войны с французами и Тильзитского мира<sup>35</sup> Глинка возненавидел Наполеона и французов. Сначала цель его при издании этого журнала была напомнить русским родную Русь, ее старину и подвиги; потом мало-помалу он перешел к совершенной ненависти враждебного нам тогда народа, очаровавшего нас языком, модами и вредными обычаями. Журнал Глинки, несмотря на оппозицию приверженцев моды и галломании, пришелся совершенно по времени и имел успех необыкновенный. Приверженцы европейства не возлюбили Глинку, идущего поперек; но многие обрадовались его патриотизму. <...>

По приезде государя в Москву граф Ростопчин позвал к себе Глинку, что испугало чрезвычайно жену его. Но Ростопчин вручил ему от имени государя Высочайший рескрипт и орден св. Владимира 4-й степени и сказал ему: «Именем государя развязываю вам язык и руки; говорите и пишите, что найдете нужным. Вот вам триста тысяч: употребляйте их по вашему усмотрению, безотчетно, и действуйте на народ к доброй цели, потому что он имеет к вам доверенность!» Глинка действовал сильно и много способствовал к восстановлению народной толпы против Наполеона и французов. Но по изгнании французов из Москвы и по возвращении в нее графа Ростопчина он принес и возвратил ему эти триста тысяч в целости. Сам он провел всю жизнь в бедности. Что приобретал трудом, то у него велось недолго! — Его «Записки о 1812 го-

\* А кроме того, я остался из любопытства (фр.).

де» писаны хотя в том беспорядке, который всегда, особенно в последнее время, господствовал в писаниях Глинки, но, несмотря на то, они живы и чрезвычайно любопытны своим безыскусственным рассказом. <...>

Продолжаю о С. Н. Глинке.—Он был чрезвычайно бескорыстен и любил следовать первому движению своего сердца. Государь император Александр пожаловал ему бриллиантовый перстень в 800 рублей ассигнациями. Глинка приехал в один дом и показал свой перстень гостям и хозяевам. В эту минуту предложили сбор в пользу какого-то бедного семейства. Денег с Глинкою не случилось: он, не задумавшись, пожертвовал свой перстень. Сколько ни уговаривали его, сколько ни предлагали ему отдать за него небольшую сумму, которую он после пришет хозяину дома, он никак не согласился и приехал домой без перстня.

В 1812 г., во время пожертвований на ополчение, он пожертвовал все свои серебряные ложки; на другой день пригласил гостей обедать и подал им деревянные! — Спросят: зачем же было приглашать гостей, чтобы подать им деревянные ложки? — Не знаю, я только пишу то, что было и как было. <...>

Возвращаюсь опять к началу нынешнего столетия и к поэзии.—И. И. Дмитриев совершил для русского языка то же, что Карамзин для прозы; т. е. он дал ему простоту и непринужденность естественной речи, чистоту выражения и совершенную правильность словосочинения, без натяжек и перестановок слов для меры и для наполнения стиха, чем обезображивали старинные стихотворцы язык поэзии. Язык поэзии, язык богов, должен быть текучее и плавнее обыкновенного языка человеческого; а у них он был всегда связан и с запинкой. И поэты, и читатели оправдывали это тем, что стихотворный язык стесняет мера; но Дмитриев доказал, что она не стесняет дарования. Жуковский, Батюшков, Пушкин подтвердили то же своим примером. Дмитриев и Карамзин стоят на одном ряду, как преобразователи языка нашего: один в стихах, другой в прозе. С них началась в нашей литературе эпоха художественности. <...>

Не было писателя и стихотворца, которому бы Дмитриев не отдавал справедливости и той именно похвалы,

которую тот заслуживает по мере своего таланта. Он разбирал строго, анализировал подробно и доказывал ошибки без уступчивости; но всегда хладнокровно, учтиво, с достоинством. Если же находил черту таланта, теплое чувство, хороший стих, он поднимал их, возвышал и показывал во всем блеске. Если хорошее превышало дурное, давал перевес похвале перед порицанием. Это тем замечательнее, что от самого себя требовал он полного совершенства, и в частях, и в целом, и никогда не довольствовался частностями, что доказывается его мнением о своем «Послании к Карамзину». Одного не прощал он: низкого чувства и низкого, площадного выражения, которые при нем уже начинались. О стихах просто вялых он говорил неохотно, нехотя и забывал их на суде своем. Но над стихами графа Хвостова «*le sublime du galimatias*» \* от души смеялся и с каким-то особенным добродушным наслаждением.

Это ведет меня опять к отступлению. Гр. Хвостов любил посылать, что ни напечатает, ко всем своим знакомым, тем более к людям известным. Карамзин и Дмитриев всегда получали от него в подарок его стихотворные новинки. Отвечать похвалою, как водится, было затруднительно. Но Карамзин не затруднялся. Однажды он написал к нему, разумеется, иронически: «Пишите, пишите! Учите наших авторов, как должно писать!» Дмитриев очень укорял его, говоря, что Хвостов будет всем показывать это письмо и им хвастаться; что оно будет принято одними за чистую правду, другими за лесть; что и то и другое нехорошо. — «А как же ты пишешь?» — спросил Карамзин. — «Я пишу очень просто. Он пришлет ко мне одну оду или басню, я отвечаю ему: «Ваша ода или басня ни в чем не уступает старшим сестрам своим!» — Он и доволен, а между тем это правда». — Оба очень этому смеялись! <...>

Не могу отстать от гр. Хвостова. — Он так любил дарить свои сочинения и распространять свою славу, что по дороге к его деревне (село Талызино, в Симбирской губернии), по которой я часто ездил, он дарил свои сочинения станционным зрителям, и я видел у них приклеенные к стенке его портреты. Замечательное славолубие во всех видах и феномен метромании! <...>

Привыкнувши с молодости к природе, простоте жизни и деятельности, Иван Иванович Дмитриев вставал очень

\* Вершина галиматый (*фр.*).

рано, сам варил себе кофей, потом немедленно одевался. Редко, очень редко мне случалось заставить его в шлафроке, и то разве тогда, когда он был нездоров. Всякий день он ходил пешком, и ходил много. Этой ранней привычки он не оставлял даже и тогда, когда он был министром: у него на все доставало времени. В Москве, в своих прогулках, нередко вслушивался он в разговоры людей из простого народа и сам вступал в речь с ними. Иногда он приносил из этих прогулок очень верные замечания и черты народного характера, которые он умел рассказывать с неподражаемым искусством! Его шутка, сопровождаемая всегда важным видом, была необыкновенно метка и забавна. — Читал он очень много; следил постоянно за происшествиями своего времени и за литературою. Садоводство, или лучше сказать зелень деревьев и луга английского сада, — это было его страстию! Другая его страсть были эстампы лучших мастеров. Но в этом он не следовал записным охотникам, которые ценят эстампы по признакам, описанным в каталогах. Он следовал своему вкусу и никак не ошибался! Иногда покупал он эстамп для поэтического его сюжета, чего не делают охотники. Страсть к саду и к эстампам наследовал и я от него. <...>

Выписываю некоторые происшествия его жизни, которых нет в его биографии, напечатанной при последнем издании его сочинений.

Многим современникам известно, что в начале царствования императора Павла Иван Иванович Дмитриев был взят под стражу; но неизвестны причины и подробности этого происшествия...

В начале царствования императора Павла Дмитриев вышел из гвардии в отставку с чином полковника с мундиром.

В самый день крещения (1797), в который бывает церковный ход на воду и парад войск, Дмитриев, перед самою обеднею, лежал еще в постели и читал книгу — какую же книгу! — *La conjuration de Venis, par Saint-Réal* \*. — Входит к нему двоюродный его брат Иван Петрович Бекетов, в мундире и в шарфе, и говорит ему шутя: «Вот, право, счастливец! Лежит спокойно; а мы будем мерзнуть на вахт-параде!» — Пробывши у него с четверть часа, он вышел — и находит у наружных дверей часового! — Он хотел воротиться назад; но его уже не пустили.

---

\* «Заговор Венеры» Сен-Реаля (фр.).

Вдруг вошел к Дмитриеву второй военный губернатор, Николай Петрович Архаров (первым был наследник, великий князь Александр Павлович), и сказал ему очень учтиво, чтоб он одевался и ехал с ним. Дмитриев начал одеваться, хотел, по тогдашней строгой форме, причесываться, делать букли, косу и пудриться; но Архаров сказал, что это не нужно, — и потому Дмитриев оделся наскоро в мундир, и с распущенными волосами сел с Архаровым в его карету и поехал. Проходя через переднюю, он сказал только своему слуге: «Скажи братьям». — Карета остановилась у дворца. Взойдя на крыльцо, он увидел своего сослуживца Лихачева, тоже привезенного полицейстером, под надзором которого Архаров оставил их обоих, а сам пошел по лестнице во внутренние комнаты. Оба арестанта бросились друг к другу с вопросами: «Не знаешь ли, за что?» — И оба вдруг отвечали: «Не знаю!»

Вскоре их обоих позвали. Надлежало проходить чрез все парадные комнаты дворца, наполненные, по случаю торжественного дня, генералитетом, сенатом, камергерами, камер-юнкерами, высшими чинами двора, придворными дамами. Их ввели в кабинет государя; он был окружен одним императорским семейством.

Император сказал им: «Господа! Мне подан донос, что вы покушаетесь на мою жизнь!» — В эту минуту великие князья Александр и Константин оба заплакали и бросились обнимать отца. — Павла это тронуло. — Он продолжал: «Я хотя и не думаю, чтоб этот донос был справедлив, потому что все свидетельствуют об вас одно хорошее; особенно за тебя все ручаются!» — сказал он, оборотясь к Дмитриеву. — (Действительно, за него все ручались, и сам наследник; особенно же тогдашний генерал-майор Федор Ильич Козлятев, человек добродетельный и строгий к долгу, хотя и добродушный философ; об нем я напечатал некогда статью в прежней «Молве», издававшейся Надеждиным.) Впрочем, — продолжал государь, — я так еще недавно царствую, что никому, думаю, не успел еще сделать зла! — Однако, если не так, как император, то как человек, должен для своего сохранения принять предосторожности. — Это будет исследовано; а пока — вы оба будете содержаться в доме Архарова». — Их вывели, и они поселились у военного губернатора. В первый день они обедали вместе с хозяином; но так как начало приезжать множество любопытных, то Архаров предложил им обедать одним в своей комнате, чему они были и рады. Три дня прожили они в неизвестности о своей участи.

В это время (рассказывал мой дядя) один случай рассмешил его. Вдруг выглядывает к нему в комнату мальчик, хорошо одетый, и спрашивает, можно ли войти. Дмитриев позвал его, приласкал и спросил: что ему на-



добно?—это был племянник Архарова.—«Я слышал,—отвечал мальчик,—что вы пишете стихи; я тоже пишу и пришел попросить вас, чтоб вы поправили».

Через три дня вся эта история кончилась.— Дело было вот в чем. Слуга Лихачева (но не этого, а двоюродного его брата, с которым Дмитриев вовсе не был знаком) подал этот донос в надежде получить за это свободу. Для достоверности нужно ему было припутать другого, и он припутал Дмитриева. Архаров, немедленно по взятии их под стражу, бросился обыскивать слуг, их платье; у доносчика найдено было в кармане черновое письмо к родственникам, в котором он писал, что скоро будет вольным. Это письмо, при сходстве почерка с доносом, послужило к открытию истины...

Эта история послужила к счастью Дмитриева. Государь приказал великому князю Александру Павловичу спросить Дмитриева: чего он хочет?— Он не хотел ничего, кроме спокойной жизни в отставке.— Наконец, в третий раз Александр Павлович настоятельно уже сказал ему: «Скажи что-нибудь; батюшка решительно требует!»— Тогда он отвечал, что желает посвятить жизнь свою службе государю.— Вследствие этого ответа он был сделан товарищем министра уделов. Потом уже он получил место обер-прокурора. Тогда это было повышением. <...>

## СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА СКАЛОН

(март 1797 — нач. 1880-х гг.)



Мя мемуаристики мало что скажет читателю. Но достаточно вспомнить, как звалась она до замужества, чтобы ассоциации появились: перед нами воспоминания младшей дочери славного писателя, соединившего в своем творчестве и биографии потоки русской и украинской культуры, Василия Васильевича Капниста (1758—1823). Автор знаменитой, некогда запрещенной комедии в стихах «Ябеда», «Оды на рабство» и многих других произведений, он владел наследственным имением Обуховка в Полтавской губернии, где и выросли три его сына и две дочери. Младшей была Софья Васильевна. Следует сказать и еще об одном «литературном родстве»: мать автора записок приходилась родной сестрой Д. А. Дьяковой, жене Г. Р. Державина. Семьи их были очень близки. Собственно, из переписки Державина с Капнистом первый современный публикатор воспоминаний С. В. Скалон, Ю. Г. Оксман, установил дату ее рождения: «Письмо твое, мой любезный друг Василий Васильевич, от 22 марта, — пишет Державин, — получил. Радуюсь ... что здорова Александра Алексеевна и что у тебя завелась в доме премудрость, авось либо более счастья тебе будет». Премудрость — Софья. К таким вот косвенным источникам приходится прибегать историкам, когда прямых не удастся отыскать. Сохранился, между прочим, девический альбом С. В. Скалон, куда в 1816 г. несколько строк вписал Державин:

В книжке сей зеленой  
Дядя, старичок седой,  
Софьюшке бесценной  
Поклон свидетельствует свой.

За этим следует дополнение жены поэта:

Вместо зеленой  
Пусть будет книжка красна  
И ты, мила Сонюшка,  
Вечно прекрасна.

Д а р ь я   Д е р ж а в и н а

...Еще сложнее со второй датой—закрывающей жизненный путь С. В. Скалон. Известно, что муж Софьи Васильевны в 1850-х годах получил службу в Петербурге. Там-то и принялась она за свои мемуары, испытывая постоянную ностальгию по родной Полтавщине: «Живя более трех лет на Севере, в мрачном туманном краю, в той столице, которая богатством зданий, гранитными набережными и великолепием дворцов и храмов своих изумляет каждого, но где все дышит сыростью и холодом, наполняющим не только воздух, но и души жителей, я чаще, чем когда-нибудь переношусь мыслями и чувствами на родину мою, в благословенный край Малороссии, где я провела самые счастливые дни моей жизни. Все здесь, на Севере, наводит тоску, стесняет сердце и, если бы не семейство мое, в котором я так счастлива и спокойна, которое нежными заботами своими и попечением согревает душу мою, то, конечно, ничто не удержало бы меня здесь доле».

Приближаясь к старости и желая, пока еще силы и слабое зрение мое позволяют, изложить единственно в память детям моим и близким сердцу моему, некоторые очерки жизни моей и родных моих—и решилась приступить к этому делу».

Записки были переданы то ли самой мемуаристкой, то ли, что вернее, ее родными ректору Петербургского университета Петру Александровичу Плетневу, он-то и сохранил их полный список, фрагменты которого здесь печатаются. Другой вариант, менее выразительный, хранился у родственников С. В. Капнист-Скалон и был опубликован в журнале «Исторический вестник» в 1891 г.

Мемуары создавались, таким образом, в конце 1850-х годов. Вскоре семейство Скалонов вернулось в Полтаву, где еще и в конце 1870-х гг. Софья Васильевна здравствовала и делилась воспоминаниями о прошлом. Так, весьма приблизительно, устанавливается дата ее ухода.

\* \* \*

Несколько слов необходимо сказать об Обуховке, ее обитателях и их друзьях. Места там и вправду чудесные. Об этом рассказал Капнист в стихотворении «Обуховка»:

В миру с соседями, с родными,  
В согласьи с совестью моей,  
В любви с любезною семьей  
Я здесь отрадами одними  
Теченье мерю тихих дней.

Приютный дом мой под соломой  
По мне—ни низок, ни высок;

Для дружбы есть в нем уголок,  
А к двери, знатным не знакомой,  
Забыла лень прибить замок.

Горой от севера закрытый,  
На злачном холме он стоит  
И в рощи, в дальний луг глядит,  
А Псёл, пред ним змеей извитый,  
Стремясь на мельницы, шумит.

Вблизи любимый сын природы,  
Обширный многосенный лес  
Различных купами древес,  
Приятной не тесня свободы,  
Со всех сторон его обнес.

Капнист упоминает о друзьях — они того достойны. Прежде всего речь идет о семействе Муравьевых-Апостолов, живших неподалеку в имении Хомуец. Три брата из этого семейства были видными декабристами: Ипполит трагически погиб во время восстания Черниговского полка, Сергей был казнен, Матвей осужден на 20 лет каторги. Здесь не говорится о связях семейства Капнистов с декабристами, поскольку в сборник входит только первая часть записок С. В. Скалон, относящаяся к временам более ранним. Но все же упомянем, что в Обуховке то и дело гостили не только Муравьевы-Апостолы, но и М. С. Лунин, Н. И. Лорер, М. П. Бестужев-Рюмин. Вдобавок Капнисты породнились с Муравьевыми-Апостолами — один из братьев Софьи Васильевны был женат на сестре декабристов Елене.

В обстановке Обуховки особенно ощущается связь русских и малороссийских просветителей XVIII в. с будущими декабристами. Как справедливо отмечает Ю. Г. Оксман, С. В. Скалон «юность провела в усадьбе, в которой общественно-философские традиции и литературные интересы вольнодумцев XVIII века причудливо переплелись с настроениями дворянской политической оппозиции 20-х годов; в которой опальные сановники екатерининских и павловских времен сталкивались с членами Союза благоденствия и Южного тайного общества, а молодой Н. В. Гоголь сменил стареющего певца Фелицы». У Капнистов в Обуховке, а потом у Скалонов в Полтаве в самом деле не раз гостил Николай Васильевич Гоголь. Капнисты — одно из любимейших дружеских семейств его юности. Ближе всех Гоголь был именно с Софьей Васильевной, не раз через родных передавал о ей поклоны (например, 3 мая 1840 г.: «Скажите Софье Васильевне, что я очень часто думаю о ней и очень жалею, что мне не уда-

лось увидеться с ней лично»). Думается, что записки С. В. Скалон не случайно попали к П. А. Плетневу — одному из друзей Гоголя (хотя, впрочем, Плетнев был добрым знакомым ее мужа)...

Здесь мы остановимся, предоставив читателю возможность услышать о жизни в Обуховке из первых уст. Что касается связей Капнистов с декабристами и всех последующих событий, то они принадлежат уже XIX веку.

### **ЛИТЕРАТУРА**

Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. Под ред. Ю. Г. Оксмана. Т. 1. — М., 1931.

## ВОСПОМИНАНИЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я помню себя с четырехлетней моей жизни; помню, что в то время я имела старшую сестру совершенных лет и четырех братьев, трех старше меня и одного младше; помню маленький домик в три комнаты, с мезонином, с небольшими колонками, с стеклянной дверью в сад с цветничком, который мы сами обрабатывали и который был окружен густым и высоким лесом.

Тут мы жили с няней, старушкой доброй и благочестивой, которая, выкормив грудью и старшую сестру мою, и старшего брата, так привязалась к нашему семейству, что, имея своих детей, и впоследствии внуков, не более как в 14 верстах, не оставляла нас до глубокой старости своей и похоронена близ умерших братьев и сестер моих на общем семейном кладбище нашем.

Мать моя, истинный ангел красоты как душевной, так и телесной, жила часто совершенно одна с семейством своим в деревне Обуховке, занимаясь детьми своими, их воспитанием и выполняя в точности священный долг матери; она решилась поручить нас няне нашей единственно потому только (как говорили мне после), что имела несчастье терять первых детей своих (из пятнадцати нас у нее осталось только шесть); как она уверена была в преданности, в усердии и опытности этой доброй женщины, то и отдала нас на ее попечение.

Помню как во сне, что, вставая с восхождением солнца, няня наша долго молилась перед образом св. мучеников Антония и Феодосия, висевшим в углу нашей комнаты, и клала земные поклоны с усердием и с большим умилением; потом будила нас, одевала и, после короткой молитвы вслух, которую сама нам подсказывала, напоив нас молоком или чаем из смородинного листа, отсылала старших братьев с старым слугой Петрушкой в дом к матери нашей, а с нами, в награду за послушание, надев нам через плечо мешочки из простой пестрой материи, спешила идти в лес собирать, по желанию нашему, если это было осенью, между листьями упавшие лесные яблоки, груши и сливы, которые и сохраняла зиму.

О! какая радость это была для нас, с каким восторгом мы шумели листьями под ногами нашими и летали между лесом и кустарниками! Как часто добрая няня наша, не находя средства следить разом за обоими нами, для своего спокойствия связывала наши руки платком; тогда по необходимости мы должны были бегать вместе, и это казалось нам еще веселее. Весною же и летом мы делали те же про-

гулки, но вместо фруктов собирали иногда голубые подснежники, душистые фиалки, ландыши, а иногда целые букеты гиацинтов, нарциссов и роз и приносили их матери нашей, когда приходили здороваться с нею. <...>

Отец у нас был очень добрый, любил нас как нельзя больше; когда бывал дома, то, собрав нас всех вместе, любил гулять с нами и забавлял нас чем только мог.

Дед мой, Василий Петрович К<апнист>, отважный воин, сделавшийся известным в Малороссии, был родом грек; начал службу свою под знаменами Петра Великого в несчастный Прутский поход<sup>1</sup>, неоднократно разбивал партии крымцев и ногайских татар и в 1734 году, будучи сотником Слободского полка, отличился примерной храбростью, отразив калмыцкого владельца Дондука-Омбо, впоследствии союзника русских, от изюмских пределов; потом, в 1736 году, он находился в Крымском походе<sup>2</sup> под начальством графа Миниха, и за оказанное мужество пожалован полковником миргородским. В следующем году К<апнист> с малороссийскими, чугуевскими и донскими казаками находился при взятии Минихом Очакова. В 1738 году, предводя полком своим, разорил молдавский город Сороки, перерубил и взял в плен множество турок, обратил в пепел неприятельские магазины. Находился в Хотинском сражении<sup>3</sup> и в других делах, за что награжден несколькими деревнями. В 1744 году императрица Елизавета поручила К<апнисту> сочинить вместе с инженер-подполковником Боскетом подробную карту российским заднепровским местам. Они исполнили это в июле месяце.

В начале 1750 года постигло Капниста несчастье: он был арестован, отрешен от должности и предан суду по ложному доносу войскового товарища Звенигородского, обвинившего его в измене, для чего наряжена была в Киеве секретная комиссия под председательством генерала Леонтьена. Но впоследствии Капнист доказал свою невинность и был оправдан. Императрица 18 января 1751 года возвратила ему свободу и имение, произвела в бригадиры, пожаловала 1000 червонных и определила начальником над Слободским полком<sup>4</sup>.

В Семилетнюю войну 1757 года Капнист находился в сражении с пруссаками при Гросс-Эгернсдорфе 19 августа, где и был убит на поле сражения. Тело его не могли отыскать, но нашли на поле битвы окровавленную саблю его, которая и теперь в семействе нашем.

Бабушка наша, Софья Андреевна, оставшись вдовою, жила в деревне своей Обуховке. Она происходила от хорошей дворянской фамилии в Малороссии, была простого образования, но умная женщина; пользуясь большим имением мужа своего, состоявшим из 6000 душ в разных

губерниях Малороссии, но именован неустроенным и, следовательно, малоодоходным, она, несмотря на это, употребила все средства, чтобы дать хорошее образование четверым сыновьям своим: Николаю, Петру, Андрею и Василию, поместя их в лучший того времени петербургский пансион. Сама часто ездила к ним, и, по желанию императрицы Елизаветы Петровны, была представлена ко двору в своем национальном богатом малороссийском костюме, который состоял из широкого штофного на фижмах роброна<sup>5</sup>, вышитого снизу доверху жемчугом, из такой же кофты и так называемого кораблика на голове, вроде русского повойника<sup>6</sup>, но с двумя острыми зубцами, украшенными драгоценными камнями.

Я помню этот костюм из портрета ее. К тому же надо сказать, что она была красавица в полном смысле этого слова, с прелестными чертами и с удивительно приятным выраженным лицом.

Детей своих она очень любила и до того баловала, что всякий год посылала к ним в Петербург обоз с разными съестными припасами: с вареньем, сухими фруктами, маслом и разным соленьем.

Отец наш нам рассказывал, что разную птицу — индеек, дроф, гусей, уток и проч. — она укладывала одну в другую, и, сложив таким образом в бочку, заливала все топленным маслом и в осеннее время отправляла в Петербург.

Окончив образование, братья все начали службу сержантами в гвардии; хотя жили они вместе и получили одинаковое воспитание, но были совершенно разных свойств и характеров.

Старший брат, Николай Васильевич, как любимец матери и избалованный ею, всегда как-то отделялся от братьев своих и не был в дружбе с ними; три же меньших брата любили друг друга, в особенности были необыкновенны и даже трогательны дружеские отношения Петра Васильевича к моему отцу, Василию Васильевичу.

Все братья недолго оставались в Петербурге, — старший, Николай Васильевич, вышел в отставку по приказанию матери своей и женился в Малороссии, тоже по ее приказанию, на девице хорошей фамилии, с небольшим состоянием, но вовсе не любил ее, отчего она и была впоследствии истинной страдальницей всю жизнь свою.

Андрей Васильевич, который учился лучше всех и был чрезвычайно умен, к несчастью, заболел и вскорости лишился ума. Говорят, что причиной тому была любовь; он возвысил чувства свои до Екатерины Второй, и эта страсть его погубила.

Петр же Васильевич, будучи совершенным красавцем и узнав, что он замечен государыней, не внимая мольбам и убеждениям друга и брата своего Василия Васильевича,



бросил службу и, можно сказать, бежал из России в Англию. Там он оставался несколько лет и, наконец, возвратился в Малороссию с женою, прелестною англичанкой, не знавшей ни слова по-русски. Бабушка наша приняла ее ласково из одного сожаления, называя ее бедной немой.

Отец мой, Василий Васильевич, оставался долее всех в Петербурге, он имел там большие знакомства, большие связи. Всегда веселый, любезный, он был любим всеми и по справедливости назывался всегда душою общества.

Имея призвание к поэзии и любя ее, познакомился он в то время и подружился с свояком своим<sup>7</sup>, Гавриилом Романовичем Державиным, с Хемницером и с Николаем Александровичем Львовым. С последним он был в тесной дружбе, которую и доказал ему своим самоотвержением.

Будучи сговорен на матери моей, дочери статского советника Дьякова, воспитывавшейся в Смольном монастыре, и зная, что друг его, Н. А. Львов, был страстно влюблен в старшую сестру ее Марию Алексеевну, руки которой он несколько раз просил, но был всегда отвергнут (сдинственно потому, что не имел никакого состояния), отец мой, накануне своей свадьбы, решился для друга своего на такой поступок, который, пожалуй, решал, можно сказать, его собственную участь и мог сделать его на всю жизнь несчастным.

Часто выезжая с своей невестой то с визитами, то на балы, и всегда в сопровождении Марии Алексеевны, отец воспользовался последним обстоятельством. Отправившись накануне своей свадьбы на бал, он, вместо того, чтобы подъехать к дому знакомых, подъехал к церкви, где находился уже и Львов и священник, и все нужное к венчанию. Таким образом, обвенчав друга своего и сестру, он решил их участь. Все разъехались в разные стороны из церкви, — Львов к себе, а отец с невестой своею и сестрой ее на бал, где их ожидали братья матери моей и удивлялись, что их так долго нет.

Вскорости Львов получил назначение от правительства ехать за границу<sup>8</sup> с какими-то поручениями и только через два года возвратился, выполнив с таким успехом возложенное на него дело, что в награду за то государыня Екатерина II пожаловала ему значительное имение; тогда родители матери моей согласились на брак его с дочерью своею Марьей Алексеевной, потому еще более, что она в продолжение этих двух лет не хотела ни за кого другого выходить замуж и отказала нескольким весьма достойным женихам.

Можно легко себе представить удивление родителей и всех родных, когда отец мой объявил им, что Марья Алексеевна и Львов два года уже как обвенчаны и что он

главный виновник этого их поступка. Львов до смерти сохранил дружеские отношения к отцу моему.

После своей женитьбы отец мой вышел в отставку<sup>9</sup> и возвратился с молодой женой своей в Малороссию, в деревню Обуховку, где жила мать его. Старуха приняла очень холодно третью невестку, несмотря на ее ангельскую душу, на кротость характера и на чудную красоту; старуха не любила ее потому единственно, что она была русская, и не называла ее иначе, как «московка». Узнала же цену ей и полюбила ее только тогда, когда, оставшись одна в деревне и будучи разбита параличом, жила, можно сказать, только заботами и неусыпным пощечением матери моей, которая ни на минуту не оставляла ее до смерти.

Старший сын ее, Николай Васильевич, переехал в то время жить в другую деревню, куда по смерти перевезен и прах матери его. Она умерла, оставив ему лучшие, по количеству и удобствам, земли, имения, все движимое свое богатство, драгоценные камни, жемчуги и серебро, из коего семействам Петра Васильевича и отца нашего не досталось ничего. Несмотря на то, они уважали всегда Николая Васильевича, как старшего брата, и во всех важных случаях жизни прибегали всегда к его советам.

Имение братьев, Петра Васильевича и Василия Васильевича, оставалось до смерти их нераздельным. Отец мой желал только, чтобы чудная деревня Обуховка принадлежала ему, и впоследствии говорил нам, что если бы она ему не досталась, то он решительно оставил бы отечество, переселясь в Америку...

Всемирно известно, что Малороссия считается одним из лучших краев России, по умеренному климату своему, по богатой растительности и по живописным местоположениям, в особенности там, где протекает Днепр, или быстрая, прозрачная, извилистая река Псел, правая сторона которого возвышается везде крутыми берегами и горами, покрытыми разнородным лесом, ущельями разноцветных глин и часто столетними дубами; левый же берег, почти везде плоский, широко расстилается зелеными лугами и рощами.

В одной из тех местностей, на правом берегу Псела, на уступе горы, покрытой многосенным лесом, стоит еще о сю пору тот небольшой дом, крытый соломой и защищенный от севера горою, который так хорошо описывал отец мой в стихотворении своем, начинавшемся так:

Приютный дом мой, под соломой,  
По мне — ни низок, ни высок;  
Для дружбы есть в нем уголок;  
А к двери, знатным пезнакомой,  
Забыла лень прибить замок.

Из окон дома этого открывается даль верст на двадцать, покрытая лугами, селеньями, отрезанными вдали, как ленты, полосую желтого песку. При восходе солнца или при лунном свете этот вид очарователен: особенно, когда луна проводит блестящий и трепещущий столб свой в реке, у подошвы горы, осененной густым лесом, при шуме мельниц, как при вечном шуме водопада и при свисте соловьев, наполняющих воздух своим пением.

При всякой перемене года изменялись и виды этого очаровательного места.

Весною, когда снег начинает таять и когда с вершин ущельев и гор при блеске солнечных лучей сбегали журчащие ручейки, вид в несколько дней изменяется: река выступает из берегов своих, луга верст на шесть покрываются водою и представляют вид моря, с голыми деревьями, отдающимися в воде в виде мачт. Иногда, при тихой погоде, картина эта представляет вид обширного зеркала. <...>

Отец мой любил страстно родину свою и готов был жертвовать всем состоянием своим для блага Малороссии; при малейшем угнетении или несправедливости начальников он летел в Петербург, бросал семейство свое, делал долги (которые, впрочем, уплачивались всегда втайне другом и братом его Петром Васильевичем) и, сражаясь часто с знаменитыми людьми, почти всегда возвращался победителем.

В 1785 году он написал оду свою против рабства, посвятив ее императрице Екатерине II <sup>10</sup>, которая приняла ее благосклонно, пожаловала в награду табакерку со своим именем, осыпанную бриллиантами, и тогда же уничтожила в России название раба.

Ода эта была напечатана в издании всех сочинений покойного отца моего в 1796 году. В последнем же издании Смирдина, в 1849 году, она не пропущена цензурою.

В то же время занимался он процессом по имению, который причинил ему столько неприятностей и хлопот, что, наконец, он решился бросить его, пожертвовав 2000 душ, и вследствие этого написал первую и последнюю свою сатирическую комедию — «Ябеду» <sup>11</sup>.

Двадцати трех лет он был избран губернским предводителем в Киеве и принимал Екатерину II в проезд ее через Киев в Новороссийский край.

К тому времени он привез в Киев и молодую жену свою, которая была представлена государыне и красотою своею обратила на себя общее внимание.

Из переписки родителей моих я вижу, что отец мой довольно долго оставался в Киеве, а мать моя одна с детьми и с свекровью жила в Обуховке и, по-видимому, нужда-

лась во всем, несмотря на 6000 душ, которыми владела в то время бабушка наша.

В одном из писем своих она пишет к отцу моему: «Друг мой Васинька! Пожалуйста, пришли мне поскорее десять рублей, которые я заняла у матушки и которыми она мне докучает, и, если можно, еще пять рублей, для покупки одеял детям».

Из этого видно, как в то время или деньги были дороги, или имения не давали никакого дохода.

В другом письме мать моя пишет к нему же: «Приезжай, друг мой, поскорее, у нас здесь страшные беспорядки, люди уходят, и скоро вся деревня уйдет; не знаю причины, но думаю, что это происходит от того, что им не исправно дают пайки».

Надо полагать, что крестьяне того времени нигде не основали постоянного жительства своего и что помещики обязаны были их кормить.

В царствование государя Павла I мой отец получил место директора всех императорских театров в Петербурге<sup>12</sup>. Пользуясь постоянно милостию его, отец не мог и впоследствии говорить о нем равнодушно, рассказывая нам всегда с особенным чувством уважения многие истинно благородные и великодушные поступки этого государя. Незадолго до своей кончины, император Павел, в знак особого расположения к моему отцу, хотел ему пожаловать богатые имения в Малороссии, но составленной об этом пожаловании бумаги государь, вследствие своей смерти, не успел подписать.

Так как отец мой по службе своей обязан был жить в Петербурге и изредка только приезжал в Малороссию, то мать после смерти свекрови жила одна с семейством в Обуховке. Когда же по какому-то случаю сгорел старый дом, она переехала жить к дяде нашему, Петру Васильевичу, чрезвычайно любившему ее, заботившемуся о ней, как отец, и помогавшему ей выстроить в деревне тот дом, в котором впоследствии мы все жили и который о сию пору еще существует.

В 1801 году отец мой был избран генеральным судьею, или, как теперь именуют, председателем уголовной палаты в Полтавской губернии, и обыкновенно зимнее время проживал с семейством в Полтаве, а летние месяцы в Обуховке. Хотя в это время мне было только четыре года, в моей памяти сохранилась и жизнь наша в Полтаве, и жизнь наша в деревне.

Городская жизнь имела для нас свои прятности. В праздники для забавы нашей приводили к нам маленький театр, называвшийся в то время в е р т е п о м<sup>13</sup>, где устроена была небольшая освещенная комната и где куклы представляли разные сцены из священной истории:

Адама и Еву с змеем, который их искусил, царя Ирода, отсекавшего головы младенцам, и пр. Помню, как однажды явилась на сцену смерть с длинною блестящею косою; я так испугалась, что заболела лихорадкой, продолжавшейся целый год; с тех пор запретили к нам приносить «вертеп», доставлявший нам столько удовольствия. <...>

Воспитание наше шло таким образом. Нас будили рано утром, а в зимнее время даже при свечах; дядька Петрушка с вечера приготавливал для нас длинный стол в столовой, положив каждому из нас на листе чистой бумаги книги, тетради, перья, карандаши и пр. После длинной молитвы, при которой все мы стояли рядом, одни из нас читал ее громко, мы садились на свои места и спешили приготовить уроки к тому времени, когда мать наша проснется; тогда несли ей показывать, что сделали, и если она оставалась довольна нами, то, заставив одного из нас прочесть у себя одну главу из евангелия или из священной истории, после чаю отпускала нас гулять, а впоследствии старших братьев и на охоту, которую они очень любили.

Часто брат Алексей, чтобы заслужить одобрение матери и получить тоже позволение ехать с братьями на охоту, приходил к ней очень рано утром и сам предлагал ей читать священную историю, чем она была чрезвычайно довольна, хвалила его, ставила нам в пример и в награду отпускала всегда на охоту. Он любил очень праздники и накануне всегда приходил к матери спрашивать: будем ли учиться завтра? Она всегда ссылалась на календарь, говоря, что если крест в кругу, учиться не надо.

Алеша и умудрился так искусно сделать кружки около крестов на всем календаре, что праздники для нас все были торжественными, и мы с большим удовольствием их праздновали по милости Алексея. Календарь этот долго сохранялся у нас в доме, и мать наша всегда с улыбкой говорила, смотря на кружки: «Экой плут — Алеша!» Но, несмотря на наши праздники и на разные другие развлечения, все дети, особенно братья мои, очень успевали в науках, впоследствии выдержали все экзамены при вступлении на службу без сторонней помощи, и этим обязаны единственно доброй, незабвенной матери нашей!

Только один старик-немец Кирштейн немного помогал ей, давая всем уроки немецкого языка и арифметики, отчего братья мои и теперь не считают иначе, как по-немецки.

Нам приказывали всегда говорить месяц по-французски и месяц по-немецки: тому же, кто сказывал хотя слово по-русски (для чего нужны были свидетели), надевали на шею на простой веревочке деревянный кружок, называемый, не знаю почему, калькулузом, который от стыда

старались мы как-нибудь прятать и с восторгом передавали друг другу. На листе бумаги записывалось аккуратно, кто сколько раз таким образом в день был наказан, в конце месяца все эти наказания считались, и первого числа раздавались разные подарки тем, кто меньшее число раз был наказываем. Русский же язык нам позволялся только за ужином, это была большая радость для нас, и можно себе представить, сколько было шуму и как усердно мы пользовались этим приятным для нас позволением.

Случилось раз, что мать моя, по чьей-то рекомендации, решила взять для меня старушку-француженку, горбатенькую *m-me du Faue*, и для того, чтобы я более упражнялась во французском языке, поместила меня с нею в одной комнате.

Сначала француженкой были довольны, только братья никак не могли оставить ее в покое, рисуя ее с ее горбом в разных смешных видах. Но впоследствии оказалось, что она любила выпить и что штофик с водочкой стоял всегда под ее кроватью. А чтобы не слышно было запаха водки, она всегда, к большому моему удивлению, ела со вкусом, во всякое время, печеный лук, при запахе которого я и теперь невольно вспоминаю мою бывшую гувернантку. Разумеется, что мать моя, узнав об этом ее достоинстве, немедленно отправила ее.

Такая же неудача была и с дядькой-французом, *m-g Sossuet*, которого взяли для братьев моих и должны были очень скоро удалить.

После этого никогда уже не решались иметь ни гувернера, ни гувернантки. Но жил у нас до смерти один старичок-француз, *m-g Asselin*, которого отец мой очень любил, поместив его в нашем бывшем детском домике. Старичок жил там, как какой-нибудь антикварий, никуда не показываясь: сильно страдая астмою, он боялся воздуха. Много читал, занимался химией, особенно же архитектурой и постройкой храма на траве близ нашего дома.

Храм этот назывался храмом умеренности, близ него были посажены три дерева: груша, сосна и дуб, в ознаменование плодов вечной твердости. Он любил готовить разные кушанья. (Вероятно, во Франции он был где-нибудь поваром.)

Раз он предложил нам спечь какой-то чудесный пирог; мы, дети, ожидали его с нетерпением; на вид он казался очень вкусным; но сколько смеха и удивления было, когда при снятии верхней части его, вылетел из него целый десяток воробьев и начал летать по всем комнатам. Старик тогда же прислал поздравить нас всех с первым апреля. <...>

Добрая мать наша не только одна, с помощью старшей сестры нашей, занималась воспитанием всех нас, но и до-

машнее хозяйство, а впоследствии управление экономией в деревне, все лежало на ней. Несмотря на это, она находила еще время заниматься сама немецким языком, чтением, разными выписками из книг и с большим усердием лечила, по совету доктора, бедных детей, приходивших к ней со всех сторон: в этом случае, как и в домашнем хозяйстве, она имела усердную помощницу в жене дядьки братьев моих, Наталье Митрофановне, женщине настолько умной, усердной и расторопной, что сделалась необходимою в доме. Наталья Митрофановна была в такой доверенности у матери нашей, что надо было иногда, чтобы получить что-нибудь, сначала угодить ей, читая любимые ее повести Геснера — Авелеву смерть и пр. <sup>14</sup>

Обыкновенно после прогулок, мы все с работами, с рисованием и другими занятиями, собирались в гостиную и залу, ибо нам строго запрещали оставаться по своим комнатам. Отец наш любил очень, когда мы были все вместе. Обыкновенно в это время он приносил большие букеты цветов, часто сам убирая ими наши головы. Он просыпался рано и лежал обыкновенно до десяти часов в постели, занимаясь своими сочинениями, всегда прося, чтобы в это время никто и ничем его не тревожил. Потом, одевшись в серенький фрак свой (он никогда и дома не носил сюртуков) и взяв фуражку и палочку, отправлялся в сад, который его очень занимал и где любил он устраивать всегда что-нибудь новое.

После обеда, отдохнув самое короткое время на диване в гостиной, выпив с трубочкой свою чашечку кофею, он сходил по террасам вниз в свой любимый небольшой домик, выстроенный на берегу реки и окруженный высоким лесом, где царствовали вечный шум мельниц и вечная прохлада; здесь по большей части он писал все, что внушало ему вдохновение.

Часто видели мы, что крестьяне, большею частью казаки, жившие в деревне Обуховке, приходили туда толпою за каким-нибудь советом или с жалобою на несправедливости и притеснения исправников и заседателей. Отец всегда ласково принимал их, расспрашивал с живым участием обо всем и тотчас же относился к начальству, требуя справедливости, за что все в деревне не называли его иначе, как отцом своим.

Я помню, в какое негодование, в какой ужас он пришел раз, когда увидел, катаясь зимою по деревне, в сильный холод и мороз, почти нагих людей, привязанных к колодам на дворе за то, что они не платят податей. Он немедленно приказал отпустить их. Он так был встревожен этим зрелищем, что, приехав домой, чуть было не заболел и впоследствии своим ходатайством лишил исправника места.

Вообще он принимал живое участие во всем, что касалось Малороссии, и как бы страдал вместе с нею, отчего по большей части был грустен и в дурном расположении духа. Одно желание его было — восстановить прежнее благоденствие и богатство Малороссии и оживить, так сказать, народ, помнящий еще свою свободу, но угнетенный и преследуемый несправедливостью земской полиции того времени. С нами он развлекался только изредка. По вечерам, после ужина (в летнее время мы ужинали всегда рано), любил он гулять в саду, водил нас по темным аллеям и собирал вместе с нами по дорожкам лежавших в зелени светлых червячков, которых, принеся домой, мы клали на террасу и на другой день тешились их светом.

Таким образом проходило наше детство.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Мы часто проживали у доброго дяди нашего, Петра Васильевича; он жил от нас в 70 верстах, в деревне Трубайцах, которую он сам устроил и где на всяком шагу видно было довольство и счастье его крестьян.

Деревня состояла из красивых белых домиков с чистыми дворами, со всеми нужными для хозяйства постройками, с садами, огородами, с скирдами хлеба и сена, занимавшими большую часть дворов. Посреди деревни была выстроена им же хорошенькая церковь, окруженная садом, в которую он постоянно и несмотря ни на какую погоду ходил пешком по воскресеньям и где, по его просьбе, священник всякий раз должен был говорить проповедь не иначе как на малороссийском языке для того, чтобы крестьяне могли его лучше понимать.

Небольшой домик дяди был устроен вдаль от селения на острове, окруженном тростником и болотистой рекою Хоролом. Сад был устроен вроде английского парка: небольшая дорожка шла вокруг острова, покрытого отдельными куртинами больших деревьев и кустарников, и зелеными лужками, усеянными разноцветными полевыми цветами. Домик был окружен клумбами душистых цветов, которыми любила заниматься жена нашего дяди.

Не понимая русского языка и не желая изучать его, она достигла того, что почти все дворовые люди или говорили по-английски, или понимали этот язык. Дом их казался приютом иностранцев. Их столько жило там и умерло, что пришлось устроить особенное кладбище, называемое до сих пор немецким.

Я уже говорила, что дядя провел молодость в чужих краях, более же всего в Лондоне. Он много читал в то время Вольтера, Руссо и других писателей, считался ате-



истом, что чрезвычайно огорчало моего отца, хотя и не наблюдавшего постов или каких-либо других проявлений внешнего благочестия, но бывшего в душе истинным христианином.

Отец мой редко говел, но если говел, то с таким чувством, с таким умилением, что трогательно было видеть его, стоявшего, как теперь помню, в углу алтаря и часто проливавшего слезы. С таким религиозным направлением ему, конечно, тяжело было видеть атеистические наклонности своего брата и друга.

Впоследствии атеистическое мировоззрение Петра Васильевича несколько поколебалось под влиянием убеждений брата. С течением времени он сделался истинным христианином, всегда припоминая, что обязан этим младшему брату.

Жизнь его протекала в уединении, посвященная единственно благу семьи и ближних. Управляя общим имением, он только и думал о том, как улучшить и облегчить участь своих крестьян, наделял их по желанию землю, назначая за нее цену самую ничтожную (по 1 рублю ассигнациями за десятину) и таким образом сделал их всех оброчными, не терпя никогда барщинной работы.

Довольствуясь небольшим, он жил очень скромно, несмотря на то, что имел на свою часть до тысячи душ. Его домик, крытый тростником, был очень удобен, чист и покоен. В осеннее и даже зимнее время его мало топили, ибо дядя наш, привыкнув к теплomu климату, не мог и в старости переносить топленых комнат и потому целый почти день сидел перед камином, как теперь вижу, во фраке и в шинели, которая была сшита в молодости его еще в Лондоне, и в бархатных длинных штиблетах.

Имея единственного сына, он взял на воспитание к себе одного из сыновей друга своего, Лорера<sup>15</sup>, умного и достойного человека, обремененного большим семейством и не имевшего почти никакого состояния. С этими двумя детьми он проводил большую часть времени, занимаясь их воспитанием. Языками английским, французским и русским он занимался с ними один, без всякой помощи; но для немецкого языка и для математики выписал из Сарепты почтенного старика гернгутера<sup>16</sup> с женою, которым в отсутствие своем и поручал своих детей, — я говорю своих, потому что он истинно любил их совершенно одинаково и ни в каком случае не показывал предпочтения сыну своему.

Жена дяди моего в молодости, говорят, была очень хороша собою, стройна, очень ловка и смела до невероятности в верховой езде. Я помню ее только в пожилых летах, очень полной, с завитыми и напудренными волосами; она была хорошей хозяйкой, часто сама приготовляла чуд-

ные закуски, разные английские пудинги и другие кушанья. Не зная русского языка и часто видя, что ее не понимают, она была раздражительна и почти всегда в дурном расположении духа.

Когда дядя приходил к ней утром в гостиную и, поздоровавшись, садился в углу комнаты с своей трубкой, она обыкновенно начинала ему жаловаться то на людей, которые ее не слушают, то на управляющего, то, наконец, на него самого за разные безделицы; все это слушал он равнодушно, как философ, молча, приговаривая только иногда: «гм, гм!». Наконец, докурив трубку свою и приласкав собачку ее или понюхав и похвалив на английском языке цветы, стоявшие перед нею на столе, преспокойно выходил из комнаты. Это повторялось почти всякий день. Иногда она и развеселялась, но это случалось очень редко и только тогда, когда приходил к ней ее сын, которого она страстно любила. Обыкновенно она сама утром одевала обоих мальчиков и, поставив их на колени, заставляла молиться на английском языке. В комнатах у нее было столько разных птиц, попугаев, скворцов, канареек, что за криком их мы не могли иногда слышать друг друга.

Меня она очень любила и, посадив иногда подле себя, показывала разные картинки, объясняя их на английском языке; или заставляла меня чистить вместе с нею молодой горох или рвать зеленые бобы. Не понимая языка и догадываясь, я исполняла с большим удовольствием все ее желания. Не получив особенного образования, она от природы была очень добра, всегда помогала бедным и лечила очень усердно и удачно всех тех, которые просили у нее помощи. Мы досадовали на нее только за то, что она строго запрещала рвать цветы и только в знак особенной ласки давала иногда нам по цветочку.

Впрочем, Николай Иванович Лорер, с которым с детства мы были очень дружны, который всегда берег меня и брал под особенное свое покровительство, не знаю каким образом, находил средство принести мне очень часто чудные букеты.

Дядя наш, Николай Васильевич, жил от нас в 120 верстах, в прекрасной деревне своей Манжелее, которая лежала на берегу Псела и славилась тоже прелестным своим местоположением. Будучи гораздо богаче братьев, любя роскошь и великолепие, он ничего не щадил для выполнения своих прихотей. На самом берегу чистой и прозрачной реки он выстроил великолепный двухэтажный каменный дом прелестной архитектуры, который, впрочем, никогда не был окончен. Сам он жил с старшей и любимой дочерью своею, Софиею Николаевной, в небольшом деревянном флигеле. Жена его с другими детьми помещалась в большом деревянном доме, тоже неоконченном.

Семейство его состояло из пяти дочерей: Софии, Веры, Надежды, Любви и Анастасии, и одного сына, Петра. Все дочери были так хороши собой, что, истинно, нельзя было сказать, которая из них лучше; все — брюнетки с прелестными черными глазами, преисполненными ума и приятности, с черными, как смоль, волосами, с правильными чертами лица; их не называли иначе, как красавицами. Брат их тоже был очень хорош собой: брюнет с прекрасными черными глазами, выражающими и приятность, и ум, и благородство. Как единственный сын, он был всеми в семействе любим и балован до крайности, в особенности матерью, которая, находя в нем одно свое утешение, исполняла все прихоти его и ни в чем ему не отказывала.

Отец его, обратя всю любовь свою и все внимание на старшую дочь, Софию Николаевну, не заботился вовсе о других детях, не занимался воспитанием даже единственного сына и, если б не мать их, женщина простая и вовсе не образованная, то едва ли он и сестры его научились бы грамоте.

Николай Васильевич был умный человек, но с большими странностями; он так много думал о себе и о своем уме, что не говорил иначе как какими-то иногда вовсе непонятными аллегориями, и удивлялся, если его не понимали в семействе своем. Он и все они говорили обыкновенно по-малороссийски.

Сидел он всегда посреди комнаты в больших креслах (он был очень толст) перед черным столом, исписанным мелом сверху донизу цифрами. Его единственным занятием были разные математические исчисления, а большею частью исчисления доходов из имений; однажды ему пришла странная мысль собрать тридцать тысяч рублей медью в приданое второй дочери своей, Вере Николаевне, и закопать их в землю. Вероятно, он рассчитал, что впоследствии извлечет из этого большие выгоды.

Вообще в семействе он был большим деспотом; в особенности бедная жена страдала от этого. Сколько раз нам случалось быть свидетелями его жестокого обращения с нею! За малейший беспорядок в доме, за дурно изготовленное блюдо, он не только бранил ее самыми гнусными словами, но иногда, засучивая рукава свои и говоря: «А ходы лишь сюда, моя родино!» — он доходил до того, что в присутствии всех бил ее своеручно. После подобных поступков его мудрено ли, что и дочери ее не имели к ней должного уважения и впоследствии наносили ей страшные огорчения!

В особенности она терпела всю жизнь свою от старшей дочери, Софии Николаевны, которая завладела до того и отцом и всем домом, что, наконец, и мать была в совершенной ее зависимости и должна была получать от нее же

деньги, нужные для разных расходов в доме. Обыкновенно, при каких-нибудь важных семейных спорах или вопросах, дядя говаривал: «Буде так, як Софийка скаже!» И это, действительно, исполнялось.

Так как сын их в детстве был слабого здоровья, то дядя со всем семейством ездил на два года за границу. Возвратясь оттуда и приехав к нам, он поразил нас всех великолепием экипажей и пышностью нарядов.

Я помню, как мне было совестно, стыдно и неприятно подходить в простом беленьком платыце к богато одетым двоюродным сестрам. Но более всего поразил нас костюм брата Петра Николаевича, тогда десятилетнего мальчика. Он был одет в какой-то блестящий мундир, с каской на голове; чудные черные волосы рассыпались длинными локонами по плечам; как будто сконфуженный своим нарядом, он стоял серьезно у дверей, и никто из братьев моих не смел подойти к нему; это продолжалось до тех пор, пока его не переодели; тогда он как будто ожил, и братья мои дружески приняли его в свое общество.

Сестра София Николаевна возвратилась из-за границы в полной красоте своей; она, истинно, тогда была сavorожительна! И скольких она в то время сводила с ума. Но отец, ценя ее слишком высоко, никогда не находил и до смерти своей не нашел достойного ей!

Имеv более сорока женихов (этот счет впоследствии она сама нам показывала), она никогда не вышла замуж и, оставшись в девках, не только не желала, но и употребляла все средства, чтобы и сестры ее не устроили своей судьбы. К несчастью, она достигла этой цели, как мы увидим впоследствии.

Николай Васильевич по виду был чрезвычайно набожен; он наблюдал все посты, молился долго и усердно не только по утрам и вечерам, но всегда перед обедом и после обеда, и требовал той же набожности от всех своих.

Обыкновенно меньшие дети приходили к нему только утром здороваться и молча выслушивать наставления, как вести себя и проч.

Он сделал заблаговременно духовную, в которой отдавал все свое имение пополам сыну своему и старшей дочери, Софии Николаевне, так что каждый из них должен был получить, по крайней мере, по пятисот тысяч рублей, а другим дочерям назначил не более как по 30 тысяч. Эта несправедливость и вообще все поступки его были истинно возмутительны и произвели горькие последствия, действуя морально явным образом на здоровье младших детей его.

Обыкновенно в обществе он окружал себя всеми своими дочерьми, как бы гордясь красотой их, и так гордо себя держал, что никто не смел подходить к ним. Он не

позволял им танцевать, находя это неблагопристойным, и, не знаю по какой причине, положил себе правилом не учить их музыке. Если они выучились немного французскому языку, то и этим обязаны единственно матери своей, которая употребила последние средства свои, чтобы нанять им для этого языка француженку.

Вторую дочь, Веру, дядя наш любил более меньших детей своих именно потому, что она часто забавляла его своими шутками и странностями. Он с малых лет приучил ее болтать всякий вздор, рассказывать и объяснять сны и иногда предсказывать, и видел в этом какое-то сверхъестественное вдохновение. Будучи убеждена в этом сама и полагая, что ей это откровение послано свыше, она до того ударилась в набожность, что в своей комнате устроила престол, окружила его образами своей работы, изображавшими разные ее видения то во сне, то наяву, и часто перед престолом, уставленным крестами, евангелием и свечами, она в белом облачении, запершись, по ночам отправляла какие-то служения и в это время видела разные видения. Она от природы была добра, мы все ее любили за ее причуды и иногда жалели о ней, потому что в доме она была истинной сиротой, живя совершенно одна, в отдаленном строении, называемом оранжереей и тоже неоконченным. Часто по целым неделям она оставалась там больная, и никто не навещал ее и не спрашивал о ней.

Таким образом провела она свою молодость, можно сказать, в обществе одних своих горничных. Сватали ее и очень хорошие люди, но отец им отказывал до тех пор, пока, будучи уже не молода и желая переменить горькую жизнь свою, она, несмотря ни на что, решилась выйти замуж за самого ничтожного и пустого армейского офицера, стоявшего тогда у них в деревне; прожив с ним до старости, она умерла, оставив единственную дочь... <...>

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Между братьями Николаем Васильевичем, Петром Васильевичем и отцом моим были положены семейные праздники. К дяде Николаю Васильевичу должны были съезжаться все родные и знакомые к 17 сентября, ко дню именин дочерей его. Семейный праздник у дяди нашего Петра Васильевича назначен был 20 июля, в день именин его сына.

Мы обыкновенно выезжали очень рано утром, чтобы успеть к вечеру в деревню дяди. На половине дороги, в маленьком городке Миргороде, мы останавливались обедать и кормить лошадей у старичков, наших знакомых

Бровкиных, которые славились в то время удивительною добротою и хлебосольством.

Старик и старушка встречали нас всегда с большим радушием и не знали, чем и как нас угощать. Чуть ли не их описал Н. В. Гоголь в своей повести «Старосветские помещики»<sup>17</sup>. Подъезжая к маленькому домику их, мы видели всегда старика с трубочкой в руках, высокого роста, с правильными чертами лица, выражавшими и ум и доброту, сидевшего на простом деревянном крыльчке с небольшими столбиками; он приветливо встречал нас, вводил в маленькую, низенькую и мрачную гостиную с каким-то постоянным особенным запахом и с широкой деревянной дверью, издававшей при всяком входе и выходе ужасный скрип.

Тут нас радостно встречала, переваливаясь с ноги на ногу, добрая старушка, его жена, небольшого роста, толстенная, с маленькими светло-кариими глазами и с зубами, наперед выдававшимися, шатавшимися, как клавиши, во время разговора. Одета она была всегда в ситцевое платье с чистеньким белым платочком на груди и на голове. Она жила, можно сказать, только для добра. Каждую субботу пеклись у нее всякого рода калачи, хлебы, пироги, и полной телегой отправлялись в городскую тюрьму <и> для раздачи нищим, толпа которых окружала дом ее в этот день.

При наших посещениях она больше всего хлопотала о том, чтобы изготовить нам чудный малороссийский стол и накормить людей и лошадей наших.

Ее муж, от природы человек умный, будучи раньше простым казаком, сумел приобрести порядочное состояние, приписав к своей земле людей, живших на ней, в том числе и нескольких своих родственников, которые впоследствии и оставались у него крепостными.

Старушка-жена его делала <много> добра в жизни своей, и неудивительно, что когда она скончалась, то никто в городке том не запомнит таких трогательных пикетов. Дом и двор их до того были наполнены плачущими и благодетельствованными ею людьми, что сторошему человеку трудно было добраться до ее гроба. О сию пору память о ней сохраняется в Миргороде.

Отдохнув у этих добрых людей, мы продолжали путь наш. Дорогою мать наша любила слушать наши рассказы; заставляла нас петь и сама пела с нами хором иногда русские песни, как например: «Ты зачем сюда влетела, скажи, бабочка, скажи?», или же любимую свою французскую песню «Frère Jaco, frère Jaco, dormez vous?»\*.

---

\* Братец Жак, братец Жак, ты спишь? (фр.)

Не доезжая верст пяти, мы останавливались в казачьем селении, чтобы умыться от пыли и переодеться. С какою радостью подъезжали мы к длинной песчаной плотине, ведущей к дому дяди, усаженной по обеим сторонам, близ канавы, высокими деревьями, покрытыми гнездами множества ворон, которых Петр Васильевич строго запрещал истреблять и которые при въезде нашем наполняли обыкновенно воздух криком своим и как бы давали знать хозяевам о нашем приезде. С какою радостью издали мы видали бежавших к нам навстречу и брата Илью Петровича, и товарища его, и, встав из экипажей, отправлялись вместе пешком в дом доброго дяди нашего. Подходя к нему, мы видели уже сидевшего на красном крыльце дома в большом кресле дядю Николая Васильевича, окруженного семейством своим, и множество гостей, гулявших на зеленом лугу перед домом и по цветникам.

На другой день, рано утром, множество экипажей стояло уже у крыльца, чтобы ехать к обедне. Возвращаясь из церкви, мы видели толпы крестьян, бежавших в нарядных и пестрых одеждах к господскому дому и на остров, где в разных местах, между деревьями, приготовлялись столы для их угощения, где уже играла музыка и были устроены различные качели. Приятно было видеть, с каким радостным видом и с каким усердием подходили к дяде и тетке и сединой покрытые старики, и молодые крестьяне поздравлять их с праздником. Между тем к вечеру зала в доме, украшенная цветами, освещалась, музыка гремела, и молодежь с нетерпением ожидала танцев. Отец мой обыкновенно открывал бал польским с теткой по всем комнатам: потом начинались экосезы<sup>18</sup>, кадрили с вальсом, мазурки<sup>19</sup>; оканчивался бал всегда матродурой<sup>20</sup> и мало-российским танцем «горлицей».

Во время танцев дяди мои сидели обыкновенно на крыльце, наслаждаясь чистым воздухом и ароматом цветов.

По обеим сторонам крыльца разложен был огонь для того, чтобы избавляться от комаров, которых в летнее время там была гибель. Обыкновенно, когда отец мой присоединялся к старикам, разговор их оживлялся; суждениям и спорам не было конца. Иногда он рассказывал им такие забавные вещи, что старики умирали со смеху, от которого у Николая Васильевича часто слезы лились градом. <...>

Один раз, это было в 1812 г., я чрезвычайно была удивлена суждением дяди Николая Васильевича, который, обратясь к отцу моему, пресерьезно спросил его этими словами:

— Скажите мне, Василий Васильевич, что вы будете

делать, если Бонапарт пойдет на Малороссию? Какие будут ваши планы и куда вы утечете?

Мой отец отвечал:

— Я никуда не намерен уходить; зная хорошо Малороссию и будучи любим ею, я надеюсь поставить ее на ноги и, вооружа, изгнать его со стыдом из наших пределов.

— А я не так думаю, — сказал Николай Васильевич, — я сам пойду к нему навстречу с хлебом и солью, к этому умному человеку.

Можно себе представить удивление моего отца и дяди Петра Васильевича при таком оригинальном суждении и именно в то время, когда все страшилось, чтобы Наполеон не пошел на Малороссию! Но дядя Николай Васильевич всегда отличался выходками и оригинальными суждениями своими.

Ко дню именин брата Ильи Петровича приезжал всегда из другой деревни несчастный и больной дядя наш Андрей Васильевич, которого мы страшно боялись, в особенности, когда должны были подходить к его руке. Будучи большого роста, худой, смуглый, смеясь сам с собой и делая разные гримасы, он стоял обыкновенно у дверей с большим серебряным образом на груди, сложив крестом руки.

Я никогда не забуду, как страшно испугал он меня один раз. Мне вздумалось в сумерки поиграть на фортепьяно; прибежав, я села и начала что-то фантазировать, как вдруг услышала за собой страшный хохот; я оглянулась и, увидев его, стоявшего в углу комнаты, не помня себя от страха, стремглав убежала. <...>

Но как приступить теперь к описанию нашего семейного праздника в чудной Обуховке!.. Торжественный праздник этот назначен был в весеннее время, в самый Троицын день <sup>21</sup>, когда чудная зелень покрывала и луга, и роскошные группы деревьев, окружавших наш дом, которого соломенная кровля покрывалась, можно сказать, вся пушистыми ветвями столетнего клена, стоявшего у самой стены сто.

Не стану говорить, с каким нетерпением ожидали этого праздника, как радовались, видя на всяком шагу разные приготовления к этому торжественному дню. Отец наш, вставая ранее обыкновенного, спешил в сад смотреть на работы, проводить разные новые дорожки, усыпать их песком и устраивать все по своему вкусу. Дома, беседки и все строения чистились и беллись в это время, а мать наша с помощью своей Натальи Митрофановны заботилась о том, чтобы покрыть новой шерстяной материей домашнего изделия скромную, выкрашенную в черную краску и натертую воском, мебель свою. На другой стороне Псе-



ла устраивались купальня и паром для приезда к ней; у павильона, близ реки, смолились опрокинутые лодки, готовившиеся для чудных прогулок по реке. Это все нас восхищало, и мы заранее радовались, помышляя о будущих удовольствиях. Накануне праздника дом наш убирался цветами, полы все заброшены были свежей травой, избы крестьян и двери у всех домов украшались большими ветвями деревьев. Цветники перед домом и в разных местах сада к этому времени покрыты были кустами роскошных цветущих роз, пивоний и других цветов. Все было в полном блеске, все ожидало дорогих гостей.

Кроме добрых родных, к нам приезжали и соседи наши, достойнейшие люди, о которых и теперь не могу я вспоминать без особенного чувства любви и уважения.

Иван Матвеевич Муравьев-Апостол <...> жил с семейством своим в двадцати верстах от нас.

Дмитрий Прокофьевич Трощинский, вельможа и сановник во время царствования Екатерины II, Павла I и Александра I, известный умом и правотою души своей, жил в 44 верстах от нас в деревне своей Кибинцах, с семейством, которое состояло из единственной побочной дочери (он не был никогда женат) княгини Хилковой, зятя и двух племянников, генералов Трощинских.

Он был родом из Малороссии, как говорят, сын казака.

Будучи беден, дошел он почти пешком до Киева, чтобы учиться там в так называемой в то время бурсе.

Сам он говорил нам, что должен был писать целые дни для других, за то только, чтобы иметь право заниматься вечером в бурсе при чужой сальной свечке.

И этот-то человек достиг впоследствии без помощи чьей-нибудь, только трудами и умом своим, до такого возвышенного сана, сделался вельможей, полезным для отечества и в особенности для родины своей, получив в награду от государыни Екатерины II богатые имения.

Он был очень дружен с отцом моим и вместе с ним заботился о благоденствии Малороссии. Эта любовь его к родине известна была не только дворянству, но и всему народонаселению. <...>

Утром в Троицын день отправлялись все мы с букетами цветов в церковь; возвратясь оттуда, находили уже столы, уставленные сельским простым завтраком, после которого, чтобы укрыться от зноя, спешили все к реке, в темные аллеи и в прохладный домик отца моего, и только по колокольчику сходились все к обеду, который был всегда устроен в большой зале оранжереи, окруженной группами цветов, усыпанной свежеею зеленою травою, и столбы которой, увязанные обыкновенно роскошными дубовыми ветвями, представляли вид живых деревьев. <...> После обеда и после некоторого отдыха устраива-

лось обыкновенно гуляние в чудных и разнообразных окрестностях Обуховки. Туда заранее отсылались и ковры, и разные фрукты, и кислое молоко, и чай; мы же все отправлялись, кто в экипажах, кто верхом, кто в лодках.

Там, на вершине горы или на берегу реки, находили мы усталанные ковры, уставленные разными угощениями, и толпы любопытного народа, стекавшегося со всех сторон, иногда с музыкой, с народными песнями и плясками своими.

Тут мы оставались до позднего вечера, гуляя по рощам и лугам, иногда с удочками в руках для рыбной ловли, и возвращались домой всегда водою, на лодках, при звуках музыки, сопровождавшей нас, при чудном лунном сиянии. Вышедши на берег и поднявшись по террасам на гору, мы видели издали наш освещенный дом с открытыми окнами и с залой, готовой для танцев. Тут молодежь спешила веселиться, и только иногда со светом, после ужина, каждый уходил к себе на отдохновение. Таким образом проходили всегда не только дни этого чудного праздника, но целые недели.

В 1813 году в день этого праздника мы поражены были такою радостью, какая редко случается в жизни.

В то время, когда мать моя обыкновенно отдыхала после обеда, пришли мне сказать, что какая-то бедная женщина пришла в дом и желает ее видеть. Я пошла сказать матери об этом; она вышла к ней и, посадив подле себя на диване, начала спрашивать, откуда она и что ей нужно? Та отвечала, что она бедная, из Москвы, разоренная французами, просит помощи, и при этих словах засмеялась; мать моя, испугавшись и полагая, что это какая-нибудь сумасшедшая, поспешно встала и хотела уйти, но та, схватив ее за руку и сняв поспешно с головы капюшон салопы своего, остановила ее и сказала: «Друг мой Сашенька, неужели ты меня не узнаешь?»

Мать моя, узнав в ней сестру свою, Дарью Алексеевну Державину, которую более двадцати лет не видела, до того обрадовалась, что с ней сделалось дурно. Тетка наша и мы все не знали, что делать и чем ей пособить; но мать моя, пришед в себя и узнав, что и дядя наш Гаврила Романович тоже приехал и остановился на горе в экипаже с племянницей своей Прасковьей Николаевной Львовой, обняв дорогую сестру, в сопровождении нашего отца и нас всех поспешила навстречу к нему.

Добрые родные обласкали нас как нельзя больше; с сестрой Прасковьей Николаевной мы в минуту познакомились и скоро подружились. Пришед в дом, они пораженные были чудным местоположением, представившимся их глазам, и еще более обществом, которого вовсе не ожидали найти в Обуховке.

Для нас в особенности интересна была встреча Трошинского и Державина, двух сановников царствования Екатерины II, впрочем, не совсем дружелюбных в то время.

С каким взаимным уважением они раскланивались! Как величали друг друга вашим высокопревосходительством и не хотели сесть один прежде другого! Эта сцена была истинно в высшей степени интересна!

Сначала заметна была в их отношениях некоторая холодность, но, прожив несколько дней вместе, они сошлись, и можно себе представить, как для отца нашего и для нас всех интересны и поучительны были беседы и суждения таких опытных, благонамеренных и умных людей.

Дядя мой, Гаврила Романович, был в восхищении от Обуховки и несколько раз повторял, что он был бы счастлив, если бы мог жить в таком месте, где, по мнению его, дышит все поэтическим вдохновением.

Покрытый сединами, Державин был чрезвычайно приятной наружности, всегда весел и в хорошем расположении духа; он обыкновенно припевал или присвистывал что-нибудь, или адресовался стишками то к птичкам, которых было так много в комнатах моей матери, то к собачке своей Тайке, которую обыкновенно носил он за сюртуком своим. Отдавая всегда полную справедливость красоте, он полюбил очень двух девиц, проживавших у нас, прехорошеньких собою, блондинку и брюнетку, с которыми обыкновенно гулял под руку и много шутил.

Тетка наша была в то время еще хороша собою, большого роста, чрезвычайно стройна и с величественным видом своим имела много приятности. Меня она очень полюбила, уговаривала ехать с нею в Петербург и называла меня всегда «милой малороссияночкой».

Меня несказанно удивляло в ней то, что, несмотря на знатность и богатство свое, она, любя порядок, собственными руками мыла, когда нужно было, все кружева и шемизетку<sup>22</sup> свои и гладила их. Впоследствии я часто спрашивала сама у себя, почему я не делаю этого.

Каждое утро ходила я с нею на наше семейное кладбище, где был похоронен прах отца ее. Там, севши на скамью, под тень роскошного каштанового дерева, она в молчании восхищалась чудной далью и розовым небосклоном при великолепном восхождении солнца.

Кузина наша, Прасковья Николаевна Львова, была очень мила, хорошенькая брюнетка, удивительно как приветлива и скромна.

Она впоследствии созналась нам, что не совсем с приятным чувством ехала в Малороссию, как в дикий край, где и нас всех полагали встретить дикими и необразован-

ными, и какой был для них приятный сюрприз, когда она в сущности нашла все противоположное.

Прожив у нас более месяца, они уехали, оставив по себе самые приятные воспоминания. Мы проводили их за 70 верст, к дяде нашему Петру Васильевичу, откуда они и пустились в обратный путь, через Киев в С.-Петербург.

Соседство Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, бывшего посланника в Испании, было для нас очень приятно. Он был человек образованный, говорил на восьми языках, любил музыку и сам отлично пел и, будучи чрезвычайно приветлив и любезен, считался всегда душою общества.

Но в семействе своем он был деспот и до крайности несправедлив с старшими детьми своими, которые, во всем нуждаясь, в молчании должны были переносить тьму неприятностей.

Не имея никакого состояния, он был так счастлив, что получил в самое для него критическое время в подарок, не будучи законным наследником, от своего двоюродного брата Апостола имение, состоявшее из 500 душ в Малороссии, которое вскоре он и прожил.

В то время возвратилась из Парижа его жена, которая жила там в страшной нужде несколько лет для воспитания детей: старшие две дочери помещены были в пансионе, а сыновья, Матвей и Сергей, в политехнической школе.

Возвратясь в Россию, никто из них не знал русского языка и только впоследствии выучились ему. Старшие две дочери были хороши собою, образованные и с талантами. Отец их был дружен с моим отцом и часто со всем семейством приезжал к нам. Но умная и истинно достойная уважения жена его недолго жила и вскоре по возвращении своем из Парижа умерла. Он поехал в Петербург, но так как, промотав имение свое, он не имел средств там жить, то отец мой посоветовал ему ехать опять к родственнику своему в Малороссию, что он и исполнил, получил от того опять четыре тысячи душ в потомственное владение и фамилию Апостола.

Тогда, поместив старших сыновей для окончания наук в учебные заведения и отдав старшую дочь свою замуж за графа Ожаровского, женился сам в Москве на Грушецкой, имевшей большое состояние в России, и возвратился на жительство в Малороссию. Вторая дочь его в то время сделана была фрейлиной и принята ко двору.

Дмитрий Прокофьевич Трошинский часто проживал у нас по целым месяцам и любил нас всех, истинно, как близких родных, распоряжался в доме нашем иногда совершенно как у себя, что доказывало искреннюю дружбу

его к нам. Я очень помню, как один раз в жаркий летний день, вышед из своей спальни, ему показалось, что слишком душно обедать в столовой; он, несмотря на то, что стол был уже накрыт, сказал, что надо все перенести в оранжерею, где была большая зала и где мы часто обедали, и, чтобы не утруждать слишком прислугу, сам взяв, что мог, в руки, тащил в оранжерею; естественно, мы все бросились следовать его примеру и вмиг все перенесли; но в оранжерее оказалось еще жарче, ибо солнце грело со всех сторон. Он прехладнокровно продолжал идти вниз, к реке, мы все следовали за ним, таща в руках, что только могли взять. Внизу он сам выбрал место, в тени, близ павильона отца нашего, и в несколько минут стол был накрыт, кушанье поспешно снесли с горы вниз (надо сказать, что в то время прислуги нашей было до шестидесяти душ во дворе), и все мы уселись обедать.

Но, откуда ни возьмись — страшная гроза с вихрем и проливным дождем; все вскочили и, естественно, бросились было бежать; но Дмитрий Прокофьевич, будучи сам немного сконфужен, остановил однако ж нас, сказав, что начатое дело всегда надо оканчивать, несмотря ни на какие препятствия, и потому, схватив сам суповую чашку, скорыми шагами понес ее в павильон; мы за ним вслед со смехом и измоченные дождем потащили кто посуду, кто скатерти, кто столы, и в минуту опять стол был накрыт в павильоне, и тут уже мы спокойно кончили наш обед.

Таким образом этот почтенный старик распоряжался у нас, как у себя; он иногда для большего порядка прятал в кармане своем ключи от купальни нашей и от паромы, — единственно для того, чтобы все делалось в свое время.

Дом его в Кибинцах, деревянный, в два этажа, снаружи не казался великолепным, но внутри был отлично и богато отделан множеством картин, фарфора, бронзы и мрамора.

Мы обыкновенно у него проживали по несколько недель. Главный праздник был 26 октября, в день его именин. К этому времени съезжались к нему знакомые, родные, друзья с разных губерний и в особенности из Киевской. Театр, живые картины, маскарад и другие разные сюрпризы были приготовлены заранее к этому дню зятем его Хилковым и дочерью. <...>

Так как старик любил в особенности малороссийские пьесы, то их сочинял и устраивал всегда дальний родственник его, Гоголь-Яновский, отец известного Николая Васильевича Гоголя, которого я знала мальчиком десяти лет, всегда серьезным и задумчивым до того, что это

чрезвычайно как беспокоило мать его, с которой мы были всегда очень дружны.

Я помню его и молодым человеком, только что вышедшим из Нежинского лицея. Он и тогда был так же серьезен, но с более наблюдательным взглядом.

Ехавши в Петербург, он заехал к нам, и, прощаясь со мною, он удивил меня следующими словами: «Прощайте, Софья Васильевна! Вы или ничего обо мне не услышите или услышите что-нибудь очень хорошее».

Эта самоуверенность в молодом человеке удивила нас до крайности, ибо в то время мы не видели в нем ничего особенного и не могли даже полагать, что уверенность эту хранил он, быть может, в душе своей по тайному предчувствию, что имя его не останется в безызвестности и что он будет талантом своим полезен и отечеству, и семейству своему.

Незадолго до смерти его я напомнила ему эти его слова; он ничего не сказал мне на это, задумался, и слезы показались в глазах его. Он до смерти своей сохранил и привязанность, и дружбу к семейству нашему. <...>

## ПРИМЕЧАНИЯ

Составитель выражает искреннюю благодарность за разностороннюю помощь в работе над книгой А. М. Конечному, К. А. Кумпан, В. Ф. Муленковой, З. И. Розановой (без доброжелательного участия которой было бы крайне трудно осуществить подготовку текстов).

### В. Е. РУДАКОВ

*Генералиссимус князь А. В. Суворов  
в анекдотах и рассказах современников*

Печатается по книге: Рудаков В. Е. Генералиссимус князь А. В. Суворов в анекдотах и рассказах современников.— СПб., 1900. Из книги, представляющей собою более или менее связную биографию Суворова, взяты лишь анекдоты, которые имели хождение при жизни полководца и после его смерти и отражены в обширной мемуарной литературе о нем.

<sup>1</sup> ...осадили Вальберг...— Один из эпизодов Семилетней войны (1756—1763) между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией (в унии с Ганновером) и Португалией, с другой.

<sup>2</sup> ... до штурма...— Измаил был взят русскими войсками под предводительством Суворова 11 декабря 1790 года.

<sup>3</sup> ...о штурме Праги...— В 1794 году Суворов командовал русскими войсками, направленными для подавления Польского восстания. 24 октября 1794 года войска Суворова взяли штурмом Прагу, укрепленное предместье Варшавы. 19 ноября того же года Суворов был пожалован в генерал-фельдмаршалы, а через год (17 октября 1795 года) отозван из Польши.

<sup>4</sup> *Ретраншемент* (фр.) — укрепление позади главной позиции обороняющегося.

<sup>5</sup> *...расставил девять стульев...*— См. прим. № 122 к «Запискам» Л. Н. Энгельгардта.

<sup>6</sup> *Дормез* (фр.) — старинная большая дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

<sup>7</sup> *...я шалил под Рымником...*—11 сентября 1789 года Суворов разбил в сражении при Рымнике армию великого везира. 3 октября 1789 года Суворов был возведен в графское достоинство Российской империи с наименованием «граф Суворов-Рымникский».

<sup>8</sup> *6-го февраля был дан высочайший приказ, отставлявший Суворова от службы...*— В начале апреля 1797 года отставленный от службы Суворов приехал в м. Кобрин, а 5 мая 1797 года был доставлен из Кобриня в село Кончанское, где и началась его ссылка.

<sup>9</sup> *Яков Долгорукий* — см. о нем прим. № 20 к «Запискам» С. Н. Глинки.

<sup>10</sup> *В Линдау Суворов получил приказ императора вернуться в Россию.*— В октябре 1799 года Ф. В. Ростопчин сообщил Суворову, что Павел I разрешил ему объявить союзникам о возвращении русских войск в Россию.

<sup>11</sup> *...«Здесь лежит Суворов».*— По другой версии, эту эпитафию придумал Державин.

<sup>12</sup> *Однажды в итальянскую кампанию...*— Речь идет об Итальянском походе Суворова в апреле — августе 1799 года.

<sup>13</sup> *...Апеллес превзошел всех своих соперников в искусстве живописи...*— Апеллес — один из знаменитейших живописцев древности, сын Пифия. Родился в Колофоне; жил в Эфесе. Самый блестящий период его деятельности относится ко второй половине IV века до н. э. Апеллес был дружен с Александром Македонским, который говорил, что существуют только два Александра: один — сын Филиппа, другой — Апеллес; первый — непобедим, второй — неподражаем.

<sup>14</sup> *...я обещал быть на Треббии Аннибалом.*— Тр е б б и я — река в Северной Италии. В 218 году до н. э. во время 2-й Пунической войны карфагенская армия Ганнибала разбила на Треббии римские войска. В июне 1799 года русско-австрийские войска под предводительством Суворова во время Итальянского похода разбили на Треббии французские войска Ж. Макдональда.

<sup>15</sup> *...ведь 11 декабря 1790 года луна была в ваших руках...*— Шутка по поводу взятия Измаила.

<sup>16</sup> *Харон* — в древнегреческой мифологии перевозил через реку Стикс души умерших, доставляя их к вратам царства мертвых.

<sup>17</sup> *...Франца II...*— Речь идет о Франце I.



*Жизнь и приключения Андрея Болотова,  
описанные самим им для своих потомков*

Главы из книги печатаются по изданию: Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков.— М.-Л., 1931, т. I.

При подготовке примечаний использованы комментарии к названной книге, составленные П. А. Жаткиным и Н. И. Кравцовым.

<sup>1</sup> *Власно* (арх.) — точно, ровно, будто.

<sup>2</sup> *Гайтан* — шнурок, на котором носят нательный крест.

<sup>3</sup> *...по возвращении из турецкого похода...*— Речь идет о русско-турецкой войне 1735—1739 годов.

<sup>4</sup> *...заключенный мир с турецким государством...*— Белградский мир 18 (29) сентября 1739 года, по которому России возвращен Азов..

<sup>5</sup> *...остаюсь и прочая.*— Поскольку в настоящем издании печатается лишь несколько глав из книги А. Т. Болотова, составитель считает нецелесообразным специально оговаривать количество пропущенных глав и передавать их содержание.

<sup>6</sup> *«Похождения Телемака»* — философско-утопический роман Ф. Фенелона «Приключения Телемака» (1699; русский перевод 1747).

<sup>7</sup> *...в домах нигде не было ни только библиотек, но ни малейших собраний...*— Первые светские библиотеки в России появились в XVIII веке при Академии наук, при Московском университете. Первая крупная публичная библиотека была открыта в Петербурге в 1814 году.

<sup>8</sup> *Винтер-квартиры* — зимние квартиры.

<sup>9</sup> *Рей* — рига.

<sup>10</sup> *«Клевеланд»* — роман А. Ф. Прево «Английский философ, или История Кливленда, незаконного сына Кромвеля, им самим написанная» (т. 1—8, 1731—1739).

<sup>11</sup> *...перевел только небольшой немецкий роман под названием «Приключения милорда Кингстона»...*— «Приключения милорда, или Жизнь молодого человека, бывшего игралищем любви». Популярный во времена Болотова французский роман. Болотов сделал перевод романа на русский язык с немецкого перевода.

<sup>12</sup> *...книжками о красоте природы...*— Речь идет о книгах И. Г. Зулцера «Разговоры о красоте естества» (рус. перевод 1777); «Упражне-

ния к возбуждению внимания и размышления» (рус. перевод 1801). Болотов читал Зульцера по-пемецки, так как русского перевода в 1759 году еще не было.

## Г. Р. ДЕРЖАВИН

### *Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина*

Печатается в извлечениях по изданию: Державин Г. Р. Сочинения. В 9-ти т. / Под ред. Я. К. Грота. Т. 6 — СПб., 1871.

<sup>1</sup> *...родился в Казани...*— Державин родился в деревне Кармачи или деревне Сокура Казанской губернии.

<sup>2</sup> *...по тогдашним законам...*— Закон о явке недорослей на смотр (в семь, двенадцать и шестнадцать лет).

<sup>3</sup> *Вокабула* (лат.) — отдельное слово иностранного языка с переводом на родной язык.

<sup>4</sup> *...города, называемого Болгары, лежащего между рек Камы и Волги...*— В Среднем Поволжье начиная с VII века жили тюркоязычные племена. В X—XIV веках они стали основным населением Болгарии Волжско-Камской. Их потомки — чувашаи, казанские татары и др.

<sup>5</sup> *...когда он шествовал в Персию...*— Персидский поход русской армии во главе с Петром I (1722—1723) в принадлежавшие Ирану (Персии) Северный Азербайджан и Дагестан, которые были присоединены к России (в 30-х годах XVIII века возвращены Ирану).

<sup>6</sup> *...с даточными солдатами...*— «Даточный, сдаточный, сданный из солдаты военнослужащий из сословий, обязанных рекрутчиной» (В. И. Даль).

<sup>7</sup> *...поутру, часу пополудни в 8-м...*— Здесь начинается рассказ Державина о дворцовом перевороте 1762 года и воцарении Екатерины II.

<sup>8</sup> *Рейтары* (нем.) — конные наемные войска.

<sup>9</sup> *Экзерции* (лат.) — упражнения.

<sup>10</sup> *Ранжир* (нем.) — расстановка людей по росту в одну шеренгу.

<sup>11</sup> *...перевозить без ряды...*— то есть без торга, сделки.

<sup>12</sup> *...из книги о поэзии, сочиненной г. Тредиаковским...*— Державин имеет в виду трактат В. К. Тредьяковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735).

<sup>13</sup> *Притин* (арх.) — место, где ставился часовой.

<sup>14</sup> *Позорище* (арх.) — зрелище.

<sup>15</sup> *Фурьер* (фр.) — военнослужащий младшего командного со-

става, исполняющий должность ротного или эскадронного квартирмейстера.

<sup>16</sup> *Каптенармус* (фр.) — должностное лицо сержантского состава, обязанное получать со склада, хранить и выдавать сержантам роты оружие, обмундирование, техническое имущество и вести по ним отчетность.

<sup>17</sup> *...моровое поветрие*. — Эпидемия чумы.

<sup>18</sup> *Плутон* (Аид) — в римской и греческой мифологии — бог подземного царства.

<sup>19</sup> *Здесь влагается подлинный журнал...* — «Журнал, веденный во время Пугачевского бунта» — это подробный деловой отчет Державина за время его работы в Следственной Комиссии. Характер этого документа имеет несомненную историческую ценность, однако для широкого читателя он не представляет особого интереса. В приведенном ниже письме Екатерине II Державин кратко излагает события, которым посвящен его «Журнал».

<sup>20</sup> *...австрийский император Иосиф...* — Иосиф II.

<sup>21</sup> *Напрягай* (арх.) — головомойка, строгий выговор.

<sup>22</sup> *...наперсник государыни...* — П. А. Зубов.

<sup>23</sup> *...под мундштуком Державина*. — Мундштук: железные удила для сдерживания горячих лошадей. Здесь: под властью.

<sup>24</sup> *...Александр восстановил Дворянскую грамоту...* — Привилегии дворянства были закреплены в 1785 году Жалованной грамотой дворянству.

<sup>25</sup> *Андреевская лента* — лента, определенная статутом ордена Андрея Первозванного, учрежденного Петром I в 1698 г.

## И. И. ДМИТРИЕВ

### *Взгляд на мою жизнь*

Печатается с сокращениями по изданию: Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. — М., 1866. При составлении примечаний использован комментарий М. Н. Лонгинова к книге И. И. Дмитриева.

<sup>1</sup> *«Маргарит»* — византийский сборник «слов» (проповедей) раннехристианского писателя Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского. Проповедь отличалась христианско-демократической направленностью.

<sup>2</sup> *...Всемирная история Барония...* — Может быть, имеются в виду «Анналы» католического монаха Ц. Барония.

<sup>3</sup> *Конфедераты* — в феодально-крепостнической Польше — участники объединений (конфедераций) шляхты для защиты ее привиле-

гни, для захвата власти, проведения через сейм определенных решений. Здесь речь идет о последствиях первого раздела Польши (1772 год).

<sup>4</sup> *Оттоманская Порта* — принятое в европейских документах и литературе (в средние века и новое время) название правительства Османской империи. Дмитриев имеет в виду русско-турецкую войну 1768—1774 годов.

<sup>5</sup> ...о сожжении при Чесме турецкого флота.— Чесменский бой (25—26 июня 1770 года), во время которого русский флот блокировал и уничтожил турецкий флот в бухте Чесма.

<sup>6</sup> *Бурачок* (бурак) — туес, берестянка, берестовый стоячок с крышкой.

<sup>7</sup> *Ломбер* — старинная карточная игра.

<sup>8</sup> ...где свирепствовало моровое поветрие... князем Орловым...— Речь идет об эпидемии чумы в Москве в 1771 году и о подавлении Г. Г. Орловым так называемых «чумных бунтов».

<sup>9</sup> ...о политических происшествиях 1762 года...— Дворцовый переворот 1762 года, в результате которого пришла к власти Екатерина Вторая.

<sup>10</sup> ...до поразительного видения императрицы Анны...— Существовало предание, что незадолго до смерти императрица Анна видела на троне свою тень. Как указывал сам И. И. Дмитриев, «эта сказка, вероятно, выдумана была около двора и разглашена недовольными правлением императрицы» («Взгляд на мою жизнь», с. 97). Это предание легло в основу думы К. Ф. Рылеева «Видение Анны Иоанновны».

<sup>11</sup> *Пенаты* (лат.) — здесь: домашний очаг.

<sup>12</sup> *В конце года последовал мир с турками.*— Кючук-Кайнарджинский мир (подробнее см. в прим. 6 к воспоминаниям Е. Н. Львовой).

<sup>13</sup> *Кирасиры* — тяжелая кавалерия, носившая кирасы — металлические латы, надевавшиеся на спину и грудь для защиты от ударов холодным оружием.

<sup>14</sup> ...риторику Ломоносова.— То есть книгу Ломоносова «Краткое руководство к красноречию» (1748).

<sup>15</sup> ...пиитику Андрея Байбакова...— Книга А. Байбакова «Правила пиитические» (1774).

<sup>16</sup> «Общество дружеское типографическое» — возникло в 1779 году; в 1782 году стало официально существовать под названием «Дружеского ученого» общества, а в 1784 году из недр его вышла «Типографическая компания».

<sup>17</sup> ...с Аддисоновым «Зрителем»...— «Зритель» («Спектейтор») — английский сатирико-нравоучительный журнал. Его издавали в

1711—1714 годах Дж. Аддисон и Р. Стил. Журнал сыграл значительную роль в распространении просветительских идей.

<sup>18</sup> *«Древняя российская вивлиофика»* — см. прим. 13 к «Запискам» С. Н. Глинки.

<sup>19</sup> *«Ученые ведомости»* — издание Н. И. Новикова.

<sup>20</sup> *«Утренний свет»* — первый в России философский журнал. Издавался Н. И. Новиковым.

<sup>21</sup> *Французский переворот* — Великая Французская революция 1789—1794 годов.

<sup>22</sup> *«Филантропическое общество»* — не ясно, о каком из благотворительных обществ идет речь.

<sup>23</sup> *Во вторую кампанию шведской войны...* — Русско-шведская война 1788—1790 годов, во время которой Швеция пыталась вернуть владения в Прибалтике.

<sup>24</sup> *...в биографии Богдановича...* — См.: Карамзин Н. М. О Богдановиче и его сочинениях. — Вестник Европы, 1803, № 9, 10.

<sup>25</sup> *Читал ли «Послание к Шумилову», «Лису Кознодейку»...* — Стихотворение Д. И. Фонвизина «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» (опубликовано в 1769 году), басня «Лисица-кознодей» (опубликована в 1787 году).

<sup>26</sup> *...а наутро он уже был во гробе!* — Фонвизин умер 1 декабря 1792 года.

<sup>27</sup> *...журнал Карамзина под именем «Московского»...* — Издавался в 1791—1792 годах.

<sup>28</sup> *Аускультант* (лат.) — здесь: слушатель.

<sup>29</sup> *Тоня* — невод.

<sup>30</sup> *...безмолвные призраки Ермака и двух шаманов.* — Поэма «Ермак». См. кн. И. И. Дмитриева «И мои безделки».

<sup>31</sup> *...до издания Карамзиным «Вестника Европы»...* — Карамзин основал «Вестник Европы» и был его редактором в 1802—1804 годах.

<sup>32</sup> *...пожар истребил город...* — Пожар в Сызрани был в 1795 году.

<sup>33</sup> *...подражание «Посланию Попа к доктору Арбетноту»...* — И. И. Дмитриев имеет в виду свой перевод «Послания к Арбетноту» А. Попа.

<sup>34</sup> *...деревянный домик с маленьким садом...* — В этом доме И. И. Дмитриев прожил до конца жизни. П. А. Вяземский посвятил воспоминанию об этом доме стихотворение «Дом Ивана Ивановича Дмитриева» (1860).

<sup>35</sup> *«Филемон и Бавкида»* — одно из преданий, рассказанных Овидием в поэме «Метаморфозы». Символизирует супружескую верность.

<sup>36</sup> *...едва ли не восьмидесяти лет...* — Херасков умер 73 лет.

<sup>37</sup> *...Лагарпов «Лицей, или Курс литературы».* — В основу книги Ж. Ф. Лагарпа «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (т. 1—16, 1799—1805) легли лекции, прочитанные им в лицее Сент-Оноре.

## Л. Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ

### *Записки*

Печатается с сокращениями по изданию: Записки Л. Н. Энгельгардта.— М., 1868.

При составлении примечаний частично использован комментарий М. Н. Лонгинова и Н. В. Путяты к указанному изданию.

В предисловии к публикации «Записок» Н. Путяты писал: «Автор этих записок, отставной генерал-майор Лев Николаевич Энгельгардт, при жизни своей читал их семейству своему и некоторым коротким приятелям. Он скончался 4-го ноября 1836 года в Москве. В первое время после его смерти не хватились его записок, и они потом каким-то образом затерялись. Должно полагать, что записки Льва Николаевича оставались в имении его, сельце Муранове Московской губернии, в Дмитровском уезде, где он обыкновенно проводил часть года. Там, вероятно, убрали их с кипами разных ненужных бумаг и газет, а как впоследствии и старый дом, в котором он жил, был сломан, то, казалось, исчезли и последние их следы. А. Я. Булгаков, знакомый с этими любопытными, по словам его, записками, неоднократно спрашивал меня о них и тем поддерживал во мне желание отыскать их, хотя все прежние расспросы мои об этом были тщетны. Нынешнею осенью я находился в помянутом сельце Муранове. Оно досталось по наследству жене моей, младшей дочери Л. Н. Энгельгардта, которого старшая дочь — вдова известного нашего поэта Е. А. Баратынского. Наконец, один из мурановских дворовых старожилков, по вопросам моим, указал мне в амбаре, возле конюшни, большой сундук, наполненный разным хламом; тут-то, между грудями полуистлевших бумаг с домашними счетами и ведомостями, отрыл я тетрадки записок Л. Н. Энгельгардта, вложенные в толстой рукописи переведенной им книги «Triumphes de l'Évangile»\*. Я с жадностью бросился на записки и, бегло прочитав их, привез сюда. Здесь я предложил чтение их небольшому кружку людей, способных быть верными ценителями моей находки. Простота, ясность и чистосердечие рассказа, занимательные подробности о старине, историческое значение некоторых событий, коих автор был свидетелем, и вообще какой-то характер правдивости возбудили самый живой интерес к этим запискам во всех, ознакомившихся с ними в рукописи» (с. I—II).

<sup>1</sup> *...кавалер Св. Владимира 2-й степени...*— Орден Св. Владимира учрежден в 1782 году Екатериной II. Он имел четыре степени, из которых двум старшим присвоена восьмиугольная звезда с обозначен-

---

\* «Триумф Евангелия» (фр.).

ным на ней девизом: «Польза, честь и слава». Орден давал право на потомственное дворянство.

<sup>2</sup> *...второй — отец светлейшего князя...*— Отец Г. А. Потемкина женился на Дарье Васильевне Кондыревой.

<sup>3</sup> *...по взятии Смоленска...*— По Андрусовскому перемирию (январь 1667 года) Речь Посполитая возвратила России Смоленские и Черниговские земли.

<sup>4</sup> *Четверть* — русская мера объема сыпучих тел, равная 202, 91 л.

<sup>5</sup> *Униатская церковь* (греко-католическая) — христианское объединение, созданное Брестской унией в 1596 году. Подчинялась папе римскому, признавала основные догматы католической церкви, но сохраняла православные обряды. Помогала укреплять власть польских феодалов на Украине. Прекратила существование в 1946 году с расторжением Брестской унии.

<sup>6</sup> *...сабля с ташкою.*— Т а ш к а—сумка, подвесная сума. «Гусарская ташка, кожаный карман на отлете, вроде украшенья» (В. И. Даль).

<sup>7</sup> *Тогда открылись наместничества...*— Наместничество в 1775—1796 годах было административно-территориальной единицей из 2—3 губерний.

<sup>8</sup> *Ферула* (лат.) — хлыст, розга.

<sup>9</sup> *Танц-ботдек* — по смыслу: танц-класс.

<sup>10</sup> *Менуэт* (фр.) — старинный французский танец.

<sup>11</sup> *Контраданс* (англ.) — народный английский танец. В XIX веке слился с кадрилию.

<sup>12</sup> *Соника* — в банковской игре: сразу, с первого раза.

<sup>13</sup> *Пароли* (фр.) — удвоение выигранной ставки.

<sup>14</sup> *Сетелева* — неустановленное понятие, связанное, очевидно, с азартной игрой в карты.

<sup>15</sup> *...известен был взятием Кольберга...*— Кольберг был взят русскими войсками 5 декабря 1761 года.

<sup>16</sup> *...князем Потемкиным, личным неприятелем, по некоторым причинам, с фельдмаршалом.*— М. Н. Лонгинов писал по этому поводу: «Граф Румянцев немало способствовал возвышению Потемкина в первую Турецкую войну, но потом испытал от него неприятности» (с. 22).

<sup>17</sup> *...союз с Австриею был заключен лично между двумя монархами.*— Русско-австрийский союзный договор 1781 года (в форме обмена письмами между Екатериной II и Иосифом II) о взаимопомощи в случае войны России с Турцией и Швецией, о неприкосновенности границ.

<sup>18</sup> *Панагия* (гр.) — небольшая, обычно украшенная драгоценными камнями иконка, являющаяся знаком епископского сана. Панагию носили на груди на цепочке.

<sup>19</sup> ...опера «Новое семейство»...— Либретто опубликовано: М., 1781.

<sup>20</sup> В сем году граф Захар Григорьевич Чернышев пожалован был главнокомандующим в Москве...— М. Н. Лонгинов отмечал: «Тут есть небольшая неточность; это происходило в феврале 1782 года» (с. 26).

<sup>21</sup> ...приобрел он полуостров Крым...— Крым был присоединен к России 8 апреля 1783 года. М. Н. Лонгинов писал по этому поводу: «Автор записок несколько ошибается в этом месте, относя это событие к 1782 году, ибо писал на память, которая, впрочем, редко ему изменяла» (с. 27).

<sup>22</sup> ...графа Зановича...— М. Н. Лонгинов пишет: «Зановичи были в связях с знаменитым искателем приключений Казановой <...>, который говорит о них в своих записках. Трудолюбивый немец Бартольд издал два тома разысканий о лицах, упоминаемых в записках Казановой (Die geschichtlichen Persönlichkeiten in Jacob Casanova's Memoiren.— Berlin, 1846). Бартольд сообщает следующие известия о Зановичах. Стефан и Предислав Зановичи были родом далматы; эти искатели приключений начали подвиги свои в Венеции, а оттуда отправились путешествовать по Европе. Стефан, посетивши многие столицы, вошел в сношения с разными знаменитостями, и находился, между прочим, в переписке с Вольтером и Даламбером. В апреле 1776 года явился он в Потсдаме и успел втереться в общество принца прусского и его супруги. Стефан выдавал себя за албанского господаря, уверял, что у него 300 000 червонцев годового дохода и что он располагает тридцатитысячным войском. <...> Бартольд имел ошибочные сведения о дальнейшей судьбе Зановичей, он говорит, что Стефан умер в амстердамской долговой тюрьме. Записки Л. Н. Энгельгардта открывают истину. Вероятно, Стефан успел убежать в Париж, где нашел своего брата; там познакомились они с Неранчицем и отправились в Шклов к Зоричу» (с. 32—33).

<sup>23</sup> Неранчич — единоутробный брат Зорича. М. Н. Лонгинов пишет: «Фонвизин в письме своем от 18 (29) сентября 1778 года, писанном из Ахена к графу П. И. Панину, говорит о пребывании его <Неранчича> в Париже, называя его полковник Н., причем Фонвизин удостоверяет, будто бы Даламбер, Мармонтель и другие писатели низко льстили невежественному Неранчичу, надеясь получить через него подарки от русского двора» (с. 31).

<sup>24</sup> Балтийский порт — официальное название города Палдиски в 1783—1917 годах.

<sup>25</sup> Шишак — железный, вытянутый вверх шлем с наушниками и наносником.

<sup>26</sup> ...и панашем из страусовых перьев...— Видимо, опечатка. По



смыслу речь идет о плюмаже — украшении из перьев на головных уборах и конской сбруе.

<sup>27</sup> *...перед кавалергардскою залой...* — Зала, где находились кавалергарды — почетная стража и телохранители лиц императорской фамилии.

<sup>28</sup> *Капрал* (фр.) — воинское звание младшего командного состава (в русской армии в XVII — начале XVIII века).

<sup>29</sup> *Вахтмейстер* (вахмистр; нем.) — чин в кавалерии царской армии, соответствовавший фельдфебелю в пехоте.

<sup>30</sup> *Корнет* (фр.) — первый офицерский чин в кавалерии дореволюционной русской армии.

<sup>31</sup> *Ротмейстер* (ротмистр; польск.) — офицерское звание в дореволюционной русской кавалерии; соответствовало капитану в пехоте.

<sup>32</sup> *...он тогда еще был генерал-аншефом и вице-президентом военной коллегии.* — М. Н. Лонгинов пишет: «Князь Потемкин за присоединение Крыма в 1783 году пожалован генерал-фельдмаршалом и назначен президентом военной коллегии 2 февраля 1784 года. В то же время назначен он шефом кавалергардов и генерал-губернатором екатеринославским и таврическим» (с. 37).

<sup>33</sup> *Аксельбанты* (нем.) — наплечные шнуры с металлическими наконечниками — принадлежность формы военных чинов.

<sup>34</sup> *Миллионная* — улица в Петербурге.

<sup>35</sup> *...оставила ее от звания директора Академии...* — М. Н. Лонгинов замечает: «Тут автор также ошибается: княгиня Екатерина Романовна Дашкова <...> несколько раз подвергалась неудовольствию императрицы, но не в это время. Она оставила двор в 1794 году, сохранив все свои должности, от которых отставлена только в ноябре 1796 года императором Павлом I» (с. 38).

<sup>36</sup> *Петр Великий употреблял одного Потемкина для посольства в Англию...* — М. Н. Лонгинов пишет: «Петр Иванович Потемкин, окольничий; был два раза послан за границу: в 1667 году в Испанию и Францию для объявления Андрусовского перемирия России и Польши; в 1680 году — во Францию, Испанию и Англию для объявления о смерти царя Алексея Михайловича и постановления торгового договора с Францией» (с. 40).

<sup>37</sup> *Князь Григорий Александрович родился в 1736 году...* — ошибка мемуариста. Потемкин родился в 1739 году.

<sup>38</sup> *Образ его жизни доставил ему знакомство с важнейшими особами...* — В частности, с братьями Орловыми.

<sup>39</sup> *Волонтер* (фр.) — доброволец.

<sup>40</sup> *Государыня пожаловала его генерал-поручиком и генерал-адъютантом...* — М. Н. Лонгинов уточняет: «Потемкин получил чин генерал-майора за взятие 2 июля 1769 года укреплений под Хотин» (с. 43).

<sup>41</sup> ...отменное дарование государственного человека...— М. Н. Лонгинов писал в связи с этим: «Потемкину особенно покровительство вала при начале его придворного поприща графиня Прасковья Александровна Брюс, сестра фельдмаршала Румянцева, пользовавшаяся неограниченным доверием императрицы. Честолюбие Потемкина вскоре получило почти полное удовлетворение, но он непременно хотел иметь Георгиевскую ленту, которую получил только за штурм Очакова, 6 декабря 1788 года» (с. 43).

<sup>42</sup> *Св. Георгия*...— Орден святого великомученика и победоносца Георгия был учрежден в 1769 году Екатериной II только для воинских чинов. Имел 4 степени. Награжденные этим орденом приобретали право на получение потомственного дворянства.

<sup>43</sup> ...*Золотого Руна*...— Один из древнейших и почетнейших орденов. Учрежден в 1430 году бургундским герцогом Филиппом Добрым. Кавалерами ордена могли быть только представители древних знатных родов. Позднее различали австрийский и испанский орден Золотого Руна.

<sup>44</sup> ...*Св. Духа*...— Первый по значению орден во Франции и один из наиболее чтимых в Европе. Учрежден в 1578 году Генрихом III. Знаком ордена служил золотой с белой эмалью крест, с лилиями по углам. Упразднен конвентом, восстановлен Людовиком XVIII, но со времени революции 1830 года не жаловался.

<sup>45</sup> ...*Подвязки*...— Учрежден английским королем Эдуардом III в 1350 году с целью «соединить некоторое число достойных лиц для совершения добрых дел и оживления военного духа». Один из почетнейших орденов в Англии.

<sup>46</sup> *Сатрап* (гр.) — деспот.

<sup>47</sup> *Сибарит* — изнеженный, избалованный роскошью человек.

<sup>48</sup> *Куртаг* (арх.) — выход при дворе, приемный день.

<sup>49</sup> *Домино* (фр.) — маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном.

<sup>50</sup> *Венециан* — одна из разновидностей маскарадного костюма.

<sup>51</sup> *Капуцин* (польск.) — маскарадный костюм в виде плаща с капюшоном.

<sup>52</sup> ...*сочинил оперу «Армида и Рено»*...— «Армида и Ришальдо».

<sup>53</sup> *Опера-буфф* — жанр итальянской оперы XVIII—XIX веков; для нее характерны комедийный сюжет и демократическая музыкальная основа.

<sup>54</sup> *Шлафрок* (нем.) — домашний халат.

<sup>55</sup> ...*кавалером Белого Орла*...— Орден Белого Орла был учрежден в 1325 году. В 1705 году восстановлен польским королем Августом II.

<sup>56</sup> ...*Безбородко, недавно пожалованный графом*...— Безбородко был пожалован графом Российской империи в 1784 году.

<sup>57</sup> ...отвести роту в Кричев...— Екатерина II прибыла в Кричев, принадлежавший Г. А. Потемкину, 19 января 1787 года.

<sup>58</sup> ...за мою с ним бывшую ссору...— О причинах ссоры с Мамоновым Л. Н. Энгельгардт не сообщает.

<sup>59</sup> ...чтобы признала Ираклия русским вассалом...— в 1783 году был подписан Георгиевский трактат с представителями грузинского князя Ираклия II о протекторате России над Картли-Кахетинским царством.

<sup>60</sup> ...и заключил нашего посланника Булгакова в Семибашенный замок.— Я. И. Булгаков отверг в 1787 году турецкий ультиматум, за что и был заключен в Семибашенный замок в Константинополе, где провел два с лишним года. Находясь там, он каким-то образом завладел секретным планом военных действий Турции и переслал его в Петербург.

<sup>61</sup> ...Суворов тогда командовал в Кинбурне.— В августе—сентябре 1787 года Суворов руководил укреплением обороны Кинбурн-Херсонского боевого района, а 1 октября 1787 года разгромил турецкий десант на Кинбурнской косе.

<sup>62</sup> *Ложемент* (фр.) — старинное название небольшого стрелкового или орудийного окопа.

<sup>63</sup> *За сию победу Суворов награжден был андреевским орденом.*— 9 ноября 1787 года Суворов был награжден орденом Андрея Первозванного.

<sup>64</sup> *Елисаветград* — ныне Кировоград.

<sup>65</sup> ...по вашему же вчера совету.— В книге «Фонвизин» (СПб., 1848, с. 111—113) П. А. Вяземский опровергает этот слух, считая его «выдумкой клеветы».

<sup>66</sup> *Эволюция* (лат.) — здесь: движение войск для перестроения из одного боевого порядка в другой. В более широком смысле — маневрирование, тактическое учение войск.

<sup>67</sup> *Шанцевый* — служащий для производства работ по окапыванию, по устройству траншей и т. п. Например, лопаты, кирки, топоры.

<sup>68</sup> *Рандеву* (фр.) — здесь: встреча.

<sup>69</sup> *Карабинеры* (фр.) — стрелки, вооруженные карабинами, отборные стрелки.

<sup>70</sup> *Вагенбург* (нем.) — укрепление из повозок в форме четырехугольника, круга или полукруга; иногда усиливалось рвом или другими препятствиями. Применялось для прикрытия войск от атак противника.

<sup>71</sup> *Намет* — шатер, большая раскидная палатка.

<sup>72</sup> *Куверт* (фр.) — столовый прибор.

<sup>73</sup> *Фортификация* (лат.) — отрасль военно-инженерного дела, занимающаяся укреплением и оборудованием местности с целью облегчить ведение боя для собственных войск и затруднить его для противника.

<sup>74</sup> *Бруствер* (нем.) — земляная насыпь, вал для защиты бойцов от неприятельского огня.

<sup>75</sup> ...из полумортирных единорогов...— *Мортира* — короткоствольное артиллерийское орудие, бросающее снаряды с малой начальной скоростью по крутой траектории. *Единорог* — пушка с коническим казенником.

<sup>76</sup> ...шведский король Густав III внезапно объявил войну...— Русско-шведская война 1788—1790 годов была вызвана желанием Швеции вернуть свои владения в Прибалтике. Густав III рассчитывал на быструю победу. Однако победы русского флота привели к заключению Ревельского мира (1790), который не влечет никаких территориальных изменений.

<sup>77</sup> ...произошла у Красной Горки морская баталия...— Н. В. Путья писал в примечании к этому месту: «Грейг сражался с шведским флотом в 1788 году не у Красной Горки, а близ острова Хохланда. В 1790 году адмирал Круз отразил флот герцога Зюдерманландского у острова Сескара, и в этом деле сражающиеся могли подходить к Красной Горке. Бой продолжался от зари до поздней ночи, и канонада была слышна в Петербурге. Автор, кажется, смешивает в отношении местностей и времени эти два сражения» (с. 83).

<sup>78</sup> ...и вскоре от раны умер.— М. Н. Лонгинов замечает: «Тут автор ошибается: Грейг умер не от ран, а от кратковременной, но тяжелой болезни, которой, как говорят, немало способствовала горечь, причиненная ему еще в июле, после сражения при Готланде, взятием в плен нашего корабля шведами. Горечь эту не могли утешить ни дальнейшие успехи, ни благоволение императрицы, пожаловавшей Грейгу андреевскую ленту» (с. 83).

<sup>79</sup> *Дубль-шлюпка* — двойная шлюпка.

<sup>80</sup> *Брандвахта* (гол.) — судно, поставленное на рейде для наблюдения за входящими и выходящими судами (сторожевое).

<sup>81</sup> *Крюйт-камера* (гол.) — помещение на корабле, где хранятся взрывчатые вещества.

<sup>82</sup> ...после была за графом Потоцким...— Речь идет о нашумевшей в то время истории. Витт «уступил» свою красавицу жену Софью (бывшую невольницу-гречанку, купленную в Константинополе) польскому магнату Щенсы-Потоцкому.

<sup>83</sup> *Арнауты*.— Как указывает М. Н. Лонгинов, «Арнаутами звались тут молдаване, или волохи <валахи.— И. П.>, добровольно вступавшие в службу на своем коне и вооружении, за что получали по червонцу в месяц жалования, провиант и фураж; они худо служили, однако ж некоторые из них были изрядные наездники...» (с. 86).

<sup>84</sup> В Польше сделалась революция...— М. Н. Лонгинов пишет: «Автор в этом месте упоминает по ошибке о происшествиях позднейших; эти события относятся к 1791 году, в котором состоялась конституция 3 мая» (с. 87).

<sup>85</sup> ...*доверенность поляков получил прусский министр Луккезини*.— Луккезини добился заключения прусско-польского союзного договора, направленного против России. Впоследствии он был одним из главных инициаторов второго раздела Польши.

<sup>86</sup> *Анфилировать* (фр.) — обстреливать вдоль.

<sup>87</sup> *Сераскир* (тур.) — главнокомандующий турецким войском; позже, в султанской Турции, военный министр.

<sup>88</sup> ...*вперед до Васлуи*...— В а с л у й — ныне город в Восточной Румынии.

<sup>89</sup> *«Речка Путна от дождей широка»*.— В письме к Н. В. Репнину от 21 июля 1789 года Суворов писал: «Путна от дождей глубока. Тысячи две-три турков нам ее спорили часа три». Дальнейший текст письма не соответствует тексту, приведенному Л. Н. Энгельгардтом (см.: Суворов А. В. Письма.— М., 1986, с. 177).

<sup>90</sup> ...*получит чин*...— М. Н. Лонгинов сообщает, что за «сие дело Гельвиг получил орден св. Георгия 4 класса по представлению светлейшего князя» (с. 103).

<sup>91</sup> *Аккерман* — ныне город Белгород-Днестровский.

<sup>92</sup> ...*заключил мир*...— В августе 1790 года Лёопольд II заключил с турками перемирие; в 1791 году — мир в Чистове.

<sup>93</sup> ...*атаковал Ревельский наш флот*...— В мае 1790 года шведский флот пытался атаковать русский флот возле Ревеля и Красной Горки, но был отогнан. Запертый в Выборгской бухте, при попытке прорваться в июне 1790 года понес крупные потери, которые предопределили поражение шведов на море. Командовал русским флотом адмирал В. Я. Чичагов.

<sup>94</sup> *Брандер* (нем.) — судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами. Применялось для поджога неприятельских кораблей.

<sup>95</sup> ...*послан был большой корпус ... к Килии*.— Русские войска осаждали Килию в течение двух недель. Гарнизон Килии капитулировал 18 октября 1790 года.

<sup>96</sup> *Форштат* (нем.) — предместье.

<sup>97</sup> ...*нежели Петр Великий был при Рябой Могиле*.— По-видимому, речь идет о походе против турок в 1711 году, когда Петр I с войском был окружен превосходящими его в пять раз силами турок. Подробнее см. прим. 1 к воспоминаниям С. В. Скалон.

<sup>98</sup> ...*заключить мир*...— Ясский мир между Россией и Турцией был заключен 9 января 1792 года в Яссах. Этот мир подтвердил присоединение к России Крыма и Кубани и установил русско-турецкую границу по реке Днестр.

<sup>99</sup> ...*праздник описан ... Державиным*.— Державин написал торжественные хоры для праздника на взятие Измаила, а затем составил описание праздника в стихах и прозе.

<sup>100</sup> ...*лег на разостланный на дороге плащ*...— Ср. со строками

из стихотворения Державина «Водопад»: «Чей труп, как на распутье  
мгла, /Лежит на темном лоне ночи?»

<sup>101</sup> *Флер* (нем.) — тонкая, просвечивающая ткань.

<sup>102</sup> *Позумент* (нем.) — шелковая или шерстяная тесьма, шитая серебром или золотом.

<sup>103</sup> *Балюстрада* (фр.) — ограждение, состоящее из ряда столбиков, объединенных перилами.

<sup>104</sup> *Амвон* (гр.) — в православной церкви — возвышение, на котором совершается часть богослужения и произносятся проповеди.

<sup>105</sup> *Хаджибей* — на месте Хаджибея была построена Одесса.

<sup>106</sup> *Кайзер-флаг* — флаг германского императора.

<sup>107</sup> *Супервест* (фр.) — «безрукавый кафтанчик» (В. И. Даль).

<sup>108</sup> *Епанча* — «широкий безрукавый плащ, круглый плащ, бурка» (В. И. Даль).

<sup>109</sup> *Литургия* (гр.) — христианское церковное богослужение.

<sup>110</sup> *Конфирмация* (лат.) — здесь: утверждение высшей властью судебного приговора.

<sup>111</sup> *Мачинская баталия* — последнее крупное сражение русско-турецкой войны 1787—1791 годов. Произошло 28 июня 1791 года в районе города Мачин (современная Румыния). Стремясь не допустить перехода русских войск за Дунай, турецкое командование сосредоточило в районе Мачина крупные силы. Командовавший в то время русской армией Н. В. Репнин решил предупредить противника и нанести удар по мачинской группировке. Русские войска одержали полную победу.

<sup>112</sup> *...бывшему при местечке Мире.* — Далее пропущено описание военных действий в Польше, а также рассказ о собрании польского сейма в 1793 году.

<sup>113</sup> *Далила* — в библейской мифологии филистимлянка, влюбленная в Самсона.

<sup>114</sup> *...в Польше сделалась революция.* — Революция 6 апреля 1794 года.

<sup>115</sup> *«Посполитое рушение»* — всеобщее шляхетское ополчение феодальной Польши. Возникло в XIII веке, существовало до конца XVIII века.

<sup>116</sup> *Цейхгауз* (нем.) — склад оружия или обмундирования.

<sup>117</sup> *Деташемент* (фр.) — военный отряд, войско.

<sup>118</sup> *Реверс* (лат.) — обязательство.

<sup>119</sup> *Бискуп* (польск.) — епископ.

<sup>120</sup> *...стреляли светлыми ядрами.* — «Светлые», или святащиеся, ядра представляли собой каменные ядра, покрытые ярко светящимся при горении составом.

<sup>121</sup> *Дефензии* (от фр. défensive — оборона) — оборонительные укрепления.

<sup>122</sup> ...и прислан был ему повелительный жезл...— В связи с этим М. Н. Лонгинов пишет: «Суворов донес Екатерине о взятии Варшавы тремя словами: «Ура! Варшава наша!» Екатерина отвечала 19 ноября двумя словами: «Ура! фельдмаршал!» Кроме жезла с бриллиантами, Екатерина пожаловала ему 7000 душ, император австрийский — свой портрет, а король прусский — ленты черного и красного орла. Екатерина написала ему: «Вы знаете, что я не произвожу никого через очередь... но Вы, завосвав Польшу, сами себя сделали фельдмаршалом». Действительно, Суворов обошел девять генерал-аншефов: графа И. П. Салтыкова, графа Н. И. Салтыкова, князя П. В. Репнина, князя Ю. В. Долгорукого, графа И. К. Эльмпта, князя А. А. Прозоровского, графа В. П. Мусина-Пушкина, М. Ф. Каменского и М. В. Каховского» (с. 182).

<sup>123</sup> *Афронт* (фр.) — оскорбление, неожиданная неприятность, неудача.

<sup>124</sup> *Персидская война* — Персидский поход (1796) русских войск в азербайджанские провинции Ирана в ответ на вторжение иранских войск в Грузию в 1795 году. В декабре 1796 года войска были отозваны вступившим на престол Павлом I.

<sup>125</sup> ...окончил несчастную свою жизнь.— Это произошло 5 июля 1764 года.

<sup>126</sup> ...что и исполнено.— Мирович был казнен 15 сентября 1764 года.

<sup>127</sup> ...сильно свирепствовала, а особливо в Москве...— Эпидемия чумы в Москве продолжалась с марта по октябрь 1771 года.

<sup>128</sup> *Андреевский орден* — орден Андрея Первозванного.

<sup>129</sup> *Император принял титул магистра державного ордена Св. Иоанна Иерусалимского...*— Мальтийский орден св. Иоанна Иерусалимского — старейший из католических духовных орденов, возник в 1048 году в Иерусалиме в память Иоанна Крестителя. Первоначальная цель ордена была религиозная и благотворительная — давать приют и врачебную помощь богомольцам, являвшимся в Святую Землю. Членами Ордена были духовные особы и рыцари из разных стран Европы. Павел I признал Мальтийский орден в России. В 1798 году Павел объявил себя Великим Магистром этого ордена. В 1798 году был принят манифест об установлении в пользу российского дворянства ордена св. Иоанна Иерусалимского. Капитул ордена был перенесен из Мальты в Петербург.

<sup>130</sup> *Орден Св. Анны 1-й степени...*— Орден св. Анны был учрежден в 1735 году шлезвиг-голлштинским герцогом Карлом Фридрихом в память Анны Петровны (дочери Петра I). Установлением Павла I в 1797 году орден разделен на три степени: 1-я — крест на ленте через плечо на правой стороне; 2-я — крест на шее; 3-я — крест на шпажной чашке.

<sup>131</sup> *Ревю* (фр.) — здесь: смотр.

<sup>132</sup> *Плутонг* (фр.) — соответствующее взводу низшее подразделение в строю и боевом порядке русской пехоты в XVIII веке, введенное Петром I.

<sup>133</sup> *Эспантон* — копьё с плоским и длинным железным или стальным наконечником, пасаженным на длинное древко. Наконечник украшался орнаментом, изображением гербов и т. п. Эспантон считался почетным оружием.

<sup>134</sup> ...с *фурией*...— здесь: в ярости.

<sup>135</sup> *Рескрипт* (лат.) — в дореволюционной России — опубликованное ко всеобщему сведению письмо царя к подданному с выражением благодарности за оказанные услуги, с объявлением о награде и т. п.

<sup>136</sup> *Смерть приключилась государю*...— Павел I был убит заговорщиками-дворянами.

<sup>137</sup> ...куда он *девался*.— В настоящем издании выпущена глава VII «Записок» Л. Н. Энгельгардта «Царствование Александра I», поскольку она относится уже к XIX веку и в ней описаны события, в которых автор записок не принимал непосредственного участия. Поэтому, как справедливо заметил Н. В. Путьята, в этой части воспоминания Л. Н. Энгельгардта «лишены по большей части жизни, которая так ярко выражается в описаниях событий, где Л. Н. Энгельгардт является участником или свидетелем. Записки его о временах царствования Александра I преимущественно состоят из сухих перечней сражений и тому подобных обстоятельств, изложенных по реляциям и рассказам» (с. 218).

## С. Н. ГЛИНКА

### *Записки*

Печатается в извлечениях по изданию: Записки С. Н. Глинки.— СПб., 1895.

<sup>1</sup> К *«Русскому» моему «вестнику» и «Русскому чтению»*...— «Русский вестник» — ежемесячный журнал, издававшийся С. Н. Глинкой в Москве в 1808—1824 годах. Все материалы журнала были посвящены только России, ее прошлому и настоящему. «Русское чтение» — книга С. Н. Глинки (СПб., 1845).

<sup>2</sup> ...«*был могущ, хотя и не в порфире*».— Строка из стихотворения Державина «Водопад»: «Могущ — хотя и не в порфире».

<sup>3</sup> ...с *отцом его*...— Отец Г. А. Потемкина умер в 1746 году, когда будущему князю Таврическому было семь лет. Рассказанный С. Н. Глинкой случай, по-видимому, представляет собой один из многочисленных и мало достоверных анекдотов о Потемкине.



<sup>4</sup> ...*Потемкин вступил в Московский университет и выслан отсюда недоученным студентом...*— Потемкин поступил в Московский университет в 1757 году, но в 1760 году был исключен «за нехоженность».

<sup>5</sup> ...*дал Екатерине и двору ее такое празднество...*— Речь идет о роскошном празднике, устроенном Потемкиным 28 апреля 1791 года в Таврическом дворце по случаю взятия Измаила.

<sup>6</sup> *Макао* — одна из азартных игр в карты.

<sup>7</sup> *Барда* — побочный продукт спиртового производства. Свежую и силосованную барду используют главным образом для откорма крупного рогатого скота, а сушеную — для откорма всех сельскохозяйственных животных.

<sup>8</sup> *Понт Эвксинский* — древнегреческое название Черного моря (буквально: «Гостеприимное море»).

<sup>9</sup> ...*о древнем царстве Митридатом...*— Автор имеет в виду владения Митридата VI Евпатора, царя Понта, который подчинил себе все побережье Черного моря. В войнах с Римом он был побежден и покончил с собой.

<sup>10</sup> ...*по случаю первой войны с Портой Оттоманскою при императрице Анне...*— Речь идет о русско-турецкой войне 1735—1739 годов, которую вела Россия в союзе с Австрией за выход к Черному морю и для пресечения набегов крымских татар.

<sup>11</sup> «*Московские ведомости*» — одна из старейших русских газет. В 1779—1789 годах ее фактическим редактором был Н. И. Новиков. Газета издавалась в Москве.

<sup>12</sup> «*Живописец*» — еженедельный журнал. Издавался Н. И. Новиковым в Петербурге с апреля 1772 по июнь 1773 года. Среди сатирических изданий конца 1760-х — начала 1770-х годов журнал выделялся политической остротой и литературными достоинствами. Выражал антикрепостнические настроения.

<sup>13</sup> «*Древняя русская Вифлиофика*» («Древняя российская вивлиофика») — издание письменных памятников по истории России; выходило ежемесячно с 1773 года, сыграло большую просветительскую роль, знакомя широкие читательские массы с прошлым страны. Ввело в оборот множество исторических материалов.

<sup>14</sup> ...*перевод записок Сюлли...*— «Memoires des sages et royales oeconomies d'estat etc.» (v. 1—4), 1638—1662.— В русском переводе: «Записки...», т. 1—10.— М., 1770—1776 (перевод М. И. Веревкина).

<sup>15</sup> ...*из стен Смоленска, сооруженных тем исполином всего века, который с среды писца перешел на среду вельможи и царя...*— Городские стены Смоленска возведены в 1594—1602 годах архитектором по фамилии Конь (возможно, настоящая фамилия его Иванов). Смысл аллюзии не ясен.

<sup>16</sup> *В путешествии своем по Ладожскому озеру Озерецковский...*—

Имеется в виду книга Н. Я. Озерецковского «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» (СПб., 1792).

<sup>17</sup> ...*граф Миних был основателем кадетского корпуса при императрице Анне.*— Кадетский корпус был основан в 1731 году по предположению графа Миниха.

<sup>18</sup> *Кarei (каре) — строй войска квадратом.*

<sup>19</sup> ...*Румянцев отменил рогатки, которыми солдаты наши ограждались для цельной стрельбы.*— Р о г а т к а — противонехотное проволочное переносное заграждение, состоящее обычно из трех крестовин, скрепленных поперечной жердью длиной до трех метров и оплетенных колючей проволокой. Рогатки возили с собой в обозе и при обороне выставляли перед своим фронтом и на флангах. Рогатки использовались не только в XVIII веке, но также в 1-й и 2-й мировых войнах.

<sup>20</sup> ...*граф Н. И. Панин, прославившийся в царствование Екатерины таким же подвигом, каким князь Я. Ф. Долгорукий прославился при Петре I...*— Автор, по-видимому, имеет в виду неподкупность и прямотушность Н. И. Панина — черты, близкие к тем, которыми отличался Я. Ф. Долгорукий. По преданию, Я. Ф. Долгорукий при решении одного дела в сенате сказал: «Царю правда — лучший слуга. Служить — так не картавить; картавить — так не служить».

<sup>21</sup> *Суворов два свои разговора в царстве мертвых...*— Речь идет о диалогах Суворова: «Разговор в царстве мертвых между Александром Великим и Геростратом» (1755) и «Разговор в царстве мертвых. Кортес и Монтецума» (1756).

<sup>22</sup> *Аркадия* — область в центральной части Пелопоннеса (Греция). В античной литературе изображалась как райская страна с патриархальной простотой нравов. Здесь: счастливая страна.

<sup>23</sup> ...*Державин называл исполином...*— В строках из стихотворения «Водопад»:

Не ты ль, который взвесить смел  
Мощь росса, дух Екатерины  
И, опершись на них, хотел  
Вознесть твой гром на те стремнины,  
На конх древний Рим стоял  
И всей вселенной колебал.

<sup>24</sup> ...*моих «Русских анекдотов».*— Речь идет о книге С. Н. Глинки «Русская история» в 14 частях, многочисленных стихотворных, исторических и нравоучительных повестей, анекдотов и т. д.

<sup>25</sup> ...*старший внук Екатерины.*— Будущий император Александр I.

<sup>26</sup> *Катехизис* (гр.) — 1) религиозная книга; изложение христианских верований в форме вопросов и ответов; 2) изложение основ какого-либо учения в форме вопросов и ответов.

<sup>27</sup> *«Житие Клевланда, побочного сына Кромвеля».*— Полное название романа Прево: «Английский философ, или История Кливленда, незаконного сына Кромвеля, им самим написанная» (т. 1—8, 1731—1739; в русском переводе: ч. 1—9, СПб.—М., 1760—1784).

<sup>23</sup> *Сказано в первой части, что я был пролаза-рукодельник и неугодный торгош...*— Эти страницы воспоминаний С. Н. Глинки в настоящем издании выпущены.

<sup>29</sup> *...как в вольтеровой Эльдораде...*— Об Эльдорадо Вольтер писал в повести «Кандид».

<sup>30</sup> *По катонскому владычеству над собой...*— Имеются в виду самообладание и твердость, присущие Катону Младшему.

<sup>31</sup> *...Был Титом для других...*— Тит Флавий Веспасиан был известен крайней жестокостью при жизни своего отца Флавия Веспасиана. Став императором, Тит решил помирить с собою подданных. Голос народа назвал его впоследствии «любовью и утешением человеческого рода». Историки, однако, относятся к добродетелям Тита скептически.

<sup>32</sup> *...пусть будет он Фаросом вашим на путях военной вашей службы.*— Ф о р о с (Форосский маяк) — мраморная башня, выстроенная на острове Форосе Птолемеем Филадельфом. На вершине ее разводили огонь, видимый далеко в море.

<sup>33</sup> *...где бродила по стограм городским чумная смерть.*— Эпидемия чумы в Москве в 1771 году.

<sup>34</sup> *За эту скромность Державин назвал его Камиллом.*— В стихотворении «Вельможа»:

И в наши вижу времена  
Того я славного Камилла,  
Которого труды, война  
И старость дух не утомля.

<sup>35</sup> *...я узнал тогда и скалу Тарпейскую...*— Тарпейская скала в Древнем Риме — отвесный утес с западной стороны Капитолийского холма. Оттуда сбрасывали осужденных на смерть государственных преступников.

<sup>36</sup> *Озеров, вызвавший на театр и шотландского барда Оссиана, и слепца Эдипа, и героя Донского...*— Речь идет о трагедиях В. А. Озерова «Фингал» (навеяна «Поэмами Оссиана» Дж. Макферсона), «Эдип в Афинах» и «Дмитрий Донской».

<sup>37</sup> *...в живых как будто сошел в могилу...*— Из-за служебных неприятностей Озеров вышел в отставку, сильно нуждался, а в 1810 году заболел тяжелой душевной болезнью.

<sup>38</sup> *Кастор и Поллукс (Поллукс)* — в греческой мифологии герон-близнецы.

<sup>39</sup> ...для Европы ударил роковой час.— Речь идет о Великой Французской революции 1789—1794 годов.

<sup>40</sup> «Зритель» — ежемесячный журнал. Издавался в Петербурге с февраля по декабрь 1792 года. Издателями и главными сотрудниками его были И. А. Крылов, А. И. Клушин и П. А. Плавильщиков. Издание носило антикрепостнический характер и было прекращено в результате преследований со стороны правительства.

<sup>41</sup> «Меркурий» («Санкт-Петербургский Меркурий») — ежемесячный журнал, который издавали И. А. Крылов и А. И. Клушин с февраля 1793 года по апрель 1794 года.

<sup>42</sup> «Академические известия» — «Академические известия, содержащие в себе историю наук и новейшие открытия оных; извлечения из десяти славнейших академий в Европе...» СПб. при Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук. 1779—1781. Выходил 3 раза в год.

<sup>43</sup> «Московский журнал» — литературный ежемесячный журнал. Его издавал Н. М. Карамзин в 1791—1792 годах. Журнал выступал с позиций сентиментализма. Имел такой успех, что был переиздан в 1801—1803 годах.

<sup>44</sup> Терпсихора — в греческой мифологии — одна из девяти муз, покровительница танцев и хорового пения.

<sup>45</sup> Понтер (фр.) — в азартных карточных и других играх — человек, играющий против банка, то есть против денег, поставленных на кон.

<sup>46</sup> В другой редакции «Записок» С. Н. Глинки... — Это примечание принадлежит Алексею Осиповичу Круглому, библиографу, подготовившему к изданию «Записки» С. Н. Глинки и проверившему их печатный текст по рукописи.

<sup>47</sup> Мельпомена — в греческой мифологии — одна из девяти муз, покровительница трагедии, символ сценического искусства.

<sup>48</sup> ...в «Альзире». — Трагедия Вольтера «Альзира, или Американцы» (1736; русский перевод 1786).

<sup>49</sup> У творца «Семиры»... — то есть у Сумарокова.

<sup>50</sup> ...с философом фернейским... — то есть с Вольтером.

<sup>51</sup> «Хорев» — трагедия Сумарокова.

<sup>52</sup> Аттическая соль — тонкая острота, насмешка.

<sup>53</sup> Адонис — здесь: красавец юноша.

<sup>54</sup> Райский крин — райская лилия.

<sup>55</sup> ...окончив воспитание в Тверском училище, приехал в Петербург круглым сиротой. — Ошибка мемуариста: И. А. Крылов получил первоначальное образование дома. С девяти лет он служил в тверском губернском магистрате. В 1778 году умер отец Крылова, а в 1782 году его мать с детьми пересекла в Петербург.

<sup>56</sup> *Княжнин дал ему приют в своем доме...*— Ср. с версией Е. Н. Львовой.

<sup>57</sup> *...Крылов ... в комедии своей «Таратор» описал в смешном виде домашний быт своего хозяина.*— Речь идет о комедии Крылова «Проказники» (1787—1788) — памфлете на Княжнина (Рифмоград) и его жену (Таратора). Эта комедия носила характер пасквиля.

<sup>58</sup> *«Детское чтение»* — журнал «Детское чтение для сердца и разума» издавал Н. И. Новиков в 1785—1789 годах.

<sup>59</sup> *«Собеседник»* («Собеседник любителей российского слова») — ежемесячный журнал; издавался в Петербурге с июня 1783 по сентябрь 1784 года Академией наук по инициативе и при ближайшем участии Екатерины II. Фактическим редактором журнала была княгиня Е. Р. Дашкова.

<sup>60</sup> *«Горе моему отечеству»* — политическая статья Я. Б. Княжнина. По некоторым данным, Княжнин в связи с этой статьей был вызван в Тайную канцелярию и умер после допроса. С. Н. Глинка не упоминает о другом важном факте биографии Княжнина: в 1773 году его судили за растрату, лишили дворянского звания и разжаловали в солдаты. В 1777 году Княжнин был восстановлен в правах и зачислен секретарем И. И. Бецкого.

<sup>61</sup> *...трагедия «Вадим» напечатана была княгинею Дашковою в 1792 году.*— Трагедия «Вадим Новгородский» написана в 1789-м опубликована в 1793 году.

<sup>62</sup> *Телемак* — сын Одиссея.

<sup>63</sup> *Пифия* — в Древней Греции — жрица-прорицательница в храме Аполлона (Дельфийском оракуле).

<sup>64</sup> *Александрійский стих* — французский двенадцатисложный стих, или русский шестистопный ямб (с цезурой после шестого слога), с парной рифмовкой. Основной размер крупных жанров в литературе классицизма.

<sup>65</sup> *«Россиада»* — поэма М. М. Хераскова.

<sup>66</sup> *...но одна сильная буря лишила его состояния и затмила его ум.*— Как писал сам Державин, Чупятов был гжатским купцом, который торговал «при С.-Петербургском порте пенькою, имел несчастье чрез пожар в кладовых на бирже амбаров понести великий убыток, отчего объявил себя банкротом, как иные сказывали, притворно, и, избегая от своих верителей всяких неприятностей, наложил на себя дурь, сказывая, что в него влюбленная мароккская принцесса выйдет скоро за него замуж, что прислала она к нему уже множество сокровищей, чем бы он давно заплатил свои долги, но неприятели его не допустили до рук его присланный подарок; однако же достоинства и ордена, к нему от нее присланные, он получил, которые он и носил на себе, как то: разных цветов ленты и медали, к нему от некоторых насмешников из шутки чрез почту и чрез

нарочных доставленные, которыми очень гордился и утешался, показывая свои грамоты, сочиненные разными людьми ему для насмешки» (см.: Державин Г. Р. Сочинения.— М., 1985, с. 326).

<sup>67</sup> «Маяк» — ежемесячный «учено-литературный журнал»; выходил в Петербурге в 1840—1845 годах. Издавался П. А. Корсаковым и С. А. Бурачком. Носил крайне реакционный характер.

<sup>68</sup> *Диван* (перс.) — совещательный орган в султанской Турции, состоявший из министров и высших сановников.

<sup>69</sup> *Марс* — в римской мифологии — бог войны.

<sup>70</sup> «*Будь в стане Фабием, а в поле Ганнибалом...*» — то есть медлительным «в стане» и решительным в бою.

<sup>71</sup> *В начале 1796 года воследовала война с Персией...* — Речь идет о Персидском походе 1796 года.

<sup>72</sup> *1799 года происходили военные действия русских в Италии, в Швейцарии, в Голландии и на прибрежных островах Англии.* — Имеется в виду русско-французская война 1798—1800 годов, которую вела Россия в составе 2-й антинаполеоновской коалиции (Итальянский и Швейцарский походы Суворова, русско-английская экспедиция в Голландию).

<sup>73</sup> *...столовой вельможа...* — То есть человек знатного рода. Столовой (столбовой) дворянин, «коего дворянство прошло чрез несколько поколений» (В. И. Даль).

<sup>74</sup> *Обершталмейстер* (нем.) — один из высоких придворных чинов в царской России.

<sup>75</sup> *...напечатал в корпусной типографии упомянутую песнь Великой Екатерине...* — «Песнь Великой Екатерине». — СПб., 1796.

<sup>76</sup> *...Вольтеров гурон...* — Г у р о н — герой повести Вольтера «Простодушный».

<sup>77</sup> *...граф Петр Александрович...* — П. А. Румянцев-Задунайский.

<sup>78</sup> *...в день великого угодника божьего Николая...* — 6 декабря (Никола зимний).

<sup>79</sup> *...из мощных дланей того исполина...* — Г. А. Потемкина.

<sup>80</sup> *...был и садом Гесперидским...* — Сад, где обитали Геспериды, хранительницы чудесных золотых яблок. В середине века христианские авторы истолковывали миф о саде Гесперид как предание о земном рае, пытаясь согласовать античный миф с Библией.

<sup>81</sup> *...в «Наталье, боярской дочери»...* — То есть в повести Н. М. Карамзина.

<sup>82</sup> *Как сон, как сладкая мечта, / Исчезла и моя уж младость.* — Цитата из стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского».

<sup>83</sup> *Сегодня обладал собою, / А завтра прихотям был раб.* — Неточная цитата из стихотворения Державина «Фелица».

<sup>81</sup> ...напечатанием сочинений в четырех... частях...— Речь идет о пятитомном издании: Творения Н. П. Николева. Т. 1—5.— М., 1795.

<sup>85</sup> «Аониды» — альманах, издававшийся Н. М. Карамзиным в 1796—1799 годах. Вышли 3 книги.

<sup>86</sup> *Петиметр* (фр.) — в литературе XVIII века сатирический образ молодого щеголя, франта, вертопраха; в частности, в русской литературе образ малокультурного молодого дворянина, рабски подражающего французской моде, манере поведения и т. д.

## Е. Н. ЛЬВОВА

### *Рассказы, заметки и анекдоты из записок Е. Н. Львовой*

Печатается по изданию: Русская старина, 1880, №№ 3, 6, 9 (с большими сокращениями).

<sup>1</sup> ...*Андрея Первозванного знаки*...— Знаки, соответствующие статусу ордена св. Андрея Первозванного. Ордену был присвоен девиз: «За веру и верность».

<sup>2</sup> *Андреевская звезда* — бриллиантовая звезда, соответствующая статусу ордена св. Андрея Первозванного.

<sup>3</sup> *Парасоль* (фр.) — зонтик.

<sup>4</sup> *Н. А. Львов... скончался в 1807 году*...— Мемуаристка ошибается: Н. А. Львов умер 3 января 1804 года (по новому стилю).

<sup>5</sup> ...*учредив Академию художеств*...— Академия художеств была учреждена в Петербурге в 1757 году как «Академия трех знатнейших художеств». Первые проекты организации Академии возникли по инициативе Петра I. При Екатерине II Академия художеств была преобразована в 1764 году. Президентом ее в 1764—1794 годах был И. И. Бецкий. Построена Академия архитектором А. Ф. Кокориновым при участии Ж. Б. Валлен-Деламота. Почти квадратное здание Академии включает большой круглый двор в середине и четыре маленьких по углам.

<sup>6</sup> *Кайнарджинский мир* — Кючук-Кайнарджинский мир 1774 года завершил русско-турецкую войну 1768—1774 годов. Османская империя признала независимость Крымского ханства, Черное море открылось для русского торгового мореплавания; к России были присоединены Азов, Керчь и др. территории.

<sup>7</sup> ...*отец его был бедный тверской дворянин*...— И. А. Крылов родился в семье Андрея Прохоровича Крылова, армейского офицера, который из рядовых дослужился до капитанского чина. Таким образом, дворянство его было не родовое, а выслуженное по чину.

<sup>8</sup> ...*отдал его Петру Петровичу Львову*...— А. П. Крылов умер в 1778 году. Как указывает Г. А. Гуковский, И. А. Крылов «как-то

проник в дом местного тверского помещика либо чиновника из важных, по-видимому, Н. А. Львова, и здесь, вместе с детьми хозяина, — на ролях не то их товарища, не то приживальщика, учился, между прочим, и французскому языку» (Гуковский Г. А. И. А. Крылов. — В кн.: Крылов И. Басни. — Л., 1935, с. 7). Видимо, сведения о пребывании Крылова в доме П. П. Львова — или ошибка памяти мемуаристки, или опечатка, допущенная при издании ее воспоминаний.

М. А. ДМИТРИЕВ

*Мелочи из запаса моей памяти*

Печатается с сокращениями по изданию: Дмитриев М. А. Московские элегии. — М., 1985. При составлении примечаний использован частично комментарий Вл. Б. Муравьева к указанной книге.

<sup>1</sup> *...Лажечников в своем романе «Ледяной дом» изобразил его и его характер очень верно.* — Карикатурное изображение В. К. Тредьяковского в романе «Ледяной дом» искажает исторический образ поэта, хотя отчасти соответствует утвердившемуся в литературных кругах XVIII века представлению о нем. К этой карикатуре на Тредьяковского отрицательно отнесся Пушкин (см. его письмо к Лажечникову от 3 ноября 1835 года).

<sup>2</sup> *...составлял гороскоп для Ивана Антоновича. Об этом есть известие в сочинениях А. С. Пушкина.* — Пушкин писал: «При императрице Анне Иоанновне академик Крафт был должностным ее астрологом. Сохранилось в календаре 1730 года его предсказание о вскрытии Невы 9-го апреля (что и сбылось)» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 16 т. — М.-Л., 1937—1949. Т. X, с. 8).

<sup>3</sup> *Цорндорфское сражение* — сражение возле селения Цорндорф во время Семилетней войны (1756—1763). Прусские войска Фридриха II атаковали 14 (25) августа 1758 года русскую армию генерала В. В. Фермора, но разбить ее не смогли.

<sup>4</sup> *...в песеннике Чулкова.* — Речь идет о «Собрании разных песен» (т. 1—4, 1770—1774) М. Д. Чулкова.

<sup>5</sup> *...до разрыва с Англией... континентальной системе...* — В 1806 году Наполеон объявил торговую блокаду Англии. В 1807 году после Тильзитского мирного договора с Наполеоном к континентальной блокаде Англии присоединилась и Россия.

<sup>6</sup> *...в своих записках...* — Мемуары И. М. Долгорукого «Капище моего сердца, или Словарь тех, с кем я был в разных отношениях в течение моей жизни» (опубликовано в 1874 году).



<sup>7</sup> ...с указа 1809 года, 6 августа...— По этому указу, изданному в целях борьбы с невежеством чиновничества, получить чин коллежского ассессора, а значит, и более высокие чины можно было, только имея документ об окончании университета или после специального экзамена в университете.

<sup>8</sup> ...в Кудрине, на нынешней площади.— Ныне площадь Восстания.

<sup>9</sup> Богданович, кажется, не думал быть автором...— Это не так. Богданович начал печатать свои стихотворения задолго до появления в свет поэмы «Душенька» (1778, полное издание — 1783). Уже в 1760—1762 годах он публиковал свои стихотворения в журнале М. М. Хераскова «Полезное увеселение». В 1773 году издал сборник «Лира», куда вошли оригинальные стихотворения и переводы.

<sup>10</sup> ...кроме перевода маленькой поэмы Вольтера...— Перевод поэмы «На разрушение Лиссабона» был осуществлен в 1763 году, задолго до появления «Душеньки», и опубликован в журнале «Невнинное упражнение», 1763, апрель, с. 173—186.

<sup>11</sup> Авторство Богдановича много поддерживала княгиня Дашкова.— С помощью Е. Р. Дашковой Богданович начал издавать журнал «Невнинное упражнение» (1763; выходил полгода).

<sup>12</sup> ...Карамзин, написавший столь прекрасный разбор «Душеньки»...— См.: Ц. Ф. <Карамзин Н. М.>. О Богдановиче и его сочинениях.— Вестник Европы, 1803, № 9—10.

<sup>13</sup> Лучшее издание сочинений Богдановича — это издание Бекетова...— См.: Собрание сочинений и переводов И. Ф. Богдановича. Ч. 1—6.— М., 1809—1810.

<sup>14</sup> ...в Англии...— В 1772 году для завершения образования Петров был командирован в Англию, где перевел три песни «Потерянного рая» Мильтона; затем он путешествовал по Франции, Италии и Германии.

<sup>15</sup> В одах он достоин стоять между Ломоносова и Державина.— Оды Петрова носили ярко выраженный официозный характер. По словам В. Г. Беллинского, Петров «недостаток истинного чувства заменял напыщенностью и совершенно доконал себя своим варварским языком» (Беллинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13-ти т., т. 1.— М., 1953, с. 52).

<sup>16</sup> Его перевод «Энеиды»...— Петров перевел «Энеиду» Вергилия в 1770 г. Полное издание вышло в 1786 году.

<sup>17</sup> И «Илиада» Кострова...— Костров перевел из «Илиады» песни I—IV (опубликованы в 1787 году), VII, VIII и частично XI (опубликованы в 1811 году).

<sup>18</sup> «Плачевное падение стихотворцев» (1769) — стихотворный фельетон, в котором Чулков выступал против дворянских литераторов, принадлежавших к сумароковской школе.

<sup>19</sup> *...очень хорошо будет в стихах и шука с голубым пером!* — См. стихотворение Державина «Евгению. Жизнь Званская»:

Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером  
Там шука пестрая — прекрасны!

<sup>20</sup> *...счеты одного банкира...* — банкира Сутерланда.

<sup>21</sup> *...одно высокое лицо, не очень любимое государыней...* — Речь идет о великом князе, будущем императоре Павле I.

<sup>22</sup> *...началом богатырской повести «Добрыня»...* — Поэма «Добрыня, богатырская песнь» (1796, опубликована в 1804), в которой отразилось стремление Львова приблизить русскую поэзию к народному творчеству.

<sup>23</sup> *...переводом в стихах Анакреона...* — «Стихотворения Анакреона Тийского» (1794).

<sup>24</sup> *...«Ябеда» не могла быть напечатана...* — Комедия была запрещена цензурой. Издание 1798 года (с купюрами) было вскоре конфисковано.

<sup>25</sup> *«Минеи-Четы»* — церковно-религиозные сборники житий святых, сказаний, легенд, «слов» и поучений.

<sup>26</sup> *Пролог* — сборник кратких житий святых, поучений и назидательных рассказов, расположенных по месяцам и дням года.

<sup>27</sup> *...срочною работою журнала...* — Карамзин издавал в это время «Вестник Европы».

<sup>28</sup> *Гвардейская его служба продолжалась недолго...* — Н. М. Карамзин числился на военной службе в Преображенском полку в 1783—1784 годах.

<sup>29</sup> *...приезжал на мою родину, в Симбирск...* — См. об этом в воспоминаниях И. И. Дмитриева.

<sup>30</sup> *...уговорил его ехать в Москву...* — В конце 1784 года Карамзин уехал в Москву, намереваясь заняться литературной деятельностью.

<sup>31</sup> *...восстал на него Шишков...* — Шишков отстаивал арханческий стиль русского литературного языка, в связи с чем и выступал против Карамзина, И. И. Дмитриева и сентиментализма в целом. Теоретические идеи А. С. Шишкова изложены им в его книгах «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803), «Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге российского языка» (1804) и др.

<sup>32</sup> *...не имел достаточных сведений в филологии...* — А. С. Шишков не имел, как известно, специального филологического образования. Но М. А. Дмитриев недооценивает влияния А. С. Шишкова на русскую литературу.

<sup>33</sup> *С собачкой, с посохом, с лорнеткой...* — См. стихотворение П. А. Вяземского «Отъезд Вздыхалова» (1811).

<sup>34</sup> «Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 г.».— Книга П. И. Шаликова вышла в Москве в 1813 году.

<sup>35</sup> *Тильзитский мир* — заключен 25 июня 1807 года в Тильзите между Александром I и Наполеоном. По условиям этого мира Россия соглашалась на создание герцогства Варшавского и присоединялась к Континентальной блокаде.

С. В. СКАЛОН

*Воспоминания*

Первые три главы воспоминаний печатаются с сокращениями по изданию: «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов». Т. 1.— М., 1931 (публикация Ю. Г. Оксмана). В настоящем издании частично использован комментарий Ю. Г. Оксмана к воспоминаниям С. В. Скалон.

<sup>1</sup> *Прутский поход* — был совершен во время русско-турецкой войны 1710—1713 годов. В мае — июне 1711 года русская армия под командованием Петра I в союзе с молдавским господарем Д. Кангемиром вступила в Молдавию, но была окружена турками. 12 июля 1711 года Петр I заключил Прутский мир, по которому Россия вернула Турции Азов.

<sup>2</sup> *...в Крымском походе...* — Речь идет о походе во время русско-турецкой войны 1735—1739 годов.

<sup>3</sup> *Находился в Хотинском сражении.* — Автор имеет в виду взятие турецкой крепости Хотин русскими войсками в 1739 году.

<sup>4</sup> *...над Слободским полком.* — Автор пишет о казачьем наследии Слободской Украины в XVII—XVIII веках. С середины XVII века до 1765 года существовало 5 слободских казачьих полков; позднее они были преобразованы в гусарские регулярные полки.

<sup>5</sup> *Роброн* (фр.) — платье с фижмами.

<sup>6</sup> *Повойник* — головной убор.

<sup>7</sup> *...с свояком своим...* — В. Капнист, Н. А. Львов и Г. Р. Державин были женаты на сестрах Дьяковых.

<sup>8</sup> *...назначение... ехать за границу...* — Впервые Н. А. Львов поехал за границу в 1777 году.

<sup>9</sup> *...отец мой вышел в отставку...* — В 1780 году.

<sup>10</sup> *...оду свою против рабства, посвятив ее императрице Екатерине II...* — Как указывает Ю. Г. Оксман, в воспоминаниях С. В. Скалон «ошибочно объединены данные о двух произведениях автора «Ябеды» — об «Оде на рабство» (1783 год) и об «Оде на истребление звания раба» (1786 год)». Вторая ода была вызвана «указом 15 фев-

раля 1786 года о запрещении подписываться в официальных актах и челобитных словом «раб», которое предлагалось заменить впредь словами «всеподданнейший» и «верноподданный» (указанное соч., с. 401—402). «Ода на рабство» была в 1806 году включена в «Лирические стихотворения В. Капниста», но перепечатка ее в издании 1848 года была запрещена.

<sup>11</sup> ...комедию — «Ябеду». — «Ябеда» написана в 1791—1792 годах, поставлена на сцене в 1798 году.

<sup>12</sup> ...получил место директора всех императорских театров в Петербурге. — В. В. Капнист служил в 1799—1801 годах «по репертуарной части» в Дирекции императорских театров.

<sup>13</sup> *Вертеп* — народный украинский кукольный театр в XVII—XIX веках. Куклы, укрепленные на проволоке внутри двухъярусного ящика (вертепа), приводились в движение вертепщиком.

<sup>14</sup> «Авелеву смерть» и пр. — Поэма С. Геснера «Авелсва смерть» была издана Н. И. Новиковым в 1780 году.

<sup>15</sup> ...одного из сыновей друга своего, Лорера... — Речь идет о Николае Ивановиче Лорере.

<sup>16</sup> *Гернгутеры* — протестантская секта последователей Чешских братьев. Возникла в саксонском городе Гернгуте и распространилась в XVIII—XIX веках в Германии, Северной Америке, Латвии и Эстонии. Чешские братья — религиозная секта в Чехии, отрицавшая государство, а также сословное и имущественное неравенство.

<sup>17</sup> *Чуть ли не их описал Н. В. Гоголь в своей повести «Старосветские помещики».* — Прототипами Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны считаются дед и бабушка Гоголя (Афанасий Демьянович и Татьяна Семеновна). По другой версии — это знакомые Гоголя — старички Зарудины.

<sup>18</sup> *Экосез* — шотландский народный танец, который в конце XVIII века стал бальным танцем.

<sup>19</sup> *Манимаски* — старинный танец.

<sup>20</sup> *Матродура* — старинный танец.

<sup>21</sup> *Троицын день* — один из православных церковных праздников; отмечается на 50-й день от Пасхи.

<sup>22</sup> *Шемизетка* (фр.) — кофточка, мапишка.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август II Сильный* (1670—1733) — курфюрст саксонский (под именем Фридриха Августа I), с 1694 г.; в 1697—1706, 1709—1733 гг. король польский — 497.
- Авель* — монах — 308.
- Аверин* — ассессор — 154.
- Аврелий* Марк (121—180) — римский император с 161 г. Философ-стоик — 195.
- Аддисон* Джозеф (1672—1719) — английский писатель, буржуазный просветитель — 190, 491, 492.
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель — 132, 211, 214.
- Аксаковы* — 211.
- Александр Македонский* (356—323 до н. э.) — царь Македонии с 336 г.— 43, 336, 487, 505.
- Александр I* (1777—1825) — российский император с 1801 г.— 119, 120, 130, 133, 166, 167, 171, 172, 212, 302, 304, 305, 308, 311, 345, 407, 409, 452, 455, 456, 480, 490, 503, 505, 514.
- Александра Павловна* — великая княгиня, дочь Павла I — 301.
- Алексеев* Сергей Петрович — 39.
- Алексей Михайлович* (1629—1675) — русский царь с 1645 г.— 217, 496.
- Алкивиад* (ок. 450—404 до н. э.) — афинский стратег — 237.
- Аллер* — учитель французской риторики в Сухопутном кадетском корпусе — 370.
- Амвросий* — архиепископ Московский. Убит во время чумного бунта в Москве 15 сентября 1771 г.— 301.
- Амвросий* — епископ Херсонский — 287.
- Амиот* — переводчик Плутарха — 376.
- Анакреон* (Анакреонт; ок. 570—478 до н. э.) — греческий поэт-лирик — 203, 438, 513.
- Анаксагор из Клазомен в Малой Азии* (ок. 500—428 до н. э.) — греческий философ — 347.
- Анастасевич* Василий Григорьевич (1775—1845) — библиофил, поэт,

историк, переводчик. Автор первых в России работ по теории библиографии, истории книгоиздательского дела — 446.

*Анастасий* — архимандрит — 339.

*Ангальт* Федор Евстафьевич (1732—1794) — граф, генерал-поручик и генерал-адъютант Екатерины II. Вступил в русскую службу в 1783 г. До этого служил в Пруссии и Саксонии. С 1786 г. возглавлял Сухопутный шляхетский кадетский корпус — 6, 8, 10, 206, 247, 248, 344, 348, 349, 353, 355—357, 368, 369, 371—376, 378, 451.

*Ангальт* — сподвижник Карла V — 348.

*Андре С.* — генерал-губернатор Турина — 60.

*Андрей* — мужик, помогавший Н. А. Львову при строительстве в Гатчине — 407.

*Анна Ивановна* (1693—1740) — российская императрица с 1730 г. Фактическим правителем государства при Анне Ивановне был Э. И. Бирон — 73, 90, 182, 217, 324, 335, 336, 403, 420, 421, 491, 504, 505, 511.

*Анна Петровна* (1708—1728) — дочь Петра I. Мать Петра III. С 1725 г. жена герцога Гольштейн-Готторпского — 502.

*Антон* — староста — 45.

*Апеллес* (2-я пол. 4 в. до н. э.) — греческий живописец. Выражение «черта Апеллеса» означает высокое совершенство, достигнутое упорным трудом — 47, 487.

*Апостол* Михаил Данилович — двоюродный брат И. М. Муравьева-Апостола — 483.

*Апухтины*, братья — 392.

*Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834) — временщик при Александре I. С 1808 г. военный министр. В 1815—1825 гг. — фактический руководитель государства — 172.

*Арап* — литавщик — 244.

*Арбетног* Джон (1667—1735) — английский публицист. Лейбмедик королевы Анны — 200, 492.

*Арина Саввишна* — крестная мать А. Т. Болотова — 89.

*Аристид* (ок. 540—ок. 467 до н. э.) — афинский полководец — 60—289.

*Аристов* — капрал — 140.

*Аристофан* (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) — греческий поэт, комедиограф, «отец комедии» — 344.

*Арсеньев* Николай Дмитриевич (1739—1796) — генерал-майор, начальник гарнизона русских войск в Вильно. Был освобожден после взятия Варшавы. Служил дежурным генералом у Суворова — 43, 296.

*Арсеньев* — дядя А. Т. Болотова — 96.

*Арсеньев* — майор — 290, 294.

*Артамон* — дядька А. Т. Болотова — 92.

- Архаров* Николай Петрович (1742—1814) — московский обер-полицеймейстер, генерал-аншеф (1775); впоследствии петербургский генерал-губернатор — 118, 183, 455, 456.
- Аршеневский* Яков Степанович — 217.
- Афанасьев В.* — советский литературовед — 178.
- Ахматова* Анна Андреевна (1889—1966) — 11.
- Б.* — капитан, дежур-майор при А. В. Суворове — 54—55.
- Б.* — генерал-майор — 221.
- Багратион* Петр Иванович (1765—1812) — князь, генерал от инфантерии; участник Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова, войн с Францией, Швецией и Турцией. Герой Отечественной войны 1812 г. Командовал 2-й армией при с. Бородино — 34, 53.
- Байбаков* Андрей (1745—1801) — автор книги «Правила пинтичские»; впоследствии был епископом под именем Апполоса — 187, 491.
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 315.
- Бакунина* Прасковья Михайловна — 409.
- Бальмен* де Антон Борисович (ум. 1790) — граф, начальник кадетского корпуса, в 1786—1790 гг. курский генерал-губернатор — 347.
- Бальмен* де (сын) — секретарь Наполеона на острове св. Елены — 347.
- Бантыш-Каменский* Дмитрий Николаевич (1788—1850) — русский и украинский историк и археограф — 431, 432.
- Баратынский* Евгений Абрамович (1800—1844) — 174, 213—216, 493.
- Бароний* Ц. — католический монах — 181, 490.
- Бартольд* — немецкий ученый — 495.
- Барыков* — сослуживец А. Т. Болотова — 97.
- Барятинская* Е. Ф. — см.: Долгорукая Е. Ф.
- Бастидон* Матрена Дмитриевна — теща Г. Р. Державина, мать Е. Я. Державиной. Кормилица великого князя Павла Петровича — 149, 150, 158, 196, 435.
- Бастидон* Яков Бенедикт — португалец; камердинер Петра III, отец Е. Я. Державиной — 150, 196, 435.
- Батте* Шарль (1713—1780) — французский эстетик, представитель классицизма. Основным принципом искусства считал подражание — 343, 370.
- Батюшков* Константин Николаевич (1787—1855) — поэт — 174, 311, 434, 452.
- Баур* (Боур) Карл Федорович (1767 — после 1811) — доверенное лицо Г. А. Потемкина, его генеральс-адъютант. Отличился при штурме Очакова. Позднее генерал-лейтенант. Участвовал в Швейцарском походе А. В. Суворова в 1799 г. — 319.
- Бахметьев* Н. И. — обер-полицеймейстер в Москве, покинувший город во время чумного бунта в 1771 г. — 301.

- Безак* Христиан Иванович — преподаватель логики в Сухопутном кадетском корпусе — 369, 370.
- Безбородко* Александр Андреевич (1747—1799) — дипломат, светлейший князь. С 1775 г. секретарь Екатерины II. С 1783 руководил внешней политикой России. С 1797 г. канцлер — 43, 44, 71, 147, 151, 152, 158, 240, 246, 302, 325, 337, 351, 366, 393, 394, 404, 412, 497.
- Бекетов* Аполлон Николаевич — двоюродный брат И. И. Дмитриева — 432.
- Бекетов* Афанасий Алексеевич — отставной полковник, дед И. И. Дмитриева с материнской стороны — 180, 423.
- Бекетов* Иван Петрович — двоюродный брат И. И. Дмитриева — 432, 454.
- Бекетов* Никита Афанасьевич (1729—1794) — фаворит императрицы Елизаветы Петровны, сенатор. Был актером и литератором. Дядя И. И. Дмитриева с материнской стороны — 185, 199, 421—423.
- Бекетов* Петр Афанасьевич — дядя И. И. Дмитриева с материнской стороны — 185.
- Бекетов* Платон Петрович (1761—1836) — старший сын Петра Аф. Бекетова. Владелец типографии в Москве. Председатель Московского общества Истории и древностей российских. Двоюродный брат И. И. Дмитриева — 173, 198—199, 420, 429, 430, 432, 434, 512.
- Бекетова* Екатерина Афанасьевна — сестра Н. А. Бекетова — 423.
- Беклемишев* Д. П. — купец — 388.
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 512.
- Белли* — капитан 2-го ранга, занявший Неаполь в 1798 г. — 304.
- Бердышев* А. П. — автор книги об А. Т. Болотове — 86.
- Бердяев* Н. М. — генерал-квартирмейстер (1788 г.). При Павле I екатеринославский военный губернатор — 261.
- Бестужев* (Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — писатель, декабрист — 170, 418.
- Бестужев-Рюмин* Михаил Павлович (1803—1826) — один из пяти казенных декабристов — 459.
- Бецкий* (Бецкой) Иван Иванович (1704—1795) — камергер; с 1762 г. возглавлял «Канцелярию от строений»; в 1763—1794 президент Академии художеств и директор Сухопутного кадетского корпуса. Основал ряд учебных и воспитательных учреждений — 10, 336—340, 342, 343, 347, 366, 508, 510.
- Бибиков* Александр Ильич (1729—1774) — генерал-аншеф, сенатор. В 1773 — начале 1774 руководил военными действиями против армии Е. И. Пугачева — 123, 144—146, 192, 395, 396.
- Бирон* Эрнст Иоганн (1690—1772) — граф, фаворит императрицы Анны Ивановны. В 1740 г., после дворцового переворота, арестован и сослан. Помилван Петром III — 20, 182, 403.



- Благой* Дмитрий Дмитриевич — советский литературовед — 132.
- Блок* Александр Александрович (1880—1921) — 80, 81.
- Блондель* — французский теоретик военного искусства — 266.
- Блудов* — двоюродный брат Г. Р. Державина — 143.
- Бобринские*, графы — 76.
- Бобринский* Алексей Григорьевич (1762—1813) — внебрачный сын Екатерины II и графа Г. Г. Орлова — 333, 367.
- Богданов* Н. И. — майор артиллерии, приятель Л. Н. Энгельгардта — 291.
- Богданович* Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт — 8, 194, 195, 369, 428—430, 438, 512.
- Богуш-Сестрэнцевич* Станислав (1731—1827) — митрополит всех римско-католических церквей в России. Из литовских дворян. С 1782 г. архиепископ. Павел I присвоил ему титул митрополита всех римско-католических церквей в России. Член Российской академии — 226.
- Болотов* Андрей Тимофеевич — 5, 7, 11—13, 15, 16, 38, 73—116, 488—489.
- Болотов* Матвей Кириллович — родственник А. Т. Болотова — 89.
- Болотов* Павел Андреевич — сын А. Т. Болотова — 76, 79, 83.
- Болотова* Авдотья Борисовна — жена М. К. Болотова, крестная мать А. Т. Болотова — 89.
- Болховитинов* Евфимий Алексеевич (после пострижения в монахи — Евгений; 1767—1837) — митрополит, филолог, историк, библиограф — 120, 129, 513.
- Бомарше* Пьер Огюстен (1732—1799) — французский драматург — 392, 408.
- Бонафина* — итальянская певица — 225.
- Борис Годунов* (ок. 1552—1605) — русский царь с 1598—175.
- Боровиковский* Владимир Лукич (1757—1825) — русский и украинский живописец — 124, 400.
- Бортнянский* Дмитрий Степанович (1751—1825) — композитор, дирижер, педагог — 124.
- Борщев* Петр Афанасьевич — полковник, знакомый А. В. Суворова — 51.
- Боскет* — инженер-подполковник, составитель карты русского Задиспрывья — 462.
- Браге* Тихо (1546—1601) — датский астроном, реформатор практической астрономии — 374.
- Брауншвейг* Петр Михайлович — учитель Л. Н. Энгельгардта — 213.
- Браницкая* Александра Васильевна (урожденная Энгельгардт; 1754—1838) — любимая племянница Г. А. Потемкина. Жена графа Ксаверия Петровича Браницкого, польского военного министра (с 1791 г.). Пользовалась большим доверием Екатерины II.

- После восстания 1794 г. К. Браницкий был объявлен государственным изменником и жил на Украине — 240, 282, 283, 322.
- Бригонци* — механик и поэт. Устроил механическую часть в Большом и Эрмитажном театрах в Петербурге. Построил Царско-сельский театр — 225.
- Бровкины* — знакомые Капнистов — 477.
- Броневский* Владимир Богданович (1784—1835). — литератор, театральный критик — 345.
- Брусилов* Николай Петрович (1782—1849) — писатель, издатель «Журнала российской словесности» (1805) — 383.
- Брюс* Прасковья Александровна (урожденная Румянцева; 1729—1786) — графиня, статс-дама, доверенное лицо Екатерины II — 497.
- Брюс* — подполковник Семеновского полка — 185.
- Брюс* Яков Александрович (1732—1791) — московский генерал-губернатор (с 1784). Генерал-аншеф (1773). Командовал Санкт-Петербургской дивизией и занимал пост Санкт-Петербургского генерал-губернатора (1787) — 396.
- Буало* Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма — 395.
- Булгаков* Александр Яковлевич (1781—1863) — московский почт-директор — 177, 493.
- Булгаков* Яков Иванович (1743—1809) — дипломат, в 1781—1789 гг. посол в Турции — 201, 250, 251, 498.
- Булгар* Евгений — архиепископ Таврический — 438.
- Бурачок* С. А. — один из издателей журнала «Маяк» — 509.
- Бутурлина* Наталия Федоровна (ум. 1774) — бабка Л. Н. Энгельгардта с материнской стороны — 205, 217, 218.
- Буффлер* Станислав (1735—1815) — французский офицер и литератор — 369.
- Бэкон* Френсис (1561—1626) — английский философ, родоначальник английского материализма — 57.
- Бюффон* Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель — 312, 321, 343, 356.
- Валлен-Деламот* Жан Батист Мишель (1729—1800) — французский архитектор. В 1759—1775 гг. работал в России — 510.
- Валленштейн* Альбрехт (1583—1634) — командующий войсками Священной Римской империи во время Тридцатилетней войны — 60.
- Ванджурье* — барон, отставной ротмистр австрийской службы — 228.
- Василий II Темный* (1415—1462) — великий князь московский с 1425 г. — 120.
- Васильев* Алексей Иванович (1742—1807) — граф, государственный казначей. При Александре I министр финансов — 165.

- Вахтмейстер* (Вахмейстер) — граф, начальник вице-адмиралского корабля в русско-шведской войне 1788—1790 гг.— 259.
- Вега* Карпью де (Лоне де Вега; Лопе Феликс де; 1562—1635) — испанский драматург эпохи Возрождения — 359.
- Вельяминов* Петр Лукич (ум. 1804) — поэт, переводчик — 196, 438.
- Вениамин* — преосвященный в Оренбурге — 145.
- Вергилий* Марон Публий (70—19 до н. э.) — римский поэт — 427, 430, 512.
- Веревкин* Михаил Иванович (1732—1795) — драматург, переводчик. Директор Казанской гимназии (1758—1761). Член Российской АН с 1782 г.— 135, 136, 140, 504.
- Вигель* Филипп Филиппович (1786—1856) — мемуарист; участник литературного общества «Арзамас» — 173.
- Виельгорский* Михаил Юрьевич (1788—1856) — граф, музыкальный деятель, композитор и критик — 244.
- Виленский* — польский епископ — 293.
- Вильденберг де Планта* — см. Планта Вильденберг де.
- Витберг* Александр Лаврентьевич (1787—1855) — архитектор.— 172, 174.
- Витковичева* — бригадирша, тетка Л. Н. Энгельгардта — 218.
- Витт* Иосиф де — польский граф, генерал, перешедший на русскую службу — 260, 499.
- Витт* София де — жена Витта де Иосифа — 272, 499.
- Владычин* — полковник (в 1789) — 265.
- Вобан* Себастьян Ле Претр де (1633—1707) — маршал Франции, один из лучших военных инженеров своего времени. Автор сочинений по военно-инженерному делу — 266.
- Войков* Александр Федорович (1779—1839) — поэт, переводчик, журналист и критик, близкий к кругу В. А. Жуковского — 311, 440.
- Волконский* Григорий Семенович (1742—1824) — князь; в 1778 г. — генерал-майор. Участник русско-турецких войн. В 1796 г. близкий соратник А. В. Суворова. Отец декабриста С. Г. Волконского — 255, 256, 265, 270, 278—280, 287, 288.
- Вольтер* Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) — 352, 362, 368—370, 381, 427, 429, 471. 495, 506—509, 512.
- Вольфорт* — иезуит; обучал Л. Н. Энгельгардта французскому языку — 219.
- Вольховский* Владимир Дмитриевич (1798—1841) — лицейский товарищ Пушкина, начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса. Был членом Союза Благочестия — 19.
- Воронцов* Семен Романович (1744—1832) — граф, дипломат. С 1782 г. полномочный министр в Венеции, в 1784—1806 гг. — в Лондоне — 46.
- Высоцкий* — муж сестры Г. А. Потемкина — 235.

- Вюртембергский* (ум. 1791?) — принц — 281, 321.
- Вяземский* Александр Алексеевич (1727—1793) — князь, генерал-прокурор Сената (с. 1764). С 1769 член Совета при высочайшем дворе. Доверенное лицо Екатерины II — 125—126, 148—149, 151, 152, 155, 158, 222.
- Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — князь; поэт и критик — 118, 129, 168, 170—172, 174—175, 177—178, 215, 222, 309, 311—312, 314, 316, 414, 418, 449, 492, 498, 513.
- Вязмитинов* Сергей Козмич (1749—1819) — граф (с. 1816). В 1770 г. служил под начальством П. А. Румянцева. В 1790 г. был Могилевским губернатором. При Павле I — комендант Петропавловской крепости. С 1802 г. вице-президент Военной коллегии, затем министр военно-сухопутных сил. В 1812—1816 гг. председатель комитета министров. В 1816 г. — Петербургский генерал-губернатор. Автор либретто оперы «Новое семейство» (М., 1781) — 208—210, 229, 246, 251, 253, 258, 269, 299.
- Гавриил* (Петров П. П.) — митрополит новгородский. Один из составителей Словаря Российской Академии. По его ходатайству духовенство было освобождено от телесных наказаний — 138.
- Гагарина* (урожденная Трубецкая) Прасковья Юрьевна (1762—1846) — княгиня; теща П. А. Вяземского. Во втором браке за П. А. Кологривовым — 272.
- Гайдн* Франц Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор — 412.
- Галлер* Альбрехт фон (1708—1777) — швейцарский поэт и естествоиспытатель — 357.
- Ганичев* В. — 86.
- Ганнибал* (Аннибал; 247 или 246—183 до н. э.) — карфагенский полководец. В ходе 2-й Пунической войны (218—201 до н. э.) совершил переход через Альпы) — 47, 59, 373, 487, 509.
- Ганнибал* Абрам Петрович (ок. 1697—1781) — прадед А. С. Пушкина. Сын эфиопского князя. Русский военный инженер, генерал-аншеф с 1759 г. Камердинер и секретарь Петра I — 19, 40.
- Гаррик* Дейвид (1717—1779) — английский актер. Один из реформаторов сцены, основоположник просветительского реализма в европейском театре — 394.
- Гаршин* Всеволод Михайлович (1855—1888) — 15.
- Гассан-паша* (Газы Хасан-паша; 1713—1790) — турецкий адмирал, участник Чесменского сражения. В 1789 г. назначен великим везиром — 269.
- Гельвиг* — секунд-майор Киевского полка (1789 г.) — 270, 271, 500.
- Генрих III Валуа* (1551—1588) — французский король с 1575 г. — 497.
- Георгий* — архиепископ — 226—228, 247.

- Герберг* — австрийский полковник — 261.
- Геродот* (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) — греческий историк, прозванный «отцом истории» — 361.
- Герострат* — грек из города Эфес (Малая Азия); сжег в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской (одно из семи чудес света), чтобы обессмертить свое имя. В переносном значении — честолюбец, добивающийся славы любой ценой — 336, 505.
- Герцен* Александр Иванович (1812—1870) — 5, 10, 15, 131, 418.
- Геснер* Соломон (1730—1788) — швейцарский поэт и художник. Писал на немецком языке. В стихах изображал условный мир пастухов и пастушек — 357, 470, 515.
- Гете* Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 393.
- Гине* — кадет — 352—353.
- Гине* — брат кадета — 352—353.
- Глинка* Андрей Ильич — дядя С. Н. Глинки — 324—325, 331.
- Глинка* Василий Николаевич — брат С. Н. Глинки — 330, 333, 382—384.
- Глинка* Григорий Андреевич — прадед С. Н. Глинки — 328, 330—332, 334.
- Глинка* Григорий Андреевич — профессор Дерптского университета в 1803—1810 гг., двоюродный брат С. Н. Глинки — 324, 335.
- Глинка* Григорий Б<орисович> — двоюродный брат Николая Ильича Глинки — 319, 321.
- Глинка* Егор Николаевич — брат С. Н. Глинки — 333.
- Глинка* Николай Ильич (ум. 1800) — отец С. Н. Глинки — 310, 318, 328—331, 333—335, 350, 386—390.
- Глинка* Николай Николаевич (1777—1795) — брат С. Н. Глинки — 330, 332—333, 350, 382—383, 387, 389—390.
- Глинка* Сергей Николаевич — 5—8, 10—12, 14, 16, 309—398, 451—452, 487, 492, 503—508.
- Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — брат С. Н. Глинки, поэт-декабрист, участник войн с Наполеоном — 309, 312, 386.
- Гневушев* Иван Никитич — капитан, однополчанин А. Т. Болотова. — 105.
- Гнедич* Николай Иванович (1784—1833) — поэт и переводчик — 174.
- Гоголь* (Яновский) Василий Афанасьевич (1777—1825) — отец Н. В. Гоголя; украинский писатель. Увлекался театром, писал водевилли и стихи на украинском языке. В 1812—1825 гг. руководил домашним театром Д. П. Трощинского, для которого написал несколько водевилей из украинского народного быта — 484.
- Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852) — 7, 316, 459—460, 477, 484—485, 515.
- Голицын* Дмитрий Владимирович (1771—1844) — князь, московский генерал-губернатор, литератор — 429.
- Голицына* Екатерина Михайловна — жена П. А. Румянцева — 410.

- Головина* (урожденная Голицына) Варвара Николаевна — жена графа Н. Н. Головина — 272.
- Голубцовы* — одноклассники А. Т. Болотова по пансиону — 93.
- Гольберг* — см.: Хольберг.
- Гомер* — 427, 431—432.
- Горчаков* Алексѣй Иванович (1769—1817) — князь, племянник А. В. Суворова, сын его сестры Анны Васильевны — 43.
- Готшед* Иоганн Христоф (1700—1766) — немецкий писатель и критик, отразивший взгляды раннего немецкого Просвещения — 111.
- Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк, общественный деятель, глава московских западников. Профессор Московского университета с 1839 г. — 15.
- Грейг* Самуил Карлович (1736—1788) — адмирал. В 1764 г. перешел с английской службы на русскую — 259, 499.
- Греков* — командир Донского полка (1788 г.) — 255.
- Греч* Николай Иванович (1787—1867) — писатель, журналист и лингвист, редактор журнала «Сын отечества» — 46.
- Грибовской* Ариан Моисеевич (1766—1833) — чиновник, служивший под началом Г. Р. Державина. С 1795 г. статс-секретарь — 156.
- Грибоедов* Александр Сергеевич (1795—1829) — 414.
- Гринев* — офицер, знакомый А. Т. Болотова — 103.
- Грот* Яков Карлович (1812—1893) — русский филолог, академик — 128, 132, 489.
- Грушецкая* Прасковья Васильевна — вторая жена И. М. Муравьева-Апостола — 483.
- Гудович* Иван Васильевич (1741—1821) — граф, генерал-фельдмаршал. В 1785—1789 гг. рязанский и тамбовский наместник — 157—158, 276, 281.
- Гуковский* Григорий Александрович (1902—1950) — историк литературы — 132, 510—511.
- Гулыга* Арсений В. — 74, 77, 86.
- Гумбольдт* Александр Фридрих Вильгельм фон (1769—1859) — немецкий ученый-натуралист, путешественник и писатель, приехал в Россию в 1829 г. — 382.
- Густав III* (1746—1792) — шведский король с 1771 г. — 258, 499.
- Густав IV* Адольф (1778—1837) — шведский король в 1792—1810 гг. — 301, 302.
- Гюс* — трагическая актриса французского петербургского театра — 360.
- Давия* Анна — первая певица итальянской оперы-буфф в Петербурге — 240.
- Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — поэт, партизан, участник войн с Наполеоном — 178.

- Даламбер* (Д'Аламбер) Жан Лерон (1717—1783) — французский философ-просветитель и математик, один из основателей Энциклопедии — 495.
- Даль* Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, лексикограф, этнограф — 489, 494, 501, 509.
- Дангауер* — учитель рисования у А. Т. Болотова — 95.
- Дашков* Павел Михайлович (1763—1807) — князь, сын Е. Р. Дашковой. Генерал-лейтенант, с 1782 г. адъютант Г. А. Потемкина; в 1798 г. военный губернатор в Кисеве — 209, 234, 244, 251, 253, 266.
- Дашкова* Екатерина Романовна (1744—1810) — княгиня, приближенная Екатерины II; в 1783—1796 гг. президент Академии наук; автор мемуаров — 15, 138, 160, 234, 367, 429, 496, 508, 512.
- Денисов* — 295.
- Державин* Андрей Романович (1744—1770) — младший брат Г. Р. Державина — 121, 133—135, 143.
- Державин* Гавриил Романович — 5, 7—14, 16, 19, 44, 117—151, 153—167, 170—171, 192—198, 201, 211, 282, 317, 319, 339, 341, 350, 370, 380—381, 385, 392, 396, 401—402, 409—410, 428, 430, 435—438, 457, 464, 481—482, 487, 489—490, 500—501, 503, 505, 506, 508, 509, 512—514.
- Державин* Роман Николаевич (1706—1754) — отец Г. Р. Державина — 120—121, 133—134.
- Державина* Анна Романовна (р. 1753) — сестра Г. Р. Державина — 134.
- Державина* Дарья Алексеевна (урожденная Дьякова; 1767—1842) — вторая жена Г. Р. Державина — 10, 119, 128, 129, 163—164, 401, 435—436, 457, 481, 482.
- Державина* Екатерина Яковлевна (урожденная Бастидон; 1760—1794) — первая жена Г. Р. Державина — 12, 124, 128—129, 149—150, 152, 157—158, 163, 193, 195—197, 435, 436, 438.
- Державина* Фекла Андреевна (урожденная Козлова, в первом браке — Горина) — мать Г. Р. Державина — 121—123, 133—135, 140—141, 143, 145, 150, 152, 197.
- Де Рибас* — см.: Рибас Хосе де.
- Дерфельден* Вильгельм Христофорович (1735—1819) — генерал-аншеф — 53, 65, 268.
- Дивова* Елизавета Петровна — жена тайного советника Адриана Ивановича Дивова — 245.
- Дидро* Дени (1713—1784) — французский философ-энциклопедист и писатель — 369, 382, 395—396.
- Дмитревский* (Дьяконов-Нарыков) Иван Афанасьевич (1734—1821) — актер, режиссер, педагог, драматург, переводчик. С 1802 г. член Российской Академии наук. С 1756 г. в труппе первого русского постоянного публичного театра в Петербурге — 182, 240, 334.

- Дмитриев* Александр Иванович (1759—1798) — старший брат И. И. Дмитриева — 180, 182—183, 188, 193.
- Дмитриев* Иван Гаврилович — отец И. И. Дмитриева и дед М. А. Дмитриева — 181—182, 200, 425, 444.
- Дмитриев* Иван Иванович — 5—8, 12, 16, 85, 128, 163, 168—178, 386, 414, 417—418, 420, 422, 428—429, 431—436, 439, 441—444, 448, 452—456, 490, 491—492, 513.
- Дмитриев* Михаил Александрович — 9, 12—13, 16, 168, 174, 310, 315, 414—456, 511, 513.
- Дмитриева* Авдотья Гавриловна — тетка И. И. Дмитриева, вторая жена М. Е. Карамзина — 188, 443.
- Дмитриева* (урожденная Бекетова) Екатерина Афанасьевна (ум. 1813) — мать И. И. Дмитриева — 178, 180, 182, 185.
- Дмитриев-Мамонов* Александр Матвеевич (1758—1803) — граф (с 1797), адъютант Г. А. Потемкина с 1784 г. В 1786—1789 гг. фаворит Екатерины II; камергер — 207, 235, 243, 246—249, 274, 498.
- Добролюбов* Николай Александрович (1836—1861) — 416—417.
- Долгорукая* Екатерина Александровна (урожденная Бутурлина; ум. 1811) — княгиня, жена Ю. В. Долгорукого — 230.
- Долгорукая* (урожденная Барятинская) Екатерина Федоровна — 244, 246, 272, 277.
- Долгорукий* Василий Владимирович — князь; участник сражений при Кунерсдорфе и Кагуле. С 1774 г. в отставке — 244, 246, 274.
- Долгорукий* Василий Михайлович (1722—1782) — генерал-аншеф с 1762 г. В 1780—1782 гг. главнокомандующий в Москве. За успешные действия во время первой русско-турецкой войны получил титул «Крымского» — 225, 326.
- Долгорукий* Иван Михайлович (1764—1823) — князь, поэт — 418, 426, 511.
- Долгорукий* Юрий Владимирович (1740—1830) — князь, участник Семилетней войны, первой и второй русско-турецких войн — 42, 310, 391—392, 395, 397, 502.
- Долгорукий* Яков Федорович (1659—1720) — князь, сподвижник Петра I, его советник и доверенное лицо. Участник создания регулярной русской армии. С 1717 г. президент Ревизион-коллегии — 45, 336, 403, 487, 505.
- Домашнев* Сергей Герасимович (1743—1795) — писатель, директор Академии наук в 1775—1783 гг. — 235.
- Дондук-Омбо* — калмыцкий «владелец» — 462.
- Дорат* Клавдий Иосиф (1734—1780) — французский поэт, один из корифеев так называемой легкой поэзии — 188, 397.
- Дохтуров* Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал от инфантерии. Герой Отечественной войны 1812 г. — 372.



- Древич* — полковник, позднее генерал-майор — 219, 220.
- Дружинин* Александр Васильевич (1824—1864) — писатель и литературный критик — 85.
- Дурылин* Сергей Николаевич (1877—1954) — литературовед и театровед — 316.
- Дьяков* Алексей Афанасьевич (1721—1791) — обер-прокурор Сената. Отец сестер Дьяковых — 163, 400, 464.
- Дьякова* (урожденная княжна Мышецкая) Авдотья Петровна — жена А. А. Дьякова — 400—401.
- Евгений Савойский* (1663—1736) — принц Кариньянский — знаменитый полководец. Оставив французскую службу, перешел в австрийскую. В войне за Испанское наследство нанес серьезные поражения лучшим полководцам Франции. Получил чин генерал-лиссимуса — 60, 355.
- Егоров* — кадет — 376.
- Екатерина II Алексеевна* (1729—1796) — 8, 14—15, 20, 24, 28, 32, 33, 35—36, 41—44, 47, 53, 59, 69, 71—72, 75—77, 85, 119—120, 122—123, 125—128, 130, 133, 137—140, 142—147, 151—153, 155, 158—162, 164, 166—168, 175, 181—183, 185, 187, 205, 207, 212, 221—228, 232—241, 243—252, 254, 276, 281—283, 289, 295—296, 300—303, 308—309, 318—322, 324, 325, 327—336, 338, 340—341, 343, 345, 347—348, 350—352, 356, 358—360, 362, 366—367, 371—372, 374, 376—382, 385, 387—389, 391—393, 395—396, 404—406, 409, 411—412, 422—423, 425, 427, 437—439, 463—464, 466, 480, 482, 489—491, 493—499, 502, 504—505, 508—511, 514.
- Екатерина I Алексеевна* (1684—1727) — урожденная Скавронская, с 1712 г. вторая жена Петра I. Самостоятельно царствовала в 1725—1727 гг. — 32.
- Елагин* Иван Перфильевич (1725—1794) — поэт, драматург и переводчик, член Российской Академии наук с 1783 г. — 197—198, 324.
- Елизавета Алексеевна* (1779—1826) — императрица, жена Александра I — 407.
- Елизавета Петровна* (1709—1761) — дочь Петра I, русская императрица с 1741 г. — 20—21, 40, 74, 90, 94, 134, 136, 300, 323, 325, 336, 404, 421—422, 425, 462—463.
- Емельян* — мужик, помогавший Н. А. Львову при строительстве в Гатчине — 407.
- Емин* — экзекутор, служивший под началом Г. Р. Державина — 156.
- Ермак Тимофеевич* (ум. 1585) — казачий атаман. Герой народных песен — 199, 492.
- Ермолов* Александр Петрович (1754—1836) — генерал-поручик. Фаворит Екатерины II с 1785 г. В 1786 г. удалился от двора — 243—246.

*Ермолов* Алексей Петрович (1777—1861) — генерал от инфантерии, видный полководец и дипломат, участник суворовских походов и войн с Наполеоном. С 1816 г. главнокомандующий на Кавказе. В 1827 г. уволен в отставку по подозрению в связях с декабристами — 41, 85.

*Еропкин* Петр Дмитриевич (1723—1805) — генерал-аншеф с 1773. Усмирал чумной бунт в Москве в 1771 г. В 1786—1790 московский генерал-губернатор — 301.

*Ефимьев* — автор комедии «Братом проданная сестра» — 366.

*Жаткин* П. А. — 488.

*Железников* — кадет — 352.

*Железнов* П. С. — переводчик — 352.

*Жихарев* Степан Петрович (1788—1860) — переводчик, автор записок о литературной и театральной жизни 1807—1819 гг. — 127.

*Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — 169, 174, 178, 434, 452.

*Завадовский* Петр Васильевич (1739—1812) — граф, в 1802—1810 гг. министр народного просвещения. Был фаворитом Екатерины II — 325.

*Залуцкая* — графиня, любовница О. А. Игельстрома — 290.

*Занович* Предислав — 229, 495.

*Занович* Стефан — 229, 495.

*Зановичи* — 231, 232, 495.

*Западов* Александр Васильевич (р. 1907) — литературовед — 132.

*Захаров* Иван Семенович (1754—1816) — сенатор, переводчик, писатель, член «Беседы любителей русского слова» — 194, 288, 446.

*Звенигородский* — однополчанин В. П. Капниста, оклеветавший его — 462.

*Зеллер* — подпоручик — 99.

*Зилов* Афанасий Иванович — капитан, однополчанин А. Т. Болотова — 105.

*Златоуст* Иоанн (ок. 347—407) раннехристианский писатель, патриарх Константинопольский — 181, 490.

*Зорич* Семен Гаврилович (ум. 1799) — флигель-адъютант и генерал-лейтенант, серб по происхождению. Фаворит Екатерины II — 221, 226, 228—232, 384—385, 495.

*Зотов* Захар Константинович (1755—1802) — камердинер Г. А. Потемкина, затем первый камердинер Екатерины II — 127, 248.

*Зубов* Валериан Александрович (1771—1804) — генерал от инфантерии, младший брат П. А. Зубова — 160, 299, 397.

*Зубов* Николай Александрович (1763—1805) — старший брат П. А. Зубова. Зять А. В. Суворова. В 1794 г. генерал-майор — 33, 302.

- Зубов* Платон Александрович (1767—1822) — последний фаворит Екатерины II, светлейший князь — 44, 159—161, 274, 282, 294, 321, 347, 377, 380, 397—398, 412, 437, 490.
- Зубовы* — 377, 380.
- Зульцер* Иоганн Георг (1720—1779) — немецкий критик. Автор сочинений по вопросам философии, эстетики, педагогики — 112, 488.
- Зюдерманландский герцог* — см.: Карл XIII.
- Иван Антонович* (1740—1764) — русский император в 1740—1741 гг. Сын Анны Леопольдовны, которая правила за младенца совместно с Э. И. Бироном. Правнук Петра I. Свергнут гвардией, заключен в тюрьму. Убит при попытке заговорщиков освободить его — 300—301, 421, 511.
- Иван-Бей* — турецкий князь — 230, 232.
- Игельстром* Осип Андреевич (1737—1823) — барон, потом граф; генерал-аншеф. Был под покровительством Г. А. Потемкина. В 1784 г. сибирский и уфимский генерал-губернатор. В 1792 г. псковский наместник. В 1793 г. — киевский, черниговский и новгород-северский генерал-губернатор. С 1797 г. — военный губернатор Оренбурга — 242—243, 273, 289, 304, 307.
- Иозефович* — помещик — 222.
- Иордыш* — австрийский генерал — 261.
- Иосиф II* (1741—1790) — австрийский эрцгерцог с 1780 г. (в 1765—1780 гг. соправитель своей матери, Марии Терезии), император «Священной Римской империи» с 1765 г. — 72, 151, 224—228, 237, 249—251, 273, 490, 494.
- Ираклий II* (1720—1798) — царь Кахетии с 1744 г. С 1762 г. стоял во главе Картли-Кахетинского царства. Возглавлял борьбу за объединение и национальное возрождение, когда ирано-турецкая армия угрожала самому существованию грузинского народа — 250, 498.
- Исленьев* Петр Алексеевич (1745—1827) — генерал-поручик. Участник кампании 1794 г. Командовал колонной при штурме Праги — 43.
- Ификрат* (конец V — 1-я пол. IV в. до н. э.) — афинский полководец — 378.
- К.* — собеседник А. В. Суворова — 59.
- Казанова* Сенегальт Джованни Джакомо де (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор мемуаров — 495.
- Калатинский* — кадет — 376.
- Калигула* Гай Цезарь (I век) — римский император; деспот и самодур — 128.
- Каменский* Михаил Федотович (1738—1809) — граф, воспитанник Сухопутного кадетского корпуса; боевой генерал. При Павле I

- генерал-фельдмаршал (с 1797 г.) — 42, 250—252, 254, 260, 263, 265, 268, 282—283, 302, 375, 502.
- Камилл* Марк Фурий (V—IV вв. до н. э.) — римский полководец — 350, 506.
- Кант* Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкой классической философии — 74.
- Кантакузен* (Кантакузин) Николай Родионович (1763—1841) — князь, подполковник — 267.
- Кантемир* Антиох Дмитриевич (1708—1744) — писатель и дипломат — 186.
- Кантемир* Дмитрий Константинович (1673—1723) — молдавский ученый и политический деятель. С 1711 г. в России, советник Петра I, князь. Участник Персидского похода 1722—1723 гг. — 514.
- Капнист* (урожденная Дьякова) Александра Алексеевна (ум. 1807) — жена В. В. Капниста — 10, 124, 400, 435, 457, 461, 462, 464, 466—470, 477, 479, 481.
- Капнист* Алексей Васильевич (1796—1867) — сын В. В. Капниста. Впоследствии подполковник Воронежского пехотного полка, член Союза Благоденствия. Подвергался четырехмесячному аресту по делу декабристов — 468.
- Капнист* Анастасия Николаевна — дочь Н. В. Капниста — 474.
- Капнист* Андрей Васильевич — брат В. В. Капниста — 463, 479.
- Капнист* Василий Васильевич (1757—1823) — поэт и драматург — 124—125, 129, 163, 196, 400, 435, 438—439, 457—459, 462—467, 469—470, 472, 476, 478—479, 483—484, 514—515.
- Капнист* Василий Петрович (1700—1757) — отец В. В. Капниста — 462.
- Капнист* Вера Николаевна (по мужу — Глебова) — дочь Н. В. Капниста — 474, 476.
- Капнист* Елизавета Тимофеевна (урожденная Гаусман) — жена П. В. Капниста — 464, 472, 473.
- Капнист* Илья Петрович (1796 — ?) — сын П. В. Капниста — 478—479.
- Капнист* Любовь Николаевна — дочь Н. В. Капниста — 474.
- Капнист* Надежда Николаевна (в замужестве Кармалина) — дочь Н. В. Капниста — 474.
- Капнист* Николай Васильевич — брат В. В. Капниста — 463, 465, 473—476, 478—479.
- Капнист* Петр Васильевич (? — 1826) — брат В. В. Капниста — 463, 465—467, 471, 472—473, 476, 478—479, 483.
- Капнист* Петр Николаевич (1796—?) — сын Н. В. Капниста — 474—475.
- Капнист* (урожденная Дунина-Барковская) София Андреевна — мать В. В. Капниста — 462, 464, 465, 467.

- Капнист* София Николаевна — дочь Н. В. Капниста — 473—475.
- Капнисты* — 119, 459—460.
- Карамзин* Александр Михайлович — младший, единокровный брат Н. М. Карамзина — 432, 443.
- Карамзин* Василий Михайлович — брат Н. М. Карамзина — 443.
- Карамзин* Михаил Егорович — отец Н. М. Карамзина — 188, 443.
- Карамзин* Николай Михайлович (1766—1826) — историкограф, писатель — 5, 8, 129, 169—170, 174, 188—192, 194, 198—201, 311, 314, 316, 357, 364, 367—368, 396, 417, 429, 432, 441—448, 451—453, 492, 507, 509, 511—512.
- Карамзин* Федор Михайлович — брат Н. М. Карамзина — 443.
- Карамзина* Екатерина Андреевна (урожденная Колыванова; 1780—1851) — вторая жена Н. М. Карамзина — 443.
- Карамзина* Е. Н. (урожденная Протасова) — первая жена Н. М. Карамзина — 442—443.
- Карамзина* (в замужестве Философова) Марфа Михайловна — единокровная сестра Н. М. Карамзина — 443.
- Карачай* Александр (1790—1858) — крестник А. В. Суворова — 29.
- Карачай* Андрей (1744—1808) — венгр, барон, впоследствии граф и генерал от кавалерии. В 1789 г. участвовал в сражениях при Фокшанах и Рымнике — 261.
- Карин* Федор Григорьевич (конец 1730-х гг. — ок. 1800) — литератор, приятель Я. Б. Княжнина. Постоянно вращался в аристократических кругах, вел праздную и веселую жизнь. Пользовался репутацией хорошего переводчика — 362—363.
- Карл V* (1500—1558) — император «Священной Римской империи» в 1519—1556 гг., испанский король (Карлос I) в 1516—1556, из династии Габсбургов. Пытался под знаменами католицизма осуществить реакционный план создания «мировой христианской державы» — 348.
- Карл XII* (1682—1718) — король Швеции с 1697 г., полководец. Потерпел поражение в Полтавском сражении 1709 г., после чего бежал в Турцию. В 1715 г. вернулся в Швецию — 249, 335, 378.
- Карл XIII* (1748—1818) — шведский король с 1809 г. Герцог Карл Зюдерманландский, регент при Густаве IV. Командовал шведским флотом в войне с Россией 1788—1790 гг. — 259, 301, 499.
- Карл Фридрих* — шлезвиг-голштинский герцог — 502.
- Карнович* — 429.
- Катон* Младший (или Утический; 95—46 до н. э.) — в Древнем Риме республиканец, противник Цезаря, сторонник Гнея Помпея. После победы Цезаря в 46 г. Катон покончил с собой — 348, 506.
- Катон Старший* (234—149 до н. э.) — римский оратор и писатель. Консул в 195 г. Непримирымый враг Карфагена, поборник старорежимных нравов — 60, 352—353.
- Катоны* — 352.

- Катулл* Гай Валерий (84—ок. 57 до н. э.) — римский поэт-лирик — 192, 203.
- Каховский* Михаил Васильевич (1734—1800) — граф, генерал-аншеф (1788), воспитанник Сухопутного кадетского корпуса. В 1773 г. командовал войсками в Крыму. Генерал-губернатор пензенский и нижегородский — 42, 282, 502.
- Каховский* Федор Александрович — прадед С. Н. Глинки — 317.
- Кацаврик* — иезуит — 219.
- Кашкин* Евгений Петрович — майор — 183.
- Кашталинский* Матвей Федорович — обер-церемониймейстер в 1765—1795 гг. — 241, 322—323.
- Кейзерлинг* — графиня — 109.
- Кейт* (Кейм) Конрад Валентин (1731—1801) — фельдмаршал (1799). Участник итальянского похода А. В. Суворова — 53, 345.
- Кибрит* — директор пансиона в Симбирске — 180—181.
- Кинель* — учитель музыки и живописи — 392.
- Киреевский* Иван Васильевич (1806—1856) — критик и публицист — 213.
- Кириллов* Петр Иванович — управляющий ассигнационным банком — 149—150.
- Кириштин* — учитель пения в доме Капнистов — 468.
- Клеман* Пьер (1700—1767) — французский драматург и критик — 187.
- Клинггер* Гумфрей — писатель — 194.
- Клинтон* Генри (1771—1829) — полковник, сын главнокомандующего английской армией во время войны Североамериканских колоний за независимость. Участник Итальянского и Швейцарских походов А. В. Суворова — 59.
- Клугин* — премьер-майор — 265.
- Клушин* Александр Иванович (1763—1804) — писатель, драматург, переводчик. С 1799 г. театральным цензор и режиссер русской труппы — 357, 394, 507.
- Ключарев* Федор Петрович (1754—1820-е гг.) — писатель, близкий к кругу Н. И. Новикова. С 1812 г. московский почт-директор; сенатор с 1815 г. Автор трагедии «Владимир Великий» (М., 1779) — 229, 386.
- Ключевский* Василий Осипович (1841—1911) — историк — 14.
- Кнорринг* Богдан Федорович (1741—1826) — генерал от инфантерии — 291.
- Княжнин* Яков Борисович (1742—1791) — писатель, драматург — 196, 316, 337—338, 342, 355—367, 370, 508.
- Кобенцль* Иоганн Людвиг (1753—1809) — граф. В 1779—1801 гг. австрийский посол в России. Впоследствии государственный канцлер и министр иностранных дел. Принадлежал к дружескому кружку Екатерины II — 247.
- Кобургский* — принц — см.: Саксен-Кобург Заальфельд Ф. И.

- Ковалинский* (Коваленский) Михаил Иванович (1745—1807) — ученик и друг Г. Сковороды. При Екатерине II правил рязанским наместничеством. При Павле I был куратором Московского университета — 148.
- Когорн* (Кугорн) Мено (1641—1704) — барон, голландский военный деятель, известный фортификатор. Автор книг по военно-инженерному делу — 266.
- Когцейн* — генерал-адъютант Иосифа II — 226.
- Козловский* Осип (Иосиф) Антонович (1757—1831) — русский композитор; поляк по происхождению. В 1700—1796 гг. выполнял обязанности композитора и дирижера у Г. А. Потемкина и Л. А. Нарышкина — 380.
- Козловский* Федор Алексеевич (ум. 1770) — князь, поэт, переводчик — 122.
- Козлятев* Федор Ильич — подпоручик Семеновского полка, приятель И. И. Дмитриева — 191—192, 198, 201, 455.
- Козодавлев* Осип Петрович (1754—1819) — писатель и переводчик — 149.
- Кок* Поль Шарль де (1794—1871) — французский писатель — 440.
- Кокошкин* Федор Федорович (1773—1838) — театральный деятель, драматург, переводчик; племянник Д. И. Хвостова — 448.
- Кокоринов* А. Ф. — архитектор — 510.
- Коленкур* Арман Огюстен Луи (1773—1827) — посол Франции в Петербурге в 1807—1811 гг. — 311.
- Колобов* — подпоручик — 105.
- Колонтай* — 293.
- Колумб* Христофор (1451—1506) — 387.
- Конде* Луи Жозеф де Бурбон (1736—1818) — принц, предводитель отрядов французских эмигрантов-контрреволюционеров; на русской службе в 1797—1801 гг. — 60.
- Кондратович* Кирьяк Андреевич (1703—1788) — поэт, переводчик — 187.
- Конечный* Альбин Михайлович — 486.
- Константин Павлович* (1779—1831) — великий князь, сын Павла I, участник Итальянского похода А. В. Суворова и войн с Наполеоном; с 1816 г. фактический наместник в Польше — 304, 455.
- Константинов* Захар — камердинер Г. А. Потемкина — 235.
- Конь* (Иванов?) Федор Савельевич — зодчий — 504.
- Коперник* Николай (1473—1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира — 374.
- Коплан* Б. И. — 402.
- Корнель* Пьер (1606—1684) — французский драматург — 352, 358, 370, 440.

- Корсаков Иван Николаевич* (1754—1831) — фаворит Екатерины II. Флигель-адъютант (с 1778), генерал-майор — 221.
- Корсаков Петр Александрович* (1790—1844) — писатель. До 1810 г. служил при русской миссии в Голландии; переводил голландских поэтов. С 1835 г. цензор — 372, 508.
- Кортес Эрнан* (1485—1547) — испанский конкистадор. В 1519—1521 гг. возглавил поход в Мексику, приведший к установлению там испанского господства — 336, 505.
- Корф Н. А.* — кенигсбергский генерал-губернатор — 74.
- Костров Ермил Иванович* (1751—1796) — поэт — 13, 194, 321, 344, 430—432, 512.
- Костюшко Тадеуш Анджей Бонавентура* (1746—1817) — вождь польского восстания 1794 г. — 293.
- Кравцов Н. И.* — 488.
- Крафт Георг Вольфганг* (1701—1754) — физик и математик, академик, почетный член Российской Академии наук. По национальности немец — 420, 511.
- Кребийон Проспер Жолно* (1674—1762) — французский драматург — 370.
- Крейц* — австрийский генерал-лейтенант — 47, 57.
- Крессе* — 317.
- Кречетников Михаил Никитич* (1729—1793) — военный деятель и администратор. Генерал-аншеф — 47—48, 268—269, 273—274.
- Кромвель Оливер* (1599—1658) — английский государственный деятель — 345, 488, 496, 506.
- Круглый Алексей Осипович* — 507.
- Круз Александр Иванович фон* (1731—1799) — вице-адмирал. Отличился в сражениях против шведов в 1790 г., а также при Чесме — 273, 499.
- Крылов Андрей Прохорович* — отец И. А. Крылова — 510.
- Крылов Иван Андреевич* (1769—1844) — 344, 357, 363—364, 369, 394, 413, 507—508, 510—511.
- Ксенофонт* (ок. 430—355 или 354 до н. э.) — греческий писатель и историк — 355.
- Кузмин* — майор — 259.
- Кузьмины* — братья — 277.
- Кулеш* — сельский запевала — 318.
- Кулибин Иван Петрович* (1735—1818) — механик-самоучка — 70.
- Кумпан Ксения Андреевна* — 486.
- Куракин Александр Борисович* (1752—1818) — князь, дипломат, приближенный Павла I — 165.
- Курис Иван Онуфриевич* (1762—1834) — доверенное лицо А. В. Суворова. До 1796 г. заведовал его канцелярией. Впоследствии оренбургский губернатор — 49, 65—68, 298.



- Курций* Марк — по преданию, в 362 г. до н. э. среди римского форума образовалась огромная пропасть. Прорицатели объявили, что для предотвращения опасности, грозящей государству, Рим должен пожертвовать лучшим своим сокровищем. Курций бросился на коне в пропасть, и она закрылась — 45.
- Кутайсов* Иван Павлович (ок. 1759—1834) — граф, приближенный Павла I — 46, 409.
- Кутейников* Дмитрий Ефимович — казачий старшина — 251.
- Кутузов* Михаил Илларионович (1745—1813) — 53, 209, 269, 278—280, 326, 340, 372—381, 383.
- Кюхельбекер* Вильгельм Карлович (1797—1846) — поэт, декабрист — 131—132.
- Л.* — секунд-майор — 103—104.
- Лабрюйер* Жан де (1645—1696) — французский писатель-моралист — 364.
- Лавров* Н. И. — бригад-майор, приятель Л. Н. Энгельгардта — 305.
- Лагарп* Фредерик Сезар (1754—1838) — воспитатель Александра I и Константина Павловича. Швейцарский политический деятель, приверженец идей Просвещения — 187, 201, 433, 492.
- Ладыженский* Иван Леонтьевич — крестный отец А. Т. Болотова — 89.
- Лажечников* Иван Иванович (1792—1869) — писатель, драматург, автор исторических романов — 420, 511.
- Лазарев* В. — 86.
- Лампи* Иоганн Баттист (1751—1830) — австрийский живописец и портретист. В 1792—1798 гг. жил в России — 411.
- Лангер* Карл Генрихович — профессор Московского университета в 1764—1774 гг. — 200.
- Ланжерон* Александр Федорович (1763—1831) — граф, генерал от инфантерии. По происхождению француз. В России с 1790 г. Боевой генерал. В 1816—1823 гг. новороссийский генерал-губернатор — 306—307.
- Ланской* Александр Дмитриевич (1758—1784) — генерал-адъютант. Фаворит Екатерины II с 1779 г. — 221, 234, 240, 242.
- Ланской* Николай Сергеевич (р. 1743) — генерал-майор в 1789 г. — 291—292.
- Лаудон* Гедеон Эрнст (1716—1790) — барон, австрийский полководец. Начал военную службу в русских войсках. Впоследствии австрийский генералиссимус — 45, 395.
- Лафонтен* Жан де (1621—1695) — французский писатель, баснописец — 170, 178, 187, 198, 347.
- Лебедева* — 220.
- Леблан* — гувернер в Сухопутном кадетском корпусе — 345, 354—355.
- Левицкий* Дмитрий Григорьевич (ок. 1735—1822) — живописец — 124, 400.

- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед — 355.
- Лекен* Анри Луи (наст. фамилия Кен, 1729—1778) — французский актер — 368—369.
- Лен* — дивизионный квартирмейстер (1788) — 262.
- Леонтьев* — генерал — 462.
- Леопольд II* (1747—1792) — брат Иосифа II, сменивший его на троне в 1790 г. С 1765 г. — великий герцог тосканский — 273, 500.
- Ле Пик* Шарль (1749—1806) — французский танцор и балетмейстер. В 1786—1794 гг. работал в Петербурге — 240, 273, 321, 358.
- Лессий* (Ласси) Петр Петрович (1678—1751) — генерал-фельдмаршал; по происхождению ирландец. На русской службе с 1700 г. Командующий войсками в русско-шведской войне 1741—1743 гг. — 91, 270, 304—307.
- Лецкий* — генерал-майор — 305.
- Ливен* Карл Андреевич (1767—1844) — князь, министр народного просвещения — 315.
- Лиза* — см.: Сандунова Е. С.
- Линней* Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель — 347.
- Линь* Шарль Жозеф де (1735—1814) — бельгийский принц, генерал-фельдмаршал, австрийский военный деятель, писатель. В 1780 и 1787 гг. был в России. Был дружен с императором Иосифом II. Написал воспоминания в виде писем к нему — 237, 249, 261, 319, 321, 411.
- Лихачев* — сослуживец И. И. Дмитриева — 455—456.
- Лобанов-Ростовский* Дмитрий Иванович (1752—1838) — князь, участник штурма Измаила и штурма Праги. В 1817—1827 министр юстиции — 320.
- Локателли* Джованни Баттиста (1715—1785) — итальянский антрепренер. Основал в 1757 г. в Петербурге, а в 1759 г. в Москве итальянскую оперу — 182.
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711—1765) — 19, 124—125, 142, 182, 187, 196, 200, 360, 369—370, 421, 426, 430, 441, 491, 512.
- Лонгинов* Михаил Николаевич (1823—1875) — библиограф и историк литературы — 490, 493—497, 499—502.
- Лопатин* В. С. — 23, 31, 36, 39.
- Лопе де Вега* — см.: Вега Карпью де.
- Лопухин* Иван Владимирович (1756—1816) — сенатор, известный масон — 165.
- Лорансен* — бывший французский офицер, директор пансона в Симбирске — 180.
- Лорер* Николай Иванович (1795—1873) — декабрист, участник Отечественной войны 1812 г. — 459, 472—473, 478, 515.

- Лосенко* Антон Павлович (1737—1773) — живописец и рисовальщик — 186, 338.
- Луккезини* (Лукезини) Джироламо (1751—1825) — маркиз, родом из Лукки. Чтец и библиотекарь Фридриха II. С 1789 г. посланник в Польше — 261, 500.
- Лунин* Михаил Сергеевич (1787—1845) — декабрист, участник войн с Наполеоном — 459.
- Лутовинов* Алексей Иванович — подпоручик Преображенского полка — 142.
- Львов* Алексей Федорович (1798—1870) — скрипач, композитор, дирижер, музыкальный деятель — 402, 408.
- Львов* Николай Александрович (1751—1803) — деятель русской культуры; поэт, переводчик, архитектор — 124—125, 129, 163, 194, 196—197, 400—401, 405—408, 413, 438, 464—465, 510, 513—514.
- Львов* Павел Юрьевич (1770—1825) — литератор — 193.
- Львов* Петр Петрович — 413, 510—511.
- Львов* Федор Петрович (1766—1836) — литератор, двоюродный брат Н. А. Львова — 194, 196, 198, 401—402, 406, 410—411, 413, 438.
- Львов* — полковник — 48—50.
- Львова* Вера Николаевна — дочь Н. А. Львова — 401.
- Львова* Елизавета Николаевна — 5, 7, 12—13, 16, 399—413, 491, 508, 510.
- Львова* Мария Алексеевна (урожденная Дьякова) — жена Н. А. Львова — 124, 163, 400—401, 405, 408, 464.
- Львова* Прасковья Николаевна — дочь Н. А. Львова — 401, 481—482.
- Людозик* XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г. — 237.
- Людозик* XVIII (1755—1824) — французский король с 1814 г. — 497.
- Майков* Василий Иванович (1728—1778) — поэт — 395, 430, 432.
- Майо* Анджелло — аббат — 60.
- Макаров* Григорий Дмитриевич — тамбовский губернатор в 1785 г. — 157.
- Макдональд* Жак Этьен Александр (1765—1840) — французский генерал. По происхождению шотландец. Впоследствии был маршалом Франции — 487.
- Маклаков* — секретарь — 164.
- Макогоненко* Георгий Пантелеймонович — 7, 8, 178.
- Макраковский* — польский военачальник — 293.
- Максимов* — подпоручик — 143.
- Макферсон* Джеймс (1736—1796) — шотландский писатель. Выдал свои обработки кельтских преданий и легенд за подлинные песни легендарного воина и барда Оснапа (III в.) — 352, 506.
- Малеев* Дороефей Борисович — председатель уголовной палаты в Могилеве в 1782—1783 гг. — 230, 232.

- Малиновский* Алексей Федорович (1762—1840) — историк, археограф; при его участии подготовлено первое издание «Слова о полку Игореве» — 430.
- Мальбрук* (Мальборо) Джон Черчилл (1650—1722) — английский полководец; герцог. Главнокомандующий английской армией в войне за Испанское наследство (1701—1714) — 60.
- Мамонов* — см.: Дмитриев-Мамонов.
- Мандрыкин* Даниил Давыдович (р. 1768) — флигель-адъютант штаба А. В. Суворова. Доверенное лицо Суворова — 298.
- Манжен* — учитель И. И. Дмитриева — 180, 188.
- Мария Антуанетта* (1755—1793) — французская королева. С начала Великой французской революции вдохновляла контрреволюционные заговоры и интервенцию. Казнена по решению революционного суда — 56.
- Мария Федоровна* (1759—1828) — императрица, жена Павла I — 142, 227, 281, 347.
- Маркеси* Луиджи (1775—1829) — итальянский певец — 239.
- Марков* Аркадий Иванович (1747—1827) — дипломат, член коллегии иностранных дел с 1786 г. Позднее граф. В 1801—1803 гг. был русским послом в Париже — 302.
- Маркс* Карл (1818—1883) — 38.
- Мармонтель* Жан Франсуа (1723—1799) — французский писатель, друг Вольтера, автор трагедий и романов — 181, 187, 495.
- Мартынов* Иван Иванович (1771—1833) — поэт и переводчик — 438.
- Мартыновна* (г-жа Зеллер) — 99—100.
- Масальский* — польский князь — 293.
- Массот* (Массо) — знаменитый французский хирург — 282.
- Матью* — метрдотель Г. А. Потемкина — 70.
- Матюшкина* (в замужестве Виельгорская) София Дмитриевна (ум. 1796) — графиня, мать композитора М. Ю. Виельгорского — 244.
- Медер* — генерал-квартирмейстер — 261, 269, 278.
- Мекноб* — генерал-майор (1790 г.) — 274—275.
- Мелин* Борис Петрович (1740—1793) — граф, генерал-поручик — 289.
- Мелина* (урожденная Грабовская) — жена графа Б. П. Мелина — 230.
- Мелиссино* Петр Иванович (1726—1797) — генерал-майор артиллерии, один из лучших артиллеристов своего времени. С 1796 г. — инспектор всей артиллерии — 228, 336.
- Меллер-Закомельский* Иван Иванович (ум. 1790) — генерал-аншеф — 274—276.
- Мельгунов* Алексей Петрович (1722—1788) — воспитанник Сухопутного кадетского корпуса; сенатор, генерал-губернатор ярославского, новороссийского, костромского, архангелогородского и вологодского наместничеств — 222.

- Меншиков* Александр Данилович (1673—1729) — князь, генералиссимус, один из ближайших сподвижников Петра I — 335.
- Меншикова* Мария Александровна — старшая дочь А. Д. Меншикова — 335.
- Менщиков* — князь, майор Преображенского полка — 136.
- Метастазио* (наст. фамилия: Трапасси) Пьетро (1698—1782) — итальянский поэт и драматург-либреттист — 357.
- Меццерский* Прокофий Васильевич — князь, управляющий театральной дирекцией в 1800—1801 гг. — 230.
- Меццераков* Г. П. — 39.
- Милашевич* — начальник отряда — 278.
- Милашевич* — генерал-майор — 296.
- Миллер* — немец, учитель А. Т. Болотова — 74, 105.
- Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — граф, генерал, сподвижник А. В. Суворова и М. И. Кутузова; в 1818—1825 гг. генерал-губернатор Петербурга — 53.
- Мильтон* Джон (1608—1674) — английский поэт — 512.
- Миних* Бурхард Кристоф (1683—1767) — фельдмаршал, военный и государственный деятель, на русской службе с 1721 г. — 142, 335—337, 462, 505.
- Мирабо Старший*, Габриель Оноре Рикетти (1749—1791) — граф, французский политический деятель и оратор — 316.
- Мирович* Василий Яковлевич (1740—1764) — подпоручик Смоленского полка, пытавшийся освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича, чтобы совершить государственный переворот. Был казнен — 300—301, 502.
- Митридат VI Евпатор* (132—63 до н. э.) — царь Понта — 324, 504.
- Митрофанов* — солдат А. В. Суворова — 31.
- Михайлов* — 290.
- Михельсон* Иван Иванович (1740—1807) — генерал от кавалерии. Отличился при Ларге и Кагуле. Командовал отрядом, нанесшим решающий удар Е. И. Пугачеву — 272, 305.
- Мишка* — повар А. В. Суворова — 70.
- Модерах* — профессор — 357.
- Молчин* — заседатель суда — 154—155.
- Мольер* (Жан Батист Поклен, 1622—1673) — 142, 354.
- Монахтин* — генерал — 372, 391.
- Монтегю де* — граф, капитан французского корабля — 232—233.
- Монтень* Мишель де (1533—1592) — французский писатель и философ — 7, 344.
- Монтескье* Шарль Луи де (1689—1755) — барон де Секонда, граф, французский писатель, просветитель — 45.
- Монтесума* (1466—1520) — правитель ацтеков с 1503 г. Захвачен в плен Эрнаном Кортесом — 336, 505.

- Мордвинов* Николай Семенович (1754—1845) — контр-адмирал, государственный и общественный деятель — 254.
- Мориц Саксонский* (1696—1750) — французский полководец, маршал. Автор трактата «Мои мечтания», содержащего новые для его времени рассуждения о развитии военного искусства — 378.
- Морсаньи* — 240.
- Муленкова* Валерия Федоровна — 486.
- Муравьев* Владимир Брониславович — 414, 419, 511.
- Муравьев* Михаил Никитич (1757—1807) — писатель и общественный деятель. С 1803 г. товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета. Один из зачинателей русского сентиментализма — 180.
- Муравьева* Анна Семеновна (урожденная Чернович) — первая жена И. М. Муравьева-Апостола — 483.
- Муравьев-Апостол*, Иван Матвеевич (1768—1851) — писатель и переводчик. С 1802 г. посланник в Мадриде. Сенатор. Член Российской Академии наук — 480, 483.
- Муравьев-Апостол* Ипполит Иванович (1806—1826) — декабрист, член Северного общества, участник восстания Черниговского полка. Застрелился 3 января 1826 г., не желая сдаваться в плен — 459.
- Муравьев-Апостол* Матвей Иванович (1793—1886) — декабрист, участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов — 459, 483.
- Муравьев-Апостол* Сергей Иванович (1796—1826) — один из пяти казенных декабристов. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов. Организатор и руководитель восстания Черниговского полка — 459, 483.
- Муравьева-Апостол* Елена Ивановна (в замужестве Капнист) — 459.
- Муравьевы-Апостолы* — 459.
- Мусин-Пушкин* Валентин Павлович (1735—1804) — граф, генерал-аншеф. Командовал войсками в Финляндии во время русско-шведской войны 1788—1790 гг. Участник государственного переворота 1762 г. Был вице-президентом Военной коллегии — 42, 259, 273, 302, 502.
- Мышецкий* — поручик, однополчанин А. Т. Болотова — 105.
- Н.* — приятель И. И. Дмитриева — 186.
- Наврозов* — муж В. Н. Энгельгардт — 306.
- Надеждин* Николай Иванович (1804—1856) — критик, эстетик, ученый, журналист. Издавал журнал «Телескоп» с приложением газеты «Молва» — 455.
- Наполеон I* (1769—1821) — 25, 38, 311, 314, 321, 339—340, 346, 347, 356—357, 376, 382—383, 397, 451, 479, 511, 514.
- Нарышкин* Лев Александрович (1733—1799) — приближенный Пет-

ра III; с 1762 г. шталмейстер. Известен роскошной жизнью, остротой ума, неистощимой веселостью—162, 240—241, 247, 319, 322, 331, 334—335, 378—381.

*Нассау-Зиген* Карл Генрих Никола Оттон (1745—1808) — принц, с 1786 г. на русской службе; вице-адмирал (1789), участник войн с Турцией — 254, 259, 273, 276.

*Наталья Алексеевна* (1755—1776) — первая жена Павла I — 144, 227—228.

*Наталья Кирилловна* — царица — 380.

*Наталья Митрофановна* — помощница и доверенное лицо А. А. Капнист — 470, 479.

*Нащокин* Павел Воинович (1800—1854) — один из ближайших друзей Пушкина — 85.

*Пеккер* Жак Франсуа (1732—1804) — французский государственный деятель, министр финансов при Людовике XVI — 345.

*Неклюдов* — зять А. Т. Болотова — 98—105.

*Неклюдов* Петр Васильевич — однополчанин Г. Р. Державина; в 1784—1786 гг. председатель гражданской палаты в Петербурге — 123.

*Нелединский-Мелецкий* Юрий Александрович (1752—1828) — поэт — 198.

*Нелидов* — генерал-адъютант в 1798 г.— 307.

*Нелюбохтин* — однокашник А. Т. Болотова по пансиону — 93.

*Неплюев* Иван Иванович (1693—1773) — государственный деятель и дипломат. С 1742 г. наместник Оренбургского края. С 1760 г. сенатор и конференц-министр — 133.

*Неплюев* Иван Николаевич — минский губернатор в 1794 г.— 290.

*Неплюев* Семен Александрович — сенатор — 164.

*Неранчик* — единоутробный брат С. Г. Зорича — 231, 495.

*Нечаева* Н. С.— 178.

*Николай* — слуга И. И. Дмитриева — 174.

*Николай I* (1796—1855) — русский император с 1825 г. — 73, 131, 415.

*Николев* Николай Петрович (1758—1815) — поэт и драматург — 198, 396, 510.

*Нилов* — штабс-капитан — 137.

*Новиков* Николай Иванович (1744—1818) — писатель-просветитель, журналист и книгоиздатель — 77, 80, 83, 186, 189—191, 325—327, 339, 344, 364, 427, 435, 440, 442, 444, 492, 504, 508, 515.

*Новицкий* — генерал-провиантмейстер, бригадир в 1788 г.— 261.

*Нострадамус* Михаил (1505—1566) — знаменитый астролог и врач — 441.

*Ньютон* Исаак (1643—1727) — английский физик, астроном и математик — 382.

- Оболянинов* Петр Хрисанфович (1752—1841) — приближенный Павла I, генерал-прокурор — 406—408.
- Овидий* (Публий Овидий Назон; 43 до н. э.—ок. 18 н. э.) — римский поэт — 492.
- Овсянников* Осип Иванович — учитель Л. Н. Энгельгардта — 220.
- Ожаровский* — граф, зять И. М. Муравьева-Апостола — 483.
- Озерецковский* Николай Яковлевич (1750—1827) — естествоиспытатель, академик (с 1782 г.). В 1768—1772 гг. участвовал в академической экспедиции под руководством И. И. Лепехина. В 1785 г. исследовал Ладожское и Онежское озера — 332, 367—368, 376, 504—505.
- Озеров* — полковник, участвовал во взятии Кагула — 330.
- Озеров* Владислав Александрович (1779—1816) — 351—352, 366, 372, 381, 506.
- Оксман* Юлиан Григорьевич (1894—1970) — историк литературы — 457, 459—460, 514.
- Окунсы* — братья, знакомые Г. Р. Державина — 149.
- Оленин* — поручик, выпускник Сухопутного кадетского корпуса — 298.
- Оленин* Алексей Николаевич (1763—1843) — археолог и историк, с 1811 г. директор Публичной библиотеки в Петербурге, с 1817 г. президент Академии художеств — 194, 196—197, 323, 438.
- Орлов* Алексей Григорьевич (1737—1807/1808) — граф, генерал-аншеф. Один из участников дворцового переворота 1762 г. За победы у Наварина и Чесмы получил титул Чесменского — 19, 71, 138, 140, 182, 388, 392.
- Орлов* Василий Петрович (1745—1801) — командир Донского казачьего полка. В 1790 г. отличился при штурме Измаила. Позднее генерал от кавалерии — 270.
- Орлов* Григорий Григорьевич (1734—1783) — граф, фаворит Екатерины II, брат А. Г. Орлова. Один из организаторов дворцового переворота 1762 г.. Первый президент Вольного экономического общества — 223, 333, 348, 491.
- Орловы* — 205, 223, 421, 496.
- Оссиан* — см.: Макферсон Дж.
- Остен-Сакен* Рейнгольд — капитан 2-го ранга — 259.
- Остен-Сакен* Фабиан Вильгельм фон (1752—1837) — барон, генерал-фельдмаршал. Участник войн против Наполеона. В 1814 г. военный комендант Парижа. Получил княжеское достоинство — 291—292, 371.
- Остерман* Андрей Иванович (1686—1747) — граф (с 1730), дипломат. На русской службе с 1703 г. Член Верховного тайного совета. Фактический руководитель внутренней и внешней политики России при императрице Анне Иоанновне — 324.



- Остерман* Иван Андреевич (1725—1811) — граф, канцлер, сын А. И. Остермана — 43, 236, 240.
- Сфрен* — французский актер, преподаватель Сухопутного кадетского корпуса — 368.
- Павел I* (1754—1801) — 11, 15, 25, 33, 36, 38, 44—46, 118, 120, 124, 130, 133, 144, 149, 150, 164—166, 168, 191, 196, 206—208, 212, 228—229, 238—239, 299—300, 302—308, 325, 344, 375, 400, 405—409, 435, 437, 439, 454—456, 467, 480, 487, 496, 502—503, 513.
- Панин* Никита Иванович (1718—1783) — граф, дипломат и государственный деятель, воспитатель великого князя Павла Петровича — 336, 505.
- Панин* Петр Иванович (1721—1789) — граф, генерал-аншеф, руководил подавлением восстания Е. И. Пугачева — 46, 336, 495.
- Панкратьев* Петр Прокофьевич (1757—1810) — подполковник, управляющий канцелярией Н. В. Репнина в 1791 г. — 280, 288.
- Парни* Эварист Дезире де Фореш, виконт (1753—1814) — французский поэт — 397.
- Пассек* Петр Богданович (1736—1804) — один из участников дворцового переворота 1762 г., генерал-губернатор в польских провинциях — 222, 225, 228, 229.
- Паиш* — учитель французского языка в Сухопутном кадетском корпусе — 374—375.
- Паиш* Жан Никола (1746—1823) — французский политический деятель — 374.
- Певцов* — генерал-майор, шеф Екатеринбургского полка — 304.
- Пекарский* Петр Петрович (1827—1872) — историк литературы — 16.
- Перикл* (ок. 490—429 до н. э.) — афинский стратег — 174.
- Перфильев* Афанасий Петрович (1731—1775) — сподвижник Е. И. Пугачева — 184.
- Песков* А. М. — 178.
- Петр I* Великий (1672—1725) — 20, 31—32, 40, 53, 59, 118, 136, 148, 181, 235, 249, 279, 324, 335—336, 339, 378, 398, 403, 411, 440, 462, 489, 490, 496, 500, 502, 503, 505, 510, 514.
- Петр II* (1715—1730) — русский император — 335.
- Петр III Федорович* (1728—1762) — русский император с 1761 г. — 20, 85, 137—139, 150, 182, 196, 205, 223, 227, 302, 435.
- Петрарка* Франческо (1304—1374) — итальянский поэт — 352.
- Петров* — майор — 380.
- Петров* Александр Андреевич (ум. 1793) — друг Н. М. Карамзина — 364, 442, 444.
- Петров* Василий Петрович (1736—1799) — поэт и переводчик — 19, 185, 196, 341, 430—431, 512.
- Петрушевский* А. Ф. — биограф А. В. Суворова — 21.

- Петрушка* — слуга Каппистов — 461, 468.
- Пик* — см.: Ле Пик Шарль.
- Пиндар* (522—442 до н. э.) — греческий поэт — 125.
- Пирр* (319—273 до н. э.) — царь Эпира в 307—302 и 296—273 гг. Воевал с Римом, одержал победу при Аускулуме (279 г.) ценой огромных потерь (отсюда так называемая пиррова победа) — 351.
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840—1868) — критик и публицист — 85.
- Пистер* (Пистор) Якоб Иоганн (Яков Матвеевич) — генерал-квартирмейстер армии Г. А. Потемкина во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг. В русской службе с 1771 г. Позднее генерал-майор — 280.
- Питт* Уильям Младший (1759—1806) — английский государственный деятель, глава партии вигов — 394.
- Плавильщиков* Петр Александрович (1760—1812) — актер и драматург. Автор комедий из крестьянского и купеческого быта — 369—371, 506.
- Планта* Вильденберг де — подполковник А. Т. Болотова — 99, 100, 104.
- Платен* Ф. — прусский генерал (1761 г.) — 40.
- Платон* (428 или 427 до н. э. — 348 или 347 до н. э.) — греческий философ-идеалист — 174.
- Племянников* — 331, 383.
- Плетнев* Петр Александрович (1792—1862) — писатель и журналист — 177, 458, 460.
- Плещева* Анастасия Ивановна — знакомая И. И. Дмитриева — 201.
- Плото* — барон, поручик артиллерии — 287.
- Плутарх* (ок. 46—126 до н. э.) — греческий писатель и историк — 365, 376.
- Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — историк, писатель и публицист — 173, 315.
- Полевой* П. — историк литературы — 86.
- Полетика* Михаил Иванович — 347.
- Полетика* Петр Иванович (1778—1849) — дипломат, сенатор — 372.
- Полибий* (ок. 200 — ок. 120 до н. э.) — греческий историк — 345.
- Политковский* Гавриил Герасимович (1770—1824) — член «Беседы», обер-прокурор — 446.
- Поль-Джонс* (1747—1792) — контр-адмирал. Выходец из Шотландии. Был на русской службе один год. Участник войны за американскую независимость — 254.
- Помпийян* Жан Жак Лефран (1709—1784) — французский поэт — 361.
- Помяловский* Иван Васильевич (р. 1845) — филолог и археолог — 399.
- Понятовский* Станислав Август (1732—1798) — последний польский король (1764—1795). Ориентировался на Россию — 249.

- Поп Александр* (1688—1744) — английский поэт — 200, 492.
- Попов Василий Степанович* (1745—1823) — правитель канцелярии В. М. Долгорукого в 1768—1774 гг. С 1783 г. заведовал канцелярией Г. А. Потемкина, его доверенное лицо. После смерти Потемкина был начальником императорского кабинета — 127, 235, 282—283, 287, 322, 342—343, 437
- Потанов* — солдат — 142
- Потемкин Александр Васильевич* (ум. 1746) — отец Г. А. Потемкина — 217, 235—236, 320, 494, 503.
- Потемкин-Таврический Григорий Александрович* (1739—1791) — князь, генерал-фельдмаршал, государственный деятель, фаворит Екатерины II — 6, 8, 11, 14, 24, 34—35, 57, 70, 126, 146—148, 160, 207—208, 215—217, 221, 226—230, 232—238, 240—246, 248—252, 254, 259, 265, 267, 269, 271—274, 276—279, 281—287, 306, 317, 319—325, 327—343, 347—348, 350, 358, 363, 384, 387, 430—432, 437, 449, 494, 496—498, 500, 503—504, 509.
- Потемкин Павел Сергеевич* (1743—1796) — граф, генерал-аншеф, племянник Г. А. Потемкина. Участник штурма Измаила. Писатель и переводчик — 269, 274.
- Потемкин Петр Иванович* (ум. ок. 1690) — окольный, предполагаемый предок Г. А. Потемкина — 496.
- Потемкина Дарья Васильевна* (урожденная Кондырева; 1739—1791) — мать Г. А. Потемкина; статс-дама — 236, 321, 494.
- Потемкина Прасковья Андреевна* — жена П. С. Потемкина — 272.
- Потоцкие* — 181.
- Потцкий Игнац* (1751—1809) — граф, великий маршал Литовский, дипломат. В 1794 г. руководил внешними отношениями повстанческого правительства и вел переговоры с А. В. Суворовым о сдаче Варшавы — 260, 272, 499.
- Прево д'Экзиль Антуан Франсуа* (1697—1763) — французский писатель — 345, 488, 506.
- Прозоровский Александр Александрович* (1732—1809) — князь, главнокомандующий в Москве в 1790—1795 гг. Генерал-фельдмаршал — 42, 191, 336, 502.
- Прокопович Феофан* (1681—1736) — государственный и церковный деятель, писатель, сподвижник Петра I — 186.
- Прокопович-Антонский Антон Антонович* (1771—1846) — директор Благородного пансиона при Московском университете — 441.
- Проперций Секст* (ок. 50 — ок. 15 до н. э.) — римский поэт — 192.
- Протасова Анна Степановна* (ум. 1826) — камер-фрейлина; в 1801 г. получила графское достоинство. Пользовалась особым расположением Екатерины II — 240, 247.
- Прошка* — слуга А. В. Суворова — 46, 69, 70.

- Птолемей* Клавдий (ок. 90 — ок. 160) — греческий астроном, создатель геоцентрической системы мира — 374.
- Пугачев* Емельян Иванович (1740 или 1742—1775) — руководитель крестьянского восстания 1773—1775 гг. — 8, 24, 85, 123, 175—176, 182—183, 184, 192, 218, 301, 305, 336, 491.
- Пулазские* — 181.
- Пурпур* — генерал, начальник Сухопутного кадетского корпуса — 347.
- Пулята* Николай Васильевич (1802—1877) — зять Л. Н. Энгельгардта, друг Е. А. Баратынского — 215, 493, 499, 503.
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799—1837) — 12, 14, 19—20, 38, 84, 125, 131, 168—169, 171, 173—178, 187, 309, 316, 418, 421, 441, 452, 511.
- Пушкин* Алексей Михайлович (1771—1825) — писатель и переводчик — 392.
- Пушкин* Валентин Платонович — см.: Мусин-Пушкин В. П.
- Пушкин* Василий Львович (1767—1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина — 174, 434.
- Пушкин* Сергей Львович (1770—1848) — отец А. С. Пушкина — 171, 177.
- Пушкина* Надежда Осиповна (урожденная Ганнибал; 1775—1836) — мать А. С. Пушкина — 177.
- Пушкины* — 315.
- Раевский* Иван Артемьевич — крестный отец А. Т. Болотова — 89.
- Разумовский* Алексей Григорьевич (1709—1771) — граф, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, участник дворцового переворота 1741 г. — 358.
- Разумовский* Кирилл Григорьевич (1728—1803) — граф, последний гетман Украины (1750—1764); президент Петербургской Академии наук (1746—1798); генерал-фельдмаршал (после упразднения гетманства) — 235, 239—240, 358.
- Расин* Жан Батист (1639—1699) — французский драматург — 187, 352, 357, 359, 370, 440.
- Рафаэль* Санти (1483—1520) — 338, 344.
- Рахманов* Гавриил Михайлович — полковник Днепровского полка (1789) — 268.
- Рашетт* Жан Доминик (1744—1809) — французский скульптор. С 1779 г. работал в России — 151.
- Регул* (ум. ок. 248 до н. э.) — римский полководец. Одержал победу над карфагенянами при мысе Экном и около Клупеи (256 г.), но был разбит при Тунесе (255 г.) — 352.
- Редингер* К. Ф. — директор Сухопутного кадетского корпуса — 372, 373.

- Резанов* — обер-прокурор 1-го департамента, начальник Державина — 149.
- Рек* Иван Григорьевич фон (1737—1795) — генерал-майор. Руководил в 1787 г. обороной Кинбурнской крепости — 252.
- Рембрандт* Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец — 6.
- Репнин* Николай Васильевич (1734—1801) — князь, генерал-фельдмаршал. В 1763—1769 гг. посол в Польше. Участник Семилетней и русско-турецких войн. При Павле I генерал-фельдмаршал (1796); ближайший советник императора в преобразовании русской армии по прусскому образцу — 42—43, 51—52, 211, 260, 267—269, 271, 278—281, 287—288, 302, 320—321, 332, 375, 500—502.
- Ржевский* Степан Матвеевич (1732—1782) — генерал-поручик — 225.
- Рибас* Хосе де Осип Михайлович (1749—1800) — русский адмирал. Испанец по происхождению. С 1772 г.<sup>11</sup> на русской службе. Участник русско-турецкой войны 1781—1791 гг., в том числе штурма Измаила. Руководитель строительства порта и г. Одесса — 59, 278, 281, 340—343.
- Рибоьер* Иван Александрович — генерал-адъютант из свиты Г. А. Потемкина — 235.
- Ришелье* Арман Жак Дюплесси (1585—1642) — герцог и кардинал, французский государственный и политический деятель — 323.
- Робеспьер* Максимилиан (1758—1794) — один из вождей Великой французской революции — 293.
- Рожерсон* — врач Екатерины II — 404.
- Роза* Иосиф — 134.
- Розанова* Зоя Ивановна — 486.
- Розетти* — танцор — 240.
- Рокасовский* И. Н. — полковник, командир Козловского мушкетерского полка — 289—290.
- Росетти* — дирижер придворного оркестра — 244.
- Ростопчин* Федор Васильевич (1763—1826) — граф, государственный деятель — 45, 313—314, 321, 325, 437—438, 450—451, 487.
- Роштейн* — секунд-майор — 263.
- Роштейн* — караульный капитан — 247.
- Рубенс* Петер Пауль (1577—1640) — фламандский живописец — 46.
- Рудаков* В. Е. — 6, 12, 15, 486.
- Румянцев* Николай Петрович (1754—1826) — граф, государственный деятель и дипломат, сын П. А. Румянцева-Задунайского, известный собиратель русских древностей — 405, 410—411.
- Румянцев-Задунайский* Петр Александрович (1725—1796) — граф, фельдмаршал, полководец и государственный деятель — 14, 19, 24, 34, 59, 71, 144, 185, 215, 226—227, 229, 236, 251—252, 254—

257, 259—269, 272—273, 283, 293, 325, 327—331, 336, 347—348, 350, 384, 410—412, 494, 497, 505, 509.

*Румянцев* Сергей Петрович (1755—1838) — государственный деятель. Член Российской Академии (1828). В 1786—1794 гг. посол в Пруссии и Швеции. Член Государственного совета. Сын П. А. Румянцева-Задунайского — 411.

*Рунич* — сержант гвардии (1790) — 276.

*Руссо* Жан Батист (1671—1741) — французский поэт-лирик — 355.

*Руссо* Жан Жак (1712—1778) — французский писатель — 210, 218, 316, 344, 347, 365—366, 369, 471.

*Рылеев* Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт, один из пяти казенных декабристов — 418, 491.

*Савич* Данила — профессор физики Московского университета в 1757—1761 гг. С 1762 г. директор Казанской гимназии — 136.

*Сакен* — см.: Остен-Сакен Рейнгольд.

*Сакен* Ф. Ф. — см.: Остен-Сакен Ф. В.

*Сакс де* — см.: Мориц Саксонский.

*Саксен-Кобург* Заальфельд Фридрих Иосия (1737—1817) — принц Саксонский. Произведен в фельдмаршалы за победу под Рымником — 254, 269, 272, 297.

*Салтыков* Иван Петрович (1730—1805) — граф, сын фельдмаршала П. С. Салтыкова. Участник Семилетней войны. Генерал-фельдмаршал. Командовал войсками в русско-польской войне — 42, 251, 254, 258, 260, 263, 292, 302, 502.

*Салтыков* Николай Иванович (1736—1816) — князь, генерал-фельдмаршал; с 1773 г. был гофмаршалом двора великого князя Павла Петровича, затем был воспитателем его сыновей — Александра и Константина — 42, 398, 502.

*Салтыков* Петр Семенович (1698—1772) — фельдмаршал. Во время эпидемии чумы в Москве растерялся, оставил свой пост главнокомандующего и был уволен в отставку — 301.

*Сальморан* — учитель в Шкловском кадетском корпусе — 231—232.

*Самойлов* Александр Николаевич (1744—1814) — племянник Г. А. Потемкина. Участник штурмов Очакова и Измаила. Впоследствии генерал-прокурор, граф — 274—275.

*Самойлов* Николай — муж сестры Г. А. Потемкина — 235.

*Самойлова* — сестра Г. А. Потемкина — 235, 272.

*Сандерс* — доктор в Нарве — 233.

*Сандунов* Сила Николаевич (Зандукели; 1756—1820) — актер — 392—395.

*Сандунова* Елизавета Семеновна (урожденная Уранова; 1772 или 1777—1826) — оперная и концертная певица — 392—395.

*Санега* Петр Иванович — граф — 225.

- Сарти Джузеппе* (1729—1802) — итальянский композитор, органист, дирижер, педагог. С 1784 по 1801 г. придворный композитор и дирижер в Петербурге. В 1786—1791 гг. служил у Г. А. Потемкина — 239, 272.
- Сафо* — греческая поэтесса 7—6 вв. до н. э. — 361.
- Сегюр* Людвиг Филипп (1753—1830) — граф, французский писатель — 217, 247.
- Семевский* Михаил Иванович (1837—1892) — историк, журналист — 85, 399, 402.
- Сен-Реаль* — французский писатель — 454.
- Сестренцевич* — см.: Богуш-Сестренцевич С.
- Сиверс* — отставной полковник — 260, 262—263.
- Сиверс* Яков Ефимович (1730—1808) — граф, крупный администратор, дипломат. В 1792—1793 гг. посол России в Варшаве — 290.
- Сигизмунд III Ваза* (1566—1632) — король Речи Посполитой с 1587 г., король Швеции в 1592—1599 гг. Один из организаторов интервенции в Русское государство в начале XVII в. — 217.
- Силин* Фрол — 444—445.
- Симонов* Константин Михайлович (1915—1979) — 22, 36—37.
- Синельников* — генерал — 384.
- Сираковский* — 293.
- Скалон* Василий Антонович (1805—1882) — генерал-майор, муж С. В. Скалон — 458, 460.
- Скалон* Софья Васильевна — 5, 7, 10, 12, 16, 457, 485, 500, 514.
- Скалоны* — 459.
- Смирдин* Александр Филиппович (1795—1857) — издатель и книгопродавец — 430, 439, 466.
- Соболевский* Сергей Александрович (1803—1870) — эпиграмматист, библиограф, друг Пушкина — 414.
- Соймонов* Федор Иванович (1692—1780) — государственный деятель, гидрограф; в 1757—1763 гг. сибирский губернатор; в 1763—1766 гг. сенатор. Издал атлас Каспийского и Балтийского морей — 403—404.
- Соловцов* Игнатий Иванович — знакомый И. И. Дмитриева — 199.
- Софокл* (ок. 496 — 406 до н. э.) — греческий поэт-драматург — 427.
- Спечинский* — 277.
- Сплени* — австрийский генерал — 261.
- Сталь* Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница — 178.
- Станевич* Евстафий Иванович (1775—1835) — литератор, близкий к кружку А. С. Шишкова — 446.
- Станислав* Август — см.: Понятовский Станислав Август.
- Старов* Иван Егорович (1743—1808) — архитектор — 76.
- Стейнбок* Яков Федорович — граф, муж Е. А. Дьяковой — 163.

- Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель — 390.
- Стил* Р.— 492.
- Столыпин* Александр Алексеевич (1774 — после 1845) — в 1795 г. флигель-адъютант А. В. Суворова. Участник Отечественной войны 1812 г., генерал-майор — 43, 51.
- Стратиневич* Д. Х.— учитель французского языка в Сухопутном кадетском корпусе — 343—345.
- Стремоухов* — муж тетки Л. Н. Энгельгардта — 218.
- Стремоухова* (урожденная Бутурлина) — тетка Л. Н. Энгельгардта — 218.
- Строганов* Александр Сергеевич (1733—1811) — граф, известный любитель художеств, меценат. С 1780 г. директор Академии художеств — 46.
- Ступишин* Иван Васильевич (?) — генерал-поручик, камер-юнкер с 1762 г.— 331.
- Стурдза* — один из штаб-офицеров П. А. Румянцева (1789 г.) — 267.
- Суворов* Александр Васильевич — 6, 8, 11—12, 14—16, 19—72, 117—118, 215, 250—252, 259—260, 268—269, 272—274, 276, 293, 295—297, 299, 303, 308, 336, 340, 343, 376, 384, 404, 409, 412—413, 448, 486—487, 498, 500—502, 505, 509.
- Суворов* Аркадий Александрович (1784—1811) — сын А. В. Суворова — 32—33.
- Суворов* Василий Иванович (1709—1775) — отец А. В. Суворова; генерал-аншеф. Крестник Петра I — 20, 22, 32, 40, 74.
- Суворова* Авдотья Федосеевна (урожденная Манукова) — мать А. В. Суворова — 20.
- Суворова* Варвара Ивановна (урожденная Прозоровская; 1750—1806) — жена А. В. Суворова — 32, 49.
- Суворова* Наталля Александровна (1775 — 1844) — дочь А. В. Суворова — 32—34, 37.
- Сумароков* Александр Петрович (1718—1777) — писатель — 11, 125, 135, 142, 182, 187, 201, 316, 324, 336, 340, 359—362, 366—367, 370, 421, 425—428, 507.
- Сурат* И. З. — 178.
- Сутерланд* — 513.
- Сципион Африканский Старший* (ок. 235 — ок. 183 до н. э.) — римский полководец, разгромивший войска Ганнибала при Заме (202 г. до н. э.) — 60.
- Сюлли* Максимилиан де Бетюн (1560—1641) — герцог, французский государственный деятель, министр короля Генриха IV — 327, 504.
- Сюрвиль* — учитель декламации в Сухопутном кадетском корпусе — 354.



- Т.* — офицер гвардии — 276.
- Талызин* Александр Федорович — камергер — 235.
- Таптыковы* — 143.
- Тассо* Торквато (1544—1595) — итальянский поэт — 352.
- Татищев* Николай Алексеевич (1739—1823) — генерал от инфантерии, при Александре I военный министр — 233.
- Татищев* Петр Алексеевич — тесть Л. Н. Энгельгардта — 212.
- Тацит* Публий (ок. 55—ок. 120) — римский историк — 363.
- Текелий* (Текели-Попович) Петр Абрамович (1720—1793) — австрийский серб. С 1747 г. на русской службе. Участник Семилетней и русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 гг. — 53—54.
- Текутьев* — майор — 136.
- Тель* Вильгельм — герой швейцарской народной легенды, отразившей борьбу швейцарцев против Габсбургов в XIV в. — 358.
- Тимон* — врач — 282.
- Тимофеев* — майор — 48—50.
- Тимченко* — камердинер А. В. Суворова — 298.
- Тит Флавий* Веспасиан (39—81) — римский император с 79 г. Во время иудейской войны взял и разрушил Иерусалим — 348, 506.
- Тихобраг* — см.: Браге Тихо.
- Тищенко* Петр Герасимович (р. 1768) — участник кампании 1794 г. и штурма Праги. С 1795 г. генеральс-адъютант А. В. Суворова — 42.
- Тоди* Мария Франциска Лучия (1748—1793) — знаменитая итальянская певица — 239.
- Толстой* — майор — 147—148.
- Толстой* Лев Николаевич (1828—1910) — 15, 35, 209.
- Толь* Карл Федорович (1777—1842) — граф, генерал, участник Итальянского похода Суворова и войн с Наполеоном — 372, 377.
- Тредьяковский* — старший член при герольдии — 149.
- Тредиаковский* Василий Кириллович (1703—1769) — поэт — 124, 142, 182, 187, 239, 420, 428, 430, 439, 489, 511.
- Трефолов* — чиновник — 37.
- Троспольская* Татьяна Михайловна (ум. 1774) — одна из первых русских профессиональных актрис — 182.
- Трощинский* Дмитрий Прокофьевич (1749—1829) — статс-секретарь Екатерины II, государственный деятель — 10, 118, 480—484.
- Трубецкой* Николай Никитич (1744—1821) — единоутробный брат М. М. Хераскова — 201.
- Тугучев* — премьер-майор — 99.
- Тургенев* Александр Иванович (1789—1846) — государственный деятель, историк, друг Жуковского, Карамзина, Вяземского, Пушкина — 178, 444.

- Тургенев* Иван Петрович (1752—1807) — просветитель, член кружка Н. И. Новикова, директор Московского университета — 189, 201, 444.
- Тутолмин* Иван Васильевич (1751—1815) — начальник Воспитательного дома в Москве — 339.
- Тутолмин* Николай — полковник, двоюродный брат Т. И. Тутолмина — 154.
- Тутолмин* Тимофей Иванович (1740—1809) — генерал-губернатор Олонецкой и Архангельской губерний в 1784—1789 гг. Генерал от инфантерии. В 1806—1809 гг. главнокомандующий в Москве. Родственник А. Т. Болотова. Окончил Сухопутный кадетский корпус — 96, 153—155, 291.
- Тучков* Александр Алексеевич (1778—1812) — генерал-майор. Погиб во время Бородинского сражения — 344.
- Тюрэнн* Анри де Ла Тур д'Овернь (1611—1675) — виконт, знаменитый французский полководец. Маршал Франции. В 1782 г. вышли в свет его мемуары, по-видимому, известные А. В. Суворову — 60.
- Тютчев* Федор Иванович (1803—1873) — 9.
- У.* — генерал — 55.
- Ушаков* Федор Федорович (1744—1817) — адмирал, один из создателей Черноморского флота — 254, 281.
- Фабий* Максим (275—203 до н. э.) — римский полководец, прозванный Кунктатором (Медлителем) — 373, 509.
- Фаврос* де — маркиза, статс-дама Марии Антуанетты — 56.
- Фалеев* Михаил Леонтьевич (ум. 1792) — поставщик армии и флота. Участвовал в хозяйственном освоении Северного Причерноморья — 342, 343.
- Фаминцын* Егор Андреевич — генерал-майор (1797). В 1780—1783 — поручик правителя харьковского наместничества — 251.
- Фемистокл* (ок. 525—ок. 460 до н. э.) — афинский полководец — 60.
- Фенелон* Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651—1715) — французский писатель и религиозный деятель — 352, 488.
- Феокрит* (конец IV в. — 1-я половина III в. до н. э.) — греческий поэт — 357.
- Фермор* Ф. Ф. — генерал — 511.
- Ферре* — начальник пансиона — 74.
- Филатов* С. Ф. — дядя М. А. Дмитриева — 446.
- Филипп II* царь Македонский (380—336 до н. э.) — отец Александра Великого — 487.
- Филипп Ильич* — башкир — 425.
- Филиппи* — полковник (1788) — 261—262.
- Филипповский* — 326.

- Филипштальский* — принц. В 1790 г. полковник русской службы — 275.
- Филомен* (253—183 до н. э.) — греческий полководец. В борьбе с Римом отстаивал независимость Греции, за что и был прозван «последним эллином» — 352.
- Фирсов* — кадет — 334.
- Фиц-Герберт* (Фицгерберт) Аллен (1753—1839) — барон, английский дипломат. В 1783 г. назначен чрезвычайным посланником при Екатерине II, которую сопровождал в Крым в 1787 г. — 247, 249.
- Флориан*, Жан Пьер Клари де (1755—1794) — французский писатель — 198.
- Фогар* — 345—346.
- Фогель* — преподаватель истории в Сухопутном кадетском корпусе — 375.
- Фокс* Чарлз Джеймс (1749—1806) — лидер радикального крыла вигов в Великобритании — 394.
- Фолкенштейн* — см.: Иосиф II.
- Фомин* Евстигней Ипатьевич (1761—1800) — композитор, дирижер, педагог — 124.
- Фонвизин* Денис Иванович (1744—1792) — 8, 182, 195—196, 252—253, 366, 492, 495, 498.
- Фондель* — голландский трагик — 359.
- Франц I* (1768—1835) — австрийский император с 1804 г. Последний император Священной Римской империи (в 1792—1806 гг. под именем Франца II). Один из инициаторов коалиций европейских монархий против революции и наполеоновской Франции — 38, 72, 487.
- Фрейлих* — адъютант З. Г. Чернышева — 229.
- Фрерон* Эли Катрин (1718—1776) — французский писатель и литературный критик — 187.
- Фридрих II Великий* (1712—1786) — прусский король с 1740 г. — 193, 227, 336, 348, 354, 368, 373, 511.
- Фромандье* Петр Петрович — инспектор Сухопутного кадетского корпуса — 345, 350.
- Фукидид* (ок. 460—400 до н. э.) — греческий историк — 361.
- Фукс* Егор Борисович (1762—1829) — начальник походной канцелярии А. В. Суворова; автор книг и статей о нем — 15, 56.
- Х.* — граф — 55.
- Х.* — майор — 51—52.
- Х-в* — 343.
- Хандошкин* — кадет — 344.
- Харламов* — 345.

- Хвостов* Дмитрий Иванович (1757—1835) — граф, стихотворец-графоман — 120, 131, 194, 428, 439—440, 448, 453.
- Хемницер* Иван Иванович (1745—1784) поэт — 13, 124, 405, 438, 464.
- Херасков* Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт — 187, 191, 197—198, 201—202, 333, 336, 433—435, 492, 508, 512.
- Хераскова* Елизавета Васильевна (урожденная Неронова) — жена М. М. Хераскова — 197, 202, 433, 434.
- Хетсо* Гейр — 216.
- Хилков* — зять Д. П. Трощинского — 480, 484.
- Хилкова* Надежда Дмитриевна — дочь Д. П. Трощинского — 480, 484.
- Хольберг* Людвиг (1684—1754) — датский писатель — 111.
- Хомутов* — бригадир — 248.
- Хорват* — ротмистр — 288.
- Хорват* Д. И. — танцор — 230.
- Храповицкий* Александр Васильевич (1749—1801) — статс-секретарь Екатерины II в 1782—1792 гг. — 126—127, 149, 159.
- Храповицкий* Платон Юрьевич — правитель смоленского наместничества, губернский предводитель в 1782—1787 гг. — 350.
- Храповицкий* Степан Юрьевич — последователь Н. И. Новикова — 325—328, 350.
- Ц.* — офицер гвардии — 276.
- Цах* — генерал-квартирмейстер — 60.
- Цезарь* Гай Юлий (102—44 гг. до н. э.) — римский государственный деятель и писатель — 30, 38, 57, 60, 373.
- Цинциннат* — римский патриций, консул 460 г. до н. э. По преданию, был образцом скромности, доблести и верности гражданскому долгу — 352.
- Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский политический деятель, оратор и писатель — 354.
- Ч.* — офицер гвардии — 276.
- Чаах* — учитель рисования — 95.
- Чевкин* — адъютант киевского губернатора С. Е. Ширкова — 47—48.
- Чекалевский* Я. М. — письмоводитель Г. А. Потемкина — 328.
- Чемезов* (Чемесов) Евграф Петрович (1737—1765) — гравер — 186.
- Черныш* — кадет — 351—352.
- Чернышев* Григорий Иванович (ум. 1830) — обер-шенк — 244.
- Чернышев* Захар Григорьевич (1722—1784) — граф, генерал-фельдмаршал (1773). С 1763 г. вице-президент, с 1773 г. президент Военной коллегии, с 1775 г. наместник Полоцкой и Могилевской губерний — 144, 223—229, 247, 422—423, 495.
- Чернышев* Иван Григорьевич (1726—1797) — генерал-фельдмаршал — 223.

- Чернышева* Анна Родионовна (урожденная Ведель; 1744—1830) — жена З. Г. Чернышева — 226, 228.
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828—1889) — 417.
- Чертков* Евграф Александрович (ум. 1797) — камергер, один из участников дворцового переворота 1762 г. — 235.
- Чесменский* Александр Алексеевич — сын графа А. Г. Орлова-Чесменского — 292.
- Четвертинский* — 293.
- Чингисхан* (1155—1227) — монгольский хан — 368, 369.
- Чичагов* Василий Яковлевич (1726—1809) — адмирал — 273, 500.
- Чонжин* — однополчанин А. Т. Болотова — 115.
- Чулков* Михаил Дмитриевич (1743 или 1744, по другим данным 1733 или 1734—1792) — писатель, историк, этнограф, экономист — 422, 433, 511—512.
- Чупятов* — гжатский купец — 370—371, 508.
- Ш.* — князь — 55.
- Шагин-Гирей* (ум. 1787) — крымский хан. Был возведен на престол в 1777 г. при поддержке России. В 1783 г. отрекся от власти в пользу России. Жил с 1784 г. в России, затем в Турции, откуда был сослан на о. Родос, где в 1787 г. убит — 242—243.
- Шаден* Иоганн Маттиас — профессор Московского университета в 1756—1797 гг. — 189.
- Шаликов* Петр Иванович (1767 или 1768—1852) — князь, поэт и журналист — 448—451, 514.
- Шамшеев* — генерал-майор, занимался заготовкой провианта в 1788 г. — 261.
- Шатобриан* Франсуа Рене де (1768—1848) — французский писатель-романтик и политический деятель — 382, 420.
- Шатров* Николай Михайлович (1767—1841) — стихотворец — 395—396.
- Шаховской* — 213.
- Шаховской* Борис Григорьевич (ум. 1813) — князь, генерал-лейтенант — 260, 263, 267.
- Шекспир* Уильям (1564—1616) — 359, 395.
- Шепелев* — генерал — 91.
- Шереметев* Борис Петрович (1652—1719) — генерал-фельдмаршал с 1701 г., граф с 1706 г. Сподвижник Петра I. Участник Крымских и Азовских походов — 403.
- Шереметев* Василий Сергеевич — генерал-майор (1791); в 1794 г. правитель Изяславской, в 1796 г. — Волынской губерний — 274, 276.
- Ширков* С. Е. — киевский губернатор — 47.
- Шишков* — заседатель суда — 154.
- Шишков* Александр Семенович (1754—1841) — писатель и государ-

- ственный деятель, с 1813 г. президент Академии наук, в 1824—1828 гг. министр народного просвещения, глава литературного общества «Беседа любителей русского слова» — 368, 445—447, 513.
- Шмидт* Иоганн Генрих (1749—1829) — немецкий портретист — 45, 46.
- Шпарман* — подполковник — 294.
- Штакельберг* Отто Магнус (1736—1799) — посол России в Польше — 261.
- Шувалов* Иван Иванович (1727—1797) — государственный деятель, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-адъютант. Первый куратор Московского университета; президент Академии художеств — 135, 137, 200, 247—248, 252, 431.
- Шувалов* Петр Иванович (1710—1762) — граф, государственный деятель, генерал-фельдмаршал. Фактический руководитель правительства при Елизавете Петровне — 205, 223.
- Шувалов* — граф, командир дивизии — 102.
- Шуман* Роберт (1810—1856) — немецкий композитор — 402.
- Щелин* Матвей Михайлович — обер-квартирмейстер — 221.
- Щепкин* Михаил Семенович (1788—1863) — актер — 85.
- Щербачев* Михаил Михайлович (1733—1790) — сенатор, историк — 323.
- Эдуард III* (1312—1377) — английский король с 1327 г. — 497.
- Эзоп* (6 в. до н. э.) — греческий баснописец — 94.
- Эллерт* — содержатель мужского пансиона в Смоленске — 12, 206, 219—220.
- Эльмт* Иоганн Мартин (1725—1802) — барон, генерал-фельдмаршал русской службы. Генерал-аншеф с 1780 г. Выходец из Германии — 42, 251, 254, 257, 260, 502.
- Эльмт* София Ивановна (в замужестве Турчанинова) — фрейлиня Екатерины II, дочь И. М. Эльмта — 245.
- Эмин* — экзекутор — 159.
- Эмин* Федор Александрович (1735—1770) — писатель, журналист и переводчик — 324.
- Энгельгардт* Александра Николаевна (в замужестве Вязмитинова) — сестра Л. Н. Энгельгардта — 207—208, 245—246.
- Энгельгардт* Анастасия Львовна (в замужестве Баратынская) — дочь Л. Н. Энгельгардта — 213—214, 493.
- Энгельгардт* Варвара Николаевна (в замужестве Наврозова) — сестра Л. Н. Энгельгардта — 219, 306.
- Энгельгардт* Василий Андреевич — муж сестры Г. А. Потемкина — 235.
- Энгельгардт* Василий Васильевич (р. 1758) — внучатный дядя Л. Н. Энгельгардта, племянник Г. А. Потемкина. В 1794 г. генерал-поручик, сенатор. — 220, 235, 273, 282.

*Энгельгардт* Вернер — генерал-лейтенант — предок Л. Н. Энгельгардта — 205, 217.

*Энгельгардт* Екатерина Петровна (урожденная Татищева) — жена Л. Н. Энгельгардта — 212—213.

*Энгельгардт* Лев Николаевич — 5—7, 10—12, 14, 16, 205—308, 487, 493, 495, 498, 500, 503.

*Энгельгардт* Надежда Петровна (урожденная Бутурлина; ум. 1785) — мать Л. Н. Энгельгардта — 205, 207, 208, 217—219, 233, 244—245.

*Энгельгардт* Наталия Львовна — дочь Л. Н. Энгельгардта — 213.

*Энгельгардт* Николай Александрович (р. 1866) — писатель — 216.

*Энгельгардт* Николай Богданович (р. 1837) — отец Л. Н. Энгельгардта. В 1782—1790 гг. правитель могилевского наместничества — 205—210, 217—219, 221—223, 225—226, 228—230, 232, 245, 247, 263—264, 287, 289, 299, 306.

*Энгельгардт* Пстр Львович — сын Л. Н. Энгельгардта — 208, 213—215.

*Энгельгардт* София Львовна — дочь Л. Н. Энгельгардта — 213, 215.

*Энгельс* Фридрих (1820—1895) — 38.

*Юшков* — полковник Кинбурнского драгунского полка — 246.

*Языков* Николай Михайлович (1803—1846) — поэт — 433.

*Яковлев* Иван — служитель С. Н. Глинки — 390.

*Asselin* — 469.

*Coguet* — 469.

*Faye* — 469.

*Leneveu* — 219.

## СОДЕРЖАНИЕ

И. И. Подольская. «Минувшее проходит предо мною...» . . . . .	5
---	---

### РУССКИЕ МЕМУАРЫ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ . . . . .	19
АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ БОЛОТОВ . . . . .	73
ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН . . . . .	117
ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ . . . . .	168
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ЭНГЕЛЬГАРТ . . . . .	205
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛИНКА . . . . .	309
ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА ЛЬВОВА . . . . .	399
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ . . . . .	414
СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА СКАЛОН . . . . .	457
Примечания . . . . .	486
Указатель имен . . . . .	516



**Р 89 Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век/**  
Сост., вступ. ст. и прим. И. И. Подольской; Биогр.  
очерки В. В. Кунина и И. И. Подольской.— М.: Пра-  
вда, 1988.—560 с.

Книга познакомит читателя с наиболее яркими и интере-  
сными страницами воспоминаний русских писателей и об-  
щественных деятелей XVIII века — записками А. Т. Болотова,  
Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева, С. Н. Глинки и др.  
Мемуары воссоздадут быт и нравы, духовную атмосферу и  
разные аспекты общественной жизни эпохи.

Р 4702010100 — 1623 1623 — 88  
080(02) — 88

84 Р 1

## **РУССКИЕ МЕМУАРЫ**

*Избранные страницы  
XVIII век*

Составитель  
Ирена Исааковна Подольская

Редактор  
Е. М. Кострова

Оформление художника  
С. Н. Оксмана

Художественный редактор  
Г. О. Барбашнинова

Технический редактор  
Л. Ф. Молотова

ИБ 1623.

---

Сдано в набор 08.09.87. Подписано к печати 28.01.87.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага книжно-журнальная.  
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 32,34. Уч.-изд. л. 34,30.  
Тираж 200 000 экз.  
Заказ № 184. Цена 2 р. 30 к.

---

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена  
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва,  
А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь»,  
630048, г. Новосибирск, 48,  
ул. Немировича-Данченко, 104.